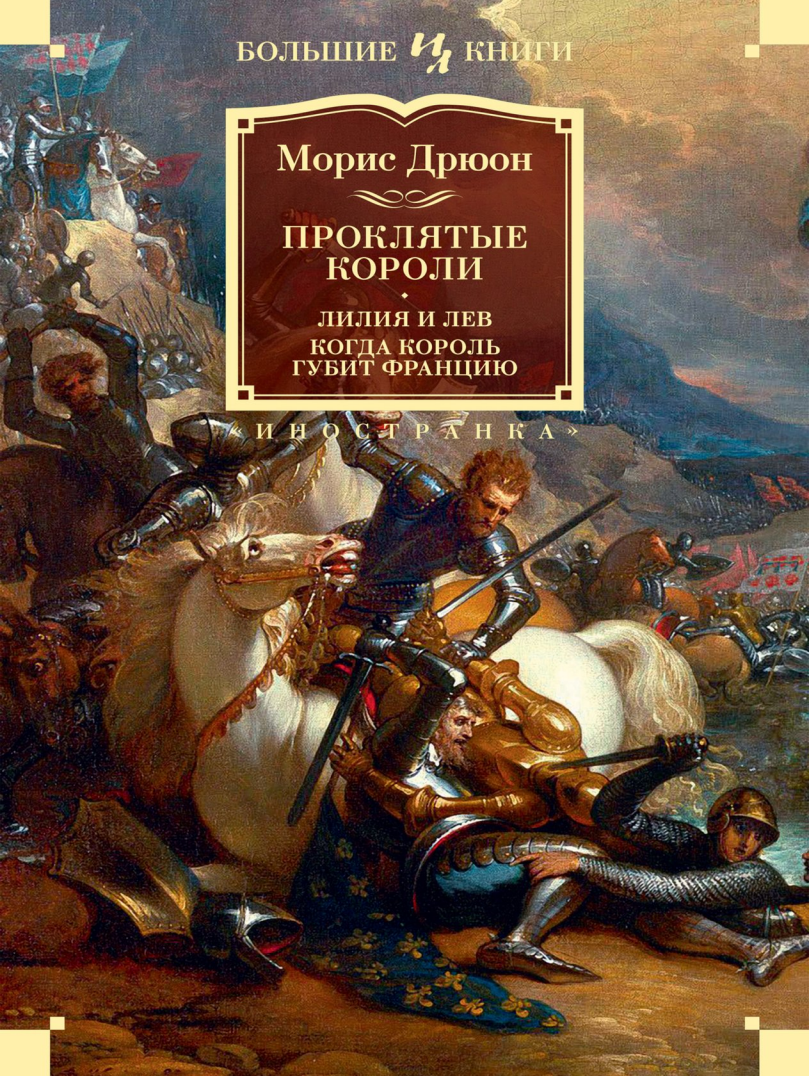
БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Морис Дрюон

ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ

ЛИЛИЯ И ЛЕВ
КОГДА КОРОЛЬ ГУБИТ ФРАНЦИЮ



«ИНОСТРАНКА»

Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию

Морис Дрюон

Аннотация
Морис Дрюон. Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию
Лилия и лев
Часть первая. Новые короли
Глава I. Бракосочетание в январе
Глава II. Труды ради короны
Глава III. Совет у ложа мертвеца
Глава IV. «Король-подкидыш»
Глава V. Гигант перед зеркалами
Глава VI. Вассальная присяга и клятвопреступление
Часть вторая. Игры дьявола
Глава I. Свидетели
Глава II. Расследование ведет сам истец
Глава III. Подлог
Глава IV. В Рейи собирают гостей
Глава V. Маго и Беатриса
Глава VI. Беатриса и Робер
Глава VII. Дом Бонфия
Глава VIII. Возвращение в Мобюиссон

Глава IX. Плата за злодеяния
Часть третья. Одно падение за другим…
Глава I. Заговор призраков
Глава II. Ноттингемская секира
Глава III. Путь в Коммон-Гелоуз
Глава IV. Дурной день
Глава V. Конш
Глава VI. «Королева мужеска пола»
Глава VII. Турнир в Эврё
Глава VIII. Честь пэра, честь короля
Глава IX. Семейство Толомеи
Глава X. Судилище
Часть четвертая. Зачинщик войны
Глава I. Изгой
Глава II. Вестминстер-холл
Глава III. Вызов, брошенный в Нельской башне
Глава IV. Близ Виндзора
Глава V. Клятва над цаплей
Глава VI. Стены Ванна
Эпилог. Иоанн I Неизвестный
Глава I. Дорога, ведущая в Рим
Глава II. Ночь в Капитолии
Глава III. «Мы, Кола ди Риенци…»
Глава IV. Посмертный король
Когда король губит Францию

Вступление
Часть первая. Беды приходят издалека
Глава I. Перигорский кардинал размышляет…
Глава II. Кардинал Перигорский говорит
Глава III. Смерть стучится во все двери
Глава IV. Кардинал и звезды
Глава V. Первые шаги короля, которого прозвали добрым
Глава VI. Первые шаги короля, которого прозвали злым
Глава VII. Вести из Парижа
Глава VIII. Мантское соглашение
Глава IX. Карл Злой в Авиньоне
Глава X. Черная година
Глава XI. Королевство дает трещину
Часть вторая. Пиршество в Руане
Глава I. Льготы и бенефиции
Глава II. Королевский гнев
Глава III. На Руан
Глава IV. Пиршество
Глава V. Взяты под стражу
Глава VI. Приготовления
Глава VII. Поле Милосердия
Часть третья. Загубленная весна
Глава I. Пес и лисенок
Глава II. Нация англичан

Глава III. Папа и христианский мир
Часть четвертая. Лето бедствий
Глава I. Нормандский поход
Глава II. Осада Бретея
Глава III. Вассальная присяга Феба
Глава IV. Шартрский лагерь
Глава V. Принц Аквитанский
Глава VI. Хлопоты кардинала
Глава VII. Десница Божия
Глава VIII. В бой идет король
Глава IX. Ужин у принца
«Проклятые короли»:. Историко-биографическая справка

Аннотация

Создавая свой цикл о невероятной эпохе, которая определила будущее прекрасной Франции, Морис Дрюон кропотливо работал в Национальном архиве, исследуя древние документы. Его грандиозный исторический цикл «Проклятые короли» завершается романами «Лилия и лев» и «Когда король губит Францию» – повествованиями о непомерных амбициях и неизбежном крахе.

На престол Англии восходит Эдуард III, сын Изабеллы Французской, который отправляет на виселицу любовника своей матери Роджера Мортимера, а ее саму удаляет от королевского двора. Но это лишь начало: по подстрекательству Робера Артуа, изгнанного из Франции за подделку документов, Эдуард III заявляет претензии на французский престол – и так начинается Столетняя война. А в финальном романе семитомной саги словоохотливый кардинал Эли Перигор рассказывает о том, как пали сильные: война истощает Францию, король Иоанн II Добрый задумал дать англичанам решаю-

щее сражение близ Пуатье, и это становится катастрофой и для него, и для страны. В обстановке дворцовых интриг, кровавых расправ и переворотов потомки Филиппа IV Красивого, некогда проклятые взошедшим на костер Великим магистром ордена тамплиеров Жаком де Моле, губят прежде могущественную и богатую страну.

Морис Дрюон
Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию

Maurice Druon
LE LIS ET LE LION
Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
QUAND UN ROI PERD LA FRANCE
Copyright © 1977 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 1979
© Г. А. Соловьева, историко-биографическая справка, 2021
© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа„Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®

* * *

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии – дело рук посредственностей. В начале XIV века Франция была наиболее могущественным, самым густонаселенным, самыФм жизнедеятельным, самым богатым государством во всем христианском мире… Почему же рухнула эта держава? Что так круто повернуло ее судьбу?

Андре Моруа

Лилия и лев

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Мадлен Мариньяк за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

Главное в политике – стремление к захвату и удержанию власти; и, следовательно, тут требуется воздействовать на умы принуждением или обманом… Политик в конечном счете всегда бывает принужден прибегать к фальсификации.

Поль Валери

Часть первая
Новые короли
Глава I
Бракосочетание в январе

Вот уже два часа подряд из всех городских приходов, и с левого, и с правого берега реки, из Сент-Дениса, из Сент-Катберта, из Сент-Мартин-и-Грегори, из Сент-Мэри-Синиор и Сент-Мэри-Джуниор, с Боен и с улицы Дубильщиков — отовсюду, со всех сторон тянулся йоркский люд, текли бесконечные вереницы зевак к Вестминстеру, к этому гиганту-собору с еще не достроенным западным порталом, к этой вытянутой в длину громаде, царившей с вершины холма над всей округой.

На Стоунгейт и на Дингейт, на двух кривых улочках, выходивших к Ярду, получился настоящий затор. Даже неунывающие мальчишки, взгромоздившиеся на каменные тумбы, видели на площади одни лишь головы, головы, сотни и тысячи голов. Горожане, торговцы, почтенные матроны с целыми выводками ребятишек, калечные на костылях, служанки, ремесленники,

клирики в своих капюшонах, солдаты в кольчугах, нищие в жалких отрепьях — все смешалось, как соломинки в копне сена. Проворные пальцы воришек очищали карманы зевак, собирая жатву вперед на целых полгода. Из окон, как гроздья, свешивались головы.

Среди бела дня наполз откуда-то, словно дым, серый влажный полумрак, зябкая мгла, плотный, как вата, туман, окутавший огромный костяк собора, тысячи шлепавших по грязи зевак. Люди сбивались плотнее, лишь бы сохранить драгоценное тепло.

24 января 1328 года. Здесь, в соборе, его преосвященство Уильям Мелтон, архиепископ Йоркский и примас Англии, сочетал браком короля Эдуарда III, которому не было еще и шестнадцати, с мадам Филиппой Геннегау, его троюродной сестрой, которой недавно исполнилось четырнадцать.

Некуда было яблоку упасть в соборе, где собралась вся высшая знать — государственные сановники, высшее духовенство, члены парламента да еще пять сотен рыцарей и сотня шотландских дворян в клетчатом одеянии, уполномоченных не только представлять Шотландию на брачной церемонии, но заодно и подписать

мирный договор. Вот-вот должна была начаться торжественная месса, и по этому случаю был приглашен хор в сто двадцать певчих.

Но первая часть церемонии — собственно говоря, само бракосочетание — происходила перед южным порталом, на паперти собора и на виду собравшегося народа, согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии[1].

Алый бархат балдахина, воздвигнутого на паперти, отсырел; взбухали влажные полосы оседавшего мельчайшими каплями тумана на епископских митрах; мокрые меха липли к плечам королевской родни, сгрудившейся вокруг юной четы.

— Here I take thee, Philippa, to be my wedded wife, to have and to hold at bed and at board… — Беру

---

[1] Примечания: 1

…согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии. — Церковь никогда не навязывала жесткую или единообразную форму обряду бракосочетания и скорее удовлетворялась частными обычаями.

Разнообразие ритуалов и терпимость церкви по отношению к ним основывается на том факте, что брак по сути есть договор между индивидами, а также таинство, священнослужителями которого друг для друга являются сами брачующиеся. В первоначальных христианских церквях присутствия священника и даже любого свидетеля при этом обряде вовсе не требовалось. Благословение стало обязательным лишь после декрета Карла Великого. До реформы Трентского собора (XVI в.) обручение в силу того, что является обязательством, имело почти такое же значение, как и само бракосочетание.

В каждой области были свои особые обычаи, которые могли варьироваться от епархии к епархии. Так, херефордский ритуал отличается

от ритуала йоркского. Но обмен обетами, составлявший собственно таинство, происходил обычно прилюдно, вне церкви. Именно таким образом король Эдуард I женился на Маргарите Французской в сентябре 1299 г., у врат Кентерберийского кафедрального собора. Существующее в наши дни правило держать во время церемонии бракосочетания двери церкви открытыми (несоблюдение которого может даже стать причиной аннулирования брака) — пережиток как раз этой традиции.

Брачный ритуал архиепископства Йоркского имел некоторые аналогии с ритуалом Реймса, а именно в том, что касалось последовательного надевания кольца на четыре пальца, но в Реймсе этот жест сопровождался следующей формулой:

Этим кольцом церковь велит,
Чтобы наши два сердца в одно слились
Истинной любовью, праведной верой;
Того ради тебя обязую.

тебя, Филиппа, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем и у очага своего…

Слова клятвы произносил безусый юнец с мальчишески пухлыми губами, и однако голос шестнадцатилетнего короля поразил присутствующих силой, чистотой и какой-то особо выразительной звучностью. Поразил он и мать Эдуарда III — королеву Изабеллу Французскую, и мессира Иоганна Геннегау, дядю новобрачной, и всех вельмож, и среди них графа Эдмунда Кентского и Норфолкского и графа Ланкастерского, по прозвищу Кривая Шея, главу Регентского совета и королевского опекуна, стоявших в первом ряду.

— …for fairer, for fouler, for better, for worse, in sickness and in health… — …в красоте и убожестве, в счастье и несчастье, в болезни и в здравии…

Шепот, стоявший над толпой, вдруг смолк. Будто круговая волна тишины омыла всю площадь, и лишь голос короля раздавался над тысячами голов, юный, чистый голос, слышный в самых дальних уголках площади. Неторопливо произносил король слова обета, выученного им наизусть еще накануне, но чудилось, будто рождаются они у всех на глазах прямо из сердца, так проникновенно звучало каждое слово, так он «обдумывал» каждую священную формулу, дабы вложить в нее

самый сокровенный и самый заветный смысл. Казалось, он творит молитву, ту молитву, что не повторяют дважды, а творят ее лишь один-единственный раз на всю жизнь.

И устами этого юноши говорила душа зрелого мужа, человека, с открытыми глазами принимающего на себя обет перед лицом Неба, правителя, сознающего свою роль посредника между Богом и народом. Новый король брал родных, близких, важных сановников, баронов, прелатов, жителей города Йорка и всей Англии в свидетели своей любви к королеве Филиппе.

Пророки, ревностно служащие Господу своему, духовные вожаки народа, сильные своей одержимостью, умеют, как никто, заразить толпу своей верой. Публично выраженная любовь также наделена этим свойством, чувства одного человека способны сплотить людей в едином порыве.

Не было среди собравшихся у собора ни одной женщины, которая, независимо от возраста, будь то счастливая новобрачная или обманутая жена, вдова, девица, дряхлая бабка, не поставила бы себя сейчас на место невесты, и не было ни одного мужчины, не отождествлявшего себя в эти минуты с юным королем. Эдуард III сочетался с вечно женственным, с женской половиной

своих подданных, и казалось, само королевство единодушно выбрало ему в подруги Филиппу. Все грезы юности, все разочарования зрелости, все сожаления старости о несбывшихся надеждах влеклись к молодой чете, подобно дару, приносимому каждым сердцем. Нынче вечером тьму улиц прорежет сияние этих молодых глаз, и даже старые супружеские пары, уже давно живущие хоть и бок о бок, но каждый сам по себе, возьмутся после ужина за руки.

И если с давнишних времен народ всегда стремится поглазеть на королевскую свадьбу, то движет людьми одно желание — пережить если не прямо, то хоть косвенно минуты этого счастья, ибо, вознесенное на такую высоту, оно кажется совершенным.

— …till death us do part… — …пока не разлучит нас смерть…

У каждого при этих словах перехватило горло; вся площадь испустила долгий вздох, вздох грустного удивления, почти осуждающий вздох. Нет, негоже в такие минуты даже поминать смерть: не может быть, чтобы этим двум столь юным существам была уготована общая участь, даже помыслить трудно, что и они тоже смертны.

— …and thereto I plight thee my troth… — …и во

всем этом я даю тебе свою клятву.

Юный король чувствовал взволнованное дыхание толпы, но не бросил туда взгляда. Его светло-голубые, почти серые глаза под длинными ресницами были устремлены на эту рыженькую пухленькую девочку, всю в бархате и покрывалах, которой он приносил свою клятву.

Ибо Филиппа отнюдь не походила на принцессу из волшебной сказки, даже хорошенькой ее трудно было назвать. Как у всех Геннегау, черты у нее были расплывчатые, нос чуть вздернутый, шея коротковата и притом все лицо в веснушках. Ни в повадках, ни во всем облике не проглядывало особого изящества, зато она была совсем простенькая и даже не пыталась придать себе величественный вид, что было бы ей вовсе не к лицу. Не будь на ней этого королевского наряда, ее трудно было бы отличить от любой рыженькой девушки, ее ровесницы: таких пухленьких рыженьких девочек сотни, если не тысячи во всех северных странах Европы. Она была избранницей судьбы и Господа Бога, но, в сущности, ничем, буквально ничем не отличалась от всех прочих женщин, чьей королевой ей суждено было стать. Любая рыженькая пухленькая девица чувствовала себя польщенной и как бы поднявшейся

ступенью выше по иерархической лестнице.

Сама Филиппа, взволнованная до дрожи, не подымала век, словно не в силах была выдержать устремленный на нее пристальный взгляд своего супруга. Все, что произошло с ней, было чересчур прекрасно. Сколько вокруг нее корон, сколько митр, а эти рыцари, а эти дамы, которых она успела заметить внутри собора, стоявшие в ряд за огромными свечами, как души избранных в раю, и вся эта толпа на площади… Королевой, она будет королевой, и избрана она по любви!

О, как же она будет холить, угождать, боготворить этого белокурого красавца-принца, у которого такие длинные ресницы, такие тонкие руки, который каким-то чудом появился в их Валансьенне полтора года назад, прибыл туда вместе с изгнанницей-матерью, приехавшей к ним просить помощи и приюта! Родители посылали детей в сад поиграть — он влюбился в нее, а она в него. А теперь он стал королем, но он ее не забыл. Какое же это счастье — отдать ему всю свою жизнь без оглядки! Одного только она боялась — не такая уж она хорошенькая, чтобы ему нравиться и впредь, и не такая уж ученая, чтобы быть ему помощницей.

— Протяните, мадам, вашу правую руку, — об-

ратился к ней архиепископ-примас.

Выпростав из-под длинного бархатного обшлага свою пухлую ручку, Филиппа решительно протянула ее ладонью вверх, растопырив пальчики.

Эдуард с восторгом взглянул на эту розовую живую звездочку, вверявшуюся ему.

С блюда, которое держал второй прелат, архиепископ взял плоское золотое кольцо с рубином, только что освященное им, и вручил королю. Кольцо тоже было мокрое на ощупь, как и все, к чему только ни прикасался в эту погоду человек. Потом архиепископ бережным движением соединил руки брачующихся.

— Во имя Отца… — произнес Эдуард, надевая кольцо на кончик большого пальца Филиппы… — Во имя Сына… во имя Духа Святого… — договорил он, примеряя ей кольцо на кончик указательного, а затем среднего пальца.

Наконец он надел ей кольцо на безымянный палец и промолвил:

— Аминь!

Она стала его женой.

Как и любая мать, присутствующая на свадьбе сына, королева Изабелла прослезилась. Она принуждала себя молить Бога о ниспослании ее сыну

всякого счастья, но не могла, она думала о своей собственной участи и мучилась этой думой. Безжалостное время шло, и вот она уже не первая — ни в сердце сына, ни в королевской семье. Нет, понятно, ей нечего особенно опасаться этой похожей сейчас на пирамиду бархата и расшитых тканей девчушки, которую судьба послала ей в невестки, нечего опасаться ни за свое влияние при дворе, ни соперничества в красоте.

Прямая, тонкая, вся золотистая, с прекрасными косами, уложенными по обе стороны ясного лица, Изабелла в свои тридцать шесть лет выглядела тридцатилетней. Даже нынче утром зеркало, в которое она долго гляделась, прилаживая корону для брачной церемонии, даже зеркало рассеяло ее сомнения. И однако ж, с этого дня она уже не просто королева, а королева-мать. Как же так получилось, что все произошло слишком быстро? Как получилось, что двадцать лет жизни, чреватой столькими бурями, бесследно поглотило время?

Она вспомнила о своей собственной свадьбе, состоявшейся ровно двадцать лет назад, тоже, как и эта, в конце января и тоже в туманный день, но во французском городе Булони. Она тоже шла к алтарю, веря в счастье, она тоже произносила

клятвы супружеской верности, произносила их от всей души. Могла ли она тогда знать, за кого ее выдают замуж во имя интересов двух королевств? Могла ли она знать, что в обмен на любовь и преданность, которые она несла в сердце своем, ее ждут лишь унижения, ненависть и презрение, что на супружеском ложе ее заменят, нет, даже не любовницы, а королевские фавориты, жадные, постыдные люди, что приданое ее расхитят, имущество ее отберут, что ей самой придется бежать на чужбину, дабы спасти свою жизнь, находящуюся под угрозой, поднять войска, дабы свалить того, кто надел ей на палец обручальное кольцо?

Ах, как же повезло этой девочке Филиппе, она не просто вступила в брак, она любима!

Только лишь первые узы любви могут быть полностью чисты и полностью счастливы. И если, на вашу беду, было не так, ничем их не заменить. Сколько бы вы ни любили потом, никогда любовь не будет столь совершенной в своей чистоте; пусть даже она крепка, как мрамор, все равно в жилах ее струится не живая алая кровь, а уже иссохшая кровь минувшего.

Королева Изабелла перевела взор на Роджера Мортимера, барона Уигморского, своего любовника, на того человека, который благодаря ей, но

и благодаря самому себе единовластно правил Англией от имени юного короля. И в ту же самую минуту он поднял на нее глаза и, скрестив руки на своем роскошном одеянии, сурово взглянул на нее из-под нахмуренных бровей.

«Догадался, о чем я думаю, — решила про себя Изабелла. — Ну что это за человек, только на миг отвлечешься мыслью от него, и он тут же дает вам понять, что вы совершили чуть ли не преступление!»

Ей хорошо был известен недоверчивый нрав Мортимера, и она улыбнулась, желая его успокоить. Что ему надо еще, если и так он владеет всем? Живут они, словно бы состоят в законном браке, словно муж и жена, хотя она — королева Англии, хотя он женат, и вся страна знает об их связи, впрочем вполне открытой. Она сумела добиться того, что в его руках сосредоточена вся власть. На все должности Мортимер посадил своих ставленников, роздал им ленные владения бывших фаворитов Эдуарда II, а Регентский совет лишь утверждает его решения. Мортимер даже смог вырвать у нее согласие на то, чтобы ее свергнутого с престола супруга лишили жизни. И она знала, что с тех пор кое-кто зовет ее Французской волчицей! Но не может же он помешать ей в день

бракосочетания старшего сына вспомнить своего убитого супруга, тем паче что палач Джон Мальтраверс, недавно ставший сенешалем Англии, находится здесь собственной персоной, среди высшей знати, и, видя его длинную зловещую физиономию, невольно думаешь о совершенном им преступлении.

Не одну только Изабеллу коробило его присутствие: Джон Мальтраверс, зять Мортимера, был приставлен охранять покойного короля, и скоропалительное его повышение слишком явно свидетельствовало о том, за какие такие услуги он был произведен в сенешали. По официальной версии, Эдуард II скончался естественной смертью. Но кто при дворе верил этой басне?

Сводный брат покойного короля, граф Кент, нагнулся к своему кузену Генри Ланкастеру Кривая Шея и шепнул ему на ухо:

— На мой взгляд, по нынешним временам только через цареубийство и можно с полным правом войти в королевскую семью…

Эдмунд Кент совсем продрог. По его мнению, брачная церемония слишком затянулась, йоркская служба слишком сложна. Ну почему бы не сыграть свадьбу в часовне Тауэра или в каком-нибудь из королевских замков, так нет — вос-

пользовались подходящим случаем и устроили самую настоящую кермессу для простолюдинов! Как и при всяком скоплении народа, ему становилось не по себе. А тут еще этот Мальтраверс с его зловещей физиономией… Ведь это же просто непристойно, чтобы человек, отправивший на тот свет папашу, присутствовал, да еще затесавшись среди высшей знати, на свадьбе сына.

Кривая Шея — голова у него свисала на правое плечо, откуда и пошло это прозвище, — шепнул кузену:

— Именно совершив грех, легче всего войти в королевскую семью. Наш друг — первое тому доказательство…

Под словами «наш друг» он подразумевал Мортимера, чувства англичан к которому сильно изменились за эти полтора года, с того времени, когда он во главе армии королевы высадился в Англии и был встречен народом как освободитель.

«В конце концов, рука, безропотно исполняющая приказы, идущие из чужой головы, не намного хуже этой головы, — подумал Кривая Шея. — И само собой разумеется, Мортимер, а вместе с ним и королева Изабелла виновны во всем случившемся куда больше, чем Мальтра-

верс. Да мы все в этом отчасти повинны, все мы подбросили свой груз на чашу весов, когда речь шла о лишении Эдуарда II престола. А раз так, иначе кончиться и не могло».

Тем временем архиепископ вручил молодому королю три золотые монеты, на аверсе которых были вычеканены гербы Англии и Геннегау, а на реверсе — бутоны роз, ибо цветок этот служит эмблемой супружеского счастья. Монеты эти именовались «динарием брачующихся», как символ того наследства, которое муж оставляет своей жене в виде денежных доходов, земель и замков. Все эти дары были точно определены и записаны, так что дядя Филиппы мессир Иоганн Геннегау вздохнул с облегчением, ибо ему до сих пор не вернули долг в пятнадцать тысяч ливров, которые обязались выплатить как жалованье его коннице во время Шотландского похода.

— Припадите к ногам вашего супруга, дабы он вручил вам динарии, — обратился архиепископ к новобрачной.

Все жители Йорка, затаив дыхание, нетерпеливо ждали этой минуты, каждому было любопытно знать, будет ли соблюден их местный обычай до конца, ибо то, что пристало последней подданной королевы, пристало и самой королеве.

Но никто и предвидеть не мог, что мадам Филиппа не только преклонит колена, но в безудержном порыве любви и благодарности еще и обхватит обеими руками ноги супруга и облобызает колени того, кто сделал ее королевой. Выходит, что она, эта пухленькая фламандка, повинуясь голосу сердца, способна еще и сама приукрасить древний обычай!

Толпа встретила ее жест громкими кликами одобрения.

— Думаю, они будут счастливы, — сказал Кривая Шея, обращаясь к Иоганну Геннегау.

— Народ ее полюбит, — сказала Изабелла подошедшему к ней Мортимеру.

Но в душе королевы-матери кровоточила рана: все эти клики народные обращены не к ней. «Теперь королевой стала Филиппа, — думала она. — Мое время прошло. Да, но теперь, возможно, я заполучу Францию…»

Ибо неделю тому назад гонец в одеянии, украшенном лилиями, прискакал в Йорк, дабы сообщить, что последний ее брат, король Франции Карл IV, при смерти.

Глава II
Труды ради короны

Король Карл IV слег в первый день Рождества. И уже на Богоявление ученые лекари заявили, что надежды нет. Неужели из-за этой изнуряющей лихорадки, этого кашля, выворачивающего все нутро, из-за этого кровохарканья? Ученые лекари только плечами пожимали, как бы говоря: тут мы бессильны. Ясное дело, проклятие! Проклятие, что пало на голову потомков Филиппа Красивого. А от проклятия нет ни лекарств, ни исцеления. И королевский двор и народ полностью разделяли это мнение лекарей.

Людовик Сварливый скончался в двадцать семь лет, правда, тут не обошлось без преступного деяния. Филипп Длинный умер в двадцатидевятилетнем возрасте, напившись в Пуатье воды из отравленного колодца. Карл IV продержался до тридцати трех лет — это уже был предел. Всякому известно, что те, на чью голову пало проклятие, не могут перешагнуть тридцати трех лет — возраста Иисуса Христа нашего!

— А теперь, возлюбленный брат мой, пришел

наш черед взять бразды правления, вести королевство твердой рукой, — внушал граф Бомон, он же Робер Артуа, своему кузену и шурину Филиппу Валуа. — И на сей раз, — добавлял он, — мы не дадим себя обскакать моей тетушке Маго. Впрочем, у нее и зятьев-то не осталось, так что некого ей сажать на французский престол.

Оба кузена пользовались отменным здоровьем. Робер Артуа оставался все тем же колоссом, и по-прежнему ему, переступая порог, приходилось нагибать голову, чтобы не расквасить лоб о притолоку, и по-прежнему он в свои сорок один год мог при желании повалить на землю быка, ухватив его за оба рога. Непревзойденный мастер судопроизводства, крючкотворства и интриг, он в течение двадцати лет неоднократно доказывал свои ловкость и умение, и начав смуту в своих владениях, и развязав войну в Гиени, да, впрочем, разве все перечтешь! Плодом его неустанных трудов отчасти явилось и разоблачение скандальной тайны Нельской башни. И если королева Изабелла вкупе с ее любовником лордом Мортимером сумела собрать в Геннегау армию, поднять Англию и свергнуть Эдуарда II, то и тут не обошлось без Робера. А что руки у него были запятнаны кровью Маргариты Бургундской, то ему на это

наплевать. Еще совсем недавно в Королевском совете его голос легко заглушал нерешительное бормотание слабовольного Карла IV.

Филиппа Валуа, который был на шесть лет моложе Робера, природа не наградила столь многочисленными дарами. Но он был высок и крепок, широкогруд, повадки имел благородные и, когда поблизости не оказывалось Робера, тоже производил впечатление богатыря, чему немало способствовала его рыцарственная осанка, располагавшая к нему сердца людей. Но главным козырем Филиппа была добрая память о его отце, о прославленном Карле Валуа, самом отчаянном смутьяне и искателе приключений, какие только встречались среди принцев крови, в вечной погоне за призрачными тронами, подстрекателе, правда неудачном, Крестовых походов, но при всем том великом воине, и неудивительно, что сын всячески старался подражать отцу в мотовстве и роскоши.

И хотя до сих пор Филиппу Валуа так и не удалось удивить Европу своими талантами, в него верили. Он блистал на турнирах, которые были подлинной его страстью, — каждый отдавал дань восхищения тому пылу, с каким он бросался на противника.

— Ты будешь регентом, Филипп, я сам за это дело возьмусь, — гнул свое Робер Артуа. — Регентом, а быть может, и королем, если будет на то воля Господня… другими словами, я имею в виду, если только через два месяца моя племянница-королева[2], а она действительно на сносях, не родит Карлу сына. Бедняжка Карл! Не видать ему своего ребенка, а ведь как он его ждал… Ну пусть даже это будет мальчик, все равно целых двадцать лет ты будешь регентом. А за двадцать лет…

Не докончив фразы, он махнул рукой, и жест этот красноречивее слов говорил, что чего только на свете не бывает: и дети мрут как мухи, и часты несчастные случаи на охоте, ибо неисповедимы пути Господни.

— А ты, как я знаю, человек верный, — продолжал гигант Робер, — ты добьешься, чтобы мне наконец вернули мое графство Артуа, которым до сих пор несправедливо владеет эта разбойница, эта отравительница Маго; она заодно присвоила себе и титул пэра, как владелица этого графства.

---

[2] Примечания: 2

…если только через два месяца моя племянница-королева… — После расторжения своего брака с Бланкой Бургундской (см. предыдущий том «Французская волчица») Карл IV женился последовательно на Марии Люксембургской, умершей при родах, потом на Жанне д'Эврё. Эта последняя приходилась племянницей Филиппу Красивому через своего отца Людовика Французского, графа д'Эврё, а также Роберу д'Артуа через свою мать Маргариту д'Артуа, сестру Робера.

Да ты подумай только, я даже не пэр! Прямо курам на смех! Мне за твою родную сестру, то есть за супругу мою, стыдно!

Филипп дважды клюнул крупным мясистым носом в знак согласия и опустил веки.

— Робер, если я и впрямь буду у кормила власти, ты получишь все, что тебе положено по праву. Можешь смело рассчитывать на мою поддержку.

Самая прочная дружба — это та, что основана на общих интересах и общих трудах ради собственного будущего, тесно связанного с будущим твоего друга.

Робер Артуа, не брезговавший ничем, когда речь шла о деле, взялся съездить в Венсенн, дабы самолично сообщить Карлу Красивому, что дни его сочтены и что не мешало бы ему сделать кое-какие распоряжения, скажем немедленно созвать пэров и представить им Филиппа Валуа как будущего регента. Более того, почему бы не облегчить пэрам выбор и уже сейчас не вручить Филиппу Валуа бразды правления, наделив его всей полнотой королевской власти?

— Все мы смертны, дорогой мой кузен, все смертны, — твердил пышущий здоровьем Робер, и от его тяжелых шагов сотрясалось ложе умирающего.

У Карла IV уже не оставалось сил для отказа, и он почувствовал даже облегчение оттого, что с него сняли еще одну заботу. Все его помыслы были направлены на то, чтобы удержать жизнь, отлетавшую прочь с каждым новым вздохом.

Итак, Филипп Валуа получил королевские полномочия и повелел созвать пэров.

А Робер Артуа тут же опять собрался в путь. Сначала к своему племяннику д'Эврё, еще совсем молоденькому — ему только что исполнился двадцать один год, — юноше весьма привлекательной внешности и довольно вялого нрава. Он был женат на дочери Маргариты Бургундской, Жанне Малой, как звали ее по старой памяти, хотя ей уже минуло семнадцать, той самой Жанне, которую после кончины Людовика Сварливого лишили права на французский престол.

И впрямь, к салическому закону прибегли именно из-за Жанны Младшей, дабы отстранить ее от престола, и добились этого без особых хлопот, ибо, памятуя распутство ее покойной матери, не так-то трудно было заподозрить дочь в незаконном происхождении. Но, желая вознаградить ее за потерю, а главное, чтобы утихомирить Бургундский дом, Жанну Младшую признали прямой наследницей наваррской короны. На

самом же деле выполнять это обещание не слишком спешили, и оба последних короля Франции по-прежнему носили титул королей Наваррских.

Если бы Филипп д'Эврё хоть чуточку походил на своего дядюшку Робера Артуа, ему представился бы великолепный случай взбаламутить все французское государство, оспаривая свое право на престол и требуя от имени супруги не одну, а целых две короны.

Но Робер, пользуясь своим влиянием на племянника, в два счета облапошил возможного претендента на французский престол.

— Как только мой зять Валуа будет регентом, получишь ты свою Наварру, племянник, сразу получишь. Я лично поставил Филиппу такое условие — хочешь, мол, моей поддержки, уладь сначала это семейное дело. Быть тебе королем Наварры! А наваррской короной грех пренебрегать, и послушай-ка моего совета: поскорее нацепи ее на себя, прежде чем подымутся споры да дрязги. Ибо, скажу тебе на ушко, права твоей супруги малютки Жанны были бы куда неоспоримее, ежели бы ее мамаша почаще отказывала мужчинам! Сейчас такая свара начнется, что тебе без поддержки не обойтись, а мы тебя как раз и поддержим. И не вздумай слушать своего дядюшку

герцога Бургундского: он тобой в личных своих целях воспользуется, а кончится все это тем, что вы натворите глупостей. Держись Филиппа Валуа, пускай он будет регентом!

Таким образом, после окончательного отказа от Наварры, Филипп Валуа располагал уже двумя голосами, не считая своего собственного.

Людовик Бурбон был пожалован званием герцога всего несколько недель назад и одновременно получил в удел графство Марш[3]. Он был старшим в королевской фамилии. Если, не дай бог, с назначением регента произойдет нежелательная заминка, Бурбон сам будет оспаривать право на престол, так как многие охотно поддержат прямого внука Людовика Святого. Так или иначе, его слово на Совете пэров будет весить немало. К счастью, этот хромец трусоват. А войти в прямое соперничество с мощной кликой Валуа по плечу только человеку отважному. Да кроме того, его родной сын женат на сестре Филиппа Валуа.

Робер намекнул Людовику Бурбону, что чем скорее он присоединится к ним, тем скорее будут

---

[3] Примечания: 3

…и одновременно получил в удел графство Марш. — По договору, заключенному в конце 1327 г., Карл IV обменял графство Марш, составлявшее его ленное владение, на графство Клермон-ан-Бовези, которое Людовик Бурбонский унаследовал от своего отца, Робера де Клермона. Именно по этому случаю сеньория Бурбон была возвышена до герцогства.

гарантированы на деле его права на земельные угодья и титулы, дарованные на бумаге при предыдущих королях. Вот вам и третий голос.

Не успел герцог Бретонский прибыть из Ванна в свой парижский отель, не успели еще слуги распаковать его сундуки, как перед ним собственной персоной возник Робер Артуа.

— Поддержим Филиппа, а? Ты, я вижу, согласен… Филипп такой благочестивый, такой верный человек, из него наверняка получится хороший король… то есть, я хочу сказать, хороший регент.

Жан Бретонский просто не мог подать свой голос против Филиппа Валуа. Ведь он вступил в брак с сестрой Филиппа, Изабеллой, скончавшейся, правда, в возрасте восьми лет, но узы взаимной привязанности между ним и Филиппом не стали от этого слабее. Для пущей убедительности Робер привел с собой свою матушку Бланку Бретонскую, связанную кровными узами с Жан Бретонским, дряхлую, ссохшуюся, морщинистую старушку, полную невежду в политических интригах, но зато упрямо отстаивающую любое предложение своего гиганта-сынка. А сам Жан Бретонский меньше пекся о судьбе Франции, чем об интересах своего герцогства. Ну и ладно! Хорошо,

пусть будет Филипп, раз все дружно прочат его в регенты.

Пока что кампания шла, так сказать, в узкой среде зятьев, шуринов и деверей. Кликнули на подмогу Ги де Шатийона, графа де Блуа, который пэром не был, и даже графа Вильгельма Геннегау, кликнули просто потому, что оба они были женаты на сестрах Филиппа Валуа. Благодаря всем этим широко разветвленным родственным связям семья Валуа уже ныне становилась как бы подлинной королевской фамилией.

Как раз сейчас Вильгельм Геннегау выдал свою дочку за молодого английского короля — что ж, неплохо, никто и не собирается возражать, даже есть надежда, что рано или поздно брак этот послужит к семейной выгоде. Однако же Вильгельм рассудил послать на бракосочетание дочери своего младшего брата Иоганна, дабы тот представлял дом Геннегау, а сам предпочел сидеть в Париже, где все кипит накануне важнейших событий. Ведь уж давным-давно Вильгельм Добрый мечтал, чтобы землю Блатон, вотчину французской короны, клином врезающуюся в его государство, уступили ему. Хорошо, хорошо, как только Филипп станет регентом, отдадут ему этот Блатон за безделицу, за чисто символический

выкуп.

А Ги де Блуа был чуть ли не последним из баронов, за которыми еще сохранилось право чеканить свою монету. На его беду и как бы в насмешку над этой привилегией, денег у него не было, и с каждым днем он все больше запутывался в долгах.

— Ги, дражайший мой родич, выкупим мы твое право на чеканку монеты, выкупим. Первым делом об этом позаботимся.

Словом, всего за какую-нибудь неделю Робер проделал воистину геркулесов труд.

— Видишь, Филипп, видишь, — твердил он своему кандидату, — видишь, какую добрую службу сослужат нам все те браки, что в свое время устроил твой отец. Обычно считается, что много дочерей — для родителей беда, а твой батюшка, этот мудрый человек, да упокой, Господи, душу его, сумел ловко пристроить твоих сестричек.

— Верно, — протянул Филипп, — но ведь придется выплатить им то, что недодано в счет приданого. Кое-кому только четвертую часть обещанного дали на руки.

— И начать надо с нашей любимой Жанны, моей супруги, — подхватил Робер Артуа. — Но коль скоро мы сами будем распоряжаться казной…

Труднее оказалось завербовать в ряды сторонников Валуа графа Фландрского — Людовика де Креси Неверского. Ибо зятем он никому не доводился и не требовал ни земель, ни денег. А требовал он отвоевать его родное графство, откуда его с позором изгнали собственные подданные. Пришлось пообещать ему выступить войной против жителей Невера и Креси, чтобы добиться его поддержки.

— Людовик, возлюбленный кузен мой, Фландрию вам вернут, и вернут ее силою оружия, наше слово тому порукой!

После всех этих подвигов Робер, думавший обо всем и ничего не забывавший, снова помчался в Венсенн — надо было поторопить Карла IV подписать завещание.

От Карла осталась лишь тень короля, выхаркивающего с кровью последние лохмотья легких.

Но даже на смертном одре умирающий вспоминал о Крестовом походе, вернее, о проекте Крестового похода, мысль о котором в свое время вбил ему в голову его дядя Карл Валуа. Из года в год проект этот претерпевал видоизменения, церковные субсидии использовались совсем на иные цели, а потом скончался и сам Карл Валуа… И эта злая болезнь, подтачивающая его, Карла IV,

уж не кара ли она за то, что он не сдержал своего слова, нарушил священный обет? Кровь, хлеставшая из горла на белоснежное белье, напоминала ему тот алый крест, который он так и не успел нашить на свою мантию.

И теперь в надежде умилостивить Небеса и выторговать себе еще хоть несколько недель жизни он приказал добавить в конце завещания свою волю касательно Святой земли. «Ибо намерением моим было самому идти туда при жизни, — продиктовал он писцу, — и, ежели того не случится при жизни моей, повелеваю отпустить из казны пятьдесят тысяч ливров на первый же всеобщий поход, когда таковой начнется».

Подобная сумма проделала бы смертельную брешь во французской казне, особенно сейчас, когда денег не хватало на самые неотложные, самые необходимые нужды. Робер чуть было не задохнулся от злости. Этот упрямый болван Карл помирает, а от своих дурацких затей отрекаться не хочет.

Его просто-напросто попросили отказать в завещании по три тысячи ливров канцлеру Жану де Шершемону, а также маршалу де Три и мессиру Милю де Нуайе, председателю Фискальной палаты, в награду за их беспорочную службу

королевскому дому… и еще потому, что по занимаемым ими должностям они имели право заседать в Совете пэров.

— А коннетаблю? — еле слышно прошептал умирающий.

Робер только плечами пожал. Коннетаблю Гоше де Шатийону стукнуло уже семьдесят восемь, глух он, как тетерев, а добра у него столько, что сам не знает, куда его девать. В такие годы где уж там льститься на золото! Коннетабля из завещания вычеркнули.

Зато Робер с великим тщанием помог Карлу IV составить список лиц, которым поручалось следить за точным выполнением всех пунктов завещания, ибо список этот как бы устанавливал старшинство среди великих мира сего: граф Филипп Валуа во главе списка, потом граф Филипп д'Эврё и затем, конечно, сам Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже.

Покончив с завещанием, Робер взялся за князей церкви, которых тоже следовало привлечь на свою сторону.

Архиепископ Реймский Гийом де Три издавна был духовным наставником Филиппа Валуа, к тому же Роберу только что удалось убедить короля упомянуть родного брата архиепископа маршала

де Три в завещании, и свои три тысячи ливров он получит звонкой монетой. Так что с этой стороны препятствий не предвидится.

Архиепископ Лангрский тоже с давних пор был связан с домом Валуа, и в равной мере ему был предан архиепископ Бовезский, Жан де Мариньи, последний оставшийся в живых брат великого Ангеррана. Былое предательство, былые угрызения совести, а также и взаимные услуги — вот те нити, из которых прядутся наипрочнейшие связи.

Оставались вне игры епископы Шалонский, Лаонский и Нуайонский — все трое, как было известно, держали руку Эда Бургундского.

— Ну а что касается этого бургундца, — воскликнул Робер Артуа и даже руки широко развел, — это уж твое дело, Филипп. Мы с ним на ножах, поэтому я тут бессилен. А ты женат на его родной сестре, стало быть, должен и можешь оказать на него воздействие.

Эд IV не был, что называется, орлом по части управления своей Бургундией. Однако он хорошо усвоил уроки своей покойной матушки, герцогини Агнессы, младшей дочери Людовика Святого, и не забыл, как сам он сумел дорого продать свой голос, подав его за Филиппа Длинного,

метившего в регенты, за что и получил в те времена разрешение присоединить к Бургундскому графству Бургундское герцогство. Ради такого случая он даже вступил в брак с внучкой Маго Артуа; невеста была на четырнадцать лет моложе своего нареченного, на что он, впрочем, не имел оснований жаловаться теперь, когда его жена достигла возраста, положенного для исполнения супружеских обязанностей.

Прибыв из Дижона, он уединился с Филиппом Валуа. Эд первым долгом поставил вопрос о наследственных правах на земли Артуа.

— Стало быть, решено, после кончины Маго графство Артуа переходит к ее дочери, вдовствующей королеве Жанне, а затем к герцогине — моей супруге? Так вот что, дорогой кузен, я особенно настаиваю на этом пункте, ибо мне отлично известно, что Робер зарится на земли Артуа, да он сам об этом на всех перекрестках кричит!

Эти принцы крови отстаивали свои права на наследство, рвали друг у друга из рук французские земли с таким же жгучим недоверием, с такой же алчностью, с какой в нищенской семье делят невестки после покойницы-свекрови чашки и постельное белье.

— Суд дважды подтверждал в своем решении,

что Артуа принадлежит графине Маго, — ответил Филипп Валуа. — Если в пользу Робера не найдется новых веских доказательств, Артуа, дорогой брат, отойдет вашей супруге.

— И вы не видите к тому никаких препятствий?

— Ни единого.

Вот таким-то образом благороднейший Валуа, доблестный рыцарь, герой турниров, дал двум своим кузенам два исключающих друг друга обещания.

Впрочем, даже в вероломстве он желал остаться честным и передал Роберу свою беседу с Эдом, каковую тот не преминул одобрить.

— Самое существенное, — заявил он, — получить голос бургундца, и нам какое дело, если он вбил себе в голову, будто имеет права на мое графство, хотя прав у него никаких и нету. Ты ему говорил о новых доказательствах? Ну что ж, чудесно, добудем их, дражайший брат, так что тебе не придется нарушить свою клятву. А раз так, все идет к лучшему.

Оставалось лишь ждать последней и окончательной формальности — кончины короля Карла IV — и молить в душе Господа Бога, чтобы он поскорее призвал его к себе, пока еще не рас-

пался этот великолепный союз принцев крови, сплотившихся вокруг Филиппа Валуа.

Младший сын Железного короля отдал Богу душу накануне праздника Сретения Господня, и новость о трауре по усопшему государю распространилась в Париже в то самое утро, когда над всем городом стоял заманчивый аромат горячих блинчиков.

Все, казалось, должно было пройти без сучка и задоринки, строго по плану, тщательно разработанному Робером Артуа, как вдруг на заре того дня, когда предстояло собраться Совету пэров, прибыл из Англии епископ, весьма невзрачный на вид. Устало оглядевшись вокруг, он вылез из забрызганных грязью носилок и поплелся во дворец отстаивать права королевы Изабеллы на французский престол.

Глава III
Совет у ложа мертвеца

Нет уже мозга в черепной коробке, нет уже сердца в грудной клетке, нет кишок в животе. Выпотрошили короля. Еще накануне бальзамировщики кончили трудиться над телом Карла IV. Но так уж ли велика была разница между тепе-

решним Карлом IV и тем, каким был при жизни этот слабый, равнодушный ко всему, бездеятельный государь. Запоздалый ребенок, которого собственная мать звала «гусенком», а то и просто «дурачком», обманутый муж, незадачливый отец, безуспешно пытавшийся обзавестись наследником, для чего трижды вступал в брак, правитель, вечно пляшущий под чужую дудку — сначала своего дядюшки Карла Валуа, потом кого-нибудь из своих многочисленных кузенов, — он был годен лишь на то, дабы утверждать своим присутствием идею королевской власти. Он и сейчас еще ее утверждал.

В дальнем конце огромной залы Венсеннского замка с рядами деревянных колонн покоилась на парадном ложе бренная его оболочка, облаченная в лазурную королевскую, расшитую геральдическими лилиями мантию и с короной на голове.

Баронам и пэрам, собравшимся в противоположном углу залы, видно было, как при свете бесчисленных свечей поблескивают на его ногах золотые сафьяновые сапожки.

Сейчас Карл IV возглавит свой последний Совет, так называемый «Совет в королевской опочивальне», коль скоро царствование его еще не кончилось: кончится оно официально лишь

завтра, в ту самую минуту, когда тело его опустят в усыпальницу Сен-Дени. Робер Артуа еще до начала Совета, пока поджидали запоздавших, взял приезжего из Англии епископа под свое крылышко.

— А сколько времени вы пробыли в пути? Всего двенадцать дней, и это из самого Йорка? Ого, да вы не мешкали в дороге, не служили заутрени да мессы, мессир епископ… такой аллюр впору заядлому наезднику!.. Ну а весело ли сыграли свадьбу вашего юного короля?

— По-моему, да. Впрочем, я на бракосочетании не присутствовал, я уже был в пути, — ответил епископ Орлетон.

— А в добром ли здравии лорд Мортимер? Вот кто надежный друг, лорд Мортимер настоящий друг, и он, заметьте, в те времена, что жил изгнанником в Париже, часто вспоминал о монсеньоре Орлетоне. Рассказывал мне, как вы помогли ему бежать из Тауэра. Я лично принимал его во Франции, и благодаря мне, не скрою, он вернулся в Англию не таким слабым, каким прибыл к нам. Каждый из нас сделал, как говорится, половину дела. А как королева Изабелла? Ах, дорогая моя кузина! Все так же ослепительно красива?

Робер с умыслом тянул время, чтобы не дать

Орлетону подойти к другим группкам, помешать ему заговорить с графом Геннегау или с графом Фландрским. Он знал по слухам, каков был этот Орлетон, и не зря не доверял ему. Ведь именно его Вестминстерский двор отрядил в качестве посла к Святому престолу, и он же, как утверждали, был автором знаменитого и весьма двусмысленного послания: «Eduardum occidere nolite timere bonum est…»[4], которым воспользовались Изабелла с Мортимером, чтобы обстряпать убийство Эдуарда II.

Тогда как все французские прелаты явились на Совет в своих митрах, один лишь Орлетон остался в простой дорожной скуфье лилового шелка с горностаевыми наушниками. Робер не без удовлетворения отметил про себя это обстоятельство: когда английский прелат возьмет слово, эта самая дорожная скуфья среди золоченых митр явно умалит авторитет доверенного лица королевы Изабеллы.

— Регентом будет назначен его светлость Филипп Валуа, — шепнул Робер на ухо Орлетону, как бы поверяя великую тайну лучшему своему другу.

---

[4] Примечания: 4

«Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело» или «Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела» *(лат.).*

Орлетон промолчал.

Вот тут и появилась в проеме двери та самая персона, которую ждали, чтобы открыть заседание Совета. И персоной этой была графиня Маго Артуа, единственная женщина во всем государстве, имевшая право присутствовать на Королевских советах. Здорово она, Маго, постарела: ноги, казалось, еле выдерживали тяжесть дородного тела — шла она, опираясь на палку. Под белоснежно-седыми волосами лицо было каким-то буро-багровым. Она мотнула головой, приветствуя присутствующих, подошла к ложу, окропила святой водой усопшего и грузно опустилась в кресло рядом с герцогом Бургундским. По всей зале разносилось ее хриплое дыхание[5].

Архиепископ-примас Гийом де Три поднялся с места, повернулся сначала к телу покойного короля и, не торопясь, осенил себя крестным знамением, потом застыл на миг в молитвенной позе, воздев очи горе, к сводчатому потолку, как бы ожидая вдохновения свыше. Шепоток в зале затих.

---

[5] Примечания: 5

По всей зале разносилось ее хриплое дыхание. — Этот год был для Маго д'Артуа годом болезни. Из счетов ее дома мы узнаем, что ей пришлось пускать кровь на следующий день после этого совета, 6 февраля 1328 г., и еще 9 мая и 19 октября.

— Благородные мои сеньоры, — начал он, — когда прерывается естественный ход наследования и некому передать бразды правления государством, власть вновь обращается к своим истокам, коль скоро королевская власть зиждется на согласии пэров. Такова воля Господа и Святой церкви, которая дает нам всем урок, выбирая из своей среды первосвященника.

Складно говорил монсеньор де Три, будто читал с амвона проповедь. Пэрам и баронам, собравшимся здесь, предстояло решить, кому следует вручить временно бразды правления французским государством, для начала назначить регента, а затем — ибо мудрый обязан предвидеть все, — а затем облечь его королевской властью в том случае, если наиблагороднейшая дама Франции, королева, родит дочь, а не сына.

Лучшего среди равных — rimus inter pares, — вот кого следует назвать регентом, и при том условии, что он узами крови теснее прочих связан с королевским домом. Разве не при подобных же обстоятельствах пэры — бароны и князья церкви — некогда вручили скипетр самому мудрому и самому сильному среди них, герцогу Французскому и графу Парижскому Гуго Капету, основателю славной династии?

— Наш почивший в бозе государь, ныне еще присутствующий среди нас, — продолжал архиепископ, чуть склонив свою митру в сторону парадного ложа, — возжелал просветить и наставить нас, выразив в завещании волю свою, и назвал самого близкого своего родича, христианнейшего и доблестнейшего принца, достойного править нами и вести нас, — его высочество Филиппа, графа Валуа, Анжу и Мэна.

Христианнейший и доблестнейший принц, в ушах у которого от жестокого волнения жужжало и гудело, растерялся, не зная, как ему вести себя в такую минуту. Скромно потупить голову, уныло свесив мясистый нос, значило бы показать присутствующим, что он не слишком-то уверен в своих достоинствах и в своем праве на управление страной. А если он с вызывающе горделивым видом выпрямит стан, чего доброго, оскорбятся пэры. Поэтому он предпочел третье — застыл на месте с неподвижным лицом, уставившись на сафьяновые сапожки усопшего государя.

— Пусть каждый из вас соберется с мыслями и, вопросив свою совесть, выразит свою волю ради всеобщего блага, — закончил архиепископ Реймский.

Монсеньор Адам Орлетон поднялся первым,

едва только прозвучали последние слова.

— Я уже вопросил свою совесть, — произнес он. — Я прибыл сюда, дабы передать волю английского короля, герцога Гиеньского.

Он уже давно был искушен в таких спорах, где хотя все под рукой и решено заранее, но никто не решается сказать первое слово. Вот он и поспешил воспользоваться этим к своей выгоде.

— От имени моего государя, — продолжал английский прелат, — заявляю, что ближайшая родственница покойного короля Карла Французского — это королева Изабелла, его сестра, и именно посему надлежит ей стать регентшей.

Пожалуй, один лишь Робер Артуа ждал какого-нибудь подвоха со стороны приезжего прелата, все же остальные присутствующие лишились от изумления дара речи. Пока шли предварительные переговоры, никто даже не вспомнил о королеве Изабелле, никто и мысли допустить не мог, что она пожелает предъявить свои права на французский престол. Честно говоря, о ней просто забыли. И вдруг она возникла из северных своих туманов, вызванная к жизни словами невзрачного епископа в скуфье с меховыми наушниками. А есть ли у нее и впрямь какие-то права? Члены Совета тревожно переглядывались, шепотом

спрашивали мнение соседа. По всей видимости, все же да, и, если строго придерживаться прямой линии наследования, права у нее есть, но ведь с ее стороны подлинное безумие предъявлять их.

Уже через пять минут в Совете началось нечто невообразимое. Все говорили разом, даже не говорили, а кричали, не обращая внимания на то, что в зале лежит покойник.

Разве король Англии, герцог Гиеньский, который представлен здесь через своего посланца, разве забыл он, что женщины не могут править Францией, ведь такое решение еще не так давно дважды подтвердили пэры?

— Ведь верно, тетушка? — ехидно спросил Робер Артуа графиню Маго, желая напомнить ей их жаркие споры и ссоры по поводу закона наследования, принятого в угоду Филиппу Длинному, зятю графини.

Нет, монсеньор Орлетон ровно ничего не забыл; в частности, не забыл он и того, что герцог Гиеньский не присутствовал лично и не прислал своего представителя — безусловно, потому, что его с умыслом известили слишком поздно, — ни на один из тех Советов пэров, где так называемый салический закон о престолонаследии был применен не совсем правомочно и истолкован

слишком расширительно. Естественно, этого никогда не одобрил бы герцог.

Не обладая елейным красноречием монсеньора Гийома де Три, Орлетон говорил по-французски не совсем изящно, прибегал к устаревшим оборотам речи, что в другую минуту и в другой обстановке могло бы вызвать усмешку на губах присутствующих. Зато он имел незаурядный опыт по части юридических споров и за ответом в карман не лез.

Мессир Миль де Нуайе, советник при четырех французских королях, к месту вспомнивший о салическом законе и сумевший удачно применить его, незамедлительно возразил англичанину.

Коль скоро король Эдуард II присягал на верность королю Филиппу Длинному, он, надо полагать, считал его законным государем и тем самым одобрил закон наследования.

Но Орлетон не пожелал выслушать этого возражения. Да ничуть не бывало, мессир! Отдавая свой верноподданнический долг, король Эдуард II подтверждал этим лишь одно: герцогство Гиеньское — вассальное герцогство в отношении французской короны, и никто этого опровергать не собирается, хотя за прошедшие сто лет следовало бы уточнить подлинные границы этого

вассальства. Впрочем, никакого отношения это к закону престолонаследия не имеет. И выясним первым долгом, о чем, в сущности, идет спор — о регентстве или о короне?

— Об обоих, об обоих разом, — вмешался епископ Жан де Мариньи. — Ибо справедливые речи держал здесь монсеньор де Три: мудрость обязана предусмотреть все, и негоже нам через два месяца вновь собираться здесь, дабы заводить все те же споры.

Маго Артуа тяжело переводила дух. Ах, как же она досадовала на свое недомогание, на этот постоянный шум в ушах и голове, мешавший сосредоточиться. Ни одно из высказанных здесь предложений отнюдь ее не устраивало. Она враждебно относилась к Филиппу Валуа, ибо поддерживать Валуа значило бы тем самым поддерживать и Робера; столь же враждебно относилась она к Изабелле, ибо до сих пор не угасла еще былая ненависть к английской королеве, в свое время погубившей ее дочерей, разоблачив тайну Нельской башни. Выждав с минуту, она заговорила:

— Если можно короновать женщину, то, уж во всяком случае, не вашу королеву, мессир епископ, а не кого другого, как мадам Жанну Младшую, а

регентом при ней будет присутствующий здесь ее супруг, монсеньор д'Эврё, или его дядя, вот он сидит рядом со мной, я имею в виду герцога Эда.

Представители бургундского клана нервно шевельнулись — и герцог Бургундский, и граф Фландрский, и епископ Лаонский, и епископ Нуайонский, даже сам юный граф д'Эврё как-то приосанился.

И чудилось, будто французская корона, подвешенная здесь, под сводами залы, еще колеблется, когда и куда упасть, и каждый невольно в смутной надежде тянул к ней голову.

Филипп Валуа уже давно забыл, что выбрал для себя величественную неподвижность статуи, и показывал знаком своему кузену Роберу Артуа, что пора, мол, вмешаться. Артуа встал во весь свой рост.

— Ну и ну! — проревел он. — Как же это так получилось, что каждый нынче наперегонки спешит отречься от своих же собственных слов. Вот, к примеру, мадам Маго, возлюбленная моя тетушка, теперь уже готова признать за мадам Наваррской…

И он выделил голосом слово «Наваррской», бросив выразительный взгляд на Филиппа д'Эврё, желая напомнить ему их сговор.

— …как раз те самые права, которые она некогда оспаривала. А благородный епископ английский ссылается на действия короля, при его же помощи низложенного с престола за слабость, нерадение и измену… Да полноте, мессир Орлетон! Как же можно всякий раз перекраивать по-новому закон в угоду той или другой партии? Сегодня он на руку одним, завтра на руку другим. Мы от души любим и уважаем мадам Изабеллу, дорогую нашу родственницу, которой кое-кто из присутствующих здесь помогал и верно служил. Но ее притязания, за которые вы так самоотверженно боретесь, просто неприемлемы. А как ваше мнение, мессиры? — закончил он, призывая в свидетели пэров.

В ответ послышался одобрительный гул голосов, и горячее прочих откликнулись герцог Бурбон, граф Блуа, архиепископы Реймский и Бовезский.

Но Орлетон держал про запас еще не одно разящее оружие. Если даже допустить, что речь сейчас идет не только о регентстве, но также, возможно, и о французской короне, если даже допустить, что мы не будем оспаривать принятый ранее закон, в силу коего женщины не имеют права на французский престол, что ж, тогда он

поддерживает свои требования не от имени королевы Изабеллы, но от имени ее сына Эдуарда III, единственного потомка мужеска пола по прямой линии от Капетингов.

— Но если женщина не может взойти на престол, то тем паче не может она этот престол передать! — заметил Филипп Валуа.

— Почему же, ваше высочество? Разве французские короли рождаются не от женщины?

Этот ловкий выпад вызвал кое у кого улыбку. А сам великолепный Филипп потерял дар речи. В конце концов, этот невзрачный английский епископ не так уж не прав! Тот весьма туманный обычай, на который ссылались, когда решался вопрос о наследнике Людовика X, с тех пор не применялся. И если рассуждать здраво, то коль скоро три брата сменяли друг друга на престоле, не имея потомства мужского пола, то почему бы теперь на престол не взойти сыну здравствующей ныне сестры этих королей, а не какому-то их двоюродному брату?

Граф Геннегау, до последней минуты бывший на стороне Валуа, призадумался, поняв, какая нежданная удача может выпасть на долю его дочки.

А старик коннетабль Гоше, с морщинистыми,

как у черепахи, веками, приставив ладонь рожком к уху, допытывался у своего соседа Миля де Нуайе:

— О чем это там? Что они говорят?

Слишком сложно и туманно отстаивали все свою правоту, и это его раздражало. Вот уже двенадцать лет, как он твердо держался своего прежнего мнения о правах престолонаследия женщин. И впрямь именно он провозгласил салический закон, сумев объединить вокруг себя пэров и бросив знаменитую фразу: «Негоже лилиям прясть: Франция слишком благородное королевство, чтобы стать угодьем женщин».

Но Орлетон не умолкал, все еще надеясь тронуть слушателей. Он умолял пэров не забывать, что ныне представляется редчайший случай, какой, возможно, никогда более не повторится в веках, — объединить оба государства в единую державу. Ибо именно в этом и заключался его заветный замысел. Конец вечным распрям; конец весьма неопределенным клятвам вассалов на верность своему ленному сеньору; конец войнам в Аквитании, от которых страдают обе страны; конец бессмысленному коммерческому соперничеству, из-за которого кипит вся Фландрия! Единый и неделимый народ по обе стороны

моря. Разве вся английская знать не французского корня? Разве при обоих дворах не принят французский язык? Разве многие французские сеньоры не унаследовали угодий в Англии, равно как английские бароны владеют сейчас землями во Франции?

— Что ж, давайте нам Англию, мы не откажемся, — насмешливо заметил Филипп Валуа.

Коннетабль Гоше де Шатийон, приставив ухо прямо к губам Миля де Нуайе, внимательно слушал пересказ речи Орлетона и наливался краской гнева. Как так? Английский король желает стать регентом? А затем ему и корону подавай! Выходит, что он, Гоше, зря потел под беспощадным солнцем Гаскони, зря месил непролазную грязь на севере страны, сражаясь с этими дрянными фламандскими суконщиками, которых всегда поддерживала Англия, значит, зря погибло столько доблестных рыцарей, зря истрачено столько податей и налогов — значит, все это, выходит, ни к чему? Да над ними просто издеваются!

Даже не потрудившись подняться с места, он крикнул хоть и стариковским, но все еще мощным голосом, охрипшим от гнева:

— Никогда Франция не будет английской, и тут уж неважно, идет ли речь об особах мужеского

или женского пола, и не время выяснять, передается ли корона через чрево или нет! А потому Франция не будет английской, что бароны этого не потерпят! За мной, Бретань! За мной, Блуа! За мной, Невер! За мной, Бургундия! Да как вы можете даже слушать такое? У нас есть король, которого завтра предадут земле, это уже шестого на моей памяти, и все они водили под своими знаменами войска против Англии или тех, кого она поддерживала. У того, кто правит Францией, должна течь в жилах французская кровь. И хватит вам слушать такой вздор, да ведь мой конь и тот бы расхохотался…

Он скликал Бретань, Блуа, Бургундию все тем же громким голосом, каким некогда скликал военачальников, готовясь к бою.

— Даю вам по праву старейшего добрый совет: пусть граф Валуа, как самый близкий к трону человек, будет регентом, хранителем и правителем государства.

И он поднял руку, как бы желая подчеркнуть важность своих слов.

— Хорошо сказано! — поторопился одобрить старика Робер Артуа, тоже вскинув свою огромную ручищу и приглашая взглядом сторонников Филиппа последовать его примеру.

Теперь он чуть ли не с раскаянием думал, что по его настоянию старика коннетабля обошли в королевском завещании.

— Хорошо сказано! — хором подхватили за ним герцоги Бурбонский и Бретонский, граф де Блуа, граф Фландрский, граф д'Эврё, епископы, сановники государства и граф Геннегау.

Маго Артуа вопросительно взглянула на герцога Бургундского, но, увидев, что он тоже поднял руку, быстро подняла свою, боясь остаться последней.

Не поднялась только одна рука — рука Орлетона.

Филипп Валуа, вдруг ослабевший от пережитого волнения, твердил про себя: «Дело сделано, дело сделано!» Но размышления Филиппа прервал голос архиепископа Гийома де Три, его старинного духовника:

— Долгих дней регенту французского государства на благо народа и Святой нашей церкви!

Канцлер Жан де Шершемон уже заготовил бумагу, и это означало, что Совет закрывается и споры окончены — оставалось лишь вписать имя. Огромными буквами канцлер начертал: «Всемогущий, благороднейший и грозный сеньор Филипп, граф Валуа» — и пустил бумагу по кругу,

дабы каждый мог прочитать этот акт, не только утвердивший Филиппа в звании регента, но и подразумевавший, что, ежели у Карла IV родится дочь, регент станет королем Франции.

Все присутствующие скрепили этот документ своей подписью и личной печатью, все, за исключением герцога Гиеньского, другими словами, представлявшего его монсеньора Адама Орлетона, который отказался это сделать, заявив:

— Никогда не следует отказываться защищать свои права, даже зная, что победы не добиться. Будущее необозримо, и все мы в руце Божьей.

Филипп Валуа, приблизившись к ложу покойного, уставился на своего усопшего родича, вернее, на корону, сползшую на восковой лоб, на длинный золотой скипетр, лежащий сбоку в складках мантии, на поблескивавшие при свете свечей сапожки.

Присутствующие решили, что он молится, и все почувствовали невольное уважение к новому регенту.

Робер Артуа подошел к Филиппу и шепнул ему:

— Если бы твой отец видел тебя сейчас, вот бы порадовался, бедняга… Но ждать-то нам еще целых два месяца.

Глава IV
«Король-подкидыш»

В те давно прошедшие времена принцы крови имели особое пристрастие к карликам. Поэтому в бедных семьях считалось чуть ли не счастьем, когда у них рождался уродец: по крайней мере, можно рассчитывать на то, что в один прекрасный день такого уродца охотно купит какой-нибудь знатный сеньор, а то и сам король.

Ибо карлик — и никто в том даже усомниться не желал — некое промежуточное существо, не то человек, не то комнатная собачонка. Собачонка потому, что на него, как на самого настоящего дрессированного пса, можно надеть ошейник, вырядить в нелепое одеяние, а при случае пнуть его ногой в зад; человек — коль скоро он наделен даром речи и за стол и небольшое вознаграждение охотно согласен играть эту унизительную роль. Он обязан по приказу господина балагурить, скакать на одной ножке, хныкать или лепетать, как малое дитя, любой вздор, даже тогда, когда волосы убелит седина. Он так мал, что хозяин чувствует себя особенно значительным и

большим. Его передают по наследству от отца к сыну вместе со всем прочим добром. Он словно бы символизирует своей персоной «подданного», как существо, самой природой предназначенное покоряться чужой воле и вроде бы нарочно созданное, чтобы свидетельствовать о том, что род людской делится на разные колена, причем некоторые из них имеют неограниченную власть над всеми прочими.

Однако в этом умалении были и свои преимущества: самому крохотному, самому слабенькому, самому уродливому уготовано место среди тех, кто привык сладко есть и щеголять в роскошных одеяниях. И равно этому убогому созданию дозволено и даже вменяется в обязанность говорить в глаза своему хозяину — человеку высшей расы — то, что не потерпел бы он ни от кого другого.

То, что каждый, даже искренне преданный человек в мыслях своих адресует порой тому, кто командует им, — все эти потаенные насмешки, упреки, оскорбления — карлик выпаливает вслух, как бы по доверенности от всего клана униженных.

Существует два типа карликов: одни длинноносы, с печальными лицами и украшены двумя горбами — спереди и сзади, другие, напротив,

круглолицы, курносы, с великолепно развитым торсом, который посажен на коротенькие кривые ножки. Карлик Филиппа Валуа, Жан Дурачок, принадлежал ко второму типу. Ростом он был не выше столешницы. Носил колпак с бубенчиками, и на плечах его шелкового платьица тоже были нашиты бубенчики.

Это он как-то сказал Филиппу Валуа, хихикая и кривляясь по обыкновению:

— А знаешь, государь, как тебя зовут в народе? Зовут тебя «король-подкидыш»!

Ибо в Страстную пятницу, 1 апреля 1328 года, мадам Жанна д'Эврё, вдова короля Карла IV, наконец-то разрешилась от бремени. Редкостный в истории случай: никогда еще пол младенца, только что вышедшего из лона матери, не рассматривали с таким вниманием. И, лишь убедившись, что это девочка, присутствующие вздохнули с облегчением, и каждый счел, что сам Господь Бог выразил тем волю свою.

Баронам не пришлось пересматривать решение, принятое в день Сретения Господня. Наспех был собран Совет, где один лишь представитель Англии поднял из принципа свой голос против и где все остальные единодушно возвели на престол Филиппа Валуа.

В свою очередь, вздохнул с облегчением и народ. Казалось, теперь наконец потеряло силу проклятие Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. С древа Капетингов отпала старшая ветвь, да и дала она лишь три жалких, быстро засохших ростка.

В любой семье отсутствие сына всегда считалось бедой или же знаком слабости. А для королевского дома тем паче. То обстоятельство, что все три сына Филиппа Красивого не были способны произвести на свет потомство мужского пола, казалось всем отголоском кары. Теперь древо могло спокойно начать свой рост с корня.

Когда внезапное лихорадочное возбуждение охватывает народы, причины его надобно искать в расположении светил небесных, ибо все другие объяснения тут несостоятельны: такова, например, волна истерической жестокости, вызвавшая Крестовый поход «пастушков» и избиение прокаженных, или волна полубредового ликования, какое сопровождало вступление на престол Филиппа Валуа.

Новый король был статен и обладал мужской силой, столь необходимой основателю династии. Его первый ребенок, мальчик, уже достиг возраста девяти лет и отличался крепким сложением;

была у него также и дочь, и все знали, ибо из таких вещей двор тайны не делает, что почти каждую ночь новый король восходил на ложе супруги своей Хромоножки, проявляя при этом прежний, не угасший с годами пыл.

Голосом природа наделила его сильным и звучным, не был он ни бормотуном, как его двоюродные братья Людовик Сварливый или Карл IV, ни молчальником, как Филипп Красивый или Филипп V. Кто мог противиться ему в чем бы то ни было, кого можно было ему противопоставить? Кому бы пришла охота в эти дни веселья, охватившего всю Францию, прислушиваться к голосу десятка явно подкупленных Англией ученых правоведов, пытавшихся, впрочем довольно вяло, обосновать свои возражения против его избрания?

Филипп VI вступил на престол, так сказать, со всеобщего одобрения.

И тем не менее он был король, что называется, на случай, королевский племянник, кузен короля, а таких вокруг трона всегда целая куча; просто человек, которому повезло больше, чем всем прочим его родичам; не король, отмеченный Богом еще при рождении, не король, дарованный свыше, а «король-подкидыш», найденный в тот

самый день, когда настоящего короля не оказалось под рукой.

Это словцо, изобретенное на парижских улицах, отнюдь не умалило всеобщего доверия и радости: толпе нравится такими вот насмешливыми словечками выражать свои чувства, что создает иллюзию близости с сильными мира сего. Жан Дурачок, передавая эти слова Филиппу, имел полное право на эту шутовскую выходку, грубость которой он еще подчеркивал, хлопая себя по ляжкам и пронзительно взвизгивая, но, так или иначе, он произнес ключевое слово к целой человеческой судьбе.

Ибо Филипп Валуа, как и всякий выскочка, желал доказать, что он вполне достоин нового сана, доставшегося ему в силу его природных качеств, и вполне соответствует тому образу, какой составили себе люди о подлинном монархе.

И коль скоро король самолично творит суд и расправу, он через три недели после вступления на престол послал на виселицу казначея последнего царствования Пьера Реми, потому что, по словам наветчиков, тот изрядно порастряс государственную казну. А когда вздергивают министра финансов, это всегда приятно толпе, и французы поздравляли друг друга: наконец-то у

них такой справедливый король.

Считается обязанностью и долгом каждого государя защищать христианскую веру. Филипп издал эдикт, по которому на богохульников накладывалась двойная пеня и равно усиливалась власть инквизиции. Тем самым он угодил крупному и мелкому духовенству, а также дворянчикам и ханжам: какой же у нас благочестивый король!

Обязан государь также оплачивать оказываемые ему услуги. А сколько услуг потребовалось Филиппу, чтобы выборы в Совете пэров прошли гладко! Но король в равной мере обязан зорко следить за тем, чтобы те, кто считался верным блюстителем общественного блага при его предшественниках, не перешли бы в стан врагов. Вот почему, коль скоро почти все бывшие сановники и высшие должностные лица остались на своих прежних местах, пришлось срочно создавать новые должности или назначать на старые еще по одному человеку из тех, кто поддержал новое правление, и удовлетворять просьбы лиц, способствовавших восшествию Валуа на престол. А так как дом Валуа уже давно жил на королевскую ногу, то теперь, когда было бы просто стыдно отстать от роскошного образа жизни бывшей

династии Капетингов, началась оголтелая погоня за должностями и бенефициями. Король у нас человек щедрый!

Государь, наконец, обязан заботиться о благосостоянии своих подданных. И Филипп VI с маху уменьшил, а в иных случаях даже совсем отменил налоги, введенные при Филиппе IV и Филиппе V, на коммерческие операции, на рыночную торговлю и на торговые сделки с чужестранцами — подать, которая, по мнению тех, коих ею облагали, лишь подрывала коммерцию и рынок.

Ох, до чего же хорош у нас король, утихомиривший назойливых сборщиков податей в пользу казны! Ломбардцы, давнишние заимодавцы покойного батюшки нового короля, который и сам был им должен немалые деньги, благословляли его имя. Никто даже не подумал, что фискальные законы прежних царствований оказывали свое действие лишь постепенно, и если Франция была богата, если здесь жили лучше, чем в любой другой стране, если одевались в добротное сукно, а то и в меха, если чуть ли не в лачугах были бани и чаны для мытья, то всем этим народ был обязан предшественникам Валуа, сумевшим навести порядок в государстве, унифицировать монету, дать каждому возможность свободно трудиться

на своем поприще.

Король… король обязан быть также человеком мудрым, во всяком случае самым мудрым среди своих подданных. И Филипп начал изрекать своим звучным, от природы хорошо поставленным голосом различные истины, причем более изощренное ухо узнавало в них отголоски проповедей королевского наставника Гийома де Три.

— Мы всегда голосу разума внимаем, — говаривал он в тех случаях, когда не знал, какое следует принять решение.

А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден был отменять то, что приказал сделать накануне, он самоуверенно заявлял:

— Наиразумнейше менять собственные свои решения.

Во всех случаях лучше упредить, чем упрежденну быть, — высокопарно изрекал сей король, который в течение всех двадцати двух лет своего правления без конца сталкивался с неожиданностями, одна плачевнее другой.

Никогда еще ни один монарх не наболтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы

изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял, но голова у него была пустая, как высохший орех.

Король, настоящий король, — не забыть бы главного — должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши! На самом-то деле Филипп имел лишь один талант — отменно владел оружием. Нет, не на войне, а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах. В качестве наставника молодых рыцарей он был бы, что называется, незаменим при дворе какого-нибудь барончика. Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов о рыцарях Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху и которыми была забита его голова. Турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры, целые леса страусовых перьев на шлемах, и кони, убранные богаче, чем придворные дамы.

Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский

казначей, многочисленные сановники принимали решения за него или шли за приказаниями к Роберу Артуа. А тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король.

При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем.

Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронование, где архиепископ Гийом де Три должен был возложить корону на главу бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых пять дней.

Казалось, все королевство собралось в Реймсе. Да и не только королевство, но также и половина Европы, в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии Иоганн, граф Вильгельм Геннегау, маркиз Намюрский и герцог Лотарингский. Целых пять дней увеселений и пирушек — про такое изобилие и про такие траты реймские горожане еще никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронования, на сей раз с дорогой душой доставляли

все в двойных, тройных количествах. Впервые за последнюю сотню лет во Французском королевстве было выпито столько — вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям.

Накануне коронования король с превеликой помпой посвятил в рыцари Людовика де Креси, графа Фландрского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронования будет держать граф Фландрский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это коннетабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да еще пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фландрскому родичу?

А на следующий день, когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся.

— Мессир граф Фландрский, — повторил Лю-

довик Бурбон.

И по-прежнему Людовик де Креси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками.

— Мессир граф Фландрский, — снова поднял голос герцог Бурбон, — ежели вы присутствуете здесь или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, соблаговолите выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его.

Под сводами собора застыла мертвая тишина, прелаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно-удивленным видом; один лишь король даже бровью не повел, да Робер Артуа, сопя, закинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи.

Наконец граф Фландрский соблаговолил выступить вперед, приблизился к королю и, склонившись перед ним, проговорил:

— Сир, ежели бы кликнули графа Неверского или графа де Креси, я немедленно подошел бы к вам.

— Но почему же, мессир, почему? — спросил Филипп VI. — Разве вы не граф Фландрский?

— Сир, по титулу граф, но пока что я не извлек из этого ровно никакой пользы.

Вот тут-то Филипп VI и принял самый что ни

на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смутным взглядом и, нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрек хладнокровным тоном:

— Что вы такое говорите, кузен?

— Сир, — ответствовал граф, — жители Брюгге, Ипра, Поперинга и Касселя выдворили меня прочь из моих ленных владений и не считают меня более ни своим графом, ни своим сеньором, хорошо еще, что мне, преодолев многие трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом…

Тут Филипп Валуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона — жест этот он не раз замечал у Филиппа Красивого и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия.

— Людовик, дражайший мой кузен, — произнес он раздельно и звучно, — для нас вы граф Фландрский, и клянусь святым помазанием и великим таинством, свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам в полное владение ваше графство.

Граф Фландрский преклонил перед королем колено.

— От всей души благодарю вас, сир.

И церемониал пошел обычным порядком.

Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Робера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп д'Эврё появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры.

Сразу же после коронования Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови, иноземных сеньоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнется усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя — защищать права своих вассалов! Кое-кто из людей осмотрительных, здраво рассудив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей, — они до сих пор не забыли «грязевого похода», затеянного Людовиком Сварливым, — присоветовал государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом:

— Для того, кому по сердцу бранные труды, погода всегда подходящая!

Ему уже стукнуло семьдесят восемь, и он недаром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Фландрский вручил королю меч Карла Великого.

— Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получат неплохой урок, — проворчал коннетабль в заключение.

Разве не читали все собравшиеся здесь, под сводами Реймского собора, в рыцарских романах повествование о подвигах восьмидесятилетних героев, опрокидывающих в честном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем, да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину, которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королем?

Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил:

— Кто любит меня, пойдет за мной!

Среди единодушного восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля и как бы случайно начать с Арраса. Таким образом, Робер, вос-

пользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго.

И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию.

Некий горожанин по имени Заннекен имел под командой пятнадцать тысяч человек — ополченцев Вёрне, Дисмейдена, Попеpинга и Касселя. Желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи, он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелем, равно как и этим мужланом, который смеет корчить из себя принца крови, и повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов — Матье де Три и Робера Бертрана, прозванного Рыцарем Зеленого Льва, — с приказом предать огню окрестности Брюгге.

Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга: каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек. А рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру, с аппетитом вкушали яства под расшитыми золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы.

Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками, и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом.

Но случилось так, что, когда наш доблестный монарх, предпочитавший, по собственным его словам, упреждать, чем упрежденну быть, весело пировал в компании приближенных, в лагерь ворвалось пятнадцать тысяч фламандцев. Они потрясали знаменами, на которых был изображен петух, а под ним красовалась дерзкая надпись:

Когда сей кочет запоет,

«Король-подкидыш» Фландрию возьмет.

В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали веревки, державшие шатры, сбрасывали наземь шахматные доски, опрокидывали пиршественные столы, а заодно порубили немало сеньоров.

Французская пехота обратилась в бегство — страх гнал ее без передышки вплоть до Сент-Омера, другими словами, целых сорок лье.

А король успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов.

В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе в силу тщеславия. Французские рыцари презирали фламандское мужичье, а фламандцы, желая доказать, что, мол, и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньорам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие!

Граф Геннегау и его брат Иоганн, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламандцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королем, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжелыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть ее, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные Ланселоты и Галаады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их, предоставляя храбрым оруженосцам приканчивать побежденных ударом кинжала.

Того, кто пытался бежать, сметала конница; тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и к чему бы ни прикоснулась человеческая рука — к траве ли, к упряжи ли, к человеку или животному, — она окрашивалась алой кровью.

Битва при Касселе, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине.

А ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Робер Артуа, с какой бы отвагой они, подобно горному обвалу, ни обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Геннегау. Но всю славу пожал его шурин — Филипп VI.

Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уже не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому английскому королю, герцогу Гиеньскому, было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать по-пустому.

Никогда еще не было спасительных поражений, зато бывали роковые победы. Эти несколько дней под Касселем дорого обошлись Франции, ибо породили во множестве ложные идеи: во-первых, французы уверовали, что новый король непобедим и, во-вторых, что пехота ничего не стоит в бою. Двадцать лет спустя разгром французских войск при Креси будет прямым следствием этого заблуждения.

А пока что и те, кто собирал под свои знамена людей, и те, кто просто действовал копьем, и даже самый захудалый конюший с высоты седла жалостливо поглядывали на копошащихся внизу людишек, вышедших на поле брани пешими.

Той же осенью в середине октября в возрасте тридцати пяти лет скончалась в своем жилище, в старинном отеле Тампль, Клеменция Венгерская, злосчастная королева, вторая супруга Людовика Сварливого. Она оставила столько долгов, что уже через неделю после ее кончины по требованию итальянских заимодавцев Барди и Толомеи все ее имущество — перстни, короны, драгоценности, мебель, белье, ювелирные изделия и даже кухонная утварь — пошло с торгов.

Старик Спинелло Толомеи, волочивший ногу, выставив солидное свое брюшко, по обыкнове-

нию прикрыв один глаз и широко открыв другой, самолично пожаловал на эту распродажу, где шестеро золотых дел мастеров, они же оценщики, назначенные королем, определяли цену каждого предмета. И все, что дал королеве Клеменции лишь один краткий год непрочного счастья, все пошло прахом, все развеялось как дым.

Целых четыре дня подряд оценщики Симон де Клокет, Жан Паскон, Пьер из Безансона и Жан из Лилля громогласно возглашали:

— Золотая шляпа[6] с четырьмя крупными розовыми рубинами — баласами, четырьмя крупными изумрудами, шестнадцатью мелкими рубинами, шестнадцатью мелкими изумрудами и восемью александрийскими рубинами оценена в шестьсот ливров. Куплена королем!

— Палец с четырьмя сапфирами, из коих три имеют квадратную форму, а один кабошон, оценен в сорок ливров. Куплен королем!

— Палец с шестью восточными рубинами, тремя изумрудами квадратной формы и тремя смарагдами оценен в двести ливров. Куплен королем!

---

[6] Примечания: 6

Золотая шляпа. — В Средние века это обозначение использовалось параллельно со словом «корона». Равным же образом в ювелирном ремесле слово «палец» означало «кольцо».

— Позолоченная серебряная миска, двадцать пять кубков, два блюда, одна чаша — оценено в двести ливров. Куплены его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

— Дюжина позолоченных кубков с финифтью, украшенных гербами Франции и Венгрии, большая позолоченная солонка на подставке в виде четырех обезьян, все вместе за четыреста пятнадцать ливров. Куплено его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

— Кошель, как снаружи, так и с изнанки расшитый золотом и жемчугом, а с внутренней стороны кошеля вставлен восточный сапфир. Оценен в шестнадцать ливров. Куплен королем!

Торговая компания Барди приобрела самую дорогую вещь — перстень Клеменции Венгерской с огромнейшим рубином, оцененный в тысячу ливров. Впрочем, Барди и не собирались за него платить, коль скоро стоимость перстня шла в частичное погашение долга покойной, к тому же они не сомневались, что смогут перепродать его папе, который сказочно разбогател теперь, хотя в свое время тоже был их должником.

Робер Артуа, желая показать публике, что всякие там кубки и прочая посудина для вина не самая главная его забота, приобрел за тридцать

ливров Библию на французском языке.

Церковное облачение, подрясники и стихари купил епископ Шартрский.

Ювелир Гийом Фламандец по дешевке приобрел золотой столовый прибор усопшей королевы.

За ее лошадей выручили шестьсот девяносто два ливра. Карета мадам Клеменции, равно как и карета ее придворных дам, тоже пошла с молотка.

И когда все до последней мелочи было вынесено из отеля Тампль, присутствующим почудилось, будто навсегда закрылись двери этого проклятого Богом дома.

И впрямь получалось так, словно в нынешнем году прошлое угасало само по себе, расчищая место новому царствованию. В ноябре месяце скончался епископ Аррасский, Тьерри д'Ирсон, канцлер графини Маго. В течение тридцати лет был он советником графини, в свое время также и ее любовником, и верным ее слугой, всегда и везде, где только затевала она интригу. Вокруг Маго замкнулся круг одиночества. А Робер Артуа назначил в Аррасскую епархию некоего Пьера

Роже, священнослужителя[7], преданного дому Валуа.

Все поворачивалось к Маго черной стороной, и все благоприятствовало Роберу, кредит которого непрерывно рос и который добился высших почестей в государстве.

В январе месяце 1329 года Филипп VI сделал графство Бомон-ле-Роже пэрством — тем самым Робер становился пэром Франции.

Коль скоро король Англии что-то медлил приносить свою вассальную присягу, решено было вновь захватить герцогство Гиеньское. Но прежде чем приступить к военным действиям, отрядили Робера Артуа в Авиньон, чтобы добиться поддержки папы Иоанна XXII.

Две волшебно прекрасные недели провел Робер на берегах Роны. Ибо Авиньон, куда стекалось все злато христианского мира, являл собой для того, кто любит хорошо поесть, поиграть в зернь и позабавиться с веселыми прелестницами, град несравнимых утех под властью восьмидесятилет-

---

[7] Примечания: 7

…некоего Пьера Роже, священнослужителя… — Пьер Роже, перед тем аббат Фекамский, участвовал в переговорах между парижским и лондонским дворами, до Амьенского оммажа. Был назначен в Аррасское епископство 3 декабря 1328 г. в замещение Тьерри д'Ирсона; потом был последовательно архиепископом Санским, архиепископом Руанским и, наконец, в 1342 г. по смерти Бенедикта XII был избран папой. Правил под именем Клемента VI.

него папы-аскета, с головой погруженного в дела финансовые, политические и теологические.

Святой отец охотно давал новоиспеченному пэру Франции аудиенцию за аудиенцией; в папском дворце в честь Робера устроили пир, и королевский посланец достойно поддерживал беседу с кардиналами. Но верный склонностям бурной своей юности, он завязал также знакомство с разным сбродом. Где бы Робер ни появлялся, он тут же и без всяких усилий со своей стороны привлекал к себе то девицу легкого поведения, то юнца дурных наклонностей, то преступника, ускользнувшего из лап правосудия. Пусть в городе имелся один-единственный скупщик краденого, Робер обнаруживал его уже через четверть часа. Монах, изгнанный из ордена после какого-нибудь крупного скандала, причетник, обвиненный в краже или клятвопреступлении, с самого утра толклись в его прихожей, надеясь найти в Робере защитника и покровителя. На улицах его то и дело приветствовали прохожие с весьма подозрительными физиономиями, и он еще долго, но тщетно старался припомнить, где же, в каком именно притоне какого именно города, он в свое время встречался с ними. И впрямь он внушал доверие самому разнокалиберному

сброду, и то обстоятельство, что ныне он стал вторым лицом во французском государстве, ничуть не меняло дела.

Бывший его слуга Лорме ле Долуа был слишком стар для долгих путешествий и уже не сопровождал своего господина. Но ту же самую роль и те же самые обязанности выполнял теперь при Робере Жилле де Нель, и хоть был он значительно моложе Лорме, успел пройти ту же школу. Не кто иной, как Жилле, загнал в сети его светлости Робера некоего Масио Алемана, оставшегося не у дел судейского пристава, готового на все и, что самое существенное, бывшего родом из Арраса. Оказалось, этот самый Масио отлично знал епископа Тьерри д'Ирсона, — дело в том, что епископ Тьерри на склоне лет своих завел себе подружку и для души, и для ложа, некую Жанну Дивион, бывшую на добрых двадцать лет моложе своего возлюбленного; теперь, после смерти епископа, она жалуется на всех перекрестках, что графиня Маго чинит ей, мол, разные неприятности. Если его светлость пожелает поговорить с этой дамой Дивион…

Еще и еще раз Робер Артуа убеждался в том, сколь многое могут вам поведать люди, не пользующиеся никакой репутацией или пользующиеся

довольно скверной. Конечно, пристав Масио не тот человек, которому можно спокойно доверить свой кошелек, зато он знает много весьма и весьма занятных вещей. Поэтому его обрядили в новое платье, дали ему добрую лошадку и отправили на север.

Вернувшись в марте месяце в Париж, Робер, радостно потирая руки, утверждал, что скоро в графстве Артуа произойдут кое-какие перемены. Намеками он давал понять, что епископ Тьерри в свое время утаил королевские эдикты в интересах графини Маго. Десятки раз порог его кабинета переступала какая-то женщина с низко надвинутым на лоб капюшоном, и он вел с ней долгие секретные переговоры. С каждой неделей он становился все веселее, все увереннее в себе и громогласно утверждал, что враги его не сегодня завтра будут повержены в прах.

В апреле месяце английский двор, уступив настояниям папы, вновь прислал в Париж епископа Орлетона в сопровождении многочисленной свиты — целых семьдесят два человека: тут были знатные сеньоры, и прелаты, и ученые правоведы, и писцы, и слуги, а целью его приезда было выторговать наиболее приемлемую форму принесения вассальной присяги. Словом, собирались

заключить настоящий договор.

Дела английского государства шли не слишком-то блестяще. Авторитет лорда Мортимера не только не вырос, но значительно упал после того, как он под угрозой вооруженных солдат сгонял пэров для обсуждения важнейших вопросов и точно таким же манером принуждал заседать парламент. Пришлось ему также подавить мятеж баронов, поднявшихся против него с оружием в руках и группировавшихся вокруг Генри Ланкастера Кривая Шея, так что Мортимеру, управлявшему страной, приходилось сталкиваться с непомерными трудностями.

В начале мая отошел в лучший мир доблестный Гоше де Шатийон на пороге славного своего восьмидесятилетия. Появился на свет он еще при Людовике Святом и целых двадцать семь лет верно служил своим королям, выполняя обязанности коннетабля. Не раз громовой его голос предрешал исход битвы, а равно клал конец спорам на Королевских советах.

26 мая юный король Эдуард III, заняв по примеру отца пять тысяч ливров у ломбардских банкиров с целью покрыть дорожные расходы, сел в Дувре на корабль, дабы принести венценосному кузену, королю Франции, свою вассальную

присягу.

Его не сопровождали ни его мать Изабелла, ни лорд Мортимер, справедливо опасавшиеся, как бы во время их отсутствия власть не перешла в другие руки. Так что шестнадцатилетний король Англии, порученный попечениям двух епископов, один отправился к самому блестящему двору во всей Европе.

Ибо Англия была слаба, разъединена, а Франция имела все. Не было в целом христианском мире более могущественной державы. Да и как было не завидовать этому процветающему государству с многочисленным населением, столь богатому различными промыслами, со столь успешно развивающимся сельским хозяйством, этому государству, руководимому пока еще опытными людьми и пока еще деятельной знатью; и «король-подкидыш», правящий страной уже целый год, пожинающий лишь победы да успехи, вызывал всеобщую зависть, как ни один другой король в целом свете.

Глава V

Гигант перед зеркалами

Ему хотелось не только показать себя людям, но и самому на себя наглядеться. Хотелось, чтобы его супруга, красавица-графиня, чтобы все его трое сыновей — Жан, Жак и Робер, старшему из которых уже минуло восемь и который уже сейчас был не по возрасту высок и крепок, — чтобы его конюшие, слуги, да и все люди, привезенные им с собой из Парижа, видели его во всем блеске великолепия, но он желал также покрасоваться перед самим собой и повосхищаться своей красотой.

Поэтому-то он и потребовал, чтобы все зеркала, которые только есть в предоставленном ему доме или у его свитских, притащили и развесили вплотную одно к другому по стенам его опочивальни, обтянутой гобеленами, — тут были зеркала из отполированного до блеска серебра[8], круглые, как тарелки, и зеркала на ручке, зеркала стеклянные, наложенные на оловянный лист,

[8] Примечания: 8

…тут были зеркала из отполированного до блеска серебра… — До XVI в. большие зеркала, дающие отражение по грудь или в полный рост, еще не существовали; тогда были только маленькие зеркала, которые вешались или ставились на мебель, да еще карманные. Делали их либо из полированного металла, как в древности, либо, начиная с XIII в., из стекла, на обратную сторону которого прозрачным клеем наклеивали оловянную фольгу. Нанесение на стекло ртутной или оловянной амальгамы было изобретено только в XVI в.

вырезанные в виде восьмиугольника и оправленные в позолоченную раму. Да, не слишком-то возрадуется епископ Амьенский, увидев, как продырявили гвоздями его прекрасные гобелены. Ну да ладно! Принц крови может себе такое позволить. Просто Роберу Артуа, сеньору Конша и графу Бомон-ле-Роже, пришла охота видеть себя в одеянии пэра, тем паче что надел он его впервые.

Как ни вертелся Робер, как ни крутился, отступал на два шага, подходил ближе, все равно ему не удавалось разглядеть себя целиком, а только частями, подобно разрезанному на куски витражу: слева золотая чашка длинной шпаги, а чуть повыше, справа, кусок груди, так что видны вышитые на шелковом кафтане гербы, вот там плечо, и к нему сверкающей пряжкой пристегнута пышная мантия пэра, а у самого пола, где-то там далеко внизу, бахрома длинной епанчи, морщившейся над золотыми шпорами, а потом, где-то уже на самом верху, корона пэра о восьми одинаковых цветках, нечто весьма монументальное, тем более что по его приказу в корону вставили все рубины, приобретенные на распродаже имущества покойной королевы Клеменции.

— Одет я, надо сказать, на славу, — решил он. — Но до чего же досадно, что я так долго не получал звания пэра, ибо костюм пэра мне идет, здорово идет!

Графиня Бомон, тоже в парадном одеянии, по-видимому, лишь наполовину разделяла ликование своего спесивого супруга.

— А вы уверены, Робер, — озабоченно спросила она, — что эта дама придет вовремя?

— Ну конечно же, конечно, — поспешил ответить Робер. — И если даже она не явится сегодня, я все равно оглашу свои претензии, а бумаги представлю завтра.

Единственное, что омрачало радость Робера от созерцания нового его туалета, — это то, что впервые пришлось надеть его в жару, ибо лето нынче выдалось раннее. Он безбожно потел под всей этой сбруей, под всем этим золотом, бархатом и плотными шелками, и, хотя еще с утра хорошенько помылся в чане, от него уже шел крепкий, терпкий запах хищного зверя.

В распахнутое окно виднелось пронизанное солнечным светом небо, доносился трезвон соборных колоколов, заглушавших уличные шумы, хотя заглушить их, казалось бы, не так-то легко — шутка ли, в город съехалось пять королей, и

каждый со своим двором.

И впрямь в этот день — 6 июня 1329-го — в Амьене собралось пять королей. По словам канцлера, такого съезда никто из старожилов не помнит. Для принятия присяги юного английского короля Филипп Валуа с умыслом пригласил своих родственников и союзников, королей Наварры, Богемии и Майорки, а также графа Геннегау, герцога Афинского, и заодно всех пэров, герцогов, графов, епископов, баронов и маршалов.

Шесть тысяч коней, приведенных французами, и всего шестьсот, приведенных англичанами. Ах, как порадовался бы Карл Валуа за своего сына, да и за своего зятя Робера Артуа, если бы мог присутствовать на таком пышном сборище!

Новому коннетаблю Раулю де Бриенну поручили для начала заняться размещением гостей. Со своей задачей он справился блестяще, хоть и похудел за несколько дней на пять фунтов.

Король Франции со всем семейством занял епископский дворец, правое крыло коего предоставили Роберу Артуа.

Английского короля поселили в Мальмезоне[9],

---

[9] Примечания: 9

Английского короля поселили в Мальмезоне... — Этому особняку Мальмезон, дворцовых размеров, предстояло стать впоследствии городской ратушей Амьена.

а прочих королей определили на постой в домах богатых горожан. Слуги спали вповалку в коридорах, конюшие расположились лагерем вокруг города вместе с лошадьми и повозками для господских пожитков.

Из ближайшей провинции, из соседних графств и даже из Парижа привалило несметное количество народа. Зеваки устраивались прямо на папертях.

В то время пока канцлеры двух держав выторговывали последние пункты и формулы вассальной присяги и после бесполезных и многословных споров единодушно пришли к соглашению, что договориться им не удастся, вся знать Европы в течение этой недели развлекалась турнирами и состязаниями на копьях, глазела на бродячих лицедеев, дававших свои представления, на жонглеров, на танцующих, пировала, кутила, пила, причем пиршественные столы были расставлены во фруктовых садах при замках, и начиналось великое едение в полдень, а заканчивалось при мерцании звезд.

С амьенских заболоченных земель[10] на плоскодонках, которые одни лишь и могли пройти по узеньким каналам, и то если гребец орудовал вместо весел шестом, доставляли груды ирисов, лютиков, гиацинтов и лилий, разгружали их на причалах речных рынков, разбрасывали цветы по улицам, дворам и залам, где проходили короли. Город был напоен ароматом цветов, безжалостно раздавленных ногами и колесами; цветочная пыльца липла к подошвам, и запах ее примешивался к крепкому запаху конюшни и толпы.

А еда! А вина! А мясо! А пироги! А пряности! На бойни, работавшие круглые сутки, гнали стада быков и свиней, целые отары овец; охотничью добычу — ланей, оленей, кабанов, косуль, зайцев, всякую морскую рыбу — осетров, семгу, окуней, а также и добычу речную — длинных щук, лещей, линей, раков и разную домашнюю птицу — нежных каплунов, на диво откормленных гусей, пестрых фазанов, лебедей, белоснежных

---

[10] Примечания: 10

С амьенских заболоченных земель... — Эти земли изборождены каналами, дренирующими грунтовые воды, по которым огородники передвигаются на длинных черных плоскодонках, приплывая прямо на Водяной рынок в Амьене. Огороды (hortillonnages) покрывают территорию почти в триста гектаров. Латинское происхождение названия (hortus — сад) позволяет предположить, что создание этих огородов относится к временам римской колонизации.

цапель, павлинов с переливчатыми хвостами — полными повозками везли в дворцовые поварни. Повсюду откупоривали бочки с вином.

Любой, будь он последний слуга, разгуливавший в ливрее, держал себя как важный сеньор. Девушки совсем ошалели. Со всех сторон хлынули итальянские торговцы на эту ярмарку, какие бывают лишь в сказках и какую устроили здесь по приказу короля. Фасады амьенских домов исчезали под штуками шелка, парчи, ковров, вывешенных из окон и заменявших флаги.

Слишком громко звонили колокола, оглушительно ревели фанфары, кричали люди, слишком много было здесь коней в парадной упряжи и охотничьих псов, слишком много еды и питья, слишком много принцев крови, слишком много воров, уличных девок, слишком много роскоши и золота, слишком много королей! Было отчего голове пойти кругом.

Все королевство пьянело от созерцания своей мощи, как недавно пьянел перед зеркалами Робер Артуа, созерцая свое отражение.

Лорме, дряхлый его слуга, тоже одетый во все новое, но даже сейчас, в эти праздничные дни, не перестававший брюзжать… о, в сущности, по пустякам, потому что Жилле де Нель слишком

уж расхозяйничался в доме, потому что вокруг сеньора вертятся все какие-то новые люди… подошел к Роберу и произнес вполголоса:

— Дама, которую вы ждали, здесь.

Гигант повернулся к Лорме всем телом.

— Веди ее ко мне, — приказал он.

Затем подмигнул своей супруге-графине, широким взмахом руки выставил всех из комнаты и еще крикнул вслед:

— А ну уходите, стойте пока во дворе.

Оставшись один, он подошел на минутку к окну, поглядел на толпу, собравшуюся полюбоваться торжественным въездом знатных сеньоров и напиравшую на еле сдерживавшую ее цепь лучников. А там, наверху, вовсю заливались колокола; с лотков поднялся вдруг запах горячих вафель, и сразу весь воздух пропитался аппетитным их ароматом; окрестные улицы были сплошь забиты народом; из-за стоявших впритык друг к другу барок лишь кое-где поблескивали под солнцем воды канала Оке.

Робера Артуа распирало чувство торжества, но оно, это чувство, станет еще сильнее через полчаса, когда он в соборе протиснется к своему кузену Филиппу Валуа и скажет ему несколько слов, от которых задрожат собравшиеся там удивленные

короли, герцоги и бароны. И каждый отправится восвояси не в столь радужном настроении, в каком он явился в собор. И в первую очередь его дражайшая тетушка Маго и герцог Бургундский.

О, конечно, Робер удачно обновит свое пышное одеяние пэра! Двадцать, нет, больше двадцати лет упорной борьбы нынче увенчаются успехом. И однако в этой неизбывной радости и гордыне была какая-то трещинка, какая-то легчайшая печаль. Откуда бы ей взяться, особенно теперь, когда все ему улыбалось, когда исполнялись все его желания? И вдруг он понял: во всем повинен этот запах вафель. Пэр Франции, который сейчас потребует себе графство своих предков, не может взять и просто так выйти на улицу, хорош он будет в своей короне о восьми зубцах, если начнет у всех на глазах уплетать вафли. Пэру Франции заказано драть глотку, смешиваться с толпой, щипать встречных девушек, а вечерами орать в компании четырех потаскух, что было дозволено ему двадцатилетнему, ему, вечно сидевшему без гроша. Но именно эта печаль его и утешила. «Значит, — подумал он, — еще играет в жилах живая кровь!»

Посетительница скромно стояла у порога, боясь помешать думам этого знатного сеньора, да еще

в такой огромной короне.

Было ей лет тридцать пять, лицо резко суженное к подбородку, резко очерченные скулы. Из-под капюшона дорожного плаща выглядывали косы, а от дыхания округлой пышной груди мерно поднималась и опадала шемизетка белого полотна.

«Ну и черт! Видать, наш епископ не скучал», — подумал Робер, оглядывая посетительницу.

Дама сделала реверанс, низко согнув одно колено. А Робер протянул ей свою огромную лапищу, всю в рубиновых перстнях.

— Давайте, — скомандовал он.

— При мне ничего нет, ваша светлость, — ответила дама.

Лицо Робера исказилось от гнева.

— Как так, а где же бумаги? — воскликнул он. — Вы меня сами заверили, что принесете их нынче!

— Я только что из замка Ирсонов, ваша светлость, мы там вчера были вместе с приставом Масио. Мы прямо прошли к железному кофру, вмурованному в стену, и отперли его ключами, которые велели изготовить заранее.

— Ну и что?

— Кто-то побывал там до нас. Кофр оказался

пустым.

— Чудесная, просто чудесная новость! — проговорил Робер и даже чуть побледнел. — Вот уже целый месяц вы голову мне морочите: «Ваша светлость, ваша светлость, я могу вручить вам документы, из которых явствует, что графство принадлежит именно вам! Я знаю, где они спрятаны! На следующей же неделе я их вам принесу, а вы дадите мне в обмен землю и деньги». А потом проходит неделя, проходит другая… «В замке безвыездно живут Ирсоны, а при них я не смею там показаться». «Вчера я туда наконец проникла, ваша светлость, да ключ оказался никуда не годный. Потерпите еще чуточку…» И в тот день, когда я должен наконец вручить королю два документа…

— Три, ваша светлость, три: брачный контракт графа Филиппа, вашего батюшки, письмо графа Робера, вашего деда, и еще одно письмо мессира Тьерри.

— Три! Это уже совсем из рук вон! Являетесь сюда и преспокойно сообщаете мне: «У меня ничего нет, кофр, мол, пустой». Неужели вы думаете, что я вам поверю?

— Да спросите пристава Масио, мы же с ним вместе ходили! Разве вы не понимаете, ваша

светлость, что мне еще хуже, чем вам!

В глазах Робера Артуа промелькнула недобрая искра подозрения, и он спросил совсем иным тоном:

— Скажи-ка, любезная Дивион, уж не надеешься ли ты меня одурачить? Хочешь у меня побольше вытянуть или, может, перекинулась на сторону Маго?

— Ваша светлость! Ну как вам такое даже в голову могло прийти! — воскликнула она, еле сдерживая слезы. — И это после всего того зла, что причинила мне графиня Маго, бессовестно присвоившая себе все, что оставил мне по завещанию мой дорогой сеньор Тьерри! Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы хорошенько отплатили мадам Маго за все ее злодеяния! Подумайте сами, ваша светлость: двенадцать лет я была верной подругой Тьерри, хотя люди пальцем на меня показывали. Но ведь епископ такой же человек, как и все прочие. А люди преисполнены злобы…

И Дивион пустилась рассказывать историю всех своих бед, которую Робер слыхал по крайней мере раза три. Говорила она быстро; из-под ровной линии бровей ее взгляд, хоть и скользивший по Роберу, казалось, был обращен куда-то внутрь, как у всех, кто полностью поглощен лишь соб-

ственными своими делами и кого ничто другое на свете не интересует.

Само собой разумеется, ей нечего надеяться на мужа, ведь она ушла от него и открыто поселилась в доме епископа Тьерри. Конечно, муж у нее человек покладистый, возможно, еще и потому, что он уже давно не мужчина… Его светлость понимает, что я имею в виду… А епископ Тьерри, желая уберечь ее от превратностей судьбы, упомянул ее в своем завещании, оставил ей доходные дома и золотые монеты в благодарность за то, что она подарила ему несколько счастливых лет. Но не зря он опасался мадам Маго, которую, хочешь не хочешь, ему пришлось назначить своей душеприказчицей.

— Она всегда на меня косилась за то, что я моложе ее, и за то, что в свое время — Тьерри сам мне рассказал — он делил с ней ложе. Он отлично понимал, что, когда его не станет, она сыграет со мной злую шутку и что все Ирсоны — а они тоже против меня настроены, особенно придворная дама Маго Беатриса, самая мерзкая тварь из всей их семейки, — устроят так, чтобы выгнать меня вон и лишить наследства.

Робер уже не слушал эту болтовню, которой не предвиделось конца. Он снял свою тяжелую

корону и положил ее на ларь, задумчиво поскреб свою рыжую шевелюру. Рухнули все его великолепно задуманные козни. «Хоть одну стоящую бумажку, брат мой, и я тут же прикажу обжаловать решение судов, состоявшихся в тысяча триста девятом и тысяча триста восемнадцатом годах, — вот что сказал ему Филипп VI. — Но пойми ты меня, как бы я ни желал тебе услужить, не могу я этого сделать, иначе пришлось бы менять свое решение относительно Эда Бургундского, а к каким это приведет последствиям, ты, очевидно, сам догадываешься». И ведь там была не просто бумажка, а сокрушительные документы, даже акты, которые Маго велела припрятать или уничтожить, дабы завладеть наследством Артуа, а он-то еще похвалялся, что их достанет!

— Я ухожу, — заявил он, — через несколько минут мне надо быть в соборе, где сеньору приносится присяга в вассальной верности.

— Какая присяга?

— Как какая, английского короля, конечно!

— Ах, так вот, значит, почему в городе такая толчея, я еле по улице пробралась.

Ничего-то она, эта дурочка, не видит, только и думает с утра до ночи об обрушившихся на нее горестях, ничего не понимает и даже спросить,

что тут происходит, не удосужилась!

Робер подумал было, уж не слишком ли легкомысленно он доверился россказням этой женщины, а вдруг ни бумаг, ни железного кофра Ирсонов, ни признания епископа никогда и не существовало, а все это выдумала Дивион. И Масио Алемана тоже одурачила, а может быть, он просто ее соучастник?

— А ну-ка выкладывайте всю правду, женщина! Небось никогда вы этих бумаг и в глаза не видывали.

— Как не видела, ваша светлость! — воскликнула Дивион, приложив ладони к своему скуластому лицу. — Было это в замке Ирсонов как раз в тот день, когда Тьерри почувствовал себя плохо и его перенесли в его отель в Аррасе. «Жаннетта, — вот что он мне сказал, — я хочу оградить тебя от козней графини Маго, как я сам старался себя от них оградить. Она считала, что письма с печатями, которые по ее приказу изъяли из архивов, чтобы лишить наследства его светлость Робера, так вот, она считала, что письма эти все сожжены. Но на ее глазах сожгли только те, что находились в парижских архивах. А копии, хранящиеся в Артуа, — это собственные слова Тьерри, ваша светлость, — я ее уверил, что они не существуют,

но сберег их здесь, да еще добавил к ним собственноручно написанное письмо». И Тьерри подвел меня к кофру, вмурованному в нишу в его кабинете, и дал мне прочитать несколько листов, сплошь покрытых печатями; я даже глазам своим не поверила — неужели, думаю, может человек дойти до такой низости. Там же, в кофре, лежали восемьсот золотых ливров. И Тьерри на всякий случай, если, мол, с ним что случится, дал мне ключ.

— Ну и когда вы в первый раз явились в замок Ирсонов…

— Я перепутала ключи; наверно, я тот ключ потеряла. Все несчастья на мою голову валятся! А когда так плохо начинается, то и…

Да и растеряха к тому же! Нет, очевидно, она правду говорит. Если хочешь обмануть человека, такой ерунды нарочно не выдумаешь. Робер с удовольствием придушил бы ее, если бы от этого хоть какая-то польза была.

— Очевидно, после моего посещения они что-то заподозрили, — добавила она, — обнаружили кофр и взломали замки. Конечно, тут без Беатрисы не обошлось…

Дверь приоткрыли, и между створками просунулась голова Лорме. Робер досадливо махнул

рукой, и голова исчезла.

— Но ведь, ваша светлость, — продолжала Жанна Дивион таким тоном, словно хотела искупить свою вину, — все эти письма можно, в конце концов, сделать заново, как по-вашему?

— Как так заново?

— А что ж тут такого, раз известно, что там было написано! Я, например, отлично помню, могу вам повторить почти слово в слово письмо монсеньора Тьерри.

Глядя куда-то вдаль пустыми глазами, подчеркивая каждую фразу вытянутым вперед пальцем, она начала:

— «Чувствую тяжкую на себе вину, что столь долго таил то, что права на графство Артуа принадлежат его светлости Роберу по соглашению, принятому перед бракосочетанием его светлости Филиппа Артуа с мадам Бланкой Бретонской; соглашение сие составлено в двух экземплярах, скрепленных печатью, из коих вторым владею я, а другой был изъят из королевских архивов одним из наших знатнейших вельмож… И единственное желание мое, чтобы после кончины графини Маго, по приказу коей, а также желая ей угодить, действовал я, буде Господь Бог призовет ее прежде меня, вернуть упомянутому выше

его светлости Роберу то, что я хранил все это время...»

Та самая Дивион, что преспокойно теряла ключи, могла зато запомнить слово в слово прочитанное ею всего один раз послание. Бывают же люди, у которых так удивительно устроены мозги! И она предлагает Роберу, как нечто самое естественное в мире, подделать документы! Видно, полностью лишена понятия добра и зла, не ощущает никакой разницы между тем, что хорошо и что дурно, между тем, что дозволено, и тем, что запрещено. По ее разумению, хорошо то, что идет ей на пользу. За свои сорок два года Робер успел совершить чуть ли не все смертные грехи: убивал, лгал, доносил, грабил, насиловал. Но подделывать документы — такого ему еще не доводилось!

— Есть еще один бывший бальи из Бетюна, Гийом де ла Планш, он тоже должен все это помнить и поможет нам, ибо в те годы служил у монсеньора Тьерри писцом.

— А где он, этот ваш бывший бальи? — спросил Робер.

— В тюрьме.

Робер досадливо пожал плечами. Час от часу не легче! Ах, какой же он свершил непростительный

промах, так глупо поторопившись в столь щекотливом деле. Надо было подождать, когда бумаги будут у него в руках, а он удовольствовался обещанием. Правда и то, что представился весьма удобный случай — присяга английского короля, недаром сам Филипп VI советовал не упускать благоприятной минуты…

Старик Лорме снова просунул голову в дверь.

— Ладно, ладно, сам знаю! — нетерпеливо крикнул Робер. — Невелико дело — только площадь пересечь.

— Король сейчас прибудут, — укоризненно отозвался Лорме.

— Хорошо, иду.

В конце концов, король всего-навсего его шурин, да и королем-то стал лишь потому, что он, Робер, сделал для этого все, что требовалось сделать. Да тут еще эта жарища! По спине под тяжелой мантией пэра стекали струйки пота.

Робер подошел к окну и взглянул на собор с двумя его непохожими друг на друга ажурными башенками. Косые солнечные лучи ударяли прямо в огромную розетку витража. По-прежнему пели колокола, и трезвон их заглушал людской гомон.

В сопровождении свиты по ступеням собора

прошествовал герцог Бретонский.

А за ним, шагах в двадцати, ковылял хроменький герцог Бурбонский, шлейф его мантии несли двое конюших.

Вслед за Бурбоном появилась графиня Маго Артуа со своей свитой. Да, нынче любезная тетушка имела право шагать уверенно! Багроволицая, чуть ли не на голову выше всех мужчин, она приветствовала толпу легким наклонением головы с видом царствующей императрицы. А ведь на самом деле просто воровка, лгунья, отравительница королей, обыкновенная преступница, что выкрадывает бумаги, скрепленные печатями, из королевских архивов! Быть почти у цели, чтобы опозорить ее при всех, одолеть ее — словом, добиться победы после двадцати лет неусыпных трудов, и вот отказаться от всего... и почему? Да потому, что наложница епископа перепутала ключи! Где это сказано, что с людьми злонравными нельзя сражаться тем же оружием злобы? И обязательно ли быть столь щепетильным в выборе средств, когда речь идет о торжестве справедливости?

По здравом рассуждении выходило, что если графиня Маго завладела бумагами, взломав кофр в замке Ирсонов, — предположим даже, что она

их не сразу уничтожила, хотя именно так, казалось, она и должна была поступить, — то ей было бы весьма не с руки предъявлять их кому бы то ни было или хотя бы намекнуть на их существование, коль скоро бумаги эти — прямое доказательство ее вины. Здорово она покрутится, эта самая Маго, ежели предъявить ей письма, как две капли воды схожие с исчезнувшими! Будь у него хотя бы еще один день, чтобы все хорошенько обдумать, порасспросить кого следует… А приходится давать решительный ответ через час, не прибегая ни к чьей помощи, ни к чьему совету.

— Мы еще увидимся с вами, женщина, — пообещал он. — Только молчок, чтобы все было тихо!

Все-таки подделка документов — риск, и немалый…

Он взял в руки свою массивную корону, водрузил ее себе на голову, кинул взгляд в зеркала, отославшие ему обратно его отображение, рассеченное на тридцать кусков. Потом поспешил из комнаты, боясь опоздать в собор.

Глава VI
Вассальная присяга и клятвопреступление

«Никогда сын короля не преклонит колено перед сыном графа!»

Сам шестнадцатилетний монарх изобрел эту формулу и передал ее своим советникам, дабы они передали ее французским легистам.

— Как же так, монсеньор Орлетон, — говорил юный Эдуард, прибыв в Амьен, — как же так, ведь всего год назад вы здесь же во Франции доказывали, что я имею больше прав на французский престол, чем мой кузен Валуа, а теперь вдруг вы соглашаетесь с тем, что я должен пасть перед ним ниц?

Возможно, потому, что в детские годы Эдуард III страдал от неурядиц, раздиравших английский двор, из-за нерешительности и слабости своего отца, он сейчас, впервые предоставленный собственной воле, хотел одного — чтобы вновь восторжествовали ясные и здравые принципы. И в течение недели, проведенной в Амьене, он спешил обсудить все эти вопросы.

— Но лорд Мортимер весьма дорожит дружбой с Францией, — возражал ему Джон Мальтраверс.

— Но, лорд сенешаль, — прервал его Эдуард, — по-моему, вы находитесь здесь, чтобы меня охранять, а не давать мне советы.

Юноша с трудом скрывал отвращение, какое испытывал к барону Мальтраверсу с его лошадиной физиономией, к тюремщику и, безусловно, убийце Эдуарда II. Как тяжело было юному государю вечно находиться под надзором Мальтраверса или, что вернее, быть объектом его шпионских наблюдений.

— Лорд Мортимер, — продолжал он, — наш верный друг, но он не король, и не ему предстоит приносить присягу королю Франции в вассальной верности. А граф Ланкастер, глава Регентского совета, единственный, кто имеет право принимать решения от моего имени, перед отъездом вовсе не наказывал, чтобы я приносил присягу, как последний вассал. И я не намерен поэтому действовать по-вассальски.

Епископ Линкольнский Генри Бергерш, канцлер Англии, тоже принадлежал к партии Мортимера, но не был столь слепо предан ему, как Мальтраверс, да к тому же, сам человек блестящего ума, не мог не одобрить вопреки всем

грядущим неприятностям намерения юного короля отстаивать свое достоинство, а одновременно и интересы своей державы.

Ибо, по обычаю, приносящий присягу верности своему ленному владыке должен не только предстать перед лицом такового без оружия, без короны, но еще и произнести свою клятву коленопреклоненным, подтверждая тем самым, что первейший долг вассала — принадлежать душой и телом своему сюзерену.

— Слышите, милорды, первейший долг, — гнул свое Эдуард. — И если в то время, как мы ведем войну с шотландцами, король Франции пожелает втравить меня в свою войну против Фландрии, Ломбардии или еще где-нибудь, я в силу этого первейшего долга обязан бросить все и мчаться к нему, иначе он будет вправе отобрать у меня мое герцогство. А сего быть не должно.

Один из сопровождавших государя баронов, лорд Монтегю, был бесконечно восхищен мудростью, которую столь рано, не по возрасту, проявил его юный властелин, и его столь же не по возрасту редкостной твердостью. Самому Монтегю было двадцать восемь лет.

— Я вижу, у нас будет славный государь, — воскликнул он. — И я счастлив служить ему.

И действительно, с той поры он не отходил от Эдуарда, помогая ему советами и став ему опорой.

И в конце концов шестнадцатилетний король восторжествовал. Советники Филиппа Валуа тоже желали сохранить мир, а главным образом положить конец раздорам. Разве не важнее всего прочего, что король Англии прибыл в Амьен? Ведь не для того же мы созвали сюда людей со всего королевства, не для того сюда съехалось пол-Европы, чтобы дело кончилось провалом.

— Ладно, пусть приносит простую присягу, — ответил Филипп VI своему канцлеру так, словно бы речь шла о какой-нибудь фигуре в танце или о начале турнира. — В сущности, он прав; на его месте я, безусловно, поступил бы точно так же.

Вот почему в соборе, где было не продохнуть от съехавшейся отовсюду знати, набившейся даже в боковые приделы, Эдуард III выступил вперед со шпагой на боку, в мантии, вышитой львами и спадавшей тяжелыми складками, опустив светлые ресницы под надвинутой на лоб короной. От волнения он, и так от природы бледный, побледнел еще сильнее. В этом пышном, тяжелом одеянии он казался особенно юным. И все присутствовавшие в соборе дамы вдруг рас-

чувствовались и, умилившись, разом влюбились в этого подростка.

За Эдуардом шествовали двое епископов и с десяток баронов.

Король Франции в мантии, расшитой лилиями, сидел на хорах, чуть выше всех прочих собравшихся в соборе королей, королев и владетельных принцев, так что со стороны создавалось впечатление, будто он венчает пирамиду, составленную из золотых корон. Он поднялся, величественный и благожелательный, приветствуя своего вассала, остановившегося, не дойдя трех шагов до него.

Длинный луч солнца, пробившись сквозь витражи, коснулся обоих государей, словно небесным мечом.

Мессир Миль де Нуайе, канцлер, глава парламента и Фискальной палаты, отделился от группы пэров и высших должностных лиц государства и встал между двумя королями. Было ему лет шестьдесят, и по его сосредоточенно-серьезному лицу видно было, что ни теперешняя роль, ни это парадное одеяние не производят на него особого впечатления. Сильным, хорошо поставленным голосом он начал:

— Сир Эдуард, государь, наш владыка и могущественный сеньор, принимает вас здесь не ради

того, чем владеет он и должен владеть в Гаскони и в Ажене, как владел ими и должен был владеть король Карл Четвертый и что не оговорено в вассальной присяге на верность.

Тут выступил вперед и встал против Миля де Нуайе канцлер Эдуарда лорд Генри Бергерш и ответствовал:

— Сир Филипп, наш владыка и сеньор, король Англии, или кто-либо другой за него и от его имени не намерен отказываться от своих прав, каковые имеет он в герцогстве Гиень со всем ему принадлежащим, и полагает, что никакие новые права, каковы бы они ни были, не будут присвоены королем Франции в силу приносимой здесь вассальной присяги верности.

Таковы были компромиссные формулировки, с которыми согласились обе стороны, — в высшей степени двусмысленные, они, в сущности, ничего не уточняя, ничего и не улаживали. Каждое слово можно было толковать двояко.

Французская сторона желала показать, что пограничные земли, захваченные при предыдущем государе после кампании, которую вел Карл Валуа, останутся в прямой собственности французской короны. Другими словами, подтверждалось уже существующее положение вещей.

Для Англии слова «кто-либо другой за него и от его имени» были намеком на несовершеннолетие короля и на существование Регентского совета, но «от его имени» могло в равной мере касаться в будущем прерогатив сенешаля в Гиени или какого-либо другого наместника короля. А что касается выражения «никакие новые права», то его следовало понимать как подтверждение существующих по сей день прав, другими словами, сюда входило и соглашение, подписанное в 1327 году. Но обо всем этом в открытую сказано не было.

Осуществление таких деклараций на практике, как, впрочем, и всех мирных договоров или заключенных союзов, с незапамятных времен и у всех народов целиком и полностью зависело от доброй или злой воли правителей. В данном случае встреча двух государей свидетельствовала о взаимном желании жить в добром согласии.

Канцлер Бергерш развернул пергаментный свиток, с угла которого свисала государственная печать Английского королевства, и прочел вассальную присягу.

Сир, я становлюсь вашим вассалом от герцогства Гиеньского со всем ему принадлежащим и объявляю, что пожаловано оно вами мне как

герцогу Гиеньскому и пэру Франции, согласно мирному договору, установленному меж вашими и нашими предшественниками, и согласно с тем, как мы и наши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступали с вашими предками, королями Франции, в отношении того же герцогства.

Тут епископ вручил Милю де Нуайе только что прочитанную им вслух грамоту, составленную гораздо короче, чем полагалось обычно при принесении вассальной присяги.

В ответ Миль де Нуайе возгласил:

— Сир, вы становитесь вассалом короля Франции, моего сеньора, в отношении герцогства Гиеньского и со всем принадлежащим ему, которое, как вы признаете, получили от него как герцог Гиеньский и пэр Франции, согласно принятому его предшественниками, королями Франции, и вашими предшественниками мирному договору и согласно тому, как вы и ваши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступали с его предшественниками, королями Франции, в отношении того же герцогства.

Каждое слово здесь могло бы при желании явиться прекрасным поводом для начала тяжбы в тот самый день, когда согласие будет почему-либо нарушено.

Король Эдуард III ответил:

— Да будет так!

И Миль де Нуайе закончил церемонию словами:

— Государь, король наш, принимает вас в вассалы, подтверждая свои заверения и вышеупомянутые оговорки.

Эдуард сделал три шага, отделявшие его от сюзерена, снял перчатки, вручил их лорду Монтегю и, протянув свои тонкие белые руки, вложил их в широкие ладони французского короля. После чего оба короля облобызались в уста.

Тут только все собравшиеся в соборе заметили, что Филиппу VI почти не пришлось нагибаться, чтобы поцеловать своего юного английского родича. В основном разнились они телосложением, вернее, дородностью. А королю Англии еще расти и расти, и у него в свое время тоже будет прекрасная стать.

С самой высокой колокольни снова донесся трезвон. И на каждого снизошло какое-то душевное умиротворение. Пэры и сановники переглядывались и с удовлетворенным видом кивали друг другу. Король Иоганн Богемский сидел с обычным своим благородно-мечтательным выражением лица, и его холеная каштановая волнистая боро-

да струилась по груди. Граф Вильгельм Добрый и брат его Иоганн Геннегау улыбались английским сеньорам, и те отвечали им улыбкой. И впрямь, до чего же приятно, когда все проходит так гладко.

К чему спорить, ожесточаться, угрожать друг другу, приносить жалобы парламентам, отбирать ленные владения, осаждать города, яростно биться на поле боя, зря расходовать золото, зря проливать кровь рыцарей, зря изнурять людей, тогда как при наличии с обеих сторон доброй воли можно прекрасно договориться, каждый оставаясь при своем.

Король Англии уселся на приготовленный для него трон, стоявший чуть ниже трона короля Франции. Сейчас отслужат мессу, и все будет кончено.

Но казалось, Филипп VI все ждет чего-то; повернувшись к своим пэрам, он искал взглядом Робера Артуа, что, впрочем, было не так уж трудно, ибо корона его возвышалась над всеми прочими.

А сам Робер не подымал глаз. Хотя в соборе после улицы веяло благодатной свежестью, он по-прежнему обливался потом и то и дело отирал лицо алой перчаткой. Но сердце его билось как сумасшедшее. Не замечая, что намокшая от пота перчатка линяет, он размазал краску по лицу, и

казалось, будто по щеке его стекает кровь.

Вдруг он поднялся со своего сиденья. Пришла пора решиться.

— Сир, — вскричал он, подойдя к трону Филиппа VI, — коль скоро здесь собрались все ваши вассалы…

Миль де Нуайе с епископом Бергершем как раз вели между собой беседу, и их твердые звучные голоса отдавались в каждом уголке собора. Но когда раскрыл рот Робер Артуа, всем показалось, будто это не люди говорят, а чирикают воробьи.

— …и коль скоро вам надлежит творить праведный суд, — продолжал гигант, — я обращаюсь к вам, требуя справедливости.

— Сеньор Бомонский, мой кузен, кто же причинил вам ущерб? — с важностью спросил Филипп VI.

— Ущерб мне причинил, государь, ваш вассал, графиня Маго Бургундская, которая незаконно, хитростью и предательством захватила титулы и владения графства Артуа, кои принадлежали мне по праву предков моих.

Тут раздался столь же мощный трубный глас:

— Так я и знала!

Это изволила разжать уста Маго Артуа.

По рядам собравшихся здесь пэров и баронов

прошло движение, но, в сущности, никого не ошеломил, а просто удивил начавшийся спор. Робер поступил точно так же, как граф Фландрский во время коронования Филиппа VI. Казалось, на глазах присутствующих рождался новый обычай, в силу коего ущемленный в своих интересах пэр норовил принести жалобу именно на самом торжественном сборище и, несомненно, с предварительного согласия короля.

Герцог Эд Бургундский вопросительно взглянул на свою родную сестру, королеву Франции, которая ответила ему таким же взглядом и даже руки развела, как бы желая сказать, что сама первая изумлена не меньше брата и что все это и для нее тоже неожиданность.

— Кузен мой, — продолжал Филипп VI, — можете ли вы представить бумаги и свидетельства, дабы подтвердить ваши права?

— Могу, — твердо ответил Робер.

— Не может он, он лжет! — крикнула Маго. Она тоже подошла к королю и встала рядом с племянником.

Как же они были похожи, Робер и Маго, особенно сейчас, оба в золотых коронах, в одинаковых мантиях, распаленные гневом, оба с налитыми кровью бычьими шеями! Маго, эта великан-

ша-воительница, как и подобает пэру Франции, прицепила к поясу огромный меч с золотой чашкой. Доводись она родной матерью Роберу, и тогда вряд ли бы так разительно проступило их родственное сходство.

— Насколько я понимаю, любезная тетушка, — продолжал Робер, — вы отрицаете, что в брачном контракте высокородный граф Филипп Артуа, мой батюшка, сделал меня, своего первенца, прямым наследником графства Артуа и что, воспользовавшись тем, что мой батюшка скончался, когда я был еще несмышленым ребенком, вы ограбили меня.

— Отрицаю каждое ваше слово, дурной племянник, вы просто хотите меня опозорить.

— Значит, вы отрицаете, что брачный контракт вообще существовал?

— Отрицаю! — взревела Маго.

Неодобрительный шепот послышался во всех углах собора, но особенно отчетливо прозвучало возмущенное «ох!» старика графа Бувилля, бывшего камергера Филиппа Красивого. Хотя вряд ли кто имел столько веских оснований, сколько граф Бувилль, хранитель чрева королевы Клеменции, когда она была в тягости Иоанном I Посмертным, знать, на что способна Маго, хотя вряд ли кому

было известно так же хорошо, как ему, сколь искусна Маго во лжи и сколь хладнокровно идет она на любое преступление, было очевидно, что тут уж она бесстыдно отрицает истинную правду. Между отпрыском Артуа, принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии[11], и дочерью бретонских сеньоров не мог не быть заключен брачный контракт, который к тому же своей подписью скрепили тогдашние пэры и сам король. Герцог Жан Бретонский разъяснил это своим соседям. На сей раз Маго зарвалась. Пускай бы она по-прежнему, как на двух предыдущих процессах, ссылалась на старинные законы графства Артуа, которые были ей на руку после преждевременной кончины ее брата, пускай! Но отрицать, что существовал брачный контракт, — это уж слишком. Тем самым она подтверждала подозрения на собственный счет — ясно, уничтожила все бумаги!

Филипп VI обратился к епископу Амьенскому:

— Монсеньор, соблаговолите принести Святое Евангелие и пригласить жалобщика…

---

[11] Примечания: 11

…принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии… — Всех членов королевской семьи Капетингов называли лилейными принцами, потому что их герб представлял собой усеянное поле Франции, то есть золотые лилии на лазурном фоне с обрамлением, варьирующимся в зависимости от их уделов и ленов.

После короткой, но многозначительной паузы он добавил:

— …равно как и ответчицу.

И когда Евангелие было принесено, король заговорил снова:

— Согласны ли вы, как один, так и другая, вы, мой кузен, и вы, моя кузина, подтвердить слова ваши, поклявшись на Святом Евангелии пред лицом вашего государя и всех королей, наших родичей, и перед лицом всех собравшихся здесь пэров?

Он, Филипп, был воистину величествен, произнося эти слова, и сын его, десятилетний принц Иоанн, чуть не задохнувшийся от восхищения, смотрел на отца, вытаращив глазенки и широко раскрыв рот. Зато у королевы Франции, Жанны Хромоножки, заметно тряслись руки и вокруг рта залегли недобрые складки. Дочь Маго, Жанна, вдова Филиппа Длинного, тонкая и иссохшая, побледнела так, что лицо ее слилось с белоснежным одеянием, которое положено носить вдовствующим королевам. И побледнела также внучка Маго, юная герцогиня Бургундская, побледнел и супруг ее, герцог Эд. Казалось, еще минута — и все они дружно бросятся вперед, чтобы удержать Маго от клятвопреступления. В наступившем

молчании все жадно тянули вперед шеи.

— Пусть будет так! — в один голос воскликнули Маго и Робер.

— Снимите перчатки, — обратился к ним епископ Амьенский.

Маго явилась на церемонию в зеленых перчатках, но и они тоже полиняли от жары. Так что когда над Евангелием простерлись две могучие длани, одна была алая, как кровь, другая зеленая, как желчь.

— Клянусь, — начал Робер, — что графство Артуа принадлежит мне и что я представлю письма и свидетельства, подтверждающие мои права на владение!

— Дорогой племянничек, — воскликнула Маго, — осмелитесь ли вы принести клятву в том, что видели эти письма или держали их в руках?

Две пары серых глаз мерились злобным взглядом, и чуть не касались друг друга два обложенных жиром подбородка. «Ох, шлюха, — думал Робер. — Значит, ты и впрямь украла письма!» Но так как в подобных обстоятельствах следовало вести себя решительно, Робер четко произнес:

— Да, клянусь! А вот вы, дражайшая тетушка, осмелитесь ли вы принести клятву в том, что такие письма никогда не существовали, что вы

никогда ничего о них не знали и не держали их в собственных руках?

— Клянусь! — ответила Маго столь же решительно и взглянула на Робера с той же ненавистью, с какой глядел на нее он.

По сути дела, в этом поединке никто не выиграл ни одного очка. Чаши весов не дрогнули, не склонились ни в ту ни в другую сторону, хотя на каждой лежал немалый груз лжи и клятвопреступлений, на которые оба вынуждены были пойти.

— Завтра будут назначены люди, которые поведут расследование, чтобы восторжествовала королевская справедливость. Кто солгал, того покарает Бог, кто сказал правду, будет утвержден в своих правах, — проговорил Филипп и махнул рукой епископу, приказывая унести Евангелие.

Господу Богу вовсе не обязательно вмешиваться в людские дела, дабы покарать клятвопреступников, и Всевышний спокойно может продолжать безмолвствовать. Дурные души в себе самих носят семя собственных бед.

Часть вторая
Игры дьявола
Глава I
Свидетели

Еще только-только набиравшаяся соков, величиной с пальчик, свисала со шпалеры груша.

А на каменной скамье сидели трое: посередине старик граф де Бувилль, а по обе стороны допрашивавшие его — рыцарь де Вильбрем, облеченный доверием короля, по правую руку и по левую — нотариус Пьер Тессон, записывавший показания свидетеля. Огромный куполообразный череп Тессона казался еще внушительней, ибо его венчала рогатая шапка, из-под которой свисали прямые пряди волос; нос у него был заостренный, подбородок неестественно длинный и тоже острый, так что в профиль нотариус походил на серпик молодого месяца.

— Ваша светлость, могу ли я прочесть вам ваши показания? — почтительно обратился он к Бувиллю.

— Читайте, мессир, читайте, — согласился тот.

А сам, протянув руку, нащупал зеленую грушу,

сжал ее в пальцах, проверил, скоро ли нальется она соком… «Надо бы сказать садовнику, чтобы он подвязал ветку», — подумал он.

Нотариус нагнулся над бумагами, разложенными у него на коленях, и начал:

– *«Дня семнадцатого месяца июня года тысяча триста двадцать девятого, мы, Пьер де Вильбрем, рыцарь…»*

Король Филипп VI не любил мешкать. Уже через два дня после скандала в Амьенском соборе, где торжественно принесли клятву Маго и Робер, король назначил особую комиссию и поручил ей произвести расследование; не прошло и недели после возвращения королевской фамилии в Париж, как расследование уже началось.

– *«…и мы, Пьер Тессон, королевский нотариус, выслушали…»*

— Мэтр Тессон, — перебил читающего Бувилль, — не вы ли тот самый Тессон, который раньше состоял при доме его светлости Робера Артуа?

— Тот самый, ваша светлость.

— А значит, нынче вы королевский нотариус? Примите мои поздравления, блестящая карьера, блестящая…

Бувилль чуть выпрямился на скамье, сложил

руки на округлом своем брюшке. Надето на нем было потертое бархатное одеяние, слишком длинное на нынешний вкус и уже давно вышедшее из моды, такие носили еще во времена Филиппа Красивого, а теперь граф донашивал его, когда ему припадала охота заняться садом. Слушая чтение, он вертел большими пальцами — три раза в одну сторону и три раза в другую. День обещал быть прекрасным и жарким, но в утреннем воздухе еще держалась ночная прохлада…

– *«…выслушали высокородного и могущественного сеньора, графа Юга де Бувилля, и слушание это происходило во фруктовом его саду при его же доме, расположенном неподалеку от Пре-о-Клер».*

— А знаете, совсем все изменилось с тех пор, как мой покойный батюшка поставил здесь этот дом, — вдруг заговорил Бувилль. — В его время по соседству, на всем протяжении от аббатства Сен-Жермен-де-Пре до Сент-Андре-дез-Ар, всего только три отеля стояли: Нельский, на берегу реки, вон там в глубине отель Наваррский и второй дом графов Артуа, загородный, потому что вокруг только одни луга да поля были… А посмотрите-ка, сколько сейчас всего понастроили!.. Все, кто на наших глазах сколотил себе состояние, лезут

сюда, им, видите ли, здесь приспичило селиться; проселочные дороги и те в городские улицы превратились. Раньше, бывало, выгляну через ограду, и кругом одна зелень, а теперь кругом одни крыши, их-то я еще могу разглядеть, хоть зрение у меня затуманилось. А шуму-то, шуму! Подумать только, в этих местах — и такой шум! Живу будто в Сите, на самом бойком месте. Будь у меня впереди еще хоть несколько лет, продал бы я этот дом и построил бы себе новый где-нибудь в сторонке. Но в том-то и беда…

И снова его рука почти вслепую нащупала маленькую зеленую грушу, свисавшую с ветки как раз над самой его головой. Только одно — ждать, когда груша эта созреет, — вот и все, на что он смел надеяться в свои годы, вот и все его дальние планы, которыми он мог себя тешить. В последнее время он начал терять зрение. На все окружающее, на людей, на деревья он смотрел теперь словно бы сквозь плотный слой воды. Быть человеком деятельным, важной персоной, разъезжать, заседать в Королевских советах, участвовать во всех важнейших государственных событиях, а кончить свои дни в этом саду, когда глаза застилает пелена, мысли медленно ворочаются в голове, одинокому, забытому всеми, разве

что порой людям помоложе придет надобность прибегнуть к его памяти...

Мэтр Пьер Тессон и рыцарь де Вильбрем тоскливо переглянулись. Ох и трудно же с этим свидетелем, с этим старым графом Бувиллем, все время он переводит разговор на другое, бубнит о том, что и без него всем давно известно, но человек он слишком благородного происхождения и слишком уже стар, так что торопить его негоже. Нотариус снова взялся за чтение:

– *«...который и сообщил нам собственными своими устами все ниженаписанное, а именно: что в бытность свою камергером государя нашего Филиппа Красивого, прежде чем тот взошел на престол, он ознакомился с брачным контрактом, заключенным между его светлостью покойным Филиппом Артуа и мадам Бланкой Бретонской, и что держал сей контракт в руках, и что в вышеупомянутом контракте было ясно написано, что графство Артуа переходит по праву наследования к вышеупомянутому его светлости Филиппу Артуа и после него его наследникам мужеска пола, родившимся от этого брака...»*

Бувилль махнул рукой:

— Ничего я такого не утверждал. Как я вам

уже говорил и как сообщал его светлости Роберу Артуа, когда он недавно у меня был: контракт-то я в руках держать держал, но, говоря по совести, не помню, чтобы я его прочел.

— А для чего же тогда, ваша светлость, вы держали этот контракт в руках, разве не для того, чтобы его прочесть? — спросил рыцарь Вильбрем.

— Нет, для того, чтобы передать контракт канцлеру моего государя, чтобы тот скрепил его своей печатью, это-то я помню хорошо, контракт был покрыт печатями всех пэров, а пэром был и мой государь Филипп Красивый, как старший королевский сын и первый претендент на французский престол.

— Запишите это, Тессон, — приказал Вильбрем. — Стало быть, все пэры приложили свои печати… Даже если вы, ваша светлость, не читали брачного контракта, вы все равно знали, что по наследству Артуа переходит графу Филиппу и его наследникам мужеска пола?

— Слыхать-то я об этом слышал, — отозвался Бувилль, — но ничего другого удостоверить не могу.

Его, Бувилля, раздражала манера молодого Вильбрема вести расследование, всякий раз

вытягивая из него больше, чем он намеревался сказать. Да он, этот мальчишка, еще на свет божий не родился, куда там, даже папаша его и не думал, что зачнет такого, когда происходили все те события, о которых его сейчас расспрашивают! Вот они, эти государевы чиновнички, надавали им новых должностей, и они пыжатся, как индюки. Ничего, в один прекрасный день и они тоже будут сидеть в своем саду под шпалерой, старенькие, всеми забытые… Да, Бувилль помнил, что было занесено в брачный контракт Филиппа Артуа. Но когда, когда он об этом впервые услышал? Перед самым бракосочетанием, в 1282 году, или, может быть, в 1298-м, когда граф Филипп скончался от ран, полученных в битве при Вёрне? Или еще позже, когда старый граф Робер II пал в битве при Куртре, другими словами, в 1302 году, пережив сына на четыре года, вот тогда-то и началась тяжба между его дочерью Маго и его внуком, теперешним Робером III…

А теперь от Бувилля требуют, чтобы он, сосредоточившись мыслию, соотнес бы это событие с какой-нибудь определенной датой, а поди установи ее, когда прошло более двадцати лет. Да не один только нотариус Тессон и этот мессир Вильбрем примчались к нему в надежде рас-

шевелить его память, но и его светлость Робер Артуа собственной персоной соизволил сюда явиться; вел он себя в высшей степени любезно и почтительно, что правда, то правда, а все-таки орал во всю глотку, размахивал, по обыкновению, руками и потоптал в саду своими сапожищами цветочные клумбы.

— Стало быть, уточним, — проговорил нотариус, перечеркнув что-то в своей писанине. — *«…и хотя держал он вышеупомянутый брачный контракт в руках своих, но держал недолго, и он помнит также, что контракт был скреплен печатями двенадцати пэров Франции; и еще граф Бувилль сообщил нам: он слышал в те времена, что в вышеупомянутом контракте было с точностью записано, что графство Артуа…»*

Бувилль кивнул в подтверждение этих слов. Он, конечно, предпочел бы, чтобы такие выражения, как «в те времена», «слышал в те времена», которые нотариус почему-то приписал ему самолично, вообще в этот документ не попали. Но он устал от борьбы. Да и имеет ли уж такое значение одно-два лишних слова?

– *«…перейдет к его прямым наследникам мужеска пола, родившимся от брака сего; и еще он удостоверил перед нами, что контракт был по-*

мещен на хранение в архивы королевского двора, и еще он считает достоверным, что контракт впоследствии был похищен из вышеупомянутого хранилища по приказанию мадам Маго Артуа и с помощью различных хитростей...»

— Да я ничего этого и не говорил, — заметил Бувилль.

— Прямо вы этого не сказали, ваша светлость, — согласился Вильбрем, — но это следует из ваших показаний. Вспомним, что вы утверждали: во-первых, брачный контракт существовал; во-вторых, вы сами его видели; в-третьих, он был положен на хранение в архивы... скрепленный печатями пэров...

Вильбрем снова обменялся с нотариусом тоскливым взглядом.

— Скрепленный печатями пэров, — повторил он, желая подольститься к свидетелю. — Вы заверяли также, что по этому контракту мадам Маго отстранялась от наследования и что контракт исчез из хранилища, с тем чтобы он не мог быть представлен на процессе, который его светлость Робер Артуа начал против своей тетки. Кто же еще, по-вашему, мог похитить? Уж не считаете ли вы, что это было сделано по приказу короля Филиппа Красивого?

Вопрос коварнейший! Ведь ходили же упорные слухи, будто Филипп Красивый, желая одарить тещу двух младших своих сыновей, оказал давление на судей, дабы те вынесли решение в ее пользу. Скоро начнут, пожалуй, кричать на всех перекрестках, что, мол, самому Бувиллю и было приказано выкрасть бумаги!

— Прошу вас, мессир, не упоминайте имени моего государя, короля Филиппа Красивого, в связи с такими грязными делами, — с достоинством отозвался старик.

Над крышами и кронами деревьев пронесся звон колоколов с колокольни Сен-Жермен-де-Пре. Бувилль вдруг вспомнил, что как раз в это время ему приносят миску творога, — это лекарь посоветовал ему трижды в день есть творог.

— Итак, — продолжал Вильбрем, — брачный контракт, следовательно, был похищен без ведома короля… А кто же еще был заинтересован в исчезновении бумаг, как не графиня Маго?

При каждом слове молодой королевский посланец многозначительно постукивал кончиками пальцев по каменной скамье — так нравились ему собственные, казалось бы, неопровержимые рассуждения.

— О конечно, — вздохнул Бувилль. — Маго на

все способна.

В этом он имел возможность убедиться не со вчерашнего дня. Он сам знал за Маго два преступления, и куда более серьезных, чем кража каких-то пергаментов. Это она, в том и сомнения быть не может, убила короля Людовика X; это она на глазах у самого Бувилля убила младенца, и житья-то которому было всего пять дней, коль скоро он был наследник престола, родившийся уже после смерти своего отца… и все для того, чтобы не выпустить из рук графство Артуа. Вот уж действительно, стоит ли так щепетильничать и по-глупому бояться погрешить против точности, когда речь идет о такой особе! Конечно, это она похитила брачный контракт своего брата, да еще имеет наглость утверждать, да еще клятву на Евангелии приносит, что такого контракта, мол, вообще никогда не существовало! Чудовище, а не женщина… Из-за нее настоящий наследник королей Франции растет вдали от своего королевства, в каком-то захудалом итальянском городишке, у ломбардского купца, считающего, что это его родной сын… Хватит! Не надо об этом думать. В свое время Бувилль поведал папе эту тайну — тайну, которую знал лишь он один. Не думать об этом, никогда не думать… а то, чего доброго, не

удержишься и разболтаешь. А главное, пусть эти двое поскорее убираются прочь!

— Вы совершенно правы, оставьте все так, как вы написали, — проговорил он. — Где мне поставить подпись?

Нотариус протянул перо Бувиллю. Но тот с трудом различал нижний край бумаги. Поэтому самый конец его подписи не попал на лист. И тут рыцарь вдруг услышал старческий шепот:

— Прежде чем она попадет в когти дьявола, пусть свершится воля Господня, и да искупит она грехи свои.

Подпись посыпали песком, чтобы быстрее высохли чернила. Нотариус сложил листки и письменные принадлежности в свой мешок черной кожи, после чего оба расследователя поднялись и распрощались с хозяином дома. Бувилль, сидя, помахал им рукой. Не прошли они и пяти шагов, как превратились для старика в две смутные тени, словно растворившиеся в толстом слое воды.

Бывший камергер Филиппа Красивого схватил стоявший рядом колокольчик и позвонил слуге, чтобы тот нес ему творог. Неотвязные печальные думы теснились в голове. Как мог его столь почитаемый государь, король Филипп Красивый,

принять сторону Маго в тяжбе за Артуа, как мог он забыть акт, который сам же раньше и утвердил, как мог не обеспокоиться пропажей этой бумаги? Ах, даже самые лучшие короли на свете совершают не одни прекрасные деяния…

И тут же Бувилль пообещал себе, что в ближайшие дни посетит банкира Толомеи, расспросит о Гуччо Бальони… и о ребенке… но вроде между прочим, просто как того требует обычная вежливость. Старик Толомеи почти не подымается с постели. У него, у Толомеи, отказали ноги. Такова жизнь: у одного пропадает слух, у другого застилает глаза, а у третьего отказывают руки или ноги. Прошедшее отмериваешь годами, но будущее осмеливаешься мерить только месяцами или неделями.

«Доживу ли я до тех пор, когда созреет эта груша, смогу ли я сорвать ее?» — подумал граф Бувилль, подняв глаза к шпалере.

Мессир Пьер де Машо, сеньор Монтаржи, был не из тех, кто забывает нанесенную ему обиду, пусть даже обидчика уже давно нет в живых. Его злобу не могла утишить и кончина врага. Его отец, занимавший высокую должность во времена Железного короля, был смещен Ангерраном де Мариньи, отчего значительно пострадало

благосостояние семьи. Падение всемогущего Ангеррана Пьер де Машо воспринял как справедливое отмщение за личные свои невзгоды; самым великим днем его жизни был, да и будет, тот, когда он, конюший короля Людовика Сварливого, вел Мариньи на виселицу. Вел — это, конечно, сказано слишком громко, вернее, сопровождал, да и то не в первом ряду, но среди куда более знатных, чем он, сановников. Годы шли, и большинство тогдашних сеньоров один за другим отправились к праотцам, и вот именно поэтому всякий раз, когда заходила речь об этом памятном кортеже, Пьер де Машо без зазрения совести передвигал себя вперед, оттесняя прочих сопровождающих.

Поначалу он довольствовался рассказом о том, как дерзко мерился взглядом с мессиром Ангерраном, стоявшим на повозке, и сумел-де всем своим видом показать, что любого, кто навредит семейству Машо, как бы высоко он ни вознесся, в скором времени постигнет кара.

Потом память разукрасила прошедшее, и Пьер де Машо стал утверждать, что Ангерран во время своего последнего пути не только узнал его, но и, оборотясь к нему, печально произнес: «Ах, это вы, Машо! Теперь настал час вашего торжества;

я причинил вам зло и раскаиваюсь в том».

А сейчас, когда после этого события прошло уже четырнадцать лет, по словам рассказчика выходило, что Ангерран де Мариньи, направляясь к месту казни, обращался с речью только к нему, Пьеру де Машо, и во время следования от тюрьмы до Монфокона излил ему все, что было на душе.

Небольшого росточка, со сросшимися на переносице седыми бровями, с негнущимся коленом после неудачного падения с лошади на турнире, Пьер де Машо, хоть и знал, что не носить ему больше ни кирасы, ни лат, старательно чистил их и смазывал жиром. Был он столь же тщеславен, сколь и злопамятен, и Робер Артуа, прекрасно это знавший, не поленился нанести ему визит дважды именно для того, чтобы поговорить о том, как скакал Машо бок о бок с повозкой Ангеррана.

— Ну так вот, расскажите-ка все это посланникам короля, они скоро прибудут сюда и спросят вас как свидетеля по моему делу, — заявил Робер. — Слова такого доблестного человека, как вы, со счета не скинешь; вы откроете глаза королю, и оба мы с ним будем весьма и весьма вам признательны. Кстати, вам выплачивают пенсион за все те услуги, что оказал государству ваш батюшка,

да и вы сами?

— Конечно не выплачивают…

Вопиющая несправедливость! Тогда как всякие пролазы, разные горожане во время последних царствований были внесены в списки получающих пособие от французской короны, как же могли забыть столь достойного человека, как мессир де Машо? Ясно, забыли с умыслом, и тут не обошлось без подсказки графини Маго, а ведь, как известно, она была связана с Ангерраном де Мариньи!

Робер Артуа лично проследит за тем, чтобы эта несправедливость была исправлена.

Короче, когда после таких посулов к бывшему конюшему явился рыцарь Вильбрем с неизменным нотариусом Тессоном, хозяин дома с таким же рвением отвечал на вопросы, с каким их ему задавали. Опрос происходил в саду по соседству, как того требовало правосудие, ибо показания должны даваться на открытом месте и на вольном воздухе.

Послушать Пьера де Машо, так казнили Мариньи только накануне.

— Итак, — говорил Вильбрем, — итак, мессир, вы были рядом с повозкой, когда сир Ангерран сошел с нее и направился к виселице?

— Я сам влез на повозку, — отвечал Машо, — и по приказу короля Людовика X спросил осужденного, в каких именно своих преступлениях и ошибках желал бы он покаяться, прежде чем предстать перед Господом нашим.

На самом-то деле такое поручение было дано Тома де Марфонтену, но Тома де Марфонтен уже давно отошел в мир иной…

— И Мариньи продолжал утверждать, что он неповинен в тех деяниях, которые ему ставили в вину на суде, и, однако же, он признал… привожу его собственные слова, вы только вдумайтесь, сколько в них коварства: «Ради справедливых дел творил дела несправедливые». Тогда я в лоб спросил, каковы же все-таки эти его деяния, и он мне назвал их десятки, к примеру вынудил отставить от должности моего отца, сира Монтаржи, а также похитил из королевского архива брачный контракт покойного графа Артуа в интересах мадам Маго и ее дочерей, невесток короля.

— Ага, значит, это по его приказу изъяли контракт? И он сам в этом признался! — воскликнул Вильбрем. — Это весьма существенно. Записывайте, Тессон, записывайте.

Нотариус не нуждался в понуканиях, он и так строчил с увлечением. До чего же хороший сви-

детель этот сир де Машо!

— А не знаете ли вы, мессир, — заговорил в свою очередь Тессон, — заплатили ли сиру Ангеррану за это должностное преступление?

Машо на миг задумался, и его седые брови сошлись к переносице.

— А как же, конечно заплатили, — брякнул он. — Потому что я его прямо спросил, получил ли он, как утверждают, сорок тысяч ливров от мадам Маго за то, чтобы суд решил дело в ее пользу. И Ангерран потупил голову в знак согласия и еще от стыда, и вот что он мне ответил: «Молитесь за меня, мессир Машо», а ведь это равносильно признанию.

Тут Пьер де Машо сложил на груди руки с видом торжествующим и презрительным.

— Теперь все ясно, — удовлетворенно вздохнул Вильбрем.

Нотариус записывал последние слова свидетеля.

— А вы уже многих опросили? — поинтересовался бывший конюший.

— Уже четырнадцать человек, мессир, и еще вдвое больше опросим, — пояснил Вильбрем. — Но, слава богу, работа поделена между восемью посланцами короля и двумя нотариусами.

Глава II
Расследование ведет сам истец

Главным украшением рабочего кабинета его светлости Робера Артуа были четыре огромного размера фрески религиозного содержания кисти не слишком искусного мастера, явно отдававшего предпочтение охре и лазури; на фресках этих были изображены фигуры четырех святых, дабы «воспарял дух», как говаривал сам хозяин. С правой стороны святой Георгий поражал копьем дракона; напротив входа святой Морис, тоже покровитель рыцарей, стоял во весь рост в латах и лазурном плаще; в глубине святой Петр все тянул и тянул из моря свои сети; святой Магдалине, предстательнице кающихся грешниц, скрывавшей свою наготу под плащом золотых кудрей, был отведен четвертый простенок. Именно сюда чаще всего любил поглядывать его светлость Робер.

Потолочные балки тоже были выкрашены в охру, желтый цвет и лазурь с вкрапленными кое-где гербами Артуа, Бомона и Валуа. Убранство комнаты завершали столы, покрытые парчой, кофры,

на которых в беспорядке валялось роскошное оружие, и массивные железные позолоченные канделябры.

Робер поднялся с широкого кресла и вручил нотариусу черновики допросов, которые проглядывал с чувством живейшего интереса.

— Славно, очень славно, славные бумажки, — заявил он, — особенно хороши показания мессира де Машо, чувствуется, что вылились прямо из души, и очень кстати дополняют слова графа Бувилля. Нет, решительно вы большой искусник, мэтр Тессон Кляузник, и я ничуть не жалею о том, что, так сказать, взрастил вас в этом качестве. Под вашей постной личиной кроется подлинное коварство, о каковом и мечтать не смеют многие наши пустоголовые законники из парламента. Правда, надо признать, что Господь Бог наградил вас неплохим вместилищем для ваших мозгов.

Нотариус с угодливой улыбкой склонил свою неестественно крупную голову под рогатой шапкой, напоминавшую огромный черный капустный кочан. Сдобренные немалой долей иронии, похвалы его светлости Артуа, возможно, сулят в будущем повышение по служебной лестнице.

— Это весь ваш улов? А других новостей вы мне

нынче не сообщите? — добавил Робер. — Да, как, кстати, дела с бывшим бальи Бетюна?

Тяжба — такая же страсть, как карточная игра. Робер Артуа жил только своим будущим судебным процессом, думал и действовал в зависимости от хода дел. За последние две недели единственным смыслом его существования стал сбор свидетельских показаний. От зари до самого вечера он ломал себе над этим голову и ночами, бывало, просыпался, пробужденный ото сна внезапно мелькнувшей мыслью, звонил своему слуге Лорме и спрашивал, когда тот появлялся полусонный и надутый:

— А скажи-ка, старый храпун, это не ты ли говорил мне недавно о некоем Симоне Дурене или Дурье, который был нотариусом у моего деда? Не знаешь, жив он или нет? Попытайся завтра же разузнать.

Во время мессы, которую он слушал неукоснительно каждое утро благоприличия ради, он вдруг ловил себя на том, что возносит Господу мольбу об удачном окончании тяжбы. И от жарких молений он как-то невольно обращался мыслью к своим махинациям и во время чтения Евангелия шептал про себя: «А этот самый Жиль Фламандец, бывший раньше конюшим у Маго,

которого она прогнала за какие-то неблаговидные делишки… Вот кто, верно, мог бы выступить свидетелем в мою пользу. Только бы не забыть!»

Никогда еще он с таким рвением не трудился в Совете; ежедневно просиживал по нескольку часов в суде, и при виде его каждому приходила мысль, что сей муж всего себя отдал на благо государства; но делалось это лишь ради того, чтобы сохранить свое влияние на Филиппа VI, стать для него незаменимым, а главное, наблюдать за тем, чтобы на нужные должности назначались только люди по личному его, Робера, выбору. Он пристально следил за решениями суда, надеясь почерпнуть в них какую-нибудь подходящую мыслишку. А на все прочее ему было наплевать.

Пусть в Италии гвельфы и гибеллины продолжали уничтожать друг друга, пусть Адзо Висконти приказал убить своего дядю Марко и укрепил город Милан, осажденный войсками императора Людвига Баварского, а в то же время Верона, Виченца, Падуя, Тревизо не желают подчиняться папе, ставленнику Франции, — обо всем этом Робер знал, слышал, но тут же выкидывал из головы.

Пусть в Англии партия королевы Изабеллы испытывала трудности, а непопулярность Роджера

Мортимера с каждым днем все возрастала, его светлость Робер Артуа только плечами пожимал. В эти дни помыслы его меньше всего занимала Англия, равно как и фландрские суконщики, которые ради торгашеских своих барышей множат связи с английскими мануфактурщиками.

Но зато если мэтр Андрие из Флоренции, каноник-казначей города Буржа, еще не получил новых церковных бенефиций или если рыцарь Вильбрем еще не перешел в Фискальную палату, вот это действительно важно и не терпит отлагательств. Потому что мэтр Андрие и рыцарь Вильбрем входят в число восьми лиц, назначенных для сбора свидетельских показаний к будущему судебному разбирательству.

Кандидатуры эти Робер сам предложил Филиппу VI, более того, сам их подобрал… «А что, если нам назначить Бушара де Монморанси? Он нам всегда верно служил… А что, если назначить Пьера де Кюньера? Он и впрямь человек осмотрительный и пользуется всеобщим уважением…» И точно так же происходило назначение нотариусов, а в числе их Пьера Тессона, который целых двадцать лет был тесно связан с домом Валуа, а потом и с домом Робера.

Впервые в жизни Пьер Тессон почувствовал

себя столь значительной персоной; впервые в жизни с ним обращались так дружески, так фамильярно, и все это подкреплялось штуками материи для туалетов его супружницы и маленькими мешочками с золотыми монетами для него самого. Тем не менее Тессон выдохся, да и силы его уже иссякали, так как Робер обладал способностью не давать своим людям ни отдыха, ни срока.

Прежде всего его светлость Робер почти все время находился на ногах. Без остановки он вышагивал по своему кабинету между изображениями четырех святых. Мэтру Тессону было неприлично сидеть в присутствии столь важной особы, как пэр Франции. А ведь нотариусы привыкли работать сидя. Мэтру Тессону приходилось держать свой черный кожаный мешок в руках, что стоило немалого труда, а положить его на эти парчовые скатерти он не решался и все так же на весу вытаскивал из него нужные документы, поэтому не мудрено, что он опасался нажить себе к концу тяжбы на всю жизнь болезнь поясницы.

— Я виделся с бывшим бальи Гийомом де ла Планш, находящимся ныне в тюрьме Шатле, — сказал он в ответ на вопрос Робера. — Дама Дивион уже навестила его раньше; он дает как

раз те свидетельские показания, что нужны нам. Он просит, чтобы вы не забыли замолвить за него словечко перед мессиром Милем де Нуайе, так как попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица[12].

— Я прослежу, чтобы его выпустили, пускай спит спокойно. А вы выслушали Симона Дурье?

— Нет еще, ваша светлость, но вскоре выслушаю. Он готов заявить перед всеми, что присутствовал при том, как в тысяча триста втором году граф Робер Второй, ваш дед, перед самой кончиной продиктовал письмо, где подтверждалось ваше право на владение графством Артуа.

— Ага! Чудесно, ну просто чудесно!

— Я ему пообещал, что вы возьмете его к себе в дом и будете выплачивать ему необходимое пособие.

---

[12] Примечания: 12

...попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица. — Гийом де ла Планш, бальи Бетюна, потом Кале, находился в тюрьме за поспешную казнь некоего Тассара Пса, которого он собственным произволом приговорил волочь по земле и повесить. Жанна Дивион навестила его в тюрьме и пообещала, что если он даст показания в том смысле, который она ему укажет, то граф д'Артуа вытащит его из тюрьмы, заставив вмешаться Миля де Нуайе. Однако во время проверочного допроса Гийом де ла Планш отрекся от своих слов и заявил, что давал показания лишь «из страха перед угрозами и из боязни остаться в тюрьме очень надолго и умереть там, отказавшись повиноваться монсеньору Роберу, такому великому, такому могущественному и такому близкому к королю».

— А за что его прогнали? — осведомился Робер.

Нотариус сделал весьма выразительный жест, означавший, что Дурье, мол, был нечист на руку.

— Подумаешь! — воскликнул Робер. — Да с тех пор он успел состариться и, надо полагать, раскаяться в своих грехах! Дам ему сто ливров в год, каморку и штуку сукна.

— Манесье де Лануа подтвердил, что похищенные письма сожгла мадам Маго… Надо полагать, вам известно, что дом его будет продан с торгов — он задолжал ломбардцам, и, ежели благодаря вам у него будет кров над головой, он делом докажет свою признательность.

— Что ж, у меня душа добрая, только не все это еще знают, — отозвался Робер. — Но вы ничего не сообщили мне о Жювиньи, бывшем слуге Ангеррана.

Нотариус с виноватым видом потупил голову.

— Ничего я от него не добился, — проговорил он, — уперся, твердит, что знать ничего не знает и ничего, мол, не помнит.

— Как так? — возопил Робер. — Я сам был в Лувре и собственными глазами видел, как он являлся за пособием, хотя за что бы ему вообще платить? И даже разговаривал с ним. А он теперь уперся и уверяет, что ничего не помнит? Послушайте,

а нельзя ли его допросить с пристрастием, а? При виде пыточных клещей он, будем надеяться, скажет правду.

— Пытать, ваша светлость, — печально отозвался нотариус, — пытать разрешено только подсудимых, а свидетелей пока еще не пытают.

— Тогда дайте ему знать, что пособие ему выплачиваться не будет, ежели к нему не вернется память. У меня, конечно, душа добрая, но пусть и мне добром платят.

Робер схватил со стола бронзовый подсвечник весом не меньше пятнадцати фунтов и снова зашагал по комнате, играючи перебрасывая подсвечник из правой руки в левую. Глядя на него, нотариус печально подумал о несправедливости Всевышнего, одаривающего физической силой людей, которым сила эта нужна лишь для забав, и обделяющего ею злосчастных нотариусов, которые вынуждены целыми днями таскаться со своим увесистым мешком из черной кожи.

— А не опасаетесь ли вы, ваша светлость, что Жювиньи, лишившись королевского пособия, получит его из рук мадам Маго?

Робер круто остановился.

— Маго? — вскричал он. — Да она же сейчас ничто, забилась в угол, всего боится. Ее никто в

последние дни при дворе и не видел. Засела дома, трясется от страха, потому как знает: пришел ее конец.

— Дай-то бог, дай-то бог, ваша светлость. Кто спорит, дело наше правое, но просто так тяжбу не выиграешь, тут еще кое-какие препятствия следовало бы устранить…

Тессон замялся, и не потому, что его страшила гневная вспышка Робера Артуа, которая неизбежно последует за его словами, а потому, что тяжеленный мешок совсем оттянул ему руку. Скажешь, и придется еще пять, а то и десять минут стоять чуть ли не навытяжку.

— Меня поставили в известность, — решился он наконец, — что, хотя наши люди побывали в Артуа, там их опередили — свидетелей допрашивали не мы. Кроме того, все это время между отелем мадам Маго и Дижоном непрерывно снуют посланцы. Многие видели, как в отель к ней входят гонцы в ливреях бургундского дома…

Ясно, Маго пытается расставить силки с помощью герцога Эда, коль скоро при дворе бургундская партия пользуется поддержкой королевы.

— Верно, зато король за меня, — заявил Робер. — Нашей шлюхе пришел конец, уж поверьте мне, Тессон.

— И все же было бы лучше, ваша светлость, предъявить бумаги, потому что без бумаг… Любым словам всегда можно противопоставить другие слова… И чем раньше мы это сделаем, тем лучше…

Нотариус настаивал не зря, у него были на то свои личные причины. Натаскать десяток свидетелей, вымогать у них показания — у кого угрозами, у кого посулами — это, конечно, хорошо, и любой нотариус может на таком деле обогатиться, но может также угодить в тюрьму Шатле, а то и на колесо… А Тессону отнюдь не улыбалось разделить судьбу бывшего бальи Бетюна.

— Да будут вам бумаги, будут! И скоро будут, я вам говорю! Уж не воображаете ли вы, что их так легко достать!.. Кстати, Тессон, — вдруг прервал он себя и ткнул пальцем в черный кожаный мешок, — помните, записывая свидетельские показания графа Бувилля, вы указали, что брачный контракт был скреплен подписями и печатями двенадцати пэров. Почему вы так написали?

— Потому, ваша светлость, что так сказал свидетель.

— Ах так… Это очень, очень важно, — раздумчиво протянул Робер.

— Чем же именно, ваша светлость?

— Чем? А тем, что я жду другую копию брачного контракта, из архивов Артуа, мне должны ее вручить… и, сказать откровенно, вручить не даром… Если там не значатся имена двенадцати пэров, бумажка ни на что не будет годна. А кто в те времена был пэром? Насчет герцогов и графов узнать — дело пустое, а вот кто из князей церкви был тогда пэром? Видите, как нужно быть внимательным ко всем мелочам!

Нотариус вскинул на Робера испуганно-восхищенный взгляд:

— А знаете, ваша светлость, не будь вы столь важным сеньором, из вас вышел бы самый искусный нотариус во всем французском государстве! Не в обиду это вам будет сказано, ваша светлость, не в обиду!

Робер позвонил слуге, чтобы тот проводил посетителя. Не успел еще нотариус переступить порог, как Робер направился к маленькой дверце, помещавшейся как раз между ляжками святой Магдалины — эта декоративная деталь очень его забавляла, — и бегом пустился в спальню своей супруги. Тут, разогнав всех придворных дам, он спросил:

— Жанна, добрая моя подруга, драгоценная моя

графиня, дайте знать даме Дивион, чтобы она прекратила писать брачный контракт: сначала нужно узнать имена двенадцати пэров в восемьдесят втором году. Вы знаете, кто были они? Так вот, я тоже не знаю! И где бы это разузнать, только потихоньку, без шума? Эх, сколько времени зря потеряно! Сколько зря потеряно времени!

Графиня де Бомон не спускала с мужа своих красивых ясных голубых глаз, легкая улыбка тронула ее губы. Как и всегда, ее великан муж нашел еще одну причину для волнения.

— В Сен-Дени, любимый мой супруг, в Сен-Дени, — спокойно ответила она, — в архивах аббатства. Там мы, безусловно, найдем имена всех пэров. Я сейчас пошлю туда брата Анри, моего духовника, пусть скажет, что он, мол, начал ученые изыскания…

Широкое лицо Робера вдруг просияло выражением веселой нежности, радостной благодарности.

— А знаете ли, душенька моя, — проговорил Робер, отвешивая супруге поклон с тяжеловесной грацией, — знаете ли, что, не будь вы столь высокопоставленной дамой, из вас вышел бы самый искусный нотариус во всем французском государстве!

Супруги обменялись улыбкой, и в глазах Робера графиня де Бомон, урожденная Жанна Валуа, прочла обещание посетить нынче вечером ее ложе.

Глава III
Подлог

Человек почему-то всегда считает, что, вступив на путь лжи, он пройдет его быстро и без труда; поначалу легко и даже не без удовольствия обходишь первые препятствия, но вскоре чаща становится все темнее, дорога вдруг пропадает, разбегается на десяток тропок, которые заводят тебя в трясину; при каждом новом шаге спотыкаешься, проваливаешься в ямы, скользишь, злоба затуманивает разум, из последних сил стараешься выкарабкаться, но все напрасно, каждая попытка ведет лишь к новой оплошности.

На первый взгляд нет ничего проще, чем подделать какой-нибудь старинный документ. Берется лист веленевой бумаги, кладется на солнце, чтобы он пожелтел, вываливается в золе; подкупается писец, прицепляется несколько печатей на шелковых шнурках; казалось бы, и времени-то на это много не потребуется, да и расходы не бог весть какие.

Однако Роберу Артуа пришлось на время отказаться от мысли подделать брачный контракт своего отца. И не только из-за того, что требовалось разыскать имена двенадцати пэров, но также и потому, что акт должен был быть составлен на латыни, а ни один даже самый ученый писец не справился бы с этой задачей, так как пришлось бы употреблять устаревшие формулы, применяемые в те времена при заключении браков особ королевской крови. Бывший духовник королевы Клеменции Венгерской, поднаторевший в составлении таких бумаг, что-то медлил — видимо, застрял на вступительных и заключительных фразах, а торопить его опасались, дабы не вызвать лишних подозрений.

А тут еще неприятность — печати.

— Пусть какой-нибудь уличный гравер скопирует старые печати, — решил Робер.

Но те граверы, что вырезывали печати, приносили присягу; обратились к дворцовому граверу, но тот заявил, что невозможно точно воспроизвести печать, что два штампа никогда не совпадут и что опытный глаз эксперта сразу заметит, что печать поддельная, именно по оттиску. А подлинные печати после кончины владельца уничтожают.

Таким образом, требовалось раздобыть старые грамоты, снабженные нужными печатями, отодрать их, что само по себе тоже было делом нелегким, и перенести на подложный документ.

Поэтому-то Робер и присоветовал даме Дивион заняться каким-нибудь менее сложным для подделки документом, однако имеющим столь же важное значение.

Отправляясь 28 июня 1302 года в поход против Фландрии, где ему и суждено было погибнуть, пронзенному двумя десятками копий, старый граф Робер II, безусловно, привел в порядок все свои дела и подтвердил в письме все свои распоряжения, в силу коих его внук, Робер III, утверждался в качестве наследника графства Артуа.

— И это сущая правда, все свидетели это подтверждают, — втолковывал Робер своей супруге. — Симон Дурье вспомнил даже, какие именно вассалы моего деда присутствовали при этом и в каком суде были поставлены печати. Так что мы только восстановим истину!

Симон Дурье, бывший нотариус графа Робера II, сообщил содержание этого письма, конечно в той мере, в какой его сохранила старческая память. Почерк должен был подделать писец графини де

Бомон по имени Дюфур, но Дюфур писал со множеством помарок, да и рука его была известна.

Дама Дивион отправилась в Артуа к некоему Роберу Россиньолю, бывшему писцу Тьерри д'Ирсона, и он переписал текст не простым гусиным пером, а бронзовым, чтобы его собственного почерка никто не мог узнать.

Вот у этого-то Россиньоля, которому в награду за труды посулили оплатить дорогу в Сен-Жак-де-Компостель, куда он желал отправиться по обету, чтобы вымолить себе у святого здоровья, оказался еще и зять, некий Жан Олиет, который, оказывается, умел ловко снимать печати! Нет, решительно, эта семейка была неисчерпаема на таланты! Олиет открыл даме Дивион тайну своего искусства.

А та, возвратясь в Париж, заперлась в опочивальне вместе с графиней де Бомон, а из прислужниц допустили лишь одну Жаннетту, и вот все три женщины с помощью нагретой бритвы и конского волоса, смоченного особой жидкостью, обеспечивающей целостность воска, с превеликим тщанием стали снимать печати со старых документов. Сначала печать разделяли на две половинки, потом одну из половинок нагревали и снова соединяли с другой, вставив

между половинками шелковый шнурок или край пергамента заново изготовленного документа. Потом чуть подогревали края восковой печати, дабы уничтожить следы разреза.

Жанна де Бомон, Жанна Дивион и Жаннетта таким образом приложили руку к сорока, если не больше, печатям; ни разу они не работали в одном и том же месте: то запрутся в какой-нибудь комнате отеля Артуа, то в отеле Эгль, а то отправятся в загородный дом.

Иной раз к ним в комнату врывался Робер — посмотреть, как идет дело.

— Опять все мои три Жанны за работой! — умилялся он.

Из трех женщин самой ловкой оказалась графиня де Бомон.

— Женские пальчики, пальчики волшебные, — говаривал Робер, галантно прикладываясь к ручке супруги.

Но уметь отцеплять печати еще не все, надо было раздобывать те печати, в которых по ходу дела возникала нужда!

Печать Филиппа Красивого отыскали без труда: королевских эдиктов осталось превеликое множество, и имелись они повсюду. Робер достал через епископа д'Эврё письмо, касающееся его

сеньории Конш, достал под тем предлогом, что ему, мол, желательно ознакомиться с этим документом, и так и не вернул его владельцу.

В графстве Артуа дама Дивион пустила своих дружков Россиньоля и Олиета, а также двух служанок, Мари Беленькую и Мари Черненькую, на поиски старинных судебных и сеньоральных печатей.

Вскоре были собраны все печати, за исключением лишь одной, самой необходимой, — печати покойного графа Робера II. Как это ни казалось нелепым, однако именно так обстояло дело: все семейные документы хранились в архивах графства Артуа под неусыпным оком писцов графини Маго, а Робер, который был еще несовершеннолетним в год кончины деда, не имел ни единой бумажонки.

Дама Дивион через какую-то свою родственницу сумела войти в доверие некоего Урсона по прозванию Кривоглазый, у которого имелась грамота покойного графа Робера, скрепленная «доверенной печатью», и который, по-видимому, был не прочь расстаться с ней за три сотни ливров наличными. Мадам Жанна де Бомон десятки раз твердила, что при скупке документов жаться не следует, но в Артуа у Дивион таких

денег под рукой не оказалось, а мессир Урсон Кривоглазый, видно человек недоверчивый, не соглашался отдать грамоту в обмен на одни лишь клятвенные заявления о скорой уплате.

Когда Дивион осталась без гроша, она вдруг вспомнила, что у нее есть муж и что живет он не тужа в кастелянстве Бетюн. Никогда он особенно не досаждал жене своей ревностью, а сейчас, после того как епископ Тьерри отошел в лучший мир… Дама Дивион помчалась за помощью к оставленному ею супругу. Конечно, теперь в их тайные дела было посвящено слишком много людей, но ничего не попишешь. Денег муж дать в долг не пожелал, но согласился пожертвовать прекрасным конем, на котором некогда блистал на турнирах, и коня этого Дивион всучила в качестве залога мессиру Урсону, да еще оставила ему несколько бывших при ней безделушек.

Ох и не щадила же себя эта Дивион! Не считалась ни со временем, ни с трудностями, ни с хлопотами, ни с разъездами. И языком поработала вовсю… А главное, следила, чтобы ничего не спутать и не забыть; теперь на ночь она клала ключи себе под подушку.

Сведенными от страха пальцами срезала она бритвой печать покойного графа Робера. Ведь

плачено за нее целых триста ливров! А где найти такую вторую, если, на беду, она ее испортит?

Его светлость Робер Артуа начинал потихоньку терять терпение, потому что все свидетели были теперь допрошены и король уже несколько раз осведомлялся, конечно весьма мило, якобы из чистого любопытства, скоро ли будут представлены бумаги, в существовании которых поклялся его зять.

Ну, теперь осталось потерпеть еще два дня, еще один день, и его светлость Робер будет доволен!

Глава IV
В Рейи собирают гостей

В летнюю пору, когда выпадали свободные от королевской службы и от возни с собственной тяжбой дни, Робер Артуа предпочитал на конец недели уезжать в Рейи, где находился замок его супруги, доставшийся ей по наследству от Карла Валуа.

Луга и леса опоясывали замок кольцом восхитительной прохлады. Здесь Робер держал своих охотничьих соколов. Летняя резиденция графа кишела людьми, ибо многие юноши благородного происхождения, ждавшие посвящения в

рыцари, селились у Робера, кто в качестве пажа, кто виночерпия, а кто и просто слуги. Тот, кому не удавалось попасть в свиту короля, пытался с помощью своих влиятельных родичей попасть в свиту графа Артуа, а раз попав, старались перещеголять один другого в рвении. Держать поводья коня его светлости, подать ему кожаную перчатку, на которую усядется красавец сокол, поставить перед ним столовый прибор, лить из кувшина воду на его огромные ручищи — все это подвигало юношей, хоть и немного, но подвигало по иерархической лестнице французского государства, а потянуть поутру за угол подушку, чтобы разбудить ото сна Робера III, — это было почти равносильно тому, как если бы вы разбудили самого Господа Бога, коль скоро его светлость, как было известно всем, самолично вершил дела при французском дворе.

В эту субботу, первую субботу сентября, Робер пригласил к себе в Рейи кое-кого из своих друзей-сеньоров, в том числе сира де Бреси, рыцаря Анжеса и архидиакона Авраншского и даже полуслепого старика графа де Бувилля, которого доставили в замок на носилках. Для любителей раннего вставания предлагалась соколиная охота.

А пока что гости собрались в зале правосудия, где сам хозяин в домашнем костюме сидел, небрежно раскинувшись в креслах. Здесь же присутствовала его супруга, графиня де Бомон, а также нотариус Тессон, уже разложивший на столе свои письменные принадлежности и перья.

— Добрые мои сиры, дорогие мои друзья, — начал Робер, — я пригласил вас сюда, чтобы попросить у вас совета.

Редко какой человек не почувствует себя польщенным, услышав, что от него ждут совета… Юные пажи разносили гостям полагающиеся перед обедом напитки, вино с корицей, засахаренные фрукты с пряностями и очищенный миндаль в золоченых кубках. Двигались они бесшумно, исполняли свои обязанности безукоризненно; они слушали во все уши и глядели во все глаза — все, что здесь происходит, войдет в сокровищницу их воспоминаний, и когда-нибудь они будут рассказывать своим внукам: «В тот день я был у его светлости Робера; туда приехал также граф де Бувилль, тот самый, что был камергером при короле Филиппе Красивом…»

Робер рассказывал спокойно, обстоятельно: некая дама Дивион, которую он почти не знает, предложила передать ему письмо, которое ей

вместе с прочими документами досталось от епископа Тьерри д'Ирсона… чьей подружкой она была, добавил Робер, доверительно понизив голос. Так вот, эта самая Дивион, как и следовало ожидать, требует денег — все такие дамочки одним миром мазаны! Но документ, по-видимому, важный. Тем не менее, прежде чем его приобрести, Робер хотел бы удостовериться, что его не морочат, что письмо это подлинное, что оно может служить документом на его процессе и что оно не просто подделка какая-то, изготовленная с единственной целью вытянуть у него денежки. Вот поэтому-то он и просит всех своих друзей, людей мудрых и более сведущих во всем, что касается писаных бумаг, внимательно изучить этот документ.

Время от времени Робер украдкой взглядывал на свою супругу, желая удостовериться, достаточно ли убедительно звучат его слова. Жанна отвечала еле приметным наклонением головы; ее восхищало хитроумие мужа, то, как умело этот ловкач-гигант прикидывался простаком, когда ему требовалось кого-то провести. Посмотрите на него, вид встревоженный, недоверчивый… Присутствующие не преминут признать подлинность письма, а признавши, не станут и дальше

отказываться от своего мнения, и при дворе и в парламенте пойдут слухи, что у Робера, мол, в руках документ, подтверждающий его права на графство.

— Введите эту даму Дивион!.. — сурово крикнул Робер.

Вошла Жанна Дивион, этакая скромная провинциалочка: полотняная шемизетка, а над ней скуластое личико, глаза, окруженные синевой. Вот ей не нужно было разыгрывать смущение, она и впрямь смутилась. Из большого матерчатого кошеля она вытащила свернутую трубочкой бумагу, с которой на шнурках свисало несколько печатей, вручила ее Роберу, а тот развернул свиток, с минуту разглядывал его и передал нотариусу.

— Проверьте печати, мэтр Тессон.

Нотариус проверил сначала шелковые шнурки, с которых свисали печати, потом склонил над листом веленевой бумаги свою огромную черную шапку и профиль молодого, только что народившегося месяца.

— Ваша светлость, это действительно печать покойного графа, вашего дедушки, — уверенно заявил он.

— Посмотрите теперь вы, дорогие сиры, — под-

хватил Робер.

Письмо переходило из рук в руки. Сир де Бреси подтвердил, что печати судов Арраса и Бетюна безукоризненны; граф де Бувилль поднес бумагу к полуслепым своим глазам и различил только зеленое пятнышко в самом низу бумаги; он провел пальцем по воску, такому гладкому на ощупь, и с век его скатилась слеза.

— Ах, — пробормотал он, — это зеленая печать, печать моего доброго государя Филиппа Красивого.

И тут наступила минута великого умиления, минута торжественного молчания, ибо каждый в душе почувствовал уважение к этому старому слуге французской короны и к давним его воспоминаниям.

Стоявшая в уголке у стены Жанна Дивион обменялась быстрым взглядом с графиней де Бомон.

— А теперь прочтите-ка нам этот документ вслух, мэтр Тессон, — приказал Робер.

И нотариус, взяв уже обошедший круг приглашенных документ, начал:

– *«Мы, Робер Французский, пэр и граф Артуа…»*

Начальные строки были составлены согласно обычной традиции, поэтому присутствующие выслушали их спокойно.

– «…и сим подтверждаем в присутствии сеньоров де Сен-Венана, де Сен-Поля, Вейпейлля, благородных рыцарей, что скрепят документ сей печатями своими, и мэтра Тьерри д'Ирсона, писца моего…»

Кое-кто взглянул в сторону Жанны Дивион, и она потупила взор.

«Ловко это мы подпустили епископа Тьерри, очень ловко, — думал Робер, — таким образом, его роль будет удостоверена свидетельскими показаниями; получается весьма складно, все одно к одному».

– «…что после женитьбы сына нашего Филиппа ввели его во владение графством нашим, с тем, однако, чтобы пользоваться доходами с него до конца наших дней, на что дочь наша Маго дала свое согласие и отказалась от вышеупомянутого графства…»

— Ого, это существенно, весьма существенно! — вскричал Робер. — Этого даже я не ожидал. Никто мне никогда не говорил, что Маго дала свое согласие! Вы видите, видите, друзья мои, какова же ее подлость!.. Продолжайте, мэтр Тессон.

Присутствующие тоже не остались равнодушными. Кто покачивал головой, кто переглядывался с соседом… И впрямь, документ этот огромной

важности…

– *«…и ныне, когда Господь Бог призвал к себе нашего дорогого и возлюбленного сына графа Филиппа, обращаемся с просьбой к владыке нашему королю, ежели случится, что в походе свершится над нами воля Божия, дабы наш владыка король не допустил бы того, что потомство мужеска пола от сына нашего было бы лишено наследства…»*

Гости в знак одобрения важно кивали. Рыцарь Анжес из парламента простер к Роберу обе руки, как бы говоря: «Ну вот, ваша светлость, считайте, что тяжба уже выиграна».

Нотариус продолжал чтение:

– *«…и скрепили сие нашей печатью, в нашем отеле в Аррасе, двадцать восьмого дня июня месяца лета от Рождества Христова тысяча триста двадцать второго».*

При этих словах Робер подскочил в креслах. Графиня де Бомон побледнела. Дивион, стоявшая в углу, чуть не лишилась сознания.

Но не только эти трое расслышали слова «тысяча триста двадцать второго». Все головы, как по команде, удивленно повернулись в сторону нотариуса, но и тот тоже сидел как оглушенный.

— Вы, кажется, прочитали «тысяча триста

двадцать второго»? — спросил рыцарь Анжес. — Очевидно, вы хотели сказать триста второго, то есть год смерти графа Робера?

Мэтр Тессон и рад был бы обвинить себя в этой оговорке, но бумага вот здесь, перед его глазами, и там черным по белому написано «тысяча триста двадцать второго». А если кто захочет еще раз взглянуть? Как такое могло случиться? Ох и покажет им всем его светлость Робер! А сам-то он, Тессон, в какое грязное дело дал себя впутать. В Шатле… за такие дела наверняка попадешь в Шатле!

Но так или иначе, надо было выпутываться, исправить непоправимое…

— Тут, очевидно, неясно написано, — пробормотал он. — Ну да, конечно же, надо читать тысяча триста второго…

И, быстро окунув перо в чернильницу, он вычеркнул что-то, что-то подправил, чтобы получилась нужная дата.

— А имеете ли вы право исправлять бумаги? — кислым тоном осведомился Анжес.

— Ну конечно, мессир, — отозвался нотариус, — тут под словом стоят две точки, а прямая обязанность нотариуса исправлять нечетко написанные слова, под которыми эти точки стоят.

— Совершенно верно, — подтвердил архидиакон Авраншский.

Однако это, казалось бы, незначительное происшествие начисто разрушило то первое прекрасное впечатление от документа.

Робер кликнул пажа, шепнул ему на ухо, чтобы скорее накрывали к обеду, и сделал попытку оживить разговор.

— В конечном счете, мэтр Тессон, как по-вашему, письмо подлинное или нет?

— Безусловно, ваша светлость, безусловно, — поспешно отозвался Тессон.

— И по-вашему тоже, мессир архидиакон?

— По-моему, подлинное.

— Возможно, вам следовало бы, — дружески заметил сир де Бреси, — следовало бы сравнить это письмо с другими письмами покойного графа Артуа, датированными тем же годом…

— А как, дорогой мой друг, — ответил Робер, — а как же их сравнить, если все документы хранятся у моей тетки Маго! Я лично считаю, что письмо подлинное. Таких вещей не выдумывают! Я сам половину из того, что здесь написано, не знал, и в частности, что Маго отказалась от наследства.

В эту минуту во дворе заиграл рожок. Робер хлопнул в ладоши.

— Сигнал мыть руки, мои сеньоры! Пойдемте ополоснем кончики пальцев — и за стол!

Он в бешенстве метался по спальне графини, своей супруги, и половицы тряслись под его ногами.

— Вы же его читали! И Тессон читал! И Дивион читала! И никто из вас не заметил эти злосчастные «двадцать второго», а из-за этого пустяка может рухнуть здание, с таким трудом возведенное.

— Но вы сами, друг мой, — спокойно ответила Жанна де Бомон, — но вы сами тоже читали и перечитывали это письмо и, если память меня не обманывает, были в полном восторге…

— Ну да, ну да, читал, и я тоже не заметил этой ошибки! Читать глазами и читать вслух — это вовсе не одно и то же. Я даже мысли не мог допустить, что напишут такую ерунду. И надо же было этому ослу нотариусу… И еще другой осел, который письмо писал… как его звать? Россиньоль?.. Уверяет, что способен, мол, составить любое письмо, вытягивает у нас столько денег, что можно дворец построить, а сам не умеет даже правильную дату написать! Вот прикажу схватить этого самого Россиньоля, пусть-ка его постегают до крови!

— Придется вам искать его в Сен-Жаке, друг мой, куда он поехал паломником на ваши деньги.

— Тогда подождем, пока вернется!

— А не опасаетесь ли вы, что во время порки он заговорит громче, чем вам бы того хотелось?

Робер пожал плечами:

— Счастье еще, что все это произошло у нас дома, а не перед судьями в парламенте! Прошу вас, милочка, самым тщательным манером проверять все прочие бумаги, чтобы туда не вкрались подобные ошибки.

По мнению Жанны де Бомон, Робер несправедливо обрушил на нее весь свой гнев. Не меньше его она сожалела об этой ошибке, не меньше его печалилась, так что Робер мог бы сдержаться и не винить ее во всех смертных грехах, тем паче после ее трудов, когда она всю кожу на пальцах себе ободрала, возясь с этими печатями.

— В конце концов, Робер, с какой стати вы так неистовствуете с этой тяжбой? Почему рискуете сами и не только меня подвергаете риску, но и добрый десяток связанных с вами людей в том случае, если в один прекрасный день откроются ложь и подлог?

— Никакая это не ложь, никакой это не подлог! — завопил Робер. — Я хочу открыть людям

глаза на правду, которую упорно от них прячут!

— Хорошо, пусть правду, — согласилась Жанна, — но признайтесь же, что правду вы преподнесете людям в дурном обличье. Не опасаетесь ли вы, что в таком виде ее вряд ли узнают! У вас есть все, друг мой: вы пэр Франции, брат короля, коль скоро я его родная сестра; в Королевском совете вы вершите всеми делами; доходы ваши велики, так что вашему богатству может позавидовать любой, не говоря уже о моем приданом. Почему вы не оставите в покое это графство Артуа? И не допускаете ли вы мысли, что мы начали опасную игру, которая может стоить нам слишком дорого?

— Душенька, рассуждения ваши никуда не годятся, и я удивлен, слыша от вас, такой умницы, подобные слова. Да, я первый из баронов Франции, но ведь я барон безземельный. Мое небольшое графство Бомон, которое мне дали взамен Артуа, принадлежит короне: не я его хозяин, хоть и пользуюсь доходами с него. Да, мне дали звание пэра, но, как только что вы сами изволили выразиться, только потому, что король ваш родной брат, да продлит Господь дни его, но ведь и короли тоже не вечны. Сколько их прошло на наших глазах! Если Филипп умрет, не меня

же, в самом деле, назначат регентом. А вдруг эта хромоногая сука, жена Филиппа, которая и вас тоже ненавидит, при поддержке Бургундского дома станет регентшей, так буду ли я тогда столь же всемогущим, как ныне, и станет ли казна по-прежнему выплачивать мне доходы? У меня нет никакой власти, я не творю суд, я вассал, но не из великих, я не имею права снимать с земли людей, которые должны были бы мне слепо повиноваться и чей труд я мог бы использовать иначе. Чьими руками сейчас все делается? Руками людей из Валуа, из Анжу, Мэна — другими словами, из удельных и ленных владений вашего дорогого батюшки Карла. А где же мне брать себе слуг? Среди вон тех, что ли? Повторяю вам, у меня нет ровно ничего. Я не могу даже собрать под свои знамена многочисленное войско, чтобы привести в трепет недругов. Истинное могущество мерится количеством ленных владений, кастелянств, которыми можно управлять по собственной воле и черпать оттуда людей для ратных дел. Все мое богатство — это я сам, это мои руки, это то место, которое я занимаю в Совете; мое влияние основано на королевском благорасположении, а благорасположение, как и все прочее, — в руце Божией. У нас сыновья; так

вот, подумали ли вы о них, душенька, и, так как неизвестно, унаследуют ли они мой ум, я хочу оставить им корону графа Артуа… ведь по закону они прямые ее наследники.

Никогда еще Робер так пространно не излагал свои самые потаенные мысли, и графиня де Бомон, забыв недавнюю обиду, видела сейчас мужа совсем в новом свете, и перед ней был уже не коварный гигант, за чьими интригами она следила с любопытством, уже не тот шалопай, способный на любую подлость, уже не тот оголтелый бабник, не пропускавший ни одной юбки, шла ли речь о благородных девицах, простых горожанках или даже прислужницах, — сейчас перед ней был подлинный сеньор, здраво рассуждавший о своих делах. Когда в свое время ее отец Карл Валуа гонялся за королевствами или за императорской короной и старался пристроить своих дочерей за особ королевского рода, он тоже оправдывал свои деяния точно такими же рассуждениями.

Тут в дверь постучал паж: дама Дивион желает срочно поговорить с графом.

— Чего ей еще от меня нужно? Значит, не боится, что я ее пришибу на месте? Введите ее.

Жанна Дивион вошла в спальню графини с растерянным видом человека, приносящего

дурные вести. Две ее служанки из Артуа, Мари Беленькая и Мари Черненькая, те, что помогали ей скупать печати к подложному письму, брошены в темницу, и схватили их судейские приставы графини Маго.

Глава V
Маго и Беатриса

— Пускай черти припекут вас на том свете, подлые вы людишки! — вопила графиня Маго. — Где же это видано? Я приказала схватить двух этих баб, от которых мы могли бы многое узнать, и едва только их бросили в темницу, как тут же и выпустили!..

В своем замке Конфлан на Сене, неподалеку от Венсенна, бушевала Маго, только что узнавшая, что обе служанки Жанны Дивион, схваченные бальи Арраса по ее приказу, уже освобождены. Ох и разъярилась же она, а «подлые людишки», на чью голову она обрушивала свои проклятия, в данном случае были представлены одной лишь Беатрисой д'Ирсон, ее придворной дамой. Бальи Арраса доводился родным дядей Беатрисе и был младшим братом покойного епископа Тьерри.

— Обе служанки, мадам, были освобождены

по приказу короля, приславшего за ними двух стражников, — спокойно пояснила Беатриса.

— Да поди ты! Королю плевать на каких-то служанок, которые кухарят в захудалой аррасской харчевне! Их выпустили по приказу моего племянничка Робера, он побежал к королю и добился их освобождения. Хоть имена-то стражников известны? Хоть проверили, действительно ли они состоят на королевской службе?

— Одного звать Масио Алеман, а второго — Жан Сервуазье, мадам… — ответила Беатриса все так же спокойно и неторопливо.

— Оба пристава Робера! Я этого Масио Алемана знаю — это с его помощью мой прощелыга-племянничек обделывает свои самые грязные делишки. Кстати, как это Робер узнал, что служанок Дивион бросили в узилище? — спросила Маго, с подозрением взглянув на свою придворную даму.

— У его светлости Робера осталось много связей в Артуа… вы это сами знаете, мадам.

— Я не желаю, чтобы он поддерживал связи с моим окружением! — крикнула Маго. — Но тот, кто мне плохо служит, тем самым предает меня, и все вы меня предаете. Ох, после кончины Тьерри никто, по-моему, не чувствует ко мне и капли

привязанности. Неблагодарные людишки! Я вас всех облагодетельствовала; целых пятнадцать лет нянчусь с тобой, как с родной дочерью…

Беатриса д'Ирсон, опустив свои длинные черные ресницы, уставилась на плитки пола. Ее гладкое смуглое лицо с четко вырезанными губами не выражало ровно ничего: ни покорности, ни возмущения, разве что в том, как поспешно опустила она свои на удивление длинные ресницы, притушив блеск глаз, чувствовалась какая-то фальшь.

— Твой дядюшка Дени, которого я сделала своим казначеем в угоду Тьерри, меня обманывает и обкрадывает! Где, скажи на милость, счета на проданные нынешним летом на парижском рынке вишни, а ведь вишни-то из моих садов! Дождется он, что в один прекрасный день я велю проверить все его записи! Все у вас есть — земли, дома, замки, — и все это куплено на те денежки, которые вы у меня же и накрали! А твоего дурачка-дядюшку Пьера я бальи назначила, думая, что, раз он так глуп, хоть, по крайней мере, будет мне верно служить, а его, как вам это понравится, даже на то не хватает, чтобы держать ворота моей же тюрьмы на запоре! Кто хочет, тот оттуда и выходит, как из харчевни какой-нибудь или из

непотребного дома.

— Но разве, мадам, мог дядя отказать… ведь бумага была за королевской печатью.

— А за те четыре дня, что провели в тюрьме эти служанки мерзкой шлюхи, какие они дали показания? Сумели развязать им язык? Подверг их твой дядюшка допросу с пристрастием?

— Но, мадам, — возразила Беатриса все тем же спокойно-неторопливым тоном, — он не мог этого сделать без решения суда. Вспомните, что случилось с вашим бальи из Бетюна…

Взмахом своей огромной, испещренной желтыми пятнами ручищи Маго отмела этот аргумент.

— Нет-нет, все вы мне сейчас служите не от чистого сердца, — вздохнула она, — а может, и всегда плохо служили!

Маго старела. Годы не пощадили этого грузного тела, на подбородке выросла жесткая седая щетина, при малейшем волнении щеки становились лилово-багровыми и, словно красный детский слюнявчик, вырисовывалось на шее и груди алое пятно приливавшей крови. С прошлого года здоровье ее сильно ухудшилось. Этот год вообще был для нее роковым.

С того самого дня, когда в Амьене она принесла ложную клятву и когда была наряжена комиссия,

характер Маго окончательно испортился, стал воистину невыносимым. Больше того — сдавала голова, она лишь с трудом разбиралась в том, что важно, а что нет. Побьет ли заморозок розы, которые в великом множестве выращивались в ее садах, сломается ли насосная машина, питавшая водой ее искусственные каскады в замке Эсден, — результат был один. С силой урагана гнев хозяйки обрушивался и на садовников, и на смотрителей машины, и на пажей, и на Беатрису.

— А эти картины, да и десяти лет не прошло, как их намалевали, — орала она, указывая на фрески в галерее замка Конфлан. — Сорок восемь ливров парижской золотой монеты я заплатила этому богомазу, которого твой дядюшка Дени выписал из Брюсселя и который клялся, что краски у него самые что ни на есть стойкие[13]! И десяти лет не продержались, взгляни сама! Серебряные шлемы уже потускнели, а внизу вся картина облупилась. Что это, я тебя спрашиваю, хорошая,

[13] Примечания: 13

...краски у него самые что ни на есть стойкие! — В июне 1320 г. Маго заключила сделку с Пьером Брюссельским, художником, проживавшим в Париже, для росписи фресками большой галереи в своем замке Конфлан, расположенном у слияния Марны и Сены. Договор очень точно определял сюжеты этих фресок (портреты графа Робера II и его рыцарей, сражающихся на суше и на море), одежду, которая должна быть на персонажах, цвет и качество используемых материалов. Роспись была закончена 26 июля 1320 г.

честная работа?

Беатриса скучала. Свита Маго была многочисленна, но состояла только из людей пожилого возраста. Теперь Маго держалась в стороне от королевского двора, где все полностью подпало под влияние Робера. Там, в Париже, в Сен-Жермене, у «короля-подкидыша» без передышки идут рыцарские потехи, состязания на копьях и пиршества — то в день рождения королевы, то в честь отъезда короля Богемии, а то и без всякой причины, просто так, для собственного удовольствия. Маго не появлялась при дворе или появлялась на минутку, когда этого требовало ее звание пэра Франции. Она уже вышла из того возраста, чтобы танцевать на придворных балах, и без интереса смотрела, как развлекаются другие, еще и потому, что происходило это при дворе, где с ней обращались так плохо. Даже пребывание в Париже в своем отеле на улице Моконсей ее не радовало — так и жила она затворницей в четырех стенах замка Конфлан или в замке Эсден, который пришлось долго приводить в божеский вид после разгрома, учиненного там в 1316 году ее племянником Робером Артуа.

С тех пор как она лишилась последнего любовника — а последним был епископ Тьерри д'Ирсон,

деливший свои ночи между графиней и Жанной Дивион, откуда и пошла та ненависть, которую питала к сопернице Маго, — она превратилась в домашнего тирана и, боясь ночных приступов недуга, приказала Беатрисе спать в уголке ее спальни, где стоял густой запах стареющей плоти, лекарств и жирной пищи. Ибо Маго по-прежнему предавалась чревоугодию и в любой час суток на нее нападал стих обжорства; все вокруг — ковры, драпировки — пропахло заячьим рагу, жареным мясом кабанов и оленей, чесночными похлебками. Из-за вечного несварения желудка и запоров она то и дело призывала лекарей, цирюльников и аптекарей, но тут же заедала маринованным мясом прописанные ими микстуры и настои из целебных трав. Ах, где то блаженное времечко, когда Беатриса помогала Маго травить, как крыс, французских королей!

Да и сама Беатриса начинала ощущать груз прожитых лет. Молодость кончалась. Тридцать три года как раз тот возраст, когда каждая женщина, пусть даже познавшая все тайны разврата, оглядывает как бы с высоты два склона жизни, с тоской вспоминая прошедшие годы и с тревогой ожидая грядущих дней. Беатриса была по-прежнему красива, в чем убеждали ее муж-

ские взгляды, бывшие ей ценнее любых зеркал. Но она сама знала — кожа постепенно утрачивает свой золотистый оттенок спелого плода, что было главным ее очарованием в двадцать лет; темные глаза — зрачки такие, что из-под ресниц почти не видно белка, — уже не так блестят поутру; тяжелеют бедра. Словом, наступила та пора, когда грешно было бы терять хоть один миг.

Но как быть, если старуха Маго укладывает ее спать в своей спальне, как незаметно улизнуть оттуда на свидание со случайным любовником, как отправиться в полночь в некое тайное убежище, где творят черную мессу, и там, среди участников дьявольского шабаша, вкусить всю пряную сладость греха?

— О чем размечталась? — раздался вдруг крик Маго.

— Я не размечталась, мадам, — ответила Беатриса, скользнув по лицу Маго беглым взглядом, — я только думаю о том, что вы сможете найти лучшую придворную даму, чем я, и она лучше станет вам служить... Я собираюсь выйти замуж.

Как и рассчитывала Беатриса, эта отравленная стрела без промаха достигла цели.

— Ну и невеста из тебя выйдет! — завопила

Маго. — Тот, кто тебя в жены возьмет, славное приданое получит, и придется ему долго искать твою девственность в постелях у всех моих конюших, прежде чем ты украсишь его вдобавок еще и парой рогов!

— В мои годы, мадам, и притом, что я состояла при вашей особе, девственность скорее беда, чем добродетель. Что ж тут такого, раз я принесу в приданое мужу дома и все свое добро.

— Если только они у тебя до тех пор останутся, дочь моя! Если только останутся! Потому что все, что у тебя есть, у меня награблено!

Беатриса улыбнулась, и на черные ее глаза снова опустилась завеса ресниц.

— О мадам, — проговорила она с непривычной для нее кротостью, — неужто вы лишите благодеяний ту, что подсобляла вам в ваших тайных деяниях… ведь мы совершали их вместе.

Маго с ненавистью взглянула на Беатрису.

О, Беатриса умела напомнить своей госпоже об умерщвленных королях, чьи трупы отныне залегли между ними, о драже, сведшем в могилу Людовика Сварливого, о мазке яда по губам младенца Иоанна I… и к тому же знала, чем обычно кончаются такие сцены: у графини кровь прильет к голове, и под бычьей ее шеей появится

алый слюнявчик.

— Не пойдешь замуж! Смотри, смотри, до чего ты меня доводишь своими дерзостями, радуйся теперь, — простонала Маго, падая в кресло. — В ушах звон стоит, надо бы снова отворить кровь.

— Не потому ли, мадам, вам так часто приходится отворять кровь, что вы слишком невоздержанны в пище?

— Ела и буду есть, что мне хочется и когда захочется! — завопила Маго. — И не нуждаюсь я в твоих советах, не тебе, дуре темной, решать, что мне полезно, что нет. Пойди принеси мне английского сыра и вина! Только быстрее!

В кладовых английского сыра не оказалось: последнюю присланную из Англии партию уже съели.

— Кто его сожрал? Меня обкрадывают! Тогда принеси мне запеченный паштет!

«Хоть десять! Набей себе брюхо и сдохни!» — думала Беатриса, ставя перед своей госпожой блюдо с паштетом.

Маго жадно, всей пятерней схватила здоровенный кус паштета и впилась в него зубами. Но в эту же минуту услышала странный хруст, отдавшийся в голове, но хрустнула не аппетитно запеченная корка — сломался зуб, еще один зуб!

Ее серые, выпуклые, налитые кровью глаза совсем выкатились из орбит. С минуту она сидела не шевелясь, держа в правой руке кус паштета, а в левой — стакан вина, так и не закрыв рта, откуда свисал ставший поперек, сломанный в шейке резец. Потом поставила стакан и без усилий двумя пальцами вырвала зуб. Пощупала языком пустое место в десне и оцарапала язык о неровные острые края корня. А сама вертела в толстых пальцах своих маленький кусочек пожелтевшей кости, черной в месте перелома, глядела на часть самой себя, покинувшую ее.

Но тут Маго вскинула глаза, потому что Беатриса, не удержавшись, фыркнула. Сложив руки на животе, придворная дама не могла сдержать дурацкого смеха, от которого дрожали ее плечи. Но она не успела увернуться, Маго подошла к ней и со всего размаха закатила Беатрисе две пощечины. Смех сразу стих; под длиннющими ресницами злобно блеснули черные глаза, но блеск их тут же потух.

В тот же вечер, когда Беатриса помогала графине раздеваться на ночь, мир между обеими женщинами, казалось, был восстановлен. Маго, как одержимая, снова завела разговор о предстоящей тяжбе и поясняла Беатрисе:

— Пойми ты, почему мне так необходимо было, чтобы допросили тех двух женщин. Уверена, что эта Дивион помогает Роберу подделывать бумаги, и вот было бы славно поймать ее за руку.

Машинально она потрогала языком обломок зуба, который успел подточить цирюльник.

А в голове Беатрисы после двух увесистых пощечин уже зрел некий замысел.

— Разрешите, мадам, дать вам один совет? Соблаговолите вы его выслушать?

— Ну конечно, дочь моя, говори, говори. Я человек вспыльчивый, скора на расправу, но тебе я верю, и ты сама это прекрасно знаешь.

— Так вот, мадам, все беды начались с наследства моего дяди Тьерри… когда вы наотрез отказались отдать то, что оставил он этой самой Дивион. Кто же спорит — мерзкая баба, и зря он ей столько назавещал! Но вы-то, вы приобрели в ее лице врагиню, а ведь она, коль скоро дядя поверял ей некоторые тайны… теперь она торгуется с Робером, хочет их подороже продать. Какое все-таки счастье, что я успела вовремя забрать бумаги из кофра д'Ирсонов, где дядюшка держал кое-какие ваши документы! Теперь вы сами видите, что с ними способна была сделать эта подлянка. Если бы вы дали ей хоть чуточку

денег и кусок земли, мы заткнули бы ей рот.

— Да, да, — согласилась Маго, — пожалуй, и впрямь я совершила промашку. Но, согласись сама, где же это видано, чтобы какая-то распутная бабенка, которая валялась, как последняя, с епископом, явилась ко мне с завещанием, будто законная жена… Да, верно, пожалуй, я совершила промашку…

Беатриса помогла Маго снять дневную рубашку. Великанша подняла свои огромные ручищи, показав подмышки, заросшие реденьким седым пушком; на загривке, как у быка, горбом вздымались жиры, груди тяжелые, отвислые, чудовищно уродливые груди…

«Стареет, — думала Беатриса, — скоро она умрет… да, но как скоро? До последнего ее дня мне придется раздевать и одевать эту отвратительную старуху и все ночи проводить при ней… А когда она умрет, что-то со мной станется? При поддержке короля его светлость Робер, конечно, выиграет тяжбу… И от дома Маго не останется ничего».

Осторожно натягивая на графиню ночную сорочку, Беатриса снова заговорила:

— Вот если бы вы согласились отдать этой Дивион то, что она требует по завещанию… и даже

что-нибудь еще дали сверх, она, безусловно, перешла бы на вашу сторону, и ежели она и впрямь помогает вашему племяннику в его дурных делах, вы бы узнали, в каких именно… и это пошло бы нам на пользу.

— Ты, пожалуй, умно придумала, — ответила Маго. — Мое графство стоит того, чтобы лишиться какой-нибудь тысячи ливров, если даже такова плата за грехи. Но как добраться до этой шлюхи? Ведь она днюет и ночует в отеле Робера, а он, надо полагать, велел следить за ней в оба… и при случае не прочь ее приласкать, он у нас, как известно, не из привередливых. Как бы он не пронюхал о наших планах.

— Я берусь, мадам, увидеть ее и с ней поговорить. Как-никак я родная племянница Тьерри. Мог же он поручить мне передать ей еще какие-нибудь свои предсмертные распоряжения…

Маго пристально вглядывалась в спокойное, даже улыбающееся лицо своей придворной дамы.

— Помни — это риск, и большой риск, — протянула она. — Ежели Робер узнает, тогда держись…

— Знаю, мадам, знаю, что иду на риск, но я опасностей не боюсь, — ответила Беатриса, натягивая на уже улегшуюся в постель графиню вышитое одеяло.

— Ладно, ладно, ты славная девушка, — сказала Маго. — Щека-то не очень горит?

— До сих пор горит, мадам… но, чтобы услужить вам…

Глава VI
Беатриса и Робер

Лорме впустил ее в отель через боковую дверцу, которой обычно пользовались поставщики, так, словно бы ночная гостья была какая-нибудь лоскутница или вышивальщица, пришедшая к господам сдать заказ. Впрочем, сейчас Беатрису д'Ирсон, закутанную в широкую пелерину из легкого серого сукна, с капюшоном, низко надвинутым на лоб, трудно было отличить от простой горожанки.

Она с первого взгляда узнала старого слугу его светлости Артуа, но не выказала удивления, точно так же, как не выказала его, пройдя через два двора, службы и проследовав за Лорме в барские покои.

А Лорме семенил впереди, шумно дыша, и время от времени оборачивался, бросая недоверчивый взгляд на эту красотку, которая без всякого смущения следовала за ним своей скользящей

походкой, чуть покачиваясь на ходу.

«Чего здесь нужно людишкам Маго? — ворчал про себя Лорме. — Какое варево намеревается сварганить эта шлюха на собственном нашем очаге? Ох, уж больно неосторожен его светлость Робер, разве можно пускать такую в дом? Да, мадам Маго знает, что делает: небось какую-нибудь уродину к нам не прислала!»

Коридор со сводчатым потолком, шпалеры на стенах, низенькая дверца, бесшумно вращавшаяся на обильно смазанных петлях, — и перед Беатрисой предстали сначала святой Георгий, поражающий копьем дракона, потом святой Морис, опершийся на меч, и затем святой Петр, все так же тянущий из моря сети.

А посреди комнаты стоял сам Робер, широко расставив ноги, скрестив руки на мощной груди и уткнув подбородок в воротник.

Беатриса опустила свои длинные ресницы, и по телу ее пробежала сладостная дрожь не то страха, не то удовольствия.

— Полагаю, вы не ожидали меня здесь встретить, — начал Робер Артуа.

— О нет, ваша светлость, — ответила Беатриса, растягивая по своему обыкновению слова, — именно вас-то я и рассчитывала видеть.

Беатриса сделала все, чтобы устроить это свидание. Уже целую неделю посланцы Маго, почти не скрываясь, добивались встречи с Жанной Дивион, так что весь отель ждал ее появления здесь.

Робер не без удивления взглянул на Беатрису: такого ответа он никак не предвидел.

— Тогда зачем же вы явились? Сообщить мне о смерти моей тетушки Маго?

— О нет, ваша светлость… Мадам Маго только сломала зуб.

— Новость, конечно, хорошая, — сказал Робер, — но вряд ли вам стоило беспокоить себя по таким пустякам. Это она вас сюда послала? Видно, поняла, что проиграет тяжбу, и хочет со мной договориться? Я с ней договариваться не собираюсь!

— О нет, ваша светлость… Мадам Маго не хочет договариваться, она уверена, что выиграет дело.

— Выиграет? Еще чего! Это против пятидесяти пяти свидетелей-то, которые в один голос заявят, что меня обокрали и обманули?

Беатриса улыбнулась:

— У мадам Маго их будет целых шестьдесят, ваша светлость, и они докажут, что ваши свидетели лгут и что им за это хорошо заплатили…

— Ах так, красавица, значит, вы явились сюда,

чтобы дразнить меня, так я вас понимаю? Свидетели вашей хозяйки гроша ломаного не стоят, зато показания моих подкреплены документами, и прекрасными документами, которые я и предъявлю судьям…

— Ах так, ваша светлость? — проговорила Беатриса наигранно почтительным тоном. — Значит, мадам Маго неправильно поняла, по каким таким причинам по всему Артуа идут для вас поиски старинных печатей.

— Печати собирают потому, — раздраженно отозвался Робер, — что мы вообще ищем все старые бумаги и мой новый канцлер приводит в порядок мои архивы.

— Ах так, ваша светлость… — повторила Беатриса.

— Да и вообще не вам меня допрашивать! Это я спрашиваю вас, зачем вы сюда явились. Пришли, чтобы моих людей подкупить?

— Вовсе нет, ваша светлость, ведь я пришла к вам.

— Но чего же вам, в конце концов, от меня надо? — заорал Робер.

Беатриса оглядела комнату. И тут только заметила дверь, через которую ее впустили и которая открывалась между ляжками Магдалины. С губ

ее сорвался смешок.

— Значит, все дамы, которых вы здесь принимаете, входят через этот лаз?

Гигант Робер начал терять душевное равновесие. Этот насмешливый тягучий голос, этот короткий горловой смешок, этот взгляд черных глаз, то поблескивающий, то тухнущий под длинными загнутыми вверх ресницами, — все это волновало его.

«Берегись, Робер, — мысленно приказал он себе, — эту прожженную шлюху подослали к тебе неспроста!»

Он уже давно знал эту Беатрису! И уже не впервые она старалась его разжечь. Ему вспомнилось, как в аббатстве Шаалис, когда он вышел после ночного Совета у короля Карла IV, Совета, посвященного английским делам, Беатриса поджидала его под сводами монастырской гостиницы. И еще сколько раз... И при каждой встрече все тот же взгляд, ищущий его глаза, те же плавные движения бедер, та же дерзко выпяченная грудь. Робер не принадлежал к числу мужчин, которых супружеская верность вяжет по рукам и ногам, — нацепи кто-нибудь на дерево женскую юбку, и он помчался бы туда со всех ног. Но эта девица, принадлежавшая к дому Маго, обделывавшая вместе

с его тетушкой все делишки, всегда внушала ему недоверие.

— Вот что, моя красавица, вы, конечно, настоящая пройдоха, но при всем при том, видать, весьма осмотрительны. Моя тетушка верит, что выиграет тяжбу, но вы-то не ослеплены, как она, и сами понимаете, что ее тяжба проиграна. Вы решили, что раз благоприятный ветер дует теперь не для вашего Конфлана, то будет самое время повидаться с этим Робером Артуа, на которого вы же столько наклепали, кому столько принесли ущерба и чья рука не дрогнет в час отмщения. Разве нет?

По своему обыкновению, Робер шагал взад и вперед по комнате. На нем был короткий кафтан, обтягивавший объемистое брюшко; мощные мускулы ног резко вырисовывались под суконными штанами. А Беатриса из-под опущенных ресниц следила за ним взглядом, вбиравшим все — от рыжей шевелюры до башмаков.

«Вот-то, должно быть, тяжеленный», — думала она.

— Но запомните, меня улыбочками не смягчишь, — продолжал Робер. — Разве только вам позарез нужны деньги и вы хотите получить их в обмен на какую-то тайну. Что ж, я щедро возна-

граждаю тех, кто мне служит, но я беспощаден к тем, кто хочет меня провести!

— Мне нечего вам продать, ваша светлость.

— В таком случае, милейшая Беатриса, для вашего сведения и сохранности советую вам как можно скорее переступить порог моего дома, с какой бы целью вы сюда ни пожаловали. Слуги мои зорко следят за входом в поварню, каждое блюдо, прежде чем его подадут мне, пробуют, любое вино сначала отпивают.

Беатриса провела кончиком языка по губам так, словно бы пригубила сладчайшего ликера.

«Боится, как бы я его не отравила», — подумала она.

Ох, как же ей было теперь и весело и страшно. А Маго-то верит, что сейчас она старается обвести вокруг пальца эту дурочку Дивион. О, чудесное мгновение! Беатрисе померещилось, будто она держит в руке концы невидимых и смертоносных нитей. Только надо половчее ими управлять.

Она отбросила назад капюшон, развязала на шее завязки пелерины, скинула ее. Темные густые волосы были заплетены в две косы и уложены на ушах. Переливчатое платье с глубоким вырезом еле прикрывало смуглую роскошную грудь. И Роберу, любителю дородных женщин, невольно

подумалось, что Беатриса здорово похорошела со дня их последней встречи.

А Беатриса тем временем расстелила на полу свою пелерину так, чтобы та образовала на плитах полукруг. Робер с удивлением следил за ее действиями.

— Да что вы тут вытворяете?

Она не ответила, вынула из своего кошеля три черных пера, пристроила их у ворота пелерины так, что получилась как бы маленькая звездочка; потом вдруг завертелась, описывая в воздухе указательным пальцем воображаемые круги и бормоча какие-то непонятные слова.

— Что вы тут вытворяете? — повторил Робер.

— Хочу вас заколдовать, ваша светлость, — спокойно пояснила Беатриса, так, словно речь шла о самом обыкновенном деле или, во всяком случае, о самом привычном ей деле.

Робер расхохотался. Взглянув на него, Беатриса взяла его за руку, как бы собираясь ввести в центр круга. Он машинально отдернул руку.

— Боитесь, ваша светлость? — улыбнулась Беатриса.

Вот она где, женская сила! Ну какой бы сеньор осмелился сказать в лицо графу Роберу Артуа, что он, мол, боится, и тут же не получить в ответ

сокрушительной пощечины, отвешенной мощной графской дланью, или удара мечом весом в двадцать фунтов, от которого череп разлетится? И вот вам вассалка, простая камеристка, бродит вокруг его отеля, добивается с ним встречи, отнимает у него время, несет какую-то чепуху: «Мадам Маго зуб сломала… Мне нечего вам продать», — расстилает у него в кабинете на полу свою пелерину и прямо в лицо ему заявляет, что он трус!

— По-моему, вы всегда боялись даже близко ко мне подойти, — продолжала Беатриса. — В тот день, когда я впервые увидела вас… давно это было, в отеле мадам Маго… вы еще приходили сказать ей, что ее дочерей будут судить… возможно, вы даже и не помните этого… но только вы все от меня отворачивались. И еще десятки раз… Нет, ваша светлость, даже не пытайтесь убедить меня, что вы не боитесь!

Позвонить Лорме, приказать ему выкинуть прочь эту девку, которая смеет над ним измываться, — вот что подсказывал Роберу голос благоразумия, вот что надо было сделать немедля.

— А чего ты добиваешься, со своими пелеринами, кругами и перьями? — спросил он. — Дьявола

хочешь звать?

— Угадали, ваша светлость… — ответила Беатриса.

Услышав этот ребяческий ответ, Робер пожал плечами, но, желая поддержать шутку, вступил в круг.

— Готово, ваша светлость. Как раз этого я и добивалась. Потому что вы, вы и есть сам дьявол…

Какой мужчина устоит против такого комплимента? На сей раз Робер самодовольно расхохотался от души, всей своей утробой. И ухватил Беатрису двумя пальцами, большим и указательным, за подбородок:

— А знаешь, я ведь могу приказать сжечь тебя как колдунью!

— О, ваша светлость…

Она стояла вплотную к нему, закинув голову, и видела его широкую нижнюю челюсть, покрытую рыжей щетиной, вдыхала его запах кабана, загнанного охотничьими псами. Опасность, предательство, желание — вся эта дьявольщина горячила ей кровь.

Бесстыдница, бесстыдница, не скрывающая своего бесстыдства, — таких-то и любил Робер! «Да чем я рискую?» — мелькнуло у него в голове.

Схватив Беатрису за плечи, он притянул ее к

себе.

«Ведь это племянник мадам Маго, ее родной племянник, который желает ей только зла», — успела подумать Беатриса, когда в ее губы впились губы Робера и у нее перехватило дух.

Глава VII
Дом Бонфия

До последних своих дней епископ Тьерри д'Ирсон жил в собственном доме на улице Моконсей, примыкающем к отелю графини Артуа, он сумел увеличить свое владение, прикупив дом своего соседа, некоего Жюльена Бонфия. Вот в этот-то дом, перешедший по наследству Беатрисе, она и предложила Роберу приходить к ней на свидания.

Надежда поразвлечься в обществе придворной дамы Маго, да еще бок о бок с отелем Маго, в доме, купленном на денежки Маго, и к тому же с таким заманчивым названием, — тут было чем потешить свою душеньку такому любителю проказ, как Робер Артуа. Иной раз кажется, сама судьба уготавливает для нас вот такие развлечения…

Тем не менее поначалу Робер действовал в высшей степени осмотрительно. Хотя у него самого

был на той же улице собственный отель, где он, правда, не жил, но куда временами наезжал, он отправлялся в дом Бонфия только поздним вечером. В кварталах, прилегающих к Сене, где узкие улочки забиты неторопливыми прохожими, такой сеньор, как Робер Артуа, чья богатырская фигура давно примелькалась парижанам, да еще шествующий в сопровождении оруженосцев, конечно, не мог пройти незамеченным. Поэтому-то он и дожидался, когда на город падет ночная мгла. Брал он с собой неизменного Жилле де Неля да трех служителей, не склонных к болтовне, а главное, обладающих недюжинной силой. Жилле был, так сказать, мозгом стражи Робера, а трое слуг, способных одним ударом уложить быка, обычно торчали у входа в дом, и, так как им не велено было надевать для этих походов графских ливрей, их легко можно было принять за обыкновенных зевак…

В первые дни свиданий Робер отказывался от вина с пряностями, которым его потчевала Беатриса. «Очень возможно, что девице поручено меня отравить», — думал он. Он скидывал скрепя сердце только верхнюю одежду, нашитую на тонкую стальную кольчугу, и даже в миг самого острого наслаждения поглядывал на ларь, куда

обычно клал свой кинжал.

А Беатриса, в свою очередь, наслаждалась этим страхом. Как это сумела она, скромная горожаночка из Артуа, незамужняя девка, хоть ей и больше тридцати, вдоволь навалявшаяся и в барских, и в лакейских постелях, как сумела она внушить такой страх, и кому — гиганту Роберу, одному из самых, пожалуй, могущественных пэров Франции.

Поэтому их связь приобретала — больше даже для Беатрисы, чем для Робера, — пряный привкус извращенности. И все это происходит в доме ее дядюшки, епископа! Да еще с заклятым врагом мадам Маго, которой приходится в оправдание своих частых отлучек плести каждый день невесть что… Жанна Дивион, мол, оказалась несговорчивой. Так сразу ее не улестишь, а с другой стороны, просто безумие отваливать ей такие огромные деньги за явную ложь… Нет, с ней следует видеться чуть ли не каждый день, выведать у нее шаг за шагом, какие такие интриги ведет этот злодей его светлость Робер Артуа, выманить у нее имена чересчур податливых свидетелей, а затем еще и проверить ее слова, а для этого встретиться с мессиром Жювиньи в Лувре, с Мишле Геру, слугой нотариуса Тессона.

Ах, сколько все это требует хлопот, времени, расходов… «Следовало бы, мадам, подарить жене этого писца штуку материи, тогда язык у него наверняка развяжется… Разрешите мне взять несколько ливров?..»

А какое удовольствие глядеть прямо в глаза мадам Маго, улыбаться ей и думать про себя: «Не пройдет и полсуток, как я, обнаженная, буду иметь честь предложить себя мессиру вашему племяннику!» Видя, как, не щадя сил своих, хлопочет по ее делам Беатриса, мадам Маго стала придерживать свой язычок, снова вернула придворной даме былое расположение и не скупилась на подарки. А для Беатрисы было вдвойне сладостно водить за нос Маго, стараясь одновременно покорить Робера. Ибо нельзя быть уверенной в том, что ты покорила мужчину, только потому, что провела с ним час в одной постели, равно как нельзя стать настоящим хозяином хищного зверя только потому, что ты его купила и смотришь на него сквозь прутья клетки.

Обладание — это еще не подлинная власть.

И впрямь становишься хозяином, только когда до седьмого пота потрудишься над хищником, так чтобы он ложился по первому твоему слову, убирал когти и твой взгляд заменял бы ему пру-

тья клетки.

Недоверчивость Робера была для Беатрисы словно когти, которые во что бы то ни стало необходимо подпилить. За всю свою жизнь охотницы ей впервые удалось заарканить такого крупного зверя, да еще прославленного своей баснословной свирепостью.

Когда в один прекрасный день Робер наконец согласился принять из рук Беатрисы кубок с вином из черного винограда, она поняла, что первая победа одержана: «Значит, я могла бы подложить туда яду и он бы выпил…»

И когда он как-то забылся сном, огромный, словно людоед из сказки, она не могла сдержать чувства ликующего торжества. На бычьей его шее явно проступала черта там, где кончался ворот или вырез кольчуги, — под кирпично-багровым лицом, продубленным всеми ветрами, резко выделялась белоснежная кожа, усеянная веснушками, плечи заросли рыжей шерстью, жесткой, как свиная щетина. И Беатрисе чудилось, будто эта словно бы нарочно так четко вырисованная линия проведена для топора или для лезвия кинжала.

Волосы цвета меди в крутых колечках на щеке сбились на сторону, открыв маленькое, мягко

закругленное ухо, по-детски трогательное. «В это маленькое ухо, — подумала Беатриса, — можно было бы погрузить кинжал до самого мозга…»

Через несколько минут Робер внезапно проснулся, вскочил, беспокойно оглянулся.

— Как видишь, ваша светлость… я тебя не убила, — рассмеялась Беатриса.

Когда она смеялась, видна была ее темно-вишневая десна.

Как бы желая ее отблагодарить, Робер снова схватил Беатрису в свои объятия. Надо сказать, он нашел себе достойную партнершу, спорую на выдумки, не щадившую себя, не угрюмицу, не скрытницу, а умеющую разделить с мужчиной наслаждение, не сдерживая ликующих криков. На своем веку Робер задрал немало юбок, и шелковых, и льняных, и дерюжных, и почитал себя поэтому великим мастером распутства, но тут хочешь не хочешь, а приходилось признать, что его партнерша не только ему не уступает, но и во многом превосходит.

— Если ты, милочка, научилась такому обхождению на шабаше, — говорил он, — то следовало бы посылать туда всех девственниц подряд!

Говорил он это потому, что Беатриса часто рассказывала ему о шабашах и о дьяволе. Эта девица,

медлительная и даже вялая с виду, с ленивой походочкой и неторопливой речью, проявляла лишь в постели свой бешеный нрав и воодушевлялась лишь тогда, когда разговор заходил о демонах или волшебстве.

— Почему ты до сих пор не вышла замуж? — как-то спросил ее Робер. — От женихов у тебя отбоя, надо полагать, не было, особенно если ты еще до свадьбы сумела приохотить их к таким развлечениям…

— Потому что венчаться надо в церкви, а церковь для меня нож острый!

Встав на колени, положив ладони на бедра, Беатриса заговорила, широко открыв глаза с загнутыми ресницами, и при свете ночника тени гуще ложились на ее живот и лоно.

— Ты пойми, ваша светлость, и священники, и папы римские и авиньонские нас правде не учат. Бог вовсе не един, Бога два: один — царь Света, другой — царь Тьмы, князь Добра и князь Зла. Еще до сотворения мира народ Тьмы восстал против народа Света; и слуги Зла, дабы начать жить живой жизнью, коль скоро Зло есть небытие и смерть, пожрали часть Добра, самые его основы. И так как сочетались в них две силы — сила Добра и сила Зла, — они смогли создать мир и породить

людей, поэтому в людях смешаны две первоосновы, находящиеся в непрестанном борении, но Зло всегда побеждает, ибо оно питало народ, бывший нашим прародителем. И всякому видно, что и впрямь существует две первоосновы, коль скоро есть мужчины и женщины, созданные различно, как, скажем, ты да я, — добавила она с хищной улыбкой. — И это Зло щекочет наше нутро и побуждает нас соединяться… Те люди, в коих природа Зла сильнее природы Добра, обязаны чтить Сатану и заключить с ним договор, если они жаждут счастья и удачи во всех делах своих; и они не смеют служить князю Добра, ибо он враг их.

Странная эта философия, от которой изрядно припахивало серой, состоящая из обрывков наспех усвоенного манихейства, из той тяги к сатанизму, что была в учении катаров, — все это, воспринимаемое в искаженном виде, с чужих слов и вряд ли как следует понятое, имело куда больше приверженцев, чем полагали сильные мира сего. Тут Беатриса не представляла собой исключения, но Роберу, который ни разу в жизни даже не задумывался над такими вопросами, она приоткрывала врата в некий таинственный мир, и его восхищало, что подобные рассуждения он

слышит из прелестных женских уст.

— А ты, оказывается, умница, вот не думал-то! Кто же тебя насчет всего этого просветил?

— Бывшие тамплиеры.

— Как так тамплиеры? Ах да, они действительно знали много всего…

— Вы их истребили.

— Это не я, не я! — крикнул Робер. — Это Филипп Красивый и Ангерран, дружки твоей Маго… Зато Карл Валуа и я — мы были против их казни.

— Все равно, они как были, так и остались могущественными, потому что владеют тайнами магии; все беды, что обрушились с тех пор на наше государство, произошли оттого, что тамплиеры заключили договор с Сатаной, раз папа отлучил их от церкви.

— Все беды государства, все беды… — с сомнением в голосе повторил Робер. — Кое-какие были, если не ошибаюсь, скорее делом рук моей любезной тетушки, чем дьявола. Разве не она отправила на тот свет сначала Людовика Сварливого, а затем и его сынка? Да уж не приложила ли и ты к этому руку?

Несколько раз он приступал к Беатрисе с этим вопросом, но она уходила от прямого ответа. Или, вернее, неопределенно улыбалась, словно бы не

расслышав его слов, или отвечала невпопад.

— Маго не знает… не знает, что я заключила договор с дьяволом… А то непременно выгнала бы меня из дома…

И снова лилась ее быстрая речь, снова возвращалась она к излюбленным своим рассказам о черной мессе, которую служат не как христианскую, а, так сказать, шиворот-навыворот, вернее, как отрицание ее, что отправляют такую мессу в полночь где-нибудь в подземелье и предпочтительно поблизости от кладбища. Идол, которому они поклоняются, двулик; причащающимся дают облатку черного цвета, а претворяют ее, трижды произнося имя Вельзевула. А если мессу правит поп-вероотступник или монах-расстрига, то это уже совсем хорошо.

— Тот Бог, что на небесах, обанкротился: обещал дать блаженство, а сам насылает одни лишь беды на тех, кто верно Ему служит; поэтому мы должны повиноваться тому Богу, что внизу. Слушай, ваша светлость, ежели хочешь, чтобы твои бумаги, которые ты приготовил для тяжбы, подкрепил еще и дьявол, вели провести раскаленным железом по уголку каждого листка, чтобы остались дырки с чуть-чуть обожженным краешком. Или, еще лучше, сделай вот что — пусть на каждой

странице посадят чернильное пятнышко в форме креста, только пусть верхняя перекладина кончается как бы человеческой кистью… Я знаю, как это делается…

Но и Робер, в свою очередь, не открывал всех карт: хотя Беатриса первая и, пожалуй, единственная догадалась, что бумаги, которыми он так похваляется, были просто-напросто подделкой, ни разу не забылся он до того, чтобы признаться ей в этом.

— Если хочешь взять верх над врагом и извести его с помощью нечистой силы, — как-то поведала она ему, — возьми и натри ему подмышки, за ушами и ступни ног мазью, а мазь сделай из перемолотой облатки и стертых в порошок косточек новорожденного младенца, умершего некрещеным, и добавь туда мужского семени, а собирать семя нужно во время черной мессы, когда мужчина будет с женщиной, а от женщины этой возьми месячных кровей[14]…

— Ну знаешь, по мне, куда вернее, — ответил

---

[14] Примечания: 14

…а от женщины этой возьми месячных кровей… — Эти колдовские рецепты, происхождение которых восходит к самому раннему Средневековью, еще использовались во времена Карла IX и даже при Людовике XIV — некоторые утверждали, что сама Монтеспан отдавалась приготовлению таких зелий. Рецепты приворотных напитков, которые можно прочесть далее, извлечены из сборников Малого или Великого Альберта.

Робер, — подбросить дражайшей моей врагине того порошка, каким морят крыс и вонючек…

Беатриса даже бровью не повела. Но слова Робера горячей волной прошли по всему ее телу. Нет, не надо так вот сразу отвечать Роберу. Не надо, чтобы он знал, что она-то уже давным-давно готова на это… А что крепче общего преступления может связать на всю жизнь двух любовников?

Потому что Беатриса полюбила Робера. И не понимала того, что, стремясь залучить его в ловушку, она сама попала к нему в зависимость. Жила теперь она лишь в ожидании минут встречи, а после каждой встречи жила воспоминаниями о прошедшей и ожиданием новой. Ожиданием, когда почувствует на себе тяжесть двухсот фунтов, и этот запах зверинца, исходивший от Робера в минуты любовных схваток, и это рычание хищника, которое она умела вырвать из его груди.

Напрасно думают, что лишь редко какие женщины имеют склонность к чудищам и уродам. Дворцовые карлики — Жан Дурачок и прочие — могли бы с полным основанием кичиться своими победами над дамским полом! Даже случайное калечество и то служит объектом любопытства, а стало быть, и желания. К примеру, рыцарь,

потерявший глаз на турнире, — и только потому, что ужасно хочется приподнять черную повязку, закрывающую часть его лица. И Робера на свой лад можно было причислить к чудищам.

По крыше нудно постукивал осенний дождь. Пальцы Беатрисы с каким-то чувственным наслаждением скользили по складкам жира этого необъятного брюха.

— А главное, ваша светлость, — сказала она, — все, что захочешь, ты получаешь без труда, тебе даже никаких тайных знаний не требуется… Ты сам дьявол во плоти. А Дьявол ведь не знает, что он дьявол…

А он, задрав голову, утомленный ласками, слушал ее слова и мечтал…

Дьявол с горящими, как уголья, глазами, с огромными когтями вместо обыкновенных ногтей, дабы когтить легче было человеческую плоть, с раздвоенным, как змеиное жало, кончиком языка, и изо рта его вырывается пламя, точно из адской пещи. Но дьявол может быть столь же тяжеловесен, как Робер, и пахнет от него так же. Она влюблена в Сатану. Она отныне подруга дьявола, и никто их никогда не разлучит…

Как-то вечером, когда Робер Артуа вернулся домой после свидания в доме Бонфия, его супруга

подала ему тот самый пресловутый брачный контракт, наконец-то написанный по всей форме, только пока еще без полагающихся печатей.

Внимательно проглядев документ, Робер подошел к камину, небрежным жестом сунул кочергу в огонь, а когда кончик кочерги раскалился докрасна, продырявил им уголок листа, который покоробился и затрещал.

— Что вы делаете, друг мой? — воскликнула графиня де Бомон.

— Просто хочу удостовериться, — ответил Робер, — хороша ли бумага или нет.

Жанна де Бомон с минуту внимательно смотрела на своего мужа, потом произнесла ласковым, почти материнским тоном:

— Вы бы приказали, Робер, остричь вам ногти… Почему вы ходите с такими длинными ногтями, откуда у вас такая мода?

Глава VIII
Возвращение в Мобюиссон

Бывает так, что какая-нибудь интрига, которую плетут долго и вроде бы даже умело, уже в самом зародыше дает трещину, и происходит это от недомыслия.

В один прекрасный день Робер вдруг заметил, что его катапульты, столь надежные с виду, могут развалиться на куски в минуту выстрела, и лишь потому, что он как-то упустил из виду главную пружину.

Он заверил короля, своего шурина, да еще торжественно поклялся на Евангелии, что бумаги, подтверждающие его наследственные права, существуют; по его приказу приготовили письма, и они были похожи как две капли воды на исчезнувшие; он собрал десятки свидетельских показаний, подкрепляющих подлинность этих документов. Итак, казалось бы, все доказательства были собраны и их должны принять без всяких споров.

Но существовала еще некая особа, которая знала, и знала твердо, что все его бумаги подложные, — и особой этой была Маго Артуа, коль скоро она самолично предала огню все подлинные акты, сначала те, что, пользуясь попустительством сановников Филиппа Красивого, двадцать лет назад сумела выкрасть из парижских архивов, а затем, уже не так давно, и копии, хранившиеся в кофре у Тьерри д'Ирсона.

А ведь если фальшивка может сойти за подлинник в глазах людей, настроенных благожелатель-

но и ни разу в жизни не видавших оригинала, то вряд ли это пройдет гладко в присутствии человека, заведомо знающего о подделке.

Конечно, Маго не встанет и не заявит: «Бумаги эти поддельные, потому что я сожгла подлинные», но достаточно того, что ей известно о подлоге, и, безусловно, она не остановится ни перед чем, чтобы это доказать, — тут уж она не оплошает, будьте уверены! Арест двух служанок Жанны Дивион — первое и настораживающее тому доказательство. К тому же слишком много людей участвовало в подлоге, и трудно себе представить, чтобы не нашелся хоть один, кто может предать со страха или польстившись на денежные посулы.

И о том, что при чтении завещания в Рейи вкрался этот роковой 1322 год вместо 1302 года, Маго тоже пронюхает. Пусть печати на вид безукоризненны, любезная тетушка все равно потребует их тщательно осмотреть. А кроме того, покойный граф Робер II, как вообще принято в кругу высшей знати, обычно приказывал упоминать во всех официальных бумагах имя писавшего их писца. Разумеется, составляя подложные письма, от излишних уточнений воздержались. Хорошо, предположим для одного документа

такое умолчание может еще пройти, но не для четырех же, которые он предъявит суду? Маго ничего не стоит поднять все архивы дома Артуа. «Сравните-ка, — скажет она, — и обнаружьте среди всех бумаг, скрепленных печатью моего отца, такой почерк, чтобы он походил вот на этот».

Поэтому-то Робер пришел к заключению, что бумаги, имевшие для него силу подлинных, можно пустить в ход, лишь когда та особа, по чьему приказу без следа исчезли оригиналы, исчезнет и сама. Иначе говоря, тяжбу он может выиграть лишь при одном условии — если Маго отправится к праотцам. Таково было не просто его желание, но прямая необходимость.

— Если Маго помрет… — сказал он как-то Беатрисе, закинув обе руки за голову и мечтательно глядя на потолочные балки дома Бонфия, — да-да, если она помрет, мне ничего не стоит ввести тебя в свой отель как придворную даму моей супруги… Коль скоро я наследник Артуа, нет ничего удивительного, что я беру себе кое-кого из слуг своей тетки. И тогда ты всегда была бы при мне…

Хоть крючок и был грубо сработан, но бросили-то его рыбке, которая широко разинула рот.

Беатриса даже не смела тешить себя такими чудесными надеждами. В мечтах она уже видела

себя в отеле Робера — вот она плетет там свои интриги сначала в качестве тайной, а потом и всеми признанной любовницы, ибо со временем все устраивается… И как знать? Мадам де Бомон смертна, как и все люди, все человеки. Правда, она на семь лет моложе самой Беатрисы и, говорят, пользуется отменным здоровьем, но в том-то и есть сладость для той, что старше, восторжествовать над той, что моложе, убрать ее со своего пути! А если при этом умело навести порчу, почему бы Роберу и не овдоветь через несколько лет? Когда любишь, разум не повинуется узде, воображение не знает границ. Временами Беатриса видела себя уже графиней Артуа, в мантии супруги пэра…

А что, если король отойдет в лучший мир — а это тоже вполне может произойти — и Робер станет регентом? В каждом веке бывало, что женщины невысокого рождения подымаются до самых верхов потому, что сумеют разжечь похоть какого-нибудь принца, и еще потому, что самой природой поставлены над всеми прочими особами женского пола плотской своей прелестью и гибкостью ума. Вовсе не все императрицы Рима и Константинополя родились на ступеньках трона, судя по тому, что рассказывают в своих поэмах

менестрели. Так уж повелось, что среди сильных мира сего быстрее всего происходит возвышение женщин…

Прежде чем дать наложить на себя оковы, Беатриса оттягивала время, желая убедиться в том, что тот, кто хочет ее поймать, уже попался сам. Пусть-ка Робер, умасливая ее, сначала сам хорошенько завязнет, пусть десятки раз подтвердит, что возьмет ее к себе в отель Артуа, что пожалует ей титул и другие привилегии, которыми она будет пользоваться с полным правом; пусть даст ей земли и назовет, какие именно… Вот тогда она, возможно, научит его, как напускать порчу, как слепить из воска фигурку, куда втыкать иголки, какие произносить при этом заклинания, чтобы погубить Маго. И еще Беатриса делала вид, будто ее мучили сомнения и совесть: разве графиня Маго не ее благодетельница, равно как и всего семейства д'Ирсонов?

В скором времени шейку Беатрисы украсил золотой аграф с фермуаром из драгоценных камней — Робер преуспевал в галантной науке. Поглаживая ладонью дорогой подарок, Беатриса сказала, что, ежели Робер желает, чтобы порча удалась, есть одно самое надежное и самое быстрое средство — это взять ребенка мужского пола, еще не

достигшего пяти лет, дать ему проглотить белую освященную облатку, затем отрубить ему голову и окропить его кровью уже облатку черную, после чего исхитриться дать ее съесть тому, на кого напускают порчу. Разве уж так трудно найти подходящего ребенка? Да сотни бедняков, обремененных детворой, охотно продадут одного!

Робер досадливо поморщился: слишком уж много возни, и неизвестно еще, подействует ли средство или нет. Он предпочитает, честно говоря, что-нибудь попроще, например добрый яд: подсыплешь его — и готово.

Под конец Беатриса сделала вид, будто дала себя убедить из любви к этому дьяволу, которого она обожает, из-за того, что ей не терпится жить в его близости под крышей отеля Артуа, в надежде видеть его несколько раз на дню. Ради него она на все готова… И когда Робер, решивший, что наконец-то он одержал верх, вручил ей полсотни ливров на приобретение яда, он и не догадывался, что еще неделю назад Беатриса запаслась мышьяком в таком количестве, какого вполне хватило бы, чтобы перетравить всех обитателей их квартала.

Теперь оставалось только ждать удобного случая. Беатриса уверяла Робера, что Маго находится

под неусыпным оком лекарей и при малейшем ее недомогании все слетаются в ее опочивальню; за поварами установлен строгий надзор, все ее виночерпии начеку… Так что дело это нелегкое.

А потом намерения Робера вдруг изменились. Дело в том, что он имел с королем длинную беседу. Коль скоро все донесения комиссии, поработавшей не за страх, а за совесть в пользу истца, сводились к одному и коль скоро сам Филипп VI окончательно уверовал в права своего зятя на графство Артуа, он от всей души готов был услужить Роберу. Поэтому-то он и решил, дабы избежать тяжбы, когда исход ее предрешен заранее, а огласка будет неприятная и при дворе, да и во всем государстве, вызвать к себе графиню Маго и убедить ее отказаться от графства Артуа.

— Да в жизни она не согласится, — сказала Беатриса, — и ты это так же хорошо знаешь, как и я…

— И тем не менее попробовать не мешает. Если королю удастся ее образумить, это все-таки будет лучший выход.

— Нет… лучший выход — это яд.

Ибо перспектива полюбовного соглашения ничуть не улыбалась Беатрисе: в таком случае ее переселение в отель Робера откладывалось на неопределенный срок. Придется по-прежнему

быть придворной дамой у графини Маго и ждать, когда она испустит дух, а когда это будет, одному Господу ведомо! Ей уже не терпелось ускорить развязку; уже не пугали ее больше все ею же выдуманные препятствия и трудности. Благоприятный случай? Да сколько угодно, хоть по нескольку раз на дню, — ведь она сама подносит графине Маго и лекарства, и целебные настойки.

— Да, но раз король на три дня приглашает ее в Мобюиссон! — твердил свое Робер.

Любовники пришли вот к какому соглашению: либо Маго уступит королю и отступится от своих притязаний на графство Артуа — и тогда ей сохранят жизнь, либо она откажется — в таком случае Беатриса в тот же день подсыплет ей яду. Лучшей возможности не представится! Маго почувствует недомогание, встав от королевской трапезы! Ну кто осмелится заподозрить короля в том, что он приказал ее прикончить, а если и заподозрят, то кто решится открыть рот?

Филипп VI предложил Роберу присутствовать при этом разговоре о примирении, но Робер отказался.

— Государь, брат мой, ваши слова прозвучат куда убедительнее, если меня там не будет: Маго меня ненавидит и при виде моей физиономии

нарочно еще заупрямится и уж никак не пожелает покориться.

Он говорил так вполне искренно, но, помимо того, надеялся, что отсутствие оградит его от возможных обвинений.

Три дня спустя, 23 октября, графиня Маго выехала из дому и отправилась по Понтуазской дороге, ее крытые носилки, сплошь раззолоченные и украшенные гербами Артуа, нещадно подбрасывало на ухабах и колеях. Ее единственная оставшаяся в живых дочь, королева Жанна, вдова Филиппа Длинного, сопровождала мать. Беатриса примостилась против своей госпожи на обитом ковровой тканью табурете.

— Как по-вашему, мадам, что король хочет вам предложить? — начала Беатриса. — Если примирение… то разрешите мне дать вам совет… ни за что не соглашайтесь. Скоро я вам достану такие доказательства против его светлости Робера!.. На сей раз Дивион согласна сообщить нам кое-что весьма важное, так что ему теперь не выпутаться.

— Почему бы тебе не привести эту Дивион прямо ко мне, вас теперь с ней водой не разольешь, а я ее даже в глаза никогда не видывала? — спросила Маго.

— Да разве можно, мадам… она боится головы не сносить. Если его светлость Робер, не дай бог, проведает об этом, она до утренней мессы не доживет. Даже со мной она встречается ночами в доме Бонфия… И всегда под охраной нескольких слуг. Возьмите и откажитесь, мадам, прямо так и откажитесь!

Жанна в белом вдовьем одеянии молча вглядывалась в расстилавшийся вокруг пейзаж. И только когда вдалеке за рыже-бурыми кущами показались островерхие крыши Мобюиссона, она разомкнула уста:

— Помните, матушка, как пятнадцать лет назад…

Пятнадцать лет назад по той же самой дороге ее на черной повозке везли в Дурдан, в платье из грубой шерстяной ткани, какие носят монашки, с наголо обритой головой, а она вопила, что ни в чем не виновата. А на другой, тоже выкрашенной в черный цвет повозке увозили ее родную сестру Бланку и ее кузину Маргариту Бургундскую в Шато-Гайар. Пятнадцать лет!

Ее помиловали, муж вернул ей свою любовь. А Маргарита умерла. Умер Людовик X… Ни разу Жанна не решилась задать матери вопрос о причинах смерти Людовика Сварливого и его

сына, малютки Иоанна I… А Филипп Длинный стал королем, правил Францией шесть лет и тоже умер. Жанне чудилось теперь, будто прожила она три совсем разные жизни: первая кончилась тем страшным далеким днем в Мобюиссоне; вторая жизнь началась с коронации Филиппа в Реймсе, когда она стала королевой Франции; и потом пошла третья — вдовья, когда тебя, окруженную почестями, отстраняют от власти, а вот сейчас она сидит в огромных носилках рядом с матерью. Три жизни! И ее не оставляло какое-то странное чувство, будто каждую из них прожили три совсем разные женщины, ничуть не похожие одна на другую. А теперь, доживая свой вдовий век, если она и чувствует, что жизнь все же идет, то лишь потому, что рядом с ней ее мать, женщина всеми уважаемая, властная, всегда подчинявшая ее себе, ведь она с детства боялась даже заговорить с ней первая.

Маго тоже одолевали воспоминания…

— И все из-за этого негодяя Робера, — произнесла она, — это он все тогда подстроил вместе с этой сукой Изабеллой; мне передавали, что дела ее идут не слишком блестяще, да и у ее Мортимера, с которым она, распутница, спит, тоже все не так уж ладно! Рано или поздно постигнет их

небесная кара!

Каждая думала о своем…

— Теперь у меня длинные волосы… зато появились морщины, — прошептала вдовая королева.

— Ничего, дочь моя, зато графство Артуа будет твоим, — отозвалась Маго, потрепав Жанну по колену.

Беатриса со смутной улыбкой смотрела куда-то вдаль.

Филипп VI принял Маго весьма любезно, однако чуть свысока и заговорил с ней так, как подобает говорить королю. Он желает, чтобы между его знатнейшими баронами воцарился мир: негоже пэрам — главной опоре престола — подавать людям дурной пример, затевая распри, и негоже также им бесчестить друг друга перед всеми.

— Я не могу, да и не хочу, обсуждать того, что происходило в предыдущие правления, — продолжал Филипп, как бы желая набросить на все прежние злодеяния Маго флер всепрощения. — Я забочусь только о сегодняшнем дне. Мои посланцы успешно справились с делом; свидетельские показания, дражайшая кузина, не скрою, говорят не в вашу пользу; Робер представит свои бумаги…

— Свидетели подкуплены, а бумаги подложные… — проворчала Маго.

Обед происходил в большом зале, в том самом, где некогда Филипп Красивый судил трех своих невесток… «Все, все думают сейчас именно об этом», — твердила про себя Жанна Бургундская, вдова Филиппа V, и кусок не шел ей в горло. А на самом-то деле только одна она да ее матушка помнили об этом таком уже далеком сейчас событии, тем паче что почти никого из тех, кто был тогда его свидетелем, не осталось в живых. Разве что какой старик конюший шепнет к концу обеда своему соседу, такому же старцу:

— А помните, мессир, ведь мы с вами были здесь, когда мадам Жанна взошла на черную повозку… и вот смотрите — вернулась сюда вдовствующей королевой…

И тут же оба забудут это мимолетное воспоминание.

Все мы, грешные, одинаково заблуждаемся, считая, что наша персона интересует кого-то так же живо, как нас самих, — а ведь люди, если, конечно, у них нет на то каких-то особых причин помнить, слишком быстро забывают то, что случается с нами; и если даже не совсем забывают, то не приписывают этому той важности, какую,

по нашему мнению, следовало бы приписывать.

Будь эта встреча где-нибудь в другом месте, а не в Мобюиссоне, Маго, возможно, была бы более податлива на предложения Филиппа VI. Что ж, монарх желает сам вершить суд, хочет примирить враждующие стороны. Но коль скоро все это происходило в Мобюиссоне, где с новой силой вспыхнула в ней былая ненависть, Маго не была склонна идти на мировую. Ничего, она еще добьется, что Робера засудят за подлог, она докажет, что он клятвопреступник, — вот о чем она думала во время королевской трапезы.

Но так как здесь не следовало слишком распускать язык, она искала утешения в еде, жадно заглатывала все, что подносили ей слуги, и осушала одним духом каждый налитый ей кубок вина. Лицо ее раскраснелось, равно от злобы, как и от выпитого. А тут еще король советует ей так за здорово живешь отдать Роберу графство Артуа, за что тот обязуется выплачивать ей, тетке, ежегодно сорок тысяч ливров.

— Мне не так-то легко удалось добиться согласия вашего племянника, — добавил Филипп.

А Маго тем временем обдумывала слова короля: «Если Робер предлагает мне эту сделку через шурина, значит сам он не слишком-то уверен в

своих правах и предпочитает лучше выплачивать по сорок тысяч ливров в год, чем предъявить суду свои фальшивые бумажонки!»

— Я не согласна, государь, кузен мой, — отрезала она, — это же чистый грабеж, а раз Артуа принадлежит мне по праву, ваш суд будет на моей стороне.

Чуть скривив на сторону свой мясистый нос, Филипп задумчиво разглядывал Маго. Заупрямилась, не желает ничего слушать, то ли от гордыни, то ли боится, что, ежели пойдет на мировую, выдвинутые против нее обвинения подтвердятся… Тогда Филипп предложил иное решение: Маго сохраняет свое графство, все свои титулы и права, звание пэра до конца дней своих, зато назначит в присутствии короля своего племянника Робера наследником графства Артуа, и акт этот будет скреплен пэрами Франции. Честно говоря, нет никаких оснований отказываться от мировой: единственного ее сына до времени призвал к себе Господь; дочь ее, присутствующая здесь, получила наследство после своего покойного мужа-короля, а внучки все уже выданы замуж — одна за герцога Бургундского, другая за графа Фландрского, третья за графа Вьеннского. Чего же еще может пожелать человек? А графство Артуа

пускай перейдет к его законному владельцу.

— Ибо, если бы брат ваш, Филипп, не скончался раньше вашего батюшки, ведь не будете же вы отрицать, дражайшая кузина, что ныне графством Артуа владел бы ваш племянник? Таким образом, честь вас обоих будет спасена, и мы справедливо решим ваши споры.

Не разжимая стиснутых челюстей, Маго отрицательно покачала головой.

Тогда Филипп VI нахмурился и приказал подававшим на стол слугам поторопиться. Коль скоро Маго так уперлась, коль скоро она оскорбила короля, отвергнув его суд, будет ей тяжба, будет!..

— Я не предлагаю вам, дражайшая кузина, остаться в замке на ночь, — сказал он, обмыв после трапезы руки, — не думаю, что пребывание при моем дворе было бы вам так уж приятно!

Это была немилость, явная немилость!

Прежде чем отправиться восвояси, Маго заглянула в часовню аббатства — пролить слезу над могилой своей дочери Бланки. В своем завещании Маго распорядилась, чтобы и ее тоже

похоронили здесь[15].

— Ох этот Мобюиссон, — прошипела она, — вот уж и впрямь пагубное для нас место. Только на то и годится, чтобы спать здесь вечным сном.

Весь обратный путь она не переставала кипеть от злобы:

— Нет, вы только послушайте этого дурака-верзилу, которого злая судьба подсунула нам в короли! Отказаться от Артуа просто так, чтобы доставить ему удовольствие! Назначить своим наследником эту вонючую сволочь Робера! Да у меня пальцы раньше отсохнут, чем я подпишу такое завещание! Видать, они, мошенники, долго сговаривались, лишь бы меня получше облапошить, верно говорят: рука руку моет… И подумать только, если бы я сама в свое время не расчистила дорогу к трону…

— Матушка… — шепнула ей Жанна Вдова.

Если бы Жанна осмелилась выразить вслух свою мысль, если бы она не боялась грубого окри-

---

[15] Примечания: 15

В своем завещании Маго распорядилась, чтобы и ее тоже похоронили здесь. — Напоминаем, что после двенадцатилетнего заключения в Шато-Гайаре Бланка Бургундская была переведена в замок Курне близ Кутанса и приняла наконец постриг в аббатстве Мобюиссон, где и умерла в 1326 г. Маго, ее матери, тоже предстояло упокоиться в Мобюиссоне; ее останки лишь впоследствии были перенесены в Сен-Дени. Там и поныне находится ее надгробная статуя, единственная, насколько нам известно, из черного мрамора.

ка, она посоветовала бы матери согласиться на предложение короля. Впрочем, вряд ли ее слова возымели бы хоть какое-нибудь действие.

— Ни в жизнь, — твердила Маго, — ни в жизнь они этого от меня не добьются.

Сама того не подозревая, она этими словами подписала свой смертный приговор, и палач сидел перед ней в тех же носилках и поглядывал на нее сквозь черные, скромно опущенные ресницы.

— Беатриса, — вдруг сказала Маго, — расшнуруй-ка меня немного, что-то у меня живот пучит.

Гнев дурно подействовал на пищеварение. Пришлось остановить носилки, чтобы мадам Маго могла облегчиться на первой же лужайке.

— Нынче вечером, мадам, — проговорила Беатриса, — я дам вам айвовую настойку.

Когда к ночи прибыли в Париж в отель на улице Моконсей, Маго, хоть ее и мутило немного, чувствовала себя получше. И после скромного ужина она улеглась в постель.

Глава IX

Плата за злодеяния

Беатриса дожидалась, когда все слуги отправятся спать. Тогда, подойдя к ложу Маго, она приподняла расшитый полог, который обычно опускали на ночь. Ночник, прикрепленный на самом верху балдахина, разливал вокруг слабый синеватый свет. Беатриса, в одной ночной рубашке, протянула своей госпоже ложку:

— Мадам, вы забыли принять айвовую настойку…

Маго, уже сморенная дремотой и усталостью, но еще не окончательно отдышавшаяся от злости, пробормотала:

— Ах да, хорошо, что ты вспомнила, — ты у меня славная девушка.

И она проглотила ложку настойки.

Часа за два до рассвета она перебудила всех своих людей, неистово дергая сонетку и криками сзывая их к себе. Сбежавшиеся на ее зов увидели возле постели Беатрису с тазиком в руках и Маго, корчащуюся от тошноты.

Были немедленно вызваны ее придворные лекари Тома ле Миезье и Гийом дю Вена; первым делом они расспросили во всех подробностях, что графиня ела накануне, каково было ее меню; оба

пришли к единодушному заключению: причина болезни — сильное несварение желудка, осложненное приливом крови, вызванным, в свою очередь, волнением.

Послали за цирюльником Тома, который за свои обычные пятнадцать су отворил графине кровь, а мадам Меньер, травница с Малого моста, поставила ей клистир из лекарственных трав[16].

Беатриса, сославшись на то, что забежит к мэтру Палену, бакалейщику, и купит у него целебный электуарий, на самом деле проскользнула вечером под третьи ворота от дома Маго, чтобы встретиться в доме Бонфия с Робером.

— Готово! — объявила она.

— Умерла? — воскликнул Робер.

— Ну нет, она еще не скоро отмучается, — ответила Беатриса, и глаза ее блеснули черным огнем. — Но, ваша светлость, нам нужно быть сугубо осторожными, и видеться мы с вами будем теперь не так часто.

Маго медленно угасала в течение целого ме-

---

[16] Примечания: 16

…поставила ей клистир из лекарственных трав. — От Сретенья 1329 г. до 23 октября Маго, кажется, пребывает в отменном здравии и лишь очень редко обращается к своим обычным врачам. С 23 октября (дата ее встречи с Филиппом VI в Мобюиссоне) до 26 ноября, кануна ее смерти, можно почти день за днем проследить развитие ее болезни благодаря выплатам, которые ее казначей делал лекарям, костоправам, цирюльникам, травникам и бакалейщикам за их труды и товары.

сяца.

Вечер за вечером, щепотка за щепоткой Беатриса сводила ее в могилу, и притом в полнейшей безнаказанности, ибо Маго доверяла лишь ей и только из ее рук принимала лекарства.

После трехдневной непрерывной рвоты у нее сделался катар горла и бронхов, так что даже проглотить каплю воды стоило ей нечеловеческих мучений. Лекари утверждали, что она схватила простуду во время несварения желудка. А потом, когда начал слабеть пульс, они решили, что таково следствие слишком частых кровопусканий; затем все тело ее покрылось чирьями и гнойниками.

А Беатриса, не отходившая ни на шаг от ложа графини, внимательная, предупредительная Беатриса, всегда ровная, всегда с улыбкой на устах, что так ценно для больного, от души наслаждалась, следя за неумолимо быстрым ходом болезни, делом собственных своих рук. Теперь они почти совсем не виделись с Робером, но новая забота — каждый божий день изощряться и придумывать, куда именно бросить, в еду или в лекарственные настойки, щепотку яда, — заменяла ей любовные утехи.

Но когда Маго увидела, что седые волосы лезут

у нее целыми пучками, как пересохшее сено, она поняла, что настал конец.

— Меня опоили, — в смертном страхе сказала Маго своей придворной даме.

— О мадам, мадам, не вздумайте произносить таких слов. Ведь перед вашей болезнью вы обедали у самого короля.

— Это-то я и имею в виду, — вздохнула Маго.

Какой она была, такой же осталась — гневливой, вспыльчивый, на чем свет стоит ругала своих лекарей, в глаза обзывала их ослами. Даже сейчас она не пеклась о божественном и больше заботилась о делах своего графства, чем о грешной своей душе. Дочери она продиктовала следующее письмо:

Ежели постигнет меня кончина, приказываю вам тотчас же отправиться к королю и требовать, чтобы отдал он вам графство Артуа, прежде чем Робер начнет свои козни…

Даже жесточайшие боли не привели ей на память тех страданий, которые она некогда причиняла другим; до конца себялюбивая душа ее оставалась непреклонной, и даже близость смерти не высекла из нее искры раскаяния или хотя бы простого человеческого сочувствия.

Однако Маго считала, что должна покаяться

в убийстве двух королей, в чем ни разу еще не призналась на исповеди своим домашним духовникам. И для этой цели она велела позвать к себе какого-то безвестного францисканского монаха. Когда монах с перекошенным лицом, бледный как полотно вышел из ее спальни, его тут же схватили два стражника, коим велено было отвезти его в замок Эсден. Но слов Маго не поняли или поняли плохо: она приказала держать монаха в Эсдене до самой своей смерти, а дворецкий, не расслышав, решил, что речь идет о его — монаха — смерти, и его бросили в каменный мешок. Таково было последнее преступление графини Маго, единственное невольное ее прегрешение.

Потом у больной начались чудовищные судороги, сначала в щиколотках, потом в икрах, и наконец свело руки. Смерть поднималась все выше.

27 ноября были отряжены гонцы — один в монастырь в Пуасси, где пребывала теперь вдовствующая королева Жанна, другой — в Брюгге, дабы предупредить графа Фландрского, и троих друг за другом в течение одного дня направили в Сен-Жермен, где пребывал ныне король в обществе Робера Артуа. Каждый гонец, отправлявшийся в Сен-Жермен, казался Беатрисе

вестником ее любви к Роберу: графиню Маго соборовали, графиня лишилась речи, графиня вот-вот отдаст Богу душу…

Улучив минутку, когда они с графиней остались наедине, Беатриса склонилась над умирающей и, глядя на ее лысую голову, на ее лицо, покрытое гнойниками, где жили одни только глаза, проговорила почти нежно:

— А ведь вас отравили, мадам… я вас отравила… отравила из любви к его светлости Роберу…

Умирающая подняла на Беатрису взгляд, полный недоверия, тут же сменившегося яростной ненавистью, и хотя Маго уже покидала жизнь, последним желанием ее было убить. О нет, она не сожалела о совершенных ею злодеяниях — права она была, еще как права, что давала волю своей злобе, коли все люди вокруг исполнены злобы! И даже в последние минуты жизни мысль о том, что такова расплата за ее преступления, не коснулась ее сознания… Эта душа не нуждалась в искуплении.

Когда ее дочь прибыла из Пуасси, Маго, хотя члены уже не повиновались ей, с трудом вытянула негнущийся, уже холодеющий палец и указала на Беатрису; губы ее шевельнулись, но ни звука не слетело с них, и в этом последнем

порыве ненависти она отдала Богу душу.

На похоронах, которые состоялись 30 ноября в Мобюиссоне, Робер, ко всеобщему изумлению, стоял задумчивый и мрачный. А ведь куда больше пристало бы ему явиться сюда с победительной ухмылкой. Однако он ничуть не притворялся. Потеря врага, с которым ты борешься целых двадцать лет, оставляет после себя ничем не заполненную пустоту. Ненависть связывает людей такими прочными узами, что, когда порваны узы эти, на их место приходит печаль.

Покорная предсмертной воле матери, вдовствующая королева Жанна на следующий же день после похорон обратилась с просьбой к Филиппу VI оставить за ней графство Артуа. Прежде чем дать ей ответ, Филипп VI счел нужным с полной откровенностью объясниться с Робером:

— Пойми, я не могу ответить отказом на просьбу твоей кузины Жанны, коль скоро она прямая наследница, что подтверждается всеми бумагами и законом. Но я дам ей согласие только для виду, временное, так сказать, пока мы не уладим дело миром или не начнется тяжба… А тебя я попрошу написать мне, не откладывая ни на минуту, прошение, где ты изложишь свои требования.

Что Робер и не преминул сделать, вручив коро-

лю нижеследующее послание:

Дражайший и грозный государь мой, коль скоро я, Робер Артуа, ваш смиренный граф Бомонский, уже долгие годы обойден наследством в обход всех прав законных и разума чрез многое лукавство, подлоги и хитрости и графство Артуа в моих руках не содержится, хотя принадлежит оное мне и должно оное принадлежать по многим справедливым и достоверным свидетельствам, кои стали мне известны, посему смиренно прошу вас, чтобы вы соблаговолили выслушать меня и права мои подтвердить…

Когда впервые после долгого перерыва Робер явился в дом Бонфия, Беатриса вздумала его угостить — как угощают лакомым блюдом — подробным рассказом, час за часом, о последних днях жизни Маго. Он слушал ее, но не выказал никакой радости.

— Похоже, что ты о ней жалеешь, — возмутилась Беатриса.

— Да ничуть, ничуть, — задумчиво протянул Робер, — она полностью за все заплатила…

Все его помыслы были заняты теперь новым препятствием, вставшим на его пути.

— Теперь я могу стать придворной дамой у тебя в отеле. Когда ты меня к себе возьмешь?

— Когда графство Артуа будет моим, — ответил Робер. — Сделай так, чтобы остаться при дочери Маго: теперь надо ее убрать с дороги…

Когда мадам Жанна Вдова, вновь вкусившая всю сладость почестей, которых она была лишена после смерти своего супруга Филиппа Длинного, и наконец-то, в тридцать семь лет, скинувшая с себя тягостные узы материнской мелочной опеки, с великой пышностью отправилась в Артуа, чтобы взять его под свою руку, то по дороге устроила привал в Руа-ан-Вермандуа. Здесь ей пришла охота выпить кубок кларета. Беатриса д'Ирсон бросилась к виночерпию Юппену, чтобы лично поторопить его. Но Юппен, уже целый месяц томившийся от любви к Беатрисе, не столь занимался прямыми своими обязанностями, сколь не спускал с Беатрисы глаз. Поэтому-то Беатриса сама отнесла Жанне кубок. А так как приходилось поторапливаться, она на сей раз отдала предпочтение не мышьяку, а ртутной соли.

На этом и закончилось путешествие мадам Жанны.

Те, что присутствовали при агонии королевы-вдовы, будут рассказывать потом, что боли схватили ее глубокой ночью, что яд сочился из ее глаз, изо рта и ноздрей и что все ее тело пошло

черными и белыми пятнами. Она боролась с недугом всего два дня и скончалась, только на два месяца пережив мать.

Но тут герцогиня Бургундская, внучка Маго, заявила свои права на графство Артуа.

Часть третья
Одно падение за другим...
Глава I
Заговор призраков

Монах заявил, что зовут его Томас Динхед. Редкий венчик волос какого-то странного пивного цвета торчал над узким лбом, кисти рук он глубоко засунул в рукава. Его ряса, в какой ходят монахи-доминиканцы, давно утратила первоначальную белизну. Он недоверчиво оглядел комнату и трижды осведомился, нет ли здесь кого, кроме самого милорда, и не услышит ли кто их разговор.

— Да нет, мы одни, говорите же, — ответил граф Кент, глубже усаживаясь в кресле и нетерпеливо покачивая ногой.

— Милорд, наш добрый государь Эдуард Второй жив и здравствует поныне.

Вопреки всем ожиданиям доминиканца Эдмунд Кент даже не вздрогнул, прежде всего потому, что был не из тех, кто при посторонних дает волю своим душевным движениям, а главное, потому, что эту невероятную новость он уже

слышал с неделю назад от другого посланца.

— Короля Эдуарда держат как лицо секретное в замке Корф, — продолжал монах, — я его сам видел, в чем приношу вам свои заверения как свидетель.

Граф Кент поднялся, толкнул ногой лежавшую возле кресел борзую, подошел к окну, где в свинцовые ободья были вставлены маленькие квадратики стекол, и поглядел на серое небо, низко нависшее над его Кенсингтонским замком.

Кенту исполнилось двадцать девять, он уже был не тот хрупкий юноша, командовавший английским войском в 1324 году, во время злополучной войны в Гиени, когда ему пришлось сдаться в плен в осажденном Ла-Реоле собственному дядюшке Карлу Валуа, так как обещанные подкрепления не подошли вовремя. И хотя с тех пор Кент не то чтобы располнел, но как-то раздался, лицо его по-прежнему поражало своей бледностью, и прежней осталась чуть холодноватая манера, державшая людей на расстоянии, за которой скрывалась не столько глубокая мысль, сколько тяга к мечтательности.

Никогда он не слышал более удивительных вещей! Оказывается, его сводный брат Эдуард II, о кончине которого было сообщено еще три года

назад, которого похоронили в Глостере — даже убийц его во всем королевстве называли теперь не таясь, — оказывается, он еще жив! Оказывается, заключение в замке Беркли, зверское убийство, письмо епископа Орлетона, преступление, совершенное совместно королевой Изабеллой, Мортимером и сенешалем Мальтраверсом, наконец, похороны, сварганенные наспех, — все это лишь пустые слухи, пущенные теми, кому на руку объявить бывшего короля Англии покойным, а затем уж расцвеченные народной фантазией.

Дважды за последние две недели ему сообщали эту новость. В первый раз он даже верить в это не пожелал. Но сейчас его взяло сомнение.

— Если эта весть верна, многое может измениться в нашем королевстве, — произнес он, не обращаясь прямо к монаху.

Ибо Англия за эти три года постепенно разуверилась в прежних своих надеждах. Где они — свобода, справедливость, благоденствие, которых почему-то ждали от королевы Изабеллы и достославного лорда Мортимера? Ничего, кроме воспоминаний о разбитых мечтах и напрасных надеждах, не осталось от той прежней простодушной веры, от тех упований, которые возлагали на них.

Ради чего тогда изгнали, низложили, бросили в темницу, ради чего убили — так, по крайней мере, считал он до этого дня — слабого, бесхарактерного Эдуарда II, бывшего игрушкой в руках своих мерзких фаворитов, неужели только затем, чтобы возвести на престол несовершеннолетнего короля, еще более слабого, нежели отец, да к тому же не имеющего никакой власти, ибо у кормила ее стоит всемогущий любовник его матери?

Ради чего обезглавили графа Арундела, ради чего убили канцлера Бальдока, ради чего четвертовали Хьюга Диспенсера, ежели сейчас страной столь же самовластно правит Мортимер, с такой же ненасытной жадностью душит народ податями, оскорбляет, притесняет, запугивает, не допуская ни малейшего посягательства на свою власть?

Хьюг Диспенсер, хоть и был порочен и корыстолюбив от природы, имел все же слабости, на которых при случае можно было сыграть. Его можно было запугать или соблазнить крупной суммой. В то время как Роджер Мортимер — властитель несгибаемой воли и необузданных страстей. Французская волчица, как звали в народе королеву-мать, взяла себе в любовники волка.

Власть быстро развращает того, кто берет ее в

свои руки ради самого себя, а не побуждаемый к тому заботой об общественном благе.

Беззаветно храбрый, чуть ли не герой, прославившийся своим беспримерным бегством из тюрьмы, Мортимер в годы изгнания как бы воплощал в себе лучшие чаяния несчастного народа. Люди помнили, что некогда он завоевал для английской короны государство Ирландское, люди забыли, что он изрядно нагрел при этом руки.

И впрямь, никогда Мортимер не думал ни о нации как о едином целом, ни о нуждах своего народа. Он не был рожден борцом за общественные интересы, если только они не совпадали в данную минуту с его личными интересами. В действительности же он был лишь выразителем недовольства известной части знатного дворянства. Получив власть, он вел себя так, словно Англия вся целиком, без изъятия, была его личным угодьем.

И для начала он прибрал к рукам чуть ли не четверть королевства вместе с титулом графа Валлийской марки, причем и титул, и само ленное владение были нарочно созданы для него. Благодаря королеве-матери он вел королевский образ жизни и обращался с юным Эдуардом III не как со своим сюзереном, а как со своим на-

следником.

Когда в октябре 1328 года Мортимер потребовал, чтобы парламент, собравшийся в Солсбери, возвел его в звание пэра, Генри Ланкастер Кривая Шея, старейшина королевской семьи, отказался присутствовать там. Тогда Мортимер, недолго думая, приказал ввести свои войска в полном боевом вооружении в коридоры парламента, подкрепив, так сказать, наглядно свое требование. Но такого рода насильственные деяния вряд ли пришлись членам парламента по вкусу.

Так что с фатальной неизбежностью те же самые лица, объединившиеся в свое время, дабы свалить Диспенсеров, вновь сплотились вокруг тех же принцев крови, вокруг Генри Кривая Шея, вокруг графов Норфолка и Кента — дядьев юного короля.

Через два месяца после истории в Солсбери Генри Кривая Шея, воспользовавшись отсутствием Мортимера и королевы Изабеллы, тайно собрал в Лондоне в соборе Святого Павла многих епископов и баронов с целью устроить военный переворот. Но у Мортимера повсюду были соглядатаи. Прежде чем восставшие успели поднять войска, Мортимер со своим собственным войском разорил города Лестерского графства,

самого крупного ленного владения Ланкастеров. Генри хотел было продолжить борьбу, но Кент, считая, что с самого начала их преследуют неудачи, бесславно уклонился от дальнейшего участия в заговоре.

Если Ланкастер отделался за свой проступок лишь пеней в сумме одиннадцать тысяч ливров, которые, впрочем, так никогда и не были уплачены, то отделался лишь потому, что был первым в Регентском совете и опекуном короля, и, как это ни нелепо звучит, Мортимер должен был хотя бы для видимости поддерживать это опекунство, пусть даже фиктивное, чтобы, прикрываясь им, на законном основании осудить мятеж против королевской власти своих противников, тех, к которым принадлежал и сам Ланкастер!

Поэтому-то Ланкастера отрядили во Францию под благовидным предлогом устроить брак сестры Эдуарда III со старшим сыном Филиппа VI. В сущности, это было своего рода немилостью, но с дальним расчетом — когда-то еще обе стороны придут к соглашению!

Коль скоро Кривая Шея был далеко, Кент вопреки собственной воле оказался главой заговорщиков. Все недовольные сгруппировались вокруг него, да и сам он старался изгладить из их

памяти свое прошлогоднее отступничество. Нет, вовсе не из-за подлого страха он тогда устранился от открытого выступления…

Все эти смутные мысли одолевали его, пока он смотрел в окно своего Кенсингтонского замка. Монах по-прежнему стоял, как каменное изваяние, глубоко засунув руки в широкие рукава рясы. Именно то обстоятельство, что этот второй посол, равно как и первый, принадлежал к ордену доминиканцев, известному своей враждебностью к Мортимеру, и оба уверяли его в том, что Эдуард II здравствует и поныне, заставило его призадуматься всерьез. Если только сообщенная ими весть достоверна, то все обвинения в цареубийстве, до сих пор висящие над Изабеллой и Мортимером, сами собой отпадают. И вместе с тем это круто изменит положение во всем государстве.

Ибо теперь народ оплакивал Эдуарда II, бросившись из одной крайности в другую, и чуть ли не готов был причислять беспутного короля к лику святых мучеников. Ежели Эдуард II здравствует и поныне, парламенту легко будет снять с себя вину за былые свои деяния под тем предлогом, что они, мол, были навязаны ему силой, и возвести на престол бывшего государя.

Да и то сказать, кто может привести убедительные доказательства его кончины? Не жители ли Беркли, торжественно продефилировавшие тогда мимо его бренных останков? Но многие ли из них видели Эдуарда II при жизни? Кто осмелится утверждать, что им не подсунули какого-нибудь другого покойника?.. Никто из членов королевской фамилии не присутствовал на обставленном тайной погребении в Глостерском аббатстве, да к тому же состоялось оно через месяц после кончины Эдуарда и в могилу опустили гроб, покрытый черным сукном.

— Стало быть, вы утверждаете, брат Динхед, что вы действительно видели его собственными глазами? — обернулся стоявший у окна Кент.

Томас Динхед снова подозрительно оглядел комнату, как и положено хорошему заговорщику, и, понизив голос до полушепота, ответил:

— Меня туда послал приор нашего ордена; мне удалось расположить к себе тамошнего капеллана, который и впустил меня в замок, при условии чтобы я скинул монашеское одеяние. Целый день я прятался в маленьком домике слева от кордегардии, вечером меня ввели в большую залу, и там я своими глазами увидел короля — он ужинал, и обслуживали его чисто по-королевски.

— Вы с ним заговорили?

— Мне не позволили к нему даже приблизиться, — ответил доминиканец, — но капеллан показал мне его из-за колонны и сказал: «Вот он».

После минутного раздумья Кент спросил:

— Если мне будет в вас нужда, могу ли я послать за вами в доминиканский монастырь?

— Нет-нет, милорд, ибо наш приор посоветовал мне на время монастырь покинуть.

И он сообщил Кенту свое теперешнее местопребывание в Лондоне, у некоего священнослужителя, близ церкви Святого Павла.

Кент открыл свой кошель, протянул монаху три золотые монеты. Монах отказался — им запрещено принимать любые дары.

— Тогда внесите деньги на нужды вашего ордена, — сказал граф Кент.

Тут только брат Динхед вытащил правую руку из рукава, взял деньги и, отвесив низкий поклон, удалился.

А Эдмунд Кент решил в тот же день известить двух старейших прелатов, в свое время причастных к неудавшемуся заговору: Грейвесана, епископа Лондонского, и архиепископа Йоркского Уильяма Мелтона, того самого, что совершал

обряд бракосочетания Эдуарда III с Филиппой Геннегау.

«Мне сообщили об этом дважды, и оба раза, по-моему, из вполне надежных источников...» — писал он им.

Ответов пришлось ждать недолго. Грейвесан заверил, что будет поддерживать графа Кента во всех его действиях, кои тот сочтет нужным предпринять, а архиепископ Йоркский, примас Англии, прислал своего собственного капеллана Эллайна, и тот изустно передал, что примас посулил выделить пять сотен вооруженных людей, а в случае надобности и больше для освобождения бывшего короля.

Тогда Кент обратился и к другим знатным сеньорам, в частности к лорду Зоучу, а также лорду Бьюмонту и сэру Томасу Росслайну, укрывшимся в Париже, так как они имели все основания опасаться мести Мортимера. Вот так во Франции вновь образовалась английская эмигрантская партия.

Но особенно воодушевило заговорщиков личное и секретное послание папы Иоанна XXII, полученное графом Кентом. Святой отец, тоже прослышавший, что король Эдуард II по-прежнему здравствует, советовал графу Кенту ратовать

за его освобождение, заранее отпуская все прегрешения тем, кто примет участие в этом деле, «ab omni poena et culpa»[17]. Можно ли было дать понять яснее, что все средства здесь хороши?.. И папа даже угрожал отлучить от церкви графа Кента, ежели он отступится перед столь богоугодным деянием.

И ведь это было не какое-нибудь изустное сообщение, а самое настоящее послание, написанное по-латыни: некий папский прелат — правда, подпись его была неразборчива — с превеликим тщанием записал собственные слова Иоанна XXII, произнесенные во время беседы, где обсуждался этот вопрос. Послание было доставлено одним из приближенных канцлера Бергерша, епископа Линкольнского, только что возвратившимся из Авиньона, где он тоже участвовал в переговорах о предполагаемом браке сестры Эдуарда III с наследником французского престола.

Все эти события окончательно смутили покой Эдмунда Кента, и он тут же решил проверить на месте все эти сведения, а заодно и поразведать получше, что и как можно сделать для освобождения короля из узилища.

---

[17] Примечания: 17
«От всех грехов и вины» *(лат.).*

Он приказал отыскать брата Динхеда по оставленному им адресу, а сам с небольшим, но надежным эскортом отправился в Дорсетшир. Дело было в феврале.

Прибыл граф Кент в Корф ненастным холодным днем, когда злой ветер порывами налетал на пустынный полуостров, и первым делом приказал привести к себе коменданта крепости сэра Джона Девирилла. Встреча состоялась в единственной харчевне Корфа, стоявшей как раз напротив церкви Святого Эдуарда Мученика, убиенного короля Саксонской династии.

Высокий, узкоплечий, с нахмуренным челом и презрительно выпяченной нижней губой, Джон Девирилл попросил прощения за то, что, увы, не может пропустить высокочтимого лорда в замок, и во всех его повадках чувствовалось сожаление, что ему приходится соблюдать вежливость, как полагается лицу официальному. На сей счет, добавил он, даны строжайшие указания.

— Жив, в конце концов, король Эдуард Второй или мертв? — спросил Эдмунд Кент.

— Этого я вам сказать не могу.

— Но ведь он же мой брат! Находится он у вас под стражей или нет?

— Меня не уполномочили отвечать на такие

вопросы. Мне поручили держать в заключении узника, и я не имею права назвать вам ни его имени, ни ранга.

— Дайте тогда мне возможность хоть посмотреть на этого узника.

Джон Девирилл отрицательно покачал головой. Настоящая стена, утес какой-то, этот самый комендант, столь же непоколебимый, как огромная зловещая башня, окруженная тройным поясом широких стен, что торчит на самой вершине холма над маленьким городишком и над его крышами, сложенными из плоских каменных плит… О, Мортимер умело выбирал себе верных слуг!

Но существует особая манера отрицать факты так, словно бы подтверждаешь их. Разве напустил бы на себя этот самый Девирилл столько таинственности, был бы столь же непреклонен, если бы охранял кого-либо другого, а не бывшего короля Англии?

Эдмунд Кент пустил в ход все свое обаяние, которым его щедро наделила природа, впрочем, прибег он и к другим аргументам, против которых с трудом может устоять натура человеческая. Короче, он положил на стол кошель, туго набитый золотом.

— Мне хотелось бы, — сказал он, — чтобы узнику ни в чем не было отказа. Деньги эти помогут облегчить его участь, здесь сто фунтов стерлингов.

— Смею вас заверить, милорд, что его содержат в хороших условиях, — проговорил тоном соучастника Девирилл, понизив голос.

И без малейшего смущения схватил кошель.

— Я охотно дал бы вдвое больше, лишь бы на него взглянуть, — добавил Эдмунд Кент.

Девирилл сокрушенно покачал головой:

— Поймите меня, милорд, замок охраняют двести лучников…

Эдмунд Кент, имевший претензию считать себя крупным военным стратегом, отметил в уме эти весьма ценные сведения — их надо будет учесть, когда дело дойдет до похищения узника.

— …и ежели хоть один из них проговорится и королева-мать об этом прознает, она тут же повелит меня казнить.

Вот уж подлинно выдал себя с головой, признался, кого поручено ему стеречь!

— Но я могу передать ему письмо, — продолжал комендант крепости, — потому что знать об этом будем только мы двое.

Радуясь столь счастливому и быстрому пово-

роту дела, Кент набросал следующие строки под завывание ветра, с силой швырявшего в окно харчевни струи дождя:

Соблаговолите принять мою преданность и уважение, дражайший брат мой. Молю Бога всей душой своей о добром для вас здравии, ибо уже готовимся мы в скорейшем времени вызволить вас из узилища, дабы были вы от всех ваших бед избавлены. Будьте благонадежны, на моей стороне самые знатные бароны Англии и все их достояние, сиречь их войска и их сокровища. Вновь вы станете королем; прелаты и бароны поклялись в том на Святом Евангелии.

Он сложил листок пополам и протянул его коменданту.

— Прошу вас, милорд, запечатайте его своей печатью, — ответил тот, — я не должен, да и не хочу знать, что вы написали.

Кент приказал одному из сопровождающих его людей принести воск и приложил свою печать, а Девирилл спрятал листок под плащ.

— Послание, — сказал он, — будет доставлено заключенному, и надеюсь, он тут же его уничтожит. Так что…

Он неопределенно махнул рукой, как бы желая сказать, что все будет предано забвению, словно

ничего этого и не было.

«Если умело взяться за дело, — думал Эдмунд Кент, — этот человек, когда придет решительный день, сам распахнет нам ворота, нам даже не придется обнажать оружие».

А три дня спустя письмо его уже было в руках Мортимера, который прочитал его членам Регентского совета, собравшимся в Вестминстере.

И сразу же королева Изабелла обратилась к юному королю с взволнованными словами:

— Сын мой, сын мой, молю вас, не милуйте вашего заклятого врага, который старается распространить по всему королевству нелепый слух, будто отец ваш здравствует и поныне, и все это с целью низложить вас и занять ваше место. Ради всего святого, пока еще не упущено время, отдайте приказ примерно покарать этого изменника.

На самом же деле приказ был уже отдан, и сбиры лорда Мортимера уже мчались к Уинчестеру, дабы перехватить графа Кента по дороге и бросить его в темницу. Но Мортимеру этого было мало, ему мало было взять врага под стражу, ему требовалась казнь, превращенная, так сказать, в назидательное зрелище. Впрочем, у него и впрямь были основания спешить.

Через год Эдуард III достигнет совершенноле-

тия, но уже и сейчас по многим признакам видно, что ему не терпится взять власть в свои руки. Устранив Кента и удалив перед тем из страны Ланкастера, Мортимер тем самым обезглавил оппозицию, а значит, никто не помешает ему и впредь направлять действия юного Эдуарда.

19 марта в Уинчестере собрался парламент, дабы судить родного дядю короля.

Месяц с лишним пробыл граф Кент в узилище и вышел оттуда совсем другим человеком — подавленным, исхудавшим, растерянным, словно бы так и не понявшим, что такое с ним случилось. Не того он был закала, чтобы мужественно переносить обрушившиеся на него беды. Даже его хваленое умение холодно держать людей на расстоянии и то покинуло его. На допросе, который учинил ему королевский коронер Роберт Хауэл, он сразу рухнул, рассказал от слова до слова все, что с ним произошло, назвал имена своих осведомителей и сообщников. Но каких, в сущности, осведомителей? Доминиканский орден знать не знал монаха по имени Динхед, — стало быть, все это выдумки обвиняемого, надеющегося уйти от правосудия. В равной мере выдумка и послание, якобы отправленное папой Иоанном XXII: никто из лиц, сопровождавших епископа Линкольнско-

го, отряженного с посольством в Авиньон, ни разу ни с кем не вел бесед об усопшем государе — ни с самим папой, ни с кем-либо из его кардиналов или ближайших советников. Тут Эдмунд Кент уперся. Что же они, с ума его свести хотят, что ли? Да он сам лично говорил с этими монахами! Сам держал в руках папское письмо «ab omni poena et culpa»…

Только позже Кент понял, что его завлекли в ловушку, в страшную ловушку, поманив призраком покойного короля. Словом, комплот, от начала до конца состряпанный Мортимером и его приспешниками: лжепосланцы, лжемонахи, лжеписьмо, а главное, это лже-Девирилл из замка Корф, самый лживый из всех и вся! Так или иначе, его загнали в западню.

Королевский коронер потребовал для обвиняемого смертной казни.

Сидя на возвышении лицом к лицу с высокочтимыми лордами, Мортимер держал каждого под прицелом своих глаз, а Ланкастер, быть может единственный из всех, кто осмелился бы выступить в защиту подсудимого, был далеко за пределами страны. Мортимер дал понять всем сообщникам Кента, духовным или светским лицам, что, буде последний осужден, их преследовать не

станут. А ведь большинство баронов в той или иной мере были причастны к заговору, и все они отреклись — и даже Норфолк, родной брат подсудимого, — от второго принца крови и отдали его в руки кровожаждущего графа Валлийской марки. В сущности, они принесли его в жертву во искупление собственных прегрешений.

И мало того что Кент был унижен перед всеми членами парламента, открыто признав свою вину, его решено было подвергнуть еще одному наказанию — лично изъявить свою покорность королю, в одной рубахе, босому и с вервием на шее, и высокочтимые лорды скрепя сердце вынесли тот приговор, которого от них ждали. А в надежде успокоить свою неспокойную совесть сосед шептал соседу:

— Король его помилует, король воспользуется своим правом миловать…

Никому не верилось, чтобы Эдуард III приказал казнить родного дядю, пусть тот и виноват, но ведь нельзя забывать, что действовал он скорее по недомыслию и что вся эта история с монахами и письмами явно шита белыми нитками.

Многие из тех, что проголосовали за смертный приговор, твердо решили завтра же идти к королю просить помилования осужденному.

Палата общин отказалась скрепить приговор, вынесенный палатой лордов: она требовала дополнительного расследования.

Но Мортимер, заручившись поддержкой палаты лордов, бросился в замок к королеве Изабелле, которую и застал за трапезой.

— Дело сделано, — объявил он, — мы можем теперь послать Эдмунда на плаху. Но большинство наших лжедрузей надеются, что ваш сын спасет его от смертной казни. Посему молю вас действовать без промедления.

Первым делом они поспешили услать юного короля на целый день в Уинчестерский колледж, один из самых старых и самых прославленных во всей Англии колледжей, где был устроен торжественный диспут.

— А губернатор Лондона, — добавил Мортимер, — незамедлительно выполнит, душенька моя, ваш приказ, как если бы он исходил от самого короля.

Изабелла и Мортимер обменялись долгим взглядом, и оба тут же забыли и о готовящемся преступлении, и о незаконном превышении власти. Французская волчица подписала приказ немедля обезглавить своего деверя и двоюродного брата.

Эдмунда Кента снова вывели из узилища и в одной рубахе, со связанными за спиной руками привели под немногочисленным конвоем лучников во внутренний двор крепостного замка. Здесь он простоял час, два часа, три часа под моросящим дождем при тусклом свете клонящегося к закату дня. Почему они медлят, почему сразу не посылают на плаху? То он впадал в уныние, то поддавался безумным надеждам. Конечно же, король, родной его племянник, как раз в эту минуту скрепляет печатью приказ о помиловании. А это трагическое ожидание просто еще одна кара, наложенная на осужденного, дабы побудить его к чистосердечному раскаянию и полнее оценить великодушие и милосердие. А быть может, начались мятежи и смуты, быть может, восстал народ. А быть может, убили Мортимера. Кент возносил мольбу небесам и вдруг, охваченный тоскливым страхом, разразился рыданиями. Он дрожал всем телом в промокшей насквозь рубашке; с плахи и со шлемов лучников стекали струйки дождя. Когда, когда же наконец кончится эта пытка?

Единственно правильное объяснение этого бессмысленного стояния у плахи не могло прийти в голову графу Кенту, а дело было в том, что по всему Уинчестеру искали палача и не могли найти.

Городской палач, прослышав, что палата общин не признает вынесенного лордами приговора, что сам король приговора не подписал, уперся и не пожелал показать своего искусства на принце королевской крови. Его подручные поддержали его: уж лучше совсем лишиться работы…

Обратились к гарнизонным командирам, чтобы они выделили кого-нибудь из своих людей, если, конечно, какой-нибудь доброволец за солидное вознаграждение не вызовется сам. Командиры в ответ брезгливо морщились. Они согласны были поддерживать в городе порядок, охраняя здание парламента, даже препровождать заключенного к месту казни, но, бога ради, не требуйте большего ни от них самих, ни от их солдат.

Мортимер в приступе холодного и жестокого гнева набросился на губернатора:

— Неужели во всех ваших темницах не найдется какого-нибудь убийцы, фальшивомонетчика или разбойника с большой дороги, который захотел бы в обмен на эту услугу сохранить свою жизнь? А ну поторопитесь-ка, если вам не улыбается окончить самому свои дни в темнице!

Обшарили все лондонские тюрьмы и наконец нашли нужного человека: им оказался вор, обокравший церковь и приговоренный к пове-

шению на следующей неделе. Ему сунули в руки топор, но он потребовал себе еще и маску.

Спускалась ночь. При свете факелов, шипевших и гаснувших под проливным дождем, граф Кент увидел, как к нему приближается заплечных дел мастер, и понял, что долгие эти часы надежды были лишь последней смехотворной иллюзией. Он испустил отчаянный крик — пришлось силой поставить его на колени перед плахой. Случайный палач дрожал всем телом, так же как и его жертва, страшась того, что его ждало, тем паче что оказался он человеком скорее трусливым, чем жестоким. Он с трудом поднял топор. Первый удар пришелся мимо, железо лишь скользнуло по волосам Кента. Четырежды палач опускал топор, под конец он уже бил по какой-то отвратительной кровавой жиже. Стоявших вокруг старых лучников рвало от отвращения.

Так умер, не дожив до тридцати лет, граф Эдмунд Кент, принц крови, человек обаятельный и наивный. А того, кто украл золотую дарохранительницу, с богом отпустили домой.

Когда юный король Эдуард III вернулся в Лондон, прослушав бесконечный диспут на латинском языке о доктринах мэтра Оккама, он узнал, что его дядю обезглавили.

— Как, без моего приказа? — спросил он.

Он велел призвать к себе лорда Монтегю, который после присяги в Амьене не расставался с королем и в преданности которого Эдуард имел немало случаев убедиться.

— Лорд Монтегю, — обратился к нему король, — вы были сегодня на заседании парламента. Так вот, мне хотелось бы знать всю правду…

Глава II
Ноттингемская секира

Государственное преступление всегда и во всех случаях должно иметь видимость законности.

Источником закона является государь, а суверенная власть принадлежит народу, осуществляющему ее через посредство избранных представителей, или же он признает ее за монархом по праву наследования, а иной раз, как то было в те времена в Англии, через оба эти канала.

Таким образом, всякий законный акт в этой стране должен был получить как бы двойное одобрение — монарха и народа, будь то одобрение молчаливым или выраженным вслух.

Казнь графа Кента имела всю видимость закон-

ности, коль скоро Регентский совет осуществлял королевские полномочия, а из-за отсутствия графа Ланкастера, королевского опекуна, подпись под смертным приговором поставила королева-мать, но казнь эта не получила ни подлинного одобрения парламента, ибо действовал он под явным нажимом Мортимера, ни согласия короля, которого держали в неведении, хотя приказ был дан от его имени, а подобное деяние может быть для тех, кто свершил его, лишь гибельным.

Эдуард III выразил свое неодобрение случившемуся в той мере, в какой мог его выразить, — потребовал, чтобы его дядю Кента похоронили как особу царствующего дома. Так как речь шла о бездыханном трупе, Мортимер решил не перечить юному королю. Но никогда Эдуард не простит Мортимеру то, что он снова за его спиной посягнул на жизнь особы королевской крови; не простит он ему также и того, что, когда при мадам Филиппе неосторожно сообщили о казни дяди Кента, она потеряла сознание. А ведь молодая королева была в тягости, уже на шестом месяце, и ее полагалось всячески щадить. Эдуард обратился по этому поводу с упреками к своей матери, и, когда та с раздражением заметила, что мадам Филиппа что-то уж слишком чувствитель-

на к врагам короны и что если ей выпало счастье стать королевой, то не мешало бы быть потверже духом, сын ответил:

— Не у всякой женщины, мадам, как у вас, вместо сердца камень…

Впрочем, этот случай прошел благополучно для чрева мадам Филиппы, и в середине июня она произвела на свет сына[18]. Эдуард III испытывал спокойную, но глубокую радость, как и всякий мужчина, когда женщина, которую он любит и которая любит его, дарит ему первенца. Он даже как-то сразу повзрослел и почувствовал себя настоящим правителем. Теперь у него есть наследник. Он подолгу раздумывал о династии, о своем собственном месте меж предками и будущими потомками, пусть потомство это пока хрупко и уязвимо, но оно уже существует вот здесь, в этой пышно украшенной кружевами колыбели, и час от часу для Эдуарда все невыно-

[18] Примечания: 18

…в середине июня она произвела на свет сына. — Первый из двенадцати детей Эдуарда III и Филиппы Геннегау — Эдуард Вудстокский, принц Уэльский, которого прозвали Черным принцем из-за цвета его доспехов.

Это ему предстояло одержать победу при Пуатье над сыном Филиппа VI Валуа Иоанном II Добрым и взять его в плен.

Бóльшую часть своей жизни этот крупный полководец провел на континенте, был одним из главных персонажей Столетней войны и умер через год после своего отца, в 1376 г.

симее становилось положение, в котором его до сих пор держат, положение ущемленного в своих законных правах государя.

Иной раз его мучили сомнения: ну хорошо, пусть даже разгонят тех, кто правит страной сейчас, но это ровно ничего не изменит, коль скоро не так-то легко найти вместо них более достойных людей, коль скоро нечего противопоставить существующим уложениям.

«Сумею ли я править так, как надо? — вопрошал он себя. — И подготовлен ли я к управлению страной?»

Из памяти его еще не изгладился низкий пример отца, попавшего целиком под власть Диспенсеров, и столь же низкий пример матери, находившейся в полном подчинении у Роджера Мортимера.

Вынужденная бездеятельность давала богатый досуг для наблюдений и размышлений. Ничего нельзя добиться в английском государстве без добровольного или вынужденного согласия парламента. Влияние, которое приобрела за последние годы эта консультативная ассамблея, собиравшаяся все чаще и чаще по любому поводу и в любых местах, было следствием того, что управление страной шло из рук вон плохо:

военные походы оканчивались неудачами из-за бесталанных командиров; в королевской фамилии царил раздор, вечная вражда шла между центральной властью и союзом крупнейших феодалов.

Следует пресечь эти разорительные разъезды, когда палата лордов и палата общин мчатся то в Уинчестер, то в Солсбери, то в Йорк и заседают там, и делается все это с единственной целью — чтобы лорд Мортимер мог лишний раз дать почувствовать собравшимся, что страной правит он, и правит твердой рукой.

«Когда я по-настоящему стану королем, парламент будет заседать только в строго определенные дни и по возможности только в Лондоне… А войско?.. Сейчас войско даже нельзя считать королевским: это войско баронов, а те хотят — повинуются верховной власти, хотят — не повинуются. Необходимо иметь наемное войско, и войско это будет служить королевству, и командовать им будут военачальники, назначенные королем… Ну а правосудие? Правосудие должно быть сосредоточено в королевских руках, и король обязан сделать так, чтобы все были перед этим правосудием равны. Что бы там ни говорили, а во Французском королевстве больше

порядка. Необходимо также предоставить полную свободу торговле, ведь все время поступают жалобы, что развивается она недостаточно быстро из-за непомерно высоких обложений и запрета на кожи и шерсть — наше исконное богатство».

На первый взгляд могло показаться, что мысли не бог весть какие глубокие, но не забудем, что теснились эти чуть ли не революционные идеи в голове юного короля в годину безначалия, произвола и жестокости, какие редко выпадали на долю какой-либо нации.

Так юный владыка, связанный по рукам и ногам, жил теми же чаяниями, что и его угнетенный народ. Лишь узкому кругу людей открывал он свои заветные мысли: своей супруге Филиппе, Вильгельму де Мауни, конюшему, которого Филиппа привезла с собой из Геннегау, но особенно часто беседовал он с лордом Монтегю, и тот сообщал Эдуарду о том, чего ждут и на что надеются молодые лорды.

Нередко двадцатилетний юноша создает себе кодекс правил, которому неукоснительно будет стремиться следовать всю свою дальнейшую жизнь. Эдуард III обладал важнейшим достоинством, необходимым для человека, облеченного властью: он не был игрушкой страстей и пороков.

Ему посчастливилось вступить в брак с принцессой, которую он полюбил и в силу все той же удачи продолжал любить. Кроме того, был он наделен той высшей формой гордости, что позволяет человеку считать свое высокое положение более чем естественным. Он требовал уважения к своей особе и к своему рангу; он презирал угодливость, ибо она исключает возможность искренних отношений. Он ненавидел бессмысленную роскошь, ибо она оскорбительна для нищеты и противоречит подлинному величию.

Те, кто в свое время побывал при французском дворе, уверяли, будто Эдуард III весьма похож на своего деда Филиппа Красивого; между ними находили даже внешнее сходство — тот же овал и та же бледность лица, тот же холодный взгляд голубых глаз из-под длинных ресниц, впрочем чаще всего опущенных.

Конечно, Эдуард был гораздо более общительного и более пылкого нрава, чем его дед с материнской стороны. Но ведь утверждавшие это знали Железного короля лишь в последние годы его жизни, в самом конце его долгого правления, и никто не помнил, каким был Филипп Красивый в свои двадцать лет. Кровь Франции восторжествовала в Эдуарде III над английской

кровью Плантагенетов, и казалось, на престол Англии взошел настоящий Капетинг.

В октябре того же 1330 года, на сей раз в Ноттингеме, на севере страны, был снова созван парламент. Заседание обещало быть бурным: большинство лордов держало зло против Мортимера за казнь графа Кента, ибо казнь эта отягощала их совесть.

Граф Ланкастер Кривая Шея, которого нынче уже звали старым Ланкастером, ибо ему каким-то чудом удалось сохранить до пятидесяти лет голову на плечах, крупную, клонящуюся набок голову, мудрый и отважный Ланкастер наконец вернулся из Франции. Уже давно ему угрожала болезнь глаз, ныне превратившая его в полуслепца, так что повсюду его сопровождал паж, но само это убожество, делавшее его как бы более уязвимым, привело к тому, что к его словам прислушивались с еще большим уважением.

Палата общин была встревожена слухом о новых субсидиях, которые им предстояло утвердить, и новых налогах на шерсть. А куда, в сущности, идут деньги?

На что, на какие такие нужды потратил Мортимер тридцать тысяч ливров уплаченной шотландцами дани? Ради личной своей выгоды

или же ради выгоды государства три года вел он жестокую войну с Шотландией? И почему он осыпал милостями этого ничтожного барона Мальтраверса, произвел его в сенешали да еще пожаловал ему тысячу ливров за добрую службу при покойном короле, сиречь за его убийство? Ибо все становится явным, пусть не сразу, но все равно становится, и не могут оставаться на веки вечные тайной расходы казначейства. Вот, стало быть, на что пошли налоги! И Огл, и Герни, подручные Мальтраверса, и Девирилл, комендант Корфа, получили каждый по изрядному куску.

Поезд Мортимера, направлявшегося в Ноттингем, блистал такой роскошью, что юный король казался при нем лишь одним из его свитских, но теперь Мортимера на самом деле поддерживала всего какая-нибудь сотня сторонников, из тех, что были обязаны ему своим благосостоянием и находились у власти, пока у власти стоял он, а в случае, если он падет, их ждала кого немилость, кого изгнание, а кого и просто виселица.

А сам он считал, что держит всех и вся в своих руках, ибо целая сеть соглядатаев, из коих при самом короле состоял некий Джон Виньярд, передавали ему все услышанные речи, они уверяли, что заговором пока и не пахнет. Он считал себя

всемогущим, ибо его лучники сумели запугать и палату лордов, и палату общин. Но войско может повиноваться и другим приказам, а соглядатаи могут предать.

Власть, не опирающаяся на согласие тех, на кого она простирается, — обыкновенный обман, и не может он длиться долго, такая власть находится в неустойчивом положении между страхом и мятежом и в мгновение ока перестает быть властью, когда достаточное количество людей приходит совместно к одним и тем же мыслям.

Сидя в седле, расшитом золотом и серебром, окруженный оруженосцами, облаченными в пурпур и держащими в руках пики с развевающимся на конце флажком, скакал Мортимер по изрытой колеями дороге.

Уже в пути Эдуард III заметил, что у его матери непривычно болезненный вид, что лицо ее осунулось и поблекло, глаза смотрят устало и померк их блеск. Она ехала в носилках, а не скакала, как обычно, на своем белоснежном иноходце; от мерного покачивания носилок ее мутило, так что то и дело приходилось останавливаться. Мортимер держался с ней внимательно, но явно был смущен.

Возможно, Эдуард и не обратил бы на все это

внимания, если бы ему самому не довелось наблюдать точно такие же признаки у своей супруги, мадам Филиппы, в начале года. К тому же во время дороги челядь распустила языки: прислужницы королевы-матери болтали с прислужницами мадам Филиппы. В Йорке сделали привал на два дня, и тут последние сомнения Эдуарда рассеялись — его мать в тягости.

К горлу его подступил ком стыда и омерзения. А также и ревность, ревность уже взрослого сына еще усугубила это недоброе чувство. И постепенно померк благородный, прекрасный образ матери, какой жил в его душе с первых дней детства.

«Из-за нее я возненавидел родного отца, потому что он покрыл ее позором. А теперь она сама меня позорит! Мать, сорокалетняя женщина, родит незаконного ребенка, который будет моложе собственного моего сына!»

Как король он чувствовал себя униженным в глазах своего королевства, а как муж — в глазах своей супруги.

В опочивальне Йоркского замка он без сна ворочался под одеялом и наконец рассказал обо всем Филиппе.

— Помнишь, душенька, как мы с тобой стали

мужем и женой, как раз здесь… Ах, печальное царствование я тебе уготовил!

Кроткая и разумная Филиппа выслушала новость довольно равнодушно, но, будучи от природы добродетельной, осудила свекровь.

— Такие вещи, — сказала она, — при французском дворе не случаются…

— Ох, душенька… А вечные измены ваших дражайших кузин Бургундских?.. А ваши отравленные короли?

Почему-то Капетинги стали теперь родичами одной лишь Филиппы, будто сам Эдуард не был их прямым потомком!

— Во Франции все происходит галантно, — возразила Филиппа, — там не столь откровенно выставляют напоказ свои желания, не столь жестоки в своей злобе.

— Просто все делается более скрытно, втайне. Там предпочитают железу яд…

— Нет, вы, вы гораздо грубее…

Эдуард промолчал. Испугавшись, что он оскорблен ее словами, Филиппа протянула к нему свою округлую нежную ручку.

— Я очень, очень тебя люблю, друг мой… — сказала она, — потому что ты ничем на них не похож…

— И это не только позор, — твердил свое Эдуард, — но и угроза…

— Какая угроза?

— А такая, что Мортимер вполне способен нас всех загубить, вступить в брак с моей матерью, чтобы его признали регентом и чтобы посадить на трон своего ублюдка…

— Даже думать об этом — безумие! — возмутилась Филиппа.

Несомненно, такое полное ниспровержение основ и отрицание всех принципов, и религиозных и династических, было бы, конечно, невероятным, если бы страной правила твердая рука, но все возможно, даже самые безумные авантюры, в королевстве, раздираемом на части и отданном на милость враждующим партиям.

— Завтра же откроюсь во всем Монтегю, — промолвил юный король.

По прибытии в Ноттингем настроение лорда Мортимера заметно ухудшилось, он нетерпеливо обрывал людей, говорил не только властным, но и раздражительным тоном; а объяснялось это тем, что его соглядатай Джон Виньярд приметил, как к концу пути король, Монтегю и кое-кто из молодых лордов то и дело вступали в оживленные беседы, но о чем беседуют, разобрать ему

не удалось.

Мортимер накинулся на сэра Эдуарда Боухена, вице-губернатора, которому было поручено разместить высоких гостей, что он и сделал, поселив по традиции всю знать в одном замке.

— По какому праву, — кричал Мортимер, — вы посмели, не доложившись мне, распоряжаться самовольно покоями, примыкающими к апартаментам королевы-матери?!

— Я думал, милорд, что граф Ланкастер…

— Графа Ланкастера, как, впрочем, и всех остальных, вы обязаны были разместить по меньшей мере за целую милю от замка.

— А вас, милорд?

Мортимер сердито нахмурил брови, почуяв в этом вопросе прямое оскорбление.

— Мои апартаменты должны находиться вблизи от апартаментов королевы-матери, и прикажите коменданту каждый вечер вручать ей ключи от замка.

Эдуард Боухен молча склонился в поклоне.

Бывает иногда, что меры предосторожности оборачиваются роковым образом против того, кто их принял. Мортимер хотел пресечь разговоры о положении Изабеллы; главное же, он хотел отдалить короля от других, но именно это раз-

вязало руки молодым лордам, которые вдали от замка и соглядатаев Мортимера могли свободно собраться и наметить план действий.

Лорд Монтегю решил объединить тех своих друзей, что были, по его мнению, наиболее решительными, — главным образом молодых, от двадцати до тридцати лет: лордов Моулинса, Хаффорда, Стаффорда, Клинтона, а также Джона Невила Хорнеби и четырех братьев Боухен — Эдуарда, Хамфри, Уильяма и Джона, бывшего графом Херефорда и Эссекса. Молодые образовали партию короля. Генри Ланкастер дал им свое благословение, и даже больше чем просто благословение.

А тем временем Мортимер, собрав в замке своих приближенных — канцлера Бергерша, Симона Берифорда, Джона Монмута, Джона Виньярда, Хьюга Тарплингтона и Мальтраверса, — обсуждал с ними, как и какими средствами пресечь новый заговор.

Епископ Бергерш уже почуял, откуда дует ветер, и не столь ревностно служил своему господину: с высоты своего священнослужительского сана он призывал к соглашению. В свое время он столь же удачно сумел переметнуться из партии Диспенсера в партию Мортимера.

— Довольно арестов, судов и крови, — увещевал он. — Быть может, посулив кому деньги, кому земельные угодья, кому почести…

Мортимер взглядом прервал поток епископского красноречия, а взгляд Мортимера из-под ровной линии век, из-под нависших тяжелых бровей до сих пор легко вгонял человека в трепет — епископ Линкольнский замолк.

А в этот же самый час лорду Монтегю удалось побеседовать с глазу на глаз с Эдуардом III.

— Молю вас, высокородный государь мой, — начал лорд, — молю вас не сносить долее дерзости и интриги человека, по приказу коего убили вашего отца, казнили вашего дядю и который развратил вашу матушку. Мы поклялись пролить до последней капли всю свою кровь, дабы вызволить вас. Мы готовы ко всему, но надо действовать не мешкая, а для этого мы должны, и в немалом числе, проникнуть внутрь замка, где никому из нас не отведены покои.

Юный король задумался.

— Вот теперь, Уильям, — сказал он, — я точно знаю, что крепко люблю вас.

Он не сказал «знаю, что вы крепко любите меня». Слова эти выразили всю суть истинно королевской души: он, Эдуард, не сомневался,

что ему служат верно, главное для него было сознательно отдать человеку свое доверие и свою привязанность.

— Так вот, — продолжал он, — адресуйтесь к констеблю, коменданту замка сэру Уильяму Иленду, от моего имени и просите его повиноваться вам во всем, чего бы вы от него ни потребовали, и скажите, что таков приказ короля.

— Тогда, милорд, да хранит вас Господь, — ответил Монтегю.

Теперь все зависело от этого самого Иленда, и от того, выполнит ли он приказ, и от того, насколько он предан королю, — буде он предаст огласке планы Монтегю, заговорщики сложат головы, а возможно, вместе с ними погибнет и сам король. Но сэр Эдуард Боухен ручался за него, хотя бы потому, что Мортимер с первого же дня прибытия в Ноттингем обращается с Илендом как со слугой.

Уильям Иленд и впрямь не обманул надежд Монтегю, обещал повиноваться его приказам в той мере, в какой сможет, и поклялся свято хранить тайну.

— А раз вы на нашей стороне, — сказал ему Монтегю, — вручите-ка мне на сегодняшний вечер ключи от замка…

— Да было бы вам известно, милорд, — прервал его констебль, — что все ворота и двери каждый вечер запираются на ключ, после чего я вручаю королеве-матери связку ключей, а она прячет их себе под подушку и отдает обратно только утром. Да будет вам также известно, что прежнюю стражу сменили и теперь замок охраняют четыреста стражников из личного войска лорда Мортимера.

Монтегю понял, что все надежды его рушатся.

— Но я знаю, — продолжал Иленд, — тайный ход, который ведет из деревни к самому замку. Я имею в виду подземный ход — его вырыли по приказу саксонских королей, которые воспользовались этим ходом, чтобы скрыться от датчан, когда те опустошали страну. Об этом подземном ходе не знает никто: ни королева Изабелла, ни лорд Мортимер, ни их люди — зачем бы я стал им его показывать! Он ведет в самую, так сказать, сердцевину замка, в башню, а оттуда можно незаметно проникнуть и в покои.

— А как же мы найдем в деревне этот ход?

— Найдете. Ведь я буду с вами, милорд.

Лорд Монтегю успел наспех перекинуться десятком слов с королем; потом, уже к вечеру, вместе с братьями Боухен, прочими заговорщи-

ками и констеблем Илендом он вскочил на коня и выехал за пределы города, сообщая всем встречным, что в Ноттингеме он, мол, чувствует себя в последнее время как-то не слишком спокойно.

Об этом спешном отъезде, похожем скорее на бегство, тут же донесли Мортимеру.

— Знают, что их заговор открыт, и сами себя выдали. Завтра же прикажу всех их схватить, и пусть они предстанут перед парламентом. Итак, душенька, у нас нынче будет спокойная ночь, — добавил он, обращаясь к королеве.

В полночь в покоях по ту сторону башни, в опочивальне, где стены были выложены из гранита, освещенной лишь слабым светом ночника, мадам Филиппа допытывалась у мужа, почему он не ложится, а сидит одетый на краю постели с коротким мечом на боку, не сняв даже кольчуги и плаща.

— Нынче ночью могут произойти важные события, — ответил Эдуард.

Личико Филиппы хранило обычное спокойно-безмятежное выражение, однако сердце бешено заколотилось в груди: ей припомнилась их ночная беседа в Йорке…

— Неужели, по-вашему, он ищет вашей гибели и велит вас убить?

— И это тоже возможно.

В соседних покоях послышался шепот, и Готье де Мони, которому король поручил стоять на страже перед опочивальней, осторожно постучал в дверь. Эдуард открыл ему.

— Констебль здесь, милорд, и все прочие тоже здесь.

Эдуард запечатлел поцелуй на челе своей супруги, но Филиппа, схватив его пальцы, сильно сжала их в своих руках и шепнула:

— Да хранит тебя Бог!

— Прикажете следовать за вами, милорд? — осведомился Готье де Мони.

— Запри хорошенько за мной дверь и охраняй мадам Филиппу.

В поросшем травой дворе, перед донжоном, у колодца, ждали заговорщики, казавшиеся при жидком свете луны призраками, вооруженными мечами и секирами.

Молодые сторонники короля обвязали себе ноги тряпками, но король не позаботился сделать то же самое, и его шаги гулко отдавались в безмолвных, длинных, выложенных плитами коридорах. Единственный факел освещал это молчаливое шествие.

И если кто из слуг, спавших вповалку на полу,

приподымал спросонья голову, а за ним просыпались и другие, им шептали на ухо: «Король идет!» — и они не смели подняться с места, сжимались в комок, и, хотя их встревожила ночная прогулка сеньоров, обвешанных оружием, они не слишком задавались вопросом, куда и почему идут эти люди.

Только перед апартаментами королевы Изабеллы произошла стычка — шестеро оруженосцев, назначенных в караул лично Мортимером, отказались пропустить кого бы то ни было, хотя приказ открыть дал сам король. Схватка была недолгой, ранен был один лишь Джон Невил Хорнеби — ему проткнули пикой мякоть руки; обезоруженные и связанные по рукам и ногам караульные лежали у стен; все дело это длилось не более минуты, но за массивной дверью послышался крик королевы-матери, потом стук щеколды.

— Лорд Мортимер, выйдите! — приказал Эдуард III. — Ваш король пришел взять вас под стражу.

Говорил он сильным, чистым голосом, словно отдавал приказы на поле боя, тем самым голосом, которому внимали жители Йорка в день его бракосочетания.

В ответ раздался звон шпаги, с силой выхваченной из ножен.

— Мортимер, выходите! — повторил король.

Он подождал еще несколько секунд, потом неожиданно для всех выхватил из рук стоявшего рядом с ним молодого лорда секиру, размахнулся и изо всех сил ударил по створке двери.

Этот удар секиры стал как бы утверждением столь долго чаемого королевского могущества и разом положил конец всем его унижениям, всем препонам, чинившимся против его волеизъявлений; он знаменовал также свободу для парламента, возвращал честь лордам и восстанавливал в королевстве законность. Даже не в торжественный день коронации началось правление Эдуарда III, а здесь, в ту самую минуту, когда блестящая сталь вонзилась в толщу мореного дуба и этот удар, этот страшный треск дерева разошелся эхом под сводами Ноттингемского замка.

Вслед за первым обрушились на дверь с десяток других секир, и вскоре створка не выдержала напора.

Роджер Мортимер стоял посреди комнаты, он успел натянуть штаны; белоснежная рубаха была распахнута на груди, а в руке он сжимал шпагу.

Из-под густых бровей недобро блистали глаза серо-кремневого цвета, седеющие волосы небрежно падали на резко высеченное лицо — в этом человеке еще были красота и сила.

Стоявшая рядом с ним Изабелла с мокрым от слез лицом дрожала от холода и страха; голые ступни ее тонких ног выделялись на темных плитах пола двумя светлыми пятнами. За открытой в соседнюю опочивальню дверью была видна неубранная постель.

Первым делом Эдуард бросил взгляд на чрево матери-королевы, заметно округлившееся, что еще подчеркивало ночное одеяние. Никогда не простит Эдуард III Роджеру Мортимеру того, что он сделал с его матерью, которая жила в сыновней памяти красавицей, отважно и смело боровшейся против всех недругов, пусть жестокой в минуты торжества своего, зато всегда и прежде всего истинной королевой, а теперь он превратил ее в обычную заплаканную женщину, у которой уводят самца, обрюхатившего ее, и которая ломает руки и стонет:

— Сын мой, сын мой возлюбленный, заклинаю вас, пощадите нашего милого Мортимера!

И она решительно встала между сыном и любовником.

— А он пощадил вашу честь? — спросил Эдуард.

— Не терзайте его тело! — вскричала Изабелла. — Он доблестный рыцарь, он наш возлюбленный друг; вспомните, что только благодаря ему вы взошли на престол!..

Заговорщики в нерешительности переглянулись. Неужели завяжется вот сейчас схватка и можно ли прикончить Мортимера на глазах у королевы?

— Ему уже заплачено с лихвой за его старания приблизить час моего правления. Возьмите его, лорды, — приказал король, отстранив Изабеллу и знаком подзывая своих сторонников.

Монтегю, оба Боухена, лорд Моулинс и Джон Невил, из руки которого струилась кровь, чего он сгоряча даже и не заметил, окружили Мортимера. Две секиры были занесены сзади над его головой, три клинка касались его боков, чья-то рука сжала его запястье, и шпага, звеня, упала на пол. Его грубо подтолкнули к дверям. Уже на пороге Мортимер обернулся.

— Прощайте, Изабелла, прощайте, моя королева, — крикнул он, — мы крепко любили друг друга.

И это была истинная правда. Самая великая,

самая гибельная любовь этого века, начавшаяся на глазах всей Европы как рыцарский подвиг и взбаламутившая потом не только все королевские дворы Европы, но и папский престол, — эта страсть, фрахтовавшая флоты, снаряжавшая войска, завершилась тиранической и кровавой властью, а кончилась она под секирами при чахлом свете чадящего факела. Роджера Мортимера, восьмого барона Уигморского, бывшего верховного судью Ирландии, первого графа Валлийской марки, бросили в узилище, а его царственная подруга, босоногая, в одной рубашке, рухнула в изножье постели.

Еще до того, как занялся рассвет, схватили главных приспешников Мортимера — Берифорда, Девирилла, Виньярда и других; снарядили погоню за сенешалем Мальтраверсом, за Герни и Оглом, за этими тремя убийцами короля Эдуарда II, которым удалось бежать сразу же после ночного переполоха.

А наутро весь Ноттингем высыпал на улицы, и люди вопили от радости, когда мимо проезжала под охраной стражников простая повозка — наибольший позор для рыцаря и дворянина, — а на ней закованный в цепи Мортимер. Свесив тяжелую башку на плечо, Кривая Шея стоял в

первых рядах зрителей и, хотя вряд ли различал подслеповатыми глазами даже повозку, приплясывал на месте от радости и бросал в воздух свою шапку.

— Куда его везут? — спрашивали друг друга ноттингемцы.

— В Тауэр.

Глава III
Путь в Коммон-Гелоуз

Говорят, что вороны, облюбовавшие себе Тауэр, живут до ста лет, а то и дольше. Тот же самый огромный ворон, зоркий и осторожный, тот самый, что семь лет назад все пытался исхитриться выклевать глаза узнику, вновь торчал с утра до вечера у решетки тюремного окошка.

Неужели Мортимера в насмешку заперли в тот же самый каменный мешок, что и в прошлый раз? В тот самый, где держал его под замком целых семнадцать месяцев король-отец и куда кинул его теперь сын. Не раз Мортимеру приходило в голову, что, видно, в самой его натуре, во всей его личности есть что-то ненавистное для королевской власти, а возможно, и делающее эту королевскую власть ненавистной ему. Так

или иначе, король и Мортимер не могли мирно ужиться в одной стране, и один из них неизбежно должен был исчезнуть. Он уничтожил короля, теперь другой король уничтожит его. Нет большей беды, как получить от рождения душу властелина, когда тебе не дано царствовать.

Сейчас у Мортимера не было ни надежды, ни даже желания бежать отсюда. После ночных событий в Ноттингеме он уже почитал себя в сонме усопших. Для таких людей, как он, коими движет лишь гордость и чьи самые непомерные притязания должны исполняться немедленно, падение с огромной высоты было равносильно смерти. Подлинный Мортимер отныне и навеки войдет в анналы английской истории, а в узилище Тауэра заключена лишь его телесная, но уже безразличная ко всему оболочка.

Странное дело, но эта оболочка, оказывается, обрела прежние свои тюремные привычки. Совсем так, как, возвращаясь взрослым через двадцать лет в тот дом, где ты жил ребенком, колено, повинуясь скорее мускульной, нежели обычной, памяти, само нажимает на створку двери, которая в свое время открывалась туго, или нога делает более крупный шаг, чтобы не попасть на край стертой подошвами ступени,

так вот и оболочка Мортимера с первой минуты вспомнила свои тогдашние движения. Ночью, ни за что не зацепившись и ни на что не натолкнувшись, он легко, без труда добрался до оконца; войдя в темницу, первым делом переставил на прежнее место табуретку; узнал все знакомые шумы: побудку караула, благовест колоколов в часовне Святого Петра, — и все это делалось само собой, без малейшего напряжения памяти. Он знал час, когда ему принесут еду. Пища теперь была разве чуть получше того месива, которым кормили его во времена тогдашнего коменданта Тауэра, мерзавца Сигрейва.

Коль скоро брадобрей Огл в свое время служил посредником между Мортимером и теми, кто подготовил его бегство, ему теперь вообще не присылали цирюльника. За этот месяц успела отрасти бородка. Но, за исключением этой детали, все было точно таким же, как и в первый раз, даже тот же самый ворон, которого он тогда прозвал Эдуардом и который искусно притворялся, что дремлет, и только время от времени открывал круглый свой глаз и просовывал клюв между прутьями решетки.

Ах, нет! Еще чего-то недоставало — недоставало печального бормотания лорда Мортимера Чир-

ка, медленно угасавшего на деревянных нарах, служивших ему ложем… Теперь-то Роджер Мортимер понимал, почему его дядя тогда отказался бежать вместе с ним. Вовсе не от страха перед рискованным предприятием, вовсе не от физической слабости: у человека всегда найдется достаточно силы, чтобы пройти несколько шагов, если даже в конце пути тебе предстоит погибнуть. Нет, иное чувство удержало лорда Чирка: он понимал, что жизнь его прожита, и предпочитал ждать конца в своем уголку.

А Роджеру Мортимеру было всего сорок пять, и смерть не по своему почину придет за ним. Когда взгляд его падал на середину Тауэрского луга, где обычно ставили плаху, его окатывала смертная тоска. Но человек привыкает к близости смерти, и достигается эта привычка чередой простейших мыслей, и они-то в конце концов приносят приятие, пусть печальное, но приятие. Мортимер твердил себе, что ворон переживет его, и еще многие десятки узников увидят этого притворщика, и крысы его переживут, жирные крысы с мокрой шерсткой, покидающие к вечеру илистые берега Темзы и разгуливающие по каменным плитам крепости; переживут даже блохи, успевшие забраться к нему под рубаху, и

они в день казни изловчатся перепрыгнуть на палача и останутся здравы и невредимы. Одна жизнь исчезает с нашей земли, а все другие продолжаются. Нет на свете ничего обычнее смерти.

Иной раз он думал о своей жене, леди Джейн, думал без тоски и раскаяния. Достигнув высшей власти, он держал ее на расстоянии, так что вряд ли теперь ее тронут. И без сомнения, оставят ее личное достояние. А сыновья? Конечно, на сыновей, так сказать, по наследству падет та ненависть, которую вызывал он, но коль скоро маловероятно, чтобы они выросли такими же, как он, безудержно доблестными и столь же высоких притязаний, так ли уж важно, будут ли они графами Валлийской марки или не будут? Великий Мортимер — это он, вернее, тот Мортимер, каким он был. Нет, он не скорбел ни по жене, ни по сыновьям.

А королева?.. И королева Изабелла тоже умрет, рано или поздно, и в тот самый день уже не останется никого на земле, кто бы знал его подлинную сущность. Только когда он думал об Изабелле, он чувствовал, что порваны еще не все связи с этим миром. Это правда, он умер в Ноттингеме, но память об этой любви все еще жива, ну вроде как волосы, которые упорно продолжают расти, когда

уже перестало биться сердце. Вот единственные нити, которые обрубит топор палача. Когда его голову отделят от тела, убьют память о руках королевы, нежно обнимавших эту шею.

Как обычно по утрам, Мортимер спросил тюремщика, какое нынче число. Нынче оказалось 29 ноября, значит должен заседать парламент и узник предстанет перед судом. Слишком хорошо знал он малодушие собравшихся и понимал, что ни одна душа не выступит в его защиту. Куда там, палата лордов и палата общин будут рьяно ему мстить за тот страх, в котором он их так долго держал.

Приговор был уже вынесен в Ноттингеме. И сейчас это не законное слушание дела, которому хочешь не хочешь приходится подчиняться, а простая, но необходимая формальность, простая видимость, совсем такая же, как те смертные приговоры, которые некогда выносили по его, Мортимера, приказу.

Двадцатилетнему государю, которому не терпелось управлять государством, и молодым лордам, которым не терпелось стать королевскими фаворитами, необходимо было его уничтожить, дабы властвовать спокойно.

«Моя смерть для этого мальчика Эдуарда

— необходимое дополнение к церемонии коронования... А ведь и они будут делать то же, что я, отнюдь не лучше, и точно так же не будут удовлетворять требования народа. Коли уж мне не удалось добиться успеха, так кто же его добьется?»

Как вести себя перед этим лжесудилищем? Молить о милосердии, как граф Кент? Признать свою вину, выпрашивать пощады, дать обет покорности и босоногому, с вервием на шее во всеуслышание раскаиваться в содеянном? Нет, для того чтобы разыграть эту комедию отречения, надо слишком любить жизнь! «Я не совершил никакой ошибки. Я был просто сильнее других до тех пор, пока не появились более сильные и не свалили меня. Вот и все».

Значит, кинуть оскорбление прямо им в лицо? В последний раз бросить вызов этому парламенту, этому сборищу баранов, и крикнуть: «Да, я поднял меч против короля Эдуарда Второго. А кто из вас, милорды, нынешние мои судьи, кто не последовал тогда за мной? Мне удалось совершить побег из Тауэра. Скажите мне, князья церкви, нынешние мои судьи, кто из вас не подал мне тогда руку помощи, кто не оплачивал щедро золотом мое освобождение?.. Я спас королеву Иза-

беллу, которую готовы были убить фавориты ее супруга; я повел на бой войска, я снарядил флот и тем избавил вас от Диспенсеров; я низложил ненавистного вам короля, я короновал его сына, который ныне судит меня. Милорды, графы, бароны, епископы и вы, мессиры из нижней палаты, кто из вас не воздавал мне хвалу за все эти деяния и даже за ту любовь, которой удостоила меня королева? Вам не в чем меня упрекнуть, разве в том, что я действовал вместо вас, но у вас слишком острые зубы — вы раздерете меня в клочья, дабы смертью одного стереть в памяти то, что было делом всех…»

Или, может быть, просто молчать… Отказаться отвечать на вопросы, отказаться от защиты, не тратить впустую сил, чтобы постараться обелить себя. Пусть воют псы, забывшие его хлыст… «Но до чего же я был прав, держа их в страхе!»

От этих мыслей его оторвал шум шагов. «Вот оно», — подумалось ему.

Распахнулась дверь темницы, вошли стражники и тут же расступились, давая дорогу брату покойного графа Кента, графу Норфолку, маршалу Англии, за которым шествовали лорд-мэр и лондонские шерифы, а вслед за ними ввалилась целая толпа — представители палаты лордов и

палаты общин. Пришедшие не могли уместиться в крошечной каморке, и в дверь видны были головы теснившихся в коридоре людей.

— Милорд, — начал граф Норфолк, — я явился сюда по приказу короля прочесть вам приговор, вынесенный позавчера на совместном заседании парламента.

Присутствующие вздрогнули от удивления, заметив, что губы Мортимера при этих словах сморщила улыбка. Спокойно-презрительная улыбка, но не к ним была обращена эта улыбка, а к самому себе. Суд состоялся уже два дня назад без вызова обвиняемого, без допроса, без защиты… а он-то, он-то минуту назад тревожно решал, как ему вести себя перед своими обвинителями. Зря тревожился! Ему преподали последний урок; обошелся же он сам в свое время без всяких юридических формальностей, посылая на смерть графа Арундела, графа Кента, Диспенсеров.

Королевский коронер начал читать приговор:

– *«Поелику сразу же после коронования нашего владыки короля парламентом, собравшимся в Лондоне, было решено, что Совет королевский состоять будет из пятерых епископов, двух графов и пяти баронов, и что все решения в присутствии перечисленных здесь лиц принимаются, и что*

вышеуказанный Роджер Мортимер, поправ волю парламента, присвоил себе всю власть в государстве и самовольно управлял им, по собственному своему разумению смещал и назначал должностных лиц при королевском дворе и во всем государстве, дабы поставить кого угодно ему было из собственных друзей[19]*...»*

Роджер Мортимер стоял, прислонясь к стене и схватившись правой рукой за прутья решетки; он смотрел на Тауэрский луг, и казалось, меньше всего его занимало чтение приговора.

— *«...поелику отец нашего короля по решению пэров королевства помещен был в замке Кенилворт, дабы пребывать там в полном уважении, кое подобает особам королевской крови, и по приказу вышеупомянутого Роджера ему отказано было во всем, что он просил, и его перевезли в замок Беркли, где по приказу упомянутого выше Роджера был он изменнически предан недостойной смерти через убийство...»*

— Убирайся, чертова птица! — воскликнул вдруг Мортимер к великому удивлению присутствующих, не заметивших, что хитрюга ворон бочком подобрался к решетке и с силой долбанул

---

[19] Примечания: 19

...кого угодно ему было из собственных друзей... — Оригинал приговора Роджеру Мортимеру был написан по-французски.

клювом по пальцам узника.

– *«…поелику, вопреки королевскому ордонансу, скрепленному большой королевской печатью, по коему воспрещается входить в зал заседаний парламента в Солсбери при оружии, дабы не быть обвиненным в злоупотреблении своей властью, вышеупомянутый Роджер тем не менее злокозненно ввел с собой вооруженную свиту свою, презрев тем самым королевский ордонанс…»*

Списку злодеяний, громоздившихся одно на другое, казалось, не будет конца. Мортимеру ставили в вину то, что он повел свое войско против графа Ланкастера; то, что он окружил юного короля своими соглядатаями, в силу чего тот *«жил скорее как узник, нежели как король»*; что он присвоил себе огромные земельные угодья, принадлежавшие короне, а также требовал с непокорных баронов выкупы, разорил их и изгнал; подстроил ловушку графу Кенту, дабы тот поверил, что отец короля якобы жив, *«что и подвигло вышеназванного графа проверить истину сего самыми благородными и достойными средствами»*; что узурпировал королевские полномочия, дабы судить графа Кента в парламенте и добиться вынесения ему смертного приговора; что присвоил себе деньги, отпущенные на

войну в Гаскони, равно как триста тысяч марок, внесенных шотландцами согласно условиям мирного договора; что распоряжался единолично королевской казной так, что король не мог вести образ жизни, положенный ему по рангу. И еще Мортимера обвиняли в том, что он посеял раздор между отцом и матерью короля, *«будучи повинен в том, что королева не пожелала более делить со своим владыкой ложе его, к вящему бесчестию короля и всего королевства»,* и, наконец, в том, что он обесчестил королеву, *«ибо открыто вел себя с ней как всеми признанный любовник…».*

Устремив глаза в потолок и поглаживая бородку, Мортимер вновь улыбнулся: ему только что прочли всю историю его жизни, и она, эта история, пусть даже в этом странном изложении, навсегда войдет в анналы Английского королевства.

– *«…посему король повелел графов, баронов и всех прочих собрать, дабы вынесли они справедливый свой приговор вышеназванному Роджеру Мортимеру; так что члены парламента после обсуждения, исходя из вышесказанного, согласились с тем, что все перечисленные здесь преступления совершены были, явны и известны всему народу, особенно в части своей касательно кончины ко-*

роля в замке Беркли. Посему ими решено было, что вышеназванный Роджер — предатель и враг короля и королевства — будет подвергнут публичному поношению и после повешен…»

Мортимер чуть вздрогнул. Никакой плахи, значит, не будет? До последней минуты жизнь подносит ему неожиданности.

– «…и коль скоро приговор обжалованию не подлежит, равно как и сам вышеназванный Мортимер поступил некогда на судилище обоих Диспенсеров и покойного лорда Эдмунда, графа Кента и дяди короля».

Коронер закончил чтение и свернул листки. Граф Норфолк, брат графа Кента, глядел Мортимеру прямо в глаза. Любопытно, как это сумел Норфолк, который два последних месяца вел себя тише воды ниже травы, вдруг явиться неким мстителем и правдолюбцем! Именно из-за этого взгляда Мортимеру захотелось сказать… о, всего несколько слов… сказать в лицо этому графу и маршалу, а через него и самому королю, его советникам, его лордам, его палатам, его духовенству, всему его народу:

— Когда в Английском королевстве появится человек, способный совершить те деяния, которые вы только что здесь перечислили, вы вновь

покоритесь ему, совсем так, как покорялись мне. Но не думаю, что такой появится скоро… А теперь пора кончать со всем этим. Вы прямо сейчас меня и повезете?

Казалось, будто он все еще отдает приказания и сам распоряжается церемонией собственной казни.

— Да, милорд, сейчас, — ответил граф Норфолк. — Мы повезем вас на Коммон-Гелоуз[20].

На Коммон-Гелоуз, на эту виселицу, где вздергивают воришек, разбойников, фальшивомонетчиков, торговцев живым товаром, на эту виселицу, предназначенную для последнего сброда.

— Тогда идемте! — сказал Мортимер.

— Но так как вас повезут на салазках, сначала надо раздеться.

— Ну что же, раздевайте.

С него сорвали всю одежду, оставили только какую-то тряпку опоясать чресла. Так он вышел, обнаженный, среди своего эскорта в теплых

---

[20] Примечания: 20

Мы повезем вас на Коммон-Гелоуз. — Лондонская виселица для простонародья (английский Монфокон), где казнили большинство приговоренных по уголовному праву, располагалась на краю лесов Гайд-парка, в месте, называемом Тайберн, которое сегодня занимает триумфальная арка Марбл-Арч. Чтобы добраться туда от Тауэра, надо было пересечь весь Лондон и выйти из города. Эта виселица использовалась до середины XVIII в. Ее былое местоположение обозначает скромная табличка.

одеждах под моросящий ноябрьский дождик. Светлым пятном выделялась его высокая мускулистая фигура на фоне темных одеяний шерифов и железных кольчуг стражи.

Салазки для перевозки преступников уже ждали их на лугу; сбиты они были из плохо обструганных шершавых планок, поставленных на полозья и прикрепленных веревкой к сбруе незавидной лошадки.

Все с той же презрительной усмешкой оглядел Мортимер свой позорный экипаж. Сколько потрачено усилий, сколько стараний, лишь бы сильнее его унизить. Он улегся на салазки без посторонней помощи, руки и ноги его привязали к деревянным брусьям; потом лошадка тронулась шагом, полозья бесшумно заскользили по траве Тауэрского луга, потом заскрипели, завизжали по каменистой дороге.

Маршал Англии, лорд-мэр, представители парламента, комендант Тауэра шли следом; солдаты с пиками на плече расчищали путь и охраняли кортеж.

Кортеж двинулся из крепости через ворота Предателей, у которых уже собрались жадные до зрелищ, злобно вопящие зеваки, и этой горстке суждено будет превратиться по дороге в несмет-

ные толпы любопытствующих.

Когда ты привык взирать на людское сборище с седла верхового коня или с почетного возвышения, как-то странно глядеть на ту же толпу снизу, чуть ли не с самой земли, видеть только эти подбородки, ходящие взад-вперед, все эти рты, искривленные в крике, тысячи раздутых гневом ноздрей. Если смотреть на толпу вот так, снизу, нехорошие получаются лица, что мужские, что женские, — нелепо перекошенные злые физиономии, страшные, наподобие водостоков пасти, которые не бросаются в глаза, когда ты на ногах. И не будь этого секущего прямо в глаза нудного дождика, Мортимер, которого трясло и подбрасывало на салазках, яснее бы мог различить эти изуродованные ненавистью лица.

Вдруг что-то вязкое и мокрое ударило его в щеку, стекло на бородку; Мортимер догадался — плевок! И тут же острая, пронзительная боль волной прошла по всему телу: чья-то злобная рука ловко швырнула камень прямо ему в пах. Не будь стражи, вооруженной пиками, толпа, хмелея от собственного своего воя, растерзала бы его на месте.

Так он и приближался к Коммон-Гелоуз, словно бы под плотным сводом ругани и проклятий, — и

это он! Он, который шесть лет назад слышал на всех дорогах Англии одни лишь приветственные клики! У толпы есть как бы два голоса: один для выражения ненависти, другой для выражения ликования; не чудо ли, что из тысячи глоток, вопящих разом, могут вылетать такие непохожие друг на друга звуки.

И вдруг тишина. Стало быть, уже добрались до виселицы? Нет-нет, просто въехали в Вестминстер и медленно провезли салазки под окнами, у которых сгрудились все члены парламента. И они молча смотрели на того, кто многие месяцы гнул их, как хотел, и кого сейчас волочили по плитам, словно срубленный дуб.

Дождь заливал глаза, но Мортимер искал взгляд, всего один-единственный взгляд. Быть может, изощренная жестокость додумалась до того, чтобы обязать королеву Изабеллу присутствовать при этой пытке? Но он не увидел ничего.

Затем кортеж двинулся к Тайберну. У виселицы осужденного развязали, дали на скорую руку отпущение грехов. И в последний раз Мортимер с высоты эшафота посмотрел на толпу сверху вниз. Смерть не принесла ему мук, так как палач, накинув ему петлю на шею, резко ее дернул и сломал ему позвонки.

В тот день королева Изабелла находилась в Виндзоре, где медленно оправлялась от двух потерь — своего любовника и ребенка, которого она понесла от него.

Король Эдуард велел передать матери, что они будут вместе встречать Рождество.

Глава IV
Дурной день

Сидя под окошком в доме Бонфия, Беатриса д'Ирсон не отрывала глаз от улицы Моконсей, которую с самого утра сек надоедливый дождь. Вот уже несколько часов поджидала она Робера Артуа, обещавшего заглянуть к вечеру. Но Робер не способен был выполнить ни одного своего обещания, будь то пустяковое, будь то важное, и Беатриса не раз успела обозвать себя дурой за то, что еще до сих пор верит ему.

Если женщина ждет мужчину, то мужчина этот повинен во всех смертных грехах. Разве не обещал ей Робер еще год назад поселить ее у себя в отеле, сделать придворной дамой? В конце концов, ничуть он не лучше своей покойной тетушки — все Артуа одним миром мазаны. Неблагодарные твари! Тут бьешься из последних сил, лишь

бы им угодить: бегаешь по торговкам травами и ворожеям; из кожи лезешь вон ради их выгоды; рискуешь попасть на виселицу или взойти на костер… потому что ведь не его же светлость Робера бросят в темницу, если дознаются, что Беатриса подмешала в настойку мадам Маго мышьяку, а в настойку Жанне Вдове добавила ртути. «Да я ее и знать не знаю, эту женщину! — заявит он. — Она уверяет, что действовала по моему приказу? Ложь! Жила она у моей тетки, а не у меня. Просто выдумывает невесть что, лишь бы спасти свою жизнь. А ну-ка колесуйте ее!» А к чьим словам прислушаются судьи, к словам принца Франции, королевского зятя, или к словам безвестной племянницы епископа, семейство которой сейчас даже не в фаворе?!

«И ради чего я все это натворила? — размышляла Беатриса. — Для того чтобы сидеть и ждать? Сидеть тут в одиночестве и ждать, когда его светлость Робер соблаговолит раз в неделю сюда заглянуть! Сказал, что придет сразу после вечерни, а уже к вечерне давно отзвонили. Должно быть, кутит с дружками, потчует тройку баронов, расписывает великие свои подвиги, болтает о государственных делах, о своей тяжбе, а заодно щиплет служанок. Даже какая-то Дивион обедает

теперь с ним за одним столом, я-то знаю! А я сижу здесь и любуюсь на лужи да на дождь! И придет он, когда уже совсем стемнеет, отяжелевший, багровый весь, срыгивающий от сытости; бросит мне на ходу две-три пошлые шуточки, завалится в постель, проспится с часок — и домой. Хоть бы только пришел...»

Беатриса скучала теперь даже сильнее, чем в Конфлане в последние месяцы жизни Маго. Как узлом затянула ее любовь к Роберу. Она-то думала, что загнала гиганта в западню, а оказывается, это он взял над ней верх. Унизительно вымаливаемая любовь перерастала в глухую злобу. Ждать, вечно ждать! И не сметь даже выйти на улицу, заглянуть с подружкой в таверну, где, возможно, и выпало бы какое-нибудь, пусть мимолетное, развлечение, — куда там! Робер мог явиться как раз тогда, когда ее не будет. Больше того, она знала, что по его приказу за ней следят.

Беатриса отлично понимала, что Робер старается отделаться от нее и видится он с ней просто по обязанности, как с сообщницей, которую опасно выводить из себя. За последние две недели он только раз, да и то небрежно, приласкал ее.

— Но не всегда ты останешься в выигрыше, ваша светлость, — прошипела она сквозь зубы. Раз

Беатриса не сумела привязать к себе своего любовника, она начинала в душе ненавидеть его.

Мысленно она перебирала составы самых надежных приворотных зелий: «Возьмите своей крови по весне в пятницу, поставьте сушить ее в печь в маленьком горшочке, добавив два заячьих яичка и печень голубки; все это разотрите в мелкий порошок и дайте проглотить той особе, что себе выбрали; и ежели с первого раза действия не возымеет, повторите то же самое до трех раз». Или вот еще: «В пятницу поутру отправляйтесь до восхода солнца во фруктовый сад, сорвите самое лучшее, какое только найдете, яблоко, потом напишите вашей кровью имя свое и фамилию на маленьком листочке белой бумаги, а ниже строкой — имя и фамилию той особы, любови коей жаждете, и попытайтесь также заполучить три его волоска, смешайте их с тремя вашими волосками и перевяжите ими листок, на коем вы писали вашей кровью; потом расколите яблоко пополам, косточки выньте и на место их вложите записочку, перевязанную волосами; и двумя завостренными палочками из веточки зеленого мирта плотно соедините вновь две половинки яблока, хорошенько подсушите его в печи, так, чтобы получилось оно совсем твердое и ушла бы

из него вся влага, так, как сушат яблоки к Великому посту; затем, обернутый листьями лавра и мирта, положите плод под подушку постели, где спит возлюбленная вами особа, но так, чтобы та ничего не приметила, и в скором времени та особа выкажет вам свое расположение сердечное».

Тщетные старания. Яблоки, сорванные в пятницу, не помогали. И хотя Беатриса считала себя непревзойденным мастером ворожбы, как видно, графа Артуа колдовством не пронять. Не дьявол он, увы, вовсе не дьявол, хоть она и утверждала обратное, надеясь его покорить.

Надеялась она и на то, что он ее обрюхатит. Робер вроде бы любит своих сыновей — возможно, из гордыни, но любит. Во всяком случае, это единственные существа на всем свете, о которых он говорит даже с нежностью. Ну а тут появится незаконнорожденный… Да к тому же это прекрасное оружие в руках Беатрисы — показать ему свой припухший живот и заявить: «Я жду ребенка от его светлости Робера…» Но то ли она в прошлом что-то повредила себе, то ли дьявол создал ее такой, что не может она понести, — значит, и эта надежда тоже рухнула!.. И не осталось Беатрисе д'Ирсон, бывшей придворной даме графини Маго, ничего, совсем ничего, кроме как

ждать, любоваться на этот дождь да еще мечтать об отмщении…

В тот самый час, когда добрые обыватели уже улеглись в постели, явился наконец Робер Артуа, нахмуренный, раздраженно почесывающий большим пальцем щетину бороды. Мельком взглянул на Беатрису, которая нарочно для него надела новое платье, плеснул себе в глотку гипокраса.

— Вино выдохлось, — буркнул он с гримасой и плюхнулся на деревянное сиденье, печально скрипнувшее под его тяжестью.

А как же вину не потерять свой аромат? Ведь оно уже четыре часа зря стоит в кувшине!

— Я думала, твоя светлость, ты раньше придешь.

— Еще чего! Меня задержали важные дела.

— И вчера задержали, и позавчера тоже…

— Да возьми ты в толк, не могу я среди бела дня являться сюда, особенно сейчас, когда мне необходимо быть сугубо осторожным.

— Хорошенькое оправдание! Тогда и не говори, что ты, мол, придешь днем, если можешь приходить лишь ночью. Правда, ночь принадлежит графине, твоей жене…

Робер досадливо пожал плечами:

— Ты же отлично знаешь, что я ее больше пальцем не трогаю.

— Все мужья говорят то же своим подружкам, начиная с самого первого вельможи в государстве и кончая самым последним сапожником… и все врут на один лад. Хотела бы я видеть, так ли уж ласково смотрела бы на тебя мадам Бомон, так ли уж мило себя с тобой бы вела, если ты никогда не ложишься в ее постель… Целыми днями его светлость заседает в Малом совете, если, конечно, король держит совет с ранней зорьки до позднего вечера. То его светлость изволит охотиться… то его светлость изволит собираться на турнир… то его светлость изволит посещать свои владения в Конше!

— Хватит! — загремел Робер, хлопнув ладонью о край стола. — У меня сейчас другие заботы в голове, и не желаю я слушать бабские вздоры. Я сегодня выступал с прошением перед королевской палатой.

И впрямь, нынче было четырнадцатое, и именно в этот день Филипп VI приказал начать тяжбу Робера против Маго Артуа. Беатрисе это было известно. Робер говорил ей об этом в свое время, но, ослепленная ревностью, она забыла обо всем на свете.

— И все прошло так, как ты хотел?

— Не совсем, — признался Робер. — Я представил письма моего деда, и было установлено, что они подлинные.

— Достаточно ли они хороши, по-твоему? — недобро усмехнулась Беатриса. — И кто же это удостоверил?

— Герцогиня Бургундская, она давала письма на проверку.

— А-а, стало быть, герцогиня Бургундская в Париже…

Только один взмах длинных черных ресниц, и вот уже они вновь опустились, притушив внезапный блеск глаз. Поглощенный своими заботами, Робер ничего не заметил.

Постукивая кулаком о кулак, злобно выпятив подбородок, он продолжал:

— Нарочно притащилась вместе с герцогом Эдом. Даже потомство Маго и то ставит мне палки в колеса! Ну почему, почему в жилах этого рода течет такая зловредная кровь?! Всюду, где замешаны бургундские девки, сразу же начинаются распутство, воровство, ложь! И эта старается натравить на меня своего дурачка-мужа, такая же шлюха, как и вся ее родня! Есть у них Бургундия, так нет же, подавай им еще графство Артуа, прямо

из рук у меня его рвут. Да ладно, мое дело правое! Коли понадобится, подыму все графство Артуа, поднял же я его против Филиппа Длинного, отца этой злобной образины. И на сей раз я не на Аррас пойду, а прямо на Дижон…

Он говорил, говорил, но душою был не здесь. Да и гневался он как-то вяло, без обычных воплей, без обычного топота ног, от которого, казалось, вот-вот рухнут стены, не разыгрывал своей любимой комедии ярости, в чем был он непревзойденный искусник. Да и впрямь, для кого ему здесь так стараться?

Любовная привычка разъедает даже самый стойкий характер. Только новизна в любовных отношениях требует от человека душевных усилий, только неведомого опасаешься в душе. Покоряет одна лишь сила, а когда покровы тайны сорваны до конца, все страхи исчезают в ту же минуту. Показываясь перед своим партнером голым, всякий раз теряешь частицу своей власти. Беатриса перестала бояться Робера.

Она даже забыла о том, что когда-то опасалась его, потому что слишком часто видела его спящим, и позволяла теперь вести себя с этим великаном так, как никто еще никогда не осмеливался.

То же самое произошло и с Робером в отношении Беатрисы: в его глазах она превратилась просто в ревнивую, требовательную любовницу, упрекающую его по всякому поводу, как и всякая женщина, тайная связь с которой слишком затянулась. Ее колдовские таланты уже не развлекали Робера. Ворожба и вся эта дьявольщина тоже ему приелись. И если он не слишком доверял Беатрисе, то лишь в силу старинной привычки, раз и навсегда вбив себе в голову, что все бабы лгуньи и обманщицы. А так как она выклянчивала теперь его ласки, он перестал ее бояться, забыв, что бросилась она в его объятия лишь из страсти к предательству. Даже память об их двух общих преступлениях как-то отошла на задний план, и ее затянуло пылью будней, теперь, когда два трупа стали там, под землей, прахом.

И ныне они проходили через самый опасный период их связи, тем более опасный, что оба забыли об опасности. Любовникам полагалось бы знать, что с той самой минуты, когда замолкает страсть, они как бы превращаются в себя прежних, какими были в начале своей связи. Оружие цело, оно лишь отложено в сторону.

Беатриса молчала, не спуская внимательных глаз с Робера, а он, витая мыслью далеко, прики-

дывал в уме, что бы ему такое еще придумать, дабы выиграть тяжбу. И впрямь, как в иные дни не пасть духом, если целых двадцать лет ты трудился не покладая рук, перерыл груды законов, пересмотрел все старинные уложения, не брезговал ни лжесвидетельством, ни подлогами, даже убийством, да еще сам король Франции твой шурин, а просвета все нет и нет!

Но тут Беатриса вдруг опустилась перед Робером на колени, в мгновение ока она стала совсем иной, ласковой, покорной, нежной, словно бы хотела и утешить его, и прильнуть к нему.

— Когда же мой любимый сеньор Робер возьмет меня к себе в отель? Когда сдержит слово и сделает меня придворной дамой у своей графини? Подумай сам, как все хорошо тогда образуется. Всегда при тебе, только кликнешь, когда захочешь, и я приду… буду у тебя под рукой, буду служить тебе, буду печься о тебе больше, чем все твои люди. Ну когда же, когда?

— Когда выиграю тяжбу, — ответил Робер, как отвечал обычно на эти ее назойливые просьбы.

— Если тяжба будет идти таким ходом, как шла доныне, я, пожалуй, к тому времени успею поседеть…

— Ну, если тебе так угодно, когда тяжба будет

кончена… Об этом было говорено, переговорено, а Робер Артуа слово свое держать умеет. Да имей ты терпение, какого, право, черта!

Он уже давно каялся в душе, что в свое время поманил ее этим миражем. И твердо решил теперь покончить с этим раз и навсегда. Беатриса в отеле Бомон?.. Да с ней не оберешься хлопот, неприятностей, только изведешься зря!

Гибким движением поднявшись с пола, Беатриса подошла к камину, протянула руки к тлеющему торфу.

— Терпения, по-моему, мне не занимать стать! — проговорила она, не повысив голоса. — Поначалу ты обещал поселить меня в отеле Бомон после смерти мадам Маго, потом после смерти Жанны Вдовы. Если меня не обманывает память, обе они скончались, и к концу года по ним будет отслужена поминальная месса… Но ты по-прежнему не желаешь ввести меня в свой отель… Отъявленная сука, какая-то Дивион, бывшая любовница моего дядюшки епископа, сварганившая тебе эти замечательные письма, хотя даже слепой разглядит, что все это подделка, и грубейшая, имеет почему-то право есть твой хлеб, да еще кичится, что она, мол, живет при твоем дворе…

— Оставь ты эту Дивион в покое. Ты же отлично знаешь, что я держу эту дуреху и лгунью только осторожности ради.

На губах Беатрисы промелькнула улыбка. Осторожности ради? Осторожничать с какой-то Дивион только потому, что она подделала пяток печатей? А вот ее, Беатрису, которая отправила на тот свет двух особ королевской крови, ее, видно, опасаться нечего, и можно вести себя с ней как неблагодарная скотина.

— Ну ладно, не хнычь, — продолжал Робер. — Ты же имеешь лучшее, что у меня есть. Живи ты у нас в отеле, я бы реже мог оставаться наедине с тобой и приходилось бы нам действовать с оглядкой.

Нет, положительно, его светлость Робер только о себе и думает и смеет еще говорить о своих встречах с Беатрисой как о королевских дарах, которыми, видите ли, благоволит ее удостаивать!

— Ну, раз самое лучшее принадлежит мне, чего же тогда ты медлишь? — растягивая, по своему обыкновению, слова, проговорила Беатриса. — Постель готова.

И она указала на открытую дверь опочивальни.

— Нет, милочка, уволь, мне нужно сейчас снова

заглянуть во дворец и повидать короля с глазу на глаз, чтобы успеть обезвредить герцогиню Бургундскую.

— Ах да, я и забыла, герцогиню Бургундскую… — повторила Беатриса, понимающе кивнув. — Стало быть, мне придется ждать до завтра?

— Увы! Завтра мне придется ехать в Конш и Бомон.

— И надолго?

— Да как сказать. Недели на две.

— Значит, к Новому году не вернешься? — осведомилась Беатриса.

— Нет, прелестная моя кошечка, не вернусь, но все равно подарю тебе премиленькую брошку, усыпанную рубинами, — с таким украшением ты будешь еще прекраснее.

— Не сомневаюсь, что все мои слуги и впрямь будут ослеплены твоим подарком, коль скоро это единственные особы мужского пола, каких я теперь вижу…

Тут бы Роберу и насторожиться. Роковые для него наступили дни. На заседании суда 14 декабря предъявленные Робером документы были единодушно и столь решительно опротестованы герцогом и герцогиней Бургундскими, что Филипп VI, нахмурив брови, с тревогой взглянул на

своего зятя, скривив на сторону свой мясистый нос. Вот в таких обстоятельствах следовало бы быть более внимательным, не оскорблять, особенно в этот день, такую женщину, как Беатриса, не оставлять ее в одиночестве на целых две недели с несытым сердцем и телом. Робер поднялся.

— Дивион тоже отправится с твоей свитой?

— Ну конечно, так решила моя супруга.

Волна ненависти прихлынула к прекрасной груди Беатрисы, и от опущенных ресниц легли на щеки два темных полукружья.

— Что ж, мессир мой Робер, буду ждать тебя, как любящая и верная служанка, — проговорила она и подняла к гиганту просиявшее улыбкой лицо.

Робер машинально чмокнул ее в щеку. Потом положил ей на талию свою тяжелую лапищу, слегка притиснул к себе и с равнодушной миной хлопнул легонько по крупу. Нет, решительно, он больше не желал ее — для Беатрисы это было наигоршим оскорблением.

Глава V
Конш

В этом году зима выдалась сравнительно мягкая.

Еще не рассветало, когда Лорме ле Долуа проскальзывал в спальню Робера и с силой тряс его подушку. Робер зевал с каким-то даже рычанием, как лев в клетке, наспех ополаскивал лицо из тазика, который держал перед ним Жилле де Нель, быстро натягивал охотничий костюм на меху, кожаный снаружи, — единственное одеяние, что так приятно было носить. Потом шел в свою часовню слушать мессу, песнопения отменялись, потому что капеллану приказано было не тянуть с богослужением. Чтение Евангелия и обряд причастия занимали всего несколько минут. Если капеллан пытался затянуть церемонию, Робер нетерпеливо топал ногой; еще не успевали убрать дароносицу, как он уже выходил из часовни.

Затем он проглатывал чашку горячего бульона, съедал два крылышка каплуна или здоровенный кус жирной свинины, запивая все это добрым белым винцом из Мерсо, которое сразу разогревает нутро человека, течет, как расплавленное золото, в глотку и пробуждает к жизни уснувшие за ночь чувства. Завтракал он, не присаживаясь к столу, а стоя. Ох, если бы Бургундия производила только свои вина и не производила бы заодно и своих герцогов! «Ешь поутру — будешь здоров к вечеру», — твердил Робер, дожевывая на ходу

кусок свинины. И вот он уже в седле, с ножом у пояса, с охотничьим рогом через плечо, натянул на уши шапку волчьего меха.

Свора гончих, которых с трудом удерживал на месте хлыст доезжачего, заливалась оголтелым лаем; ржали кони, поджимая круп, ибо утренний морозец покалывал иголочками. На верхушке донжона билось знамя, свидетельствовавшее о том, что сеньор находится в замке. Опускался подъемный мост, и с превеликим гамом все — собаки, кони, слуги, ловчие — обрушивались на мирный городок, скатывались к луже, стоявшей в самой его середине, и устремлялись в поля вслед за гигантом-бароном.

Зимними утрами над лугами Уша пластается белый реденький туман, несущий запахи сосновой коры и дымка. Нет, решительно Робер Артуа обожал свой Конш! Пусть Конш не какой-нибудь роскошный замок, он, конечно, невелик, зато мил сердцу и к тому же со всех сторон окружен лесами.

Когда кавалькада добиралась до назначенного места, где поджидали высланные на разведку охотники, докладывавшие сеньору об обнаруженных ими следах зверя и птицы, уже пробивалось неяркое зимнее солнце, выпивавшее остатки

тумана. Двигались, то и дело сверяясь с заломленными ветками, которыми стремянные отмечали место, где залег зверь.

Леса, подступающие к самому Коншу, что называется, кишели оленями и кабанами. На прекрасно натасканных собак можно было полагаться смело. Если не дать кабану сделать передышку, чтобы помочиться, то можно взять его уже через час, не больше. Зато великолепные красавцы-олени сдавались не столь быстро и умели помучить своих преследователей, мчась по длинным вырубкам, где из-под лошадиных копыт фонтаном взлетала земля, гончие исходили в лае, а царственный зверь, напрягшись всем телом, задыхаясь, вывалив язык, закинув на спину тяжелые свои рога, с размаху бросался в пруд или болото.

Граф Робер охотился не меньше четырех раз на неделе. Здешняя охота отнюдь не походила на королевские охотничьи забавы, когда две сотни сеньоров сбиваются в кучу, где ничего не разглядишь толком и где от страха отстать от кавалькады гоняются не так за дичью, как за королем. А здесь Робер воистину наслаждался в обществе доезжачих, соседей-вассалов, гордившихся честью участвовать в охоте сеньора, и

двоих своих сынков — отец исподволь приучал их к псовой охоте, все тонкости которой обязан знать каждый благородный рыцарь. Робер не мог нарадоваться на сыновей, которые в свои десять и девять лет росли и крепли прямо на глазах; он сам следил за их успехами и за тем, как упражняются они в нанесении ударов копьем по чучелу, как ловко им орудуют. Повезло этим мальчуганам, ничего не скажешь! Сам-то Робер лишился отца слишком рано…

Он самолично приканчивал загнанного зверя — добивал большим охотничьим ножом оленя или копьем — кабана. Сноровку он в этом деле выказывал немалую и с наслаждением чувствовал, как верно нацеленная сталь входит в живую, нежную плоть. И от затравленного оленя, и от вспотевшего ловчего валил пар, но животное, сраженное метким ударом, валилось на землю, а человек как ни в чем не бывало оставался стоять на месте.

На обратном пути, когда охотники наперебой обсуждали все перипетии ловитвы, в деревушках высыпали из хижин вилланы, все в лохмотьях, с обмотанными тряпками ногами, и с восторженно-пугливым видом бросались облобызать сеньорову шпору — добрый старинный обычай,

увы, уже забытый в городах!

Завидев еще издали хозяина, в замке трубили сбор к обеду. В огромной зале, обтянутой гобеленами с гербами Франции, Артуа, Валуа и Константинополя — ибо мадам Бомон происходила по материнской линии от Куртене, — Робер садился за стол и в течение трех часов жадно пожирал все подряд, не забывая при этом задирать и поддразнивать сотрапезников; приказывал позвать старшего повара и, когда тот являлся с деревянной поварешкой, прицепленной к поясу, хвалил его за маринованный кабаний окорок, что так и таял во рту, а то обещал вздернуть нерадивого, потому что горячий перцовый соус, который подавали к оленю, зажаренному целиком на вертеле, получился недостаточно острым.

После чего он ложился ненадолго отдохнуть и вновь спускался в большую залу, где принимал своих прево и сборщиков налогов, проверял счета, давал распоряжения по своим ленным владениям, вершил суд и расправу. Особенно же любил он творить суд, подмечать, как в глазах жалобщиков разгорается огонь ненависти или корысти, вникать в их плутни, лукавство, хитрости, ложь — другими словами, видеть, в сущности, самого себя, только, конечно, в сильно

уменьшенном виде, в каком действовала вся эта мелюзга.

Но больше всего его забавляли истории с участием распутных жен и обманутых мужей.

— А ну ввести сюда рогача, — приказывал он, разваливаясь поудобнее на своем дубовом сиденье.

И задавал такие вольные вопросы, что писцы, скрипя гусиными перьями, давились от смеха, а сами жалобщики багровели от стыда.

Не зря все прево упрекали графа Робера за то, что он имел пагубное пристрастие к ворам, мошенникам, плутующим при игре в зернь, совратителям, грабителям, сводникам и распутникам, налагая на них лишь незначительную кару — конечно, в том случае, если воровство и кража не шли в ущерб ему самому или его добру. Какие-то тайные узы, узы сердца, объединяли его со всеми проходимцами белого света.

Кончены суд и расправа, а там, глядишь, и день клонится к вечеру. В парильне, устроенной в донжоне, в горнице с низким потолком, он садился в чан с теплой водой, настоянной на благовониях и лечебных травах, что прогоняют усталость из всех членов, после чего его, словно лошадь, вытирали насухо соломенным жгутом, приче-

сывали, брили, завивали. А тем временем слуги, виночерпии и пажи уже снова раскладывали на козлы столешницы, готовясь к ужину. И к ужину Робер появлялся в широчайшей, алого бархата, расшитой золотыми лилиями и изображениями замков Артуа, подбитой мехом и доходящей до щиколотки графской мантии.

Мадам де Бомон, та выходила к ужину в платье из лиловой парчи, отделанном беличьими животиками и расшитом золотыми, затейливо переплетенными инициалами «Ж» и «Р», а также серебряными трилистниками.

Ели не так обильно и жирно, как в полдень за обедом, вечером подавали молочный или овощной суп, на второе жареного павлина или лебедя в аппетитном окружении молодых голубей; свежие и уже перебродившие сыры, сладкие пироги и вафли, что особенно подчеркивало вкус выдержанных вин, налитых в кувшины то в форме льва, то в форме заморской птицы.

Накрывали стол на французский манер, другими словами, ставили на двоих — на кавалера и на даму — одну миску, исключение составлял лишь сам хозяин дома. У Робера было собственное, только для него одного блюдо, и действовал он то ложкой, то ножом, а то и прямо всей пятерней,

а руки вытирал о скатерть, как, впрочем, и все остальные сотрапезники. А с мелкой дичью он расправлялся еще проще — перемалывал все подряд: и мясо, и косточки.

Когда ужин подходил к концу, хозяин просил менестреля Ватрике из Кувена взять в руки свою лютню и поведать какую-нибудь поэму собственного сочинения. Мессир Ватрике был родом из Геннегау; он был близок к графу Вильгельму, равно как и к графине, родной сестре мадам де Бомон; свои первые шаги менестрель сделал как раз при их дворе, потом переходил от Валуа к Валуа и наконец попал к Роберу. Каждый старался наперебой переманить его к себе, суля солидное вознаграждение.

— А ну-ка, Ватрике, исполни нам лэ «Парижские дамы»! — потребовал Робер, не успев еще утереть жирных губ.

«Парижские дамы» была его любимая поэма, и хотя он знал ее почти наизусть, но мог слушать чуть ли не каждый день, совсем так, как ребенок требует, чтобы перед сном ему рассказывали все ту же сказку и, не дай бог, не пропустили ни одного слова. Ну кто бы мог сейчас, в такие минуты, поверить, что Робер Артуа способен на все — и на подлог, и на преступление?

В лэ «Парижские дамы» говорилось о веселых похождениях двух горожанок по имени Марг и Марион, одна из коих была супругой, а другая племянницей Адама де Гонесса; утром в праздник Богоявления они собрались к торговцу требухой, да, на свою беду, повстречались с соседкой — дамой Тифень, цирюльницей, и, поддавшись на ее уговоры, отправились все втроем в харчевню, где, если верить городским слухам, хозяин отпускал еду и вино в долг.

И вот наши кумушки уселись в харчевне Майе, хозяин Друэн и впрямь не поскупился, выставил на стол соблазнительнейшие яства: жирного гуся, полную миску чесноку, кларет да горячие сладкие пирожки в придачу.

Когда менестрель доходил до этого места, Робер Артуа уже заранее начинал хохотать. А Ватрике продолжал:

Уж Марг вся потом изошла,
Недаром кубками пила…
И часу, видно, не прошло,
Как вылакала все вино.
– Георгием святым клянусь, —
– Вскричала Мароклип, – боюсь,

Что глотка ссохлась от напитка, —
Ведь это же не жизнь, а пытка!
Налейте сладкого мне снова!
Продам последнюю корову
И выпью цельный я горшок!

Откинувшись на спинку кресла, стоявшего возле огромного камина, где пылало целое дерево, Робер Артуа уже не хохотал, а как-то даже кудахтал.

Ведь вся его молодость прошла в тавернах, непотребных заведениях и в прочих злачных местах, и теперь, слушая менестреля, он представлял себе все это воочию. Уж он ли не навидался на своем веку таких вот отъявленных шлюх, пирующих и усердно выпивающих за спиной мужей!

Наступила полночь, пел Ватрике, Марг, Марион и цирюльница все еще сидели в таверне и, перепробовав все вина от арбуа до сен-мелиона, велели подать себе еще вафель, очищенного миндаля, груш, пряностей и орехов. Тут Марг предложила пойти поплясать на площади. Но хозяин таверны потребовал, чтобы они оставили в залог всю свою одежду, иначе он их, мол, не выпустит; дамы не стали перечить и, будучи сильно навеселе, охотно сбросили с себя платья и шубки,

юбчонки, рубашки, пояса и кошели.

Голые, как в день своего появления на свет божий, выскочили они январской ночью на площадь, голося как оглашенные: «О как люблю я вирелэ», спотыкаясь на ходу, шатаясь, натыкаясь друг на друга, цепляясь за стены, хватаясь друг за дружку, пока наконец, мертвецки пьяные, не рухнули на кучу нечистот.

Занялся день, захлопали в домах двери. Наших дам обнаружили всех в грязи, в крови и неподвижных, как «дерьмо на полпути». Бросились за мужьями, а те, решив, что жен их поубивали, отнесли их на кладбище Невинных душ и бросили в общую яму.

Лежат втроем все друг на дружке,
Вино течет из них, как с кружки,
И изо рта и прочих мест.

Проснулись они от богатырского своего сна только на следующую ночь среди разлагающихся трупов, засыпанные землей, но еще не окончательно протрезвившиеся, и начали они вопить на весь темный ледяной погост.

«Где ты, Друэн? – вскричали тетки. —
Подай соленой нам селедки.

Нет, дай, Друэн, нам и вина,
Чтоб не шумела голова.
Да поскорей закрой окно!»

Теперь его светлость Робер уже не кудахтал, а ржал во всю глотку. Менестрелю Ватрике с трудом удалось довести до конца свой рассказ о парижских дамах, потому что громовой хохот гиганта покрывал его голос, отдаваясь во всех уголках залы. На глазах его выступили слезы, и от удовольствия он громко хлопал себя по бедрам. Раз десять он повторил: «Да поскорей закрой окно!» Веселье его было так заразительно, что все домашние тоже смеялись до слез.

— Ах они, мошенницы! Голые, по заднице ветер бьет!.. А они: «Да поскорей закрой окно!..»

И он снова заржал.

В сущности, славное было житье в Конше… Мадам де Бомон — прекрасная супруга, графство Бомон, хоть и маленькое, но прекрасное графство, и что за дело, что принадлежит оно короне, раз доходы идут ему, Роберу? А как же Артуа? Так ли уж важно заполучить это самое Артуа, стоит ли оно всех этих хлопот, борьбы, трудов?.. «Земля, что рано или поздно примет мое тело, будет ли она землею Конша или Эсдена…»

Вот какие мысли забредают в голову, когда тебе уже перевалило за сорок, когда дела твои идут не так, как бы тебе того желалось, и когда тебе выпало две недели досуга. Но все равно в глубине души уже знаешь, что не послушаешься этого мимолетного голоса благоразумия… Так или иначе, а завтра Робер отправится в Бомон на охоту за оленем и воспользуется заодно случаем осмотреть замок, прикинет, не надо ли его расширить.

Возвращаясь накануне Нового года из Бомона, куда Робер возил с собой и свою супругу, он, подъезжая к Коншу, приметил, что на подъемном мосту перепуганные пажи и слуги толпятся в ожидании хозяина.

Оказывается, после полудня взяли Дивион и отвезли ее в парижскую тюрьму.

— Как так взяли? Кто взял?

— Трое приставов.

— Какие такие приставы? По чьему приказу? — завопил Робер.

— По приказу короля.

— Да подите вы! И вы позволили ее увезти? Болваны, вот прикажу вас всех пересечь. Взять из моего дома!.. Глупости какие! Вы хоть бумагу-то видели?

— Видели, ваша светлость, — решился отве-

тить Жилле де Нель, трясясь всем телом. — И мы даже потребовали, чтобы ее нам оставили. Иначе мы бы ни за что не отдали мадам Дивион. Вот бумага.

Это и впрямь был королевский приказ, написанный писцом, но скрепленный печатью Филиппа VI. И не канцлерской печатью, что позволяло бы надеяться на какую-нибудь грязную махинацию. Нет, к воску была приложена личная печать Филиппа VI, так называемая малая печать, которую король всегда носил при себе в кошеле и которую ставил собственноручно.

По натуре своей граф Артуа был не из пугливых, однако в этот день он понял, что такое страх.

Глава VI
«Королева мужеска пола»

Покрыть в один день перегон от Конша до Парижа — дело нелегкое даже для испытанного наездника и выносливого коня. По дороге Робер Артуа бросил двоих своих конюших, так как их лошади захромали. В столицу он прискакал уже ночью, но, несмотря на поздний час, все парижские улицы были забиты веселящимся людом, празднующим Новый год. В темных уголках у

порога харчевен блевали пьяные; женщины, взявшись под ручку, распевали во всю глотку и шагали не совсем твердо, совсем как в песне менестреля Ватрике.

Не обращая внимания на подгулявшую чернь, Робер направился прямо к королевскому дворцу через толпу, которую легко рассекал мощной своей грудью его конь. Начальник караула сообщил ему, что король заезжал сюда днем, дабы принять новогодние поздравления горожан, но уже отбыл в Сен-Жермен.

Проскакав через мост, Робер добрался до Шатле. В конце концов, пэр Франции может позволить себе разбудить среди ночи коменданта тюрьмы. Но на все вопросы ему отвечали, что ни вчера, ни сегодня сюда не привозили никакой дамы по имени Жанна Дивион, даже подробное описание ее внешности не помогло вспомнить таковую.

Ежели Дивион не в Шатле, значит она должна находиться в Лувре, ибо преступников, взятых под стражу по приказу короля, держат только в этих двух местах.

Робер поехал в Лувр, но и там получил от коменданта точно такой же ответ. В таком случае где же Дивион? Быть может, Робер скакал быстрее королевских приставов; быть может, обогнал

их, свернув на более короткую дорогу? Но ведь в Удане он расспрашивал людей, и ему подтвердили, что трое приставов, охранявших какую-то даму, проехали здесь уже давно. Туман тайны все сгущался.

Пришлось временно сложить оружие. Робер вернулся к себе в отель, провел в постели бессонную ночь и еще до зари отправился в Сен-Жермен.

Поля и луга одела ломкая, ослепительно-белая изморозь; на ветвях серебрился иней, а пригорки, лес, окружавший Сен-Жерменский замок, казались сделанными из леденцов.

Король только что проснулся. Все двери распахивались перед Робером, даже дверь королевской опочивальни. Филипп VI лежал еще в постели, а вокруг толпились камергеры и ловчие, и он давал им последние распоряжения насчет охоты, которая затевалась днем.

Робер ворвался в опочивальню так, словно бы шел на приступ, преклонил одно колено, но тут же поднялся и заговорил:

— Государь, брат мой, отберите у меня пожалованное вами звание пэра, отберите ленные мои владения, земли мои, доходы мои, лишите меня имущества и высокого моего положения,

прогоните меня из вашего Малого совета, где я не достоин более присутствовать. Нет, видно, в королевстве я уже ничто!

Широко открыв свои огромные голубые глаза и повернув к Роберу мясистый нос, Филипп спросил:

— Но что это с вами, брат мой? Почему вы так взволнованы? И что вы такое говорите?

— Я правду говорю. Говорю, что в королевстве я отныне ничто, раз король, не соблаговолив поставить меня в известность, приказывает схватить особу, проживающую под моим кровом!

— Кого я велел схватить? Какую особу?

— Некую даму Дивион, брат мой, которая принадлежит к числу моей челяди, она следит за гардеробом моей супруги, вашей сестры, и вот по вашему приказу являются трое приставов и берут ее в моем же замке Конш, чтобы отвезти в темницу!

— По моему приказу? — озадаченно повторил Филипп. — Но я никакого такого приказа не отдавал… Дивион, говорите? Я такого имени и не слыхивал никогда. Но так или иначе, брат мой, прошу вас верить мне, никогда я не приказал бы взять кого-либо из ваших людей, если даже к тому имелись бы веские причины, не поговорив

с вами и прежде всего не спросив вашего совета.

— Я тоже так думал, брат мой, — ответил Робер, — однако приказ исходил от вашего величества.

И он вытащил из кармана приказ об аресте, который вручили его пажам королевские приставы.

Филипп VI бросил беглый взгляд на письмо, узнал свою личную малую печать, и даже крылья его мясистого носа побелели.

— Эруар, одеваться! — крикнул он своему камергеру. — И все уходите отсюда, да побыстрее, оставьте меня наедине с его светлостью Артуа.

Сбросив покрывала, вышитые золотом, король встал с постели как был, в длинной белой ночной рубахе. Камергер помог ему надеть подбитый мехом халат и бросился к камину раздуть затухавшие поленья.

— Иди, иди!.. Я же сказал, уходите отсюда!

Впервые с тех пор, как Эруар де Бельперш служил при особе короля, с ним обращались так грубо, как с последним поваренком каким-нибудь.

— Нет, никогда я не скреплял печатью этого письма, никогда не диктовал писцу ничего подобного, — сказал король, когда камергер поспешил

удалиться из спальни.

Он внимательно разглядывал бумагу, подносил к глазам то одну, то другую половину печати, которую сломали, открывая письмо, взял даже из ящика комода хрустальную лупу.

— А не может так быть, брат мой, — спросил Робер, — чтобы вашу печать подделали?

— Нет, не может. Чеканщики, зная, что печати могут подделать, весьма искусно и притом нарочно вносят тайком, особенно в печати короля и больших сеньоров, какой-нибудь крохотный недостаток. Посмотри на букву «Л» в моем имени: видишь трещинку в жезле и полую точечку в окаймляющей листве?

— А не отлепили ли эту печать от какого-нибудь другого документа? — спросил Робер.

— Бывает, и впрямь, говорят, бывает такое: снимают ее нагретым лезвием бритвы или еще каким-нибудь способом; мой канцлер утверждает, будто так делают.

Лицо Робера приняло наивное выражение человека, которому сообщают то, о чем он даже и не подозревал. Однако сердце сильнее заколотилось в груди.

— Но этого ни в коем случае быть не могло, — продолжал Филипп, — ибо я с умыслом пользуюсь

малой своей печатью, только когда знаю, что ее сломают, вскрывая письмо, и никогда не ставлю ее просто на листе бумаги или на кончике шнурка.

Он замолк и уставился на Робера, словно ждал от него объяснения этому странному происшествию, хотя в действительности сам мысленно старался найти тому причину.

— Стало быть, — заключил он, — у меня выкрали печать, конечно всего на несколько минут. Но кто же? И когда? Днем она лежит в кошеле, прицепленном к моему поясу, а пояс я снимаю только на ночь…

Он подошел к комоду, вынул из ящика золототканый кошель, пощупал содержащееся в нем, затем открыл и вынул малую печать из чистого золота, ручкой которой служил цветок лилии, тоже отлитый из золота.

— …и беру кошель только утром…

Последние слова он произнес медленно, словно бы с трудом; страшное подозрение закралось в его душу. Он вновь взглянул на приказ о взятии Дивион под стражу и вновь тщательно перечел его.

— Мне эта рука знакома, — проговорил он. — Это писал не Юг де Поммар, не Жак Ла Ваш, не Жофруа де Флери…

Он позвонил. В спальню вошел второй камергер, Пьер Труссо.

— Вызови мне сейчас же, если он в замке или еще где-нибудь, писца Робера Мюле; пусть идет сюда со всеми своими принадлежностями для письма.

— Этот самый Мюле, — спросил Робер, — по-моему, пишет под диктовку королевы Жанны, твоей супруги?

— Да-да. Мюле пишет то мне, то Жанне, — неопределенно промямлил Филипп VI, желая скрыть свое смущение.

Оба незаметно для себя перешли на «ты», как в те давние времена, когда Филиппу еще не снился французский престол, когда Робер еще не был пэром, а были они просто двумя неразлучными друзьями-кузенами, — в те времена его светлость Карл Валуа то и дело ставил Филиппу в пример Робера, твердил, что Робер-де сильнее, упорнее и разумнее ведет свои дела.

Мюле оказался в замке. Он прибежал, запыхавшись, со своим ящиком под мышкой и, склонившись, облобызал королевскую длань.

— Поставь свой ящик и пиши, — приказал Филипп VI и сразу же начал диктовать: — *«Возлюбленного нашего и верного прево града Парижа*

Жана де Милона король приветствует. И приказываем мы вам не мешкая…»

Одинаковым движением кузены сделали шаг вперед и заглянули через плечо Мюле. Почерк был тот же самый, что и в приказе об аресте.

– *«…освободить из-под стражи немедля даму Жанну…»*

— Дивион, — отчеканил по слогам Робер.

– *«…что содержится в нашем узилище…»* А где она на самом деле находится? — спросил Филипп.

— Во всяком случае, не в Шатле и не в Лувре, — ответил Робер.

— В Нельской башне, государь, — подсказал писец и возликовал душой, решив, что король оценит такое усердие и памятливость.

Кузены переглянулись и снова одинаковым жестом скрестили на груди руки.

— А ты откуда знаешь? — спросил писца король.

— Сир, мне выпала честь два дня назад писать ваш приказ о взятии этой дамы под стражу.

— А кто тебе этот приказ продиктовал?

— Королева, сир; она говорила, что у вас нет времени и что вы поручили это дело ей. Вернее сказать, я писал две грамоты — одну о взятии под

стражу, другую о заключении в темницу.

Вся кровь отхлынула от лица Филиппа, и он, раздираемый стыдом и гневом, не смел поднять глаза на своего зятя.

«Ну и негодяйка, — думал Робер. — Я всегда знал, что она меня ненавидит, но не до такой же степени, чтобы красть у мужа печать, лишь бы мне навредить… Но кто же, кто мог донести на меня?»

— Вы еще не кончили, сир? — спросил он.

— Верно, верно, — с трудом оторвался от своих мыслей Филипп.

Он продиктовал заключительную фразу. Писец зажег свечу, накапал немножко красного воска на сложенный вдвое листок и подал его королю, чтобы тот приложил малую печать.

Весь ушедший в свои невеселые размышления, Филипп, казалось, не отдавал себе отчета в собственных действиях. Поэтому приказ взял Робер, позвонил в колокольчик. И снова появился Эруар де Бельперш.

— Немедля вручить прево приказ короля, — сказал Робер, протягивая камергеру письмо.

— И позвать сюда королеву, — приказал Филипп, отошедший вглубь спальни.

Писец Мюле все еще ждал, переводя взгляд с

короля на графа Артуа и спрашивая себя, так ли уж уместен был его пыл. Небрежным жестом руки Робер отпустил его.

Через несколько минут вошла королева Жанна странной своей походкой, что объяснялось ее хромотой. При каждом шаге тело ее описывало четверть круга, как на стержне, на той ноге, что была длиннее другой. Королева была худа, довольно красива, хотя зубы уже крошились. Глаза огромные, с той притворной ясностью, что отличает всех лгунов; длинные, чуть скрюченные пальцы, даже будучи сложенными, просвечивали, словно поднесенные к пламени свечки.

— С каких это пор, мадам, вы посылаете приказы от моего имени?

Королева с великолепно наигранным удивлением невинности подняла на мужа глаза.

— Приказы, возлюбленный мой сир?

Голос у нее был спокойный, музыкальный, звучавший с притворной нежностью.

— И с каких это пор у меня выкрадывают во время сна мою печать?

— Вашу печать, бесценное мое сердечко?.. Да никогда я не трогала вашей печати. О какой печати идет речь?

Звонкая пощечина прервала ее слова.

Глаза Жанны Хромоножки наполнились слезами, так груба и сильна была полученная ею оплеуха; она даже приоткрыла от изумления рот и поднесла свои тонкие пальцы к щеке, где уже проступило алое пятно.

Не меньше удивился и Робер Артуа, но он-то и удивился, и обрадовался одновременно. Ни в жизнь он не поверил бы, что его кузен Филипп, по всеобщему мнению находившийся под башмаком жены, способен поднять на нее руку. «Неужели и впрямь настоящим королем стал?» — подумалось Роберу.

Но, в сущности, Филипп Валуа просто стал мужем, который, будь то знатный вельможа или последний слуга, учит свою врунью-жену. За первой пощечиной последовала вторая, словно первая притягивала королевскую длань, а потом они посыпались без счета. Обезумев от боли, Жанна прикрывала лицо обеими руками. Но Филипп молотил по чему попало: по голове, по плечам. Вся эта экзекуция сопровождалась бешеным криком:

— Это в ту ночь, по-моему, вы сыграли со мной такую шутку? И еще имеете наглость отрицать, когда сам Мюле во всем признался? А еще ластится, мерзкая шлюха, льнет ко мне, твердит, что

сгорает от любви, пользуется моей к себе слабостью, укачивает меня, когда я засыпаю, и тут же крадет у меня королевскую печать. Неужели ты не знаешь, что это еще гаже, чем обыкновенное воровство? Не знаешь, что ни одному моему подданному, будь он даже королевской крови, я не спустил бы этого с рук и велел бы отодрать его палками, воспользуйся он печатью? Да еще моей собственной личной печатью. Ну видел ли свет другую такую злодейку, ей ведь приятно бесчестить меня в глазах моих пэров, моего кузена, моего собственного брата! Разве я не прав, Робер? — оставив на минуту свою жертву, обратился он за поддержкой к Артуа. — Ну как же мы сможем управлять нашими подданными, если каждый, кому заблагорассудится, будет пользоваться нашими печатями и писать от нашего имени приказы, которые мы и не собирались давать? Да это же прямое попрание нашей чести!

И, охваченный новым приступом гнева, он снова накинулся на жену:

— Прекрасное употребление вы сделали из Нельской башни, которую я вам пожаловал в дар. А как вы меня об этом молили? Неужели вы столь же зловредны, как и ваша сестрица, и неужели этой проклятой башне вечно суждено

скрывать преступления Бургундского дома? Да не будь вы королевой, не женись я на вас, на свое несчастье, я бы вас первую заточил туда. И коли никто не имеет права вас карать, что ж, придется мне самому взяться за дело.

И снова градом посыпались удары.

«Хоть бы до смерти ее заколотил…» — пожелал в душе Робер.

А Жанна, скорчившись в углу кровати, яростно отбивалась, вздымая ногами пену юбок, и при каждом новом ударе то стонала, то вопила в голос. Потом вдруг вскочила, как кошка, угрожающе выставила когти и заорала, не вытерев даже мокрого от слез лица:

— Да, да, я это сделала! Да, я украла твою печать, пока ты спал, и украла потому, что ты творишь неправедный суд, потому, что я хочу защитить моего брата герцога Бургундского от притязаний вот этого злобного Робера; он вечно вредил нам… то хитростью, а то и преступлениями, это он, сговорившись с твоим отцом, погубил мою сестру Маргариту…

— Не смей поминать имени моего покойного отца своими погаными устами! — крикнул Филипп.

Глаза короля зажглись таким страшным ог-

нем, что Жанна сразу замолчала, поняв, что он и впрямь способен ее убить.

А он, положив покровительственным жестом руку на плечо Робера Артуа, добавил:

— И поберегись, сквернавка, хоть в чем-то вредить моему брату, надежнейшей опоре нашего престола.

Когда король распахнул дверь спальни, желая предупредить камергера, что сегодняшняя охота отменяется, два десятка голов разом отпрянули от замочной скважины. Жанну Хромоножку, которую при дворе прозвали «королева мужеска пола», дружно ненавидела вся челядь: она умела изводить людей вечными своими придирками и капризами и доносила королю о малейшей провинности со стороны слуг[21]. Весь дворец

---

[21] Примечания: 21

…доносила королю о малейшей провинности со стороны слуг. — Такие злобные выходки были вполне в обычае у королевы Жанны Хромоножки — стоило ей возненавидеть кого-нибудь из друзей, советников или слуг своего мужа, она пускала в ход наихудшие средства, чтобы удовлетворить свою ненависть. Так, желая избавиться от маршала Робера Бертрана, прозванного Рыцарем Зеленого Льва, она послала парижскому прево письмо якобы от короля, приказывая ему арестовать маршала за измену, немедленно отправить на Монфоконскую виселицу и повесить. Прево был близким другом маршала; этот внезапный приказ, которому не предшествовала никакая судебная процедура, его ошеломил. Вместо того чтобы отправить Бертрана на Монфокон, он срочно поехал вместе с ним к королю, который оказал им наилучший прием, обнял маршала и совершенно не понял волнения своих визитеров. Когда же они показали ему приказ об аресте, он тотчас же понял, что приказ исходит от его жены, запер ее,

как говорит летописец, в одной из комнат и так отдубасил палкой, что *«еще немного, и убил бы»*.

Епископ Жан де Мариньи тоже чуть не стал жертвой преступных махинаций Хромоножки. Он ей не понравился, но не знал об этом. Когда он вернулся из Гиени, где был с какой-то миссией, королева притворилась, будто сердечно его принимает, и даже велела приготовить ему ванну во дворце, чтобы он мог снять усталость. Епископ сначала отказывался, не видя в том срочной необходимости; но королева настаивала, говоря ему, что ее сын Жан, герцог Нормандский (будущий король Иоанн II), тоже пойдет мыться. И вот она сопровождает его в парильню. Там готовы две ванны; герцог Нормандский по недосмотру или безразличию направляется к той, что предназначена епископу, и уже собирается лечь в нее, как вдруг его мать этому препятствует, проявляя признаки ужаса. Все удивляются. Жан Нормандский, который был большим другом Мариньи, чует недоброе, хватает собаку, которая там крутилась, и бросает ее в чан. Собака тотчас же дохнет. Король Филипп VI, когда ему рассказали о случившемся, снова запер свою жену и «нещадно выпорол».

Что касается Нельского дворца, то он был подарен ей мужем в 1332 г., то есть через два года после его покупки у душеприказчиков дочери Маго, Жанны Бургундской, которая тоже получила его от своего супруга, Филиппа V.

Во исполнение условия завещания Жанны Бургундской выручка от продажи, тысяча ливров в монете плюс доход в двести ливров, послужили основанию и содержанию учебного дома, пристроенного к дворцу. Таково происхождение знаменитого Бургундского коллежа, но также причина недоразумения, из-за которого в народной памяти перепутались две родственницы — Маргарита и Жанна Бургундские.

Буйство школяров, в котором винили Маргариту, существовавшее только в легенде, находит тут свое объяснение.

ликовал, когда стало известно о том, что король здорово проучил королеву.

Уже ближе к полудню Филипп и Робер вышли прогуляться по фруктовому саду Сен-Жермена, схваченному морозцем. Король медленно шагал, понурив голову.

— Скажи, Робер, разве не ужасно, что нельзя доверять даже собственной жене, даже во сне надо быть начеку? А что я могу поделать? Класть печать под подушку? Она и из-под подушки вытащит. Сплю я крепко. Не могу же я в самом деле заточить ее в монастырь: она мне жена! Единственное, что я могу, так это не пускать ее в свою опочивальню. Но вся беда в том, что я люблю ее, эту мерзавку! Только пусть это останется между нами, но я, как и всякий мужчина, ради опыта пробовал и других. И возвращался к ней с еще большим пылом… Но если она опять за старое возьмется, я ее снова прибью!

На повороте аллеи как раз в эту минуту показался вида́м города Мана Труйар д'Юзаж, он же смотритель замка, и доложил, что за ним следует прево Парижа.

Прево Жан де Милон, невысокий толстячок с изрядным брюшком, казалось, не идет, а катится на своих коротеньких ножках; но вид у него был

невеселый.

— Что ж, мессир прево, приказали вы освободить эту даму?

— Нет, сир, — смущенно пролепетал прево.

— Как нет? Что же, мой приказ, по-вашему, был поддельный? Или вы не узнали моей печати?

— Конечно узнал, сир, но, прежде чем выполнить ваш приказ, я хотел бы с вами побеседовать, и я весьма доволен, что беседа произойдет при его светлости Артуа, — ответил Жан де Милон и все так же смущенно взглянул на Робера. — Эта дама призналась…

— В чем призналась? — спросил Робер.

— Во всех мошенничествах, ваша светлость, в подложных подписях, поддельных бумагах и еще во многом другом.

Роберу удалось овладеть собой, он даже сумел сделать вид, что все это только милая шутка, и, пожав плечами, воскликнул:

— Конечно, раз ее подвергли пытке, она еще не в том могла признаться! Вот если бы я приказал вас пытать, мессир де Милон, ручаюсь, вы признались бы, что хотели совратить меня на содомский грех.

— Увы, ваша светлость, — возразил прево, — эта дама заговорила еще до всяких пыток… просто со

страха заговорила, со страха, что ее будут пытать. И назвала десятки сообщников.

Филипп VI молча уставился на своего кузена. Казалось, в мозгу его совершалась какая-то новая работа.

Робер почувствовал, как защелкнулась за ним ловушка. Король, который исколотил при свидетеле собственную супругу за то, что она воспользовалась его печатью и послала фальшивый приказ, такой король не так-то легко выпустит из рук одну из ничтожных своих подданных, признавшуюся в тех же преступлениях, даже ради того, чтобы угодить своему самому близкому родичу.

— Что ты посоветуешь, брат мой? — спросил Филипп, все еще не спуская с Робера глаз.

Робер понял, что спасение его зависит от ответа: во что бы то ни стало надо разыгрывать прямодушие. Черт с ней, в конце концов, с этой Дивион. Пусть она оговорила его или еще оговорит, он упорно будет стоять на своем — все это бесстыдная ложь.

— Взываю к вашему суду, государь, брат мой! — заявил он. — Велите бросить эту женщину в каменный мешок и, если она меня оболгала, знайте, я потребую от вас применить к ней самые

строгие меры.

И в то же самое время он ломал голову над вопросом: «Но кто же мог сообщить обо всем этом герцогу Бургундскому, кто?» И вдруг сам собой пришел ответ, ответ простой, но несомненный. Ибо существовала на свете одна лишь особа, которая могла сказать герцогу Бургундскому или даже самой королеве, что Дивион находилась в Конше, — Беатриса…

Только в самом конце марта, когда на Сене начался весенний паводок и воды ее затопляли берега, заливали подвалы, рыбаки выловили неподалеку от Шату мешок, плывший по течению, а когда мешок развязали, там оказался труп обнаженной женщины.

Все жители деревни, шлепая по грязи, сбежались поглазеть на страшную находку, и матери, щедро награждая пощечинами своих ребятишек, орали на них:

— А ну-ка марш по домам, такие-сякие, нечего вам тут торчать!

Тело безобразно распухло и уже отливало зловеще-зеленоватым оттенком разложения: должно быть, оно находилось в воде больше месяца. Однако нетрудно было догадаться, что покойная была еще молода. Ее длинные черные волосы,

казалось, шевелятся, а это просто лопались в них пузырьки воздуха. Лицо было искромсано, рассечено, изуродовано так, чтобы труп нельзя было опознать, а на шее виднелись следы шнурка.

Рыбаки, хоть их и мутило при виде этой гнусной падали, все же, поддаваясь какому-то нечистому влечению, пихали баграми мертвое тело.

Вдруг изо рта утопленницы хлынула переполнявшая ее вода, труп шевельнулся, и казалось, вот-вот оживет, отчего кумушки с визгом бросились врассыпную.

Наконец появился бальи, которого известили о страшной находке, он задал присутствующим несколько вопросов, повертелся вокруг покойницы, осмотрел найденные в мешке при трупе предметы, которые разложили сохнуть на траве: козий рог, восковая фигурка, завернутая в тряпицы и исколотая булавками, грубо сделанная оловянная дароносица с выгравированными на ней сатанинскими знаками.

— Это колдунья, — объявил собравшимся бальи, — и убили ее такие же, как она, после шабаша или черной мессы.

Кумушки перекрестились. Бальи приказал немедля зарыть покойницу со всем ее мерзким скарбом в рощице, подальше от деревушки, и

молитв над ней не творить.

Это чисто сделанное и прекрасно замаскированное преступление совершил не кто иной, как Жилле де Нель, следуя добрым урокам старика Лорме ле Долуа, и даже кончилось оно именно так, как желалось убийцам.

Робер Артуа отомстил Беатрисе за ее предательство, но это, в сущности, отнюдь не означало, что он восторжествовал над своими врагами.

А уже третье поколение жителей Шату не знало, почему вон ту рощицу ниже по течению Сены зовут Колдуньиным лесом.

Глава VII
Турнир в Эврё

В середине мая по всей Франции разъехались в сопровождении трубачей герольды в королевских ливреях, и в каждом городе на площадях, в посадах на всех перекрестках, перед замками сеньоров они делали остановку. Трубачи трубили в длинные свои трубы, с которых свисал вышитый королевскими лилиями флажок; герольд разворачивал пергамент и начинал громовым голосом:

— Итак, слушайте, слушайте! Да знает каждый

принц, сеньор, барон, рыцарь и оруженосец герцогства Нормандского, Бретонского и Бургундского, графств и пограничных марок Анжу, Артуа, Фландрии и Шампани и всех прочих, будь они из сего королевства или из какого другого королевства христианского, ежели не изгнаны из страны и не враги короля, государя нашего, коему да пошлет Господь жизнь долгую, что в День святой Люсии, шестого июля, возле города Эврё благородное ратное игрище с изрядным турниром произойдет, где биться будут на палицах надлежащей длины и мечах, и быть облаченну в ратные доспехи для оного дела, в шлемы, кольчуги и поножи с гербами благородных участников игрища, как подобает по старинным обычаям нашим.

Каковую потеху начнут вельми высокородные и властительные принцы, вельми грозные сеньоры, наш возлюбленный государь Филипп, король Франции, рыцарь-зачинщик, и государь Иоганн Люксембургский, король Богемии, вызов принявший. И посему надлежит знать всем принцам, сеньорам, баронам, рыцарям и оруженосцам названных выше марок и прочих краев, к какой бы нации они ни принадлежали, кто выразит желание и намерение в игрищах участие принять,

дабы на ристалище честь себе завоевать, да имеет при себе значок, который мы здесь вручим, дабы признаны они были участниками турнира, и для сего обратиться ко мне тем, кто пожелает таковой приобресть. А при конце турнира присуждаться будут почетные и богатые награды, кои вручат высокородные дамы и девицы.

И еще объявляю всем принцам, баронам, рыцарям и оруженосцам, кои намерены на турнире биться, прибыть в указанное выше место, город Эврё, и разместиться на постоялых дворах за четыре дня до упомянутого выше турнира, дабы выставить на окне герб свой и штандарт свой поднять, под угрозой к упомянутому выше турниру допущенному не быть. И сие всем сеньорам ведать через моих глашатаев надлежит, и за сим прошу меня не судить, буде на то ваша милость.

Снова трубили трубачи, и снова шустрые мальчишки бежали до городских ворот толпой вслед за герольдами, спешившими в соседний город сообщить о затеваемом игрище.

Расходясь по домам, зеваки озабоченно переговаривались между собой.

— Влетит нам это игрище в копеечку, ежели наш-то сеньор решит в Эврё ехать! Небось и госпожу с собой потащит, и всех чад с домочад-

цами… Вечно так получается: сеньорам забава, а нам подати плати…

Но кое-кому в голову закрадывалась и другая мыслишка: «А вдруг наш сеньор решит взять моего старшего конюхом: там и заработать можно неплохо, да, глядишь, и на будущее время сеньор где-нибудь его пристроит… Шепну-ка я нашему канонику, пусть похлопочет за моего Гастона».

На полтора месяца предстоящему турниру суждено было стать самой главной заботой для сеньоров и их близких и единственной их докукой. Подростки мечтали удивить свет первыми своими ратными подвигами.

— Да ты слишком для этого молод, на следующий год поедешь. Хватит еще на твой век турниров, — убеждали родители.

— Да-а, а вот сын нашего соседа Шамбре, а он мне ровесник, будет участвовать в турнире!

— Если сир Шамбре потерял разум или денежки хочет потерять, что ж, его дело.

Старики вспоминали минувшие турниры. Послушать их, так и люди в те времена были куда сильнее, и оружие куда тяжелее, и лошади куда более быстроноги.

— А на турнире в Кенилворте, который устроил лорд Мортимер Чирк, дядя того самого Мортиме-

ра, что нынешней зимой вздернули в Лондоне…

— А на турнире в Конде-на-Шельде у его светлости Иоганна д'Авен, отца нынешнего графа Геннегау…

Брали деньги взаймы под будущий урожай, продавали лес на корню, тащили серебряную посуду жившим поблизости ломбардцам, дабы превратить серебро в страусовые перья для шлема сеньора, в парчу и шелка для туалетов супруги сеньора, в богатую упряжь для лошадей сеньора.

Лицемеры притворно вздыхали:

— Ох, сколько расходов, сколько хлопот, а ведь так славно тихонечко посидеть у домашнего очага! Но не можем же мы не появиться на этом игрище, обязаны побывать на нем хотя бы ради чести нашего дома. Раз король послал герольдов к нашему замку, он рассердится, если мы не приедем.

Повсюду сновали иголки, повсюду ковали железо, повсюду нашивали металлическую кольчугу на короткую кожаную, с утра до ночи гоняли на корде лошадей и сами гонялись друг за другом во фруктовых садах, и птицы, потревоженные этими ратными потехами, свистом копий и оглушительным звоном мечей, испуганно улетали прочь. Бароны помельче по три часа в день тер-

пеливо примеряли подшлемники.

Желая набить себе руку, сеньоры ежедневно устраивали местные игрища, где старики, насупив брови, надув для солидности щеки, обсуждали каждый удар, нанесенный их сынками, норовящими попасть противнику прямо в глаз. После чего начиналось и длилось до ночи застолье, причем все изрядно ели, изрядно пили и изрядно спорили.

Эти ратные потехи баронов с баронами в конце концов обходились не дешевле настоящего воинского похода.

Наконец пришла пора трогаться в путь; в последнюю минуту дедушка вдруг заявлял, что он тоже едет, и четырнадцатилетнему сынку повезло — решено было взять его в качестве младшего оруженосца. Боевых коней, которые, не дай бог, притомятся в дороге, вели под уздцы; кофры с платьем и доспехами грузили на мулов. Слуги месили пыль. На ночлег останавливались или в монастырских гостиницах, или в замке какого-нибудь родича, жившего по пути и тоже собиравшегося на турнир. И опять садились за ужин, нажирались до отвала, не чинясь, запивали мясо вином, а чуть-чуть забрезжит утренняя заря, двигались всем скопом дальше.

Так от привала к привалу все росла и росла толпа будущих участников турнира, покуда не добиралась с превеликой помпой до своего сеньора графа, чьими вассалами они были. Графу лобызали ручку, а он бросал несколько ничего не значащих фраз, которые потом люди долго промеж себя обсуждали. Дамы приказывали вынуть из кофров новое платье и пристраивались к графской свите, растянувшейся на добрых полье, а над их головами развевались под весенним солнцем многоцветные знамена.

Так это лжевоинство, вооруженное затупленными копьями, ненаточенными мечами и легковесными палицами, перебиралось через Сену, Эр, Риль или двигалось вдоль Луары, торопясь на эту лжевойну, где все было ненастоящим, кроме тщеславия.

За неделю до начала турнира во всем городе Эврё не осталось ни одной свободной комнаты, даже каморки под лестницей и той не осталось. Король Франции и его двор разместились в самом большом аббатстве, а король Богемский, в чью честь затевались все эти игрища и все эти празднества, остановился у графа д'Эврё, короля Наваррского.

Удивительный все-таки государь был этот

Иоганн Люксембургский, король Богемии, не имевший ни гроша за душой, зато имевший долгов больше, чем земель, и живший на счет французской казны, но он даже представить себе не мог, что явится на турнир с меньшей свитой, чем пригласивший его государь, верный источник его доходов! Иоганну Люксембургскому было под сорок, а выглядел он тридцатилетним; его сразу узнавали по прекрасной окладистой бороде, каштановой, шелковистой, по его смеющемуся лицу и гордо закинутой голове, по его холеным рукам, всегда готовым к дружескому рукопожатию. Истинное чудо живости, силы, отваги, веселости, но притом и глупости. Примерно одного сложения с Филиппом VI, он выглядел подлинно величавым и полностью являл собой тот образ короля, который охотнее всего рисует себе воображение подданных… Он умел завоевать к себе всеобщую любовь как сильных мира сего, так и простолюдинов; каким-то образом ему даже удалось стать другом папы Иоанна XXII, равно как и его заклятого врага, императора Людвига Баварского. Неслыханная удача для дурачка, ибо все сходились в одном: Иоганн Люксембургский столь же глуп, сколь обаятелен.

Глупость отнюдь не мешает предприимчиво-

сти, наоборот, она затушевывает препятствия, и то, что для мало-мальски разумного человека было бы безнадежным предприятием, для глупца кажется легкодостижимым. Покинув свою крошечную и изрядно надоевшую ему Богемию, Иоганн Люксембургский обратил свой взор на Италию и пустился в безумную авантюру. «Борьба между гибеллинами и гвельфами губительна для этой страны, — глубокомысленно решил он, будто сделал невесть какое великое открытие. — Император и папа оспаривают друг у друга республики, а жители этих республик никак не перестанут резать друг друга. Так вот, коль скоро я друг и той партии и другой, пускай мне отдадут эти земли, я там сумею водворить мир!» И самое удивительное, что это ему почти удалось. В течение нескольких месяцев он был, что называется, кумиром всей Италии, за исключением только флорентийцев, которых не так-то легко провести, да короля Роберта Неаполитанского, которого уже всерьез начал тревожить этот баламут.

В апреле Иоганн Люксембургский имел тайную беседу с кардиналом легатом Бертраном дю Пуже, родичем папы и, поговаривали даже, его незаконнорожденным сыном, — беседу, в ходе которой, так верил богемец, были улажены

все самые насущные вопросы и решена судьба Флоренции, отобран город Римини у семейства Малатеста, основано независимое княжество, столицей которого будет объявлена Болонья. Но что произошло дальше, он и сам не мог понять. Когда дела его шли, казалось, так хорошо, что он уже подумывал, как бы спихнуть с трона своего ближайшего друга Людвига Баварского и стать самому императором, против него вдруг ополчились две мощные коалиции: редчайший случай — объединились гвельфы и гибеллины, Флоренция примирилась с Римом, король Неаполитанский, опора папского престола, напал с юга, в то время как император, заклятый враг папы, напал с севера, а на помощь ему поспешили оба герцога Австрийских, маркграф Бранденбургский, король Польский и король Венгерский. Да, было отчего призадуматься принцу, всеми обожаемому, желавшему лишь одного — принести итальянцам мир!

Оставив своему сыну Карлу всего восемьсот конных воинов, дабы тот с этой горсткой усмирил всю Ломбардию, Иоганн Люксембургский поскакал с развевающейся по ветру холеной бородой из Пармы в Богемию, куда уже вторглись австрийцы. Тут он упал в объятия Людвига Баварского и,

осыпая его поцелуями, сумел убедить, что все это просто досадное недоразумение. Императорский престол? Но он только желал угодить папе, и больше ничего!

А теперь он явился к Филиппу с просьбой походатайствовать за него перед королем Неаполитанским, а заодно выманить у него новый заем, дабы осуществить наконец свою заветную мечту — привести Италию к миру.

И самое меньшее, что Филипп VI мог сделать для своего рыцарственного гостя, — это устроить в его честь турнир!

Вот поэтому-то король Франции и король Богемии, связанные узами братской дружбы, собрались вступить в лжебитву на равнине под Эврё, на берегу Итона, где собралось куда больше вооруженных людей, чем оставил своему сыну этот самый король Богемии для борьбы против всей Италии.

Ристалища, иными словами — арены для игрищ, были расположены на обширном ровном лугу и образовывали прямоугольник триста футов на двести, обнесенный двумя частоколами: первый — с просветами, из вбитых в землю кольев, вверху заостренных, второй — внутри первого, пониже и с крепкими перилами. Между

обеими оградами во время игрищ стояли оруженосцы участников турнира.

С теневой стороны возвели амфитеатром три больших помоста, устланных коврами, расцвеченных флагами и знаменами: средний предназначался для судей, два боковых — для дам.

Вокруг ристалищ на равнине теснились палатки для слуг и конюхов; сюда приходили между прочим полюбоваться верховыми лошадьми. Над каждой палаткой плескались флаги с гербами владельцев-сеньоров.

Первые четыре дня шли состязания на копьях между отдельными рыцарями, сеньор вызывал сеньора на бой. Кому не терпелось взять реванш за поражение во время предыдущих игрищ, кто, выступавший впервые, хотел попытать свои силы, а то сами зрители нарочно стравливали двух прославленных участников рыцарских потех.

На трибунах для зрителей бывало то густо, то пусто, в зависимости от сил противников. Двое юных оруженосцев с трудом, даже в утренние часы, получали всего на тридцать минут в свое распоряжение ристалище для состязания. В таких случаях на трибунах восседали лишь друзья или родственники сражающихся. Но стоило объявить встречу между королем Богемским

и мессиром Иоганном Геннегау, нарочно ради турнира прибывшим из Голландии вместе с двадцатью рыцарями, скамьи готовы были рухнуть под напором зрителей. Вот тогда-то дамы и отрывали рукава от своих платьев и вручали их рыцарю-избраннику; впрочем, надо сказать, что шелковый этот рукав пришивали на живую нитку сверху к настоящему рукаву, но кое-кто из дам посмелее отрывал и настоящие рукава, особенно те, у кого руки были красивы.

Конечно, на скамьях сидела бок о бок самая разношерстная публика, ибо при таком стечении народа, превратившем Эврё как бы в ярмарку знати, трудно было бы отсеять плевела от доброго семени. С десяток веселых девиц высокого полета, разодетых не хуже баронесс, а подчас и красивее, и потоньше манерами, ловко пробирались на лучшие места, строили глазки и вызывали сеньоров на иные турниры.

Не занятые в игрищах под тем предлогом, что хотят, мол, полюбоваться подвигами друга, подсаживались к дамам и завязывали фривольные разговоры, которые продолжались и вечером, в замке, в перерывах между танцами.

И у мессира Иоганна Геннегау, и у короля Богемского, одинаково неузнаваемых под своими

разукрашенными страусовыми перьями шлемами, с древка копья свисало по полдюжине шелковых рукавов, словно подцепленных на острые копья сердец. По правилам турнира один из противников должен был сбросить другого с коня или биться, пока не сломается древко копья. Полагалось наносить удары только в грудь, и щит был с умыслом выгнут так, чтобы отражать прямые удары. Живот был защищен высокой седельной лукой, на голову водружали шлем с опущенным забралом, и вот противники сходились. На скамьях вопили, топали от радости ногами. Оба противника оказались равной силы, и еще долго будут идти разговоры о том, с каким изяществом мессир Геннегау склонял копье на упор[22], а также и о том, как великолепно, ну словно стрела, поднялся на стременах король Богемский, и как он стойко выдержал удар, и как два древка, прогнувшись дугой, под конец разлетелись вдребезги.

Что же касается графа Робера Артуа, прибывшего из соседнего Конша и галопировавшего на

---

[22] Примечания: 22

…склонял копье на упор… — Упор — крюк, закрепленный на нагрудной пластине доспехов. Предназначался для упора древка копья и смягчения отдачи в момент удара. До конца XVI в. упор был неподвижным; затем его стали крепить на шарнире или пружине, чтобы исправить неудобство, которое этот выступ доставлял в бою на мечах.

тяжеловесном першероне, то он был опасен противникам именно своим весом и массивностью. Алая сбруя, алое копье, алый шарф, развевавшийся на шлеме, и главное — умение на полном скаку ловко наскочить на соперника, вышибить его из седла и сбросить в пыль. Но что-то в эти дни его светлость Артуа был сильно не в духе, и можно было даже подумать, будто участвует он в игрищах скорее по обязанности, чем ради собственного удовольствия.

А тем временем у судей-распорядителей, выбранных из самых важных сановников государства, таких как коннетабль Рауль де Бриенн или мессир Миль де Нуайе, был хлопот полон рот перед большим заключительным состязанием.

А так как распорядителям турнира все время приходилось нацеплять на себя доспехи, снимать их, присутствовать на игрищах и обсуждать славные подвиги участников турнира, щадя самолюбие рыцарей, которые непременно желали драться именно под этим, а не под тем стягом, а еще часами засиживаться за столом да после пира слушать менестрелей, а наслушавшись песен менестрелей, танцевать, то король Франции с королем Богемии и все их советники с трудом выкраивали в день полчасика, дабы поговорить

об итальянских делах, ради каковых, в сущности, и затеян был этот турнир. Но, как известно, самые важные дела улаживаются в двух словах, если, конечно, собеседники склонны договориться.

Подобно двум истинным рыцарям Круглого стола, великолепный в своих вышитых одеяниях Филипп Валуа и не менее великолепный Иоганн Люксембургский с кубками в руках обменивались торжественными заверениями в вечной дружбе. На скорую руку решили отправить послание папе Иоанну XXII или же отрядить гонцов к королю Роберту Неаполитанскому.

— Ах, дорогой мой сир, нам бы с вами надо еще потолковать о Крестовом походе, — вздыхал Филипп VI.

Ибо он решил осуществить замысел своего покойного батюшки Карла Валуа и своего двоюродного брата короля Карла Красивого. Все шло так гладко во Французском королевстве, в казне скопилось достаточно денег, в Европе с помощью короля Богемского царит столь прочный мир, что пришла пора для вящей славы и благополучия христианских народов готовиться к великому победному походу против неверных.

— Ваши величества, трубят к обеду…

Приходилось прерывать беседу, поговорим

о Крестовом походе после обеда или, скажем, завтра.

За столом дружно высмеивали молодого короля Англии Эдуарда, который три месяца назад, переодетый в купеческое платье, в сопровождении одного только лорда Монтегю явился во Францию для тайных переговоров с Филиппом VI. Да-да, вырядился, словно ломбардский купец какой-нибудь! И чего ради? А все ради того, чтобы заключить торговое соглашение о поставке шерсти во Фландрию. И впрямь купец, раз о какой-то шерсти хлопочет! Ну где это видано, чтобы хоть один государь интересовался такими делами, как простой горожанин из гильдии или Ганзейского союза?

— Ну так вот, друзья мои, коли он хотел быть из гильдии, — заявил Филипп Валуа, восхищенный собственным каламбуром, — я и принял его как разгильдяя! Никаких празднеств, никаких турниров, погуляли по аллеям в лесу Алатт, а потом угостил его скудным ужином[23].

И вообще-то, в голове у этого юнца одни только вздоры! Вот, к примеру, вводит у себя в коро-

[23] Примечания: 23

...а потом угостил его скудным ужином. — Это тайное пребывание Эдуарда III во Франции длилось четыре дня, с 12 по 16 апреля 1331 г., в Сен-Кристоф-ан-Алатте.

левстве регулярную армию пеших ратников и обязательную службу!.. На что он, в сущности, надеется с этой пехтурой, когда всем отлично известно, да и битва у холма Кассель лишнее тому свидетельство, что только кавалерия решает исход боя и что пехотинец при виде кирасы бросается наутек.

— А все-таки, после того как лорда Мортимера повесили, в Англии, похоже, стало больше порядка, — заметил Миль де Нуайе.

— Потому и стало, — возразил Филипп VI, — что английские бароны слишком долго и много дрались между собой и приустали. Вот отдышатся, и тогда-то бедняга Эдуард увидит, на что годна его пехота! И он еще, дорогой наш мальчик, замахивался в свое время на корону Франции… Ну как, сеньоры, сожалеете вы о том, что не он стал вашим государем, или предпочитаете «короля-подкидыша»? — добавил он, шутливо стукнув себя в грудь.

Всякий раз, когда вставали из-за стола, Филипп, понизив голос, обращался к Роберу Артуа:

— Брат мой, я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз, и об очень важных делах.

— Государь, кузен мой, когда прикажешь…

— Пусть будет нынче вечером.

Но вечером начинались танцы, а Робер вовсе не спешил заводить этот разговор, тем паче что нетрудно было догадаться, о чем пойдет речь; после того как Дивион, все еще находившаяся в тюрьме, призналась в своих прегрешениях, схватили еще немало людей, в частности нотариуса Тессона и всех свидетелей, которых подвергли допросу… Приближенные заметили, что во время своих кратких бесед с королем Богемским Филипп VI уже не спрашивал по всякому поводу совета у Робера, а это могло означать лишь одно — монаршью немилость.

Накануне турнира так называемый «гербовый король»[24], главный распорядитель турнира, в сопровождении своих герольдов и своих трубачей обошел замок, жилища важнейших сеньоров, появился даже на самом ристалище, дабы объявить во всеуслышание:

— Итак, слушайте, слушайте, высокороднейшие и могущественные государи, герцоги, графы, бароны, сеньоры, рыцари и оруженосцы! Оповещаю вас от имени мессиров судей-распорядителей: пусть каждый принесет в сей же день шлем свой, в коем выйдет на турнир, а равно и

---

[24] Примечания: 24

…так называемый «гербовый король»… — «Гербовый король» — распорядитель, следивший за соблюдением всех формальностей турнира.

значок свой в отель мессиров судей, дабы названные выше мессиры судьи могли бы приступить к жеребьевке; и когда шлемы выставлены будут, придут на них посмотреть дамы и зрелищем этим насладятся; и нынче вечером иных забав, кроме танцев после ужина, не будет.

В монастырской гостинице, где разместились судьи, то и дело появлялись оруженосцы с хозяйскими шлемами в руках; шлем ставили на кофр к уже выстроенным в ряд другим шлемам и отправлялись восвояси в собственные шатры. Казалось, здесь собраны останки некой обезглавленной и обезумевшей армии. Ибо, желая быть замеченными на поле боя, участники турнира над баронскими и графскими коронами прицепляли к шлемам самые броские и самые странные эмблемы: кто орла, кто дракона, кто фигурку обнаженной девы или сирены, а кто и вставшего на дыбы единорога. Кроме того, к шлемам были прикреплены длинные шелковые шарфы цветов того или иного сеньора.

После полудня в гостиницу явились дамы и в сопровождении судей и обоих устроителей турнира — другими словами, короля Франции и короля Богемии — и по их приглашению обошли монастырские покои, а герольд, останавливаясь

перед каждым выставленным напоказ шлемом, провозглашал имена их владельцев:

— Мессир Иоганн Геннегау… Его светлость граф де Блуа… его высочество д'Эврё, король Наваррский…

Иные шлемы были выкрашены в те же цвета, что и рукоятки мечей и копий, откуда и пошли прозвища их хозяев: Рыцарь в черных доспехах, Рыцарь в белых доспехах…

— Мессир маршал Робер Бертран, Рыцарь Зеленого Льва…

Наконец черед дошел до огромного алого шлема, увенчанного гребнем из чистого золота…

— Его светлость Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже…

Королева, возглавлявшая шествие дам, проковыляла в направлении кофра и протянула было к шлему Робера ладонь. Но Филипп VI перехватил ее руку и, делая вид, будто поддерживает свою супругу, вполголоса бросил ей:

— Вот что, душенька моя, я запрещаю вам, слышите!

Королева Жанна в ответ злобно улыбнулась.

— А ведь случай был и впрямь весьма подходящий, — шепнула она своей соседке и невестке, юной герцогине Бургундской.

Ибо, согласно правилам турнира, ежели какая-либо из дам прикоснулась к шлему, рыцарь, владелец этого шлема, считался «нежелательным» — другими словами, уже не имел права участвовать в турнире. При его появлении на ристалище другие рыцари дружно избивали его древками копий, коня его отдавали трубачам, а самого силой сажали на изгородь, окружавшую ристалище, и он обязан был сидеть там в нелепейшей позе, верхом на частоколе, до конца турнира. Такому позорному наказанию обычно подвергали того, кто позволял себе злословить насчет дамы, или за какой-нибудь иной позорящий рыцаря неблаговидный проступок — то ли за ростовщичество, то ли за лжесвидетельство.

Движение королевы не укрылось от глаз мадам де Бомон, и она побледнела как полотно.

Она подошла к королю, своему брату, и с упреком обратилась к нему.

— Дорогая сестрица, — отвечал ей Филипп, сурово взглянув на графиню, — на вашем месте я не сетовал бы, а благодарил бы меня.

Вечером на танцах каждый уже знал об этом происшествии. Королева совсем уж собралась объявить Робера Артуа «нежелательным». Робер появился на балу с хмурой миной, как в самые

черные свои дни. Когда заиграли кароль, он открыто отказался войти в круг танцующих вместе с герцогиней Бургундской, направился к королеве Жанне и стал перед ней, хотя известно было, что из-за своего калечества она не танцует; так он простоял перед ней с минуту, любезно округлив руки, как бы приглашая ее на кароль, что, в сущности, было злобной местью и оскорблением. Жены переглядывались с мужьями; в тревожной тишине слышались лишь мелодичные переливы виол и арф. Казалось, достаточно было сущего пустяка, чтобы общий турнир начался на день раньше, и начался тут же в зале, где шли танцы.

Поэтому появление «гербового короля» в сопровождении герольдов оказалось более чем уместным.

— Итак, слушайте меня, высокородные принцы, сеньоры, бароны, рыцари и оруженосцы, прибывшие на турнир! Объявляю вам от имени мессиров судей-распорядителей, что каждый из вас завтра в полдень обязан явиться к ристалищу при оружии и готовым к бою, ибо в час пополудни судьи перережут веревки, дабы начался турнир, на коем дамами богатые награды вручены будут. Сверх того уведомляю вас, что ни один из вас не может привести с собой конных людей

в качестве свиты, кроме как в перечисленном ниже количестве, а именно: по четыре конных при принцах, по трое конных при графах, по двое — при рыцарях и по одному — при оруженосце, а пеших слуг каждый, сколько ему заблагорассудится, как то укажут судьи. А также да будет угодно вам поднять правую десницу к небесам и всем вместе поклясться, что ни один из вас на упомянутом выше турнире не будет из злого умысла разить противника в желудок или ниже пояса; и сверх того, ежели случится с чьей-то головы шлему слететь, то никто из вас того не тронет, пока сей шлем надет не будет и пришнурован, а ежели станете действовать иначе, тогда лишитесь оружия своего и боевого коня своего и будете при помощи глашатаев изгнаны со всех турниров, кои еще состояться имеют быть. Итак, поклянитесь в том святой верой и вашей честью.

Все будущие участники турнира подняли правую руку и хором прокричали:

— Да, да, клянемся!

— Смотрите, будьте завтра поосторожнее, — предупредил герцог Бургундский своих рыцарей, — боюсь, как бы наш кузен Артуа не натворил зла и не нарушил клятвы.

И тут снова начались танцы.

Глава VIII
Честь пэра, честь короля

Все участники турнира разошлись по своим богато убранным шатрам, над которыми реяли их знамена и где им предстояло снаряжаться к предстоящим боям. Первым делом натягивались штаны из металлических колец, к которым прикреплялись шпоры, потом шли железные пластинки, защищающие руки и ноги, затем полукольчуга из толстой кожи, на которую надевались латы, защищающие корпус, нечто вроде железного бочонка, разъемные или из целого куска, это уж как кому нравилось. Потом наступала очередь кожаного подшлемника, предохраняющего голову, в случае если тебя хватят копьем по металлическому шлему, и наконец водружался сам шлем со страусовыми перьями или с какой-нибудь эмблемой на гребне, а шлем привязывали к вороту полукольчуги кожаными шнурками. Поверх кольчуги надевался шелковый, с вышитыми на груди гербами плащ ярчайшего цвета, длинный, развевающийся, с необъятно широкими рукавами в разрезах, свободно ниспадавшими

с плеч. Только после этого рыцарю вручали тупой меч и щит, маленький или большой.

А у шатра уже ждал хозяина боевой конь под чепраком, расшитым гербами, нетерпеливо кусая удила, голова его была защищена железной полоской, на которой, как и на шлеме хозяина, красовался то орел, то дракон, то лев, то башня, то целый пук страусовых перьев. Оруженосцы держали три затупленных копья, полагающихся каждому участнику турнира, так же как и палицу, достаточно легкую, дабы не оказаться смертоубийственным орудием.

Знатные вельможи прохаживались между шатрами, заходили поглазеть, как снаряжают бойцов, подбадривали напоследок своих друзей.

Маленький принц Иоанн, старший сын короля, с восхищением следил за этими приготовлениями, а Жан Дурачок, сопровождавший принца, корчил из-под своего колпака с бубенчиками гримасы.

Огромную толпу простолюдинов удерживал на почтительном расстоянии отряд лучников; впрочем, собравшиеся не видели ничего, кроме пыли, так как за четыре дня участники турнира здорово изрыли все ристалище, вытоптали всю траву, и хотя землю время от времени поливали,

она превратилась в прах.

Не успев еще сесть на лошадей, участники турнира уже исходили потом под своим снаряжением, особенно еще и потому, что все металлические части доспехов раскалило июльское солнце. За день каждый терял не меньше четырех фунтов.

Проходили герольды, выкрикивая:

— Пришнуровывайте шлемы, пришнуровывайте шлемы, сеньоры рыцари, подымайте стяги и следуйте за стягом вашего государя!

Трибуны были битком набиты зрителями, судьи-распорядители, и среди них коннетабль мессир Миль де Нуайе и герцог Бурбонский, уже заняли свои места в самой середине.

Заиграли трубы, оруженосцы с трудом подсадили участников турнира на боевых коней, и рыцари разъехались кто к шатру короля Франции, кто к шатру короля Богемии, чтобы построиться в кортеж, попарно; за каждым рыцарем следовал его знаменосец со стягом, и в таком порядке вся кавалькада добралась до ристалища для торжественного выхода.

Канаты делили арену пополам. Обе партии стояли лицом к лицу. После нового сигнала трубы «гербовый король» выступил вперед и снова, в

последний раз, напомнил участникам правила турнира. Наконец он крикнул:

— Рубите канаты, сзывайте на бой, коли пришла, по-вашему, пора!

Герцог Бурбонский не мог слышать этот боевой клич без чувства какой-то внутренней тревоги, ибо у его отца, Робера Клермонского, шестого сына Людовика Святого, именно от этого клича начинались приступы внезапного безумия, будь то во время торжественной трапезы или даже на Королевском совете. Сам герцог Бурбонский предпочитал присутствовать на турнире в роли судьи.

Вот взмахнули секиры, и канаты были перерублены. Знаменосцы покинули ряды рыцарей; конные слуги с копьями, не превышавшими трех футов длины, выстроились вдоль перил, готовые в любую минуту прийти на помощь своему господину. И вот задрожала земля под мерными ударами лошадиных копыт, и две сотни боевых коней, пущенных галопом, понеслись вперед, шеренга на шеренгу. И начался бой.

Стоя на трибунах, дамы что-то кричали, стараясь не упустить из виду шлема своего рыцаря-избранника. Судьи со всем тщанием следили за наносимыми ударами, дабы определить победи-

телей. Скрещивались стальные копья, звенели стальные стремена, гулко отдавались удары по стальным доспехам, и от этого потревоженного металла шел адский грохот. Взметенная копытами пыль, как завесой, застилала солнце.

В первой же схватке четверо рыцарей были сброшены наземь с коней, а у двадцати других сломались копья. Оруженосцы сломя голову неслись с новыми копьями на утробный рык, рвавшийся из-под господского забрала, и ставили на ноги выбитых из седла, которые неуклюже, точно перевернутые на спину крабы, ворочались на земле. У кого-то оказалась сломанной нога, четверо слуг унесли его с поля.

Миль де Нуайе сидел с хмурой физиономией и, хотя был назначен главным судьей, не слишком-то интересовался ходом боя. Честно говоря, зря его заставляют терять тут время. А кто будет возглавлять работу Фискальной палаты, контролировать решения парламента, следить за тем, как управляют делами государства? Но в угоду королю приходится торчать здесь, любоваться, как эти оголтелые горлопаны ломают ясеневые копья! Впрочем, он не скрывал своих чувств.

— Дорого же обходятся нам все эти турниры: только бесполезная трата денег, недаром народ

недоволен, — твердил он своим соседям. — Ведь король-то не слышит, что говорят его подданные по деревням и городам. Он проезжает мимо и видит только одни согбенные спины людей, бросающихся лобызать ему ноги. Но я-то, я отлично знаю обо всем через наших бальи и прево. Пустая игра гордыни и суетности! А тем временем никто ничего не делает; ордонансы по две недели ждут подписи; Совет собирают лишь затем, чтобы решить, кого объявить «гербовым королем» или почетным рыцарем. Разве такой вот подделкой под рыцарство измеряется величие державы? Король Филипп Красивый знал это и недаром с согласия папы Климента запретил все турниры.

Коннетабль Рауль де Бриенн, приложив козырьком ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть то, что делается на ристалище, проговорил:

— Конечно, вы правы, мессир, но, по-моему, вы упускаете из виду одно достоинство турниров — они служат прекрасной подготовкой к войне.

— К какой войне? — воскликнул Миль де Нуайе. — Неужто вы на самом деле считаете, что войну ведут с этими свадебными пирогами на голове и в дурацких рукавах в два локтя длиной? Другое дело — состязания на копьях, тут я с вами согласен, так можно набить себе руку для насто-

ящей войны, но турнир потерял всякий смысл с тех пор, как ведут его не в воинских доспехах и рыцарь не знает, что такое подлинная тяжесть оружия. Более того, турниры пагубны, ибо наши молодые рыцари, никогда не участвовавшие в военных кампаниях, считают, что на поле битвы все идет точно так же, как на ристалище, и что на неприятеля бросаются лишь после того, как крикнут: «Рубите канаты!»

Миль де Нуайе мог позволить себе роскошь говорить так, ибо был маршалом армии еще в те времена, когда его родственник Гоше де Шатийон начинал свою карьеру коннетабля, а Бриенн еще упражнялся в рубке чучел.

— Турнир хорош тем, — заметил герцог Бурбонский как о чем-то само собой разумеющемся, — что нашим сеньорам представляется прекрасный случай узнать друг друга перед Крестовым походом.

Миль де Нуайе только плечами пожал. Недоставало еще этому герцогу, прославленному трусу, разглагольствовать о Крестовых походах!

Мессир Миль устал от вечных забот о делах государства, особенно при короле, вызывавшем единодушное восхищение, но которого Нуайе считал не слишком пригодным для управления

страной, и считал, основываясь на собственном долгом опыте сановника, годами стоявшего у кормила власти. Такая усталость нападает на человека, когда ему приходится, выбиваясь из сил, следовать ложным путем, и Миль, начинавший свою карьеру при Бургундском дворе, уже подумывал, не вернуться ли ему обратно. Куда лучше разумно управлять герцогством, чем безумно управлять всей страной, тем паче что накануне герцог Эд сделал ему такое предложение. Он поискал глазами герцога в гуще схватки и увидел, что тот лежит на земле, выбитый из седла Робером Артуа. Вот тут-то Миль де Нуайе заинтересовался ходом турнира.

Пока слуги подымали герцога Эда, Робер спешился и предложил своему противнику сразиться в пешем бою. С палицей и мечом в руке две железные башни двинулись друг на друга, шагая чуть враскачку, чтобы легче было нанести сокрушительный удар. Миль не спускал глаз с Робера Артуа, решив при первом же нарушении правил запретить ему дальнейшее участие в турнире. Но Робер, свято соблюдая все правила, не бил ниже пояса, а только по торсу. Своей боевой палицей он молотил по шлему герцога Бургундского и успел превратить в лепешку украшающего его

дракона. И хотя палица весила не больше фунта, у Эда, должно быть, сильно зашумело в голове: он уже с трудом защищался, и меч его чаще рассекал воздух, чем достигал Робера. Пытаясь уклониться от удара, Эд Бургундский потерял равновесие и упал; Робер поставил ему на грудь свою ножищу и мечом коснулся завязок шлема — герцог запросил пощады. Он сдался и вынужден был поэтому покинуть ристалище. Робера снова взгромоздили на коня, и он гордо проскакал галопом перед трибунами. Какая-то дама в восторге оторвала свой рукав и бросила Роберу, а он ловко подцепил его на кончик копья.

— Его светлости Роберу не следовало бы сейчас так уж красоваться, — заметил Миль де Нуайе.

— Подумаешь, — отозвался Рауль де Бриенн, — ведь ему сам король покровительствует.

— Но надолго ли? — возразил Миль де Нуайе. — Мадам Маго, по-моему, скончалась как-то слишком быстро, равно как и мадам Жанна Вдова. А потом исчезла их придворная дама, некая Беатриса д'Ирсон, и семья тщетно пытается отыскать ее следы… Герцог Бургундский поступает мудро, приказывая предварительно пробовать все блюда, которые ему подают.

— Вы совсем изменили свое отношение к Ро-

беру. Помнится, еще в прошлом году вы были на его стороне.

— А потому, что в прошлом году я еще не изучил его дела, а теперь возглавляю второе расследование…

— Смотрите-ка, мессир Геннегау пошел в атаку, — воскликнул коннетабль.

Иоганн Геннегау, сражавшийся бок о бок с королем Богемии, не щадил себя; его не считали в партии короля Франции важной особой, поэтому он и не бросил вызова королю, но теперь все уже знали, что именно он выйдет победителем.

Турнир длился целый час, а потом судьи приказали трубачам снова протрубить отбой, открыть проходы и развести противников. Однако с десяток рыцарей и оруженосцев Артуа, казалось, даже не слышали сигнала и как оглашенные колошматили четырех бургундских сеньоров, зажав их в углу ристалища. Робера среди них не было, но чувствовалось, что тут не обошлось без его науськиваний; с минуты на минуту схватка могла превратиться в прямое убийство. Пришлось королю Филиппу VI снять шлем и с непокрытой головой, чтобы все сразу узнавали его, к превеликому восторгу присутствующих, самолично развести драчунов.

Вслед за герольдами и трубачами обе враждующие стороны вновь построились в ряды, и кортеж двинулся с поля боя. Теперь, куда ни глянь, повсюду искореженное оружие, разодранные кольчуги, расколотые гербы, охромевшие лошади под превратившимися в лохмотья чепраками. Кто-то заплатил за участие в турнире собственной жизнью, а несколько человек остались калеками. Кроме Иоганна Геннегау, которому присудили главный приз, врученный ему самой королевой, все участники турнира получили на память какой-нибудь презент: кто золотой кубок, кто чашу или серебряный тазик.

В своих шатрах с поднятыми боковыми полотнищами разоблачались сеньоры, показывая соседу кто отекшее лицо, кто рассеченные до крови запястья, там, где отходила латная рукавица, кто распухшие ноги. Все это сопровождалось пересудами.

— А мне сразу шлем искорежили. Поэтому-то я и не мог…

— Если бы сир Куржан не бросился к вам на выручку, только бы вас, дружок, и видели!

— Недолго же продержался герцог Эд против его светлости Робера!

— Надо признать, Бреси вел себя прекрасно!

Хохот, злобные намеки, одышливое, усталое дыхание; участники турнира направились в парильню, устроенную неподалеку в огромном сарае, где их уже ждали заранее приготовленные чаны, куда первыми влезали принцы, после них бароны, после баронов рыцари, а последними оруженосцы. Здесь царила та дружеская мужская близость, какая обычно устанавливается после совместных физических состязаний, но под ней все еще угадывалась неостывшая злоба. Филипп VI и Робер Артуа погрузились в два соседних чана.

— Славный турнир, славный, — твердил Филипп. — Да, кстати, дорогой брат, мне нужно с тобой поговорить.

— Сир, брат мой, я весь превратился в слух.

По всему чувствовалось, что Филиппу не так-то легко дался этот шаг. Но можно ли найти более подходящую минуту, чтобы поговорить откровенно со своим кузеном, со своим зятем, с другом своей юности, со всегдашним своим другом, чем эта минута, когда они оба только что бились бок о бок на турнире и когда весь сарай дрожит от криков и звонких хлопков, которыми щедро награждают друг друга рыцари, среди плеска воды, среди пара, подымавшегося из чанов и как бы

отделявшего их от всех остальных.

— Робер, ты затеял несправедливую тяжбу, так как все твои бумаги поддельные.

Из чана, где отмывался Робер, показалась сначала красно-рыжая шевелюра, потом красные щеки.

— Нет, брат мой, они подлинные.

Король досадливо поморщился:

— Заклинаю тебя, Робер, не упорствуй в своих заблуждениях. Я сделал для тебя даже больше, чем мог сделать, я действовал вопреки мнению большинства, как в собственной семье, так и в Малом совете. Я согласился отдать графство Артуа герцогине Бургундской лишь при условии, что твои права будут сохранены; я назначил управителем Ферри де Пикиньи, человека, тебе безусловно преданного. Я предложил герцогине, что Артуа будет у нее выкуплено и отдано тебе...

— Нет никакой нужды выкупать Артуа, коль скоро оно принадлежит мне!

Наткнувшись на такое ослиное упрямство, Филипп VI сердито махнул рукой. И крикнул своему камергеру:

— Труссо! Подбавьте, пожалуйста, холодненькой воды.

Потом снова обратился к Роберу:

— Ведь это общины графства Артуа не пожелали вносить деньги, чтобы переменить хозяина, ну я-то что могу в таком случае поделать?.. Я и так на целый месяц задержал ордонанс о начале твоей тяжбы. Целый месяц отказываюсь поставить под ним свою подпись, потому что не желаю, чтобы брат мой стоял на одной доске со всяким сбродом, который, того и гляди, вымажет тебя грязью, а от такой грязи, боюсь, отмыться будет не так-то легко. Человек слаб, все мы совершали не одни лишь достойные хвалы поступки. Твои свидетели или подкуплены, или дали показания под угрозами; твой нотариус много чего порассказал; те, кто подделывал бумаги, взяты под стражу и признались, что письма писаны ими.

— Письма подлинные, — повторил Робер.

Филипп VI вздохнул. Сколько приходится тратить сил, чтобы спасти человека вопреки его воле!

— Я же не утверждаю, Робер, что ты сам во всем виновен. Не утверждаю, как говорят вокруг, будто ты тоже приложил руку ко всем этим подлогам. Тебе принесли бумаги, ты поверил, что они подлинные, ты просто обманулся…

Сидя в своем чане, Робер с силой стиснул челюсти.

— Возможно даже, — продолжал Филипп, — что тебя провела моя собственная сестра, твоя супруга. Порой женщины, думая нам услужить, пускаются на обман. Лживость — их вторая натура. Возьми хоть мою — не побрезговала украсть печать!

— Да, все женщины лгуньи, — гневно произнес Робер. — Все это бабьи проделки, все это подстроили твоя супруга и ее невестка Бургундская. Я и в глаза не видел этих гнусных людишек, из которых якобы выколачивал ложные признания!

— А также я хочу оградить тебя от клеветы, — понизив голос, продолжал Филипп. — Вспомни, что говорят о смерти твоей тетки!..

— Прости, но обедала-то она у тебя!

— Зато дочь ее у меня не обедала, а умерла в два дня.

— Я ведь не единственный враг, которого они, эти мерзавки, сумели себе нажить, — возразил Робер притворно равнодушным тоном.

Он вылез из чана и крикнул, чтобы ему принесли полотенца, Филипп последовал его примеру. Так они и стояли друг перед другом, оба голые, розовотелые, густо поросшие шерстью. На почтительном расстоянии ждали слуги, держа на вытянутых руках их парадные одеяния.

— Робер, я жду твоего ответа, — сказал король.

— Какого ответа?

— Что ты отказываешься от Артуа, чтобы мне удалось потушить дело…

— И чтобы ты мог взять обратно свое слово, которое ты же мне дал перед вступлением на престол? Сир, брат мой, неужели ты забыл, кто помог тебе стать королем, кто объединил пэров, кто добыл для тебя скипетр?

Филипп Валуа схватил Робера за запястья и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

— Если бы я про это забыл, Робер, как, по-твоему, разговаривал бы я сейчас с тобой?.. Отступись, прошу тебя в последний раз.

— Не отступлюсь, — отрицательно покачал головой Робер.

— И ты отказываешь в этом королю?

— Да, сир, королю, которого создал я.

Филипп разжал пальцы, стискивавшие запястья Робера.

— Ну, как знаешь, пусть ты не дорожишь своей честью пэра, — проговорил он, — зато я дорожу своей честью короля!

Глава IX
Семейство Толомеи

— Прошу простить меня, ваша светлость, но я не могу подняться и встретить вас как положено, — с трудом проговорил сквозь мучительную одышку Толомеи, когда на пороге показался Робер Артуа.

Старый банкир лежал в постели, которую перенесли в его рабочий кабинет; легкое покрывало обрисовывало его вздутый живот и иссохшую грудь. Очевидно, его не брили уже целую неделю, и издали казалось, будто его ввалившиеся, заросшие щетиной щеки густо присыпаны солью, а посиневшие губы жадно хватали воздух. Но хотя окно было открыто, оттуда, с Ломбардской улицы, не доносилось ни дуновения ветерка. Под августовским солнцем лежал раскаленный уже с утра Париж.

Еле-еле брезжила жизнь в дряхлом теле мессира Толомеи, еле брезжила жизнь в его правом открытом глазу, и выражал этот взгляд лишь усталость, лишь презрение, так, словно бы прожитые восемь десятков лет были только пустой

тратой сил.

Вокруг постели стояли четыре смуглолицых человека, все тонкогубые, с блестящими, как маслины, глазами, и все в одинаковой темной одежде.

— Мои двоюродные братья Томео Томеи, Андреа Томеи, Джаккомо Томеи, — проговорил умирающий, слабо махнув в их сторону рукой. — А моего племянника Гуччо Бальони вы изволите знать…

К тридцати пяти годам виски Гуччо уже покрыла проседь.

— Они приехали из Сиены повидать меня перед смертью… и еще по разным делам, — медленно проговорил старый банкир.

Робер Артуа в дорожном костюме уселся в подвинутое ему кресло и, чуть наклонившись вперед, смотрел на старика с тем притворным вниманием, с каким смотрят люди, которых ни на минуту не оставляет своя гложущая забота.

— Его светлость Артуа — наш, осмелюсь сказать, друг, — обратился к своим родичам Томеи. — Все, что можно будет сделать для него, должно быть сделано: он не раз спасал нас, но сейчас это от него не зависело…

Так как сиенские кузены не понимали по-фран-

цузски, Гуччо наспех перевел им слова дяди, и трое смуглолицых кузенов дружно закивали головами.

— Но если вы нуждаетесь в деньгах, ваша светлость, то при всей моей безграничной преданности вам мы, увы, бессильны! И вы сами отлично знаете почему…

Чувствовалось, что Спинелло Толомеи бережет последние свои силы. Да, впрочем, и не было надобности особенно распространяться. К чему растолковывать человеку, знающему, в каком трагическом положении оказались итальянские банкиры и какую отчаянную борьбу вели они в течение нескольких месяцев.

В январе король издал ордонанс, который грозил всем ломбардцам высылкой. Впрочем, это было не так уж ново: каждое следующее царствование в трудные свои минуты прибегало к той же самой угрозе, и за право пребывания на французской земле ломбардцы платили выкуп — другими словами, у них просто отбирали чуть не половину их имущества. Желая возместить убытки, банкиры в течение следующего года увеличивали проценты, взимаемые с суммы займов. Но на сей раз ордонанс сопровождался более суровыми мерами. Все векселя, выданные

французскими вельможами итальянцам, по воле короля надлежало считать недействительными, и должникам запрещалось уплачивать по векселям, будь даже у них на то охота или возможность. Королевские приставы стояли на страже у дверей ломбардских контор и заворачивали обратно честных должников, приходивших расплачиваться с кредиторами. Ну и плач же стоял среди итальянских банкиров!

— И все потому, что ваша знать залезла в неоплатные долги со всеми этими безумными пиршествами, всеми этими турнирами, где каждому хочется блеснуть перед королем! Даже при Филиппе Красивом с нами так не обходились.

— Я ведь ходатайствовал за вас, — заметил Робер.

— Знаю, знаю, ваша светлость. Вы всегда защищали наши компании. Но теперь вы сами в немилости, как и мы, грешные… Мы еще надеялись, что все образуется, как и в прошлые разы. Но кончина Маччи деи Маччи нанесла нам последний удар!

Старик медленно обратил взор к открытому окну и замолк.

Маччи деи Маччи — один из крупнейших итальянских финансистов, проживавших во

Франции, которому Филипп VI в начале своего правления доверил по совету Робера управление казной, был повешен на прошлой неделе после наспех сварганенного суда.

Тут в разговор вмешался Гуччо Бальони, и в голосе его прозвучал с трудом сдерживаемый гнев:

— Это человек, который всего себя, все свое умение отдал вашей стране, верно служил ей много лет! Да, он чувствовал себя настоящим французом, даже больше, чем ежели родился бы на берегах Сены! Что же, он обогатился на своей должности больше других, тех, что приказали его повесить? Удар всегда наносят по итальянцам, потому что у них нет возможности себя защитить!

Сиенские кузены улавливали отдельные слова Гуччо; при упоминании имени Маччи деи Маччи брови их скорбно поднялись до половины лба, и они, прикрыв веки, испустили жалобный хриплый стон.

— Толомеи, — начал Робер Артуа, — я пришел к вам не за деньгами, я хочу попросить вас взять мои деньги.

Как ни ослабил Толомеи смертельный недуг, но и он от этого неожиданного предложения приподнялся на подушках.

— Да-да, — продолжал Робер, — мне хотелось

бы вручить вам все мои деньги в обмен на заемные письма. Я уезжаю. Покидаю Францию.

— Вы, ваша светлость? Значит, ваша тяжба проиграна? Решение вынесено против вас?

— Тяжба начнется еще через месяц. А знаешь, банкир, как обходится со мной король, хотя я женат на его родной сестре и без меня никогда бы не сидеть ему на троне? Послал своего жизорского бальи трубить под дверями моих замков, и Конша, и Бомона, и Орбека, что он-де вызывает меня в День архангела Михаила в парламент на свой суд. Хорош, нечего сказать, их суд, раз уже заранее вынесено решение в пользу моих врагов. Филипп целую свору спустил на меня: Сент-Мора — своего мерзкого канцлера, Форже — своего вора казначея, Матье де Три — своего маршала и Миля де Нуайе, чтобы проложить им дорожку. Все те же самые, что вздернули вашего друга Маччи деи Маччи, что ополчились на вас! Королева-мужик, эта хромуша, взяла верх, Бургундия восторжествовала, а вместе с ней и вся эта мразь. Бросили в темницу моих нотариусов, моего духовника, пытают моих свидетелей, чтобы те от всего отреклись. Ну и пускай меня судят, а я буду уже далеко. Мало того что украли у меня Артуа, еще и поносят меня при всяком

удобном и неудобном случае! На это королевство мне наплевать, а его король — мой враг; уеду за рубежи Франции и буду чинить ему зло, сколько в моих силах! Завтра уезжаю в Конш и отошлю моих лошадей, посуду, драгоценности и оружие в Бордо, и там их погрузят на корабль, отплывающий в Англию! Хотели все заграбастать себе — и меня самого, и мое добро, так нет, голыми руками нас не возьмешь!

— Вы едете в Англию, ваша светлость? — спросил Толомеи.

— Сначала попрошу убежища у моей сестры, графини Намюрской.

— А ваша супруга тоже отправляется с вами?

— Моя супруга приедет ко мне позднее. Так вот, банкир, все мои деньги против заемных писем в ваши конторы в Голландии и Англии. А вам отколется по два ливра с двадцати.

Толомеи перекатил голову на подушке и завел со своим племянником и сиенскими кузенами разговор по-итальянски, так что Робер понимал лишь через пятое на десятое. Уловил слова «debito… rimborso… deposito…»[25]. Взяв деньги у французского сеньора, не преступят ли они тем

---

[25] Примечания: 25

Debito — долг, задолженность; rimborso — выплата, возмещение; deposito — вклад, взнос *(ит.).*

самым королевский ордонанс? Нет, конечно, ведь речь в этом случае идет не о возвращении долга, а о deposito.

Тут Толомеи снова повернул к Роберу свое лицо, осыпанное солью седой щетины, и шевельнул синими губами.

— Мы тоже, ваша светлость, мы тоже уезжаем, вернее, они уезжают… — пояснил он, указывая на своих родичей. — И увезут с собой все, что имеется у нас здесь. Сейчас в наших банкирских компаниях полный разлад. Барди и Перуцци все еще колеблются: считают, что, мол, худшее уже миновало и что, если пониже поклониться… Они вроде евреев — те свято верят в законы и считают, что, коль скоро они отдали свой сребреник, их оставят в покое; сребреник-то у них берут и тут же тащат их на костер! Словом, Толомеи уезжают. Наш отъезд кое-кого удивит, ибо мы увозим с собой в Италию все деньги, которые были нам доверены; бóльшая часть уже отправлена. Раз нам запрещают взимать долги, что ж, мы прихватим

с собой вклады[26]!

На изглоданном болезнью старческом лице вдруг промелькнуло, видимо уже в самый последний раз, лукавое выражение.

— Я лично оставлю французской земле только свои кости, что не такое уж огромное богатство, — добавил он.

— И впрямь, Франция была нам мачехой, — сказал Гуччо Бальони.

— Ну, ну! Она дала тебе сына, а это уж не так мало.

— Ах да, — воскликнул Робер Артуа, — ведь у вас есть сын. Как он, растет?

— Большое спасибо вам, ваша светлость, — ответил Гуччо. — Скоро будет выше меня. Ему уже пятнадцать. Вот только никак к делам его

---

[26] Примечания: 26

Раз нам запрещают взимать долги, что ж, мы прихватим с собой вклады! — Компания Толомеи, как мы уже говорили, была самой крупной из сиенских компаний, уступая только предприятию Буонсиньори. Ее основание восходит к Толомео Толомеи, другу или, по крайней мере, человеку, близкому к Александру III, папе с 1159 по 1181 г., который сам был сиенцем и противником Фридриха Барбароссы. Палаццо Толомеи в Сиене было построено в 1205 г. Толомеи часто были банкирами Святого престола; основали свои филиалы во Франции около середины XIII в., сначала ведя свои дела на шампанских ярмарках, потом создав многочисленные отделения, в том числе Нофльское, со штаб-квартирой в Париже.

Когда грянули указы Филиппа VI и крупные итальянские негоцианты угодили на три недели в тюрьму, чтобы вновь обрести свободу, лишь изрядно раскошелившись, Толомеи внезапно уехали, прихватив с

собой все суммы, депонированные у них либо другими компаниями, либо их французскими клиентами, что создало достаточно серьезные трудности для королевской казны.

не приучу.

— Это придет, придет со временем, — заметил старик Толомеи. — Итак, ваша светлость, мы согласны. Доверьте нам все ваши наличные деньги; мы сумеем их вывезти, дадим вам заемные письма и процентов с вас удерживать не будем. Наличные деньги всегда сгодятся.

— Весьма тебе признателен, Толомеи; мои сундуки привезут нынче ночью.

— Когда из страны начинает утекать золото, благополучие этой страны под угрозой. Вы будете отомщены, ваша светлость, не знаю еще точно, каким образом, но непременно будете отомщены!

Левый, обычно плотно прижмуренный глаз внезапно широко открылся. Толомеи глядел на гостя обоими глазами, глядел, возможно впервые в жизни, правдивым взором. И Робер Артуа почувствовал вдруг, что в душе у него что-то шевельнулось, ибо старик-ломбардец со смертного своего одра зорко следил за ним.

— Толомеи, я навидался немало храбрецов, сражавшихся на поле боя до самого конца, и ты тоже по-своему такой же храбрец.

Печальная улыбка сморщила губы банкира.

— Это вовсе не храбрость, ваша светлость, на-

против. Если бы я не занимался сейчас делами, я бы здорово боялся!

И, подняв с покрывала свою высохшую руку, Толомеи сделал Роберу знак приблизиться.

Робер склонился над постелью умирающего, как бы надеясь услышать от него какое-то признание.

— Разрешите, ваша светлость, благословить своего последнего клиента.

И кончиком большого пальца он начертал на густоволосой голове гиганта крест — так в Италии отцы чертят крест на лбу сына, отправляющегося в долгий путь.

Глава X
Судилище

В самой середине подмостков, на кресле с подлокотниками, заканчивающимися львиными мордами, сидел Филипп VI с короной на голове и в королевской мантии. Над ним колыхался шелковый балдахин, вышитый гербами Франции; время от времени король наклонялся то влево, к своему кузену, королю Наваррскому, то вправо, к своему родичу, королю Богемии, призывая их оценить его долготерпение и доброту.

В ответ король Богемии в негодовании понимающе тряс своей красивой каштановой бородой. Ну как, скажите, мог рыцарь, пэр Франции, словом, как мог Робер Артуа, принц крови, вести себя подобным манером, ввязаться в грязные махинации, о чем как раз сейчас зачитывал судья, как мог опозорить себя, вожжаясь с разным темным сбродом?

Среди светских пэров впервые восседал наследник престола, которого только что по приказу отца сделали герцогом Нормандским, — принц Иоанн, неестественно высокий для своих тринадцати лет мальчик, с хмурым, тяжелым взглядом и с непомерно длинным подбородком.

В свите принца состояли граф Алансонский — брат короля, герцоги Бурбонский и Бретонский, граф Фландрский, граф Этампский. Пустовали лишь два табурета: один — предназначенный для герцога Бургундского, который, как участник тяжбы, не мог заседать в судилище, другой — для короля Англии, которого на сей раз даже никто не представлял.

Среди церковных князей присутствующие узнавали монсеньора Жана де Мариньи, графа-епископа Бовезского, и Гийома де Три, архиепископа Реймского.

Желая придать судилищу еще больше торжественности, король пригласил также архиепископов Санского и Экского, епископов Аррасского, Отенского, Блуазского, Форезского, Вандомского, герцога Лотарингского, графа Вильгельма Геннегау и его брата Иоганна и всех высших сановников короны: коннетабля, обоих маршалов, Миля де Нуайе, сиров Шатийонского, Суайекурского и Гарансьерского, которые входили в Малый совет, и еще многих других, сидящих вокруг подмостков вдоль стен большой Луврской залы, где происходило судилище.

Прямо на полу, где были разостланы квадратные куски ткани, пристроились, скрестив ноги, те, кто проводил дознание, и советники парламента, а также судейские писцы и священнослужители рангом пониже.

Перед королем, на расстоянии шести шагов, стоял главный прокурор Симон де Бюсси в окружении тех, кто вел расследование, и уже третий час подряд читал вслух по листкам свою обвинительную речь, самую длинную из тех, что ему когда-либо доводилось произносить. Пришлось ему начать с самого истока возникновения дела о графстве Артуа, еще с конца минувшего века, припомнить о первой тяжбе 1309 года, прекра-

щенной Филиппом Красивым, о вооруженном мятеже, поднятом Робером против Филиппа Длинного в 1316 году, о второй тяжбе 1318 года и лишь затем перейти к изложению теперешнего дела о лжеклятвах, принесенных в Амьене, о первом дознании и контрдознании, о бесчисленных свидетельских показаниях, о совращении свидетелей, о подложных бумагах, о взятии под стражу сообщников.

Все эти факты, которые один за другим вытащили на свет божий, подробно объяснили собравшимся и прокомментировали в их последовательности, в их сложнейшем взаимопереплетении, представляли собой не только материал для крупнейшего гражданского процесса и для неслыханного доныне уголовного дела, но и непосредственно касались истории французского государства за последние четверть века. Присутствующие были одновременно заворожены и ошеломлены — ошеломлены сообщениями прокурора и заворожены тем, что на суде была показана тайная жизнь знатного барона, перед которым еще вчера все трепетали, с которым каждый старался быть в дружбе и который в течение столь долгого времени вершил дела всей Франции! Скандальное разоблачение тайны

Нельской башни, пребывание Маргариты Бургундской в узилище, расторжение брака Карла IV, Аквитанская война, отказ от Крестового похода, поддержка, оказанная Изабелле Английской, выборы Филиппа VI — всему этому душой был Робер Артуа: это по мановению его руки творилась история, или же он направлял ее в желательное для него русло, движимый единственной мыслью, единственным стремлением — графство Артуа, наследство Артуа!

Сколько же присутствовало здесь таких, что обязаны были своим титулом, своей должностью, своим богатством этому клятвопреступнику, этому подделывателю родовых грамот, этому преступнику… начиная с самого короля!

Скамья подсудимых была чисто символически занята двумя вооруженными приставами, державшими огромный шелковый щит с изображением герба Робера «с лилиями Франции, разделенный на четыре части пурпурового цвета, и в каждой части по три золотых замка».

И всякий раз, когда прокурор упоминал имя Робера, он поворачивался к этому куску шелка, словно бы к живому человеку.

Наконец он дошел до бегства графа Артуа:

— Невзирая на то что местопребывание ему

назначено было через мэтра Жана Лонкля, бальи Жизора, в обычных его жилищах, упомянутый выше Робер Артуа, граф Бомон, не предстал перед судом государя нашего короля и его судейской палаты, будучи вызван на день двадцать девятый месяца сентября. Со всех сторон доходили до нас слухи, что лошади и сокровища упомянутого выше Робера в Бордо погружены были на корабль, а его золотые и серебряные монеты неправедным путем вывезены за пределы государства, а сам он, не представ перед королевским правосудием, бежал за рубеж.

Шестого октября, года 1331, некая Дивион, признавшая себя виновной во многих злодеяниях, совершенных ради выгоды оного Робера и своей собственной, в том числе в подделке важнейших бумаг, чужим почерком писанных, а равно подделке печатей, сожжена была в Париже на площади Пурсо, и прах ее развеян в присутствии его светлости герцога Бретонского, графа Фландрского, сира Иоганна Геннегау, сира Рауля де Бриенна, коннетабля Франции, маршалов Робера Бертрана и Матье де Три и мессира Жана де Милона, прево города Парижа, который и доложил королю об исполнении…

Перечисленные выше потупились: до сих пор в

ушах их отдавались вопли Дивион, привязанной к столбу, до сих пор в глазах полыхали отблески пламени, пожиравшего ее пеньковое платье, вздувшуюся кожу на ногах, лопавшуюся от огня, не забыли они также страшного зловония, которое гнал им в лицо октябрьский ветер. Так кончила дни свои любовница бывшего епископа Аррасского.

— Октября двенадцатого и четырнадцатого дня мэтр Пьер, советник из Оксера, и Мишель Парижский, бальи, уведомили мадам де Бомон, супругу оного Робера, сперва в Жуи-ле-Шатель, затем в Конше, Бомоне, Орбеке и Катр-Маре, где обычно пребывание она имеет, что король отсрочил суд на четырнадцатое декабря. Но оный Робер и в то число вторично перед судом не предстал. По великой милости своей сир, король наш, вновь суд отсрочил, считая две недели после праздника Сретения, и, дабы оный Робер сослаться не мог на то, что ему это неведомо, велено было сделать громогласно объявление сначала в верхней палате парламента, затем за мраморным столом в большой дворцовой зале и после с тем же поручением в Орбек и Бомон, а также и в Конш отряжены были оные Пьер из Оксера и Мишель Парижский, где им, однако ж, беседу иметь не удалось с мадам

де Бомон, но перед дверью опочивальни ее они в полный голос постановление прочли, так что она не услышать не могла…

Всякий раз, когда упоминалось имя мадам де Бомон, король с силой проводил всей ладонью по лицу, так что даже сворачивал на сторону свой мясистый, солидный нос. Ведь речь-то шла о его сестре!

— В парламенте, где король должен был вершить правосудие в указанное выше число, оный Робер Артуа и на сей раз не предстал, но, однако ж, представительство за себя поручил мэтру Анри, старейшине Брюсселя, и мэтру Тьебо из Мо, канонику Камбре, уполномочив их место его занять и изложить причины отсутствия своего. Но коли судилище отсрочено было на понедельник, считая две недели после дня Сретения Господня, а уполномочивавшие их бумаги вторником были подписаны, по причине сей полномочия их признаны не были и в третий раз неявка перед судилищем была вменена подзащитному в вину. А как стало известно и ведомо, что тем временем Робер Артуа найти себе убежище пытался поначалу у графини Намюрской, сестры своей, но государь наш король распорядился запретить графине Намюрской оказывать помощь и при-

нимать у себя мятежника, и она отказала брату своему, оному Роберу, пребывать во владениях своих. После чего оный Робер вознамерился убежище себе испросить у его светлости графа Вильгельма в его государстве Геннегау, но по настоятельной просьбе государя нашего короля граф Геннегау отказал оному Роберу пребывать во владениях своих. И еще упомянутый выше Робер попросил убежища и приюта у герцога Брабантского, каковой герцог по просьбе государя нашего короля не склоняться на мольбы оного Робера ответил поначалу, что он-де не вассал короля Франции и волен принимать на землях своих любого, кого ему заблагорассудится и кому гостеприимство оказывать ему по душе. Но затем герцог Брабантский внял увещеваниям Иоганна Люксембургского[27], короля Богемии, и наиблагопристойнейшим образом Робера Артуа выпроводил из герцогства своего.

---

[27] Примечания: 27

Но затем герцог Брабантский внял увещеваниям Иоанна Люксембургского… — Эти «увещевания» зашли довольно далеко, поскольку Иоанн Люксембургский, чтобы угодить Филиппу VI, собрал коалицию и угрожал герцогу Брабантскому вторгнуться в его земли. Герцог Брабантский предпочел удалить Робера д'Артуа, но выторговал при этом выгодную для себя сделку: брак своего старшего сына с дочерью короля Франции. Иоанн Богемский тоже был вознагражден за свое вмешательство заключением брака его дочери Бонны Люксембургской с наследником короля Франции, Иоанном Нормандским.

Филипп VI повернулся сначала к графу Геннегау, затем к королю Иоганну Богемскому, и взгляд его выражал дружескую признательность, не без примеси, однако, печали. Король явно страдал, да, впрочем, и не он один. Пусть Робер Артуа и впрямь повинен во всех этих преступлениях, люди, близко знавшие его, как бы воочию представили себе, как мчится беглец из одного маленького графства в другое, где его принимают на день, а назавтра изгоняют прочь, и как забирается он все дальше и дальше, но лишь затем, чтобы снова его изгнали. Ну почему он с таким неистовым ожесточением искал собственной погибели, когда король до последней минуты готов был протянуть ему руку помощи?

— Невзирая на то что расследование закончено, после того как выслушаны семьдесят шесть свидетелей, из коих четырнадцать находятся в королевских тюрьмах, и королю все ведомо стало, невзирая на то что все перечисленные злоупотребления явными стали, государь наш король во имя старой дружбы дал знать оному Роберу Артуа, что выдано ему будет охранное свидетельство, дабы мог он возвратиться в наше государство и преступить за рубежи его, буде на то его желание, и не будет ему причинено

никакого зла, ни ему, ни людям его, дабы мог он выслушать выдвинутые против него обвинения, представить доказательства в защиту свою, признать вину свою и получить помилование. Однако ж оный Робер не пожелал преклонить слух свой, и отверг предложенную ему милость, и вернуться в королевство намерения не возымел, а во время скитаний своих сошелся с разными дурными людьми, изгнанными за рубежи Франции, и врагами короля; и многие слышавшие подтверждают, что неоднократно он говорил о своем намерении погубить мечом или через порчу канцлера, маршала де Три, и многих советников государя короля нашего и те же угрозы произносил против самого короля.

По рядам прошел не сразу смолкший ропот негодования.

— Все вышесказанное стало нам ведомо и достоверно ввиду того, что оный Робер Артуа в последний раз получил отсрочку, о чем во всеуслышание заявлено было, на эту нынешнюю среду, восьмое апреля, дня перед Вербным воскресеньем, и призывают его явиться в четвертый раз…

Симон де Бюсси прервал чтение, махнул приставу-булавоносцу, а тот громогласно провозгласил:

— Мессир Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже, входите.

Все взоры невольно обратились к двери, как будто присутствующие и впрямь ждали, что войдет обвиняемый. Так прошло несколько секунд среди гробового молчания. Затем пристав пристукнул булавой по полу, и прокурор продолжал:

— …И, учитывая, что оный Робер снова закон преступил, от имени государя короля нашего выносим вышеозначенный обвинительный приговор: Робер лишается всех своих титулов, прав и преимуществ пэра Франции, равно как и всех прочих своих титулов, сеньорий и владений; сверх того, все добро его, земли, замки, дома и все имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее ему, конфисковано будет и передается казне, дабы распоряжались им по воле короля; сверх того, все гербы в присутствии пэров и баронов будут уничтожены, и не станет их отныне ни на стягах его, ни на печати, а сам он навсегда изгоняется из пределов Французского королевства с запрещением всем вассалам, союзникам, родичам и друзьям государя короля нашего давать ему приют и убежище; вынесенный здесь приговор будет глашатаями и трубачами громогласно оглашаться на всех главных перекрестках Парижа, и

приказано бальи городов Руана, Жизора, Экса и Буржа, равно как и сенешалям Тулузы и Каркассона, поступить точно так же… именем короля.

Мэтр Симон де Бюсси замолк. Король, казалось, погрузился в свои мысли. Рассеянный взгляд его обегал ряды присутствующих. Потом он склонил голову, сначала направо, затем налево, и произнес:

— Жду вашего совета, мои пэры. Если все молчат, значит одобряют!

Ни одна рука не поднялась, ни одни уста не промолвили ни слова.

Ладонью Филипп VI хлопнул по львиной голове, которой заканчивался подлокотник кресла:

— Решение принято!

Тут прокурор приказал двум приставам, державшим шелковый герб Робера Артуа, подойти к подножию трона. Канцлер Гийом де Сент-Мор, один из тех, кого обещался покарать из своей дали изгнанник Робер, подошел к гербу, взял из рук одного из приставов меч и ударил по ткани. С противным скрипом шелк с нарисованным на нем гербом, рассеченный мечом, разодрался пополам.

Пэрство Бомон приказало долго жить. Тот, ради кого оно было создано, принц крови, потомок

Людовика VIII, гигант, прославленный своей силой, неутомимый интриган, превратился в простого изгоя — он уже не принадлежал более тому государству, которым правили его предки, и ничто в этом государстве не принадлежало ему.

В глазах этих пэров и сеньоров, всех этих людей, для коих гербы были не просто знаком владычества, но и самой сутью их существования, по приказу которых эти эмблемы красовались на крышах замков, на чепраках лошадей, развевались на копьях, были вышиты на груди их парадного одеяния, на плащах их оруженосцев, на ливреях их слуг, намалеваны на креслах и стульях, выгравированы на посуде, которые, как клеймом, отмечали людей, животных и вещи, зависящие от их воли или составляющие их личное достояние, — в глазах этих пэров и сеньоров удар меча по куску шелковой ткани был своего рода не церковным, а светским отлучением, был куда позорнее плахи, салазок для перевозки преступников или виселицы. Ибо смерть заглаживает вину, а обесчещенный так и умирает обесчещенным.

«Но коли человек жив, еще не все потеряно», — думал Робер Артуа, бродя за пределами своей отчизны, без толку колеся по враждебным ему

дорогам в поисках новых всесветных злодеяний.

Часть четвертая
Зачинщик войны
Глава I
Изгой

Целых три года Робер Артуа, как подстреленный тигр, бродил у рубежей французского государства.

Родич королей и принцев всей Европы, племянник герцога Бретонского, дядя короля Наваррского, брат графини Намюрской, свояк графа Геннегау и принца Тарантского, кузен короля Неаполитанского, короля Венгерского и еще многих других, он на сорок шестом году жизни превратился в одинокого бродягу, перед которым одна за другой захлопывались двери всех замков. Денег у него было в избытке, недаром он взял у сиенских банкиров заемные письма, но никогда ни один паж не заглядывал в ту харчевню, где останавливался Робер, чтобы попросить его отобедать в замке от имени своего сеньора. Случались в этих краях и турниры. Каждый ломал голову, как бы половчее не пригласить Робера Артуа, этого изгоя, этого подделывателя бумаг,

которого прежде усадили бы на самое почетное место. Управитель почтительным, но ледяным тоном передавал ему приказ: его светлость граф сюзерен просит Робера Артуа избрать себе для прогулок какое-нибудь более отдаленное местечко. Ибо его светлость граф сюзерен, или герцог, или маркграф отнюдь не желал ссориться с королем Франции и отнюдь не стремился оказывать гостеприимство опозорившему себя человеку, лишенному гербов и собственного знамени.

И Робер пускался куда глаза глядят в сопровождении одного лишь своего слуги Жилле де Неля, весьма подозрительного субъекта, который вполне созрел для петли, но зато был слепо предан своему хозяину, как некогда был предан ему Лорме. За это Робер платил ему тем, что дороже денег, — близостью знатного сеньора, попавшего в беду. Сколько вечеров во время своих блужданий провели они, играя в кости, пристроившись на уголке стола захудалой харчевни! И когда им уж очень становилось невтерпеж, оба дружно направлялись в первое попавшееся непотребное заведение, а во Фландрии их не счесть, да и дебелых девок предостаточно.

Именно в таких местах и доходили до Робера вести о том, что делается во Франции, узнавал он

их от торговцев, возвращавшихся с ярмарки, или от содержательниц непотребных домов, которые умели разговорить путешественников.

Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна, герцога Нормандского, на дочери короля Богемии Бонне Люксембургской. «Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта, — решил Робер, — вот какой ценой оплатили его услуги!» По рассказам очевидцев, празднества в честь этого бракосочетания, состоявшегося в Мелене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывшие доселе.

А Филипп VI, воспользовавшись тем, что в Мелен съехалось разом столько принцев крови и высшей знати, велел в торжественной обстановке пришить к своей королевской мантии крест. Ибо на сей раз вопрос о Крестовом походе был решен окончательно. Петр Палюдский, патриарх Иерусалимский, тоже прибывший в Мелен, вещал с соборной кафедры, и все шесть тысяч приглашенных на бракосочетание, в том числе тысяча восемьсот немецких рыцарей, дружно лили слезы умиления. Крестовый поход проповедовал в Руане епископ Пьер Роже, только что получивший эту епархию после Аррасской и

Санской. Поход был назначен на весну 1334 года. В портах Прованса — в Марселе, в Эг-Морте — спешно строили целую флотилию. А епископ Мартиньи уже плыл по морям, ибо уполномочен он был передать вызов на бой Египетскому Судану!

Но ежели короли Богемии, Наварры, Майорки, Арагона, состоявшие, так сказать, в прихлебателях у короля Франции, ежели герцоги, графы и крупнейшие бароны, а также некоторые рыцари, любители военных авантюр, с восторгом последовали примеру французского короля, то провинциальные дворянчики с куда меньшим воодушевлением брали из рук проповедников красные, вырезанные из сукна кресты и не так уж рвались вязнуть в египетских песках. А король Англии, в свою очередь, отмалчивался, будто никакого похода в Святую землю и не предполагалось, а сам спешно обучал свой народ военному делу. И дряхлый папа Иоанн XXII, к тому же жестоко разругавшийся с Парижским университетом и его ректором Буриданом по вопросу о блаженном видении, тоже ухом не вел. Он только в весьма сдержанных выражениях благословил Крестовый поход, но явно жался, когда его просили принять участие в общих на

это расходах… Зато торговцы пряностями, благовониями, шелками, священными реликвиями, а также оружейники и кораблестроители, что называется, из кожи вон лезли, готовясь к походу.

Филипп VI уже назначил Регентский совет на время своего отсутствия и взял клятву с пэров, баронов, епископов[28] в том, что, ежели ему суждено окончить дни свои в заморских краях, они беспрекословно будут во всем повиноваться сыну его Иоанну и коронуют его на престол без дальних слов.

«Значит, Филипп не так-то уж уверен в законности своего правления, — решил про себя Робер Артуа, — раз он заранее хлопочет о том, чтобы сына его уже сейчас признали наследником престола».

Сидя за столом в харчевне перед кружкой пива, Робер не посмел признаться своим случайным собутыльникам, сообщившим ему эту весть, что он лично знаком с великими мира сего; не посмел он также признаться им, что состязался на копьях

---

[28] Примечания: 28

…и взял клятву с пэров, баронов, епископов… — 2 октября 1332 г. присяга, которую потребовал Филипп VI от своих баронов, была клятвой в верности герцогу Нормандскому, *«который по праву наследник и государь Французского королевства»*. Не будучи прямым наследником короны и сам получивший ее лишь по выбору пэров, Филипп VI обратился к обычаю выборной монархии времен первых Капетингов.

с королем Богемским, раздобыл митру для Пьера Роже, что подбрасывал на коленях теперешнего короля Англии и делил застолье с самим папой. Но запомнил все в надежде, что рано или поздно сумеет обернуть эти события себе на пользу.

Его держала только ненависть. Сколько лет ему отпущено еще прожить на этом свете, столько лет при нем останется эта оголтелая ненависть. В какой бы харчевне ни проводил он ночь, эта ненависть будила его с первым солнечным лучом, пробивавшимся в незнакомую комнату сквозь щелочку ставен. Ненавистью, как солью, он приправлял свою еду, ненависть стала его путеводной звездой.

Принято считать, что люди, сильные духом, как раз те, что умеют признать свою неправоту. Но, быть может, еще сильнее тот, кто никогда ее не признает. Робер принадлежал именно к этим, ко вторым. Всю вину он валил на других, на мертвых и на живых: на Филиппа Красивого, на Ангеррана, на Маго, на Филиппа Валуа, на Эда Бургундского, на канцлера Сент-Мора. И от одного перегона до следующего все рос и рос список его врагов, куда он внес уже и свою сестру графиню Намюрскую, и своего свояка Геннегау, и Иоганна Люксембургского, и герцога Брабантского.

В Брюсселе он приблизил к себе весьма подозрительную личность, стряпчего по имени Ги, и его секретаря Вертело — так, с этих двух сутяг, он и начал сколачивать свой двор.

В Лувене стряпчий Ги раскопал монаха, невзрачного на вид и весьма неблаговидного поведения, некоего брата Анри де Сажбрана, который больше понаторел в ворожбе и угодных Сатане делах, нежели в молитвах и милосердии. Припомнив уроки Беатрисы д'Ирсон, бывший пэр Франции с помощью брата Анри де Сажбрана давал христианские имена вылепленным из воска фигуркам и протыкал их иглой, приговаривая: «Вот это Филипп, это Сент-Мор, а это Матье де Три».

— А вот эту, видишь, эту, постарайся-ка проткнуть от макушки до пяток, ибо звать ее Жанна, она же хромоногая королева Франции. Только никакая она не королева, а сущая дьяволица!

Он раздобыл также симпатических чернил и писал на пергаменте заклинания, кои должны были упокоить вечным сном того, чье имя упоминалось в заклятии. Правда, требовалось еще сунуть пергамент в постель того, от кого надо было отделаться! Брат Анри де Сажбран, получив некоторую толику денег и целую кучу обещаний,

отправился во Францию под видом нищенствующего монаха, запрятав под рясу целый пук заклятий, долженствующих упокоить вечным сном всех упомянутых в этих бумажонках.

Со своей стороны Жилле де Нель вербовал наемных убийц, воров по призванию, всех сумевших убежать из тюрьмы молодчиков со зверскими рожами, которые готовы были на любое преступление, лишь бы не гнуть на поле спину. И когда Жилле вымуштровал своих доблестных вояк, Робер отрядил их во Французское королевство и повелел действовать преимущественно в дни больших сборищ или празднеств.

— Когда все глаза устремлены на ристалища или же в ушах стоит звон от проповедей, призывающих к Крестовому походу, спина являет собой превосходную цель для кинжала.

После многодневной гонки по дорогам Робер сильно исхудал; морщины избороздили гладкое лицо, и злоба, сжигавшая его с минуты пробуждения до поздней ночи, не оставлявшая его даже во сне, придала его чертам какую-то законченность. Но в то же самое время от всех своих многочисленных приключений он помолодел душой. Ему нравилось в новых странах пробовать новые кушанья, да и новых женщин тоже.

И если его попросили покинуть Льеж, то не за его былые прегрешения, а за то, что он нанял себе дом у некоего господина Аржанто и с помощью верного своего Жилле превратил его в настоящий притон с веселыми девками, так что шум по ночам мешал спать соседям.

Выпадали у него и славные деньки, выпадали и скверные, как, скажем, тот день, когда он узнал, что брата Анри де Сажбрана схватили в Камбре вместе со всем его грузом заклятий; был и другой, не лучше, когда один из его наемных убийц, вернувшись, объявил, что все его дружки не сумели пробраться дальше Реймса и что гниют они сейчас в тюрьмах «короля-подкидыша».

А тут еще Робер заболел, причем самым глупым образом. Как-то, когда он тихо жил в домике на самом берегу канала, где происходили состязания на шестах с лодок, он любопытства ради просунул голову до самой шеи в отверстие верши, которой было затянуто окошко. И просунул так здорово, что освободился лишь с трудом, расцарапав себе все щеки о проволоку. Царапины загноились, и вскоре у него началась лихорадка; четыре дня он стучал зубами в ознобе и уже готовился отойти в лучший мир.

Фламандские края ему окончательно опосты-

лели, и он отправился в Женеву. Тут, болтаясь без цели по берегам озера, он узнал, что схватили его супругу графиню де Бомон и его троих сыновей. Филипп VI, желая наказать Робера, не остановился перед тем, чтобы заточить свою собственную сестру сначала в Немурскую башню, а затем в Шато-Гайар. В узилище Маргариты! Воистину Бургундия сумела взять реванш!

Из Женевы Робер Артуа под вымышленным именем, в скромной одежде горожанина пробрался в Авиньон. Тут он пробыл две недели и усиленно плел интриги в защиту своего правого дела. Столица христианского мира утопала в злате и окончательно погрязла во грехах. Только здесь тщеславие, суетность, пороки скрывались не под турнирными латами, нет, скрывались они под сутанами священнослужителей; свидетельством мощи были не наборная сбруя чистого серебра или шлем, украшенный страусовыми перьями, а митры, украшенные драгоценными камнями, золотые дароносицы, пожалуй вдвое тяжелее, чем кубок короля. Здесь сводились счеты не на поле боя, здесь ненавидели ближнего в ризнице. Исповедальни и те стали ненадежными, а женщины были изменчивее, злее, порочнее, чем где бы то ни было, коль скоро только путем

греха они могли пробиться в знать.

И тем не менее никто не пожелал наживать себе неприятности, связавшись с бывшим пэром Франции. Они делали вид, будто такого не помнят. Даже в этом болоте Робер был как зачумленный. И к списку его врагов прибавились новые имена.

Однако ему отрадно было слышать от людей, что дела его кузена Валуа идут не так уж блестяще, как можно было подумать. Церковь подкапывалась под Крестовый поход. Если Филипп VI со своими союзниками уплывет в заморские края и оставит Западную Европу на милость императора и английского короля, что-то с нами будет? И не дай бог, если эти два правителя еще к тому же и объединятся… Общий поход уже отложили на два года. Кончилась весна 1334 года, а еще ничего не было готово. Теперь шли разговоры уже о 1336 годе.

А Филипп VI, лично председательствовавший на сборище парижских богословов, состоявшемся на холме Сент-Женевьев, грозил выпустить грамоту против девяностолетнего старика папы и обвинить его в ереси, если тот не отречется от своих теологических заблуждений. Впрочем, кончина Иоанна XXII казалась всем неминуемо близкой — но так считали уже целых восемна-

дцать лет!

«Главное — выжить, — твердил про себя Робер, — выстоять, дождаться часа, когда в выигрыше окажусь я».

Кое-кто из его врагов уже уснул вечным сном, и это вселяло надежду. В конце минувшего года скончался главный казначей Форже; вслед за ним умер канцлер Гийом де Сент-Мор; тяжко заболел наследник престола Иоанн Нормандский, и, по слухам, даже самому Филиппу VI что-то неможется. Видать, ворожба Робера оказалась не таким уж никчемным занятием…

Во Фландрию Робер возвратился в одеянии послушника. И впрямь странный монах получился из этого великана! Капюшон его плыл над толпой, и он шествовал по двору аббатства военным шагом и просил приюта, в коем не отказывают людям святой жизни, просил тем же самым голосом, каким требовал у оруженосца свое копье!

В городе Брюгге, сидя в монастырской трапезной и склонившись над миской с похлебкой на краешке длинного, в сальных пятнах стола, делая вид, что шепчет про себя молитвы, хотя из каждой помнил только по два слова, Робер вслушивался в голос брата-чтеца, который, устроившись в нише, выбитой как раз на половине

стены, читал жития святых. Унылый, монотонный голос взлетал к сводчатому потолку, а оттуда обрушивался на застолье монахов, и Робер думал: «Почему бы и не кончить вот так? Покой, всеобъемлющий монастырский покой, свобода от всех и всяческих забот, отказ от мирской суеты, крыша над головой, размеренная по часам жизнь, конец бессмысленным скитаниям...»

Даже самый непоседливый, самый тщеславный, самый жестокий человек испытывает подчас эту тягу к покою, жаждет положить конец бурной своей деятельности. К чему вся эта борьба, все эти напрасные усилия, раз не миновать человеку превратиться в могильный прах? Робер подумывал об этом так же, как лет пять назад подумывал удалиться от света вместе с женой и детьми и зажить спокойной жизнью крупного сеньора-землевладельца. Но такие мысли нестойки. А Роберу они вечно приходили с запозданием, в ту самую минуту, когда уже назревало какое-нибудь новое приключение и возвращало к тому, что было подлинным его призванием, — другими словами, к действию и битвам.

Два дня спустя Робер Артуа повстречался в Генте с Яковом ван Артевелде.

Был он примерно ровесником Робера — тоже

на пятом десятке. Квадратное лицо, большое брюхо, крутые бедра, этот обжора и выпивоха никогда не терял разума от лишней кружки вина. В молодости он состоял в свите Карла Валуа, когда тот находился на острове Родосе, и пострaнствовал с ним немало; Европу он знал назубок. Этот пивовар, крупный торговец сукном, вторым браком женился на девушке благородного происхождения.

Человек высокомерный, жесткий и изобретательный, он к тому же скоро стал влиятельным лицом сначала в родном своем городе Генте, который прибрал к рукам, а вслед за тем и во всех крупнейших фламандских коммунах. Когда сукновалы, суконщики, пивовары, в чьих руках сосредоточились все богатства Фландрии, желали сделать какое-нибудь представление сиятельному графу или даже самому королю Франции, они обращались именно к Якову ван Артевелде, дабы передал он их пожелания или изложил их претензии своим звучным голосом и ясными словами. Титула у него никакого не имелось, был он просто мессиром ван Артевелде, но все перед ним гнули шею. Врагов у него хватало с избытком, и в дорогу он пускался только с эскортом из шестидесяти до зубов вооруженных

слуг, и те терпеливо ждали у ворот дома, куда их хозяин был приглашен на обед.

Артевелде и Робер Артуа оценили друг друга и чуть ли не с первого взгляда поняли, что люди они одного пошиба, отважные, ловкие, здравомыслящие, и оба одержимы страстью господствовать.

То обстоятельство, что Робер изгнанник, ничуть не смущало Артевелде, напротив, эта встреча с бывшим знатным сеньором, с зятем короля, некогда самым могущественным человеком во Франции, а теперь ее заклятым врагом, могла обернуться для Гента неожиданно большой удачей. А в глазах Робера этот тщеславный купец заслуживал куда больше уважения, нежели дворянчики, захлопывающие перед его носом двери своих замков. Артевелде враждебно относился к графу Фландрскому, сиречь и к Франции, и пользовался среди сограждан неограниченным влиянием — а это главное.

— Мы недолюбливаем Людовика Неверского, который и стал-то нашим графом лишь потому, что при Касселе король перебил наше ополчение.

— Я там тоже был, — признался Робер.

— Граф появляется здесь лишь затем, чтобы стребовать с нас деньги, которые транжирит в

Париже; он ровно ничего не смыслит в наших претензиях, да и смыслить не желает. Своей головы у него нет, он способен лишь на то, чтобы передавать нам дурные ордонансы короля Франции. Вот, скажем, нас обязали изгнать английских купцов. А мы ничего не имеем против английских купцов, и плевать нам на распри между королем Франции и его кузеном — королем Англии, будь причиной их Крестовые походы или шотландский престол[29]. А теперь Англия в отместку грозит прекратить нам поставку своей шерсти. А если это случится, то нашим суконовалам и ткачам — и здесь, и по всей Фландрии — останется лишь одно — разбить свои станки и закрыть свою торговлю. Но в тот же самый день, ваша светлость, они возьмутся за ножи… и на нашей стороне будет также Геннегау, Брабант, Голландия, Зеландия, ибо страны эти связаны с

[29] Примечания: 29

…шотландский престол. — Старый и больной проказой король Роберт Брюс, который так долго оказывал сопротивление Эдуарду II и Эдуарду III, умер в 1329 г., оставив корону семилетнему ребенку, Дэвиду Брюсу. Малолетство Дэвида стало поводом для различных противоборствующих группировок вновь начать свои распри. Ради безопасности маленький Дэвид был увезен из страны баронами его партии и нашел вместе с ними убежище при французском дворе, в то время как Эдуард III поддержал притязания одного французского дворянина нормандского происхождения, Эдуарда Байоля, родственника прежних королей Шотландии, который был согласен, чтобы шотландская корона перешла под английский сюзеренитет.

Францией лишь брачными узами своих принцев и принцесс, а не сердцем народным, не народным желудком, и нельзя долго господствовать над народом, который моришь голодом.

Робер внимательно слушал речи Артевелде. Наконец-то попался ему человек, который ясно излагает свои мысли, знает, о чем говорит, и, видимо, опирается на подлинную силу.

— Так почему бы вам, если мятеж неизбежен, почему бы вам открыто не перейти на сторону английского короля? — спросил Робер. — И почему бы вам не вступить в переговоры с императором Священной империи, а он, как вам известно, враг папы, а следовательно, и враг Франции, ибо она держит папу в кулаке. Ваши ополченцы — люди храбрые, но вся беда в том, что у вас нет конницы и пехоте поэтому приходится ограничиваться мелкими стычками. Придайте-ка вашим ратникам отряд английских рыцарей, отряд немецких рыцарей и смело двигайтесь на Францию через графство Артуа. А там, ручаюсь, я наберу для вас еще немало людей…

Ему уже виделся этот союз, виделся сам он, несущийся галопом во главе целой армии.

— Представьте, ваша светлость, я и сам об этом частенько подумывал, — ответил Артевелде, — и,

будь наши горожане поподатливее, было бы не так уж трудно договориться с королем Англии и даже с императором Людвигом Баварским. Жители коммун ненавидят графа Людовика, но тем не менее, когда речь заходит о правосудии, обращаются к королю Франции в надежде, что от него добьются справедливости. Они ведь присягнули королю Франции. Даже когда они подымаются против него с оружием в руках, все равно он как был, так и остается их государем. Кроме того, и надо признать, это был ловкий ход со стороны Франции, силой вынудили у наших городов обещание уплатить два миллиона флоринов папе, если те посмеют восстать против своего сюзерена, а ежели мы требуемую сумму не внесем, нам грозит отлучение от церкви. А люди боятся остаться без богослужений и священнослужителей.

— Другими словами, папа под этим давлением грозит отлучить вас от церкви или разорить, дабы ваши коммуны во время Крестового похода сидели тихохонько. Но кто же заставит вас платить, когда французская армия увязнет в Египте?

— Вы же сами знаете, каковы простолюдины, — ответил Артевелде, — они осознают свою силу лишь в ту минуту, когда пускать ее в ход уже слишком поздно.

Робер единым духом осушил стоявшую перед ним огромную кружку пива; нет, решительно он пристрастился к этому напитку. И сидел, молча уставившись на деревянные панели, которыми были обшиты стены. Какой милый, какой уютный дом у Якова ван Артевелде — медь и олово начищены на славу, в полумраке поблескивает дубовая мебель.

— Стало быть, из верноподданнических чувств к королю Франции вы не заключаете союзов и не беретесь за оружие?

— Именно по этой причине, — подтвердил Артевелде.

Но природа наделила Робера слишком живым воображением. Вот уже три с половиной года, как он старался обмануть свою жажду отмщения жалкими средствами — напускал порчу, ворожил, посылал наемных убийц, но ни один из них даже не добрался до намеченной жертвы. И внезапно в голове его зародилась новая надежда, наконец-то достойная его, наконец-то чаяния его приобрели совсем иной размах.

— А если английский король станет королем Франции? — спросил он.

Артевелде поднял на Робера Артуа вопросительно-недоверчивый взгляд, словно плохо

расслышал его вопрос.

— Я сказал, мессир, а если английский король станет королем Франции? Если он отстоит свое право на французский престол, если восстановит свои права, если докажет, что Французское королевство, в сущности, его королевство, если он станет вашим законным сюзереном?

— Ну, ваша светлость, по-моему, все это одни пустые мечты!

— Мечты? — вскричал Робер. — Но ведь этот спор так никогда и не был разрешен, и дело еще не проиграно! Когда моего кузена Валуа возвели на престол… вернее, когда я сам возвел его на престол — а как он меня за это отблагодарил, вы сами изволите видеть! — так вот, представители Англии явились отстаивать права королевы Изабеллы и ее сына Эдуарда. И не так уж это давно было, всего каких-нибудь семь лет назад. Их не выслушали потому, что не пожелали их слушать, и я лично проводил их на корабль. Вы сами зовете Филиппа «королем-подкидышем», так почему бы вам не найти другого! А что вы скажете, если теперь вновь взяться за это дело и объявить в один прекрасный день вашим суконовалам, вашим ткачам, вашим купцам и всем жителям ваших коммун: «Ваш граф правит вами

не по закону; вовсе не королю Франции обязан он давать присягу в вассальной верности. Ваш сюзерен не в Париже, а в Лондоне!»

Пусть мечта, но она одурманила Якова ван Артевелде. Шерсть, прибывающая морем с северо-запада, ткани, грубошерстные или тонкие, которые тоже морем отправляют обратно, торговля в портах — если вдуматься, то стоит, весьма стоит Фландрии обратить свой взгляд на Английское королевство. От Парижа нечего ждать, кроме сборщиков налогов.

— И вы считаете, ваша светлость, что хоть одного здравомыслящего человека на всем белом свете можно убедить в правоте ваших слов и что он согласится на такое предприятие?

— Только одного человека во всем белом свете, мессир, достаточно убедить, только одного — самого короля Англии.

А через несколько дней из Антверпена с бумагами на имя торговца сукном и в сопровождении Жилле де Неля, который для вящей правдоподобности тащил на спине тюк фламандских тканей, его светлость Робер Артуа отплыл в Лондон.

Глава II
Вестминстер-холл

И вновь сидел на троне король с короной на голове, со скипетром в руке, в окружении своих пэров. И вновь прелаты, графы и бароны стояли по обе стороны трона. И вновь клирики, ученые мужи, юристы, советники, сановники толпились вокруг.

Но не лилиями Франции была заткана королевская мантия, а львами Плантагенетов. И вовсе то не был дворец в Сите с его сводами, обрушивающими на головы толпы эхо их собственных голосов, а великолепная дубовая зала с огромными ажурными арками — словом, так называемый Вестминстер-холл. И собрались здесь шесть сотен английских рыцарей, съехавшихся из всех графств, и эсквайры, и городские шерифы — словом, в этой зале, выложенной широкими квадратными плитами, заседал английский парламент.

Однако собрали его лишь затем, чтобы выслушать, что будет говорить француз.

В пурпуровой мантии, накинутой на плечи,

стоя как раз на середине каменной лестницы в глубине залы и словно бы весь окруженный золотым ореолом солнечного света, падающего из гигантского витража за его спиной, Робер Артуа держал речь перед представителями народа Британии.

Ибо с тех пор, как два года назад Робер покинул Фландрию, колесо судьбы сделало добрых четверть оборота. И в первую очередь скончался папа.

К концу 1334 года крохотный иссохший старичок, сумевший за годы своего самого долгого правления в истории папства дать Святой церкви надежных духовных руководителей и добиться ее материального процветания, вынужден был со смертного одра из зеленой опочивальни огромного Авиньонского дворца публично отречься от своих излюбленных положений, которые он защищал всю жизнь с превеликой верой в их правоту. Отрекся от своих писаний, проповедей, энциклик, дабы избежать раскола, которым грозил Парижский университет, подчиняясь приказам двора Франции, ради коего уладил он столько сомнительных дел и столько хранил

его тайн. Под диктовку мэтра Буридана[30] он написал все то, что положено считать догмой: ад существует, и там полно грешников, которых поджаривают черти, — и все это лишь для того, чтобы государям в этом мире легче было держать в кулаке своих подданных; врата рая открыты, как ворота гостеприимной харчевни, для верных престолу рыцарей, честно рубивших неприятеля ради вящей славы своего государя, для безропотных прелатов, благословлявших Крестовые походы, — ибо, не будь рая, этим праведникам пришлось бы ждать Страшного суда, дабы улицезреть лик Божий.

Да был ли Иоанн XXII в твердом уме и полной памяти, когда ставил свою подпись под этим вырванным силою отречением? На следующий день он отошел в мир иной. А на холме Сент-Женевьев нашлось немало злоязычных ученых теологов,

---

[30] Примечания: 30

Под диктовку мэтра Буридана... — Жан Буридан, родившийся около 1295 г. в Бетюне, в Артуа, был последователем Оккама. Его философское и теологическое учение принесло ему огромную известность; в свои тридцать или тридцать два года он стал ректором Парижского университета. Его спор со старым папой Иоанном XXII, чуть не повлекший за собой раскол, еще больше увеличил его славу. Во второй половине своей жизни ему пришлось удалиться в немецкие земли, где он преподавал, в основном в Вене. Умер в 1360 г.

Роль, которую народное воображение ему приписало в истории с Нельской башней, — чистая выдумка, впрочем, она появляется лишь в рассказах двух последующих веков.

изрекавших с усмешечкой:

— Теперь он на собственном опыте убедится, существует ад или нет!

Снова собрался конклав, но сразу начались такие интриги, такая путаница, что выборы папы на сей раз могли затянуться на еще больший срок, чем предыдущие. Франция, Англия, император Священной империи, смутьян король Богемский, ученейший король Неаполитанский, короли Майорки, Арагона, вся римская знать, и миланские Висконти, и итальянские республики — словом, все власть имущие жали на кардиналов.

Желая выиграть время и, с другой стороны, не желая поддерживать иной кандидатуры, кроме собственной, те, которые уже знали, что такое сидеть взаперти, все они пришли к одной и той же мысли: «Буду голосовать за того, у кого всего меньше шансов быть избранным».

Озарение свыше подчас может сыграть невеселую шутку! Кардиналы так дружно сошлись in petto[31] на том, кто не имел ни малейших шансов на успех, на том, кто *не может* стать папой, что все написали одно и то же имя — Жака Фурнье,

---

[31] Примечания: 31
Тайком *(ит.).*

«белого кардинала», как его называли, ибо он до сих пор не расстался с прежним своим одеянием цистерцианского ордена. И не только кардиналы и народ, но и сам избранный были равно ошеломлены, когда стали известны результаты выборов. И первое, что заявил новый папа конклаву, что выбрали они, мол, осла.

Ну пожалуй, он слишком уж поскромничал.

Бенедикт XII, выбранный по чистому недоразумению, вскорости показал себя папой-миротворцем. Первым делом он попытался прекратить междоусобные войны, заливавшие Италию кровью, и восстановить, если только это вообще возможно, согласие между Святым престолом и Священной Римской империей. А ведь оказалось, что возможно. Людвиг Баварский весьма благосклонно отнесся к авансам Авиньона, и только-только дело пошло было на лад, как Филипп Валуа впал в великий гнев. Как так! Начинают такие важные переговоры, а он, первый монарх христианского мира, оказался в стороне? Стало быть, на Святой престол будет оказывать влияние кто-то другой, а не он?! Стало быть, дражайший его родич, король Богемский, должен будет отказаться от своих рыцарственных планов умиротворения Италии?

Филипп VI приказал папе Бенедикту XII отозвать своих послов, прервать переговоры под угрозой конфискации у кардиналов, проживающих на территории Франции, всего их имущества.

Потом в сопровождении все того же дражайшего короля Богемского, короля Наваррского и с многочисленной свитой баронов и рыцарей, вернее, уже с целой армией Филипп VI в начале 1336 года отправился в Авиньон праздновать Пасху. Там им было дано свидание королю Неаполитанскому и королю Арагона. Таким манером хотели напомнить вновь избранному папе о его прямых обязанностях и дать ему понять, чего от него ждут.

Но Бенедикт XII тоже сумел на свой лад показать, что он уж вовсе не такой осел, как сам утверждал, и что королю, собравшемуся в Крестовый поход, не след ссориться с папой.

В Страстную пятницу Бенедикт взошел на кафедру, дабы произнести проповедь о мучениях Господа нашего Иисуса Христа и одобрить Крестовый поход. А что он мог сделать, когда вокруг Авиньона расположились лагерем четыре короля-крестоносца и две тысячи копий. Но в воскресенье на Фоминой неделе Филипп VI,

отбывший на побережье Прованса осматривать свою великую флотилию, был весьма удивлен, получив послание, написанное на безупречной латыни, в котором с него, с Филиппа, снимались все его обеты и клятвы. Коль скоро между христианскими народами не прекращаются войны, святой отец не желает, чтобы самые доблестные защитники христианской церкви отправились в заморские страны биться с неверными.

Так закончил в Марселе свой Крестовый поход Филипп Валуа.

Выходит, впустую король-рыцарь взял над святым папой верх — бывший монах цистерцианского ордена вдвойне взял верх над королем. Благословляющая длань легко могла стать дланью отлучающей, и весьма трудно было представить себе Крестовый поход, в самом начале своем отлученный от Святой нашей церкви!

«Уладьте, сын мой, ваши споры с Англией, ваши недоразумения с Фландрией; позвольте мне самому уладить недоразумения с императором; дайте мне свидетельство того, что в наших странах установлен добрый, прочный и длительный мир, и тогда вы с легкой душой можете отправляться в заморские страны обращать неверных на путь тех добродетелей, образцом коих вы сами

явитесь в глазах всего света».

Ну что ж! Раз папа принуждает его сначала уладить недоразумения, Филипп их и уладит. И первым делом с Англией… напомнит молодому Эдуарду его вассальный долг и прикажет ему немедля выдать Франции этого изменника Робера Артуа, коего англичане пригрели у себя на груди. Лжевеликие души, будучи уязвлены, пытаются вот так взять какой-то, хоть жалкий, реванш.

Когда приказ о выдаче государственного преступника был доставлен в Лондон сенешалем Гиени, Робер уже прочно успел обосноваться при английском дворе. Его сила, повадки, краснобайство завоевали ему многочисленных друзей; Кривая Шея не мог им нахвалиться. А молодому королю позарез требовался человек такого опыта, который назубок знал все французские дела. И кто же был больше в них осведомлен, чем граф Артуа? Именно потому, что он мог быть полезен, его беды вызывали сочувствие.

— Сир, кузен мой, — говорил он Эдуарду III, — если вы рассудите, что мое пребывание в вашем королевстве может причинить вам вред либо ущерб, выдайте меня на растерзание Филиппу, этому столь неудачно подкинутому королю. И я

не буду сетовать на вас, оказавшего мне широкое гостеприимство; и хулить я буду лишь самого себя за то, что вопреки законному праву посадил на престол злобного Филиппа вместо того, чтобы возвести на престол вас, но ведь я вас тогда почти не знал.

И такие тирады Робер произносил, прижав свою растопыренную огромную пятерню к сердцу и склонившись в низком поклоне.

На что Эдуард III спокойно отвечал:

— Дорогой кузен мой, вы мой гость, и ваши советы мне весьма ценны. Выдав вас королю Франции, я поступлю не только как враг собственной своей чести, но и собственных своих интересов. И к тому же вам дано убежище в Английском королевстве, а не в герцогстве Гиеньском. А на Англию права ленного владения Франции не распространяются.

Так просьба Филиппа VI была оставлена без ответа.

И день за днем Робер мог безнаказанно делать свое дело — убеждать и уговаривать. Он не торопясь вливал яд соблазна в уши Эдуарда или его советников. Входя в тронный зал, он говорил:

— Приветствую короля Франции…

При каждом удобном и неудобном случае он

весьма убедительно доказывал, что салический закон отнюдь не настоящий закон, а просто выдумка на случай и что права Эдуарда на корону Гуго Капета более чем законны.

На второе требование о выдаче Робера Эдуард III ответил тем, что пожаловал изгою во владение три замка и назначил ему содержание в сумме тысяча двести марок[32].

Впрочем, как раз в эти дни Эдуард старался отблагодарить всех, кто верно служил ему: пожаловал своему другу Уильяму Монтегю титул графа Солсбери, не забыв и прочих молодых лордов, помогавших ему в ноттингемском деле: кто получил титул, кто — ренту.

В третий раз Филипп VI отрядил начальника арбалетчиков к сенешалю Гиени передать королю Англии Эдуарду, чтобы тот незамедлительно выдал Робера Артуа, заклятого врага французского государства, в противном случае через две недели герцогство будет секвестрировано.

---

[32] Примечания: 32

…и назначил ему содержание в сумме тысяча двести марок. — В счетах Казначейства только за первые месяцы 1337 г. обнаруживаются: в марте — приказ выплатить двести фунтов Роберу д'Артуа как дар короля; в апреле — дар в триста восемьдесят три фунта, другой в пятьдесят четыре фунта и пожалование замков Гилфорд, Уэллингфорд и Сомертон; в мае — предоставление годового содержания в двенадцать сотен марок эстерлингов; в июне — возмещение в пятнадцать фунтов, которые Роберу должна была выплатить компания Барди, и так далее.

— Так я и знал! — воскликнул Робер. — Этот болван Филипп даже ничего нового выдумать не может, а только повторяет мои собственные идеи, ведь это я предложил такой ход, дражайший государь, против вашего батюшки: сначала отдать приказ, противоречащий законным правам, потом за неисполнение такового приказа прибегнуть к секвестру, а прибегнуть к секвестру — значит унизить противника или навязать ему войну. Только ныне в Англии король действительно правит страной, а во Франции нет больше Робера Артуа.

Он не добавил вслух: «И в те времена во Франции тоже был изгой, который играл там точно такую же роль, какую играю здесь я, и изгоем этим был Мортимер!»

Все чаяния Робера сбывались как нельзя более успешно: он сам становился причиной столь страстно желаемых распрей, его особа вновь приобретала былое значение, и, чтобы разжечь эти распри, он предложил свой план — потребовать для короля Англии французскую корону.

Вот почему в сентябре 1337 года со ступеней Вестминстер-холла, стоя спиной к гигантскому витражу, Робер Артуа, то и дело взмахивая широченными рукавами и потому особенно похожий

на зловещую птицу, предвестницу грозы, обращался по просьбе короля с речью к английскому парламенту. Поднаторевший в тяжбах за целых три десятилетия, он говорил гладко, не заглядывая в документы, не перебирая бумажки.

Членам парламента, не слишком хорошо понимавшим французский язык, соседи переводили особо сложные периоды.

Робер все говорил и говорил, и в зале то наступала мертвая тишина, то вдруг ее нарушал шепот, когда присутствующие не могли опомниться от нового разоблачения. Воистину удивительные дела творятся! Живут два народа, разделенные лишь узеньким проливчиком; царствующие особы обоих дворов вступают в браки; здешние бароны владеют тамошними землями; купцы свободно разъезжают из одной страны в другую… а в сущности, никто не знает, что делается там, у их ближайшего соседа!

Так, значит, такое установление: «Франция не может быть женщине ни вручена, ни через женщину передана» — вовсе не взято из старинных законов; это просто-напросто выдумал старый пустомеля коннетабль двадцать лет назад, когда речь шла о том, кто взойдет на престол после убиенного короля. Да, да, Людовика X Сварливого

убили. Робер не только заявил об этом, но и назвал убийцу.

— Я-то ее прекрасно знал. Это моя родная тетка, и она к тому же еще похитила у меня мое наследственное графство Артуа!

Вот этими рассказами о преступлениях, совершенных во Франции особами королевской крови, о всех скандальных историях, происшедших при дворе Капетингов, Робер старался сдобрить свою речь, и члены английского парламента трепетали от негодования и страха так, словно бы все преступления, совершенные на их земле и их собственными принцами, были сущим пустяком.

А Робер разошелся вовсю: теперь он защищал те положения, которые с пеной у рта опровергал в угоду Филиппу Валуа, и в обоих случаях действовал с одинаковым пылом.

Итак, после смерти Карла IV, младшего и последнего сына Филиппа Красивого, даже принимая во внимание то обстоятельство, что французским баронам тягостно видеть на престоле женщину, корона Франции, минуя королеву Изабеллу, должна была вернуться к единственному наследнику Капетингов мужского пола по прямой линии…

Необъятная пурпурная мантия описала полу-

круг перед глазами завороженных речью англичан — это Робер повернулся к королю. И вдруг он преклонил колено на каменную ступень.

— Взываю к вам, высокородный сир Эдуард, король Англии, в коем я признаю и в лице коего приветствую подлинного короля Франции!

Впервые со времен бракосочетания в городе Йорке людей охватило такое волнение. Шутка ли, англичанам открыто заявили, что их государь может требовать себе корону королевства, вдвое большего по размерам, втрое богаче! Получалось так, будто благополучие каждого, достоинство каждого соответственно возрастают.

Но Робер знал, что нельзя дать заглохнуть ликованию толпы. Он поднялся с колен и напомнил присутствующим, что, когда шли споры о преемнике Карла IV, король Эдуард отрядил во Францию отстаивать свои права высокочтимых и уважаемых епископов и что монсеньор Адам Орлетон мог бы подтвердить это собственными устами, не будь он сейчас в Авиньоне по тому же самому делу, добиваясь поддержки папы.

А собственную, Робера, роль в возведении Филиппа на престол, следует ли обойти ее молчанием или нет? Именно вот эта притворная искренность в течение всей его жизни верно

служила Роберу во всех его махинациях. И нынче он вновь прибег к ней.

А кто же, кто отказался выслушать английских законоведов? Кто отверг их притязания? Кто помешал им изложить свои доводы перед баронами Франции? Робер со всего размаха ударил себя обоими громадными кулачищами в грудь:

— Я сам, благородные мои лорды и эсквайры, я, что стою сейчас перед вами, я считал, что действую во благо и ради мира, и я выбрал неправого в ущерб правому и до сих пор еще не искупил своей вины даже ценой всех обрушившихся на меня бед.

Голос его, отгремев под сводами, докатился до самых далеких уголков залы.

Можно ли было подкрепить свою речь более убедительным доводом? Робер обвинял себя в том, что помог Филиппу в нарушение всех прав взойти на престол; он признавал свои грехи, но тут же нашел им оправдание. Прежде чем стать королем, Филипп Валуа обещал ему, Роберу, что все будет улажено по-доброму, что вечный мир будет установлен, ибо королю Англии отдают в собственность всю Гиень, что во Фландрии будут сохранены все свободы, а это благоприятно отразится на развитии торговли и что он сам, Артуа,

будет восстановлен в своих правах. Сиречь ради примирения, ради всеобщего благополучия Робер действовал именно так. Но ему вскоре пришлось убедиться воочию, что действовать можно лишь на основе права, а не опираясь на лживые посулы людей, коль скоро ныне истинный наследник Артуа превратился в изгоя, Фландрия голодает, а Гиень, того и гляди, секвестрируют!

И уж ежели придется идти воевать, то не ради каких-то там пустопорожних распрей из-за ленных владений, из-за сеньорий или из-за уточнения формул вассальной зависимости, а воевать они пойдут за единственно правое, великое дело — за корону Франции. И в тот самый день, когда король Англии вступит на французский престол, не станет больше поводов для раздоров ни во Фландрии, ни в Гиени. В Европе найдется немало союзников государей, да и целые народы будут с ними.

И если для такого великого деяния, что изменит судьбы народов, благородному королю Эдуарду понадобится кровь, то Робер Артуа, протянув обе руки, засучив длинные бархатные рукава, к королю, к палате лордов, к палате общин, ко всей Англии, предлагал свою собственную.

Глава III
Вызов, брошенный в Нельской башне

Когда епископ Генри Бергерш, казначей Англии, явившийся в сопровождении Уильяма Монтегю, ныне графа Солсбери, Уильяма Боухена, ныне графа Нортгемптона, Роберта Уффорда, ныне графа Сеффолка, в День Всех Святых передал в Париже картель короля Эдуарда III Плантагенета Филиппу VI Валуа, этот последний, подобно царю Иерихонскому перед Иисусом Навином, расхохотался посланцам прямо в лицо.

Да нет, он, наверное, ослышался! Стало быть, его юный кузен Эдуард требует, чтобы ему вручили корону Франции? Филипп переглянулся с королем Наварры и с герцогом Бурбоном — своими родичами. Он только что встал из-за стола, где обедал в их обществе, и находился в превосходном расположении духа, его гладкие щеки, его мясистый нос чуть порозовели, и, не выдержав, он снова фыркнул.

Если бы епископ, с таким благородством опирающийся на посох, если бы трое этих английских сеньоров, застывшие как изваяния в своих бо-

евых кольчугах, явились сюда с какой-нибудь более скромной вестью: скажем, передали бы отказ своего государя выдать Франции Робера Артуа или протестовали бы против приказа о захвате Гиени, — Филипп, безусловно, разгневался бы. Но требовать его корону, да и государство в придачу?.. Нет, ей-ей, это не послы, а шуты какие-то!

Да-да, он не ослышался: салического закона, оказывается, не существует, он правит страной не на законном основании…

— А того обстоятельства, что пэры по доброй воле выбрали меня королем, что архиепископ Реймский вот уже девять лет как короновал меня, этого тоже, по вашему мнению, мессир епископ, не существует?

— С тех пор многие пэры и бароны, что выбирали вас, уже отошли в лучший мир, — ответствовал Бергерш, — а те, кто еще жив, не так уж уверены, что Господь Бог одобрил их деяние!

Откинув голову, сотрясаясь всем телом, Филипп, уже не сдерживаясь, залился громким смехом, показав присутствующим всю свою глотку.

— А когда король Эдуард прибыл в Амьен принести Филиппу Шестому свою вассальную присягу, что ж, он и тогда не признавал его права

на престол?

— Тогда наш король был еще несовершеннолетним. Вассальная присяга, которую он вам принес и которая могла иметь цену лишь в том случае, если бы была одобрена Регентским советом, — все это дело рук изменника Мортимера, а его уже давно повесили.

Ну и ну, апломба этому епископу не занимать стать, а ведь он был канцлером при Мортимере и первым его советником, ведь это он сопровождал Эдуарда в Амьен и сам прочел в соборе формулу вассальной присяги!

А что он сейчас вещает теми же самыми устами? Чтобы, мол, он, Филипп, в качестве графа Валуа приносил вассальную присягу Эдуарду! Ибо король Англии великодушно признает за своим кузеном право на владение Валуа, Анжу, Мэном и даже не оспаривает его права на пэрство… Воистину слишком уж он великодушен!..

Но где мы, Всевышний Господь, вынуждены выслушивать подобную чепуху?

Да в Нельской башне, потому что, направляясь в Венсенн после пребывания в Сен-Жермене, Филипп VI остановился на денек в этом отеле, пожалованном им своей супруге. Ибо если самый захудалый из его сеньоров говорит: «Перейдем в

большую залу», или «в малую гостиную с попугаями», или же «будем ужинать в зеленой столовой», то король заявляет: «Нынче я обедаю во дворце в Сите», или же «в Лувре», или же «у моего сына герцога Нормандского в бывшем отеле Робера Артуа».

Таким образом, старинные стены Нельского отеля и еще более древняя башня, которую было видно из окон, стали свидетелями разыгравшегося фарса. Видно, существуют такие места, как бы нарочно созданные для того, чтобы в них под видом комедий разыгрывались драмы, меняющие судьбы целых народов. В той самой башне, где Маргарита Бургундская так славно развлекалась в объятиях конюшего д'Оне, обманывая своего супруга Людовика Сварливого, даже в мыслях не имея, что любовные ее утехи нарушат ход французской династической иерархии, именно здесь король Англии бросал вызов королю Франции, а король Франции от души хохотал над этим

вызовом[33]!

Он до того смеялся, что почти умилился душой, ибо узнал за этим безумным посольством руку Робера. Только один Робер мог выдумать такой демарш. Нет, положительно наш молодчик рехнулся. Нашел себе другого короля, помоложе, попростодушнее, который поддается на его дикие выдумки. Но интересно знать: где же этому конец? Вызов от одного королевства другому! Заменить одного короля другим… Когда уже превзойден предел безумия, вряд ли стоит гневаться на человека, если он перегибает палку, что, впрочем, вполне в его натуре.

— Где вы остановились, монсеньор епископ? — любезно осведомился Филипп VI.

— В отеле Шато Фетю, улица Тируар.

---

[33] Примечания: 33

…а король Франции от души хохотал над этим вызовом! — Воображение романиста смутило бы такое совпадение, которое и в самом деле кажется слишком грубым и нарочитым, если бы не правда фактов. Впрочем, оглашение вызова Эдуарда III, юридически начавшее Столетнюю войну, отнюдь не завершает странную судьбу Нельского дворца. В нем проживал коннетабль Рауль де Бриенн, граф д'Э, пока не был арестован в 1350 г. по приказу Иоанна Доброго, приговорен к смерти и обезглавлен. Дворец стал также обиталищем Карла Злого, короля Наваррского (внука Маргариты Бургундской), который поднял оружие против французского королевского дома. Позже Карл VI Безумный отдал его своей жене, Изабелле Баварской, которая впоследствии заключила договор, отдавший Францию англичанам, и объявила собственного сына, наследника престола, незаконнорожденным. Карл VII, едва успев передать дворец Карлу Смелому, умер, а Смелый вступил в конфликт с новым королем Людовиком XI. Франциск I предоставил

часть Неля Бенвенуто Челлини; потом Генрих II велел устроить там мастерскую для чеканки монеты; там и по сию пору располагается Парижский монетный двор. Уже одно это дает представление о размахе площади, которую занимали постройки и земли дворца. Карл IX, нуждаясь в деньгах, чтобы платить своим швейцарским гвардейцам, велел выставить на продажу дворец и башню, которые были приобретены герцогом Неверским, Луи де Гонзагом. Новый владелец велел их снести, чтобы построить на том месте Неверский дворец. Наконец, Мазарини, приобретя Неверский дворец, разрушил его и заменил Коллежем Четырех Наций, который существует и по сей день, — там теперь размещается Институт Франции.

— Чудесно! Возвращайтесь туда, повеселитесь недельку в нашем славном городе Париже, а ежели пожелаете видеть нас и ежели есть у вас какие-нибудь не столь нелепые предложения, милости просим. Честно говоря, я ничуть на вас не гневаюсь, и, раз вы взяли на себя такое поручение и, передавая его мне, даже ни разу не улыбнулись, как я успел заметить, вы, по моему мнению, лучший из всех посланников, каких я когда-либо принимал…

Филипп и впрямь не ошибся, ибо, направляясь в Париж, Генри Бергерш проехал через Фландрию. И там он тайно совещался с графом Геннегау, тестем английского короля, с графом Гельдерландским, с герцогом Брабантским, с маркизом Юлихским, с Яковом ван Артевелде и эшеванами Гента, Ипра, Брюгге. Он даже направил часть своей свиты к императору Людвигу Баварскому. Филипп еще не знал, какие там происходили беседы, какие были приняты соглашения.

— Государь, вручаю вам картель!

— Сделайте милость, вручайте, — ответил Филипп. — А мы сохраним эти милые листочки и будем перечитывать их как можно чаще, чтобы разогнать грусть в печальные минуты. А сейчас вам поднесут чего-нибудь выпить. Вы столько

тут наговорили, что у вас, должно быть, совсем пересохло в горле.

И он хлопнул в ладоши, вызывая пажа.

— Бог меня накажет, — воскликнул епископ Бергерш, — ежели я стану предателем и выпью вина у врага, которому я всем сердцем намерен причинить столько зла, сколько смогу!

Тут Филипп Валуа снова расхохотался во всю глотку и, уже не обращая внимания ни на посла, ни на троих лордов, полуобнял за плечи короля Наваррского и возвратился в свои апартаменты.

Глава IV
Близ Виндзора

Луга вокруг Виндзора сочно-зеленые, чуть холмистые, какие-то особенно милые. Кажется, будто замок не венчает пригорок, а как бы сливается с ним, и при виде его закругленных стен невольно приходит мысль, что его сжимает в своих объятиях великанша, задремавшая в густой траве.

Как все здесь похоже на Нормандию, на Эврё, на Бомон или на Конш.

Этим утром Робер Артуа отправился в окрестности Виндзора и не пускал опрометью, как обычно, своего коня, а ехал шагом. На левой его

руке сидел красавец сокол, вцепившись когтями в кожаную перчатку. Впереди по берегу реки ехал сокольничий.

Робер скучал. Война с Францией никак не начнется. В конце минувшего года послали картель в Нельскую башню и на этом успокоились; правда, желая подкрепить свои воинственные намерения, захватили принадлежавший графу Фландрскому островок на Шельде неподалеку от Брюгге. Французы в отместку предали огню несколько прибрежных поселений на юге Англии. И тут же папа приказал прекратить эту еще не начавшуюся войну, и обе стороны охотно пошли на перемирие, и пошли по не совсем обычным причинам.

Филипп VI, так и не принявший всерьез притязаний Эдуарда на французский престол, был, однако, весьма встревожен, узнав, какого мнения придерживается в этом вопросе его дядя, король Роберт Неаполитанский. Этот государь считался среди всех прочих властителей ученейшим мужем, даже чересчур ученым, и, кроме него, только еще один — «порфирородный» византиец — вошел в историю под именем Астролог, так вот этот дядя тщательно изучил гороскопы Эдуарда и Филиппа, и то, что сказали ему небесные

светила, так его потрясло, что он взял на себя труд лично написать королю Франции: «Избегать сражения и никогда не воевать против английского короля, ибо во всех его начинаниях успех будет на его стороне». Согласитесь, что подобные предсказания грузом ложатся вам на сердце, и даже такой прославленный турнирный боец и тот призадумается, прежде чем подъять копье против самих звезд.

Со своей стороны Эдуард III был отчасти напуган собственной отвагой. Если разобраться строго, авантюра, на которую он пустился, могла показаться несколько чрезмерной. Он боялся, что его армия недостаточно многочисленна и не слишком хорошо обучена; он слал послов за послами во Фландрию и Германию, желая укрепить с ними союз. Генри Кривая Шея, уже почти совсем ослепший к этому времени, заклинал его действовать благоразумно, в отличие от Робера Артуа, который побуждал его действовать незамедлительно. Чего, в сущности, ждал Эдуард, почему не начинал похода? Почему фламандские сеньоры, которых удалось наконец сплотить, молчат, словно воды в рот набрали? Неужели у Иоганна Геннегау, которого ныне изгнали из Франции, хотя он долгое время находился в фа-

воре при королевском дворе, и который снова перебрался в Англию, — неужели не хватает у него решимости поднять свой меч? Неужели сукновалы Гента и Брюгге упали духом и, видя, что король Англии не торопится сдержать свои обещания, предпочитают по-прежнему безропотно покоряться королю Франции?.. Эдуард хотел заручиться поддержкой императора, но императору вовсе не улыбалось быть вторично отлученным от церкви еще до того, как английские войска вступят на континент! Болтали, вели переговоры, топтались на месте, а откровенно говоря, просто струсили.

А на что, в сущности, было сетовать Роберу Артуа? Вроде бы и не на что. Ему пожаловали замки и выдавали особое содержание, он обедал за одним столом с Эдуардом, пил вместе с Эдуардом, ему воздавались все положенные ему почести. Но он устал от бесполезных своих усилий в течение целых трех лет, усилий, потраченных ради людей, которые никак не желали идти на риск, ради юноши, которому он протягивал корону — да еще какую корону! — и который отнюдь не спешил схватить ее. А главное, Робер чувствовал себя одиноким. Изгнание, пусть и позолоченное, угнетало его. Ну о чем он мог беседовать, скажем,

с молоденькой королевой Филиппой, разве что рассказывать ей о ее деде Карле Валуа и ее бабке Анжу-Сицилийской?! Временами ему чудилось, что и сам он превратился в предка.

Как бы ему хотелось повидаться с королевой Изабеллой, единственным в Англии человеком, с которым его связывали общие воспоминания. Но королева-мать уже не появлялась при дворе; жила она в Касл Ризинг в Норфолке, где ее изредка навещал сын. После казни Мортимера она потеряла интерес ко всему на свете[34].

Робер на собственном опыте изгоя познал, что такое тоска по отчизне. Думал он и о своей супруге мадам де Бомон: какой-то станет она после стольких лет заточения, когда они снова встретятся, если только суждено им увидеться? Узнает ли он своих сыновей? Заглянет ли хоть когда-нибудь в свой парижский отель, в свой замок в Конше, да и увидит ли вообще Францию? Если война, которую он разжигал из последних сил, будет идти таким же ходом, как сейчас, вряд ли ему даже столетним старцем удастся вернуться

---

[34] Примечания: 34

После казни Мортимера она потеряла интерес ко всему на свете. — Королеве Изабелле предстояло прожить еще двадцать лет, но она уже не принимала никакого участия в делах своего века. Дочь Филиппа Красивого умерла 23 августа 1358 г., в Хартфордском замке, и ее тело было погребено в ньюгейтской церкви францисканцев в Лондоне.

на родину.

Поэтому-то нынче утром он, хмурый и злой, отправился на охоту один, надеясь убить время и забыться. Но трава, мягко стелившаяся под копытами коня, густая английская трава была еще роскошнее, еще сочнее, чем трава у них в Уше. Небо над головой было блекло-голубое, и по этой приглушенной лазури плыли на головокружительной высоте обрывки облачков; майский ветерок ласково поглаживал уже расцветшую жимолость живой изгороди и одетые белым цветом яблони, совсем такие же, как яблони и жимолость у них в Нормандии.

Скоро Роберу Артуа стукнет пятьдесят, а что он сделал за эти полвека? Пил, обжирался, распутничал, охотился, изъездил немало дорог, и по своим личным делам, и по государственным, сражался на турнирах, вел тяжбы — столько тяжб не вел, пожалуй, ни один его современник. На чью еще долю выпала такая бурная жизнь, полная волнений и превратностей судьбы! Но никогда он не умел пользоваться настоящим. Никогда не прерывал своих неусыпных трудов за обладание графством Артуа, дабы насладиться мгновением. Мысль его непрестанно обращалась к завтрашнему дню, к будущему. Пил ли

он вино, оно казалось ему кислым, потому что ему хотелось пить вино в своем Артуа; на ложе плотских утех он ни на миг не переставал думать о победе над Маго; на самом шумном турнире он сдерживал свой воинственный пыл, памятуя о возможных союзниках. К похлебке в первой попавшейся харчевне, к пиву, которое он тянул в минуты отдыха, примешивался горький вкус злобы и ненависти бесприютного изгоя… Да и сейчас о чем он думал? О завтрашнем дне, о том, что произойдет потом. Яростное нетерпение мешало ему упиться этим прекрасным утром, этим прекрасным небосводом, этим воздухом, которым только дышать и дышать, этим соколом, диким и одновременно покорным, слегка сжимавшим когтями его перчатку… Значит, вот это и зовется жизнью и от пятидесяти лет, прожитых на земле, остается лишь прах надежд?

Из горьких этих размышлений его вывели крики сокольничего, посланного вперед и подстерегавшего дичь на дальнем холме.

— Взлетела, взлетела! Спускайте сокола, ваша светлость, спускайте сокола!

Робер выпрямился в седле, прищурился. Красавец сокол в кожаном клобучке на голове, оставлявшем открытым лишь один клюв, за-

трепыхал крыльями на его руке: он тоже узнал знакомый голос. Послышался шорох потревоженного тростника, и с берега реки взлетела цапля.

— Летит, летит! — надрывался сокольничий.

Огромная птица летела на небольшой высоте против ветра и двигалась прямо на Робера. Робер дал ей приблизиться и, когда цапля была от него примерно на расстоянии трехсот футов, снял с сокола кожаный клобучок и резким движением руки подбросил птицу в воздух.

Сокол описал три круга над головой своего хозяина, снизился, пронесся над самой травой и тут, заметив добычу, полетел прямо на нее, подобно пущенной из арбалета стреле. Завидев преследователя, цапля вытянула шею, выбросив рыбу, которой она наглоталась в речке, и, освободившись от груза, полетела резвее. Но сокол нагонял ее; он набирал высоту, описывая круги, словно следуя виткам невидимой спирали. А цапля резким взмахом огромных крыльев поднималась в небо в надежде, что хищной птице не угнаться за ней. Она взлетала все выше, выше, уменьшалась на глазах, но расстояние между ней и преследователем все укорачивалось, потому что летела она против ветра, что замедляло полет. Ей пришлось повернуть обратно; сокол снова

проделал свои вихревые витки и набросился на цаплю. Цапля резко рванулась в сторону, и хищник не удержал ее в своих когтях. Но, оглушенная ударом, голенастая цапля рухнула как камень с пятидесяти футов высоты и принялась бежать по траве. Сокол снова начал кружить над ней.

Задрав голову, Робер с сокольничим следили за всеми перипетиями этой борьбы, где проворство одерживало верх над тяжестью, быстрота над силой, воинственный пыл злобы над мирными инстинктами.

— Смотри, смотри на эту цаплю, — с жаром кричал Робер, — вот уж и впрямь самая трусливая птица на свете! В четыре раза больше моей маленькой птички, да она могла бы одним ударом длиннющего своего клюва уложить сокола на месте, а она — вот уж впрямь робкое создание, бежит, смотри, бежит! Добивай ее, мой храбрец, добивай скорее! Ох до чего же отважная птица! Смотри, смотри, поддается, сейчас он ей покажет!

Он пустил коня галопом, чтобы поскорее добраться до места будущей схватки. Сокол уже сжимал когтями шею цапли; полузадушенная птица слабо шевелила крыльями и в своем падении увлекла за собой победителя. Когда до земли

оставалось всего несколько футов, сокол разжал когти, и добыча его сама рухнула на землю, и тут он снова набросился на свою жертву и прикончил ее ударом клюва в глаза и голову. Робер с сокольничим подоспели вовремя.

— Прикормку, прикормку! — крикнул Робер.

Сокольничий отцепил от своего седла дохлого голубя и бросил его как прикормку соколу. Откровенно говоря, «полуприкормку»: хорошо натасканный сокол должен довольствоваться этим и не трогать добычи. И маленький отважный красавец с окровавленным клювом пожрал дохлого голубя, держась одной лапой за цаплю. С неба на траву медленно падали, кружась, серые перья, вырванные во время борьбы.

Сокольничий спешился, взял цаплю и подал ее Роберу — великолепная цапля! И сейчас, когда ее держали на весу, она от клюва до кончиков ног была ростом с человека.

— Вот уж и впрямь трусливая птица! — твердил Робер. — Даже охотиться на нее нет никакого удовольствия. Эти цапли здоровы только горланить, а собственной тени боятся и начинают верещать, когда ее увидят. Нет, пусть за такой дичью охотятся вилланы.

Насытившийся сокол, повинуясь свисту, сно-

ва уселся на руку Робера, а Робер надел на него кожаный клобучок. Потом охотники рысцой затрусили по направлению к замку.

Вдруг сокольничий услышал, как Робер Артуа засмеялся коротким звучным смешком, хотя вроде бы ничего смешного не произошло, и лошади тревожно повели ушами.

Когда они вернулись в Виндзор, сокольничий спросил:

— Что прикажете, ваша светлость, сделать с цаплей?

Робер поднял глаза к королевскому стягу, развевавшемуся над Виндзорской башней, и злобно-насмешливая ухмылка исказила его лицо.

— Возьми ее, и пойдем в поварню, — ответил он. — А потом отыщи мне одного или двух менестрелей из тех, что сейчас в замке.

Глава V
Клятва над цаплей

Обед подходил уже к концу, четыре перемены из шести успели убрать, а слева от королевы Филиппы все еще пустовало место графа Артуа.

— Неужели наш кузен Робер не вернулся? — удивленный отсутствием Робера, спросил Эду-

ард III, когда только еще усаживались за стол.

Один из многочисленных пажей, стоявших за спинами обедавших, набрался храбрости и сказал, что видел, как граф вернулся с охоты, уже часа два назад. Чем объяснить подобное нарушение этикета? Предположили даже, что Робер утомился, охотясь, или занемог, но он должен был послать своего слугу, чтобы тот от имени господина принес королю извинения.

— Робер, сир, племянник мой, ведет себя при вашем дворе, будто он в харчевне. Впрочем, ничего тут удивительного нет, от него всего можно ждать, — заметил Иоганн Геннегау, дядя королевы Филиппы.

Иоганн Геннегау, имевший претензии считать себя образцом рыцарской учтивости, недолюбливал Робера, в его глазах граф Артуа был просто клятвопреступником, изгнанным французским королем за подделку печатей, и он порицал Эдуарда III за то, что тот слишком доверяет своему родичу. К тому же в свое время Иоганн Геннегау, так же как и Робер, был влюблен в королеву Изабеллу, и со столь же малым успехом, но его до глубины души уязвляла манера Робера где-нибудь в сторонке шутливо беседовать с королевой-матерью.

Эдуард промолчал и опустил свои длинные ресницы — так он давал себе время не поддаться первому порыву раздражения. Он удержался от гневного замечания, услышав которое люди решили бы: «Король говорит, не подумав, король произнес несправедливое слово». Потом поднял взгляд и посмотрел на графиню Солсбери, безусловно самую пленительную даму при английском дворе.

Высокая, с роскошными черными косами, с овальным бледным личиком без румянца, с лиловатой тенью на веках, отчего глаза ее казались чуть приподнятыми к вискам, графиня Солсбери словно была вечно погружена в какие-то тайные свои мечты. Такие женщины всегда опасны, ибо при всем своем мечтательном облике они не мечтают, а мыслят. И глаза, окруженные лиловатой тенью, слишком часто встречались с глазами короля.

Ее супруг, Уильям Монтегю, граф Солсбери, не обращал внимания на эту перестрелку взглядов, прежде всего потому, что верил в добродетели жены, равно как и в благородство своего друга короля, а также и потому, что сам в эту минуту с удовольствием слушал смех, остроумные замечания и щебетание дочки графа Дерби, своей

соседки по столу. Почести одна за другой сыпались на Солсбери: его только что назначили смотрителем Пяти портов и маршалом Англии.

Но королеву Филиппу глодала тревога. Женщину всегда гложет тревога, когда она в тягости, а глаза ее мужа слишком часто ищут чужого взгляда. Филиппа снова ждала ребенка, но на сей раз Эдуард не выказывал ей былой признательности, восхищения, на которые был так щедр в те времена, когда она носила под сердцем первое дитя.

Эдуарду уже минуло двадцать пять; он решил отпустить бородку, и, так как решение это принято было всего несколько недель назад, мягкие белокурые волосы вились лишь на подбородке. Уж не для того ли он ее отпустил, чтобы понравиться графине Солсбери? А может быть, желал придать своему все еще юношескому лицу выражение властности? С этой бородкой Эдуард вдруг стал похож на своего отца: казалось, Плантагенет пожелал проявить себя в его особе и возобладать над Капетингом. Человек, просто потому, что живет на свете, неизбежно становится хуже и теряет в чистоте то, что приобретает во власти. Ручеек, столь прозрачный в самом своем истоке, превратившись в реку, несет с собой грязь и тину. Так что мадам Филиппа имела немало оснований

тревожиться…

Вдруг за распахнувшимися створками двери раздались пронзительные звуки виолы и лютни, в залу вошли две юные прислужницы, лет по четырнадцати, не более, в венках из листьев, в длинных белых рубашках, с корзинками на руке, откуда они полными пригоршнями кидали на пол ирисы, маргаритки и алый шиповник. И обе пели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня». За ними следовали два менестреля, аккомпанируя девушкам на виолах. А позади шагал Робер Артуа, на целых полкорпуса возвышаясь над своим маленьким оркестром, и на высоко поднятых руках нес он серебряное блюдо, где красовалась жареная цапля.

Все присутствующие сначала улыбнулись, потом дружно расхохотались над этим шутовским шествием. Робер Артуа в роли стольника! Ну кто, кроме него, мог так мило и так забавно извиниться за опоздание?

Слуги застыли на месте, кто с ножом, кто с кувшином в руках, готовые в любую минуту присоединиться к кортежу и принять участие в веселой игре. Но вдруг громовой голос покрыл все остальные звуки — и песни, и лютни, и виолы:

— Расступись, негодные людишки! Это я ваше-

му королю хочу преподнести свой дар!

Смех возобновился. Ловко придумал — «негодные людишки». А Робер тем временем остановился возле Эдуарда III и, делая вид, что хочет стать на колени, протянул ему блюдо.

— Государь! — воскликнул он. — Вот эту цаплю поймал мой сокол. Цапля самая что ни на есть трусливая птица во всем белом свете, ибо улепетывает она ото всех без разбору. По моему мнению, жители вашей страны должны свято чтить ее, и куда сподручнее было бы поместить на гербе Англии не львов, а именно цаплю. И вам, король Эдуард, приношу я ее в дар, ибо он по праву предназначен самому робкому и трусливому изо всех государей, которого лишили Французского королевства — его законного наследства — и которому не хватает мужества отвоевать то, что ему принадлежит по праву.

Воцарилась тишина. Смех сменило гробовое молчание: кто испугался, кто вознегодовал. Оскорбление было нанесено прямо в лицо Эдуарду III. Приподнявшись с места, Солсбери, Сеффолк, Вильгельм Мауни, Иоганн Геннегау уже готовились броситься на дерзкого по первому знаку короля. Не похоже, чтобы граф Артуа был пьян. Значит, рехнулся? Конечно рехнулся, слыханное

ли дело, чтобы при каком-либо королевском дворе и по более серьезному поводу чужеземец, выгнанный из родной страны, осмелился действовать таким образом.

Лицо короля залил румянец. Эдуард посмотрел прямо в глаза Роберу. Выгонит ли он сейчас его из зала пиршественного, выгонит ли его за пределы своего королевства?

Как и всегда, Эдуард ответил не сразу: он знал, что любое королевское слово, будь то даже «спокойной ночи», брошенное на ходу своему пажу, не простое слово. Силой заткнуть рот дерзкому — это не значит еще снять оскорбления, изреченные дерзкими устами. Эдуард был мудр и, кроме того, честен. Мужество доказывается вовсе не тем, что вы в гневе лишите всех пожалованных вами благ вашего родича, которому вы дали приют и который верно вам служит; мужество доказывается не тем, что вы прикажете бросить в темницу человека только за то, что он обвинил вас в слабости. Мужество доказывается тем, что вы сумеете опровергнуть предъявленное вам обвинение. Он поднялся с места:

— Коль скоро со мной обошлись как с трусом в присутствии дам и моих баронов, лучше будет, если я выскажу по этому поводу свое мнение, и,

дабы убедить вас, дорогой кузен, что вы обо мне судите неправильно и что совсем не трусость до сих пор удерживает меня, даю вам клятву, что еще до конца этого года я переплыву море и брошу вызов тому, кто мнит себя французским королем, и буду биться с ним, пусть даже против его десяти человек я сумею выставить только одного. Я благодарен вам за цаплю, вашу охотничью добычу, и принимаю ее с доброй душой.

Сотрапезники по-прежнему молчали, но чувство каждого как бы изменилось в самой своей сути, в самом своем накале. Губы жадно хватали воздух, распрямлялись плечи. С неестественно громким звоном упала оброненная кем-то ложка. Глаза Робера засветились торжеством. Он согнулся в поклоне и произнес:

— Сир, мой юный и доблестный кузен, я и не ждал от вас иного ответа. В вас заговорило благородное ваше сердце. Я радуюсь вашей славе, а мне вы подали надежду, что я вновь смогу увидеть свою супругу и детей. Клянусь перед Господом Богом, который слышит нас на небесах: я во всех битвах буду впереди вас, и сколько бы мне ни было отпущено на этой земле лет, все они будут отданы на служение вам и на отмщение моим врагам.

Потом он обратился ко всему застолью:

— Благородные мои лорды, хочу надеяться, что у каждого из вас хватит мужества принести клятву, как только что принес ее ваш обожаемый король!

Все еще не выпуская из рук блюда с жареной цаплей, крылья и гузку которой затейник повар убрал перьями, Робер шагнул к Солсбери:

— Благородный Монтегю, к вам первому обращаюсь я!

— К вашим услугам, граф Робер, — ответил Солсбери, всего несколько минут назад чуть не бросившийся на дерзкого.

И, поднявшись, он громко провозгласил:

— Коль скоро государь наш назвал своего врага, то и я назову своего. И так как я маршал Англии, даю обет не знать ни отдыха, ни срока до тех пор, пока не разобью наголову в бою маршала короля Филиппа, лжекороля Франции!

Присутствующие встретили его слова рукоплесканиями восторга.

— А я тоже хочу принести клятву, — воскликнула, хлопая в ладошки, графиня Дерби. — Почему дам лишают права приносить клятвы?

— Да нет, никто их такого права не лишает, милейшая графиня, — возразил Робер, — и это

только пойдет на пользу всем — мужчины еще крепче будут держать свое слово. А ну, отроковицы, — крикнул он двум девчушкам в венках из свежих зеленых веток, — а ну-ка спойте нам в честь дамы, которая хочет принести обет.

Менестрели и отроковицы снова завели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня». Когда пение закончилось, графиня Дерби, перед которой Робер держал серебряное блюдо с цаплей, уже успевшей покрыться слоем остывшего жирного соуса, прощебетала своим пронзительным голоском:

— Даю обет и клянусь перед Всевышним, что я не выйду ни за кого замуж, будь то принц, граф или барон, прежде чем благородный лорд Солсбери не выполнит свой обет. И если он останется в живых и вернется сюда, я пожалую ему свое тело с доброй душой.

Этот обет был выслушан присутствующими не без удивления, а Солсбери слегка покраснел.

Но графиня Солсбери даже не повернула в сторону говорившей свою головку, увенчанную короной роскошных темных кос, только губы слегка тронула насмешливая улыбка да глаза, обведенные лиловатой тенью, она подняла к Эдуарду, как бы говоря: «Чего же нам-то после

этого стесняться...»

Робер поочередно останавливался возле каждого сидевшего за столом, но, чтобы каждый успел собраться с мыслями, какой ему дать обет и выбрать себе личного врага, приказывал менестрелям играть на виолах, а отроковицам петь. Граф Дерби, отец той самой щебетуньи, что громогласно дала чересчур смелый обет, поклялся вызвать на бой графа Фландрского; новоиспеченный граф Сеффолк выбрал себе короля Богемского; юный Готье де Мони, только недавно посвященный в рыцари и не успевший растратить свой пыл, сумел расшевелить всю компанию, заверив, что превратит в пепел все города, лежащие по соседству с Геннегау и принадлежащие Филиппу Валуа, и пусть до тех пор он будет смотреть на свет божий одним глазом.

— Ну что ж, пусть будет так, — сказала сидящая с ним рядом графиня Солсбери, прикрыв двумя пальчиками его правый глаз, — и когда вы сдержите ваше слово, тогда я отдам свою любовь тому, кто любит меня сильнее прочих, — вот и я тоже дала обет.

Во время всей этой небольшой речи графиня пристально глядела на короля. А простодушный Готье, поверивший, что клятва красавицы адре-

сована ему, так и сидел, прижмурив один глаз, даже когда графиня убрала свои пальчики. Но и этого показалось ему мало, он вытащил красный носовой платок и завязал им глаз, чтобы тот действительно оставался закрытым, и затянул платок узлом на затылке.

Минута подлинного величия миновала. Раздались смешки вперемешку с похвальбой, каждый старался превзойти собеседника. Блюдо с цаплей уже перекочевало к мессиру Иоганну Геннегау, хотя тот в душе сильно надеялся, что вся эта комедия худо обернется для ее творца. Никому не дано поучать его в вопросах чести, и поэтому на его румяном лице читалась явная досада.

— Когда мы сидим в таверне и изрядно выпиваем, — обратился он к Роберу, — то легко даем любые обеты и клятвы, лишь бы привлечь к себе взоры дам. И тогда кажется, будто находимся мы среди одних Оливье, Роландов и Ланселотов. Когда же мы бросаемся в атаку на наших боевых конях, прикрываясь щитом, нацелив на неприятеля острие копья, и когда сближаемся с врагом, мы не в силах побороть ледяного холода страха, о, сколько же хвастунишек предпочли бы отсидеться в такую минуту где-нибудь в погребе!.. Король Богемский, граф Фландрский и маршал Бертран

— такие же бесстрашные рыцари, как и мы с вами, дражайший кузен Робер, и вы сами это прекрасно знаете! Ибо, хоть нас с вами обоих, правда по различным причинам, прогнали от французского двора, мы их достаточно хорошо узнали; они еще полностью не рассчитались с нами! Что касается меня лично, то я просто даю обет в том, что, ежели наш король Эдуард захочет пройти через Геннегау, я неизменно буду при нем и буду поддерживать его дело. И это будет уже третья война, где я верой и правдой послужу ему!

Теперь Робер подошел к королеве Филиппе и опустился перед ней на колени. Пухленькая Филиппа повернула к Эдуарду свое личико, все усеянное веснушками.

— Я не могу дать обета без разрешения моего сеньора, — ответила она.

Так она спокойно преподала хороший урок своим придворным дамам.

— Клянитесь, в чем вам угодно, душенька моя, клянитесь со всем пылом, я заранее одобрю все, что вы ни скажете, и да поможет вам Бог! — воскликнул король.

— Если так, дорогой мой сир, если я могу принести любую клятву, то, коль скоро я в тягости и душа моя неспокойна, клянусь, дитя не выйдет

из чрева моего, если вы не увезете меня с собой за море, выполняя свой обет…

Голос ее слегка дрогнул, как в день их бракосочетания.

— …но буде так, что вы оставите меня здесь, — продолжала она, — и отправитесь туда вместе с другими, я зарежусь большим стальным ножом, дабы разом загубить и душу свою, и плод чрева моего!

Все это Филиппа произнесла как-то удивительно просто, но намек был столь ясен, что каждый понял, о чем идет речь. Никто не осмелился взглянуть на графиню Солсбери. Король опустил длинные ресницы, взял руку королевы, поднес ее к губам и, желая прервать неловкое молчание, проговорил:

— Душенька моя, всем нам вы преподали урок подлинного долга. После ваших слов никому не пристало давать никаких обетов.

И обратился к Роберу:

— Дорогой мой кузен Артуа, займите ваше место возле королевы.

Один из стольников ловко разрезал цаплю, но мясо оказалось чересчур жестким, так как его не выдержали как следует, и к тому же холодным, так как церемония обетов и клятв слишком затя-

нулась. Тем не менее каждый проглотил кусочек дичины. Один лишь Робер находил в ней особый смак: нынче и впрямь началась война.

Глава VI
Стены Ванна

И обеты, данные в Виндзоре, были исполнены.

16 июля все того же 1338 года Эдуард III отплыл из Ярмута со своей флотилией, насчитывавшей четыре сотни судов. На следующий день он высадился в Антверпене. Королева Филиппа находилась при нем, и множество рыцарей в подражание Готье де Мони прикрыли себе правый глаз ромбовидным кусочком алого сукна.

Но сейчас еще не пришла пора битв, а пришла пора переговоров. В Кобленце 5 сентября Эдуард имел встречу с императором Священной империи.

Ради этой торжественной церемонии Людвиг Баварский сочинил себе диковинный наряд, не то императорский, не то папский: надел папскую далматику на королевский хитон, а на папскую тиару нацепил еще усыпанную драгоценными каменьями корону. В одной руке он держал скипетр, а в другой — державу, увенчанную крестом.

Своим убранством он как бы утверждал себя владыкой всего христианского мира.

С высоты своего трона он обвинил Филиппа VI в незаконном восшествии на престол Франции, признал Эдуарда подлинным королем Франции и вручил ему золотой жезл, что означало назначение императорским викарием. И эту мысль подбросил императору опять-таки Робер Артуа, который вовремя вспомнил, что его дядюшка Карл Валуа перед каждым из своих походов первым делом добивался звания папского викария. Людвиг Баварский поклялся отстаивать в течение семи лет права Эдуарда, и все немецкие принцы, прибывшие вместе с императором, поддержали его клятву.

Тем временем Яков ван Артевелде продолжал призывать народ к мятежу в графстве Фландрском, откуда окончательно сбежал Людовик Неверский. Так от города к городу шел Эдуард III, собирая представительные ассамблеи, где его признавали королем Франции. Он давал обещания присоединить к Фландрии города Дуэ, Лилль и даже графство Артуа, дабы жил на этих землях единый народ, воодушевленный общими интересами. В этих великих предначертаниях неизменно упоминалось Артуа, что

свидетельствовало о том, кто именно был их вдохновителем, и нетрудно было догадаться, кто под опекой Англии будет пользоваться всеми доходами с графства.

Одновременно Эдуард решил расширить торговые привилегии городов: вместо того чтобы требовать налоги, он обещал предоставить субсидии и скрепил свое обещание печатью, где были выгравированы гербы Англии и Франции.

В Антверпене королева Филиппа произвела на свет второго сына, Лионеля.

А в Авиньоне папа Бенедикт XII с еще большим усердием хлопотал о мире, но, увы, тщетно. Он и Крестовый поход-то осудил с единственной целью — помешать франко-английской войне, а она теперь, вот вам, начнется не сегодня завтра.

Между английскими авангардами и французскими гарнизонами уже происходили серьезные стычки и в Вермандуа, и в Тьераше, на что Филипп VI ответил отправкой отрядов в Гиень и в Шотландию, дабы поднять там мятеж от имени малолетнего Дэвида Брюса. Сам Эдуард III появлялся то в Лондоне, то во Фландрии, закладывая в итальянских банках драгоценности английской короны, дабы покрыть расходы на содержание войска, а также дабы удовлетворить требования

новых своих вассалов.

Собрав свое воинство, взяв из Сен-Дени орифламму, Филипп VI дошел до Сен-Кантена, но, когда до англичан оставался всего день пути, вдруг круто повернул со всей своей армией и отправился обратно, чтобы возложить орифламму снова на алтарь Сен-Дени. По какой причине этот король, славный участник всех турниров, вдруг увильнул от встречи с неприятелем? Все ломали голову над этой загадкой. Быть может, Филипп VI считал, что в такую мокрядь не стоит ввязываться в битву? Или, быть может, в последнюю минуту вспомнились ему мрачные предсказания его дяди Роберта Астролога? Так или иначе, он заявил, что предпочитает иной план кампании. За одну только ночь он со страху измыслил новый план военных действий. Он, мол, решил завоевать Англию. И разве уже не вступала нога французов на английскую землю, разве герцог Нормандский более трех веков назад не покарал Британию?.. Так вот, и он, Филипп VI, он тоже достигнет тех же берегов, Гастингса, и герцог Нормандский, его собственный сын, будет сражаться бок о бок с отцом. Итак, каждый из двух королей похвалялся, что завоюет государство другого.

Но для успешного выполнения этого плана

первым делом требовалось господство на море. Так как основная часть войск Эдуарда находилась на континенте, Филипп задумал отрезать их от главных баз и тем затруднить доставку продовольствия и людских резервов. Вот возьмет и уничтожит английский флот.

22 июня 1340 года в устье Шельды, отделяющей Фландрию от Зеландии, появились две сотни кораблей, причем каждый носил очаровательное имя и на каждой грот-мачте реял французский стяг: «Пилигримка», «Корабль Господень», «Миколетта», «Красотка», «Хвастунья» и «Святая Дева Мария»… На корабли погрузили двадцать тысяч матросов и солдат в сопровождении отряда лучников, но среди них едва ли насчитывалось более полутора сотен дворян. Французское рыцарство недолюбливало море.

Капитан Барбавера, командующий пятьюдесятью генуэзскими галерами, которые нанял король Франции, сказал адмиралу Бегюше:

— Ваша светлость, смотрите, на нас движется король Англии со своим флотом. Отправляйтесь-ка со всеми вашими судами в открытое море, ибо, если вы замешкаетесь, вас здесь запрут наглухо, как в шлюзе: на стороне англичан сейчас и ветер, и солнце, и морской прилив, и они зажмут вас

так, что вы будете бессильны.

Не мешало бы прислушаться к его словам: за плечами капитана Барбаверы было целых тридцать лет морской службы, и это он в минувшем году, находясь на службе у французского короля, отважно сжег и разграбил город Саутгемптон. Но адмирал Бегюше, бывший смотритель королевских вод и лесов, гордо ответил капитану:

— Позор тому, кто уйдет отсюда!

И он выстроил свои суда в три ряда: в первом ряду флотилию Сены, затем Пикардии и Дьеппа и, наконец, Каэна и Котантена; приказал связать корабли между собой канатами и расставил людей так, как будто речь шла о защите укрепленного феодального замка…

Возвратившийся накануне из Лондона король Эдуард командовал примерно равным флотом. И людей у него было не больше, чем у французов, зато на корабли он посадил две тысячи дворян, среди коих находился и Робер Артуа, хотя тот терпеть не мог морских путешествий.

В английской флотилии был также только-только сошедший с верфи корабль, охраняемый восемью сотнями солдат и предназначавшийся для придворных дам королевы Филиппы.

Уже к вечеру Франции пришлось окончатель-

но распроститься со своей мечтой — с мечтой о господстве на море.

В тот день никто и не заметил золотого заката — так ярко пылали охваченные пламенем французские суда, озаряя всю округу.

Нормандских и пикардийских рыбаков, матросов с Сены покрошили на куски английские лучники, на помощь которым подоспели фламандцы на своих плоскодонных барках и набросились с тыла на эти укрепленные замки под парусами. Трещали мачты, бряцало оружие, хрипели умирающие. Бились на мечах и секирах среди груды обломков. Те, кому удалось выжить в этом побоище, не дожидаясь его конца, прыгали через борт, прямо в месиво трупов, не то в воду, не то в кровь. Морские волны, играючи, перекатывали сотни отрубленных рук.

На рее корабля, на котором находился Эдуард, болталось тело адмирала Бегюше. Зато капитан Барбавера вместе со своими генуэзскими галерами уже давно успел уйти в открытое море.

Хотя англичан тоже здорово потрепали, они все равно чувствовали себя победителями. Самая большая их потеря — корабль с придворными дамами королевы под ужасные вопли пошел ко дну. И разноцветные платья, словно мертвые

птицы, покачивались на волнах среди человеческих трупов.

Король Эдуард был ранен в бедро, и в его сапог белой кожи натекла кровь, но зато теперь война пойдет на французской земле.

Эдуард III тотчас послал Филиппу VI новый картель: «Дабы избежать великого уничтожения народов и стран во имя высокого духа христианства, любой правитель должен в сердце своем тому воспрепятствовать», английский король предлагал своему французскому кузену встретиться с ним в честном бою, коль скоро раздоры о престоле Франции — личное их дело. И буде Филипп Валуа не пожелает «этого поединка один на один», Эдуард предлагал такое: пусть каждый из королей, сопровождаемый с той и другой стороны сотней рыцарей, выйдет на ристалище — да, да, на турнир, но копья пусть не будут затуплены, мечи пусть будут положенного веса, и пусть не присутствуют на турнире судьи-распорядители, следящие за тем, чтобы все шло по правилам, и наградой в этом турнире будет не драгоценная брошь, не ученый сокол, а корона Людовика Святого.

Но король, прославленный турнирный боец, ответил, что предложение его кузена принять не

может, ибо направлено-де оно Филиппу Валуа, а не королю Франции, вассалом коего является Эдуард, предатель и мятежник.

Папе удалось выторговать новое перемирие. Его легаты, что называется, не щадили живота своего и приписали себе всю заслугу этого временного затишья, хотя оба короля согласились на него только для того, чтобы отдышаться.

Второе перемирие могло бы еще длиться и длиться, но тут как на грех отдал Богу душу герцог Бретонский.

После него не осталось ни законного сына, ни прямого наследника. Герцогство потребовали себе разом граф Монфор-л'Амори, последний оставшийся в живых брат герцога, и Шарль де Блуа, его племянник, — словом, повторилась точь-в-точь история с графством Артуа, да и с юридической стороны она мало чем отличалась от первой. Филипп VI принял сторону своего свойственника Шарля де Блуа, который был через жену связан с домом Валуа. И тут же Эдуард III встал на защиту Жана де Монфора. Так что было теперь два короля Франции, и у каждого из них по своему герцогу Бретонскому — совсем так, как у каждого уже был свой король Шотландский.

Бретонское наследство затрагивало кровные интересы Робера, коль скоро по материнской линии он происходил от герцогов Бретани. Поэтому-то Эдуарду III не оставалось ничего иного, как поручить своему родичу-гиганту командование начинавшейся кампанией.

Наконец-то наступил для Робера Артуа час великого его торжества.

Роберу исполнилось пятьдесят пять лет. После многолетней школы ненависти огрубели черты лица, волосы приняли странный оттенок — цвета сидра, разбавленного водой, — так обычно седеют рыжие. И был он уже не тем отъявленным шалопаем, который крушил и грабил замки своей тетушки Маго, воображая, что ведет настоящую войну. Теперь-то он знал, что такое война, и тщательно готовился к кампании; он пользовался авторитетом, который дается почтенным возрастом и долгим опытом бурно прожитой жизни. Его уважали все и уважали повсюду. Ну кто помнит, что он был подделывателем документов, клятвопреступником, убийцей и даже чуточку причастен к ворожбе? Кто осмелился бы ему это напомнить? Он был его светлость Робер, стареющий гигант, но еще не потерявший своей редкостной силы, всегда в алом одеянии и всегда

уверенный в себе, и теперь он шел по французской земле во главе английской армии. Но какое ему-то было дело, что командует он чужеземными войсками? Да и существует ли вообще такое понятие для графов, баронов и рыцарей? Эта кампания была чисто семейным делом, и битва для них была борьбой за наследство, врагом был кузен, но союзником — тоже кузен. Это только для простого народа, чьи дома сожгут, амбары разграбят, женщин опозорят, слово «чужеземец» означало «неприятель», но такого понятия отнюдь не существовало для принцев, защищавших свои титулы и свое добро.

Для Робера эта война между Англией и Францией была «его войной»: он жаждал ее, он призывал ее, он сам ее сварганил, для него она олицетворяла собой десять лет непрестанных трудов. Ему чудилось теперь, будто рожден он на свет божий, будто прожил всю жизнь только ради этой войны. В свое время он сетовал на то, что не умеет наслаждаться каждым данным мгновением, и вот теперь наконец-то научился им наслаждаться. Он вдыхал воздух, как пьют сладостный напиток. Каждая минута становилась счастьем. Взгромоздившись на своего огромного коня рыжей масти, прицепив шлем к седлу и подставляя лицо

вольному ветру, он обращался к своим людям с такими шуточками, что тех бросало в дрожь. Под его началом находилось двадцать две тысячи рыцарей и ратников, и когда он оглядывался, то видел за собой вплоть до самого горизонта одни только копья, блестевшие на солнце подобно смертоносной ниве. Несчастные бретонцы улепетывали от него со всех ног: некоторые на повозке, но большинство пешком, в своих штанах из тапы или грубой ткани; женщины несли ребятишек, мужчины тащили за плечами мешки гречихи.

Роберу было пятьдесят пять, но он все так же легко переносил переходы в пятнадцать лье и все так же любил помечтать… Завтра он возьмет Брест; потом возьмет Ванн; потом возьмет Ренн; оттуда войдет в Нормандию, схватит Алансона, родного брата Филиппа Валуа, из Алансона двинется на Эврё, на Конш, на милый его сердцу Конш! А там помчится к Шато-Гайару и освободит мадам де Бомон. Потом он, победительный, обрушится на Париж; вот он в Лувре, в Венсенне, в Сен-Жермене; он сбросит с престола Филиппа Валуа и вернет корону Эдуарду, а Эдуард пожалует ему, Роберу, за это титул главного наместника Французского королевства. Судьба и раньше посылала ему все мыслимые и немыслимые удачи

и неудачи, но тогда за ним не следовала, подымая дорожную пыль, целая армия.

И впрямь Робер взял Брест, где он освободил графиню де Монфор, настоящую воительницу, крепкую духом и телом; муж ее был взят в плен королем Франции. Но она, прижатая к морю, продолжала защищать остатки своего герцогства. И впрямь Робер с триумфальным маршем прошел через всю Бретань, и впрямь он осадил Ванн: он приказал установить камнеметные машины и катапульты, подвести пороховые бомбарды, дым от которых смешивался с ноябрьским туманом; пробили брешь в стенах. Хотя в Ванне стоял многочисленный гарнизон, но, по-видимому, он не слишком был склонен защищать город до последней капли крови, поэтому французы ждали первого штурма, чтобы с наименьшим ущербом для чести сдаться неприятелю. Дабы формальность эта была соблюдена, приходилось пожертвовать хотя бы десятком людей с той и с другой стороны.

Робер пришнуровал стальной шлем, взгромоздился на огромную свою лошадь, которая даже чуть осела под тяжестью хозяина, раскатисто отдал последние приказы, опустил забрало шлема, описал над головой круг своей шестифунтовой

боевой палицей. Герольды, потрясая его стягом, завопили во весь голос: «Артуа, к бою!»

Ратники бежали бок о бок с лошадьми, и каждые полдюжины человек несли длинную лестницу, предназначенную для штурма, другие тащили на конце палки мешки с тлеющей паклей, и там, где в крепостной стене зазияла пробоина, громыхнула лавина рухнувших камней, и среди тяжелых серых клубов дыма молнией сверкал алый, развевающийся на ветру плащ его светлости Артуа…

Стрела из арбалета, пущенная через амбразуру, пронзила шелковый плащ, доспехи, кожаную кольчугу, рубашку. Удар был не сильнее, чем удар копья на поединке; Робер Артуа сам вырвал стрелу, но через несколько минут, так и не поняв, что же такое с ним произошло, почему небо вдруг сразу почернело, почему шенкеля уже не сжимают боков коня, он рухнул в грязь.

Пока его войска шли на последний приступ, гиганта с непокрытой головой взвалили на лестницу и понесли к лагерю; бьющая из раны кровь стекала струйкой между перекладинами лестницы.

Судьба доныне щадила Робера от ран. И во время двух Фландрских кампаний, и в дни его

собственного похода на Артуа, и в Аквитанской войне… Через все эти испытания Робер прошел без единой царапины. Ни разу не коснулось его копье на всех пятидесяти турнирах, участником которых он был, ни разу рассвирепевший кабан не поцарапал клыком его кожи.

Так почему же случилось это именно у Ванна, под стенами этого города, даже не защищавшегося по-настоящему города, который был лишь незначительным этапом его долгой эпопеи? Ведь ни разу он не слышал ни одного зловещего предсказания ни насчет Ванна, ни насчет Бретани. Рука, натянувшая тетиву арбалета, была чужой рукой чужого человека, не подозревавшего, в кого он метит.

Четыре дня боролся Робер: не против государей и парламентов, не против неправедных законов наследования и законов того или иного графства, не против тщеславия и алчности королевских фамилий — он боролся против собственной своей плоти. Смерть пробралась в его тело через эту рану с почерневшими краями, зиявшую между сердцем, которое билось так сильно, и желудком, который мог поглотить любое количество пищи, — но не та смерть, что леденит, а та, что сжигает. В жилах его пылал огонь. Смерти по-

надобилось всего четыре дня, дабы сжечь силу, заключенную в этом теле, ту силу, которой хватило бы еще лет на двадцать…

Он отказывался написать завещание, кричал, что не позже чем завтра сядет в седло. Пришлось его связать, чтобы соборовать, так как он все порывался уложить на месте капеллана, которого принял за Тьерри д'Ирсона. Он бредил.

С младых ногтей Робер Артуа ненавидел море, но вот снарядили корабль, дабы доставить его в Англию. Всю ночь под мерное колыхание волн он взывал к правосудию, к какому-то странному правосудию, ибо, обращаясь к французским баронам, называл их «благородные мои лорды» и требовал, чтобы Филипп Красивый приказал отобрать все имущество у Филиппа Валуа, отнял бы у него королевскую мантию, скипетр и корону во исполнение папской буллы об отлучении от церкви. Голос его, доносившийся со шканцев, долетал до форштевня, его слышали даже сигнальщики на мачтах.

Перед рассветом он стал поспокойнее и попросил подтащить его матрас к двери: ему хотелось поглядеть на меркнущие звезды. Но он не увидел восхода солнца. Уже отходя, он снова вообразил, что выздоравливает. Последнее слово, которое

вымолвили его уста, было: «Никогда!», но так никто и не узнал, обращался ли он к королям, к морю или к Господу Богу.

Каждый человек приходит в мир сей, дабы выполнить свой долг, будь тот долг ничтожен или велик, но чаще всего человек и сам этого не знает, и природные его свойства, его связи с ему подобными, превратности судьбы побуждают его выполнить этот долг, пусть неведомо для него самого, но с верой, что он действует никем не понуждаемый, действует свободно. Робер Артуа разжег войну на западе Европы, его задача была выполнена.

Когда король Эдуард III узнал во Фландрии о смерти Робера Артуа, слеза смочила его ресницы, и он отправил королеве Филиппе письмо, гласившее:

Душенька моя, Робера Артуа, нашего кузена, призвал к себе Господь; ради любви, что питали мы к нему, и ради чести нашей дали мы письменный приказ канцлеру нашему и нашему казначею и повелели им захоронить его в нашем граде Лондоне. И желаем мы, душенька, дабы вы сами позаботились о том, чтобы воля наша была выполнена неукоснительно. Да хранит вас Господь. Скреплено нашей личной печатью в городе

Граншан, в День святой Екатерины, в год шестой нашего правления Англией и Францией — третий.

В начале января 1343 года в склеп кафедрального собора Святого Павла в Лондоне был опущен самый тяжелый из всех гробов, которые когда-либо туда опускали.

…И ВОТ АВТОР ВЫНУЖДЕН ЗДЕСЬ РАДИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ УБИТЬ СВОЕГО САМОГО ЛЮБИМОГО ГЕРОЯ, С КОТОРЫМ ПРОЖИЛ ОН ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ЛЕТ, ИСПЫТЫВАЯ ПЕЧАЛЬ, РАВНУЮ ТОЙ, ЧТО ИСПЫТАЛ КОРОЛЬ АНГЛИИ ЭДУАРД; ПЕРО, КАК ГОВОРИЛИ ЛЕТОПИСЦЫ, ВЫПАДАЕТ ИЗ ЕГО РУК, И НЕТ У НЕГО ОХОТЫ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, РАЗВЕ РАДИ ТОГО ЛИШЬ, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЯ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБОЙ КОЕ-КОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ЭТОЙ КНИГИ.

ПЕРЕНЕСЕМСЯ ЖЕ ВПЕРЕД НА ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ, А РАВНО ПЕРЕНЕСЕМСЯ И ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ…

Эпилог
Иоанн I Неизвестный
Глава I
Дорога, ведущая в Рим

В понедельник, 22 сентября 1354 года, Джаннино Бальони, нотабль города Сиены, проживавший в палаццо Толомеи, где помещалась банкирская компания их семейства, получил послание от прославленного Кола ди Риенци, который, захватив власть в Риме, взял себе античный титул трибуна. В этом письме, писанном в Капитолии и помеченном минувшим четвергом, Кола ди Риенци писал банкиру:

Дражайший друг, мы посылали гонцов на ваши розыски и поручили им просить вас, ежели только они вас встретят, прибыть к нам в Рим. Нам передавали, что они действительно обнаружили вас в Сиене, но не решились просить вас приехать повидаться с нами. Коль скоро неизвестно было, обнаружили ли они вас или нет, мы вам не писали, но ныне, раз мы знаем, где вы пребываете, просим вас поспешить с приездом к нам сразу же, как будет вручено вам это послание, и действовать

строго секретно, ибо речь идет о Французском королевстве.

Почему трибун, выросший в таверне Трастевере, но утверждавший, будто он незаконнорожденный сын императора Священной Римской империи Генриха VII — а следовательно, брат по крови королю Иоганну Богемскому, — почему трибун, которого Петрарка прославлял за то, что он вернул Италии ее былое величие, почему Кола ди Риенци пожелал иметь беседу, причем безотлагательную и тайную, с Джаннино Бальони? Банкир ломал себе голову над этим вопросом всю дорогу, все те дни, которые ехал к Риму в сопровождении своего друга нотариуса Анджело Гвидарелли, которого он попросил отправиться с ним вместе — во-первых, потому, что, когда путешествуешь вдвоем, путь кажется короче, а еще и потому, что нотариус был малый с головой и прекрасно осведомлен обо всех делах банка Толомеи.

В сентябре над Сиенской равниной с небес еще льется тепло, и жнивье на скошенных нивах похоже на шкуру хищника. Это, пожалуй, одно из самых прекрасных мест на всем свете, Создатель с предельным изяществом прочертил мягкую гряду холмов и щедро украсил ее богатой

растительностью, среди коей как подлинный властелин царит кипарис. А человек сумел обработать эту землю и повсюду настроил себе жилищ, которые, начиная с княжеского палаццо и кончая самой убогой хижиной, равно наделены одинаковой прелестью и гармонией со своей круглой черепицей на кровле и стенами цвета солнечной охры. Дорога здесь не однообразна, она вьется, подымается, спускается к новым долинам, бежит через поля, расположенные террасами, между оливковыми деревьями, насчитывающими не одну сотню лет. Здесь, в Сиене, и Бог и человек оказались равны в таланте созидания.

Но что за дела такие творятся во Франции, раз римский трибун пожелал иметь тайную беседу с сиенским банкиром? Почему он дважды делал попытку разыскать его и теперь еще срочно послал письмо, называя Джаннино «дражайшим своим другом»? Верно, готовится новый заем парижскому королю, а может, речь пойдет о том, чтобы выкупить французских вельмож, взятых в плен англичанами? Джаннино Бальони и не подозревал, что Кола ди Риенци столь интересуется делами Франции.

Но допустим, что все это так, почему же тогда трибун не обратился к другим членам компа-

нии, к старинным банкирским домам, скажем к Толомео Толомеи, к Андреа, к Джаккомо, ведь они лучше разбираются в таких вопросах и в свое время ездили в Париж, чтобы ликвидировать наследство старого дяди Спинелло, когда во Франции закрывались отделения итальянских банков? Конечно, Джаннино рожден от матери-француженки, прекрасной, вечно грустной молодой женщины, образ которой запечатлелся в его душе с детских лет, когда они жили в обветшалом замке, в том дождливом краю. И разумеется, дорогой отец его, Гуччо Бальони, скончавшийся четырнадцать лет назад во время путешествия по Кампании, — и Джаннино, убаюкиваемый мерной рысцой своей лошадки, незаметно осенил себя крестным знамением, — его отец в те времена, когда жил во Франции, был замешан во многих интригах дворов Парижа, Лондона, Авиньона и Неаполя. Был приближен королями и королевами и даже присутствовал на знаменитом Лионском конклаве…

Но Джаннино не любил вспоминать Францию именно потому, что там жила его мать, с которой ему так и не удалось повидаться хотя бы еще раз, и он даже не знал, жива она или умерла; не любил вспоминать также и потому, что, хотя, по словам

отца, он был рожден в законном браке, все прочие члены семьи считали его незаконнорожденным, все эти родичи, с которыми он познакомился, только когда ему уже минуло девять лет, — с дедушкой Мино Бальони, с дядюшками Толомеи, с многочисленными двоюродными братьями… Еще долго Джаннино чувствовал себя среди них чужаком. Сколько же пришлось приложить ему стараний, чтобы стереть эту грань, чтобы войти в их круг, чтобы стать настоящим сиенцем, банкиром, одним из Бальони.

Возможно, и потому, что в душе его жила смутная тоска по сочным зеленым лугам, утренней туманной дымке и бесчисленным отарам овец, он и занялся торговлей шерстью через два года после кончины отца, женился на богатой наследнице из хорошего сиенского дома. Джованна Виволи подарила ему троих сыновей, и он прожил с ней счастливо целых шесть лет, но в сорок восьмом году ее унесла моровая язва — черная чума. На следующий год он вступил в брак с другой богатой девицей, Франческой Агадзано; дом теперь оглашали веселые крики еще двух сыновей, а сейчас они ждали нового младенца.

Соотечественники уважали Джаннино за безупречную честность в делах, и сограждане

избрали его камерлингом, управляющим казной больницы для бедных Ностра-Дамаделла-Мизерикордиа…

Сан-Квирико д'Орчиа, Радикофани, Аквапенденте, озеро Больсена, Монтефьясконе — на ночлег останавливались в придорожных тавернах с огромными портиками, а на рассвете снова пускались в путь… Джаннино с Гвидарелли уже миновали Тоскану. Чем ближе становился Рим, тем тверже решал Джаннино ответить трибуну Кола ди Риенци со всевозможной учтивостью, что он, мол, не склонен вступать в торговые дела с Францией. Нотариус Гвидарелли горячо его поддерживал: итальянские компании еще хранили слишком печальную память о том, как их буквально ограбили, да и в самой Франции дела были не столь уж блестящие, сейчас, когда шла война с Англией. Поэтому-то и не стоило рисковать даже малыми деньгами. Куда как лучше жить спокойно в славной маленькой республике, такой, скажем, как Сиена, где процветают искусство

и коммерция[35], чем в этих огромных странах, которыми управляют просто сумасшедшие!

Ибо Джаннино из палаццо Толомеи следил за событиями, разыгрывавшимися в последние годы во Франции: слишком много туда было вложено денег, и никогда, видно, долгов не собрать. И впрямь чистые безумцы эти французы, и первый — их король Валуа, который ухитрился потерять сначала Бретань и Фландрию, затем Нормандию, затем Сентонж, а ныне, словно косуля, затравленная гончими, блуждал, гонимый английским воинством, вокруг Парижа. Этот герой турниров, грозивший поднять весь христианский мир на Крестовый поход, отказался даже принять картель от своего врага Эдуарда, который предлагал ему сразиться в честном бою на равнине Вожирара, чуть ли не у самых врат королевского дворца; потом, почему-то вдруг вообразив, что англичане бегут, ибо они отошли к северу, — хотя с какой бы

[35] Примечания: 35

…Сиена, где процветают искусство и коммерция… — Несмотря на политическую борьбу, восстания, соперничество между социальными классами и с соседними городами, что было общим уделом итальянских республик в ту эпоху, Сиена познала в XIV в. великий период процветания и славы благодаря своим искусствам и коммерции. Между оккупацией города Карлом де Валуа в 1301 г. и его завоеванием герцогом Миланским Джан-Галеаццо Висконти в 1399-м единственным настоящим несчастьем, обрушившимся на Сиену, была эпидемия чумы в 1347–1348 гг.

стати им бежать, раз они повсюду одерживали победы, — Филипп совсем доконал своих людей, внезапно погнав их форсированным маршем вдогонку за Эдуардом, которого он настиг за Соммой, — вот тут и кончилась воинская слава французов.

Отголоски битвы при Креси дошли даже до Сиены! Сиенцы знали, что король Франции послал своих ратников в атаку, не дав людям передохнуть после утомительного перехода в пять лье, и что французские рыцари, обозленные на эту пехтуру, двигавшуюся еле-еле, пошли в атаку сквозь свои же собственные войска, смяли их, опрокинули, потоптали копытами коней, а затем полегли сами под перекрестной стрельбой английских лучников.

— Хотели как-то объяснить свое поражение, вот и распускают слух, будто стрелы были начинены порохом, а порох Англии доставляет Италия, и поэтому, мол, в рядах французов началась паника — они, видите ли, испугались треска и грома. Но поверь, Гвидарелли, дело тут вовсе не в порохе, а в их собственной дурости.

Ах, никто и не собирается отрицать, что были и с французской стороны героические деяния, были! Вот, скажем, Иоганн Богемский, который

ослеп к пятидесяти годам, пожелал участвовать в бою и потребовал, чтобы его коня с двух сторон привязали к коням двух его рыцарей; и слепец король бросился в самую гущу схватки, потрясая своей палицей, и кого же он ею сразил? Да тех же двух злосчастных рыцарей, что скакали по обе стороны от него… После боя нашли его труп, так и привязанный к двоим убитым его соратникам, — можно ли найти более совершенный символ для этой рыцарственной, полуослепленной забралом касты, которая, презирая простой люд, укокошивает сама себя ни за что ни про что.

Вечером, после битвы при Креси, Филипп VI в сопровождении всего полудюжины рыцарей без толку блуждал по полям и лугам и наконец постучался у дверей какого-то захудалого замка и жалобно взмолился:

— Откройте, откройте скорее несчастному королю Франции!

Не будем забывать, что мессир Данте уже проклял в свое время этот клан Валуа, и причиной тому был первый среди них, граф Карл, опустошивший Сиену и Флоренцию. Все враги divino poeta, божественного поэта, кончали плохо.

А после битвы при Креси генуэзцы занесли чуму. Ну от этих ждать ничего доброго не при-

ходится! Их корабли привезли страшную заразу с Востока, и моровая язва сначала скосила Прованс, потом обрушилась на Авиньон, на сей град, погрязший в пороке и разврате. Достаточно вспомнить слова мессира Петрарки об этом Новом Вавилоне, и сразу станет ясным, что зловонная гнусность и открыто творимые грехи вызвали эту злую напасть, должную покарать Авиньон[36].

Тосканец никогда не бывает доволен ничем и никем, кроме себя самого. Отнять от него злословие — значит отнять от него жизнь. И в этом отношении Джаннино был истинным тосканцем. Даже достигнув Витербо, они с Гвидарелли все еще не разделались с целым миром, еще не успели его как следует охаять и обругать.

---

[36] Примечания: 36

…злую напасть, должную покарать Авиньон. — Живя в Авиньоне, Петрарка не переставал изливать, с редким талантом памфлетиста, свою ненависть к этому городу. Его письма, даже со скидкой на поэтические преувеличения, рисуют нам захватывающую картину Авиньона эпохи пап («Безымянные письма» Петрарки к Кола ди Риенци, римскому трибуну, и другим).

«…Я живу теперь во Франции, этом Вавилоне Запада, где собрано все, что есть под солнцем наиболее гнусного, на берегах необузданной Роны, похожей на Коцит или Ахерон Тартара, где царят некогда бедные преемники рыбака, забывшие о своих корнях. В смущении видишь вместо святого одиночества наплыв преступников и рассеянные повсюду шайки подлых прихлебателей; вместо суровых постов — полные сластолюбия пиршества; вместо благочестивых паломничеств — жестокая и бесстыжая праздность; вместо босых ног апостолов

— стремительные скакуны воров, белые как снег, покрытые золотом, живущие в золоте, грызущие золото и чуть ли не подкованные золотом. Короче, можно подумать, будто это персидские или парфянские цари, требующие поклонения и к которым нет доступа без поднесенных даров…» (Письмо V).

«…Сегодня Авиньон уже не город, а вотчина ларвов и лемуров; одним словом, клоака всех преступлений и всех гнусностей; тот самый ад живых, о котором сказано было устами Давида…» (Письмо VIII).

«…Я по опыту знаю, что тут нет никакого сострадания, никакого человеколюбия, никакой веры, никакого уважения, никакого страха Божия, ничего святого, ничего праведного, ничего справедливого, ничего священного — в общем, ничего человеческого… Мягкие руки, жестокие дела; ангельские голоса, поступки демонов; сладкие песнопения, железные сердца…» (Письмо XV).

«…Это единственный угол на земле, где рассудку не нашлось никакого места, где все приходит в движение без смысла, по случаю, и среди всех здешних пагуб, количество коих бесконечно, вершина разочарований в том, что все тут полно клея и крючков, так что, полагая, будто ускользнул, оказываешься в еще более тугих путах. Кроме того, тут нет ни света, ни поводыря… В общем, говоря словами Лукиана: „…черная ночь злодеяний“… Не народ, а прах, который кружит ветер…» (Письмо XVI).

«…Сатана со смехом глядит на это зрелище и получает удовольствие от столь неравной пляски, сидя, как арбитр, меж облупившимся старичьем и юными девушками… Был средь сего сонма (кардиналов) один маленький старичок, способный оплодотворить любую скотинку, обладая похотливостью козла — если есть что-то более вонючее, чем козел. Пусть бы он не осмеливался спать один, боясь крыс или привидений. Но он полагал, что нет ничего тоскливее и горше безбрачия. И каждый день отмечал новой девственной плевой. Ему уже далеко за семьдесят и осталось всего семь зубов…» (Письмо XVIII).

Во-первых, что делает папа в Авиньоне, когда ему положено находиться в Риме, ибо так повелел святой Петр? И во-вторых, почему вечно выбирают папу-француза, как, к примеру, этого Пьера Роже, бывшего епископа Аррасского, который стал папой после Бенедикта XII и правит всеми делами христианского мира под именем Климента VI? Почему он тоже окружил себя одними французскими кардиналами и отказывается вернуться в Италию? Вот и покарал их за то Господь Бог. Только за несколько месяцев в Авиньоне, где гуляла чума, было наглухо забито семь тысяч домов; трупы вывозили целыми повозками. Потом бич божий обрушился на север, пройдя через истощенные войной земли. Достигнув Парижа, чума уносила в день тысячу человек, не щадила ни малых, ни великих. Супруга герцога Нормандского, дочь короля Богемии, скончалась от чумы. Королева Жанна Наваррская, дочь Маргариты Бургундской, скончалась от чумы. И сама «королева мужеска пола», Жанна Хромоножка, сестра Маргариты, погибла от чумы; ненавидевшие ее французы утверждали, что смерть эта была справедливой карой.

Но почему, почему Джованна Бальони, первая жена Джаннино, Джованна с ее прекрасными

миндалевидными глазами, с ее точеной алебастровой шейкой, почему она тоже была унесена чумой? Разве это справедливо? Разве справедливо то, что зараза опустошила Сиену? Воистину Господь Бог поступает порой не слишком-то рассудительно и чересчур часто облагает страшной податью хороших людей, дабы оплатить злодеяния плохих.

Счастливы те, кого обошла стороной моровая язва! Счастлив мессир Джованни Боккаччо, сын друга семьи Толомеи и матери-француженки, как и сам Джаннино, которому удалось провести страшные дни в стороне от чумы — он гостил у одного богатого сеньора в его роскошном палаццо в окрестностях Флоренции. В дни разгула чумы, желая рассеять черные мысли укрывавшихся в палаццо Пальмьери, дабы забыли они, что у дверей бродит сама смерть, Боккаччо писал свои прекрасные потешные сказки, которые теперь наизусть знает вся Италия. Мужество, проявленное перед лицом смерти гостями графа Пальмьери, и в частности мессиром Боккаччо, разве не прекраснее оно дурацкой бравады рыцарей Франции?! Нотариус Гвидарелли полностью разделял мнение своего спутника.

А король Филипп вступил в новый брак, когда

прошло всего тридцать дней со смерти «королевы мужеска пола»… Джаннино тоже осуждал короля не за новый его брак, коли сам он женился вторично, но за эту непристойную спешку, с какой король Франции повел невесту к алтарю. Всего тридцать дней! И на кого же пал выбор Филиппа VI? Вот тут-то и начинается самое что ни на есть забавное! Украл у своего старшего сына принцессу, на которой тот должен был жениться, его кузину Бланку, дочь короля Наваррского, прозванную Мудрой Красой.

Восемнадцатилетняя девица, появившаяся при французском дворе, буквально ослепила своей красотой Филиппа, и он потребовал, чтобы сын его Иоанн Нормандский уступил ему свою невесту, и Иоанн дал обвенчать себя с графиней Булонской, двадцатичетырехлетней вдовушкой, причем новый супруг особых чувств к ней не питал, как, честно говоря, и ко всем прочим дамам, ибо наследник французского престола, по всей видимости, отдавал предпочтение пажам.

А король, которому стукнуло уже пятьдесят шесть, обрел в объятиях Мудрой Красы юношеский пыл страсти. Вот уж воистину Мудрая Краса! Прозвище-то больно подходящее! Джаннино с Гвидарелли от смеха чуть с лошадей не попадали.

Мудрая Краса! Мессиру Боккаччо об этом бы написать, вот бы получился рассказец! В три месяца красотка доконала короля, рыцаря турниров, и останки сего блистательного дурачка, который, процарствовав треть века, сумел довести свою богатейшую страну до нищеты, торжественно проводили в Сен-Дени.

Новый король — Иоанн II, теперь уже достигший тридцати шести лет и прозванный неизвестно почему Добрым, по словам видевших его путешественников, обладал теми же физическими достоинствами, что и его отец, и был так же удачлив во всех своих начинаниях. Только был он чуть порасточительнее, непостояннее и еще легкомысленнее, а в покойную матушку свою пошел подозрительностью и жестокостью. И на первых же порах своего правления приказал казнить коннетабля, так как кругом видел измену.

Тем временем Эдуард III, захвативший к тому времени Кале и стоявший там лагерем, учредил орден Подвязки в тот самый день, когда ему пришла охота лично поправить чулок своей любовницы, прекрасной графини Солсбери. Король Иоанн II, не желая отстать от англичан, учредил орден Звезды, дабы наградить им своего испанского фаворита юного Карла де Ла Серда. На этом

его подвиги и закончились.

Люди мерли с голоду; из-за чумы и войны на полях и в ремеслах рук не хватало; съестные припасы становились редкостью, а цены на них возросли непомерно; отменялись должности, за любую торговую сделку требовалось уплатить налога примерно около су на ливр.

По стране бродили шайки вроде давнишних «пастушков», но еще более разнузданные; тысячи мужчин и женщин в жалких лохмотьях стегали друг друга веревкой или цепью, брели по дорогам, распевая мрачные псалмы, и, внезапно охваченные безумием, убивали, как, впрочем, убивали все и всегда, итальянцев и евреев.

А тем временем французский двор блистал роскошью, что было прямым оскорблением нищей стране; на один-единственный турнир тратилось столько денег, сколько хватило бы на то, чтобы кормить целый год голодных в каком-нибудь графстве; и щеголяли в туалетах, противных христианской вере, — мужчины нацепляли на себя больше драгоценностей, чем дамы, носили туго затянутые в талии и не прикрывавшие ягодиц кафтаны, башмаки с такими длинными носками, что каждый шаг стоил воистину нечеловеческого труда.

Разве могла сколько-нибудь солидная банкирская компания идти на риск, оказывая таким людям кредит или поставляя им шерсть? Само собой разумеется, не могла. И Джаннино Бальони, въезжая 2 октября в Рим через Понте Мильвио, твердо решил открыто заявить об этом трибуну Кола ди Риенци.

Глава II
Ночь в Капитолии

Наши путники добрались до остерии в Кампо деи Фьори как раз тогда, когда уличные торговцы спешно распродают последние букеты роз и убирают со своих лотков многоцветные, пропитанные благовониями ковры.

Взяв себе в проводники хозяина постоялого двора, Джаннино Бальони уже в темноте отправился в Капитолий.

До чего же прекрасен город Рим, куда он попал впервые, и как же он сожалел, что не может замедлить шаг перед каждым вновь открывавшимся дивом! А как здесь просторно по сравнению с Сиеной и Флоренцией, вроде бы даже город больше, чем Париж или Неаполь, если судить по словам покойного отца. Проплутав по лабиринту кривых

улочек, вы вдруг оказывались перед великолепными палаццо, портики и дворы которых были залиты светом факелов или фонарей. Юноши группками, держась за руки, шли, загородив в ширину всю улицу, и пели. Вас толкали, но толкали не злобно, чужеземцам улыбались; из таверн, попадавшихся на каждом шагу, неслись славные запахи оливкового масла, шафрана, жареной рыбы и тушеного мяса. Казалось, жизнь здесь не замирает даже ночью.

При свете звезд Джаннино поднялся на Капитолийский холм. Перед церковной папертью пробивалась трава; обрушившиеся колонны, покалеченная статуя об одной руке — все свидетельствовало о древности города. Эту землю топтали Август, Нерон, Тит, Марк Аврелий.

Кола ди Риенци ужинал с многочисленными друзьями в огромной зале, возведенной на бывшей кладке храма Юпитера. Джаннино подошел к Риенци, опустился на одно колено и назвал себя. Трибун тут же взял его руки в свои, поднял с пола и велел провести в соседнюю комнату, где через несколько минут появился и сам.

Кола ди Риенци выбрал для себя титул трибуна, но и лицом, и повадкой он напоминал скорее императора. Да и излюбленный цвет его был

пурпурный, в плащ он кутался, как в римскую тогу. Из ворота выступала крепкая округлая шея; массивное лицо, большие светлые глаза, коротко остриженные волосы, волевой подбородок, — казалось, сама природа уготовила ему место среди бюстов цезарей. У трибуна нервически подергивалась правая ноздря, и поэтому чудилось, будто он чего-то нетерпеливо ждет. И походка у него была властная. Даже при беглом взгляде на этого человека угадывалось, что он рожден быть правителем, что надеется многое сделать для своего народа и что собеседник его должен мгновенно схватывать его мысль и соглашаться с нею. Он усадил Джаннино, сам сел рядом, приказал слугам затворить все двери и следить, чтобы никто не посмел их беспокоить; потом, без всякой передышки, начал задавать Джаннино вопросы, никакого отношения к банковским операциям не имевшие.

Ничто его не интересовало: ни торговля шерстью, ни займы, ни заемные письма. А только единственно сам Джаннино, личность Джаннино. Каких лет Джаннино прибыл из Франции? Где он провел раннее детство? Кто его воспитывал? Всегда ли он носил теперешнее свое имя?

Задав очередной вопрос, Риенци ждал ответа,

внимательно слушал, важно покачивал головой, снова спрашивал.

Итак, Джаннино появился на свет в одном из парижских монастырей. До девяти лет мальчик воспитывался у своей матери Мари де Кресс в Иль-де-Франсе, возле городка, называемого Нофль-ле-Вье. Что он знает о пребывании своей матери при французском дворе? Сиенец припомнил рассказы своего отца Гуччо Бальони: когда Мари де Кресс разрешилась от бремени, ее взяли ко двору как кормилицу для новорожденного сына королевы Клеменции Венгерской, но мать оставалась там недолго, так как сын королевы скончался через несколько дней, — по слухам, его отравили.

Тут Джаннино улыбнулся. Его молочным братом был не кто иной, как король Франции; он как-то никогда не задумывался над этим, но сейчас вдруг эта мысль показалась ему неправдоподобной, даже смешной, особенно когда он представил себя таким, каким стал, — сорокалетним итальянским купцом, мирно проживавшим в Сиене…

Но почему Риенци задает ему все эти вопросы? Почему большеглазый, светлоглазый трибун, незаконный отпрыск предпоследнего импера-

ра, смотрит на него, Джаннино, так внимательно, так задумчиво?

— Значит, это вы и есть, — наконец проговорил Кола ди Риенци, — значит, это вы и есть…

Джаннино не понял, что означали эти слова. Но он совсем обомлел от удивления, когда трибун, такой величественный, вдруг опустился перед ним на одно колено и, низко склонившись, облобызал ему правую ногу.

— Вы — король Франции, — заявил Риенци, — и отныне все должны обращаться с вами как с королем.

На мгновение свет померк в глазах Джаннино.

Когда дом, где вы сидите за обеденным столом, вдруг дает трещину, потому что началось землетрясение, когда корабль, где вы мирно спите в своей каюте, вдруг налетит на риф, трудно понять в первую минуту, что же именно произошло.

Джаннино Бальони сидит в зале Капитолия, а владыка Рима опускается перед ним на колено и уверяет, будто Джаннино король Франции.

— Девять лет назад, в месяце июне, Мари де Кресс скончалась…

— Моя мать скончалась? — крикнул Джаннино.

— Увы, мио грандиссимо синьоре… вернее,

скончалась та, кого вы считали вашей матерью. Накануне кончины она исповедовалась…

Впервые Джаннино услышал обращенное к себе это «грандиссимо синьоре», и это поразило его, пожалуй, еще сильнее, чем то, что трибун облобызал ему ногу.

— Итак, чувствуя близость конца, Мари де Кресс призвала к смертному одру монаха-августинца из соседнего монастыря, брата Журдена Испанского, и исповедовалась ему.

А Джаннино тем временем пытался собрать воедино воспоминания детских лет. Увидел комнату в Кресс и свою мать, белокурую красавицу. Она умерла девять лет назад, а он и не знал. И вот теперь оказывается, что она вовсе и не мать ему.

По просьбе умирающей брат Журден скрепил своей подписью эту исповедь, где была открыта одна из самых удивительных тайн французского государства и одно из самых удивительных преступлений.

— Я покажу вам эту исповедь, а также и письмо брата Журдена, все эти бумаги находятся в моем распоряжении, — добавил Кола ди Риенци.

Целых четыре часа говорил трибун. Да и вряд ли их хватило, чтобы рассказать Джаннино о событиях, происшедших сорок лет назад, о тех

событиях, что стали одной из глав в летописях Французского королевства: о смерти Маргариты Бургундской, о втором браке Людовика X с Клеменцией Венгерской.

— Мой отец был в посольстве, которое отрядили в Неаполь за королевой, вернее, он был в свите некоего графа де Бувилля…

— Вы говорите, графа де Бувилля? Все полностью совпадает! Этот самый Бувилль был хранителем чрева королевы Клеменции, вашей матушки, ноблиссимо синьоре, и он взял в кормилицы некую даму де Кресс из монастыря, где она только что родила. Обо всем этом она рассказала очень подробно.

По мере того как трибун говорил, его гость чувствовал, что теряет рассудок. Все разом перевернулось: мрак стал светом, а свет стал мраком. То и дело Джаннино просил Риенци вернуться к какому-нибудь уже рассказанному событию, как он возвращался обычно при слишком сложных расчетах к первоначальным цифрам. Он одновременно узнал, что его отец вовсе не его отец, что его мать вовсе не его мать и что его настоящий отец — король Франции, убийца своей первой супруги, — сам тоже был убит. Он перестал быть молочным братом короля Франции, умершим в

колыбели; он сам стал этим королем, внезапно воскресшим из мертвых.

— Значит, вас всегда называли Жан? Королева, ваша матушка, нарекла вас так, ибо дала обет. Жан, или Джованни, а Джованни — это Джованнино, или Джаннино… Вы Иоанн Первый Посмертный.

Посмертный! Невеселое прозвище, чересчур уж напоминает кладбище, и, когда тосканцы слышат такое словцо, они непременно делают рожки, вытянув два пальца левой руки.

Имена графа Робера Артуа и графини Маго, имена, которые с гордостью вспоминал его отец — да нет, вовсе не отец, ну, словом, тот, Гуччо Бальони, — то и дело произносил трибун, рассказывая, какую страшную они сыграли роль во всей этой истории. Графиня Маго, которая отравила отца Джаннино, да-да, короля Людовика… решила отделаться также от новорожденного младенца.

— Но осмотрительный граф де Бувилль подменил ребенка королевы и взял ребенка кормилицы, которого, впрочем, тоже звали Жан, этого-то Жана убили и погребли в усыпальнице Сен-Дени…

И тут Джаннино окончательно стало не по себе, ибо не мог он вот так сразу отвыкнуть считать

себя Джаннино Бальони, сыном сиенского купца, и сейчас, после слов трибуна, ему почудилось, будто сам он, пятидневным младенцем, отошел в мир иной и что вся его последующая жизнь, все его мысли, все его поступки, даже самое тело его лишь плод иллюзии. Словно он растворился в чужой плоти, стал собственным призраком среди этого беспросветного мрака. Да где же на самом деле находится он — под плитами усыпальницы Сен-Дени или сидит здесь, в Капитолии?

— Порой она называла меня «мой маленький принц», — пробормотал он.

— Кто называл?

— Моя мать… то есть, я хочу сказать, мадам де Крессе… когда мы оставались с ней наедине. Я-то считал, что во Франции матери обычно называют так своих детей, а она целовала мне руки, заливалась слезами… Ох, теперь я многое припоминаю… К примеру, пенсион, который выплачивал нам граф де Бувилль, и в тот день, когда мы получали деньги, оба мои дяди де Крессе — и бородатый, и тот другой — обращались со мной гораздо ласковее, чем всегда.

Что сталось со всеми этими людьми? Большинство уже скончалось давно: и Маго, и Бувилль, и Робер Артуа… Братья Крессе накануне битвы

при Креси были произведены в рыцари только потому, что король Филипп VI сострил что-то насчет сходства их фамилии и названия городка.

— Сейчас они, должно быть, совсем состарились.

Но значит, если Мари де Крессе так упорно отказывалась встречаться с Гуччо Бальони, то вовсе не потому, что его ненавидела, как думал с горечью Гуччо, а лишь затем, чтобы не нарушить клятву, которую у нее вырвали силком, когда вручали на ее попечение спасенного младенца короля.

— Просто она боялась, что в противном случае пострадает не только она, но и ее муж, — пояснил Кола ди Риенци. — Ибо они были обвенчаны тайно, но обвенчаны по всем правилам, и обряд бракосочетания совершил один монах. И об этом тоже она говорила духовнику. А потом, когда вам исполнилось девять лет, Бальони похитил вас.

— Вот это я хорошо помню… а она, а моя… словом, мадам Крессе не вышла замуж?

— Нет, ведь она уже состояла в законном браке.

— И он тоже не женился вторично.

Джаннино замолк, стараясь приучить себя в мыслях считать ту, что скончалась в Крессе, и

того, что скончался в Кампании, не своими родными отцом и матерью, а приемными.

Потом он вдруг спросил:

— А вы не можете дать мне зеркало?

— Охотно, — не без удивления отозвался трибун.

Он хлопнул в ладоши и приказал слуге принести зеркало.

— Я видел королеву Клеменцию… всего один раз видел… меня тогда увезли из Крессе, и я прожил несколько дней в Париже у дяди Спинелло. Мой отец… словом, приемный отец, как вы утверждаете… водил меня к королеве. Она дала мне леденцов, значит, это и была моя родная мать?

На глаза его навернулись слезы. Он сунул руку за воротник и, вытащив небольшой медальончик, висевший на шелковом шнурке, показал его Риенци:

— Эта реликвия святого Иоанна принадлежала ей…

Тщетно пытался он вспомнить лицо королевы таким, каким запечатлелось оно тогда в детской его памяти. И вспомнил только, как появилась перед ним женщина, сказочно прекрасная, в белом одеянии вдовствующих королев, и рассеянно погладила его по голове розовой своей ладонью…

— А я и не знал, что это моя родная мать. А она до конца своих дней думала, что сын ее умер…

Ох, видно, эта графиня Маго была настоящая преступница, раз не только убила невинного новорожденного младенца, но и внесла столько смуты, причинила столько горя людям, искалечила им всю жизнь!

Недавнее ощущение нереальности собственного существования прошло, но сменилось оно столь же мучительным ощущением раздвоения личности. Он был и Джаннино Бальони, и в то же время кем-то другим, был сыном банкира и сыном короля Франции.

А как же его жена Франческа? Он вдруг подумал о ней. За кого она вышла замуж? А его собственные дети? Стало быть, они прямые потомки Гуго Капета, Людовика Святого, Филиппа Красивого?..

— Папа Иоанн Двадцать Второй, очевидно, что-то слышал об этом деле, — продолжал Кола ди Риенци. — Мне передавали, будто кое-кто из приближенных ему кардиналов шептался, будто папа не верит, что сын короля Людовика Десятого умер. Простое предположение, считали они, такие вещи случаются нередко, и сплошь да рядом они ни на чем не основаны; так оно и было вплоть до того дня, когда ваша приемная мать,

ваша кормилица, открылась на смертном одре монаху-августинцу и он обещал ей вас разыскать и поведать вам правду. Всю свою жизнь она, храня молчание, выполняла приказ людей, но, когда готовилась предстать перед лицом Господа, а те, что вынуждали ее молчать, уже умерли, так и не сняв с нее клятвы, она пожелала доверить кому-нибудь свою тайну. И брат Журден Испанский, свято блюдя данное ей обещание, направился на розыски Джаннино, но из-за войны и чумы дальше Парижа пробраться ему не удалось. Однако Толомеи уже закрыли там отделение своего банка. А сам брат Журден чувствовал, что ему теперь не по летам пускаться в столь дальний путь. Поэтому-то он перепоручил передать то, что было рассказано ему на исповеди, — продолжал Риенци, — другому монаху ордена августинцев, брату Антуану, человеку, прославленному своей святостью, который множество раз совершал паломничество в Рим и часто бывал у меня. Вот этот-то брат Антуан два месяца назад, занедужив в Порто Венере, и сообщил мне то, о чем я вам сейчас поведал, и вручил мне бумаги, и рассказал мне обо всех этих событиях изустно. Признаюсь, я сначала засомневался, не сразу поверил ему. Но, поразмыслив, пришел к убеждению: такие

фантастические и такие необычайные события просто выдумать нельзя, человеческое воображение даже не способно до этого подняться. Подчас правда ошеломляет нас сильнее любых измышлений. Я велел проверить даты, собрать все, какие только возможно, сведения и отрядил людей на ваши розыски; сначала я послал к вам своих гонцов, но, так как у них не было никаких письменных документов, они все равно не сумели бы уговорить вас прибыть в Рим, и наконец я отправил вам это письмо, и вы, грандиссимо синьоре, изволили прибыть в Рим. Ежели вам угодно отстаивать свои права на французский престол, я к вашим услугам.

Тут как раз принесли серебряное зеркало. Джаннино поднес его поближе к огромным канделябрам и уставился на свое отображение. Никогда ему не нравилась собственная внешность: лицо круглое, слишком мягких очертаний, нос прямой, но какой-то самый обыкновенный, голубые глаза под слишком светлыми бровями — неужели же такие лица бывают у королей Франции?

Пристально вглядываясь в зеркало, Джаннино надеялся прогнать прочь призрак, восстановить свой обычный облик…

Трибун положил ему на плечо руку.

— И мое происхождение тоже, — многозначительно произнес он, — слишком долго было окутано тайной. Я вырос в одной из римских таверн, подносил грузчикам вино! И только уже позже, со временем, узнал, чей я сын.

И его прекрасное лицо, неподвижная маска императора, где слегка подергивалась только правая ноздря, омрачилось.

Глава III
«Мы, Кола ди Риенци...»

Из Капитолия Джаннино вышел, когда первые отблески утренней зари уже играли на развалинах Палантинского холма и очертили ржаво-медной каймой каждую колонну, но не вернулся в Кампо деи Фьори, где они остановились на ночлег. Почетный страж, данный ему в провожатые трибуном, отвел его на ту сторону Тибра в замок Святого Ангела, где ему уже были приготовлены апартаменты.

На следующий день, надеясь, что милосердный Господь умерит то великое смятение, что жгло его душу, он отправился в ближайшую церковь и молился там до полудня, потом возвратился в за-

мок Святого Ангела. Он попросил было привести сюда своего друга Гвидарелли, но ему намекнули, что не следует вступать ни с кем ни в какие разговоры, прежде чем он не повидается с трибуном. Так он и прождал до самого вечера, когда наконец за ним пришли. Судя по всему, Кола ди Риенци вершил все свои дела только ночами.

Итак, Джаннино явился в Капитолий, и трибун, встретив его еще более почтительно, чем накануне, снова заперся с ним наедине в одной из зал.

Тут-то Кола ди Риенци и изложил Джаннино свой план кампании: он незамедлительно отправит послания папе, императору, всем государям христианского мира, предложит им прислать в Рим своих послов, дабы те выслушали сообщение чрезвычайной важности, но какое это сообщение, он пока умолчит; потом, когда все послы сойдутся на торжественный совет, он выведет Джаннино во всех королевских регалиях и объявит им, что вот он — настоящий король Франции… Разумеется, если только ноблиссимо синьоре даст на то свое согласие.

Джаннино стал королем Франции только со вчерашнего вечера, а сиенским банкиром он был уже целых двадцать лет, и он ломал себе голову

— чего ради и с какой целью Риенци так хлопочет о его правах на французский престол, действует с таким лихорадочным нетерпением, что порой даже дрожь пробегает по дородному телу римского владыки. Почему теперь, когда после смерти Людовика X на французском престоле сменилось уже четверо королей, он решил завести династические споры? Только ли ради того, как он сам уверял, чтобы изобличить чудовищную несправедливость и восстановить в правах обойденного принца? Но трибун довольно скоро проговорился об истинной цели этого предприятия.

— Настоящий король Франции мог бы вернуть папу в Рим. У *лжекоролей* есть и будут только *лжепапы*.

Риенци заглядывал далеко вперед. Война между Францией и Англией, превращавшаяся постепенно в войну одной половины западного мира против другой, имела если не подлинной подоплекой, то, во всяком случае, юридическим обоснованием спор чисто династический о наследственных правах на французский престол. Поэтому, если в нужный момент предъявить законного претендента на корону Франции, претензии двух других королей окажутся несостоятельными. Тогда европейские правители, по

крайней мере правители, настроенные миролюбиво, явившись в Рим на ассамблею, низложат короля Иоанна II и вернут корону Иоанну I. А Иоанн I разрешит святому отцу вернуться в Вечный город. Таким образом, французский двор не будет больше домогаться земель Италии, являющихся частью Священной империи; кончится борьба гвельфов с гибеллинами; Италия вновь обретет свое единство, и есть надежда, что вернет она себе и былое величие; и, наконец, папа и король Франции, ежели они того пожелают, смогут даже сделать Кола ди Риенци — сына императора, поборника величия Италии и всеобщего мира — императором, но императором не на немецкий лад, а на античный! Мать Кола родом из Трастевере, где до сих пор бродят тени Августа, Тита, Траяна, не брезгуя тавернами, и тут есть о чем помечтать…

На следующий день, 4 октября, во время третьего их свидания, на сей раз происходившего днем, Риенци передал Джаннино, которого отныне величал только Джованни Французским, все бумаги, касающиеся этого необыкновенного дела: исповедь его приемной матери, рассказ брата Журдена Испанского и письмо брата Антуана; потом, кликнув своих секретарей, он начал дик-

товать послание, подтверждающее подлинность вышеизложенного:

– *«Мы, Кола ди Риенци, рыцарь милостию Апостольского престола, преславный сенатор Святого града, судья, военачальник и трибун римского народа, внимательно изучили бумаги, врученные нам братом Антуаном, и тем больше придали им веры после того, что стало нам ведомо и услышано, и истинно по воле Божией французское государство уже долгие годы страдает как от войн, так и от различных иных бедствий, кои насылает на него Господь, — то, мы полагаем, во искупление обмана, жертвой коего стал сей человек, который долго в нищете и неизвестности пребывал…»*

Трибун вел себя не так, как накануне, — видно, его что-то тревожило: стоило какому-нибудь не совсем обычному шуму достичь его слуха, и он тут же прекращал диктовать, но прекращал также, если кругом залегала полная тишина. Взгляд его больших глаз то и дело обращался к открытым окнам — можно было подумать, будто он хочет заглянуть в душу Вечного города.

– *«…Джаннино, представший перед нами по нашему приглашению в четверг второго октября месяца. Прежде чем сказать ему то, что нами*

должно было быть ему сказано, мы расспросили его, кто он таков, какое занимает положение, как его имя, равно как и имя его отца, обо всем прочем, его касающемся. Выслушав его ответы, мы убедиться могли, что им сообщенное нам полностью совпадает с письмами брата Антуана; после чего со всей почтительностью мы открыли ему, что нам ведомо стало. Но коли нам известно, что в Риме против нас началось брожение…»

Джаннино так и подскочил. Как! Кола ди Риенци, облеченный неограниченной властью, он, что отряжает своих посланцев к папе, ко всем государям мира, боится… Он взглянул на трибуна, и тот, отвечая на его безмолвный вопрос, медленно опустил ресницы, под завесой которых не стало видно светлых его глаз; правая ноздря по-прежнему подергивалась…

— Семейство Колонна, — хмуро пояснил он.

Потом снова стал диктовать:

– *«Коль скоро мы опасаемся, что погибнуть можем прежде, чем сумеем оказать ему поддержку или помощь при восхождении на законный престол, мы приказали все имеющиеся письма перебелить и вручили их ему в собственные руки в субботу четвертого октября месяца тысяча*

триста пятьдесят четвертого года, скрепив их нашей собственной печатью, на коей изображена большая звезда в окружении восьми звезд меньшего размера с малым кружком посредине, так же как и гербами Святой церкви и народа римского, дабы истина, в сих письмах содержащаяся, была подтверждена сугубо и дабы узнал об этом весь христианский мир. Да дарует нам всемилостивый и всеблагий Господь наш Иисус Христос жизнь долгую, дабы стать нам свидетелями торжества правого дела! Аминь, аминь!»

Когда послание было готово, Риенци подошел к открытому окну и, взяв за плечо Иоанна I почти отцовским жестом, указал ему на груду развалин античного форума чуть ниже, в сотне шагов от Капитолия, на триумфальные арки, на лежащие в руинах храмы. Лучи заката окрашивали в розовый цвет эту воистину сказочную каменоломню, где вандалы и папы целых десять веков добывали мрамор и все еще не истощили ее. Из храма Юпитера виден был еще храм весталок, лавр, выросший в храме Венеры…

— Вот здесь, — трибун указал на площадь древней римской курии, — вот здесь был убит Цезарь… Не окажете ли вы, высокородный синьор, одной услуги, причем весьма важной? Вас еще

никто не знает, никому не известно, кто вы, и пока вы можете разъезжать по стране, как простой горожанин, житель Сиены. Я намерен помогать вам всем, что только в моих силах, но для этого я должен остаться в живых. Я знаю, против меня готовится заговор. Я знаю, что враги мои ищут моей погибели! Знаю, что перехватывают моих гонцов, которых я посылаю за пределы Рима. Отправляйтесь в Монтефьясконе, предстаньте от моего имени перед кардиналом Альборнезом и скажите ему, пусть пришлет мне, и как можно быстрее, войска.

В какую переделку за столь короткий срок ухитрился попасть Джаннино! Требовать себе французский престол! И только-только он успел стать претендентом на корону Франции, как тут же превратился в эмиссара римского трибуна и едет к кардиналу просить тому на помощь людей. Он не ответил ни да ни нет, он уже сейчас ни на что не мог ответить отказом, но и ни на что не мог согласиться.

На следующий день, 5 октября, проскакав половину суток, он добрался до этого самого Монтефьясконе, проезжая который всего пять дней назад он так хулил Францию и французов. Он имел беседу с кардиналом Альборнезом, который

тотчас же решился идти на Рим со всем имеющимся в его распоряжении войском, но было уже слишком поздно. Во вторник, 7 октября, Кола ди Риенци был убит.

Глава IV
Посмертный король

А Джованни Французский возвратился к себе в Сиену, снова занялся банковскими операциями и торговлей шерстью и в течение целых двух лет вел себя тише воды ниже травы. Только стал чаще глядеться в зеркало. И каждый вечер, ложась в постель, он напоминал себе, что он сын королевы Клеменции Венгерской, родственник государям Неаполитанским, праправнук Людовика Святого. Но природа не наделила его безудержной отвагой души: где же это видано — в сорок лет вдруг покинуть Сиену и крикнуть во всеуслышание: «Я король Франции!» Да его тут же безумным сочтут! Особенно же заставило его призадуматься убийство Кола ди Риенци, его покровителя, правда, покровительство это длилось всего три дня. И к тому же чего он пойдет искать?

Однако трудно было сохранить полную тайну, хоть чуточку не проболтаться своей жене

Франческе, любопытной, как и все женщины, своему другу Гвидарелли, любопытному, как все нотариусы, и своему духовнику фра Бартоломео из ордена доминиканцев, любопытному, как вообще все исповедники.

Фра Бартоломео, восторженный и болтливый итальянский монах, уже видел себя капелланом короля. Джаннино показал ему бумаги, полученные от Риенци, а монах украдкой разболтал о них всему городу. И вскоре сиенцы уже шептались об этом чуде — подумать только, их согражданин оказался законным государем Франции! Перед палаццо Толомеи собирались толпы зевак; когда к Джаннино приходили заказывать шерсть, то сгибались перед ним в три погибели; считалось честью заключить с ним торговую сделку; на него указывали пальцами, когда он шагал по узеньким сиенским улочкам. Французы, прибывавшие в Сиену по коммерческим делам, утверждали, будто он как две капли воды похож на их принцев крови, такой же белокурый, толстощекий, с такими же бровями вразлет.

И вот уже сиенские купцы разнесли эту весть, отписали во все государства Европы, где имелись отделения итальянских банков. И тут вдруг обнаружилось, что братья Журден и Антуан,

двое августинцев, которых числили почему-то в мертвых, ибо в письмах своих называли они себя недужными старцами, оказались живы и здоровы и даже готовились отправиться паломниками в Святую землю. И вот уже два этих монаха написали в Совет Сиенской республики, дабы подтвердить свои прежние показания, а брат Журден написал даже самому Джаннино, изложив ему все беды, обрушившиеся на Францию, и заклиная набраться мужества!

А беды и впрямь были велики. Король Иоанн II, «лжекороль», как именовали его теперь сиенцы, истощил весь свой воинский гений в великой битве, которую он дал врагу на западе Франции, близ Пуатье. И коль скоро его покойного батюшку Филиппа VI разбила под Креси пехота, Иоанн II, готовясь к битве при Пуатье, решил ссадить с коней своих рыцарей, но приказал им не снимать тяжелых доспехов — так они и двинулись на неприятеля, поджидавшего их на вершине холма. Всех его рыцарей искрошили в их панцирях, точно вареных омаров.

Старший сын короля, дофин Карл, командовавший боевым отрядом, не участвовал в схватках, как уверяли, по приказу отца, но родительский приказ он выполнил с излишним рвением; гово-

рили также, что у дофина отекает рука и поэтому, мол, он не может долго держать меч. Так или иначе, его, мягко говоря, благоразумие спасло для Франции известное количество рыцарей, а тем временем оставшийся в одиночестве Иоанн II, рядом с которым находился только младший его сын Филипп, то и дело кричавший: «Отец, берегитесь, опасность слева! Отец, берегитесь, опасность справа!» — как будто можно уберечься от целой неприятельской армии, — был взят в плен каким-то пикардийским рыцарем, состоявшим на службе у англичан.

Сейчас король Валуа был пленником короля Эдуарда III. Но дадут ли за него выкуп в такую сказочную сумму, как миллион флоринов? О нет, нет, нечего рассчитывать на сиенских банкиров, они таких денег наверняка не дадут.

Все эти новости оживленно обсуждались октябрьским утром 1356 года перед Советом Сиенской республики на красивейшей площади, спускавшейся амфитеатром и окруженной десятком палаццо охряного и розового цвета; спорили, яростно размахивая руками, отчего испуганно вспархивали голуби, как вдруг вперед выступил фра Бартоломео в белом своем одеянии, подошел к самой многочисленной группе сограждан и,

подкрепляя делом свою принадлежность к ордену доминиканцев-проповедников, стал вещать, словно бы с церковной кафедры.

— Теперь мы наконец-то увидели, каков этот король, сдавшийся в плен, и каковы его права на корону Людовика Святого. Пришел час торжества справедливости; бедствия, что обрушивались на Францию в течение двадцати пяти лет, были посланы ей как кара за совершенные ею преступления, а Иоанн Валуа не кто иной, как узурпатор… Usurpatore, usurpatore! — вопил фра Бартоломео, а слушатели тем временем все прибывали. — И он не имеет никаких прав на французский престол. Подлинный законный король Франции здесь у нас, в Сиене, и весь мир это знает, и зовется он Джаннино Бальони…

Пальцем он ткнул куда-то вверх, к крышам домов, очевидно желая указать на палаццо Толомеи.

— Его считают сыном Гуччо, сына Мино, но на самом деле он родился во Франции от короля Людовика Десятого и королевы Клеменции Венгерской.

Эта пламенная речь произвела на сиенцев такое оглушающее впечатление, что в ратуше срочно собрался Совет республики и потребовал,

чтобы фра Бартоломео принес все бумаги; бумаги были тщательно изучены, и после длительного совещания решено было считать Джаннино королем Франции. Ему помогут вернуть утраченное королевство: назначат совет из шестерых самых рассудительных и самых богатых граждан, дабы блюсти его интересы, и сообщат папе, императору, всем государям и парижскому парламенту, что, мол, существует на свете родной сын Людовика X, которого постыдно лишили законного престола, но который решил востребовать корону Франции. И первым делом ему выделили почетную стражу и назначили пенсион.

Поначалу Джаннино перепугался всей этой суматохи и от всего отказался. Но Совет настаивал; Совет потрясал перед ним его же собственными документами и требовал, чтобы он дал свое согласие. В конце концов он рассказал о своих встречах с Кола ди Риенци, трагическая смерть которого стала для него чуть ли не наваждением, и тут всеобщее ликование достигло неслыханного накала: юные сиенцы из самых высокородных фамилий оспаривали друг у друга честь попасть в его личную стражу; на улицах чуть ли не затевались побоища, как в день palio — спортивных состязаний.

Все эти восторги длились всего лишь месяц, и в течение этого месяца Джаннино расхаживал по городу с собственной свитой, как и подобает особе королевской крови. Его жена совсем растерялась, не зная, как ей следует себя вести, и подчас ее брало сомнение, достойна ли она, простая горожанка, миропомазания в Реймсе. А ребятишек даже в будни водили теперь в праздничной одежде. Стало быть, старший сын Джаннино от первого брака, Габриеле, теперь наследник престола? Габриеле II — король Франции… звучит несколько странновато… А вдруг — и беднягу Франческу Агадзано начинала бить дрожь, — вдруг папу заставят расторгнуть их брак как неподобающий для августейшей персоны, чтобы ее муж женился на какой-нибудь королевской дочке?..

Негоцианты и банкиры, состоявшие в переписке с представителями итальянских компаний за границей, охладели первыми. Во Франции и так дела идут неважно, так к чему же ей навязывать еще нового короля? Барди из Флоренции просто не могли слышать без смеха, что законный государь Франции какой-то сиенец! Во Франции уже есть свой король — Валуа, он сейчас пленник Англии и живет припеваючи в отеле Савой на Темзе и утешается после гибели обожаемого

своего Ла Серда с молодыми рыцарями. Франция имеет также английского короля, правящего большей частью страны. А теперь к престолу еще подбирается король Наваррский, внук Маргариты Бургундской, прозванный Карлом Злым. И все здорово задолжали итальянским банкам… Хороши же эти сиенцы, поддерживающие притязания своего дражайшего Джаннино!

Совет республики не послал никаких писем государям, не отправил послов папе и своих представителей в парижский парламент. А вскоре у Джаннино отобрали его пенсион и разогнали почетную стражу.

Но теперь уж он сам, вовлеченный в эту авантюру чуть ли не против собственной воли, не мог от нее отказаться. Дело шло о его чести, и его мучило теперь, правда несколько запоздалое, тщеславие. Он не мог примириться с тем, чтобы он, которого принимали с почетом в Капитолии, который жил в замке Святого Ангела, который шествовал по Риму в сопровождении кардинала, превратился в ничтожество. Целый месяц он разгуливал по Сиене со свитой, как настоящий государь, и теперь страдал, когда, входя в Дуомо, у которого только-только закончили красивейший черно-белый фасад, слышал среди молящихся

шепот: «Видите, видите, это он уверял, будто он наследник французского престола!» Раз уж было решено, что он король, он королем и останется. И от своего имени он послал письмо папе Иннокентию V, который в 1352 году занял место Пьера Роже; написал королю Англии, королю Наваррскому, королю Венгерскому, вложив копии документов и прося восстановить его в правах. Возможно, этим бы все дело и ограничилось, если бы Людовик Венгерский, единственный из всех его новоявленных родичей, не ответил ему. Людовик доводился племянником королеве Клеменции, и в письме он именовал Джаннино королем и поздравлял его с тем, что он рожден от столь высокородных родителей!

И вот 2 октября 1357 года, через три года после первой своей встречи с Кола ди Риенци, ровно день в день, Джаннино, захватив с собой все свои бумаги, а также две с половиной сотни золотых экю и две тысячи шестьсот дукатов, зашив монеты в пояс, отправился в Буду — просить защиты и помощи у своего далекого кузена, единственного, кто признал его права. Его сопровождали четверо оруженосцев, оставшихся верными его делу.

Но когда Джаннино два месяца спустя прибыл в Буду, он не обнаружил там Людовика Венгер-

ского. Так и прождал его всю зиму Джаннино, а дукатов становилось все меньше. Зато в Буде он нашел одного сиенца, некоего Франческо дель Контадо, достигшего здесь епископского сана.

Наконец в месяце марте венгерский кузен вернулся в свою столицу, но не принял Джованни Французского. Он приказал своим сеньорам его расспросить, и те поначалу заявили, что они, мол, убеждены в законности его притязаний, но уже через неделю бросились в другую крайность и заверили своего государя, что претензии Джованни незаконны, да и вообще все это обман. Джаннино протестовал, он не пожелал покинуть Венгрию. Создал свой собственный совет, который и возглавил сиенский епископ; ему даже удалось завербовать среди венгерской знати, наделенной чересчур живым воображением и готовой впутаться в любую авантюру, пятьдесят шесть дворян, которые поклялись идти за ним вместе со своей тысячей всадников и четырьмя тысячами лучников и даже в ослеплении великодушия предложили ему свои кошельки, а расплатится он, мол, когда будет у него на то возможность.

Но для того чтобы экипировать свое войско и покинуть страну, требовалось разрешение короля Венгерского. А король, хоть и носил прозвище

Великого, видимо, был не слишком тверд в своих решениях, поэтому он захотел собственнолично изучить бумаги Джаннино и, подтвердив, что они подлинные, во всеуслышание обещал поддерживать его притязания и даже субсидировать их, однако через неделю заявил, что по здравом размышлении отказывается от этого предприятия.

Тем не менее 15 мая 1359 года епископ Франческо дель Контадо вручил претенденту на французский престол письмо, помеченное тем же числом, скрепленное печатью Венгерского королевства, и в письме этом Людовик Великий, *«наконец-то просвещенный солнцем истины»,* удостоверял, что Джаннино ди Гуччо, выросший в городе Сиене, действительно происходит из королевской семьи и от своих венгерских предков, законный сын блаженной памяти короля Людовика X Французского и королевы Клеменции Венгерской. В письме равно подтверждалось, что Божественное Провидение, остановив свой выбор на королевской кормилице, возжелало, чтобы состоялась подмена новорожденного принца другим младенцем, смерть коего спасла от верной погибели Джаннино, *«так в далекие времена Дева Мария, скрывшись в Египет, спасла своего младенца, распространив слух, будто его*

нет в живых…»

Тем не менее епископ Франческо посоветовал претенденту на французский престол покинуть Буду как можно скорее, пока король Венгерский не переменил своего решения, тем паче что он, Франческо, не совсем уверен, что письмо продиктовано лично им и что печать приложена к письму по его приказу…

На следующий же день Джаннино выехал из Буды, даже не успев собрать свое войско, то, что было к его услугам, но все же со свитой, довольно пышной для государя, не имеющего государства. Джованни Французский прибыл в Венецию, заказал там себе королевское одеяние, а затем посетил Тревизо, Падую, Феррару, Болонью и наконец возвратился в Сиену после почти полуторагодовых блужданий по свету, дабы выставить свою кандидатуру в Совет республики.

Но коль скоро он завоевал на выборах третье место, Совет объявил выборы недействительными именно потому, что он сын Людовика X, именно потому, что его признал таковым король Венгрии, именно потому, что он нездешний. И его лишили сиенского гражданства.

Проезжал как-то через Тоскану великий сенешаль короля Неаполитанского, державший

путь в Авиньон. Джаннино бросился к нему за поддержкой, ведь Неаполь — колыбель его королевского рода по материнской линии. Но осмотрительный сенешаль посоветовал ему обратиться непосредственно к папе.

Весной 1360 года Джаннино явился в папскую резиденцию в простом одеянии пилигрима, и на сей раз вовсе без эскорта, так как благородные венгерцы покинули его. А папа Иннокентий VI наотрез отказался его принять. Франция и без того немало досаждала святому отцу, чтобы он еще стал возиться с этим чудаком, с этим посмертным королем!

Иоанн II Добрый все еще находился в плену; в Париже вспыхнуло восстание, и глава его, купеческий прево Этьен Марсель, был убит после своей попытки установить народную власть. Неспокойно было также и в деревнях, где поднялись так называемые жаки, доведенные нищетой до отчаяния. Резня шла повсюду, резали, не слишком разбираясь, где враг, а где друг. Дофин, тот, у которого отекали руки, без войска и без денег бился с англичанами, бился с наваррцами, бился даже с парижанами с помощью Бретона Дюгесклена, которому он вручил меч, коль скоро у того руки не опухали. Кроме того, он хлопотал о

выкупе своего отца.

Между различными, но равно обессиленными группами смутьянов царила полная неразбериха: отряды, называвшие себя солдатами, превратились в обыкновенные разбойничьи шайки, грабили путников, убивали направо и налево просто потому, что пристрастились убивать.

Для главы католической церкви пребывание в Авиньоне стало столь же небезопасно, как и в Риме, даже при Колоннах. Приходилось все время вести переговоры о мире, вести их в спешном порядке, требовать, чтобы оба окончательно измотанных противника примирились, и пусть король Англии откажется от притязаний на престол Франции и владеет по праву отвоеванной им половиной страны, и пусть король Франции на другой половине установит хоть какой-то порядок. На что еще папе нужен был этот смутьян-пилигрим, который требовал себе Французское королевство, потрясая сомнительными признаниями никому не известных монахов и письмом короля Венгрии, хотя тот от этого письма уже успел отречься?

Тогда Джаннино в надежде раздобыть толику денег начал бродить из харчевни в харчевню, стараясь заинтересовать своей историей случай-

ных собутыльников, которые могли позволить себе роскошь посидеть часок-другой за кувшином вина и послушать рассказчика, стал просить защиты у влиятельных якобы лиц, никакого влияния не имевших, снюхивался с интриганами, неудачниками, наемниками, с главарями шаек английских солдат, которые, добравшись до Прованса, грабили теперь и этот край. Он производил впечатление безумца и впрямь стал безумным.

Как-то январским днем 1361 года нотабли Экса задержали его, когда он сеял смуту в их городе. Они сплавили его в Марсель, где местный судья приказал бросить его в темницу. Через восемь месяцев Джаннино удалось бежать, но его поймали, и поскольку он уверял, что принадлежит к королевскому Неаполитанскому дому, поскольку он с пеной у рта доказывал, что он, мол, сын Клеменции Венгерской, судья отослал его в Неаполь.

А в Неаполе как раз в эти дни шли переговоры о бракосочетании королевы Жанны, наследницы Роберта Астролога, с младшим сыном Иоанна II Доброго. А сам Иоанн, возвратившись из своего веселого пленения после того, как дофин заключил в Бретиньи мир, понесся в Авиньон, где только что опочил Иннокентий VI. И король Иоанн II изложил новому папе, Урбану V, великолепней-

ший проект — начать тот самый пресловутый Крестовый поход, чего не сумели добиться ни его отец Филипп Валуа, ни его дед Карл!

В Неаполе же Иоанна Посмертного, Иоанна Неизвестного заточили в замок Эф; в окошечко своего узилища он мог видеть Новый замок — Maschio Angiono, — откуда сорок шесть лет назад, не помня себя от счастья, отбыла его матушка, чтобы стать королевой Франции.

Здесь он и скончался год спустя, разделив со всеми проклятыми королями их участь, пропетляв по жизни самыми невероятными путями.

Когда Жак де Моле, охваченный пламенем костра, предал анафеме род Филиппа Красивого, уж не было ли ведомо ему, изучавшему науку волшебства и дивинации, которая, как говорили, была знакома тамплиерам, какая участь уготована потомкам Капетингов? А может быть, задыхаясь от дыма, он обрел пророческий дар лишь в смертный свой час?

Народы обычно несут на себе куда дольше бремя проклятия, чем навлекшие на себя проклятие государи.

Из потомков мужского пола Филиппа Красивого ни один не избежал трагической участи, ни один не дожил до преклонных лет, кроме Эдуарда

Английского, которому так и не довелось править Францией.

Но народ еще не до конца испил чашу страдания. Придется ему еще ходить под мудрым королем, под королем безумным, под королем слабым и целых семьдесят лет терпеть различные бедствия, прежде чем загорится новый костер, на который пошлют как искупительную жертву Деву Франции, и унесут воды Сены проклятие Великого магистра.

Когда король губит Францию

Самая наша длительная война, Столетняя, была просто юридическим спором, закончившимся на поле боя.

Поль Клодель

Вступление

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии — дело рук посредственностей.

В начале XIV века Франция была наиболее могущественным, самым густонаселенным, самым жизнедеятельным, самым богатым государством во всем христианском мире, и недаром нашествий ее так опасались, прибегали к ее третейскому суду, искали ее покровительства. И уже казалось, что вот-вот для всей Европы настанет французский век.

Как же могло так случиться, что сорок лет спустя эта самая Франция была разгромлена на полях сражений страной, население которой было в пять раз меньше; что знать ее разбилась на враждующие между собой партии; что горожане взбунтовались; что ее народ изнемогал под непосильным бременем налогов; что провинции отпадали одна за другой; что шайки наемников отдавали страну на поток и разграбление; что над властями открыто смеялись; что деньги обесценились, коммерция была парализована и повсюду царила нищета; никто не знал, что при-

несет ему завтрашний день. Почему же рухнула эта держава? Что так круто повернуло ее судьбу?

Посредственность! Посредственность ее королей, их глупое тщеславие, их легкомыслие в делах государственных, их неумение окружить себя нужными людьми, их беспечность, их высокомерие, их неспособность вынашивать великие замыслы или хотя бы следовать тем, что были выношены до них.

Не свершиться ничему великому в области политической — все скоротечно, если не будет людей, чей гений, свойства характера, воля смогут разжечь, сплотить и направить энергию народа.

Все гибнет, когда во главе государства стоят, сменяя друг друга, скудоумные люди. На обломках величия распадается единство.

Франция — это идея, сочетающаяся с Историей, в сущности идея произвольная, но она с тысячного года усвоена особами царствующего дома и с таким упорным постоянством передается от отца к сыну, что первородство в старшей ветви скоро становится вполне достаточным основанием для законного вступления на престол.

Конечно, немалую роль играла тут и удача, словно бы судьба решила побаловать эту только

еще складывавшуюся нацию и послала ей целую династию несокрушимо крепких правителей. От избрания первого Капетинга вплоть до кончины Филиппа Красивого лишь одиннадцать королей в течение трех с четвертью веков сменили друг друга на троне, и каждый оставил после себя потомство мужского пола.

О, конечно, не все эти владыки были орлами. Но почти всегда вслед за бесталанным или неудачливым принцем сразу же вступал на престол, словно была на то милость Небес, государь высокого полета или же великий министр правил за немощного монарха.

Совсем еще юная Франция чуть не погибла, попав в руки Филиппа I — человека, наделенного мелкими пороками и, как выяснилось впоследствии, неспособного вершить государственные дела. Но вслед за ним появился неутомимый Людовик VI Толстый, которому при вступлении на престол досталась урезанная держава, так как неприятель стоял всего в пяти лье от Парижа, и который оставил ее после своей смерти не только восстановленной в прежних размерах, но и расширил территорию Франции вплоть до самых Пиренеев. Безвольный, взбалмошный Людовик VII ввергает государство в гибельные

авантюры, затеяв заморский поход; однако аббату Сугерию, правящему именем короля, удалось сохранить единство и жизнеспособность страны.

И наконец, на долю Франции выпадает неслыханная удача, да не одна, а целых три подряд, когда от конца XII века до начала XIV ею правили трое одаренных или даже выдающихся монархов, и каждый восседал на престоле в течение достаточно долгого срока: процарствовали они — один сорок три года, второй сорок один год, третий двадцать девять лет — так, что все их главные замыслы успели претвориться в жизнь. Три короля, отнюдь не схожие меж собой ни по природным данным, ни по своим достоинствам, но все трое на голову, если не больше, выше заурядных королей.

Филипп Август, кузнец Истории, начинает выковывать подлинное единое отечество, присоединив к французской короне близлежащие и даже лежащие не слишком близко земли. Людовик Святой, вдохновенный поборник веры, опираясь на королевское правосудие, устанавливает единое законодательство. Филипп Красивый, великий правитель Франции, опираясь на королевскую администрацию, создаст единое государство. Каждый из этой троицы

меньше всего думал о том, чтобы угождать кому бы то ни было; прежде всего они стремились действовать, и действовать с наибольшей пользой для страны. Каждому выпало на долю испить полной чашей горькое пойло непопулярности. Но после их кончины их оплакивали куда больше, чем ненавидели, высмеивали или чернили при жизни. И главное — то, к чему они стремились, продолжало существовать.

Отечество, правосудие, государство — основа основ нации. Под эгидой этих трех зачинателей идеи французского королевства страна вышла из полосы неопределенности. И тогда, осознав себя самое, Франция утвердилась в западном мире как неоспоримая, а в скором времени и главенствующая реальность.

Двадцать два миллиона жителей, надежно охраняемые рубежи, легко созываемое воинство, присмиревшие феодалы, строго контролируемые административные районы, безопасные дороги, оживленная торговля. Какая другая христианская страна могла теперь сравниться с Францией и какая из христианских стран не поглядывала на нее с завистью? Конечно, народ роптал под слишком тяжелой государевой десницей, но он возропщет еще сильнее, когда из-под твердой

десницы попадет в слишком вялые или слишком сумасбродные руки.

После кончины Филиппа Красивого вдруг все разом расползлось. Длительная полоса удач в наследовании трона пресеклась.

Все трое сыновей Железного короля по очереди сменялись на престоле, не оставляя после себя потомства мужского пола. В предыдущих книгах мы уже рассказывали о многочисленных драмах при королевском дворе Франции, разыгрывавшихся вокруг короны, перепродававшейся на аукционе тщеславных притязаний.

На протяжении четырнадцати лет четыре короля сходят в могилу; было отчего встать в тупик. Франция не привыкла так часто устремляться в Реймс. Словно молнией сразило ствол капетингского древа. И мало кого утешило то, что корона перешла к ветви Валуа, ветви, по существу, суетливой. Легкомысленные хвастуны, непомерные тщеславцы, все в показном, и ничего внутри, отпрыски ветви Валуа, всходившие на престол, были уверены, что им стоит улыбнуться, чтобы осчастливить все королевство.

Их предшественники отождествляли себя с Францией. А вот эти отождествляли Францию с тем представлением, каковое составили сами

себе о собственной персоне. После проклятия, принесшего непрерывную череду смертей, — проклятие посредственности.

Первый Валуа — Филипп VI, прозванный «королем-подкидышем», короче говоря, просто выскочка, — за десять лет так и не сумел утвердить свою власть, потому что к концу этого десятилетия его кузен Эдуард III Английский завел династические распри: он предъявил свои права на престол Франции, и это позволило ему поддерживать и во Фландрии, и в Бретани, и в Сентонже, и в Аквитании все те города и всех тех сеньоров, что были недовольны новым государем. Будь на французском престоле монарх порешительнее, англичанин наверняка так и не осмелился бы на этот шаг.

Филипп Валуа не только не сумел предотвратить грозящей стране опасности — куда там, флот его погиб у Слюйса по вине назначенного им лично адмирала, без сомнения назначенного лишь потому, что адмирал ровно ничего не смыслил ни в морских делах, ни в морских сражениях; а сам король в вечер битвы при Креси бредет по полю боя, преспокойно предоставив своей кавалерии крушить свою же собственную пехоту.

Когда Филипп Красивый облагал народ новым

налогом, что вменялось ему в вину, то делал он это, желая укрепить обороноспособность Франции. Когда Филипп Валуа потребовал ввести еще более тяжелые подати, то лишь для того, чтобы оплатить свои поражения.

За последние пять лет его правления курс чеканной монеты будет падать сто шестьдесят раз; серебро потеряет три четверти своей стоимости. Тщетно старались установить твердые цены на продукты питания, они достигли головокружительных размеров. Глухо роптали города, страждущие от никогда раньше не виданной инфляции.

Когда беда раскинет свои крыла над какой-нибудь страной, все смешивается и природные катастрофы сопрягаются с людскими ошибками.

Чума, великая чума, пришедшая из глубины Азии, обрушила свой бич на Францию злее, чем на все прочие государства Европы. Городские улицы превратились в мертвецкие предместья — в бойню. Здесь унесло четвертую часть жителей, там — третью. Целые селения опустели, и остались от них среди необработанных полей лишь хижины, брошенные на произвол судьбы.

У Филиппа Валуа был сын, но его, увы, пощадила чума.

Францию отделяли еще только две-три ступени от полного упадка и разорения, но с помощью Иоанна II, по недоразумению прозванного Добрым, эти ступени будут пройдены.

Эта череда сменяющих друг друга на троне посредственностей чуть было не уничтожила в Средние века государственный строй, исходящий из посылки, что сама природа способна породить в лоне одного и того же семейства держателя верховной власти. Но разве народы чаще выигрывают в лотерее избирательных урн, чем в лотерее хромосом? Толпы, ассамблеи, даже ограниченные группы избирателей ошибаются так же часто, как ошибается природа; Провидение так или иначе скуповато на величие.

Часть первая
Беды приходят издалека
Глава I
Перигорский кардинал размышляет…

Я бы мог стать папой. Ну как забыть, как не вспомнить, что трижды я держал в руках папскую тиару, трижды! Будь то Бенедикт XII, будь то Климент VI, будь то наш теперешний папа, это я, я после ожесточенной борьбы решал, чье именно чело в конце концов увенчает тиара. Мой друг Петрарка недаром зовет меня делателем пап… Не такой уж искусный делатель, раз тиара ни разу не досталась мне. Впрочем, на то воля Божья… Ох и странная это штука — конклав! По-моему, я единственный из живущих ныне кардиналов видел целых три конклава. А возможно, увижу и четвертый, ежели папа Иннокентий VI и впрямь болен, как уверяет всех и каждого…

Что это там внизу за крыши? Ах да, узнаю, это же аббатство Шанселад, что лежит в долине Боронн… Конечно, в первый раз я был чересчур молод. Тридцать три года, возраст Христа; и в Авиньоне пошел об этом шепоток, когда стало

известно, что Иоанн XXII… Господи, осени душу его святым своим светом, он был моим благодетелем… когда стало известно, что он уже не встанет с ложа. Но кардиналы не пожелали выбрать самого молодого из всех своих собратьев, охотно признаю — это вполне разумно. Дабы нести такое бремя, требуется опыт, и опыт этот я приобрел ныне. Но все равно и тогда у меня уже было достаточно опыта, и поэтому-то я не забивал себе голову тщетными иллюзиями… Я только без устали нашептывал итальянцам, что никогда, слышите, никогда французские кардиналы не отдадут своих голосов Жаку Фурнье, и, представьте, добился того, что все они проголосовали именно за него, и он был избран единодушно. «Вы же осла выбрали!» Вот что он крикнул нам, когда огласили его имя, и это вместо благодарности-то. Он знал свои недостатки. Нет, впрочем, не такой уж он осел, но тем паче и не лев. Просто хороший генерал духовного ордена, который довольно умело заставил неукоснительно повиноваться себе картезианцев, во главе коих он и стоял. Но возглавлять весь христианский мир… для этого слишком он был мелочен, слишком придирчив, слишком пристрастен. В конечном счете все его реформы принесли больше зла, чем добра. Зато

уж при нем можно было быть уверенным, что Святой престол в Рим не вернется. В этом вопросе он был тверд как скала… а это-то и было самым главным.

Во второй раз, на конклаве 1342 года… ох, я ведь в этот второй раз имел все шансы, если бы… если бы Филипп Валуа не пожелал посадить на Святой престол своего канцлера, архиепископа Руанского. А мы, перигорцы, всегда были покорны французской короне. И к тому же разве мог бы я впредь оставаться главой французской партии, ежели бы пошел против желания короля? Впрочем, Пьер Роже был великим папой, безусловно лучшим из всех пап, которым я служил. Достаточно поглядеть, во что он превратил Авиньон, какой дворец построил и сколько хлынуло к нему людей просвещенных, ученых, художников… И наконец, он ухитрился купить город Авиньон. С моей помощью купил, потому что я вел переговоры с королевой Неаполитанской, поэтому могу смело сказать — это дело рук моих. Восемьдесят тысяч флоринов, да это же пустяк, просто подачка. Королева Жанна не так нуждалась в деньгах, как в отпущении грехов — я имею в виду ее многочисленные браки, не говоря уже о еще более многочисленных любовниках.

Наверняка на вьючных моих лошадей они надели новую упряжь. В носилках не особенно-то мягко. Так оно всегда и получается, когда отправляешься в путь, всегда одно и то же… Отныне наместник Божий уже не постоялец, что сидит бочком на краешке шаткого трона. А папский двор — это же пример для всего света! Все короли теснятся здесь. Для того чтобы быть папой, мало быть священником, надо еще уметь быть земным владыкой. Климент VI был великим политиком, и он охотно прислушивался к моим советам. Ах, чего стоит одна только морская лига, куда входили латинская церковь Востока, кипрский король. Венецианская республика, странноприимный орден… Нам удалось очистить от варварской заразы греческий архипелаг; и много еще чего мы могли бы совершить. Но потом началась эта дурацкая война между французским королем и королем английским — честно говоря, не думаю, чтобы она когда-нибудь кончилась, — и помешала нам осуществить еще один наш замысел — вернуть Восточную церковь в лоно Римской церкви. А потом пришла чума… а потом папа Климент скончался…

В третий раз на конклаве — а был он четыре года назад — помехой оказалось мое происхож-

дение. Слишком я, видите ли, знатный сеньор, у нас уже был один такой. Я, кардинал Перигорский, зовусь Эли де Талейран, шутка ли, и если бы выбрали меня, то это было бы прямым оскорблением для бедных! В иные минуты на нашу церковь нападает яростный стих самоуничижения и самоумаления. Но пользы от этого что-то не видно. Хорошо, совлечем с себя наше богатое облачение, запрячем подальше наши ризы, продадим с торгов наши золотые дароносицы и будем раздавать верующим тело Христово из двухгрошовых мисок; облачимся в мужицкую одежду, да еще выберем ту, что погрязнее, и никто не будет тогда питать к нам уважения, прежде всего само мужичье… А как же иначе, ежели мы станем им ровней, с чего же это они будут нас почитать? В конце концов, мы и сами потеряем к себе всяческое уважение… Сошлитесь на это в присутствии вот таких оголтелых сторонников самоуничижения, вам тут же ткнут под нос Евангелие, да еще с таким видом, будто им одним оно ведомо, и как начнут твердить о яслях, стоявших между быком и ослом; как начнут нудить о мастерской плотника!.. Будьте, мол, подобны нашему владыке Иисусу Христу… Но разрешите спросить вас, дорогие мои тщеславцы, ученые

мужи, где сейчас-то находится Иисус? Разве не восседает Он одесную Отца своего, разве не столь же всемогущ, как Он? Разве не Христос во всем величии своем царит среди небесных светил и музыки сфер? Разве не Он властитель Вселенной, окруженный сонмом серафимов и блаженных? И кто, скажите на милость, уполномочил вас через собственный свой облик решать, какой из двух образов Иисуса должно вам давать пастве — образ краткого его земного существования или же образ вечного его торжества?

…Ну и ну, если по пути мне попадется какая-нибудь епархия, где епископ, приверженец новых идей, чересчур склонен принижать Господа нашего, тогда я вот что скажу ему в поучение. Таскать на себе ежедневно с утра до вечера золотое шитье весом в двадцать фунтов, да еще митру, да еще посох — не так-то уж это весело, особенно когда таскаешь их на себе целых тридцать лет. Но без этого не обойтись.

На дешевку души не уловишь. Если один оборванец говорит другим оборванцам «братья мои», на них эти слова не произведут впечатления. Вот если им это скажет король — дело другое. Внушить людям, пусть и не ахти какое, уважение к самим себе — вот оно самое настоящее благоде-

яние, чего, увы, не понимают наши фратичеллы и прочие нищенствующие ордена. Как раз потому, что человек нищ и жалок, и потому, что он страдалец и грешник, ему и необходимо внушить надежду, что на том свете будет иначе. Да, да, а для этого нужны ладан, позолота, музыка. Церковь обязана дать верующим зримую картину Царства Небесного, и любой из священников, начиная с папы и его кардиналов, должен хоть отчасти воплотить собой образ самого Творца…

В сущности, не так уж плохо побеседовать с самим собой, глядишь, и всплывут новые мысли для будущих моих проповедей. Но мне как-то приятнее обнаруживать их в беседах с другими людьми… Надеюсь, Брюне не забыл мои леденцы… Нет, вот они здесь. Кстати, он никогда ничего не забывает…

Я лично хоть и не такой великий теолог, как другие, а такими в наш век хоть пруд пруди, но, коль скоро на меня возложен долг блюсти в порядке и чистоте земные жилища Господа Бога, я наотрез отказался урезать расходы на свое содержание и содержание своего отеля; и сам папа, а он знает, слишком хорошо знает, чем мне обязан, даже и не подумал меня к тому принуждать. Ежели ему нравится прибедняться на папском

престоле — что ж, его дело. Но я — его нунций и обязан блюсти блеск его сана.

Знаю, знаю, кое-кто прохаживается насчет моих внушительных пурпурных носилок с золоченым передком и золочеными гвоздиками, то есть тех носилок, в которых я сейчас передвигаюсь, и насчет двух моих лошадей под пурпуровыми чепраками, и насчет моего эскорта, насчитывающего две сотни копий, и насчет трех перигорских львов, вышитых не только на моем знамени, но и на ливреях моих стражников. Но ведь благодаря всему этому, когда я въезжаю в какой-нибудь город, весь народ высыпает мне навстречу, падает ниц, целует полы моего плаща. Да что там, сами короли преклоняют предо мною колена… во славу Твою, Господи, во славу Твою!

Только вот на последнем конклаве это оказалось не совсем кстати, и мне дали это почувствовать, причем почувствовать довольно ощутимо. Им требовалось что-нибудь попроще, человек позаурядней, смиренник, бедняк. Лишь с трудом мне удалось в последнюю минуту добиться того, чтобы не избрали Жана Биреля. Кто спорит, он святой, о, конечно же, святой! Но у него нет ни на йоту того, что требуется, дабы править христианским миром, не такого он склада человек,

и он стал бы вторым Пьетро Мороном. Сколько же мне потребовалось красноречия, чтобы доказать моим братьям, участникам конклава, как чревата опасностями, особливо в такую смутную для всей Европы годину, будет наша ошибка, ежели мы дадим миру второго Целестина V. Ох не пощадил же я дражайшего Бирель. Такую воздал ему хвалу, воочию показал, что именно в силу своих добродетелей он не способен возглавить церковь; короче, что называется, убил его наповал и добился, чтобы выбрали Этьена Обера — он бедного рода, откуда-то из-под Помпадура, и тоже не блещет в церковной иерархии, так что все дружно назвали его имя.

Обычно считается, что сам Святой Дух просвещает нас, дабы мы сумели выбрать лучшего. На самом же деле чаще всего мы голосуем с таким расчетом, чтобы не прошел худший.

Разочаровал меня наш святой отец. Вечные стоны, нерешительность: то принимает решение, то отменяет. Я бы совсем иначе правил церковью! И потом, что это за выдумка такая — послать со мной вместе кардинала Капоччи, будто необходимо посылать двух легатов, будто я недостаточно искушен, дабы вести дела одному, без чужой подсказки?! И что же? Мы переругались, едва

прибыв к месту назначения, потому что я сумел ему показать его глупость. Надулся наш дражайший Капоччи, якобы отстранился от дел. И пока я ношусь из Бретея в Монбазон, из Монбазона в Пуатье, из Пуатье в Бордо, из Бордо в Перигор, он, видите ли, сидит себе в Париже и шлет оттуда во все концы послания, лишь бы осложнить мои будущие переговоры. Ох, надеюсь, что не встречу его в Меце…

Перигор, мой Перигор… Господи, неужели я видел его в последний раз?

Моя матушка была убеждена, что я непременно стану папой. И твердила мне об этом при всяком удобном и неудобном случае. Именно поэтому она приказала выстричь мне тонзуру, когда мне было всего шесть лет; и она же добилась от Климента V, питавшего к ней подлинно дружеские и возвышенные чувства, чтобы меня сразу же включили в число папских воспитанников и чтобы мне дали приход с бенефициями. Сколько же было мне лет, когда матушка привела меня к папе?.. «Дражайшая Брюниссанда, надеюсь, что сын ваш, коему даем мы особое наше благословение, сумеет проявить на том поприще, что вы избрали для него, незаурядные добродетели, свойственные славному вашему роду, и быстро

достигнет самых высоких должностей нашей Святой церкви!..» Нет, не больше семи лет. Он назначил меня каноником в Сен-Фрон; так я впервые облачился в мантию. Почти полвека прошло с той поры… Матушка моя спала и видела меня на папском престоле. Была ли то просто тщеславная материнская мечта или же и впрямь пророческое видение, что порой осеняет женщин? Увы, сам я отлично знаю, что папой мне не бывать.

И однако… однако мой гороскоп говорит, что в день моего появления на свет Юпитер сочетается с Солнцем, светило проходит через меридиан в наивыгоднейшей точке — верный знак власти и мирного правления. Ни у одного другого кардинала нет такого благоприятствующего расположения светил, как у меня. Мой гороскоп значительно лучше, чем был у папы Иннокентия в день его избрания. Но только вот в чем загвоздка… Мирное правление, да, мирное правление, а ведь кругом война, мятежи, гроза. Слишком уж хорош мой гороскоп по нынешним временам. Так что гороскоп Иннокентия, предвещавший одни лишь трудности, заблуждения, невзгоды, куда лучше подходит к нынешним смутным временам. Господь Бог уготавливает человека к той године, что довлеет миру, и призывает папу,

способного выполнить Его замысел, будь то ради величия и славы, будь то ради мрака и бездны…

Если бы я не стал согласно желаниям матушки верным служителем церкви, я был бы сейчас графом Перигорским, коль скоро старший мой брат скончался, не оставив потомства, как раз в год первого моего конклава; а графский титул, поскольку он был мне ни к чему, перешел к нашему младшему брату Роже-Бернару… Ни папа, ни граф. Ну что ж, надо оставаться на том месте, куда поставило нас Провидение, и постараемся как можно лучше выполнить долг свой. Нет сомнения, что я мог бы стать одним из тех, кому суждено сыграть великую роль, стать великим человеком своего века, имена которых тут же забывают, едва они сходят со сцены. Ленива и неповоротлива память людская, только имена королей удерживает она… Да будет на то воля Твоя, Господи, да будет воля Твоя…

И к тому же какой толк в сотый раз думать все о том же, говорить себе все то же… Надо полагать, душу мне взволновало то, что повидал я Перигор, край моего детства, и дорогую мне коллегиальную церковь Сен-Фрон, и расставание с ними. Лучше будем любоваться этим милым пейзажем, который, возможно, я вижу в последний раз.

Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты ниспослал мне такую радость…

Но почему это меня везут чуть ли не галопом? Мы уже проехали Шато-л'Эвек; отсюда до Бурдея мы доберемся через два часа, не более. В первый день отбытия вообще следует делать недолгие переходы. Прощания, последние прощания, последние благословения, которых у вас просят, забытые вещи — никогда еще никто не отправлялся в путь точно в назначенный час. Но на сей раз и впрямь слишком уж короткий переход…

Брюне! Эй, Брюне, друг мой, пойди и скажи, чтобы ехали чуть помедленнее. По чьей милости мы несемся сломя голову? По милости Кюнака или Ла Рю? Вовсе не обязательно так меня трясти. А потом пойди скажи его светлости Аршамбо, моему племяннику, чтобы он слез со своего коня, что, мол, я зову его к себе в носилки. Благодарю, ну, иди, иди…

Когда я уезжал из Авиньона, меня сопровождал другой мой племянник, Робер де Дюраццо; на редкость приятным он был попутчиком. В нем много общего с моей сестрой Аньес да и с нашей матушкой. Жаль, что под Пуатье он дал себя убить этим тупицам-англичанам, ввязавшись в битву в войске короля Франции! О, за это я его

не упрекаю, даже если порой притворяюсь, что упрекаю. Ну кто бы мог подумать, что король Иоанн позволит так себя поколотить! Выставляет тридцать тысяч человек против шести тысяч, а к вечеру он, глядишь, уже в плену. Ах, глупый, глупый король, дурачок! Если бы он тогда хотя бы согласился на договор, который я ему, как дар, преподнес на блюде, можно было бы выиграть дело, обойдясь без всяких битв!

На мой взгляд, Аршамбо не такой живой, не такой блестящий, как Робер. Он не знал Италии, а только в Италии юность расцветает ярким цветом. В конце концов, если будет на то милость Божья, именно он станет графом Перигорским. Этому юноше полезно попутешествовать в моем обществе, он хоть немножко обтешется. От меня он многое узнает… Ну, раз я уже отдумал и отмолился, незачем мне больше сидеть в одиночестве.

Глава II
Кардинал Перигорский говорит

Нет, вовсе я не против верховой езды, Аршамбо, и вовсе не так уж стар, чтобы не вскарабкаться на лошадь. Поверьте на слово, я могу проскакать

целых пятнадцать лье и, ручаюсь, легко обгоню даже более молодого. Впрочем, вы и сами видите, что за носилками ведут оседланного коня — мало ли что может случиться, или вдруг мне припадет охота прокатиться верхом. Но я не раз замечал, что после целого дня, проведенного в седле, у человека в ущерб мысли просыпается аппетит, и, вместо того чтобы сохранить светлую голову, он жадно набрасывается на еду и пьет сверх меры, а светлая голова мне нужна во время моих частых поездок, когда приходится проверять, поучать людей или вести с ними переговоры.

Большинство королей, и в первую очередь король Франции, правили бы своим государством с большей для дела пользой, если бы они чуть меньше утомляли чресла, а побольше голову и не решали бы важнейшие дела за пиршественным столом после бешеной скачки или охотничьих забав. Заметьте, что в носилках тоже можно двигаться с неменьшей скоростью, особенно если, как вот в мои, впрячь добрых лошадок и позаботиться, чтобы их почаще меняли… Хотите леденчик, Аршамбо? Вон там у вас под рукой ящичек… передайте-ка и мне один леденец.

Знаете, за сколько дней я проделал путешествие из Авиньона до Бретея в Нормандии, когда

я отправился к королю Иоанну, начавшему там дурацкую осаду крепости? Ну, ну, скажите!.. Нет, дорогой племянник, меньше. Выехали мы 21 июня, в день солнцестояния, и как раз в первый его час. Ибо вы знаете или, вернее говоря, не знаете, что такое отъезд папского нунция, или двух нунциев, коль скоро нас тогда было именно двое… Существует добрый обычай, в силу коего вся священная коллегия кардиналов после торжественной мессы отправляется вслед за отъезжающими и сопровождает их еще целое лье после выезда из города; и всегда собирается огромная толпа и тоже идет вслед или глазеет на наше шествие с обочины дороги. А двигаться надо не спеша, как во время церковной процессии, иначе шествие не получится торжественным. Потом делают привал, и кардиналы выстраиваются в ряд по старшинству, а нунций обменивается с каждым братским лобзанием. Вся эта церемония длится до зари, а то и дольше… Итак, выехали мы 21 июня. А в Бретей мы попали 9 июля. Через восемнадцать дней. Никколо Капоччи, мой спутник, занемог. Надо сказать, что я его, этого неженку, здорово протряс. Никогда еще он на таких рысях не езживал. Зато уже через неделю гонцы вручили в собственные руки папы мою

реляцию о первой встрече с королем.

Сейчас-то нам ни к чему так торопиться. Во-первых, в это время года дни уже короткие, даже если погода сейчас нам благоприятствует… Просто не помню, чтобы у нас в Перигоре когда-нибудь стоял такой прекрасный ноябрь, как нынче. А какой свет! Но когда мы продвинемся ближе к северу, боюсь, как бы нам не попасть в непогоду. Я кладу на путешествие месяц с лишним, так что до Меца мы доберемся к Рождеству, если будет на то воля Божья. Нет-нет, совсем незачем мне так спешить, как прошлым летом, коль скоро вопреки всем моим стараниям война по-прежнему идет и сам король Иоанн в плену.

Как могла приключиться подобная беда? О, дорогой племянник, не вы первый и не вы последний в недоумении пожимаете плечами. Вся Европа не может до сих пор опомниться от удивления и с утра до вечера обсуждает — почему да как… Беды королей приходят издалека, и подчас люди принимают за злополучную судьбу то, что, по сути дела, роковое следствие самой их натуры. И чем страшнее беды, тем глубже их корни.

Вся эта история известна мне в мельчайших подробностях… Пожалуйста, натяните на меня полость… Уверяю вас, я того ждал. Ждал, что

на этого короля, а следовательно, увы, и на это государство обрушатся невзгоды, что оно придет в упадок. Ведь в Авиньоне мы знаем все, чем живет королевский двор. Все их интриги, все их комплоты тотчас же становятся нам известны. О любом проектируемом браке мы узнаем раньше, чем сами брачующиеся: «В случае, если девица принадлежит к такому-то царствующему дому и отдаст свою руку государю, принадлежащему к такому-то царствующему дому и который доводится ей троюродным братом, даст ли святой отец разрешение на сей брак?..» Узнаем о любом готовящемся договоре, коль скоро посланцы обеих сторон отряжаются к нам; и о любом преступлении, поскольку к нам бросаются за отпущением грехов… Святая церковь поставляет королям и принцам их канцлеров, равно как и большинство их легистов…

Вот уже целых восемнадцать лет ведет открытую борьбу королевский двор Франции с королевским двором Англии. А в чем она, причина этой борьбы? А причина в том, что король Эдуард претендует на французский престол, это уж безусловно! Но это лишь предлог — надо признаться, прекрасный с точки зрения юриспруденции предлог, — ибо тут можно спорить до скончания

веков; но не в том единственная и подлинная причина этой свары. Существующие границы между Гиенью и соседними графствами, границы издавна довольно-таки нечеткие. Взять хотя бы наш Перигор: все эти земли записаны весьма беспорядочно, так что в смысле прав феодалов получается настоящая путаница; и к тому же когда вассал и сюзерен — оба короли, то трудно ждать, чтобы они так легко договорились между собой: тут и соперничество в делах коммерческих, в первую очередь я имею в виду торговлю шерстью и тканями, что, скажем, привело к спорам за Фландрию; тут и то обстоятельство, что Франция поддерживает шотландцев, а шотландцы представляют постоянную угрозу с севера английскому королю… Война началась не по одной какой-нибудь причине, а по сотне причин разом, тлевших, как костер в ночи. А тут еще Робер Артуа — человек, потерявший честь и изгнанный из родной земли, — отправился в Англию раздувать эти головешки. Папа — а папой был тогда Пьер Роже, то есть Климент VI, — сам делал все и других побуждал делать все, лишь бы не дать вспыхнуть этой братоубийственной войне. Он обращался к обеим сторонам с увещеванием, склонял их к соглашению, к взаимным уступкам.

Он тоже отрядил тогда легата, а легатом этим был не кто иной, как нынешний папа, тогда еще кардинал Обер. Он под рукой подбросил королям мысль о Крестовом походе, в котором приняли бы участие они оба и подняли бы своих сеньоров. Славный был бы способ направить их кровожаждущие притязания по другому руслу и в то же время вновь сплотить христианский мир… Но вместо Крестовых походов — не угодно ли — Креси. Впрочем, ваш батюшка там был: он, очевидно, рассказывал вам, и не раз, об этой катастрофе…

Ах, дорогой мой племянник, вы сами увидите на своем веку — не велика заслуга служить всем сердцем хорошему королю; следуя за ним, вы выполняете долг ваш, и сопряженные с этим трудности вам нипочем, ибо вы знаете, чувствуете, что дела ваши ведут к высшему благу. Трудно другое — хорошо служить плохому монарху… или плохому папе. В годы ранней моей юности я видел людей, беззаветно служивших Филиппу Красивому, и были они счастливы своим служением. А для того, чтобы верно служить этим тщеславным Валуа, надо сделать над собой усилие, и немалое. Советов они не желают слушать и внимают голосу разума лишь тогда, когда повержены в прах и разбиты.

Только после Креси Филипп VI согласился на перемирие, взяв за основу подготовленные мною предложения. И очевидно, не такие уж безнадежно плохие предложения, раз перемирие это длилось — я не говорю о вспыхивавших время от времени местных стычках, — длилось, повторяю, с 1347 по 1354 год. Семь относительно мирных лет. Казалось, наконец-то нам улыбнулось счастье. Но нет, в наш проклятый век только-только стихнет бряцание мечей, как грянет чума.

Вас, в Перигоре, она обошла стороной… Ну конечно, конечно, Аршамбо, и вам тоже пришлось уплатить свою дань сему бичу Божьему, да-да, вы тоже насмотрелись немало ужасов… Но, поверьте, даже сравнения никакого не может быть с густонаселенными городами, да еще окруженными густонаселенными деревнями, как, скажем, Флоренция, Авиньон или Париж. А знаете ли вы, что бич этот пришел к нам из Китая через Индию, Малую и Среднюю Азию? Говорят, он дошел даже до Аравии. Чума — эта болезнь неверных — была послана нам, дабы покарать погрязшую во грехах Европу. Корабли завезли чуму из Константинополя и с берегов Леванта на греческий архипелаг, а оттуда она прошествовала в Италию, перемахнула через Альпы и обрушилась на нас,

прежде чем достигла Англии, Голландии, Дании и наконец затихла у границ далеких северных стран — Норвегии, Исландии. И у вас тоже чума протекала по-разному, другими словами, были и у вас две формы чумы; одна, что убивала человека в течение трех дней, сопровождалась горячечной лихорадкой, так что в жилах спекалась кровь… бедняги, пораженные этим страшным недугом, уверяли, что они заживо претерпевают все муки ада… И другая — тут агония длилась медленнее — пять-шесть дней, но лихорадка была столь же сильной, и были еще бубоны и пустулы в паху и под мышками.

Семь месяцев подряд Авиньон жил под свист этого бича. Каждый вечер, отходя ко сну, мы спрашивали себя: проснемся ли мы завтра? Каждое утро мы ощупывали себе подмышки и пах. Стоило почувствовать хоть небольшой жар, как человек впадал в смертную тоску и глядел на вас безумными глазами. При каждом вздохе невольно приходила в голову мысль: уж не с этим ли глотком воздуха в меня вошла зараза? Расставаясь с другом, каждый задавался мыслью: «Кто? Он или я, а быть может, мы оба?» Ткачи умирали прямо в своих мастерских, рухнув у остановившихся станков; золотых дел мастера испускали

дух возле своих остывших тиглей; менялы — у своих прилавков. Дети умирали, вскарабкавшись на смертный одр, где лежал уже остывший труп матери. А зловоние, Аршамбо, а зловоние, ползшее над Авиньоном! Все улицы были вымощены мертвыми телами.

Половину, поймите, половину жителей Авиньона унесла чума. Только за четыре месяца 1348 года, с января по апрель, насчитали шестьдесят две тысячи умерших. Папа наспех купил участок земли под кладбище, но уже через месяц оно было переполнено — там захоронили одиннадцать тысяч мертвецов. Люди умирали, и никто за ними не ухаживал; их хоронили, и никто их не отпевал. Сын боялся заглянуть к родному отцу, а отец боялся заглянуть к родному сыну. Семь тысяч заколоченных, пустых домов! Все, кто имел хоть какую-нибудь возможность, бежали из Авиньона в свои загородные дворцы.

Климент VI вместе с несколькими кардиналами, в числе коих был и я, остался в городе: «Если Бог восхощет, Он призовет нас к себе». И по его приказу осталось большинство церковнослужителей папского двора, а их было четыре сотни, но они не слишком усердствовали для общего блага. Папа оплачивал медиков и лекарей; на

свой счет содержал возчиков и могильщиков; велел раздавать жителям съестные припасы, а стражникам предписал принимать разумные меры против распространения заразы. Тогда-то никто не упрекал его в том, что он, мол, не считая, транжирит деньги. Он отчитывал монахов и монахинь, которые не исполняли долга милосердия в отношении больных и умирающих. Ох и наслушался же я, как исповедовались и каялись во грехах люди самого, казалось бы, высокого положения, могущественные, даже князья церкви; как стремились они очистить душу от скверны и вымолить отпущение грехов. Даже ломбардские и флорентийские банкиры щелкали на исповеди от страха зубами и проявляли неведомую им доселе щедрость. А любовницы кардиналов… да-да, племянничек, не у всех, конечно, но кое у кого есть… Так вот, эти прекрасные дамы являлись, дабы возложить свои драгоценности к ногам Пресвятой Девы Марии! При этом они держали у очаровательных своих носиков платочки, пропитанные ароматическими эссенциями, а придя домой, скидывали на пороге свои башмачки. Те, что обзывали Авиньон градом нечестивцев и даже новым Вавилоном, не видали его в годину чумы. Все тогда стали набожными, поверьте

мне!

Странное все-таки создание человек! Когда жизнь ему улыбается, когда пользуется он цветущим здоровьем, когда в делах все ему благоприятствует, когда супруга его плодовита и в его краю царит мир, разве не должен он именно тогда с утра до ночи возноситься душой к престолу Божьему, дабы возблагодарить его за дарованные им милости? Как бы не так — он и не вспоминает о своем Создателе, задирает нос и нарушает все заповеди Господни. Зато, едва обрушится на него горе, едва сразит его бедствие — он тут же кидается к Богу. И молит Его, и себя чернит, и обещает исправиться… Так что Господь Бог с полным основанием посылает на нас беды, раз это, по-видимому, единственный способ принудить человека вернуться в лоно церкви…

Я не сам выбрал себе поле деятельности. Вы, должно быть, слышали, что моя матушка прочила меня в служители церкви, когда я был еще совсем ребенком. И если я не противился ее замыслам, то, думаю, лишь потому, что с младых ногтей питал благодарность к Господу Богу за все, что Он мне даровал, и прежде всего за самое жизнь. Помню себя еще совсем ребенком в нашем старом замке Рольфи в Перигоре, где и вы тоже

родились, Аршамбо, но уже не живете там с тех пор, как ваш отец пятнадцать лет назад обосновался в Монтиньяке… Так вот, в этом огромном замке, построенном на древней римской арене, помню, я, еще совсем мальчиком, замирал от счастья, что живу в безбрежном мире, дышу, вижу небеса; помню, что особенно остро ощущал я это летними вечерами, когда долго-долго не меркнет дневной свет и меня укладывали в постельку еще засветло. В виноградных лозах, карабкавшихся по стене под окошком моей спальни, жужжали пчелы, и вечерняя тень, не торопясь, ложилась на огромные плиты нашего овального двора; еще не потемневшие небеса вспарывал полет птиц, и первая звездочка проклевывалась сквозь облака, которые еще долго розовели на закатном небосводе. Мне страстно хотелось благодарить за все это кого-то, и моя матушка объясняла мне, что все это дело рук Господа Бога, создателя вот этой красы, и благодарить я должен Его. И никогда с тех пор не покидало меня это чувство.

Даже сегодня, во время долгого нашего пути, я не раз в сердце своем возносил благодарность Творцу за то, что послал Он нам мягкую погоду; за то, что проезжаем мы по этим лесам, одетым в золото, по этим еще зеленеющим лугам; за то, что

сопровождают меня верные служители; за то, что впряжены в мои носилки добрые выносливые лошадки. Мне приятно смотреть на лица людей, на спорые движения животных, на кроны деревьев, любоваться всем этим великим разнообразием — лучшим и непостижимо прекрасным творением Господа нашего.

Всем нашим ученым богословам, спорящим по теологическим вопросам в душных залах, упивающимся пустопорожними речами, наводящими смертную тоску, поносящим друг друга до горечи во рту словесами, выдуманными лишь для того, чтобы назвать иначе то, что давным-давно известно каждому, так вот — всем этим людям было бы весьма и весьма пользительно лечить мозги свои созерцанием природы. Для меня лично теология — это то, чему меня обучали, исходя из проповедей Отцов Церкви, и я отнюдь не собираюсь что-либо в этом менять…

А знаете ли вы, что я мог бы быть папой… Да-да, дорогой мой племянник. Кое-кто говорит мне это, говорят даже, что я смогу стать папой, если Иннокентий уйдет в лучший мир раньше меня. Да будет на то воля Божья. Я отнюдь не сетую на Господа за то, что Он сделал из меня то, что я есмь. И благодарю Его за то, что повел меня по

пути, коим я иду ныне, и за то, что дал дожить мне до моих лет, а до них доживают не многие. Пятьдесят пять, племянничек, пятьдесят пять… Да еще и сохранил мне здоровье. Это ведь тоже благословение Господне. Люди, которые не видели меня лет десять, глазам своим не верят, до того я мало изменился внешне: на щеках прежний румянец, борода едва заседела.

Мысль о том, увенчает ли мою главу или не увенчает папская тиара, честно говоря, лишь тогда щекочет мое самолюбие — признаюсь вам, как доброму родственнику, — лишь тогда, когда я чувствую, что мог действовать бы лучше, чем тот, кто эту тиару носит. А ведь при Клименте VI это чувство было мне незнакомо. Климент отлично понимал, что папа должен быть монархом над монархами, главным наместником Господа на земле. Когда Жан Бирель или какой другой из проповедников скудости упрекал его за расточительство и слишком великодушные подачки просителям, он отвечал: «Никто не должен от владыки уходить недовольным». А потом, повернувшись ко мне, цедил сквозь зубы: «Мои предшественники не умели быть папами». И во время этой великой чумы, как я уже говорил, он и впрямь доказал нам, что он лучший из лучших.

Положа руку на сердце, скажу прямо: не думаю, чтобы я мог сделать столько, сколько он, и я вновь и вновь благодарю Господа нашего, что не меня Он избрал, дабы вести страждущее христианство через подобное испытание.

При всех обстоятельствах жизни Климент сохранял величие и воочию показал всем нам, что был поистине святым отцом, отцом всех христиан и даже нехристиан, ибо, когда почти повсюду, но главным образом в прирейнских провинциях, в Майнце, в Вормсе, народ обрушился на евреев, обвиняя их в том, что они-де навлекли на нас бич Божий, папа осудил эти преследования. Больше того, он взял евреев под свое высокое покровительство: отлучал от церкви притесняющих их, дал изгнанным евреям приют и прибежище в своих владениях, и, скажем откровенно, именно благодаря этому папская казна через несколько лет изрядно пополнилась.

Но почему я так разболтался об этой самой чуме? Ах да! Потому что чума сыграла пагубную роль для французской короны и для самого короля Иоанна. И впрямь, когда эпидемия уже кончалась, то есть осенью 1349 года, одна за другой три королевы, вернее, две королевы и одна принцесса, которой еще предстояло стать

королевой…

О чем это ты, Брюне? Громче говори… Виден Бурдей? Конечно же, хочу посмотреть. Местоположение действительно удачное, замок стоит так, что оттуда вполне можно держать все подступы к нему под наблюдением.

Так вот, милейший Аршамбо, младший мой брат, а ваш батюшка передал мне этот замок, желая отблагодарить меня за то, что я освободил Перигор. Ибо, если мне не удалось вызволить короля Иоанна из лап англичан, то по крайней мере я вызволил наш графский город и добился того, чтобы мы снова им правили.

Если вы помните, английский гарнизон не желал уходить. Но я явился в сопровождении двух сотен копий, и, хотя кое-кто посмеивался над моим воинством, должен сказать, и на сей раз оно пригодилось, да еще как! Стоило мне прибыть туда из Бордо в окружении своих копьеносцев, как англичане без дальнейших слов убрались прочь. Две сотни копий и один кардинал — это не так-то уж мало… Да к тому же и большинство моих служителей умеют обращаться с оружием, равно как мои секретари и ученые правоведы, что и сейчас меня сопровождают. А верный мой Брюне — рыцарь. Я его недавно посвятил в рыцари.

Отдав мне Бурдей, мой брат, в сущности, укрепил свои владения. Считайте сами: кастелянство Оберош возле Савиньяка и город-крепость Боневаль, неподалеку от Тенона, я его откупил за двадцать тысяч флоринов десять лет назад у короля Филиппа VI. Я говорю — откупил, но на самом-то деле это покрыло лишь часть той суммы, что был он мне должен… далее, укрепленное аббатство Сент-Астье, аббатом коего являюсь я, мои приорства Флеикс и Сен-Мартен-де-Бержерак — это теперь целых шесть крепостей, все расположены на нужном расстоянии вокруг Перигора, и все находятся под высоким покровом церкви, так, словно бы они часть владений самого папы. Поди-ка тронь, тут еще надвое подумаешь. Вот таким-то образом я и установил мир в нашем графстве.

Вы, конечно, знаете Бурдей: очевидно, не раз там бывали. А я давненько туда не заглядывал… Смотрите-ка, ну совершенно забыл этот огромный восьмиугольный донжон. Вид у него внушительный. Теперь-то он мой собственный, но только на одну ночь и утро, что мы здесь проведем; я успею лишь водворить избранного мною управителя, а когда я сюда вернусь и вернусь ли — это уж никому не известно. Словом, времени

для приятного досуга не останется. Но возблагодарим Господа нашего за то, что Он, милостивец, даровал нам такую погоду. Надеюсь, нам сумеют сервировать хороший ужин, ибо даже в носилках от дорожной тряски подводит живот.

Глава III
Смерть стучится во все двери

Я так и знал, я ведь говорил, Аршамбо, что не следует сегодня нам забираться за Нонтрон. И доедем-то мы туда уже после вечерней молитвы, в полном мраке. Ла Рю мне все уши прожужжал: «Монсеньор едет чересчур медленно… Для монсеньора переезд в восемь лье слишком мал…» Да ну его! Этот Ла Рю вечно мчится так, будто под ним задняя лука седла загорелась. С одной стороны, это, конечно, не так уж худо, с ним мой эскорт носом клевать не будет. Но я же знал, что нам не удастся выехать из Бурдея раньше полудня. Слишком многое мне нужно там было сделать, решить, подписать множество бумаг.

Я, видите ли, люблю Бурдей и твердо знаю, что там я мог бы быть счастлив, если Господь по милости своей разрешил бы мне не только владеть им, но и жить там. Тот, у кого есть лишь

одно скромное владение, умеет насладиться им всем сердцем. А тот, у кого много обширных владений, наслаждается ими лишь в мыслях своих. Небеса всегда и везде уравновешивают то, чем награждают нас.

Когда вы, Аршамбо, будете возвращаться в Перигор, сделайте милость, загляните в Бурдей и проверьте, пожалуйста, выполнили ли мое приказание и починили ли крышу. И камин в моей спальне. Он дымит… Какое счастье, что англичане пощадили Бурдей. Вы ведь видели Брантом, мимо которого мы только что проезжали, видели, что они там натворили, во что превратили этот некогда такой милый, такой красивый городок, мирно приютившийся на берегу реки. Мне как раз передавали, будто в ночь на 9 августа здесь останавливался принц Уэльский. А наутро его рубаки и мужичье, уходя, предали город огню.

По мне, это уж слишком. Ну что за нелепая страсть — все разрушать, крушить, изгонять людей или разорять их — прямо пристрастились к разбою. Ладно, допускаю, что на войне, на поле битвы убивают друг друга. Если бы Господь Бог предназначил меня не Святой церкви, а повелел мне вести в бой свое войско, я бы тоже никому пощады не давал. Ну ладно, пусть, в конце концов,

пограбят: надо же дать хоть какое-то рассеяние смертельно усталым людям, ежеминутно рискующим собственной жизнью. Но носиться по чужой земле лишь для того, чтобы обездолить весь народ, жечь его кров и его нивы, обрекать его на голод и холод, при одной мысли об этом меня злоба охватывает. Я-то понимаю, в чем тут дело: раз провинции разграблены и разорены, король не сможет выколотить из них подати, и для того, чтобы ослабить короля, уничтожают добро его подданных. Но это же бессмысленно. Ежели англичанин предъявляет права на престол Франции, почему, зачем он предает ее мечу и огню? И неужели он надеется, если даже заполучит Францию путем всяких договоров, после того как захватил ее силой оружия, неужели он надеется, что при таком образе действий его станут терпеть? Он сам сеет к себе ненависть. Конечно, король Франции из-за него лишится денег, но зато англичанин сам выковал души, полные гнева и жаждущие отмщения. Конечно, можно найти нескольких сеньоров, дав им кое-какие поблажки в денежном смысле, и таких-то король Эдуард найдет. Но весь народ отныне ответит отказом на все его договоры, ибо ими ничего не искупишь. Посмотрите сами, что уже сейчас

делается: славные люди простили короля Иоанна за то, что он дал себя разбить, они его жалеют, зовут его Иоанн Храбрый или Иоанн Добрый, тогда как его следовало бы звать Иоанн Глупый, Иоанн Упрямый или Иоанн Бесталанный. И вот увидите, они последнюю каплю крови отдадут, лишь бы выкупить его из плена.

Вы спросите меня, почему это я вчера вам говорил, что чума сыграла такую важную роль в судьбе короля и в судьбах французского королевства? Да потому, дорогой племянник, что злая смерть унесла в числе прочих женщин и собственную его супругу — Бонну Люксембургскую — еще прежде, чем он взошел на престол.

Чума похитила Бонну Люксембургскую в сентябре 1349 года. Ей предстояло стать королевой, и она была бы хорошей королевой. Как вам известно, она доводилась дочерью королю Богемии, Иоганну Слепому, а он пламенно любил Францию, по его словам, только при парижском дворе можно жить так, как подобает сеньору. Король-рыцарь, рыцарь с ног до головы, но слегка не в себе. Слепец, ничего не видевший, а заупрямился и решил во что бы то ни стало принять участие в битве при Креси и велел поэтому накрепко привязать своего коня к коням двух своих ору-

женосцев таким образом, чтобы те скакали по обе от него стороны. Так они и врезались в самую гущу схватки. Наутро нашли три их трупа по-прежнему накрепко связанными друг с другом. Надо вам сказать, шлем короля Богемии был украшен тремя белыми страусовыми перьями. Эта возвышенная кончина так потрясла юного принца Уэльского… а было ему тогда всего шестнадцать, он показал себя с самой лучшей стороны в первом своем бою, пусть даже король Эдуард ради высших политических соображений и приукрасил чуточку роль своего наследника в этом сражении… Так вот, принц Уэльский был так потрясен, что вымолил у отца разрешение носить отныне на своем шлеме три страусовых пера, бывших эмблемой покойного государя-слепца. Вот почему теперь на шлеме принца Уэльского мы видим три этих знаменитых пера.

Но важнее всех прочих достоинств покойной супруги короля Иоанна был ее брат Карл Люксембургский, и мы с папой Климентом немало способствовали тому, что он был избран императором Священной империи. Нет-нет, конечно, мы знали, что еще наплачемся с этим мужланом, с этим лукавцем, с этим ярмарочным барышником… О, ничего общего с отцом, вы скоро сами

в этом убедитесь, но мы предвидели также, что Франции суждено еще пережить горькие минуты; стало быть, следовало подкрепить правление будущего нашего короля, возведя его зятя на императорский престол. Умерла сестра, союз с братом распался. Сколько мы натерпелись горя из-за его «Золотой буллы». Но, сам опираясь на Францию, нам он ничего не дал. Вот потому-то я и еду сейчас в Мец.

Король Иоанн — впрочем, тогда он был еще герцогом Нормандским — не слишком убивался, потеряв свою супругу, мадам Бонну. Жили они не так чтобы дружно; дело даже доходило порой до публичных ссор. Хотя она была не лишена миловидности и хотя Иоанн каждый год делал ей по ребенку, общим числом одиннадцать душ, — правда, лишь тогда, когда ему намекали, что не мешало бы взойти на брачное ложе, — однако его высочество Иоанн скорее питал нежные чувства к своему кузену, лет на восемь моложе его и собой весьма пригожему… Звали его Карл де Ла Серда, или же мессир Испанский, так как он принадлежал к кастильской королевской династии, отстраненной от престола.

Едва тело мадам Бонны предали земле, герцог Иоанн тут же удалился в Фонтенбло вместе со

своим красавчиком Карлом Испанским, испугавшись, видите ли, заразы… О, порок этот не так уж редко встречается, Аршамбо. Я никак не возьму этого в толк, что доводит меня чуть не до бешенства, это один из тех пороков, которые я меньше всего склонен прощать. Но приходится признать, что он распространен даже среди монархов и сильно им вредит. Судите сами, до чего мужеложство довело Эдуарда II Английского, отца нынешнего короля Англии. Именно из-за содомского этого греха он лишился не только трона, но и жизни. Наш король Иоанн не так открыто предается содомскому греху, но кое-какие признаки все-таки имеются, и особенно это стало заметно, когда он воспылал пагубной страстью к своему красивому испанскому кузену.

Что там такое, Брюне? Почему мы стоим? Где мы? В Кэнсаке? Но остановка здесь не предвиделась… Чего хотят эти вилланы? Ах, благословения! Очень прошу не останавливать наш кортеж по таким пустякам! Ты же знаешь, что я раздаю благословения на ходу… In nomine patris…..lii… sancti…[37] Ступайте, люди добрые, вас же благословили, ступайте себе с Богом… Если мы будем

---

[37] Примечания: 37
Во имя Отца… святого… *(лат.)*

останавливаться всякий раз, когда меня просят благословлять встречных, мы до Меца и через полгода не доберемся.

Итак, я говорил вам, что будущая королева Франции скончалась в сентябре 1349 года, оставив вдовцом наследника престола. А в октябре пришел черед королевы Наваррской, Жанны, которую прозвали Жанна Младшая, дочери Маргариты Бургундской и, что вполне вероятно и столь же маловероятно, Людовика Сварливого, той самой, которую исключили из числа престолонаследников, так как ходили слухи, будто она незаконнорожденная… да-да, дитя Нельской башни… Ее тоже унесла чума. И ее тоже недолго оплакивали. Она вдовствовала уже шесть лет, так как ее супруг, он же ее кузен, его высочество Филипп д'Эврё был убит где-то в Кастилии в сражении с маврами. Наваррскую корону им уступил при восшествии на престол Филипп VI, желая предупредить претензии Наваррского дома на корону Франции. Словом, и эта сделка тоже была одной из многих, помогших Валуа взойти на трон.

Никогда я не одобрял наваррскую комбинацию, никуда не годную в смысле законности, да и вообще негодную! Но тогда я еще не мог высказать,

что думаю на сей счет, меня только-только назначили епископом Оксерским. А если бы я даже и сказал… В смысле правовом это полная чепуха. Наварру принесла в приданое мать Людовика Сварливого. Если Жанна Младшая не его дочь, а какого-нибудь конюшего, она не может претендовать ни на французский престол, ни равно и на наваррский. Следовательно, признать за ней право на корону, скажем наваррскую, — значит ipso facto[38] подтвердить ее право на корону Франции и также права ее наследников. Вообще-то, утверждали, слишком даже упорно, что ее лишили престолонаследия не столько потому, что ходили слухи о ее незаконном происхождении, сколько потому, что она принадлежит, мол, к женскому полу, поэтому прибегли к этому хитроумно изобретенному салическому закону.

А что касается практической стороны дела… Ни за что на свете, ни по какой причине Филипп Красивый не согласился бы отрезать от своего государства то, что к нему присоединил. Трон не делается прочнее, если подпилить у него одну ножку. Жанна и Филипп Наваррские вели себя достаточно тихо: она потому, что память о ее

---

[38] Примечания: 38
Фактически, тем самым *(лат.).*

матушке была еще слишком свежа, а он потому, что пошел в своего отца, Людовика д'Эврё, человека весьма достойного и разумного. Они, казалось, вполне довольствовались своим богатым нормандским графством и своим маленьким пиренейским королевством. Но все переменилось с тех пор, как на сцене появился их сынок Карл, уже в восемнадцать лет показавший себя отъявленным смутьяном, который осуждающим взглядом оценивал прошлое своей семьи и честолюбивым — свое собственное будущее. «Не будь моя бабка такой прожженной шлюхой, родись моя матушка мужчиной… теперь я бы уже был королем Франции». Собственными ушами слышал, как он это говорил. Итак, следовало договориться с Наваррой, которая по самому своему положению, на юге страны, приобретала тем больший вес, что англичане теперь захватили всю Аквитанию. И тогда, как это обычно бывает в подобных случаях, решили уладить дело брачным союзом, устраивающим всех.

Герцог Иоанн не так уж рвался к новому браку. Но коль скоро ему предстояло взойти на французский престол, король, по всеобщему представлению, обязан иметь супругу, особенно в таком щекотливом случае: супруга сумеет помешать

ему открыто появляться повсюду под ручку с Карлом Испанским. С другой стороны, как лучше подольститься к слишком беспокойному Карлу д'Эврё Наваррскому и как надежнее связать ему руки — да просто взять в будущие королевы одну из его сестер! Самой из них старшей, Бланке, было шестнадцать лет. Красавица и умница к тому же. Сватовство сильно продвинулось вперед, разрешение на брак от папы было получено, чуть-чуть не объявлен день свадьбы, хотя каждый думал про себя: кто-то доживет до следующей недели в ту страшную годину бедствий?

Ибо смерть продолжала стучаться во все двери. В начале декабря чума похитила саму Жанну Бургундскую Хромоножку, скверную королеву. Вот тут можно смело сказать, что одно только благоприличие сдерживало людей, хотя всем хотелось кричать от радости, и чудо какое-то, что народ не плясал на улицах. Ее все ненавидели, — должно быть, отец вам рассказывал об этом. Она выкрадывала у мужа королевскую печать, чтобы бросать людей в тюрьмы; по ее приказу готовили отравленные ванны для неугодных ей гостей. Таким манером она одного епископа чуть не отправила на тот свет. Король, случалось, нещадно ее избивал, но даже побоями не уда-

валось ее исправить. Честно говоря, я порядком опасался этой королевы. Будучи подозрительной по натуре, она во всех придворных видела воображаемых врагов. Была она злобная лгунья, мерзкая — словом, преступница была. Ее смерть все люди считали карой небесной, только слегка запоздавшей. Впрочем, сразу же после ее кончины эпидемия пошла на убыль, как будто бич Божий, явившийся к нам издалека и сразивший несчетное количество людей, преследовал одну лишь цель — сразить наконец эту гарпию.

Среди всех французов наибольшее облегчение испытал сам король. Ровно через месяц, день в день, в январскую стужу он повел к алтарю новую суженую. Пусть он похоронил свою ненавидимую всеми супругу, все равно такая спешка противоречила всем правилам приличия. Но самым худшим оказалась даже не эта спешка. С кем же сочетался Филипп законным браком? С невестой своего собственного сына, с Бланкой Наваррской, с этой девчушечкой, в которую влюбился до потери сознания, как только она появилась при дворе. Столь снисходительные к подобного рода шалостям французы не прощают своим монархам такого распутства.

Филипп VI был на сорок лет старше своей кра-

сотки, которую он столь беззастенчиво увел из-под носа законного наследника престола. И он даже не мог сослаться, как то сплошь и рядом делается при неравных династических браках, на высшие интересы государства. Таким образом, в его короне появился новый алмаз — алмаз бесчестья, а своего наследника он тем самым сделал всеобщим посмешищем. Свадьбу на скорую руку сыграли в Сен-Жермен-ан-Ле. Понятно, в числе присутствующих недосчитались Иоанна Нормандского. Он и вообще-то недолюбливал своего батюшку, который, кстати, платил ему той же монетой, а теперь просто люто возненавидел его.

И наследник в свою очередь через месяц тоже вступил во второй брак. Торопился смыть с себя клеймо поношения. И сделал вид, что с радостью связывает свою судьбу с герцогиней Булонской, вдовой герцога Булонского. Мой достопочтенный собрат, кардинал Булонский, устроил этот брак к вящей пользе Булонского дома, да и своей собственной заодно. Герцогиня Булонская могла считаться весьма выгодной партией, и с ее богатством престолонаследник, растранжиривший все, что имел, мог бы легка поправить дела. Но получилось так, что он стал теперь транжирить вдвойне.

Новая герцогиня Нормандская была значительно старше своей свекрови. Особенно странное впечатление производили они на приемах, тем паче что невестке далеко было до свекрови и лицом, и фигурой. Этого герцог Иоанн окончательно не мог перенести: он убедил себя, что влюблен в Бланку Наваррскую, столь гнусно вырванную чуть ли не из его объятий, и испытывал адовы муки, видя ее вместе с собственным папашей, который без малейшего стеснения дурацким образом ласкал ее при всех присутствующих. Это зрелище никак не способствовало любовным утехам герцога Иоанна с герцогиней Булонской, и он окончательно прилепился к Карлу Испанскому. Необузданное мотовство служило ему своего рода реваншем. Казалось, он хочет вернуть себе утраченную честь, транжиря деньги направо и налево.

Впрочем, после долгих месяцев ужаса и горя, принесенных чумой, повсюду начались безрассудные траты. Особенно в Париже. Королевский двор был охвачен безумием. Обычно утверждают, что при таком разгуле роскоши простой люд, мол, без работы не сидит. Однако результатов этого труда было что-то незаметно в хибарках и хижинах. Между запутавшейся в долгах знатью

и нищими простолюдинами имеется промежуточный слой, и ему-то идут все прибыли, их расхватывают крупные коммерсанты, как, скажем, марсельцы, торгующие сукном, шелками и прочими товарами роскоши и изрядно наживающиеся на этом. Мода стала более чем причудливой, и герцог Иоанн, хотя ему шел уже тридцать второй год, щеголял с Карлом Испанским в отделанном кружевами куцем плаще, не прикрывавшем зада. Народ смеялся им вслед.

Бланка Наваррская стала королевой раньше, чем предполагала, а процарствовала меньше, чем рассчитывала. Войны и чума пощадили Филиппа Валуа, а вот любовь доконала его. Пока он жил со своей злюкой Хромоножкой, он был, что называется, видный мужчина, правда чуть зажирел, но не в ущерб подвижности; пользовался отменным здоровьем, ловко орудовал мечом, любил быструю верховую езду, охотился с утра до вечера. Но полгода галантных подвигов и молодая супруга сделали свое дело. Он вставал с постели лишь с одной мыслью — снова лечь в постель. Чистое наваждение, настоящее безумие. Он требовал от своих лекарей, чтобы те составляли для него разные снадобья, поддерживающие его силы в… Что-что? Вы, я вижу, удивляетесь тому, что… Но

именно так, дорогой племянник, именно так. Хотя мы и принадлежим церкви или, вернее, потому, что мы ей принадлежим, мы обязаны быть сведущими в таких вопросах, особенно когда речь идет об особах королевского дома.

Бланка Наваррская не без тревоги переносила эту лестную для нее страсть, доказательства коей предъявлялись ей чуть ли не ежечасно: король публично похвалялся, что его молодая супруга устает быстрее, чем он. Вскоре он начал худеть. Перестал интересоваться государственными делами. Каждая неделя старила его чуть ли не на целый год. И скончался он 22 августа 1350 года в возрасте пятидесяти семи лет, из коих двадцать два правил Францией.

Несмотря на свою внушительную внешность, этот государь, которому я верно служил… ведь он был королем Франции, в конце концов, и, кроме того, я никогда не забывал, что именно он выпросил для меня кардинальскую шапку, — так вот, этот государь был более чем посредственный военачальник и никуда не годный финансист. Он потерял Кале, он потерял Аквитанию; после себя он оставил Бретань, охваченную смутой, и десятки областей или ненадежных, или разоренных. И сверх того потерял свой престиж. Ах да, он все-

таки купил Дофине. Ведь нельзя же, чтобы были одни только несчастья да беды. Так вот, знайте, племянник, именно я провел всю эту операцию за два года до Креси. Дофин Юмбер окончательно запутался в долгах и уже не знал, у кого призанять денег, чтобы расплатиться с особенно настойчивым заимодавцем… Я вам потом об этом подробно расскажу как-нибудь в другой раз, ежели вам интересно меня слушать, расскажу, как я взялся за дело, как и почему корона дофина досталась старшему сыну короля Франции, как жители графства Вьеннского очутились в лоне нашего государства. Могу сказать, не хвалясь, что я лучше служил Франции, нежели служил ей король Филипп VI, ибо он ее уменьшил, а мне удалось ее увеличить.

Уже шесть лет! Уже шесть лет назад скончался король Филипп, и герцог Иоанн стал королем Иоанном II! Эти шесть лет пролетели с такой быстротой, что кажется, он только-только начал царствовать. Не потому ли это происходит, что наш новый король не совершил за это время ни одного сколько-нибудь достопамятного деяния или, быть может, к старости само время как бы ускоряет бег свой. Когда человеку двадцать лет, каждый месяц, каждая неделя чреваты чем-то

новым, и кажется, дни тянутся и тянутся бесконечно… Вы сами убедитесь, Аршамбо, если только вам посчастливится дожить до моих лет, чего я вам желаю от всей души… Оборачиваешься и говоришь: «Как? Год уже прошел! Так быстро?» Быть может, это потому, что каждую минуту вспоминаешь прошлое, вновь переживаешь пережитое…

Ну так и есть, уже темнеет. Я же знал, что мы доберемся до Нонтрона в полном мраке.

Брюне, Брюне!.. Завтра мы должны выехать до зари, ведь нам предстоит длинный переезд. Поэтому пусть лошадей запрягут вовремя и пусть каждому выдадут на руки съестные припасы, так как у нас не будет времени устраивать в пути привалы. А кто поскакал в Лимож предупредить о моем приезде? Арман де Гийерми, что ж, прекрасно, прекрасно… Пошлю также нескольких своих пажей, пусть поглядят, какое отвели мне жилище и как готовятся к моему приезду, но пошлю только за день или два, никак не раньше. Как раз достаточно времени, чтобы люди зашевелились, но недостаточно для того, чтобы со всех епархий слетелись недовольные и замучили меня своими прошениями… «Ах, кардинал? Да, мы сами только накануне узнали. Увы, он уже уехал…» А иначе,

дорогой племянник, я, чего доброго, превращусь в бродячее судилище…

Глава IV
Кардинал и звезды

Эге, племянник, вам, я вижу, пришлись по вкусу не только мои носилки, но и та пища, что нам сюда подают. И мое общество, конечно, мое общество тоже… Возьмите-ка еще кусочек шпигованной утки, той, что нам преподнесли в Нонтроне. Шпигованная утка — это, так сказать, гордость нонтронских поваров. Удивительно, как это мой повар ухитряется сохранять нам кушанья теплыми…

Брюне, Брюне! Скажите моему повару, что я весьма и весьма доволен тем, что он подает мне во время дороги теплую пищу. Прямо искусник какой-то… Ах, в его повозке есть жаровня… Нет-нет, я вовсе не жалуюсь, что он кормит меня дважды подряд одним и тем же, особенно если он вкусным кормит. Вчера вечером мне эта шпигованная утка показалась очень и очень приятной. Возблагодарим Господа Бога за то, что у нас ее оказалось в достатке.

А вино, пожалуй, слишком молодое и слишком

легкое. Конечно, это не вино Сент-Фуа или Бержерака, к которым вы привыкли, Аршамбо, не говоря уже о сент-эмильонском и люссакском, они и впрямь упоительны, но теперь, увы, их целыми кораблями гонят в Англию через Либурн… Французская глотка уже не имеет на них права.

Ведь верно, Брюне, ничто ни в какое сравнение со стаканом доброго бержерака не идет? Рыцарь Эймар Брюне родом из Бержерака и считает хорошим лишь то, что растет и родится у них на родине. Я чуточку над ним за это пристрастие подсмеиваюсь…

Все нынешнее утро я пробеседовал с папским аудитором доном Франческо Кальво. Мне хотелось, чтобы он напомнил мне, какие дела ждут меня в Лиможе. Там мы проведем два полных дня, а может быть, и три. При любых обстоятельствах, если только, конечно, не случится ничего срочного или не прибудет особо важное послание, я предпочитаю по воскресным дням не трогаться с места. Хочу, чтобы моя свита присутствовала на воскресной мессе и спокойно отдохнула.

Ах, не скрою от вас, при одной мысли о том, что я вновь увижу Лимож, меня охватывало волнение. Ведь Лимож был первой моей епархией. Я был тогда… был тогда… словом, был моложе, чем

вы сейчас, Аршамбо, мне только-только исполнилось двадцать три. А я-то обращаюсь с вами как с желторотым юнцом! С возрастом человек, как это ни странно, начинает обращаться с молодыми как с детьми, забывая, каков был сам в такие годы. И если, дорогой племянник, вы заметите, что я тоже не чужд этого недостатка, остановите меня, поправьте. Епископ… Первая моя митра! Как же я ею гордился, и из-за нее-то я до времени впал в грех гордыни… Конечно, ходили слухи, будто я получил свое назначение благодаря особой благосклонности папы Иоанна XXII, подобно тому как первые свои бенефиции получил благодаря покровительству папы Климента V, потому что он-де питал дружеские чувства к моей матушке, что будто папа Иоанн XXII дал мне епархию лишь потому, что мы-де согласились на брак моей младшей сестры, вашей тетушки Арамбюрж, с одним из его внучатых племянников — Жаком де Ла Ви. Если уж быть до конца откровенным, это отчасти верно. Быть племянником папы — удача, безусловно, немалая, но польза от этого будет лишь в том случае, если при этом удастся породниться с высшей знатью, такой, например, как наше семейство… Ваш дядя Ла Ви был славный человек.

Хотя я был совсем юнцом, хочу надеяться, что от моего управления епархией осталась неплохая память. Когда я встречаю теперь множество епископов, даже убеленных сединой, которые не умеют держать в руках ни свою паству, ни свой причт и которые донимают нас жалобами и затевают бесконечные тяжбы, я склонен думать, что управлял я своей епархией достаточно хорошо и не слишком при этом надрывался. У меня были превосходные викарии… Плесните-ка, кстати, мне еще этого винца, чтобы запить жаркое… Так вот, я говорю, превосходные викарии, и я предоставлял им полную свободу самим управляться с делами. Я приказал, чтобы меня беспокоили только по наиважнейшим делам, чем внушил к себе уважение и даже, пожалуй, страх. Таким образом, у меня оставалось достаточно досуга, чтобы расширять свои знания. К этому времени я был уже по-настоящему силен в каноническом праве и добился разрешения пригласить в свою резиденцию ученых правоведов, дабы поднатореть в праве гражданском. Они приезжали из Тулузы, где я сам получил ученую степень; и надо сказать, Тулузский университет ничуть не хуже Парижского, коль скоро там тоже немало весьма ученых мужей. И вот в признательность за это…

я решил… и, раз уже представился такой случай, хочу поставить вас об этом в известность, Аршамбо, — я решил основать в Тулузе коллеж для неимущих перигорских школяров… Такой пункт внесен даже в мое завещание на тот случай, если я не успею сделать это при жизни… Возьмите-ка, дорогой племянник, полотенце и вытрите руки.

Как раз в Лиможе я начал изучать астрологию. Ибо для того, кому суждено властвовать, особливо потребны две науки: наука юридическая и наука о светилах небесных, ибо первая учит законам, управляющим взаимоотношениями и обязательствами между людьми, их обязательствами в отношении государства или церкви, а вторая знакомит с законами, управляющими отношениями человека и Провидения. Право и астрология — законы земные, законы небесные. Утверждаю, что этого вполне достаточно. По воле Божьей каждое живое существо рождается в свой определенный час, отмеченный на небесном циферблате, и по великой милости своей Господь дозволил нам вникать в этот ход времен.

Знаю, знаю, немало худых христиан подтрунивает над астрологией лишь потому, что наука эта попала в руки различных шарлатанов и торговцев ложью. Но ведь так было всегда, и

из старинных книг мы знаем, что еще древние римляне и другие народы времен античности разоблачали гадальщиков, составлявших лжегороскопы, и лжеволхвов, предсказывавших будущее за деньги. И тем не менее они охотно шли к тем, кто умел верно и безошибочно читать по звездам, и нередко такие люди занимались этим даже в храмах… И не закрываем же мы все церкви только потому, что существуют распутные или уличенные в святокупстве, то есть торгующие духовными должностями, священнослужители.

Мне приятно, что вы разделяете мое мнение. Христианину подобает со смирением принимать предначертания Вседержителя, творца всего сущего, что парит над звездами небесными…

Вам хотелось бы… Ну конечно, дорогой племянник, для вас с превеликой охотой. Знаете ли вы час вашего рождения?.. Эх, надобно знать. Отрядите кого-нибудь к вашей матушке с просьбой сообщить вам тот час, когда вы испустили первый крик. Матери такого не забывают…

Я лично могу только похвалить себя за то, что изучил астральную науку. Благодаря ей я и мог давать полезные советы государям, пожелавшим преклонить ко мне слух свой, а равно это дало

мне возможность проникнуть в натуру людей, с коими я общался, и остерегаться тех, чья судьба противоположна моей. Вот возьмите хотя бы Капоччи. Я давным-давно знаю, что он враждебен мне буквально во всем, и я всегда держался с ним настороже… Изучая расположение небесных светил, я с успехом провел десятки переговоров и заключил множество весьма благоприятных для нас соглашений, в частности в пользу моей сестры Дюраццо, или, скажем, устроил брак Людовика Сицилийского. И в благодарность мои подопечные значительно умножили мое состояние. Но прежде всего это сослужило мне добрую службу при папе Иоанне XXII — упокой, Господи, душу его, он был моим благодетелем — и оказало мне бесценную услугу. Ибо этот папа и сам тоже был великий алхимик и астролог. Когда он узнал, что я небезуспешно изучаю ту же науку, он почувствовал ко мне расположение, и именно поэтому он так благосклонно выслушал пожелание короля Франции сделать меня кардиналом в тридцать лет, что, надо сказать, бывает не каждый день. Итак, я отправился в Авиньон получать свою кардинальскую шапку. Знаете, как это происходит? Нет? Не знаете?

Папа устраивает великое пиршество, на ко-

торое приглашаются все кардиналы по случаю принятия в курию нового собрата. По окончании трапезы папа садится на свой престол и возлагает шапку на нового кардинала, а тот стоит коленопреклоненный и целует сначала папскую туфлю, а потом его уста. Я был слишком молод, чтобы Иоанн XXII — а ему было тогда восемьдесят семь лет — обратился ко мне со словами venerabilis frater[39]; поэтому-то он назвал меня dilectus filius[40]. Но прежде чем приказать мне подняться с колен, он шепнул мне на ухо: «А знаешь, во сколько обошлась мне твоя шапка? В шесть ливров семь су и десять денье». Такова уж была манера у этого папы — любил сбить спесь с человека, когда было от чего возгордиться, вставив насмешливое словцо среди торжественных словес. До конца дней моих сохраню я о нем светлую память. Святой отец, весь ссохшийся, морщинистый, в белом своем головном уборе, обхватывающем щеки. Было это 14 июля года 1331-го…

Брюне! Скажи, чтобы остановили лошадей. У меня ноги затекли, и я хочу немножко пройтись

---

[39] Примечания: 39
Достопочтенный брат *(лат.)*.

[40] Примечания: 40
Возлюбленный сын *(лат.)*.

вместе с моим племянником. А тем временем пусть вытряхнут из носилок крошки. Дорога ровная, да и солнышко соблаговолило послать нам свой луч. Вы нас потом догоните. Отрядите только дюжину человек мне в сопровождающие, мне необходим покой… День добрый, мэтр Вижье, день добрый, Вольнерио… день добрый, дю Буске… да будет с вами, сыны мои, добрые мои служители, благословение Господне…

Глава V
Первые шаги короля, которого прозвали добрым

Гороскоп короля Иоанна? Ну конечно, я его знаю: десятки, если не сотни раз я всматривался в него… Стало быть, я все предвидел? Конечно предвидел. Поэтому-то я так и бился, чтобы помешать этой войне. Ведь я же отлично знал, что она будет пагубна, и пагубна именно для Франции. Но попробуйте урезонить человека, а особенно короля, когда расположение светил в гороскопе затемняет ему разум и лишает способности рассуждать здраво!

Когда король Иоанн II появился на свет божий, Сатурн как раз проходил через зенит в созвездии

Овна. А такое расположение светил пагубно для владык земных, оно присуще низложенным государям, быстротечным правлениям или же правлениям, оканчивающимся трагическими поражениями. А если к тому же Луна встает под знаком Рака, а Рак тоже под знаком Луны, то это означает, помимо всего прочего, натуру женственную. Наконец, чтобы дать вам наиболее яркую черту, которая бросается в глаза любому астрологу: Солнце, Меркурий и Марс находились в крайне зловещем сочетании и в слишком большой близости к Тельцу. Под такими неблагоприятными светилами человек рождается неуравновешенным, с виду, правда, мужественным и даже довольно тяжеловесным, но у такого человека все мужское как бы выхолощено, включая мыслительные способности. В то же самое время такой человек груб, необуздан, подвержен мечтаниям и тайным страхам, что вызывает в нем внезапные приступы ярости, тягу к убийству. Такой не способен прислушиваться к чужому мнению или властвовать собой, и прячет он свои слабости под личиной чехвальства, по сути дела, просто глупец и полная противоположность победителю или тому, кто наделен душою властелина.

Про некоторых людей так и хочется сказать: поражение становится самым важным в их жизни, они втайне смакуют его и успокаиваются, лишь получив свое. В глубине сердца они находят отраду в мечтах о поражении, ибо желчь поражения — излюбленный их напиток; она слаще для них, чем для другого нектар победы; они взыскуют о зависимости, и лучше всего им видеть себя у кого-нибудь в подчинении. Да, подлинно великая беда, когда король появляется на свет под таким расположением светил.

Иоанн II, пока он был герцогом Нормандским и жил по указке своего батюшки, которого, к слову сказать, недолюбливал, казался вполне приемлемым принцем, и люди несведущие полагали, что он сумеет управлять страной. Но надо сказать, что не только народ, но и придворная знать склонны к иллюзиям и почему-то всегда считают, что новый правитель будет лучше предыдущего, так, словно бы новизна сама по себе уже добродетель, и притом добродетель сродни чуду. Однако стоит только новому монарху взять в руки скипетр, как его гороскоп и его природные качества тут же начинают сказываться самым злополучным образом.

Иоанн II не просидел на троне и двух недель,

как Карл Испанский все в том же августе месяце 1350 года был разбит на море королем Англии Эдуардом III. Правда, Карл Испанский командовал Кастильским флотом, и наш государь Иоанн за эту морскую экспедицию ответственности не нес. Тем не менее победителем вышел англичанин, а побежденный был закадычным другом короля Франции, и, следовательно, начало для этого последнего получилось не слишком благоприятным.

Коронование состоялось в конце сентября. На торжественную церемонию в Реймс прибыл также Карл Испанский, и этому незадачливому флотоводцу там оказали самый ласковый прием — надо же было утешить его за поражение.

В половине ноября коннетабль Рауль де Бриенн, граф д'Э, вернулся во Францию. Целых четыре года он просидел в плену у короля Эдуарда, но, надо сказать, пленение это было не слишком сурово, ему даже дозволялось переезжать из Англии во Францию и обратно, ибо он был участником мирных переговоров, над чем мы не покладая рук трудились в Авиньоне. Я лично состоял с коннетаблем в переписке. На сей раз ему удалось собрать необходимую сумму для своего выкупа из плена. Не знаю, надо ли вам напоминать, что

Рауль де Бриенн был по своему высокому положению весьма могущественной и значительной особой и, так сказать, второй персоной в нашем королевстве. Коннетаблем он стал после смерти своего отца Рауля V, тоже коннетабля, убитого на турнире. Ленные владения у него были повсюду, особенно крупные в Нормандии и в Турене — Бургей и Шинон, еще другие в Бургундии и Артуа. Владел он ныне конфискованными земельными угодьями и в Англии, и в Ирландии, а также в кантоне Во. По жене он доводился родственником графу Амадею Савойскому. Когда ты только-только уселся на королевский трон, к такому человеку тебе следовало бы относиться весьма уважительно. Как по-вашему, Аршамбо? А наш Иоанн II в первый же вечер его приезда обрушился на Рауля де Бриенна с яростными попреками, впрочем весьма туманными, и тут же приказал заточить его в темницу. А на следующее утро ему без суда и приговора отрубили голову. Да нет, нет, ни в чем он не был виноват, во всяком случае, ничто не было доказано. Наша курия знала об этом не больше, чем вы в вашем Перигоре. Поверьте мне, мы пытались узнать, в чем же тут дело. Желая оправдаться в этой скоропалительной казни, король Иоанн уверял,

что у него, мол, имеются на руках письменные доказательства вероломства коннетабля; но он в жизни их никому не показывал. Ни разу не показывал даже папе, который убеждал, что в его же собственных интересах предать гласности эти пресловутые доказательства. И на все уговоры святого отца он упрямо отмалчивался.

Тогда, понятно, во всех придворных кругах Европы пошло шушуканье, строились различные предположения… Утверждали, будто коннетабль вел с королевой Бонной Люксембургской любовную переписку и что после смерти королевы переписка эта, мол, попала в руки короля… Ну, слыхали ли вы когда-нибудь подобные вздоры?! И впрямь, странная связь, да и представить ее себе не так легко, уж во всяком случае, преступную связь, коль скоро дама без конца находилась в тягости, а кавалер полных четыре года почти безвыездно просидел в плену у англичан! Возможно, очень возможно, что в письмах мессира де Бриенна и были строки, не слишком лестные для короля. Но будь даже так, они скорее должны были касаться его собственного поведения, нежели поведения его первой супруги… Нет, ничем невозможно объяснить эту казнь, разве что ненавистнической натурой нашего нового

короля, который пошел в этом отношении в свою матушку, в эту злобную Хромоножку. Подлинная причина прояснилась чуть позднее, когда звание коннетабля было пожаловано… впрочем, вы сами знаете кому… ну да, Карлу Испанскому, а равно и добрая половина имущества казненного, так как все его земли и добро были розданы членам королевской фамилии. Так, граф Иоанн Артуа получил львиную долю — графство Э.

Вот такая неразумная щедрость создает больше врагов, нежели облагодетельствованных. Мессир де Бриенн имел кучу родни, друзей, вассалов, челяди; огромному множеству людей он покровительствовал, все эти люди были привязаны к нему и тут же образовали лагерь недовольных. А прибавьте-ка к ним еще приближенных короля, которым не досталось ни крохи из всего этого добра и которые сразу превратились в озлобленных завистников…

Ах, какой же отсюда открывается прелестный вид на Шаллюс и на оба замка. Посмотрите, как эти два донжона, разделенные узкой речушкой, чудесно подходят один к другому! Даже под этими быстро бегущими облачками все здесь радует глаз.

Ла Рю! Скажите-ка, Ла Рю, по-моему, я не оши-

баюсь, именно в этом замке, что направо, вон там, на пригорке, мессира Ричарда Львиное Сердце тяжко ранило стрелой и порвалась нить его жизни? Нда-а, не с нынешнего дня жители нашей страны привыкли к тому, что их убивают англичане и что приходится обороняться от них…

Нет-нет, Ла Рю, вовсе я не устал, я просто остановился полюбоваться всем окрест. Ну конечно же, мне совсем легко идти! Пройдусь еще немножко, а носилки пусть меня обгонят. Незачем нам нестись сломя голову. Если память мне не изменяет, от Шаллюса до Лиможа меньше девяти лье. Даже шагом преспокойно доберемся за три часа… Хорошо, пусть за четыре! Дайте мне насладиться последними светлыми деньками, которые по милости своей посылает нам Господь. Когда начнутся дожди, я еще успею насидеться в носилках за спущенными занавесками…

Итак, Аршамбо, я уже рассказывал вам, как король Иоанн сумел нажить себе первых врагов в лоне собственного государства. И тогда он решил, что пора наживать себе друзей, беззаветно преданных людей, связанных с ним совсем новыми узами, верных помощников в дни войны и в дни мира, которые придадут его правлению славу и блеск. И ради этой цели он на заре следующего

года учредил орден Звезды, награждение которым должно было, по его замыслу, возвеличить рыцарство и усугубить чувство чести. Но эта новизна была отнюдь не новой, ибо король Англии Эдуард уже учредил орден Подвязки. Но король Иоанн так потешался над этим орденом — подумать только, и создали-то его ради женской ножки. Вот его Звезда послужит совсем иным целям. Советую отметить эту черту его характера, кстати сказать постоянную и неизменную. Он умел только подражать, но всегда делал вид, что изобретает.

Ровно пять сотен рыцарей, не меньше, должны были принести клятву на Священном Писании: никогда и ни при каких обстоятельствах не отступать в бою, не сдаваться врагу в плен. Столь великое деяние полагалось отметить чем-то ощутимым. А когда нужно было щегольнуть, Иоанн II не скаредничал, и из его казны, и без того уже достаточно оскудевшей, деньги утекали, как из продырявленной бочки. Для торжественных церемоний ордена он приказал приспособить дом в Сент-Уане, который с той поры стали именовать Благородным Домом, и обставили его великолепной мебелью с тонкой резьбой и инкрустациями из слоновой кости и ценных пород дерева. Сам

я никогда этого Благородного Дома не видел, но мне его подробно описывали. Стены там обтянуты или, вернее, были обтянуты золототканой и серебряной парчой, а кое-где бархатом, вышитым тоже золотыми звездами и лилиями. Для каждого рыцаря король повелел сшить белый шелковый плащ, сюркот, наполовину белый, наполовину алый, и алую же шапочку с золотой пряжкой в форме звезды. Получили они также белый стяг, расшитый звездами, и каждому сверх того пожаловали по великолепному золотому кольцу с финифтью, дабы сразу было видно: они, мол, обручены с королем… что, конечно, не могло не вызывать улыбок. Пять сотен пряжек, пять сотен стягов, пять сотен колец. А ну-ка, подсчитайте, во что это обошлось! Говорили даже, будто король сам делал наброски всех этих рыцарских принадлежностей, спорил по поводу каждого завитка. И, учредив орден Звезды, он счел себя непобедимым! При столь неблагоприятном расположении светил в гороскопе ему следовало бы выбрать себе какую-нибудь другую эмблему, но только не звезду.

По установленному самим королем правилу рыцари должны были каждый год съезжаться на великое пиршество, где, как предполагалось,

каждый поведает присутствующим о своих геройских подвигах и о том, как бились они на мечах и копьях. Словом, обо всем, чем отличился каждый за этот срок. Два писца должны были записывать их изустные рассказы и превращать в историческую летопись. Так предполагалось воскресить к жизни Круглый стол, и уж конечно, король Иоанн превзойдет славу Артура — короля бриттов! Вообще замыслы были самые обширные, но достаточно туманные. Начали вновь поговаривать о Крестовом походе…

Первое сборище рыцарей Звезды, назначенное на день Богоявления 1352 года, изрядно разочаровало короля. Будущие легендарные герои не могли похвалиться великими деяниями, просто времени им для этого не хватило. Разрубленные надвое от макушки до пяток янычары, вражеские шлемы, притороченные к ленчику седла, девственницы, спасенные из темниц, куда их бросили неверные, — все это откладывалось на будущий год. Оба писца, призванные составлять летопись ордена, израсходовали не слишком много чернил, если, конечно, не считать подвигом то, что все перепились до умопомрачения. Ибо Благородный Дом стал самым крупным во Франции питейным заведением, какого не быва-

ло со времен короля Дагобера. Бело-алые рыцари так усердно налегали на горячительные напитки, что еще до второй перемены блюд уже вопили во всю глотку, пели, орали, чуть не катались по полу и выходили из-за стола, только чтобы помочиться или поблевать, а потом снова жадно набрасывались на еду, страстно бились об заклад, кто осушит больше кубков, — словом, всем скопом вполне заслужили посвящение в рыцари ордена кутил. Всю прекрасную золотую посуду, сделанную нарочно для этих пиршеств, смяли или потоптали. Они, как мальчишки, швыряли друг в друга золотые тарелки, а кубки просто давили в кулаке. От чудесной инкрустированной мебели остались одни обломки. Кое-кто с пьяных глаз вообразил, будто он идет в бой с врагом и пришла пора хватать добычу. Поэтому в мгновение ока пирующие растащили все золототканые и вышитые серебром ткани, свисавшие со стен.

А ведь именно в этот самый день англичане взяли крепость Гин, так как, покуда комендант крепости пировал в Сент-Уане, гарнизон благополучно перешел на сторону неприятеля.

После всех этих происшествий король сильно взгрустнул и находил утешение в одной лишь мысли, что волею злой судьбы самые блиста-

тельные начинания бывают порой обречены на неудачу.

В скором времени разыгралась первая битва, в каковой приняли участие рыцари ордена Звезды, но не на далеком сказочном Востоке, а в лесистом уголке Нижней Бретани. Полтора десятка из числа пировавших, желая доказать, что они, мол, способны на иные подвиги, а не только на безудержное питье, решили свято сдержать свою клятву, не отступать перед неприятелем, не сдаваться ему в плен. И вместо того чтобы по примеру благомыслящих людей вовремя отойти, они позволили противнику окружить себя, причем неприятельское войско было столь многочисленным, что шансов на спасение у наших героев не оставалось ни одного. Никто не вышел живым, так что рассказывать о своих подвигах было некому. Зато родственники погибших рыцарей при всяком удобном и неудобном случае охотно распространялись о том, что новый король-де помрачился в уме, раз он заставил своих дворян, имеющих право распускать собственное знамя, дать такую дурацкую клятву; и если все рыцари сдержат ее, то вскорости придется ему пировать в Благородном Доме одному…

Ага, вот и носилки… может быть, вы пред-

почитаете сейчас продолжать путь в седле? Я собираюсь чуточку соснуть, чтобы к приезду на место у меня была свежая голова… Но надеюсь, вы поняли, Аршамбо, почему орден Звезды как-то сам собой зачах и из года в год о нем говорят теперь все реже и реже.

Глава VI
Первые шаги короля, которого прозвали злым

Вы заметили, дорогой племянник, что повсюду, где бы мы ни останавливались на привал, в Лиможе, равно как и в Нонтроне, да и во всех прочих местах, нас расспрашивают о короле Наваррском, так, словно бы судьбы нашего государства зависят от этого правителя! И впрямь в странное попали мы положение. Король Наваррский заключен как пленник в замке Артуа собственным кузеном, королем Франции. Король Франции сидит как пленник в Бордо и заключен собственным кузеном, наследным принцем Англии. Дофин, наследник французского престола, с трудом отбивается в своем парижском дворце от недовольных горожан и вышедших из повиновения Генеральных штатов. А только почему-то

всех волнует судьба короля Наваррского. Вы же слышали, что говорил нам даже епископ: «Мне передавали, будто дофин — ближайший друг его высочества Наваррского. Он, очевидно, вскоре его освободит, разве нет?» Господи боже ты мой! Хочу надеяться, что нет. Этот молодой человек, до сих пор еще ничего хорошего не сделавший, что называется, очень и очень себе на уме. И я со страхом думаю о том, что было бы, если бы клану наваррских рыцарей удалось освободить своего повелителя. К счастью, попытка их не увенчалась успехом, но по всему видно, что они на этом не успокоятся.

Да-да, когда мы останавливались в Лиможе, я много чего узнал. И намереваюсь нынче же вечером, когда мы прибудем в Ла Перюз, написать обо всем этом папе.

И ежели со стороны короля Иоанна заточить принца Наваррского было немалой глупостью, то не меньшей глупостью будет со стороны дофина выпустить его на свободу. В жизни не видывал такого смутьяна, как этот Карл, прозванный Злым. Они вместе с королем Иоанном, несмотря на все их распри, сумели-таки ввергнуть Францию в теперешние ее беды. А знаете, когда его прозвали Злым? В первые же недели его правления. Да-а,

времени он, как видите, даром не терял, сразу же получил такую кличку.

Матушка его, дочь Людовика Сварливого, как я вам уже говорил, скончалась осенью 1349 года. А летом 1350 года он решил короноваться в своей столице, в городе Пампелюне, куда, кстати сказать, ни разу не ступал ногой со дня своего рождения — другими словами, целых восемнадцать лет, — так как появился он на свет божий в Эврё. Коль скоро подданные должны знать своего государя, он решил объездить все свое государство, что, между нами будь сказано, заняло не так уж много времени. Потом нанес визиты своим соседям и родичам, своему зятю графу Фуа и Беарна, тому, что велел звать себя Фебом, и еще второму зятю, королю Арагонскому Педро Церемонному, а также королю Кастильскому.

А когда он в один прекрасный день возвращался в свой Пампелюн и проезжал верхом по мосту, его встретила делегация наваррской знати, вышедшая навстречу своему владыке, чтобы высказать ему свое недовольство, ибо он нарушил ее права и привилегии. Но так как он отказался их выслушать, жалобщики, понятно, погорячились. Тогда он приказал своей страже схватить стоявших в первых рядах крикунов и

повелел безотлагательно вздернуть их на первых попавшихся деревьях, да еще приговаривал при этом, что, ежели государь желает завоевать всеобщее уважение, он должен быть скор на расправу.

А знаете, что я заметил: правители, чересчур скорые на такую расправу, обычно движимы страхом. И этот Карл не исключение, мне почему-то сдается, что он храбрец только на словах, а не в ратном деле. И коль скоро он ни с того ни с сего велел повесить невиновных людей, казнь коих повергла в печаль всю Наварру, подданные и прозвали его el malo, что значит «злой». Впрочем, мешкать в Наварре он не собирался и уехал прочь, оставив вместо себя управлять страной своего младшего брата Людовика, которому всего-то было пятнадцать. Но и этот Людовик предпочел вернуться во Францию — повеселиться при тамошнем королевском дворе, прихватив с собой еще одного их брата, Филиппа.

Так как же, спросите вы меня, как же могло случиться, что наваррская партия сумела приобрести такое влияние и стать столь многочисленной, раз в самой Наварре большая часть знати настроена против своего короля? Ах, Аршамбо, вся разгадка в том, что наваррская партия состоит из нормандских рыцарей графства Эврё. Карл

Наваррский опасен для французского престола не только тем, что владеет югом страны, но и тем, что владеет или, вернее, владел земельными угодьями, лежащими в непосредственной близости к Парижу, как, скажем, сеньории Мант-Паси, Мелан или Нонанкур, а сеньории эти держат подступы доброй четверти страны, лежащей к западу от столицы.

Вот это-то король Иоанн понял прекрасно, или его заставили это понять. Случай редчайший, но он проявил достаточно благоразумия и постарался добиться соглашения и договориться со своим наваррским кузеном. А каким путем можно крепче всего привязать к себе человека? Через брачные узы. Но кого в качестве будущей супруги мог предложить он Карлу, дабы связать его с французской короной таким же прочным союзом, какой существовал, правда всего полгода, когда сестра Карла Наваррского Бланка была королевой Франции. Ясно — женить его на старшей дочке самого короля, на малютке Жанне Валуа. Правда, ей еще и восьми лет не исполнилось, но зато такая партия наилучшим образом все устраивала. Впрочем, Карл Наваррский не особенно скучал, ожидая совершеннолетия своей супруги в обществе милых дам. В числе их называли некую

девицу Грациозу… Да-да, таково было ее имя, или же она себя сама так прозвала… А малютка Жанна Валуа уже успела в свое время овдоветь, ибо ее в трехлетнем возрасте выдали по первому разу замуж за родича ее матери, которого вскорости призвал к себе Господь.

Мы, в Авиньоне, относились с полным сочувствием к этой помолвке, ибо благодаря брачному договору улаживались все спорные вопросы между двумя ветвями королевской фамилии Франции. Взять хотя бы графство Ангулемское, обещанное уже давным-давно матери Карла в обмен на ее отказ от Бри и Шампани; позже их обменяли на Понтуаз и Бомон, но только на бумаге. На сей раз пришли к первоначальному соглашению: Наварра получит Ангулем, а также крупные земельные угодья и кастелянства, которые назначили в приданое за Жанной. Осыпая будущего зятя благодеяниями, король Иоанн, приняв самый что ни на есть торжественный вид, твердил: «Вам отходит то-то и то-то. Такова моя воля. Даю вам это и это, слово мое верное…»

В кругу домашних Карл Наваррский любил пошутить над новыми узами, связавшими его с королем Иоанном: «Мы и так с ним кузены; чуть-чуть я не стал его шурином. Но раз его батюшка

женился на моей сестре, значит я довожусь ему дядей, а сейчас стану его зятем». Но пока шли переговоры о брачном контракте, Карл сумел значительно округлить свою долю. От него лично не попросили ничего, только внести вперед деньги: сто тысяч экю, которые король Иоанн задолжал парижским торговцам и которые Карл великодушно обещал за него заплатить. Конечно, этой суммы у него в наличии не имелось, просто отыскали во Фландрии банкиров, которым он заложил часть своих драгоценностей. Согласитесь, что такую операцию куда легче проделать королевскому зятю, чем самому королю…

Вот поэтому-то мне и пришла мысль, что Наваррский снюхался с прево Парижа Этьеном Марселем… Следует незамедлительно написать об этом папе, ибо наш молодец непременно что-нибудь затеял, и это меня сильно тревожит. Но это уж другое дело…

Те сто тысяч экю были вписаны в брачный контракт Карла Наваррского и должны были выплачиваться ему частями, но в короткий срок. Сверх того, его посвятили в рыцари ордена Звезды и намекнули под рукой, что он может рассчитывать на пост коннетабля, хотя ему еще и двадцати не исполнилось. Свадьбу сыграли

весьма пышно и весело.

Но вскоре пришел конец нежной дружбе тестя с зятем. Кто же постарался внести раздор в их добрые отношения? Не кто иной, как другой Карл, Испанский, красавец Ла Серда, не только злобно завидовавший Карлу Наваррскому, попавшему в фавор к королю, но не без страха наблюдавший, как на небесах французского двора восходит новое светило. У Карла Наваррского был один недостаток, от которого, впрочем, не свободны многие молодые люди… и чего, я вас прошу, Аршамбо, всячески остерегаться — давать волю языку, когда судьба к вам благосклонна, и даже время от времени, не подумав, бросить злое словечко. Ла Серда, конечно, не упускал случая передать королю все остроты его зятя, да еще подавал их под собственным соусом: «Он вас высмеивает, дражайший сир, воображает, что ему дозволено говорить все. Неужели вы стерпите такое посягательство на ваше королевское величество, и, ежели вы стерпите, не стерплю я из любви к вам». И так он капля за каплей и день за днем вливал яд в королевские уши. Наваррский сказал, мол, то, Наваррский, мол, сделал это; Наваррского водой не разольешь с дофином; Наваррский затеял интригу и втянул

в свои козни такого-то члена Большого совета… А на всем божьем свете не сыщешь человека, который, подобно Иоанну II, с такой охотой слушал бы наветы о ближнем своем и, раз уже поверив в оговоры, ни за что в жизни не отказался бы от своего мнения. В нем странным образом сочеталось легковерие и упрямство. Нет ничего проще, как убедить его в существовании несуществующих врагов.

В скором времени Карла Наваррского отстранили от пожалованной ему должности наместника Лангедока. И в чью пользу? В пользу Карла Испанского. А затем коннетаблем, коль скоро после казни Рауля де Бриенна должность эта пустовала, назначили — кого бы вы думали? — вовсе не Карла Наваррского, а Карла Испанского. Из ста тысяч экю, которые полагалось выплатить Наваррскому, тот не увидел ни гроша. А тем временем друга короля осыпали благодеяниями и золотом. И наконец, наконец в обход всех договоров и соглашений графство Ангулемское было пожаловано Карлу Испанскому, а Карлу Наваррскому пришлось вновь довольствоваться весьма туманными посулами.

Вот тогда-то в отношениях между Карлом Злым и Карлом Испанским пробежала черная

кошка: сначала они стали относиться друг к другу с холодком, потом со злобой, а вскоре и с неприкрытой ненавистью. Карл Испанский вел игру наверняка и твердил королю: «Вот видите, дражайший сир, я оказался совершенно прав! Я давно понял, что ваш зять плетет интриги, восстает против вашей воли. А теперь он обозлился на меня за то, что я вам беззаветно служу».

А порой он делал вид, будто вообще собирается покинуть французский двор — он, бывший в такой великой милости, — если только братья Наваррские не прекратят на него клеветать. И тогда он говорил совсем так, как говорят любовницы: «Уеду, непременно уеду в глушь, за рубежи вашего государства, и буду жить там памятью о любви, что вы мне дарили столь щедро. Или умру там! Ибо вдали от вас душа моя отлетит от бренного моего тела!» И этот удивительный коннетабль при посторонних заливался слезами.

А так как король Иоанн был без ума от своего испанца и на все смотрел его глазами, он с упорством, достойным лучшего применения, старался превратить в заклятого врага своего кузена, которого сам же выбрал себе в зятья, рассчитывая приобрести надежного союзника.

Я вам уже говорил: на всем божьем свете нельзя

найти второго такого дурачка на престоле, так много напортившего самому себе… Впрочем, это было бы еще полбеды, если бы он одновременно не напортил своей державе.

При дворе только и разговоров было что об этой ссоре. Уже давно покинутая супругом королева шушукалась по уголкам с супругой Карла Испанского… ибо он, коннетабль, был женат, только для вида конечно, на кузине короля мадам де Блуа.

Королевские советники, хотя все они в равной мере раболепствовали перед своим государем, разбились на две партии, в зависимости от того, считали ли они для себя выгоднее связать судьбу свою с судьбой коннетабля или с судьбой королевского зятя. И эти тлевшие под спудом раздоры были особенно ожесточенными еще и потому, что наш король, который любил показать, что все, мол, решает самолично, вечно взваливал на плечи своих приближенных наиважнейшие государственные дела.

Видите ли, дорогой мой племянник, вокруг любого короля всегда плетутся интриги. Но устраивают комплоты и заговоры только при слабом правителе или при том, кто отмечен каким-либо пороком или ослаблен недугом. Хотел бы я посмотреть, кто посмел бы даже помышлять о

заговоре при Филиппе Красивом! Да никто бы об этом и думать не решился, никто бы на такое дело не осмелился. Я вовсе не хочу сказать, что сильные правители полностью защищены от различных комплотов; но тут уж требуются настоящие предатели. А вокруг слабых монархов даже самые честные люди совершенно естественно становятся заговорщиками.

Как-то незадолго до Рождества Христова 1354 года в одном из парижских отелей между Карлом Испанским и Филиппом Наваррским вспыхнула ссора, и дело дошло до таких оскорблений, что Филипп обнажил кинжал и чуть было не заколол коннетабля, если бы его вовремя не оттащили! А коннетабль, делано расхохотавшись, крикнул юному Филиппу Наваррскому, что, не будь вокруг столько людей, готовых удержать его руку, он вел бы себя не столь отважно. Филипп не блистал особой тонкостью ума, но был горячее старшего брата и легко ввязывался в стычки. Его выдворили из зала, когда он крикнул, что не преминет, и в самое ближайшее время, отомстить врагу их семьи и заставит его проглотить оскорбительные слова. Что он и исполнил две недели спустя в ночь на сочельник.

Карл Испанский отправился навестить свою

кузину графиню Алансонскую. На ночлег он остановился в Лэгле, в харчевне, название которой надолго осталось в памяти людской — «Свинья Тонкопряха». Будучи твердо уверен, что дружба с королем и его высокий сан внушают повсюду уважение, он решил, что на дорогах Франции ему опасаться нечего, и взял поэтому с собой лишь малочисленную свиту. Но городок Лэгль находится в графстве Эврё, и неподалеку от этого городка в своих великолепных замках обитают братья Эврё-Наваррские. Предупрежденные о приезде коннетабля, они устроили ему хорошенькую засаду.

Около полуночи двадцать нормандских рыцарей, все дюжие, как на подбор, сеньоры: мессир де Гравиль, мессир де Клер, мессир де Мэнмар, мессир Морбек, рыцарь д'Онэ… да-да, потомок одного из двух любезников Нельской башни… Нет ничего удивительного, что он примкнул к партии Наваррского… короче, повторяю, добрых два десятка молодцов, чьи имена стали известны, коль скоро король вынужден был против воли выдать им грамоты о помиловании… появляются в городке под водительством Филиппа Наваррского, приказывают запереть все двери в «Свинье Тонкопряхе» и вламываются в апартаменты

коннетабля.

Короля Наваррского с ними не было. На тот случай, если затеянное предприятие кончится неудачей, он предпочел ждать своих сообщников у городских ворот возле какого-то амбара, где компанию ему составляли конюхи. Ох, так и вижу моего Карла Злого, низенького живчика, кутающегося в плащ, похожего на язычок адского пламени, скачущего с ноги на ногу по обледенелой дороге, ну чистый дьявол, не касающийся земли. Он ждет. Вглядывается в зимнее хмурое небо. От холода закоченели пальцы. А сердце его сжимают страх и ненависть. Он вслушивается. И снова начинается оголтелое скакание.

Тут появляется Жан де Фрикан, по прозвищу Фрике, губернатор Кана, советник Карла и душа заговора. Еле переводя дух, он сообщает: «Готово, ваше высочество!»

За ним спешат Гравиль, Мэнмар, Морбек, сам Филипп Наваррский и прочие заговорщики. А там, в харчевне, красавец Карл Испанский, которого убийцы вытащили из-под кровати, где он надеялся от них укрыться, уже отдал Богу душу. Все тело его было истыкано через ночную сорочку. На трупе насчитали восемьдесят ран, восемьдесят кинжальных ударов… Каждый убий-

ца пожелал четырежды погрузить в него свой кинжал… Так вот, мессир мой племянник, каким образом король Иоанн потерял своего любимого дружка и вот каким образом его высочество Карл Наваррский открыто начал смуту…

А теперь, я попрошу вас, уступите-ка ваше место дону Франческо Кальво, папскому аудитору, я хочу побеседовать с ним, прежде чем мы остановимся на ночлег.

Глава VII
Вести из Парижа

Коль скоро, дон Кальво, по прибытии в Ла-Перюз у меня свободной минутки не будет, придется осмотреть аббатство и выяснить, так ли сильно разорили его англичане, что по просьбе монахов пришлось на целый год освободить их от уплаты мне бенефиций как приору. Так вот я и хочу как раз сейчас сообщить все то, что должно войти в мое послание святому отцу. Буду вам весьма признателен, ежели вы подготовите это послание, чтобы я мог прочесть его еще в Ла-Перюзе, и надеюсь обнаружить там все те прелестные обороты, которыми вы обычно украшаете ваши письма.

Святой отец должен узнать обо всем, что делает-

ся в Париже и о чем я сам узнал только в Лиможе и совсем с тех пор потерял душевный покой.

Первым долгом о неблаговидных действиях купеческого старшины, прево Парижа мэтра Этьена Марселя. Мне стало известно, что этот самый прево уже целый месяц возводит укрепления и роет рвы вокруг столицы, хотя там существует прежний пояс укреплений, словно готовится выдержать осаду. А ведь на нынешнем этапе мирных переговоров англичане отнюдь не собираются угрожать Парижу, и поэтому непонятно, к чему этот прево так торопится укрепить нашу столицу. Но помимо этого, прево свел своих горожан в отряды по охране города, вооружает их, обучает военному искусству; поставил во главе десятских, квартальных и пятидесятских для вящего удобства командования. Словом, все по примеру фландрского ополчения, которое само хозяйничает в тамошних городах… Затем прево принудил дофина, наместника короля, согласиться на создание этого ополчения; и, сверх того, в то время как именно королевские подати и налоги являлись главной причиной недовольства, этот самый прево установил пошлину на все напитки, чтобы экипировать своих людей, и неукоснительно ее взимает.

Похоже, что этот мэтр Марсель, в свое время изрядно разбогатевший на поставках королю, но уже в течение четырех лет в силу сложившихся обстоятельств ничего французскому двору не поставлявший и до крайности тем раздосадованный, — похоже, что он после поражения при Пуатье возжелал вмешиваться во все государственные дела. Его намерения пока еще не совсем ясны, ясно лишь одно — его желание показать себя лицом значительным. Но путем умиротворения, столь желаемого святым отцом, он, безусловно, не идет. Итак, мой священный долг присоветовать папе, ежели к нему будут обращаться оттуда с какими-либо просьбами, отвечать посуровее и не оказывать никакой поддержки, даже видимости поддержки не оказывать парижскому прево и всем его предприятиям.

Надеюсь, вы меня поняли, дон Кальво? Сейчас в Париже находится кардинал Капоччи. И он вполне может, при обычном своем легкомыслии, совершить немалую оплошность — излишне веря в свои силы, связаться с этим прево… Нет-нет, ничего определенного мне об этом не доносили, но я нюхом чую, что мой собрат, как и всегда, не упустит удобного случая вступить на неверный

путь…

Второе, я хочу напомнить Святому отцу, чтобы он осведомился в мельчайших подробностях о Генеральных штатах северных областей, которые с начала нынешнего месяца засели в Париже, а также пролил священный свет своего внимания на те странности, что, как мы видели, там происходят.

Король Иоанн обещал созвать эти Штаты в декабре месяце, но среди великой сумятицы, разрухи и упадка, постигших наше королевство после поражения при Пуатье, дофин Карл решил, что благоразумнее всего опередить события и собрать Генеральные штаты в октябре. И впрямь, ничего другого ему делать не оставалось, дабы укрепить свой авторитет, значительно пострадавший после всех его злоключений, — не забывайте, что он еще очень юн, что войско после поражения совсем распалось, а казна совсем оскудела.

Но восемьсот депутатов севера, из коих четыреста горожан, вовсе не помышляют обсуждать важнейшие вопросы, хотя их именно для этого и созвали.

Святая церковь накопила огромный опыт вселенских соборов и знает, что иные прямо рас-

ползаются под руками тех, кто их созвал. Вот и я хочу сказать папе, что эти Штаты как две капли воды похожи именно на такой собор, который впал в заблуждение и стремится всем руководить сам и, пользуясь слабостью верховной власти, безудержно рвется к реформам, пусть даже и пагубным.

Вместо того чтобы хлопотать об освобождении короля Франции, эти люди в Париже в первую очередь озабочены тем, как бы добиться освобождения короля Наваррского, что достаточно красноречиво свидетельствует о том, какой стороны держатся их главари.

Сверх того, эти восемьсот человек создали комиссию восьмидесяти, которая занята тем, что тайком составляет длиннейший перечень требований, где слишком мало справедливых и слишком много дурных. Первым делом они требуют сместить всех главнейших королевских советников и предать их суду, ибо обвиняют их в растрате денег, полученных в качестве налога на соль, и считают виновными в поражении…

Тут я должен сказать, Кальво… Нет-нет, это не для письма, просто я делюсь с вами своими мыслями… претензии их в известной мере справедливы. Среди людей, которым король Иоанн

доверял государственные дела, я знаю многих, кто ничего не стоит, и знаю даже отъявленных мошенников. Раз никто отнюдь не желает брать на себя труд и никто не желает рисковать, вполне естественно, что люди, занимающие высокие должности, обогащаются. Но следует поостеречься и не переходить границы в бесчестии, не устраивать свои личные дела в ущерб государственным интересам. Главное же, необходимы способности. А коль скоро король Иоанн сам способностей почти лишен, он охотнее всего подбирает себе людей, у которых их вообще нет.

Но дальше депутаты начинают требовать уж вовсе незаконных вещей. Требуют, чтобы король или наместник его дофин управлял бы страной через советников, которых выберут три сословия, — четверых прелатов, дюжину рыцарей, дюжину горожан. Этот Совет будет наделен всей полнотой власти и будет выносить приказы, как раньше выносил их король; назначать должностных лиц; он имеет право преобразовать Фискальную палату и все торговые компании; решать вопрос о выкупе пленных и еще целую кучу вещей. А на деле речь идет не о чем ином, как о том, чтобы лишить короля атрибутов его власти.

Таким образом, управлять страной будет не

тот, кто был коронован и помазан на царство, согласно нашей святой религии; управление будет поручено так называемому Совету, который получит свои права от праздноязычного сборища и будет находиться в полной от него зависимости. Какая слабость и какая путаница! Эти так называемые реформы — вы слушаете меня, дон Кальво? — я подчеркиваю это, ибо негоже будет, если папа сможет сказать, что он об этом и не слыхивал…

Итак, эти так называемые реформы — оскорбление здравому смыслу, и в то же самое время они попахивают ересью.

А ведь есть священнослужители — даже говорить об этом огорчительно, — которые принимают их сторону. Таков, скажем, епископ Ланский, Робер Ле Кок; он тоже в немилости у короля и поэтому снюхался с прево. Это один из самых горячих его приверженцев.

Святой отец должен знать, что за всей этой смутой стоит король Наваррский, который, похоже, направляет ход событий из своего узилища и который окончательно приберет все и вся к рукам, когда очутится на свободе. Святой отец в превеликой мудрости своей сам рассудит, что надо ему воздержаться от всякого вмешательства

и не способствовать тому, чтобы Карла Злого, то есть, я хочу сказать, его высочество Карла Наваррского, выпустили на свободу, сколько бы слезных молений о том ни поступало к нему со всех сторон.

Лично я, пользуясь своими прерогативами легата и папского нунция — вы слушаете меня, Кальво? — так вот, я прикажу епископу Лиможскому присоединиться к моей свите и отправиться вместе с нами в Мец. Он догонит меня в Бурже. И я решил действовать точно так же в отношении всех других епископов, аббатства коих попадутся мне на пути, чьи епархии разграблены и опустошены набегами принца Уэльского, дабы засвидетельствовали они о том перед императором. И мне, таким образом, будет легче растолковать, сколь гибелен этот союз между королем Наварры и королем Англии…

Но почему это вы, дон Кальво, то и дело высовываетесь наружу?.. Ах, понимаю, это вас укачало в носилках!.. Я-то уже давно к ним привык, скажу больше, как-то даже голова от этой тряски лучше работает… Я вижу, что мой племянник, мессир Перигорский, который время от времени подсаживается ко мне, тоже недолюбливает езду в носилках… И впрямь вид у вас неважный. Ладно,

ладно, сходите поскорее. Только не забудьте, когда возьметесь за перо, ничего из того, что я вам сейчас наговорил.

Глава VIII
Мантское соглашение

А где мы теперь? Проехали уже Мортмар или нет?.. Ах, нет еще. Очевидно, я чуточку вздремнул… Как хмурится небо, да и дни заметно стали короче… Представьте, Аршамбо, что я успел даже увидеть сон, видел сливовое дерево все в цвету, огромное дерево, все снежно-белое, с округлой кроной, и на каждой ветке щебетали птицы, так что казалось, поют сами цветы. И небо было голубое, похожее на покров Девы Марии. Ангельское видение, подлинный райский уголок! Странная все-таки штука эти сны! Заметили ли вы, что в Евангелии никогда не упоминается о снах, кроме сновидений Иосифа в начале Евангелия от Матфея? И это все. Зато в Ветхом Завете патриархи без конца видят сны, а вот в Новом Завете снов никто не видит. Я часто думал, почему это так, и до сих пор не нашел ответа… А вас это не удивляло? Значит, вы, Аршамбо, не слишком усердный чтец Священного Писания… По-мое-

му, это великолепная тема для наших ученых теологов в Париже или Оксфорде: пусть заведут высокомудрые споры и снабдят нас толстенными трактатами и трудами, написанными на такой вычурной латыни, что никто там ни строчки не поймет.

Так или иначе, но сам Святой Дух внушил мне заглянуть в Ла-Перюз. Вы сами видели этих славных монахов-бенедиктинцев, что хотели воспользоваться набегом англичан, чтобы не платить то, что причитается приору. Я велю дать им взамен прежнего новый эмалевый крест и три позолоченные чаши, они все это сами отдали англичанам, чтобы те их не разграбили вконец, и они смогут выплатить свой аннуитет.

В простоте душевной они надеялись смешаться с толпой жителей противоположного берега Вьенны, где наемники принца Уэльского и впрямь все разграбили, уничтожили, спалили, как мы сами видели нынче утром в Шираке или в Сен-Морис-де-Лионе. И особенно в аббатстве Лестерп, где монахи оказались доблестными воинами. «Наше аббатство хорошо укреплено, вот мы и будем его защищать». И они завязали битву, эти монахи, показав себя настоящими отважными людьми, тем паче что их никто в бой

не посылал. Много их полегло на поле брани, вели они себя куда более благородно, чем немалое число рыцарей, коих я знавал лично.

Если бы все французы были столь же безудержно смелыми… И в своем сожженном чуть ли не дотла аббатстве эти славные люди нашли еще возможность накормить нас вволю, да так вкусно все приготовили, что меня сон сморил. А вы заметили, каким святым весельем сияли их лица?.. «Наши братья полегли в бою! Мир праху их; Господь Бог по великой милости своей упокоил их души… А нас Он оставил на сей земле. Чтобы мы могли творить добрые дела… Наш монастырь наполовину разрушен? Вот и представился нам случай сделать его еще прекраснее!..»

Знайте же, племянник, хороший монах всегда весел. Я не слишком-то доверяю чересчур суровым постникам с вытянутой физиономией, с горящими близкопосаженными глазками: так и кажется, будто они все время косятся в сторону ада. А те, кому Бог оказал наивысшую честь, призвав их себе на служение, просто обязаны быть на людях жизнерадостными; их долг — быть всем другим смертным примером, и таков же их долг вежливости.

Равно как и владыки земные, коли Всевышний

вознес их над всеми людьми, обязаны всегда и во всем уметь властвовать над собой. Мессир Филипп Красивый был образцом подлинного величия, и величие это предписывало ему, чтобы никто и никогда не видел его во гневе и в печали он не лил слез.

После убийства Карла Испанского, о чем я вам вчера рассказывал, король Иоанн доказал, и притом самым жалким манером, что он не способен обуздывать свои страсти. Жалость не то чувство, какое должен внушать окружающим король; пусть лучше считается, что сердце его наглухо закрыто для печали. А наш король целых четыре дня не мог без запинки выговорить слово, не мог даже сказать, что, мол, хочет есть или пить. Он бродил по своим покоям с заплаканными, красными глазами, никого не узнавал, потом вдруг прекращал свое хождение, чтобы вволю нарыдаться. Бесполезно было обращаться к нему с каким-нибудь делом. Если бы неприятель вздумал ворваться во дворец, короля можно было бы взять голыми руками. Когда скончалась его супруга, мать его детей, Бонна Люксембургская, он и вполовину так не убивался, что дофин Карл не преминул ему заметить. Вот тут-то впервые увидели при дворе, как сын презирает отца, раз он

позволил себе сказать ему, что просто непристойно так распускаться. Но король и ухом не повел.

А когда он выходил из оцепенения, он начинал вопить. Вопил, чтобы ему немедленно подали боевого коня; вопил, что немедленно созовет войско; вопил, что помчится в Эврё и устроит там судилище и все тогда содрогнутся… Приближенные короля с превеликим трудом образумили его и доказали, что для того, чтобы собрать под свои знамена войско, даже без дворянства, требуется никак не меньше месяца; что ежели он пожелает идти на Эврё, то в Нормандии начнется междоусобица; что, с другой стороны, срок перемирия с королем Англии истекает и, ежели последний пожелает воспользоваться всеобщей сумятицей, королевство, того гляди, окажется в большой опасности.

Ему внушали также, что, соблюдай он брачный контракт своей дочери и отдай Ангулем Карлу Наваррскому, вместо того чтобы дарить его своему обожаемому коннетаблю…

Тут Иоанн II воздел к небесам руки и возопил: «Тогда кто же я такой, если я ничего не могу? Я отлично вижу, что никто из вас меня не любит, и я лишился единственной своей опоры!» Но в конце концов он остался во дворце, поклявшись перед

Господом, что, пока не свершится отмщение, не знать ему радости.

Тем временем Карл Наваррский не сидел сложа руки. Он писал папе, писал императору, писал всем христианским государям: он объяснял им, что отнюдь не желал смерти Карла Испанского, а только намеревался проучить его за весь тот вред и оскорбления, причиненные ему покойным; что люди его переусердствовали, но он тем не менее все берет на себя и готов защищать своих родичей, друзей и слуг, которые во время этой лэгльской суматохи проявили излишний пыл лишь ради его, Карла, блага.

Словом, действуя как разбойник с большой дороги, заманивший свою жертву в ловушку, он пожелал сделать вид, будто действовал как рыцарь.

И сверх того, он написал герцогу Ланкастеру, находившемуся в Малине, и даже самому королю английскому. Когда началась заваруха, нам удалось ознакомиться с содержанием этих писем. Карл Злой шел прямо напролом: «Ежели соизволите вы приказать бретонским вашим военачальникам в полной боевой готовности быть, как только я обращусь к ним, дабы они в Нормандию вошли, и встречу я их там со всем

радушием, и порука моя в том, что обойдется все мирно. Да будет вам ведомо, что вся нормандская знать предана мне не на живот, а на смерть». Убив Карла Испанского, Карл стал мятежником, а теперь пошел еще дальше — стал изменником. И в то же время он напустил на короля Иоанна своих меленских дам.

Как, вы не знаете, кого величают меленскими дамами? Смотрите-ка, пошел дождь! Впрочем, этого и следовало ожидать: с самого утра небо угрожающе хмурилось. Вот теперь вы, Аршамбо, надеюсь, благословляете мои носилки: лучше сидеть под навесом, чем мокнуть под дождем, чтобы по спине у вас стекали струйки воды и чтобы насквозь пробило ваш плащ несколько, я бы сказал, нескромного покроя и забрызгало вас грязью до пояса.

Кто такие меленские дамы? Две вдовствующие королевы и Жанна Валуа, малолетняя супруга Карла Наваррского, которую держат там, пока она не достигнет брачного возраста. Все три живут в Мелене, в замке, который прозвали замком Трех Королев или Вдовьим Двором.

Начнем с Жанны д'Эврё, вдовы короля Карла IV и тетки Карла Злого. Да-да, она до сих пор еще жива и вовсе не такая уж дряхлая старуха,

как почему-то считается. Ей, очевидно, всего пятьдесят… на четыре-пять лет моложе меня. Вдовеет она вот уже двадцать восемь лет и двадцать восемь лет не снимает белого одеяния. Французский престол она делила с покойным супругом всего три года. Но до сих пор сохранила влияние при дворе. Дело в том, что она старшая в роду, последняя королева из ветви Капетингов. Рожала она трижды… родила трех дочек, из них выжила лишь только последняя, родившаяся уже после смерти отца… Роди она сына, была бы она сейчас королева-мать и регентша. Династия Капетингов угасла в ее лоне. Когда она говорит: «Мой батюшка, его светлость д'Эврё… мой дядя Филипп Красивый… мой деверь Филипп Длинный…» — все замолкают. Она уцелевший обломок монархии, права коей на французский престол никто никогда и не подумал бы оспаривать, и свидетельница той годины, когда Франция была куда могущественнее и славнее, чем ныне. Она как бы порука тому для нового поколения. Поэтому-то многое из того, что могло бы быть сделано, не делается, ибо мадам д'Эврё этого не одобряет.

И, кроме того, кругом все твердят: «Она святая, святая!» Но, честно говоря, так ли уж трудно прослыть святой, когда ты королева и живешь

в окружении своего маленького двора, которому нет иного занятия, как слагать тебе хвалу. Мадам Жанна д'Эврё подымается на рассвете, сама зажигает свечу, чтобы не обеспокоить своих служанок. И тут же берется за свой часослов — по словам видевших, самый крохотный на всем свете, — подарок ее покойного супруга, который заказал книгу некоему художнику Жану Пюселю. Молится она долго и много и творит щедрой рукой милостыню. Двадцать восемь лет она изо дня в день твердит, что будущего у нее нет лишь потому, что не смогла она родить сына. У каждой из вдов есть своя навязчивая идея. Будь она столь же умна, сколь и добродетельна, она, конечно, могла бы сыграть куда более значительную роль в делах государственных.

Затем мадам Бланка, сестра Карла Наваррского, вторая супруга Филиппа VI Валуа. Процарствовала она всего полгода и еще не сумела привыкнуть к королевской короне. Она слывет первой красавицей Франции. Я сам ее в свое время видел и полностью разделяю это мнение. Сейчас ей всего двадцать четыре года, и вот уже почти шесть лет она с горечью вопрошает себя, на что ей эта белоснежная кожа, синие, словно эмалевые, глаза, это совершенное тело? Не одари ее природа столь

щедро, она все равно стала бы нашей королевой, коль скоро ее прочили в жены Иоанну II! Отец Иоанна отнял ее у сына лишь потому, что был смертельно уязвлен ее красой.

Через полгода после того, как она проводила своего мужа с супружеского ложа в могилу, руки ее стал домогаться король Кастильский, дон Педро, прозванный подданными Жестоким. Возможно, сгоряча она велела передать ему, что «королевы Франции не выходят замуж вторично». Все дружно славословили величие ее души. Но теперь она вновь вопрошает себя: уж не слишком ли тяжелую жертву принесла она своему блистательному прошлому? Кастелянство Мелен оставлено ей в наследство покойным супругом. По ее приказанию Мелен перестроили, украсили. Но она может сколько угодно и к Пасхе, и к Рождеству менять ковры и шпалеры у себя в опочивальне — спит-то она там по-прежнему одна.

И наконец, дочь короля Иоанна, еще одна Жанна, чей брак с королем Наваррским только подлил масла в огонь. Карл Наваррский поручил девочку-супругу своей тетке и сестре в ожидании ее совершеннолетия. А сама она — чистое бедствие в семье, каким может только быть двенадцатилетняя девочка, которая отлично

помнит, что овдовела в шесть лет, и уже ведет себя как королева, хотя королевой еще не стала. Только одного она ждет — поскорее стать взрослой, но ждет злобно, ворчит по любому поводу, требует себе именно того, в чем ей отказывают, выводит из себя придворных дам и сулит им самые страшные пытки — дайте ей только вырасти. Приходилось мадам д'Эврё, которая не любила шутить с такими вещами, как пристойное поведение, закатывать будущей королеве пощечины.

Наши три дамы поддерживали и в Мелене, и в Мо — а Мо досталось мадам д'Эврё после смерти супруга по наследству — иллюзию двора. Есть у них свой канцлер, казначей, мажордом. Слишком громкие титулы для столь незначительных обязанностей. Здесь вы могли не без удивления обнаружить с десяток людей, которые считались уже давно отошедшими в лучший мир, до того прочно их все забыли, кроме, конечно, их самих. Прежние служители, уцелевшие от предыдущих царствований, дряхлые духовные наставники покойных королей, секретари, хранители уже всем известных секретов, люди, которые на короткий миг становились могущественными, ибо стояли близко к власти. И все они барахтаются в гуще воспоминаний, с важным видом намекая,

что они, мол, были главными участниками давно минувших событий. Когда один из них заводил: «В тот день, когда король обратился ко мне…», то слушатель гадал, о каком, в сущности, из шести королей, восседавших на троне с начала века, идет в данном случае речь? А то, что сказал король, для рассказчика было весьма важным и незабываемым откровением вроде: «А нынче хорошая погода, Гро-Пьер…»

Поэтому, когда возникал какой-нибудь казус, как в случае с королем Наваррским, для Вдовьего Двора это было неожиданной удачей, и все его обитатели пробуждались от спячки. Каждый суетился, шумел, волновался… Добавим еще, что Карл Наваррский больше, чем кто бы то ни было из живущих на свете, занимал все помыслы этих трех королев. Он был возлюбленным племянником, дорогим братом, обожаемым супругом. Если бы им сказали, что в Наварре его прозвали Злым, они и слушать бы не стали! Карл и впрямь из кожи лез, лишь бы им угодить, осыпал их подарками, частенько навещал… пока, конечно, был еще на свободе… веселил их забавными историями, занимал их своими распрями, увлекал их рассказами о своих деяниях, ибо, когда хотел, мог очаровать любого: с теткой играл в почтительно-

го племянника, с сестрой — в преданного брата, а со своей девочкой-супругой — во влюбленного, и все — по холодному расчету шахматиста, готовящегося бросить в атаку свои пешки.

После убийства коннетабля, когда король Иоанн чуточку успокоился, все три меленские дамы двинулись в Париж предстательствовать за Карла Наваррского по его просьбе.

Малолетняя Жанна Валуа бросилась к ногам короля и одним духом выпалила как наизусть заученный урок: «Сир, отец мой, не может того быть, чтобы мой супруг вел себя как изменник в отношении вас. И если он поступил плохо, то лишь потому, что предатели злоупотребили его доверием. Заклинаю вас, ради вашей любви ко мне, простите его!»

Мадам д'Эврё, сама печаль и само величие, на что, впрочем, давали ей право годы, сказала: «Сир, кузен мой, как самая старшая в роде из всех, кто был коронован в Реймсе, осмелюсь дать вам совет и молить вас примириться с моим племянником. Ежели он причинил вам зло, то лишь потому, что те, кто служит вам, наговаривали вам на него, и он вполне мог прийти к мысли, что вы оставили его на милость заклятых его врагов. Но он лично, в чем я уверяю вас, питает к вам лишь самые

добрые и почтительные чувства. Продолжать эти раздоры — значит чинить вред вам обоим».

Мадам Бланка не промолвила ни слова. Она просто глядела на Иоанна. И знала, что он не может забыть, что именно ее прочили ему в супруги. В ее присутствии этот долговязый и тяжеловесный человек, обычно столь резкий в обращении со всеми, терялся. Косил глазом в сторону, лишь бы не смотреть на нее, что-то мямлил. И всякий раз, когда она бывала при дворе, он выносил решение, противоположное тому, которое собирался вынести.

Сразу же после этого визита король решил начать переговоры со своим зятем, заключить с ним добрый мир, с каковой целью отрядил в Наварру кардинала Булонского, епископа Ланского, Робера Ле Кока и Робера де Лорриса, своего камергера. И наказал им закончить это дело побыстрее. Дело и впрямь закончили быстро; и в последнюю неделю месяца января обе договаривавшиеся стороны подписали соглашение в городе Манте. Пожалуй, впервые на моей памяти согласия достигали столь легко и в такой спешке составляли трактат.

Король Иоанн и в этом случае блестяще доказал, сколь неровен его нрав и сколь нелогичны

его поступки. Еще месяц назад он только и мечтал о том, как бы схватить и убить его высочество Карла Наваррского, а теперь соглашался на все его требования. Докладывали ли ему, что его зять требует полуостров Котантен вместе с Валонью, Кутансом и Карантаном, — он на все отвечал: «Отдайте ему, отдайте!» Желает получить виконтство Понт-Одемер и Орбек? «Отдайте, раз все хотят, чтобы я с ним помирился!» Таким путем Карл Злой получил также огромное графство Бомон с кастелянствами Бретей и Конш, входившими ранее в пэрские владения Робера Артуа. Что и говорить, великолепное отмщение, правда посмертное, post mortem, за Маргариту Наваррскую: внуку ее достались земли того самого человека, что загубил его бабку. Графство Бомон! Ну как было не ликовать юному отпрыску Наваррского дома! Сам-то он по этому соглашению почти ничего не уступил: отдал Понтуаз, а потом торжественно подтвердил, что отказывается от Шампани, что, впрочем, решено было четверть века назад.

Теперь уже и разговоров не было об убийстве Карла Испанского. Ни кары, даже в отношении подручных, ни возмещения убытков. Все участники убийства в «Свинье Тонкопряхе», которые

теперь открыто хвастались своим деянием, получили грамоты о помиловании и прощении грехов.

Ох, боюсь, что это Мантское соглашение не слишком возвеличило образ короля Иоанна. «Убили его коннетабля, а он отдал за это половину Нормандии. А ежели укокошат его брата или сына, так он тогда всю Францию отдаст» — вот как говорили люди.

А юркий король Наваррский, тот, напротив, показал всю свою оборотистость. Присоединив Бомон к своим владениям Манту и Эврё, он мог легко отрезать Бретань от Парижа, а через Котантен лежал прямой путь в Англию.

Поэтому-то, когда он явился в Париж получить прощение короля, со стороны могло показаться, что прощать короля будет он.

Да-да, что ты говоришь, Брюне? Ох, этот дождь! Занавески совсем промокли… Подъезжаем к Беллаку? Чудесно, чудесно. В Беллаке, по крайней мере, нас ждет уютный кров, и будет в высшей степени непростительно, если нам не устроят пышного приема. Английские рыцари пощадили Беллак по приказу принца Уэльского, потому что это наследное имущество графини Пемброк, из рода Шатийон-Лузиньян. Иной раз самые

отъявленные вояки умеют быть любезными в отношении дам…

Заканчиваю, дорогой племянник, рассказ о Мантском соглашении. Итак, король Наваррский прискакал в Париж с таким видом, будто выиграл баталию, а король Иоанн и впрямь принял его, как победителя, в парламенте, где по обе его стороны восседали две вдовствующие королевы. Королевский нотариус опустился на колени перед троном… О, не беспокойтесь, все проходило весьма и весьма торжественно…

— Мой могущественный государь, королевы Жанна и Бланка прослышали, что король Наваррский попал к вам в немилость, и молят вас его простить…

При этих словах вновь назначенный коннетабль Готье де Бриенн, герцог Афинский… да-да, кузен Рауля, только из другой ветви Бриеннов, — на сей раз юнца на эту должность уже не назначили — приблизился к Карлу Наваррскому и взял его за руку.

— Государь милует вас по просьбе королев, милует от всего сердца и с радостью душевной.

На что кардинал Булонский должен был ответствовать громовым голосом: «Пусть все родичи и близкие короля запомнят, что, ежели кто от-

ныне совершит против него преступление, будь даже родной сын государев, ответит за то пред правосудием».

Нечего сказать, хорошо королевское правосудие, над которым каждый посмеивался втихомолку. И перед всем двором тесть и зять упали друг другу в объятия.

А что было дальше, я доскажу вам завтра.

Глава IX
Карл Злой в Авиньоне

Коли уж говорить начистоту, Аршамбо, я лично куда больше люблю древние храмы, такие, скажем, как в Дора, мимо которого мы только что проехали, чем церкви, что возводили полтораста-двести лет назад. Не спорю, они чудо каменной кладки, но зато в них вечно царит полумрак. Излишне изукрашены орнаментом, порой просто пугаешься, даже сердце сжимается от страха, будто заблудился ночью в лесу. Знаю, знаю, на меня за это косятся, считают, что у меня плохой вкус. Но ничего не поделаешь, таков уж он, и я от этого не отступлюсь. Быть может, я пристрастен к старине потому, что вырос в Перигоре, в нашем старинном замке, воздвигнутом на развалинах

римского амфитеатра, совсем рядом с нашей церковью Сен-Фрон, совсем рядом с нашей церковью Сент-Этьен, и поэтому мне мило повсюду обнаруживать формы и пропорции, напоминающие мне эти великолепные ровные пилястры и высокие, прелестно округлые своды, вдоль которых легко струится дневной свет. В старину монахи умели возводить такие храмы, что солнечные лучи, проникавшие внутрь целыми снопами, нежно золотили камень стен, а церковные песнопения, отражаемые высокими, как небо, сводами, звучали громче и мощнее, и казалось, что это поют ангелы в райских кущах.

По великой милости Предвечного, англичане хоть и разорили Дора, не до конца разрушили это чудо из чудес нашего зодчества, и его можно легко восстановить. Я готов биться об заклад, что наши северные зодчие с радостью возвели бы на месте руин какую-нибудь громоздкую махину по своему теперешнему вкусу, водрузили бы ее на каменные лапища на манер некоего сказочного зверя, так что, когда входишь туда, чудится, будто ты вместо храма Божьего попал в преддверие адово. И наверняка те же зодчие сбросили бы фигуру ангела из позолоченной меди, водруженную на вершине колокольни, откуда и пошло название

монастыря — lou dorat, — и водрузили бы вместо него фигуру дьявола с вилами в руках и злобно перекошенной физиономией…

Ад!.. Мой благодетель Иоанн XXII, первый папа, которому я служил, не верил в ад, вернее, учил, что в аду никого нет. Это уж, согласитесь, чересчур. Если люди перестанут страшиться ада, как же сможем мы взимать с них милостыню для неимущих и требовать от них покаяния во искупление грехов своих? Не будь преисподней, церковь должна была бы спокойно закрыть врата свои. Ничего не поделаешь, причуды высокомудрого старца! Пришлось добиться все-таки, чтобы на смертном одре он отрекся от своей доктрины. Я сам присутствовал при этом… Вы правы, и впрямь становится свежо. Теперь уже чувствуется, что через два дня наступит декабрь. Хуже всего этот промозглый холод.

Брюне! Эймар Брюне, посмотри-ка, дружок, нет ли в моей повозке со съестными припасами жаровни, и поставь ее мне в носилки. Меха что-то плохо греют, и если дело и дальше пойдет так, то в Сен-Бенуа-дю-Соль вы доставите кардинала, громко стучащего в ознобе зубами. Мне говорили, что англичане все там разорили. А если в повозке у повара мало угля, пусть остановятся у

первой же хижины, мимо которой мы проедем, и возьмут там угля, ведь для меня потребуется угля побольше, чем на то, чтобы разогреть рагу… Нет-нет, мне вовсе не нужен мэтр Вижье. Пусть с Богом едет своей дорогой. А то если ко мне в носилки заглянет лекарь, вся моя свита вообразит, что я с минуты на минуту испущу дух. Чувствую я себя превосходно. Мне нужна только жаровня, вот и все.

Итак, Аршамбо, вам хотелось бы узнать, что же последовало за Мантским соглашением, о котором я вам вчера говорил… Вы прекрасно умеете слушать, дорогой мой племянник, и одно удовольствие — пересказывать вам то, что знаешь. Я даже подозреваю, что, когда мы останавливаемся на ночлег, вы кое-что записываете. Разве не так? Стало быть, я не ошибся. Это только наши северные сеньоры считают, что чем человек невежественнее, тем он, верно, знатнее, словно бы читать и писать — дело одних писцов или бедного люда. Для того чтобы прочесть самую пустяковую записку, они кличут грамотея-служителя. А мы, живущие на юге королевства, мы с давних пор набрались латинского духа и не брезгуем ученостью. Что и дает нам немалое преимущество в делах.

Стало быть, вы записываете. Весьма похвальное занятие. Ибо после меня не останется никаких письменных свидетельств того, что я делал и чего навидался. Вся моя переписка и записи уже попали или попадут в папские архивы и пребудут там на веки вечные, так как на сей счет существуют строгие правила. Но зато вы, Аршамбо, сможете хотя бы в части, касающейся Франции, сказать во всеуслышание то, что стало вам ведомо, и оцените мою память куда более справедливо, чем то, безусловно, сделает Копоччи… только бы сподобил меня Господь пережить его хоть на один-единственный день… чтобы он не успел на это покуситься.

Итак, вскоре после Мантского соглашения, где король Иоанн проявил в отношении своего зятя столь непонятную щедрость, он тут же стал обвинять тех, кто вел переговоры. Робер Ле Кок, Робер де Лоррис и даже родной дядя жены короля кардинал Булонский — все они, по его словам, были подкуплены Карлом Наваррским.

Между нами будь сказано, я лично считаю, что доля правды здесь есть. Робер Ле Кок — еще молодой епископ, сжигаемый честолюбием, не только великий мастер интриг, но и страстный их любитель — сразу учуял, какую выгоду может

он извлечь из сближения с Карлом Наваррским, к партии коего он, впрочем, после ссоры того с королем примкнул вполне открыто. Робер де Лоррис, камергер, был, безусловно, предан своему господину, но происходил он из семьи банкиров, а значит, не мог удержаться, чтобы походя не прикарманить несколько пригоршней золота. Я-то знал его, этого Лорриса, когда он лет десять назад приезжал в Авиньон просить взаймы у тогдашнего папы триста тысяч флоринов для Филиппа V. Я честно удовольствовался тысячью флоринов за то, что свел Лорриса с банкирами Климента VI, с Раймонди из Авиньона и с Маттеи из Флоренции; но боюсь, что сам он сумел сорвать значительно больше. А что касается кардинала Булонского, хоть он и родственник королю Иоанну, но…

Признаюсь откровенно, что нас, кардиналов, так уж оно повелось, всегда вознаграждают за наши хлопоты в пользу государей. Иначе нам не хватало бы средств на то, что полагается нам иметь по нашему сану. Никогда я из этого тайны не делал и даже горжусь, что получил двадцать две тысячи флоринов от моей сестры Дюраццо за то, что немало потрудился двадцать лет назад — ох, уже целых двадцать лет! — улаживая ее дела с герцогством, которые были сильно за-

путаны. А в минувшем году, когда нужно было добиться особого разрешения на брак Людовика Сицилийского с Констанцией Авиньонской, я получил в благодарность пять тысяч флоринов. Но принять деньги я могу лишь от того, кто просит помочь ему моим умением либо влиянием. Бесчестье начинается тогда, когда ты берешь деньги у противной стороны. И боюсь, что кардинал Булонский не устоял перед сим искушением. Именно с тех пор их дружеские отношения с Иоанном II охладели.

Лоррис после кратковременной опалы опять вошел в милость; впрочем, так бывало со всеми Лоррисами. Наш Лоррис припал к королевским стопам — было это в Страстную пятницу нынешнего года, — поклялся в полнейшей своей честности и обвинил в попустительстве и двуличии Ле Кока, который успел перессориться со всем двором и был оттуда изгнан.

А опорочить людей, ведущих переговоры, — вещь весьма выгодная. Можно таким путем, по этой причине, не выполнить взятых на себя обязательств, что король и не преминул сделать. Когда ему попытались растолковать, что нужно бы зорче следить за своими посланцами и не так слепо им доверять, он сердито огрызнулся:

«Не рыцарское это занятие — вести переговоры, спорить, приводить аргументы!» Он всегда делал вид, что презирает всякие переговоры и дипломатию, и это позволяло ему отрекаться от собственных обещаний.

А на самом-то деле он потому столько и наобещал, что заранее решил не сдержать ни одного обещания.

Но в то же самое время он осыпал своего зятя любезностями, правда притворными, требовал, чтобы тот не покидал его двора, да и не только он, но и его средний брат Филипп и даже самый младший из Наваррских — Людовик, и настаивал, чтобы тот перебрался из Наварры в Париж. Твердил направо и налево, что теперь он законный защитник всех троих братьев, и наказывал дофину подружиться с ними.

Но Карла Злого не подкупила эта чрезмерная предупредительность, столь неслыханная заботливость, они не умерили его дерзости, так что он как-то за королевской трапезой в присутствии всего двора дошел до того, что сказал: «А признайтесь, я оказал вам немалую услугу, избавив вас от Карла Испанского, который желал сам управлять всеми государственными делами. Вы, конечно, вслух об этом не говорите, но в душе это для вас

большое облегчение!» Можете вообразить себе, как пришлись Иоанну по вкусу эти милые речи!

А затем как-то летним днем на королевском празднике, когда Карл Наваррский явился во дворец вместе со своими братьями, он вдруг заметил, что к нему чуть ли не бегом бежит кардинал Булонский и шепчет ему:

— Если вам дорога жизнь, возвращайтесь скорее в ваш отель. Король приказал умертвить вас всех троих во время праздника!

Вовсе кардинал этого сам не выдумал, и не навело его на такую мысль шушуканье придворных. Просто-напросто король Иоанн заявил нынче утром об этом на своем Малом совете, где присутствовал и кардинал Булонский:

— Я ждал, когда все три брата соберутся здесь, ибо я желаю уничтожить всех троих разом, дабы не осталось в этой мерзкой семейке ни одного отпрыска мужеского пола.

Лично я не осуждаю кардинала Булонского за то, что он предупредил Наваррских, даже если это подтверждает, что он был ими подкуплен… Ибо священнослужитель церкви Божьей — и к тому же член папской курии и брат папы во Христе — не может и не должен хладнокровно слышать, что готовится тройное убийство,

принять это как должное и не сделать ничего, дабы предотвратить преступление. Промолчав, он как бы сам становится соучастником его. Но какая нужда была королю Иоанну излагать свой чудовищный замысел в присутствии кардинала Булонского? Вполне достаточно было подослать своих стражников… Но нет, он считал, что действует весьма ловко. Ох уж этот мне король, уж кому-кому, а не нашему Иоанну разыгрывать из себя хитреца. Ведь вот что он, наверное, думал: когда папа будет укорять его за то, что он пролил кровь в собственном дворце, он ему, мол, ответит: «Да ваш же кардинал был на Совете и даже не счел нужным осудить мои намерения». Но наш кардинал Булонский стреляный воробей, и в такую ловушку его не заманишь.

Узнав о грозящей ему опасности, Карл Наваррский не мешкая отбыл в свой отель и приказал свите готовиться в путь. Не видя на празднестве братьев Наваррских, король послал за ними и приказал доставить их во дворец. Но посланный возвратился ни с чем: братья Наваррские уже скакали во весь опор к себе в Нормандию.

Тут король Иоанн пришел в ужасный гнев, стараясь под злобными выкриками скрыть свою досаду, и умело разыграл человека оскорблен-

ного: «Полюбуйтесь, каков этот дурной сын, этот предатель, отвергший дружбу короля и по собственной воле удалившийся от двора! Это неспроста, тут наверняка какой-то злой умысел!»

И это оказалось для него прекрасным предлогом заявить во всеуслышание, что он расторгает Мантское соглашение, которое он вовсе и не собирался выполнять.

Узнав об этом, Карл услал своего брата Людовика в Наварру, снарядил своего брата Филиппа в Котантен, дабы тот собирал войска, но и сам не остался в Эврё.

Дело в том, что как раз в это время наш святой отец папа Иннокентий решил собрать в Авиньоне на совет — третий, четвертый, вернее, все на тот же самый, ибо речь шла все о том же, — посланцев короля Франции и короля Англии, чтобы продолжить переговоры уже не о продлении перемирия, а о прочном и окончательном мире. На сей раз Иннокентий, по его словам, желал довести до успешного конца дело его предшественника на папском престоле и льстил себя надеждой, что сумеет добиться успеха там, где Климента VI постигла неудача. Самонадеянность, Аршамбо, таится даже в душах первосвятителей…

Предшествующими переговорами руководил кардинал Булонский; папа вновь поручил ему это дело. Кардинал Булонский, как, впрочем, и я сам, был давно на подозрении у английского короля Эдуарда, который считал его слишком преданным интересам Франции. А со времени Мантского соглашения и бегства Карла Злого он стал подозрительной личностью также и в глазах короля Иоанна. Возможно, именно по этой причине кардинал Булонский провел переговоры с таким блеском, какого от него никто и не ждал: он никого не задел. Довольно легко договорился с епископами Лондонским и Норвичским и прежде всего с графом Ланкастером, отважным воином и настоящим сеньором. И я тоже, правда держась на заднем плане, приложил к этому руку. Карл Наваррский, видимо, прослышал об этом…

Ага, вот и горшок с углями! Подсуньте-ка мне его под ноги, прямо под сутану. Надеюсь, он плотно закрыт и я не сгорю! Да, да, сейчас хорошо!

Итак, Карл Наваррский, прослышав, что переговоры о мире идут успешно, а это, разумеется, никак его не устраивало, в один прекрасный ноябрьский денек… было это ровно два года назад… вдруг собственной персоной появляется в Авиньоне, где его никто никак не ожидал.

Вот тут я и встретился с ним впервые. Двадцать четыре года, а больше восемнадцати не дашь из-за его небольшого росточка, потому что был он коротышка, и впрямь самый низкорослый из всех королей Европы, но стройненький, проворный, живой, так что люди даже не замечали этого его недостатка. И притом очаровательное лицо, которое ничуть не портил даже крупноватый нос; красивые лисьи глаза, уже сейчас, в такие годы, в легкой паутине морщин — красноречивый признак лукавства. С виду сама приветливость; манеры вежливые, в то же время непринужденные; говорит легко, свободно, с неожиданными поворотами; расточает любезности направо и налево; мгновенно меняет важный тон на шутливый, а от забавных рассказов переходит к самым серьезным вопросам; и, наконец, выказывает такое дружелюбие к людям, что сразу становится понятно — редкая женщина может перед ним устоять, да и мужчины охотно позволяют ему обвести себя вокруг пальца. Нет, честно говоря, никогда я не слыхивал такого блестящего краснобая, как этот король-коротышка! Слушая его, забываешь о том, сколько дурного скрывается за этой обходительностью, забываешь, что этот юноша достаточно закоренел в хитростях, лжи

и преступлениях. Есть в нем какая-то непосредственность, ради которой ему прощается все его тайное коварство.

Когда Карл примчался в Авиньон, дела его были не слишком блестящи. Он был смутьяном в глазах короля Франции, который стремился захватить его замки, и Карл смертельно оскорбил короля Англии, подписав Мантское соглашение, даже не поставив его об этом в известность. «Этот человек призвал меня на помощь, уверяя, что в Нормандии меня встретят с распростертыми объятиями. Ради него я увел свои войска из Бретани, собирался уже высадить во Франции новое войско; а когда он при моей поддержке почувствовал себя достаточно сильным, дабы запугать своего противника, он, не предупредив меня ни словом, подписывает с ним соглашение… Пусть теперь обращается за помощью к кому угодно, пусть обращается к папе…»

Ну что ж, как раз к папе и обратился Карл Наваррский. Недели не прошло, как все перешли на его сторону. В присутствии Святого отца и многих кардиналов, в числе коих находился и я, Карл клялся, что единственное его желание — помириться с королем Франции, и клялся столь горячо, что все ему поверили. А при встрече с

посланцами Иоанна II, с канцлером Пьером де Ла Форе и герцогом Бурбоном, он пошел еще дальше и дал им понять, что в доказательство дружбы, которую он мечтает возобновить, он может собрать в Наварре войско и бросить его на англичан в Бретани, а то и на их собственной земле.

Но в последующие дни, сделав вид, что выехал из Авиньона со своей свитой, он под покровом ночной тьмы не раз и не два тайком возвращался в город и вел доверительные беседы с герцогом Ланкастером и английскими эмиссарами. Эти тайные встречи он устраивал то у Пьера Бертрана, кардинала Аррасского, то у самого Ги Булонского. Позже я, впрочем, упрекал за это Булонского, который, как говорится, любил ухватить клок сена из обеих кормушек. «Мне просто хотелось знать, что они там замышляют, — оправдывался он. — Раз я пускал их к себе в дом, мои люди подслушивали их беседы». Но, очевидно, его люди оказались туги на ухо, ибо он так ничего и не узнал или сделал вид, что ничего не знает. Если только он сам не был с ним в сговоре, то король Наваррский здорово его провел.

А я, я-то знал. И хотите, я расскажу вам, Аршамбо, как взялся за дело Карл Наваррский, чтобы окончательно склонить на свою сторону Ланка-

стера? Так вот, он предложил ему ни больше ни меньше, как признать короля Англии Эдуарда королем Франции. Ни больше ни меньше! И оба так увлеклись, что, опередив события, составили договор о союзе.

Пункт первый: Карл Наваррский признает короля Эдуарда королем Франции. Пункт второй: они согласны совместными силами вести войну против короля Иоанна. Пункт третий: Эдуард признает за Карлом Наваррским герцогство Нормандское, Шампань, Бри, Шартр, а также назначает его наместником Лангедока, не говоря уже, конечно, о его королевстве Наваррском и графстве Эврё. Иными словами, они делят Францию пополам. Остальные пункты пропускаю.

Как я узнал об их сговоре? О, могу вам сказать, договор был написан собственноручно епископом Лондонским, который сопровождал мессира Ланкастера. Но не спрашивайте меня, кто мне об этом тогда сразу же сообщил. Вспомните-ка, что я каноник кафедрального собора в Йорке и что, хотя я не слишком осведомлен о том, что происходит по ту сторону Ла-Манша, я все-таки сохранил там кое-какие связи.

Нет, по-моему, надобности говорить вам, что ежели поначалу были хоть какие-то надежды

на успех мирных переговоров между Англией и Францией, то после появления этого живчика, коротышки короля Наваррского, все пошло прахом.

Ну скажите сами, как могли стремиться к миру послы Англии и Франции, когда каждую из двух сторон подвигали на поле брани посулы его высочества Карла Наваррского? Бурбону он твердил: «Я беседовал с Ланкастером, но все ему налгал, чтобы услужить вам». Потом шел к Ланкастеру и нашептывал тому на ухо: «Ну конечно, я виделся с Бурбоном, но лишь для того, чтобы его провести. Я ваш, полностью ваш!» И самое удивительное — оба ему верили.

Верили до того, что, когда Карл наконец действительно покинул Авиньон и отправился в Пиренеи, обе стороны были убеждены, хотя и молчали об этом, что уезжает их лучший друг.

Во время переговоров то и дело раздавались язвительные выпады, теперь никто ни с кем уже не соглашался. И весь город впал в оцепенение. Ведь целых три недели все только и делали, что возились с Карлом Злым. Теперь даже сам папа вдруг снова превратился в нытика и угрюмца; злой чародей только на миг сумел превратить его в иного человека…

Ну вот я и согрелся. А как вы, Аршамбо? Пододвиньте-ка к себе горшок с углями, и вы немного оттаете.

Глава X
Черная година

Правильно вы говорите, Аршамбо, правильно говорите, и у меня такое же ощущение, как у вас. Всего только десять дней назад мы выехали из Перигора, а кажется, едем уже целый месяц. Путешествие, оно продлевает ход времени. Нынче мы остановимся на ночлег в Шатору. Не скрою от вас, я очень и очень рад, что завтра мы прибудем в Бурж, если, конечно, будет на то воля Божья, и я остановлюсь там для отдыха по меньшей мере на целых три, а то и на четыре дня. Меня уже несколько утомили эти аббатства, где вам предлагают скудный ужин и где даже не потрудятся положить вам в постель грелку, а все почему? Чтобы дать мне лишний раз понять, как, мол, их разорила война. Только пусть эти аббатишки не воображают, что, ежели они будут держать меня впроголодь и укладывать спать в покоях, где во все щели дует ветер, они на этом что-то выиграют и с них не потребуют десятины… К

тому же мои люди тоже нуждаются в отдыхе, им и упряжь надо привести в порядок, и хорошенько просушить одежду. Потому что от этого дождя одно только горе. Послушайте, как чихают вокруг носилок мои служители, и ручаюсь, что во время нашего пребывания в Бурже большинство будет усиленно пользовать себя горячим вином с ванилью и гвоздикой. Но боюсь, что мне там особенно нежиться не придется. Разобрать послания из Авиньона, продиктовать ответы…

Быть может, дорогой Аршамбо, вас отчасти удивили вырвавшиеся у меня слова в адрес папы. Таков уж мой нрав, я действительно слишком скор на выражение своей досады. Но и оснований у меня для этого немало. Поверьте, я не упускаю случая прямо в глаза ему указать на неумные его поступки: «Соблаговолите, ради Предвечного, святейший отец, осведомить вас о том, что вы только что поступили не совсем разумно».

Ах, если бы французские кардиналы вдруг не вбили себе в голову, что человеку нашего происхождения не пристало… смиренномудрие: в смиренномудрии, мол, надо родиться… И если бы, с другой стороны, итальянские кардиналы, Капоччи и другие, не так уж рьяно настаивали на возвращении Святого престола в Рим… Рим!

У них в голове только их Италия; Капитолий заслоняет от них Бога.

Но что особенно меня бесит в нашем Иннокентии, так это его политика в отношении императора. Вместе с Пьером Роже, я имею в виду папу Климента VI, мы целых шесть лет бились против его коронования. Его избрали, и очень хорошо. Пожалуйста, пусть правит, мы же не против. Но с коронованием его следовало бы подождать, держать это, так сказать, про запас, пока он не даст обязательств, которых мы хотели от него добиться. Я отлично понимал, что этот самый император на следующий же день после миропомазания устроит нам немалые неприятности.

Но как только наш Обер возлагает на себя папскую тиару, он тут же начинает бубнить: «Примиримся, примиримся!» А весной минувшего года он вдруг решается. «Император Карл IV будет коронован, таково мое пожелание», — говорит он мне. Папа Иннокентий принадлежит к тому типу правителей, которые действуют энергично лишь в тех случаях, когда им требуется прикрыть свое отступление. У нас таких людей великое множество. Папа почему-то вообразил, что одержал огромную победу: император, видите ли, дал обещание въехать в Рим лишь утром дня коро-

нования и в тот же вечер отправиться восвояси, так что он, мол, даже в Риме не заночует. Какая чепуха! Кардинала Бертрана де Коломбье — «Как видите, я назначил французского кардинала, надеюсь, вы теперь довольны…» — папа отрядил в Рим, дабы тот возложил на голову богемца корону Карла Великого. А ровно через полгода в ответ на папскую милость Карл IV преподносит нам «Золотую буллу», где сообщает, что отныне папский престол не имеет никакого отношения к выборам императора.

Отныне императора избирают семь немецких курфюрстов, государства которых объединятся в Священную империю… Другими словами, они раз и навсегда вносят порядок в свой великолепный беспорядок. А тем временем итальянские проблемы по-прежнему еще не решены, и никто не знает, кто и как будет осуществлять власть в Италии. Самое же важное в этой булле, чего папа Иннокентий не заметил, — это то, что она начисто отсекает земное от духовного и требует независимости наций от папской власти. Это уж конец, полный отход от принципа всемирного владычества, осуществляемого наместником святого Петра от имени всемогущего Господа нашего. Господа отсылают на небеса, а на земле

творят все, что кому вздумается. И называется это «теперешним духом», более того, этим кичатся. А я, простите, Аршамбо, за грубое слово, называю это «замазать себе глаза дерьмом».

Нет и не может быть прежнего и теперешнего направления ума. Есть просто ум, а с другой стороны — глупость. Что же делает наш папа? Мечет громы и молнии, впадает в ярость, отлучает от церкви? Нет, посылает императору дружественное послание, исполненное христианской кротости, и шлет ему свое благословение… О нет-нет, я к этому руки не приложил. Но именно на мою долю выпадет слушать в Меце, как будут торжественно оглашать эту буллу, которая не только отвергает верховную власть Святого престола, но и несет всей Европе одни лишь смуты, беспорядки и беды.

Хорошенькую жабу придется мне там проглотить, и притом еще мило всем улыбаться, ибо теперь, когда Германия отторглась от нас, нам надобно из последних сил спасать Францию, иначе на долю Бога вообще ничего не останется. Ох, будущее с полным основанием может проклясть этот 1355 год! До сих пор мы пожинаем его ядовитые плоды.

А Карл Наваррский, что тем временем поде-

лывает Наваррский? Ну так вот, сидит у себя в Наварре и не может опомниться от радости, что ко всему, что он там, в Авиньоне, намутил, на нас еще свалилась эта напасть со Священной империей.

Сначала он ждал возвращения своего Фрике де Фрикана, который отправился в Англию вместе с Ланкастером и возвратился с его камергером, привезшим ответ короля Эдуарда насчет их планов, начерно набросанных в Авиньоне. Камергер отбыл в Лондон — на сей раз в сопровождении Колена Дублеля, стольничего Карла Злого, одного из участников убийства Карла Испанского. Этому самому Дублелю поручалось устно изложить соображения его господина.

Карл Наваррский был полной противоположностью королю Иоанну. Он умел ловче любого нотариуса оспорить каждый пункт, каждую строку, каждую запятую любого соглашения. И напомнить о том, и предусмотреть это, и опираться на такие-то и такие-то кутюмы, имеющие силу закона, а главное, уметь поурезать свои обязательства в отношении других и раздуть обязательства противной стороны… И пока что он не торопился варить кашу вместе с англичанами и на досуге наблюдал, какую кашу готовит

французская сторона.

Тут бы и показать свою сговорчивость королю Иоанну. Но сей государственный муж уж если начинал действовать, то действовал не ко времени. Вдруг этот бахвал собрался идти войной на отсутствующего и ринулся на Кан, приказав занять все нормандские замки своего зятя, за исключением Эврё. Что и говорить, славная кампания, которая за неимением неприятеля превратилась в непрерывную пирушку и пришлась сильно не по душе нормандцам, на чьих глазах королевские лучники очищали их бочки с соленьями и чуланы со съестными припасами.

А тем временем Карл Наваррский преспокойно собирал свои войска, а его зять, граф де Фуа, по имени Феб… Как-нибудь при случае я вам расскажу о нем, это не просто какой-то захудалый сеньор… Так вот, Карл немножечко погромил графство Арманьяк, просто так, лишь бы навредить королю Франции. Дождавшись лета, чтобы пуститься в морское путешествие без особого риска, в один прекрасный августовский день наш юный Карл высаживается в Шербуре вместе с двумя тысячами своих людей.

Король Иоанн II совсем обомлел, узнав об этом, а одновременно и о том, что принц Уэльский,

который в апреле того же года сделался принцем Аквитанским и наместником английского короля в Гиени, погрузив на свои суда пять тысяч ратных людей, на всех парусах мчится к Бордо. Правда, еще надо было дождаться попутного ветра. Ну и хорошие осведомители были у короля Иоанна! Мы в Авиньоне видели, как на море готовится великолепная перекрестная операция, чтобы зажать Францию в тиски. Объявили даже, что вот-вот прибудет сам король Эдуард, который к этому времени должен был уже подойти к Джерси, если бы разыгравшаяся буря не прибила его опять к Портсмуту. Так что можно смело сказать, что Францию в прошлом году спас ветер.

Так как биться на три фронта король Иоанн не мог, он предпочел не биться ни на одном. И снова понесся в Кан, но на сей раз подписывать соглашение. С собой он прихватил двух своих бурбонских кузенов — Пьера и Жака, а также Робера де Лорриса, который снова успел войти в милость, как я вам уже об этом докладывал. Но Карл Наваррский в Кан не явился. Вместо себя он послал мессиров де Лора и де Куйарвиля, своих сеньоров, и поручил им вести переговоры. Королю Иоанну пришлось удалиться и оставить вместо себя Бурбонов, которым он наказал лишь

одно — как можно быстрее прийти к полюбовной сделке. Соглашение было заключено 10 сентября в Валони. В этом соглашении Карлу Наваррскому отходило все то, что было дано ему по Мантскому соглашению, и даже чуточку сверх того.

А две недели спустя в Лувре снова состоялась торжественная церемония примирения тестя с зятем, разумеется, в присутствии обеих вдовствующих королев, мадам Жанны и мадам Бланки… «Сир, кузен мой, перед вами наш племянник и брат, за которого просим мы во имя любви вашей к нам…» И вновь широко открываются объятия, и снова примирившиеся лобызают друг друга в щеку, еле удерживаясь, чтобы не вцепиться в нее зубами, и снова клянутся, что все прощено и впредь обоих свяжет честная дружба…

Ах да, я совсем забыл сказать вам еще одну вещь, а она имеет немаловажное значение. В число лиц, составлявших почетную свиту короля Наваррского, король Иоанн включил и своего сына, дофина Карла, которого загодя назначил главным наместником Нормандии. От Водрея на Эре, где кузены пробыли четыре дня, путь на Париж они держали вместе. Впервые в жизни они так тесно общались, скакали так долго рядом, так задушевно беседовали в часы дорожного

безделья, обедали за одним столом и спали бок о бок. Его высочество дофин был полной противоположностью Карлу Наваррскому: первый долговязый, второй коротышка; первый медлительный, а второй живчик; первый молчальник, а второй болтун. И первый, кроме того, на целых шесть лет моложе второго и во многих отношениях почти ребенок. К тому же дофин страдал недугом, вернее сказать, был полукалекой: стоило ему поднять какой-нибудь даже не слишком тяжелый предмет или крепко сжать пальцы в кулак, как правая рука его тут же распухала и становилась ярко-фиолетовой. Родители зачали его в слишком юном возрасте, и к тому же оба только-только оправившись от болезни, что и сказалось на ребенке.

Но не делайте из моих слов поспешных заключений, хотя многие, начиная с самого короля Иоанна, считают, что дофин дурачок какой-то и что будет он плохим правителем. Я тщательно изучил его гороскоп… Помню, как сейчас, было это 21 января 1338 года. Солнце еще находилось в созвездии Козерога, прежде чем войти в созвездие Водолея… А рожденные под знаком Козерога рано или поздно восторжествуют, если только они к тому же наделены разумом. Озимые посевы

всходят медленно… Я лично готов скорее ставить на этого принца, чем на всех прочих, тех, кто наделен привлекательной внешностью. Если он сумеет избежать великих опасностей, которые угрожают ему в юности, — а он их уже избежал, правда самое худшее еще впереди, — он сумеет еще показать себя настоящим правителем. Но надо признаться, что внешность не располагает к нему людские сердца…

Ох, смотрите, ветер совсем разбушевался, да и ливень начался. Будьте добры, Аршамбо, опустите еще и те шелковые занавески. Лучше болтать в темноте, чем мокнуть при свете. И нынче вечером непременно скажите Брюне, чтобы он накрыл мои носилки вощеной тканью поверх этих расписных тканей. Знаю, лошадям будет тяжелее. Ну ничего, станем чаще их менять…

Да, скажу вам, я без труда представляю себе, как его высочество Наваррский во время пути из Водрея в Париж — а Водрей расположен в самом, пожалуй, красивом уголке Нормандии, и король Иоанн пожелал превратить его в одну из своих резиденций: по слухам, там возвели нечто великолепное, сам-то я не видел, но знаю, что казне это обошлось недешево: стены сплошь расписаны золотом, — воображаю, как его высочество Карл

Наваррский с его велеречивостью и величайшей способностью легко заводить себе друзей, как старался он очаровать Карла Французского. Молодость охотно берет себе образец для подражания. И как притягателен был для дофина этот дорожный спутник старше его на шесть лет, притом столь обаятельный юноша, который объездил чуть ли не всю Францию, столько навидался, столько натворил, разболтал ему кучу секретов и так забавно высмеивал королевский двор… «Ваш батюшка, наш король, очевидно, изображал меня вам совсем не таким, каков я есть на самом деле… Будем же союзниками, будем друзьями, будем по-настоящему братьями; ведь мы действительно с вами братья…» И дофин, которому было лестно, что его кузен такой искушенный, несмотря на юные свои годы, уже правивший королевством, и притом такой приятный в обращении, не устоял и без труда был покорен Наваррским.

Их близость в дальнейшем сыграла свою пагубную роль и стала впоследствии причиной многих бед и распрей.

Но если не ошибаюсь, моя свита строится. Откиньте чуточку занавеску… Ага, уже видно предместье. Значит, въезжаем в Шатору. Не думаю, чтобы здесь нас встречали толпы народа.

Надо быть слишком уж заядлым христианином или слишком заядлым зевакой, чтобы мокнуть в этой жиже, лишь бы поглазеть на носилки кардинала.

Глава XI
Королевство дает трещину

Дороги в Берри издавна считались чуть ли не самыми скверными во всей Франции. И видно, война их не улучшила. Эй, Брюне, Ла Рю! Ради всего святого, велите остановить наш поезд. Я отлично понимаю, что всем не терпится поскорее добраться до Буржа. Но все-таки это еще не причина, чтобы меня, как зернышко перца, размололо на куски в этом ящике. Остановите, остановите совсем! А главное, остановите головных. Вот так, хорошо… Нет, лошади мои здесь ни при чем. А при чем вы все, потому что несетесь во весь опор, скачете, словно вам подложили под седло пучок горящей пакли… А теперь сделайте милость, можете пустить лошадей, но только смотрите, чтобы меня везли шагом, как и подобает везти кардинала. А иначе я заставлю вас засыпать впереди дорожные ухабы.

Совсем мне все кости переломают эти зловред-

ные дьяволы, а чего ради? Чтобы лечь в постель на час раньше! Наконец-то дождь угомонился... Смотрите, смотрите, Аршамбо, еще одна сожженная хижина. Англичане играючи дошли до предместий Буржа, сожгли их и даже послали часть своих войск к стенам Невера.

А сказать вам правду, Аршамбо, я не слишком пеняю на уэльских лучников, ирландских рубак и на всю прочую эту голь, которую принц Уэльский посылает на такие дела. Это просто бедняки, которым забрезжила надежда удачи. Они нищие, невежественные люди, и обращаются с ними без церемонии. В их представлении воевать — это грабить, вволю жрать и разрушать все на своем пути. Они видят, как бегут при их появлении поселяне, таща на себе и за собой с десяток ребятишек, и все это с воплями: «Господи, помоги! Англичане, англичане!» А для виллана нет слаще, чем напугать другого виллана! Вот тут-то они чувствуют себя по-настоящему сильными. С утра до ночи они жрут курятину и жирную свинину; утоляя жажду, дырявят подряд все бочки с вином, а то, чего не могут доесть или допить, уничтожают перед уходом. Забирают лошадей для ремонта собственного конского поголовья, режут по пути в хлевах все, что мычит и блеет. И

потом с пьяными рожами и черными руками с гоготом швыряют зажженные факелы в мельницы, амбары — словом, на все, что может гореть. Ах, до чего же радостно, согласитесь сами, такому вот воинству, состоящему из деревенщины и гуляк, повиноваться подобным приказам. Они словно шкодливые дети, которым не только разрешают шкодить, но даже поощряют за это…

И в равной мере я не держу обиды на английских рыцарей. В конце концов, они не у себя дома, их призвали на войну. А Черный Принц дает им превосходный урок и пример грабежа. По его приказу ему тащат все золотые изделия, все изящные вещицы из серебра и слоновой кости, самые дорогие ткани, и этим добром они набивают свои повозки или награждают своих военачальников. Лишать последнего имущества ни в чем не повинных людей, щедро одаривая своих дружков, — вот оно величие этого человека!

Но вот кому я действительно желаю пропасти и геенны огненной — да, да, хотя я добрый христианин, — так это нашим гасконским, аквитанским, пуатевенским рыцарям и даже кое-кому из наших перигорских сеньорчиков, которые предпочли встать на сторону английского герцога, а не французского короля; и кто из страсти к

грабежам, а кто из подлой гордыни или зависти к соседу или потому, что затаил зло в сердце, не щадя живота своего, разоряет свою же родную землю. Нет уж, пускай не будет им прощения, о чем горячо молю Господа нашего всей душой.

В свое оправдание они ссылаются на тупость короля Иоанна, который, мол, даже не способен их защищать, что доказал на деле уже не раз: то войско соберет слишком поздно, то пошлет его в спешке туда, где неприятелем и не пахнет. Ох, какое же все-таки позорище, что Бог попустил родиться на свет такому государю, который приносит одни лишь разочарования!

Зачем, ну зачем согласился он подписать соглашение в Валони, о чем я вчера уже рассказывал, и почему обменялся со своим зятем Карлом Наваррским иудиным поцелуем? Потому что испугался принца Эдуарда Английского, который мчался на всех парусах к Бордо. В таком случае по здравом размышлении, развязав себе в Нормандии руки, следует не мешкая устремиться в Аквитанию. Чтобы сообразить это, вовсе не обязательно быть кардиналом. Но куда там! Наш скудный разумом государь зря упускает время, с великой помпой отдает приказы о малых делах. Это по его милости принц Уэльский высадился в Жиронде и с

триумфом вошел в Бордо. От своих лазутчиков и случайных путешественников королю становится известно, что принц Уэльский стягивает свои войска и пополняет их теми самыми гасконцами и пуатевенцами, теми самыми, на счет коих я только что изложил вам свое мнение. Итак, все свидетельства сходятся на том, что готовится нешуточный поход. Другой бы на его месте ринулся, как орел, защищать свое королевство и своих подданных. А этот идеал рыцарства сидит и сидит себе на месте.

Надо признать, что к концу сентября минувшего года у него были серьезные финансовые затруднения, даже более серьезные, чем обычно. И как раз в то время, когда принц Эдуард снаряжал свои войска, король Иоанн объявил, что откладывает на полгода выплату денег по долговым обязательствам и жалованья своим военачальникам.

Сплошь и рядом бывает так, что, когда какому-нибудь государю приходится туго с деньгами, он бросает клич своим ратникам: «Победите неприятеля, и вы сразу разбогатеете! И добычи будет много, и выкупы за пленных пойдут вам!» А король Иоанн предпочел спокойно смотреть, как все больше нищает его страна, так как допу-

стил, чтобы англичане разоряли на свободе юг Франции.

О, для принца Уэльского поход этот оказался удачным и легким! Всего месяц потребовался ему, чтобы вместе со своим воинством дойти от берегов Гаронны до Нарбонна и берега моря, да еще радуясь, что заставил трепетать Тулузу, спалил Каркассон, разрушил Безье. После себя он оставил неизгладимый след ужаса и по дешевке приобрел себе столь громкую славу.

Его военная тактика весьма несложна, и это в нынешнем году испытал на себе наш Перигор: он нападает лишь на то, что вовсе не защищено. Высылает далеко вперед свои авангардные части разведать дорогу и установить, какие городки или замки надежно укреплены. И обходит эти городки и замки стороной. А зато на другие бросает целые полчища рыцарей и ратных людей, которые с адским гамом, словно пришел конец света, обрушиваются на незащищенные поселки, изгоняют жителей, а тем, кто недостаточно проворен, без дальних слов разбивают о стены голову, сажают на колья или просто убивают всех, кто подвернется под их палицу, потом рассыпаются по соседним селениям, поместьям и монастырям.

А за ними идут лучники, те забирают все съестные припасы для пропитания войска и опустошают дома, прежде чем предать их огню; а еще за ними — рубаки, вооруженные ножами, да мужичье — эти грузят добычу в повозки, соперничая в быстроте с пламенем пожара.

И все это пьяным-пьяно, продвигается в день на три-пять лье; но страх, который вселяет в жителей это воинство, далеко опережает его.

Какие цели преследует Черный Принц? Я вам уже говорил — ослабить короля Франции. Надо признать, что цель эта была достигнута.

Самые большие выгоды извлекли из всего этого жители Бордо и виноградари. И легко понять, что они были без ума от своего английского герцога. Все последние годы на их головы одна за другой валились беды: опустошения, вызванные войной, запущенные по той же причине виноградники, не говоря уже о том, что торговля шла в убыток из-за ненадежных дорог, а тут еще на Бордо налетела чума, и с такой силой, что пришлось снести чуть ли не четверть строений, чтобы оздоровить город. И вот теперь все бедствия войны обрушились на других. Посмеемся же над ними. Для каждого приходит свой черед мучений!

Высадившись во Франции, принц Уэльский

первым делом начал чеканить монету и пустил в обращение полновесные золотые с выбитыми на аверсе лилией и львом… или леопардом, как предпочитают говорить англичане… словом, куда тяжелее и полновеснее французских золотых с выбитым на них агнцем. «Лев пожрал агнца», — шутили остряки. К тому же хорошо уродился виноград. Провинцию надежно охраняют. От пристани один за другим отчаливают богато груженные корабли, за несколько месяцев было отправлено двадцать тысяч бочек вина, и почти все в Англию. И до того дела пошли славно, что уже к минувшей зиме жители Бордо ходили с сияющими физиономиями и заметно округлившимися, наподобие их винных бочонков, брюшками. Жены их бегали по суконщикам, ювелирам и золотых дел мастерам. В городе шел беспрерывный праздник. В каждый приезд принца Уэльского в любимых черных латах, откуда и пошло прозвище, в его честь устраивались различные увеселения. У всех горожан голова шла кругом. Солдаты, разбогатевшие на грабежах, платили за все не торгуясь. Военачальники из Уэльса и Корнуэлла считались здесь первыми кавалерами; и неудивительно, что в Бордо сразу же возросло количество рогатых мужей, ибо бо-

гатство не способствует добродетели.

Можно было подумать, что вот уже целый год во Франции есть две столицы, а это самая страшная из всех бед, какая только может постичь государство. В Бордо — изобилие и сила; в Париже — нищета и слабость. Что вы хотите? С начала правления Иоанна II монета, которую чеканили в Париже, обесценилась в восемьдесят раз! Да, да, Аршамбо, в восемьдесят! За турский ливр дают лишь одну десятую его стоимости, той, что была при восшествии короля на престол. Ну скажите сами, как можно управлять государством при таких скудных финансах? Когда без конца повышают цены на съестные припасы и когда в то же самое время золотые монеты становятся все тоньше и тоньше, надо ждать великой смуты и великих поражений. Что касается поражений, то Франция их уже достаточно вкусила, а вот смута, она как раз сейчас и начинается.

А что же делал прошлой зимой наш хитроумный король, дабы предотвратить опасности, которые каждому бросались в глаза? Коль скоро после набега англичан ему нечего было рассчитывать на помощь Лангедока, он решил собрать Генеральные штаты в северных провинциях. Но все получилось не так, как желалось.

Когда надо было принять ордонанс о неслыханном еще повышении налогов — восемь денье с ливра при любой купле или продаже, — что ложилось тяжким бременем на все ремесла и коммерцию, а также когда зашла речь об особом налоге на соль, депутаты Генеральных штатов насторожились и выставили свои требования, причем немалые. Они пожелали, чтобы налоги взимали сборщики, которых они сами изберут из своей среды, и чтобы полученные таким образом деньги не шли ни королю, ни его придворным; что, если начнется новая война, никакие новые налоги не будут взиматься, ежели они не дадут на то своего согласия… да мало ли еще что! Словом, третье сословие совсем разбушевалось. В качестве примера они ссылались на Фландрию: там-де горожане сами всем распоряжаются, — а то и на английский парламент, который оказывает влияние на короля более сильное, чем наши Генеральные штаты… «Будем действовать, как англичане, это же идет им на пользу». Таков уж чисто французский недостаток: когда страна проходит через полосу политических трудностей, французы охотнее ищут для себя зарубежные образцы, нежели стараются со всем тщанием и точностью применять собственные

свои законы… Что ж удивительного после этого, что новый созыв Генеральных штатов, которым дофин вынужден был дать соответствующие заверения, сыграл свою зловещую роль, о чем я вам уже рассказывал. Купеческий прево Марсель еще в прошлом году начал драть глотку… как, рассказывал, но не вам? Ах, значит, дону Кальво, верно, верно, ему… Я его больше уже не приглашаю посидеть со мной, от тряски в носилках ему становится дурно…

А что же, спросите вы меня, тем временем поделывал наш Наваррский? Карл Наваррский всячески старался убедить короля Эдуарда, что он, подписывая в Валони соглашение с Иоанном II, вовсе не желал обмануть англичан, что он по-прежнему испытывает по отношению к Англии все те же чувства и что он только, мол, для виду пошел на примирение с королем Франции, лишь для того, дабы вернее служить их общим с Англией замыслам, и что самое ближайшее будущее это покажет. Другими словами, наш Наваррский ждал только подходящего случая, чтобы предать Францию.

Но в то же самое время он не покладая рук трудился, стараясь скрепить свою дружбу с дофином, для чего пускал в ход любые средства: лесть,

ласку, всякого рода развлечения, причем даже с участием особ женского пола. Об одной из них, некоей Грациозе, я вам уже говорил; была еще и другая — Биетта Кассинель; обе слепо преданные королю Наварры и, по слухам, вносившие немалое оживление в интимные пирушки двух кузенов. В конце концов, Карл Наваррский, сделавшись, так сказать, наставником дофина во грехах, начал исподволь настраивать его против родного отца.

Он уверял дофина, что отец не любит его, своего старшего сына. И это, кстати говоря, сущая правда. Что Иоанн II ничтожество на троне. И опять-таки это сущая правда. Что вовсе не следует сокращать его пребывание на сей земле, а просто сделать богоугодное дело — согнать Иоанна с престола. «Вы, брат мой, будете лучшим королем, чем он. Не ждите, пока отец оставит вам в наследство вконец разоренную страну…» Юный дофин охотно внимал таким наветам. «Поверьте на слово, вдвоем мы без труда это свершим. Но прежде всего следует добиться поддержки всей Европы». И вообразите себе, кузены решили отправиться к императору Карлу IV, дяде дофина, добиться его помощи и попросить у него войска. Ни больше ни меньше! Кому же пришла в голову эта светлая

мысль — призвать чужеземца, дабы уладить дела государства, и просить императора, который и без того задал немало хлопот папскому престолу, чтобы именно он решал судьбы Франции? Быть может, епископу Ле Коку, этому дурному священнослужителю, которого Карл Наваррский сумел ввести в окружение дофина. Вечно этот Ле Кок там, где надо ловко обделать какое-нибудь дельце и довести его до желаемого конца…

Что такое? Почему мы остановились, раз я не дал приказа? Ах, дорогу загородили ломовые дроги? Значит, мы уже въехали на окраину города. Велите очистить путь. Не люблю этих непредвиденных остановок. Никогда ведь не знаешь… А раз уж мы останавливаемся, так пусть стража окружит мои носилки. Среди разбойников с большой дороги попадаются столь предерзостные, что их даже святотатство не остановит; к тому же кардинал недурная добыча…

Итак, путешествие в Германию обоих Карлов — Карла Французского и Карла Наваррского — держалось в тайне; теперь-то мы знаем, кто должен был сопровождать их в Мец: граф Намюрский, граф Жан д'Аркур, этот толстяк, с которым произошла беда, как я вам потом расскажу, а также Годфруа Булонский и Гоше де Лор, а потом,

само собой разумеется, мессиры де Гравиль, де Клер, д'Онэ, Мобюэ де Мэнмар, Колен Дублель и, уж конечно, не обошлось без Фрике де Фрикана — словом, все заговорщики, на славу потрудившиеся в «Свинье Тонкопряхе». Да, кстати, еще одно, довольно любопытное обстоятельство: лично я думаю, что они раздобыли себе на дорогу денег у Жана и Гийома Марселей, двух племянников знаменитого купеческого прево Марселя, которые сдружились с королем Наваррским и принимали участие во всех его развлечениях. Быть в заговоре одного короля против другого — есть от чего закружиться голове у молодых богатых горожан!

Отъезд был назначен на день святого Амбруаза. Тридцать наваррцев должны были поджидать к вечеру дофина у заставы Сен-Клу, затем отвезти его в Мант, к кузену, а оттуда весь этот сиятельный поезд двинется дальше, к императору.

А потом… а потом, не все и не всегда не благоприятствует человеку, родившемуся под роковым расположением светил небесных, и даже самому глупому из королей не всегда удается все испортить… Накануне, в день святого Николая, наш Иоанн II прослышал об этой истории. Он вызывает к себе сына, допрашивает его с пристрастием,

и дофин, который признается ему во всем, вдруг понимает, что его сбили с правильного пути, да не только в отношении его самого, но и в отношении интересов французского государства.

Тут, я должен сказать, Иоанн II повел себя с несвойственной ему ловкостью. Он, мол, не таит зла на сына, разве что за то, что тот хотел покинуть страну без его королевского соизволения; он радуется сыновней искренности, прощает его и милует за эту ошибку; а раз теперь ему стало известно, что наследник умеет принимать самостоятельные решения, он, отец, хочет привлечь его к государственным делам, для чего жалует его герцогством Нормандским. А дать дофину это герцогство, где кишат соратники Эврё-Наваррских, равносильно тому, что послать его в западню! Но так или иначе, все было разыграно превосходно.

Его высочеству дофину оставалось лишь одно: предупредить о случившемся Карла Злого и заявить, что он предоставляет полную свободу всем, кто знал тайну их заговора. Надеюсь, вы не думаете, что после этого события любовь отца к сыну стала еще горячее, даже если неприязнь постарались прикрыть щедрым даром. Но зато ненависть короля к зятю достигает высшего накала, ее трудно переварить, она такая же тяжелая,

как пирог, который шесть раз подряд без толку сажали в печь. Убить королевского коннетабля, разжигать смуты, высаживать войска, договариваться с врагами-англичанами… А главное, неизвестно еще, до чего они договорились! И наконец, сбить с пути наследника престола — это уж слишком… И король Иоанн ждал лишь благоприятного часа, дабы отплатить Наваррскому за все убытки и потери.

А мы, наблюдавшие все это из Авиньона, тревожились все больше и больше. Мы видели, как надвигается страшная катастрофа. Одни провинции отпали от королевства, другие опустошены, деньги обесцениваются, казна пустеет, долги растут. Генеральные штаты глухо ворчат, открыто бунтуют, крупные вассалы вступают в заговоры; король, прислушивающийся к голосу случайных союзников и в конечном счете делающий все кое-как, наспех; наследник престола, готовящийся просить у чужеземцев помощи против собственной династии…

Помнится, я сказал тогда папе: «Святейший отец, Франция дала трещину». И не ошибся. Разве что в сроках.

Я считал, что полный крах наступит через два года. А не потребовалось и одного. И самое худшее

еще впереди. Ну что вы хотите? Когда слаба голова, откуда же взяться сильному телу? А теперь нам приходится любой ценой собирать все по крохам, и для этого необходимо просить помощи у Германии, что еще больше укрепит влияние императора, хотя мы предпочли бы обуздать этого высокомерного наглеца. Согласитесь же, что есть отчего впасть в отчаяние.

А теперь, Аршамбо, вылезайте из носилок, садитесь на своего коня и встаньте во главе кортежа. Я хочу, пусть даже сейчас начинает темнеть, чтобы люди видели, как у вас на пике развевается наш перигорский флажок рядом с папским флажком. И велите раздвинуть занавески носилок, чтобы я мог благословлять толпу.

Часть вторая
Пиршество в Руане
Глава I
Льготы и бенефиции

Ох и много же мне попортил крови этот милейший монсеньор Буржский за те три дня, что мы провели у него. Вот уж воистину этот прелат из той породы людей, которые душат своим гостеприимством и все время что-нибудь да клянчат! С утра до вечера тянет вас за рукав и все просит… просит… А скольким этот высокочтимый муж покровительствует, сколько у него подопечных, и всем он дает обещания, и все припадают к вашим стопам. «Разрешите, ваше высокопреосвященство, представить вам причетника, человека высоких достоинств… Не соблаговолите ли, ваше высокопреосвященство, обратить благосклонный взгляд свой на каноника сего… уж и не помню какого… Осмелюсь поручить вашему вниманию, ваше высокопреосвященство…» Не понимаю даже, как это я сдержался и не сказал ему: «Пойдите, епископ, очистите себе желудок и соблаговолите… да, да, соблаговолите оставить в

покое мое высокопреосвященство».

Нынче утром я пригласил вас, дон Кальво, проехаться со мной в носилках… По-моему, вы уже начинаете привыкать к тряске. Впрочем, буду краток… Я хочу вместе с вами припомнить, что я ему наобещал, а чего вообще не обещал, и только. Ибо теперь нам надо держать ухо востро, потому что по дороге вас будут осаждать те, до чьих просьб и ходатайств я якобы снизошел. Ведь сказал же он мне: «Просьбами о мелких льготах я не хочу надоедать вашему высокопреосвященству: я прямо вручу список мессиру Франческо Кальво, человеку, безусловно, высоких знаний, или же мессиру дю Буске…» Вот те и на! Не для того я прихватил с собой папского аудитора, двух богословов, двух ученых-юристов и четырех церковнослужителей, чтобы превращать в законнорожденных всех незаконнорожденных сыновей священников, которые отправляют в здешней епархии церковную службу или пользуются бенефициями. Просто чудо какое-то, что после тех льгот, которые предоставил им во время своего пребывания на папском престоле мой святейший покровитель Иоанн XXII… не меньше пяти тысяч льгот, причем добрая половина дарована этим поповским ублюдкам, и, конечно,

они покупали себе индульгенции, что помогло пополнить папскую казну… все-таки и по сию пору встречается столько рукоположенных в сан священнослужителей, которые просто-напросто плод греха…

Как папскому легату, мне дана относительная свобода действий, — к примеру, я имею право на протяжении всего нашего пути предоставить лишь десять льгот, и никак не больше. Две я и предоставил монсеньору Буржскому, и то это уже слишком. Церковным канцеляриям я имею право предоставить двадцать пять льгот, а также и священникам, оказавшим мне личные услуги, а вовсе не тем, кто значится в списках, которые успел мне подсунуть монсеньор Буржский. Так что наградите одного, причем выберите кого-нибудь поглупее и не имеющего никаких заслуг; пусть это ему боком выйдет. Если кто и удивится, отвечайте: «Сам монсеньор особо рекомендовал его». Ну а бенефиции, на кои наша власть не распространяется, иначе говоря, доходы с аббатств, мы никому распределять не будем — ни священнослужителям, ни мирянам. «Монсеньор Буржский слишком много запросил. Его высокопреосвященство не желает давать повода для зависти…» А две-три бенефиции лучше доба-

вим монсеньору Лиможскому, который вел себя скромнее. Неужели я прибыл сюда из Авиньона с единственной целью — осыпать благодеяниями этого монсеньора Буржского, причем к вящей его выгоде. Я не слишком-то уважаю тех, кто локтями расчищает себе дорогу, выставляя напоказ сотни облагодетельствованных ими людей, и пусть епископ Буржский не тешит себя мыслью, что я буду говорить с папой о том, чтобы его сделали кардиналом.

И потом, на мой взгляд, он слишком снисходителен к фратричеллам, да я сам видел, как по коридорам его дворца их немало разгуливало. Пришлось ему напомнить о послании святого отца против этих заблудших францисканцев — мне-то, слава богу, послание это хорошо известно, я сам его составлял, — которые возомнили себя проповедниками, ввергают в соблазн сирых своим нарочито убогим одеянием, а на самом деле ведут опасные речи против христианской веры и подрывают уважение к папскому престолу. Я ему напомнил, что ему дана власть исправлять и карать этих злоумышляющих против церковных канонов, а в случае необходимости просить помощи у светской власти, как то сделал в минувшем году папа Иннокентий VI, с соизволения коего

послали на костер Жана де Шастийона и Франсуа д'Арката, погрязших в ереси... «Ересь, ересь... скорее уж, заблуждения, но их тоже надо понять. Они ни в чем не виноваты. И к тому же времена меняются...» Вот что он мне ответил, монсеньор Буржский. А я недолюбливаю этих прелатов, которые чересчур хорошо понимают дурных проповедников и, вместо того чтобы примерно их покарать, желая снискать себе славу, держат нос по ветру.

Я буду вам весьма признателен, дон Кальво, ежели вы будете приглядывать за нашим другом во время пути, и постарайтесь сделать так, чтобы он не наставлял моих прислужников и не слишком изливал душу монсеньору Лиможскому или другим епископам, которых мы прихватили с собой.

Пускай-ка испытает на собственной шкуре всю прелесть нашего путешествия, хотя мы будем делать небольшие переезды, раз дни становятся все короче, а холод все чувствительнее. Десять-двенадцать лье в день — не больше. Я не хочу разъезжать в темноте. Поэтому-то сегодня мы дальше Сансерра не двинемся. Впереди у нас целый длинный вечер. Прошу вас, остерегайтесь тамошнего вина. Вино душистое и легко пьется,

но крепче, чем кажется поначалу. Сообщите об этом Ла Рю, и пускай он следит за моей свитой. Мне вовсе не улыбается видеть пьянчуг в папской ливрее… Да вы опять побледнели, Кальво! Нет, вы решительно не переносите носилок… Вылезайте, вылезайте-ка поскорее, прошу вас!

Глава II
Королевский гнев

Итак, поездка в Германию сорвалась, к крайней досаде нашего Наваррского. Вернувшись в Эврё, он не перестал баламутить. Прошло три месяца; к концу марта прошлого года… Да-да, я не ошибся, прошлого… или, ежели вам угодно, нынешнего… Но в этом году Пасха пришлась на 24 апреля, значит был еще прошлый год…

Да, знаю, знаю, Аршамбо: Новый год во Франции празднуют первого января, но существует довольно дурацкий обычай вести летоисчисление для архивов, договоров и памятных дат начиная с первого дня Пасхи. И главная глупость, вносящая повсюду путаницу, заключается в том, что официальное начало года отсчитывают от переходящего праздника. Так что в иной год получается по два месяца марта, зато в иные совсем

не бывает апреля… Разумеется, все это нужно изменить, тут я с вами совершенно согласен.

Уже давно об этом идут разговоры, но до сих пор так ничего и не сделано. По-моему, это раз и навсегда должен решить сам святейший папа для всего христианского мира. И поверьте мне, больше всего страдаем от этой путаницы мы, в Авиньоне. Ведь что получается: в Испании, как и в Германии, Новый год приходится на первый день Рождества; в Венеции на 1 марта; в Англии на 25 марта. И до того доходит, что если несколько государств заключили соглашение, скажем, весной, то никто толком не знает, о каком именно годе идет речь. Вообразите себе хоть такой случай: перемирие между Францией и Англией должно было быть подписано перед самой Пасхой; для нашего короля Иоанна это означало бы год 1355-й, а для англичан — 1356-й! О, я целиком с вами согласен, нет на свете ничего глупее этого, но никто не желает отказываться от своих привычек, пусть даже самых отвратительных. Больше того, похоже, что нотариусы в городах и деревнях, прево и все прочие, кто имеет касательство к делам управления, получают удовольствие, барахтаясь во всех этих сложностях, сбивающих с толку простых людей…

Ну так вот, я говорил вам о том, что в конце марта король Иоанн впал в великий гнев… Разумеется, разгневался он на своего зятя. Надо признать честно: поводов для этого у него было предостаточно. На Генеральных штатах Нормандии, собравшихся в Водрее, не смущаясь присутствием королевского сына, нового герцога Нормандского, были сказаны такие резкие слова об Иоанне II, каких никогда раньше и не слыхивали, и произносили их депутаты дворянского сословия, подстрекаемые братьями Эврё-Наваррскими. Особенно, как мне передавали, свирепствовали оба д'Аркура, дядюшка и племянник, а племянник, толстяк граф Жан, тот дошел даже до того, что крикнул: «Клянусь Господом нашим, король этот плохой человек, но и король он тоже плохой, и храни меня от него Господь!» Как вы можете себе без труда представить, все это дошло до ушей Иоанна II. А на Генеральные штаты северных провинций, собранные вскоре после этого, депутаты от Нормандии вообще не явились. Просто не пожелали приехать. Не пожелали впредь участвовать в утверждении налогов и субсидий, а также выплачивать их. Впрочем, на заседании тех же Штатов выяснилось, что налог на соль и обложение всех

торговых операций не принесли того успеха, на который рассчитывали. Тогда решено было учредить с конца года, нынешнего года, налог на ежегодный твердый доход.

Надеюсь, вы сами понимаете, как было встречено предложение отдавать королю часть того, что было получено, нахватано или заработано в течение всего года, а подчас уже и израсходовано… Нет-нет, это не касалось ни Перигора, ни тем более Лангедока. Но я сам знаю: в наших краях немало людей, которые перешли к англичанам, испугавшись, как бы это новшество не распространилось и на них. Налог на доходы совпал со вздорожанием съестных припасов, и почти повсюду начались смуты, прежде всего в Аррасе, где восстал простой люд; и пришлось королю Иоанну II отрядить туда своего коннетабля во главе многих ратных людей, дабы схватить вожаков. Ну конечно, от всех этих событий нашему королю радости было мало. Но какое бы испытание ни выпадало на долю государя, он должен уметь властвовать собой. Однако, как вы сами видите, этого не произошло.

Находился тогда Иоанн II в аббатстве Бопре-ан-Бовези по случаю крестин первенца его светлости Иоанна Артуа, ставшего графом д'Э с тех пор, как

ему пожаловали все владения и титулы Рауля де Бриенна, казненного коннетабля… Да-да, тот самый, сын графа Артуа, на которого он как две капли воды походил внешностью. При виде его люди опомниться не могли — будто перед ними появился не Иоанн, а Робер Артуа, такой, каким был он в возрасте сына. Гигант, шагающая башня. Волосы рыжие, нос короткий, на щеках какая-то щетина вроде свиной, круглая голова вместе с массивной нижней челюстью вросла прямо в могучие плечи. Ему требовалась не простая лошадь, а такая, что потянет ломовые дроги; и когда он в полном воинском облачении врывался в неприятельские ряды, то производил там немалые опустошения. Но на этом сходство отца с сыном заканчивалось. В смысле ума полная противоположность. Отец был коварен, проницателен, быстр и лукав, даже чересчур лукав. А у сынка в голове были вроде бы не мозги, а раствор извести, который к тому же успел застыть намертво. Граф Робер был великий крючкотвор, заговорщик, подделыватель документов, клятвопреступник, убийца. А граф Иоанн, как бы во искупление отцовских грехов, являл собой образец благородства, честности и преданности. На его памяти отец потерпел крах и был изгнан из Франции.

А сам он в детстве просидел недолгое время в узилище вместе с матерью и братьями. Думается мне, что он до сих пор еще не свыкся с мыслью, что не только получил полное прощение, но и отцовское состояние. Взирает он на короля Иоанна как на живое воплощение самого Искупителя. И потом ему ударило в голову, что он тезка короля. «Мой кузен Иоанн… кузен мой Иоанн…»

Так после каждых двух слов они вставляли «кузен Иоанн». Люди моего поколения, хорошо знавшие Робера Артуа, даже если им пришлось пострадать от его происков, не без чувства какого-то сожаления смотрели на бледную копию, оставленную нам отцом. Ах, граф Робер, первый во Франции гуляка! При жизни этого неистового, казалось, все вокруг гремело. Когда он скончался, на наш век словно опустилась тишина. Даже на поле битвы сейчас будто стоит не такой гул и звон… Сколько бы ему было теперь лет? Постойте, постойте-ка… что-то около семидесяти. О, он был достаточно крепок, чтобы дожить до такого возраста, если бы случайная стрела, пущенная английским лучником, не сразила его при осаде Ванна… Можно только добавить, что, сколько ни старается сын доказать свою преданность короне, ей от этого не лучше, чем от отцовских измен.

Ибо не кто другой, как Иоанн Артуа, перед самыми крестинами, как бы желая отблагодарить государя за столь великую честь — его кумом стал сам король, шутка ли, — сообщил Иоанну II о заговоре в Конше или, во всяком случае, о том, что он считал заговором.

Конш — ах да, я вам об этом уже говорил — это один из замков, некогда отобранных у Робера Артуа и переданных по настоянию Карла Наваррского в его собственность, что оговорили в Валоньском соглашении. Но в замке оставалось еще несколько старых слуг семейства Артуа, до сих пор привязанных к нему…

Так вот, Иоанн Артуа нашептывал королю… правда шепот его можно было слышать в другом конце залы… что король Наваррский созвал, мол, в Конше знатных сеньоров, в числе коих находятся его брат Филипп, оба д'Аркура, епископ Ле Кок, Фрике де Фрикан, многие нормандские сеньоры, связанные с Карлом старинной дружбой, и еще Гийом Марсель, а может, вовсе не Гийом, а Жан… Ну словом, кто-то из племянников прево Марселя… и один сеньор, Мигэль д'Эспелетт, прибывший из Пампелюна, и что они сговорились напасть врасплох на короля Иоанна, как только тот прибудет в Нормандию, и убить его. Была ли

то правда, была ли то ложь? Я лично склоняюсь к мысли, что доля правды тут была и что хотя заговорщики не собирались немедленно перейти от слов к делу, но такое намерение у них все-таки было. Ибо это вполне в духе Карла Злого, который после несостоявшейся поездки к императору Священной империи в расчете с его помощью добиться величия и славы не побрезговал бы, разумеется, свершить злодеяние и повторить сцену убийства в «Свинье Тонкопряхе». Только когда мы предстанем пред лицом Господа в день Страшного суда, станет ведома вся истина.

Наверняка известно лишь одно: в Конше много и долго спорили о том, нужно ли ехать в Руан во вторник на среднепостной неделе на пиршество, которое решил устроить дофин, герцог Нормандский, пригласивший к себе самых знатных нормандских рыцарей, дабы попытаться договориться с ними. Филипп Наваррский советовал ответить отказом. Карл же, напротив, был склонен принять приглашение. Старик Годфруа д'Аркур, тот, что колченогий, был против и твердо отстаивал свое мнение. Впрочем, он поссорился еще с покойным королем Филиппом VI, так как ему пришлось поступиться своей любовью ради выгодного короне брака, и он громогласно заявлял,

что он-де отныне не связан с королем Франции никакими узами вассальной зависимости. «Мой король — это король Англии», — твердил он.

Зато его племянник, тучный граф Жан, который, учуяв сладостный запах готовящегося пира, был рад лететь хоть на другой конец государства, высказался за приглашение. В конце концов Карл Наваррский сказал, что пусть каждый поступает, как ему угодно, что он лично в Руан поедет вместе с теми, кто того пожелает, но что в то же время вполне одобряет тех, кто не намерен появляться у дофина, и что это даже благоразумно, ибо не следует загонять разом всех охотничьих псов в одну нору.

И об этом тоже было донесено королю Иоанну, который теперь уже мог с полным основанием говорить о настоящем комплоте. Карл Наваррский, мол, сказал, что, ежели король Иоанн отойдет в лучший мир, он тотчас же доведет до всеобщего сведения свой недавний договор с королем Англии, по которому он признает последнего королем Франции, и отныне сам Карл будет вести себя как его наместник во французском государстве.

Королю Иоанну других доказательств не требовалось. А ведь первая забота любого правителя

как можно тщательнее проверять любой навет, и самый обоснованный, и самый невероятный. Но нашему королю такое благоразумие чуждо. Он жадно глотает, как сырые яйца, все, что может насытить его злобу. Человек зрелого ума сначала все выслушал бы, а потом попытался бы собрать сведения и свидетельства, касающиеся этого тайного договора, о котором ему только что стало известно. Если бы все эти предположения подтвердились и истина стала очевидной, он имел бы немалое преимущество перед своим зятем.

Но он с первого же слова поверил наветчикам и, весь пылая гневом, вошел в церковь. Там, как мне передавали, он вел себя весьма странно, не слушал молитв, отвечал священнику невпопад, оглядывал всех свирепым взором и швырнул на стихарь дьякона уголек, выпавший из кадила, на которое он сам наткнулся. Уж не знаю, как там прошли крестины отпрыска дома Артуа, но полагаю, что при таком крестном отце следовало бы заново окрестить сего новорожденного христианина, иначе вряд ли на него снизойдет милосердие Божие.

А едва закончилась церемония, разразилась настоящая буря. Еще ни разу в жизни монахи обители Бопре не слыхивали таких страшных

проклятий и ругательств, будто в королевскую глотку вселился сам дьявол. Начался дождь, но король, казалось, даже не заметил непогоды. Целый час, а то и больше, хотя уже протрубил рог, сзывающий к трапезе, он кис под дождем, крупно шагая по монастырскому дворику, шлепая по лужам в своих пуленах с острыми загнутыми вверх носками… нелепейшая, между нами говоря, обувь, которую они оба с красавцем Карлом Испанским ввели в моду… и за ним, хочешь не хочешь, тащилась под ливнем его свита — мессир Никола Брак, его мажордом, и мессир де Лоррис, и прочие камергеры, и маршал д'Одрегем, и гигант Иоанн Артуа, все совсем одуревшие и растерянные. За одну только эту прогулку бархата, парчи и мехов было испорчено на несколько тысяч ливров.

— Во Франции нет иного хозяина, кроме меня! — вопил король. — Он у меня сдохнет, этот мерзавец, эта нечисть, этот хорек вонючий; он, видите ли, снюхался со всеми моими врагами, желая извести меня. Ну нет, я сам его раньше уничтожу. Вырву из его груди сердце собственными руками и велю разрубить его зловонное тело — слышите? — на столько частей, чтобы хватило подвесить по кусочку на ворота каждого его зам-

ка, которые я имел слабость ему пожаловать.

И чтобы никогда никто слова за него не посмел замолвить, и чтобы никто из вас и в мыслях у себя не держал уговаривать меня с ним помириться. Впрочем, вскоре и поздно будет предстательствовать за этого изменника, а Бланка с Жанной могут хоть целые сутки напролет слезы лить; пусть все узнают, что во Франции нет иного хозяина, кроме меня!

И он все время повторял «нет иного хозяина, кроме меня» так, словно ему самому требовалось убедить себя, что он и впрямь король.

Наконец, отдышавшись и чуть успокоившись, он осведомился, какого именно числа устраивает его осел-сынок пир в честь своего зятя, этой змеи подколодной.

— Пятого апреля, в день святой Ирины…

— Пятого апреля, в день святой Ирины, — повторил он, как будто даже такой пустяк ему трудно было запомнить. С минуту он постоял неподвижно, только тряс головой, как лошадь, и капли дождя летели во все стороны с его русых, прилипших к черепу волос.

— Пятого апреля я еду охотиться в Жизор, — заявил он наконец.

Его приближенные давно привыкли к таким

резким скачкам в его настроении и поэтому решили, что король уже истощил свой гнев в бурных тирадах и что этим все и кончится. Но потом произошли эти события на пиршестве в Руане… Да-да, конечно, вы слышали о них, но лишь в самых общих чертах. А я расскажу вам об этом поподробнее, но только завтра, потому что сейчас уже поздновато и мы, должно быть, скоро приедем.

Вы заметили, что в разговорах дорога как-то сокращается. Нынче вечером у нас останется времени только поужинать и лечь спать. Завтра прибудем в Оксер, где меня ждут новости и из Авиньона, и из Парижа. Ах да, еще одно слово, Аршамбо. Будьте начеку, если с вами вступит в беседу монсеньор Буржский, он теперь тоже едет с нами. Он мне сильно не по душе, даже сам не знаю почему, но только мне запало в голову, что он снюхался с Капоччи. А если уж вам случится разговаривать с монсеньором, упомяните мельком имя Капоччи, только имя, а потом скажите мне, как он, на ваш взгляд, к этому отнесся.

Глава III

На Руан

И впрямь, король Иоанн II отправился в Жизор, оставался там недолго, только захватил с собой сотню копейщиков из местного гарнизона. После чего прямиком поскакал по дороге на Шомон и Понтуаз, дабы создалось впечатление, будто он возвращается в Париж. С собой он взял второго своего сына, герцога Анжуйского, и своего брата, герцога Орлеанского, который скорее походил на его сына, ибо двадцатилетний герцог Орлеанский был на семнадцать лет моложе короля и только на два года старше дофина.

Себе в свитские король взял маршала д'Одрегема, младших своих камергеров Жана д'Андризеля и Ги де Ла Роша, потому что несколькими днями раньше он на время уже отрядил в Руан Лорриса и Никола Брака — под тем предлогом, что посылает их к дофину, чтобы те следили за приготовлениями к пиршеству.

Кто же еще скакал вслед за королем? О, целое воинство, не меньше. Прихватил он с собой также братьев Артуа — Карла и того другого… «моего кузена Иоанна», который всю дорогу держал своего коня прямо у крупа королевского скакуна и на целую голову возвышался над кавалькадой,

и еще Луи д'Аркура, который был на ножах со своим братом Жаном и дядей Годфруа и поэтому был на стороне короля. Не буду перечислять вам ловчих и егерей, всех этих Коркийре, Юэ де Бантов и прочих Модетуров. А как же иначе! Король отправляется на охоту и желает, чтобы все было по-королевски пышно, вскакивает на своего любимого неаполитанского резвого коня, выезженного для охоты. Нет ничего удивительного и в том, что он велит следовать за собой личной своей охране под командованием двух молодцов, известных силачей Ангеррана Лалемана и Перрине ле Бюффля. Эта парочка играючи вывернет вам руку из предплечья, просто поздоровавшись с вами… Очень даже хорошо, что король, как и всегда, окружен собственной стражей. И у святого отца есть также своя стража. И у меня есть тоже охрана, как вы, надо полагать, догадались, видите, они скачут рядом с моими носилками. Я уже так к ним пригляделся, что теперь их даже не замечаю, зато они не спускают с меня глаз.

Единственное, что могло бы насторожить человека, да и то если бы только он пригляделся получше к этим сборам, — почему, спрашивается, у королевских слуг, а именно у Тассена и Пупара Цирюльника, были приторочены к седлам

шлем, подшлемник, большой меч — словом, все воинские доспехи короля. А также и присутствие смотрителя непотребных заведений по имени Гийом… Гийом — не помню, как дальше, — который не только наблюдал за порядком во всех злачных местах тех городов, куда прибывает король, но и творил суд именем короля. С тех пор как на престол взошел Иоанн II, работы правосудию заметно прибавилось.

Вместе с ловчими герцогов, пажами, слугами всех этих высокородных сеньоров и копейщиками, захваченными из Жизора, кавалькада насчитывала более двух сотен всадников, причем большинство было вооружено копьями, что, согласитесь, несколько громоздкая компания для того, чтобы загнать одну косулю.

Король направился в сторону Шомон-ан-Вексена, но никто не видел, чтобы он проехал через этот городок. Его войско рассеялось по дороге, как по мановению волшебной палочки. Король махнул прямо, полями, и вышел на север, к Гурнэ-ан-Брей, где и задержался ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы прихватить с собой еще и графа Танкарвилля, пожалуй, единственного из знатных сеньоров Нормандии, который остался верен французской короне

лишь потому, что совсем перегрызся с д'Аркурами. Представьте себе, как обомлел Танкарвилль, который поджидал их во главе своих двадцати рыцарей и рассчитывал встретить маршала д'Одрегема, но никак не короля.

— Разве сын мой, дофин, не пригласил вас завтра к себе в Руан, мессир граф?

— Пригласил, государь, но я получил письменный приказ от мессира маршала о том, что он прибудет осмотреть в наших краях крепости, и это избавило меня от созерцания многих ненавистных мне лиц…

— Так вот, придется вам все-таки ехать в Руан, Танкарвилль, и я объясню вам, что мы там собираемся делать.

После чего вся кавалькада под покровом ночной тьмы поворачивает на юг, не торопясь, рысцой, проезжает всего три-четыре лье, но прибавьте к ним еще восемнадцать, которые они проскакали с утра, и останавливается на ночлег в хорошо укрепленном замке, стоящем в стороне на опушке Лионского леса.

Соглядатаи короля Наваррского, ежели таковые там у него имелись, сильно затруднились бы определить, куда именно направляет свои стопы король Франции по этой извилистой дороге и че-

го ради… Король, по всей вероятности, собрался на охоту… король осматривает крепости…

Еще до зари поднимается король, сжигаемый лихорадочным нетерпением, торопит своих людей, вскакивает в седло и на сей раз прямо через лес несется к Лиону. Те, кому хотелось позавтракать, съесть ломоть хлеба с куском сала, вынуждены, не останавливая лошадей, действовать одной рукой, в которой зажаты поводья, так как в другой руке они сжимают копье.

Густ и обширен Лионский лес — тянется он больше чем на семь лье. Однако проехали его вскачь всего за два часа. Маршал д'Одрегем уверял, что при такой гонке они наверняка доберутся до места назначения слишком рано. Вполне можно было бы придержать лошадей, чтобы дать им помочиться. Не говоря уже о том, что и он тоже… Мне сам маршал рассказывал: «Да простит меня ваше преосвященство, но мне даже в почки ударило… А ведь я как-никак маршал, командующий армией, и не могу себе позволить мочиться, сидя в седле, на манер простых лучников, которые так и поступают, ежели им уж очень приспичит, и плевать им, что они обольют ленчик. Тогда я и говорю королю:

— Государь, незачем нам так торопиться, все

равно солнце раньше положенного срока не взойдет… И потом, лошадям необходимо дать помочиться.

А король мне отвечает:

— Нет, вы только послушайте, какое послание я отправлю папе, объясню ему, чем руководствовался я, верша суд, и тем предварю все недоброжелательные россказни о моих действиях, я напишу: «Слишком долго, святой отец, Я, как истый христианин, с подобающей таковому кротостью и желая сохранить мир, сносил козни недоброго моего родича, который преступал все наши соглашения, и именно из-за него обрушились на наше королевство все беды и несчастья. А ныне он замыслил самое страшное, порешив лишить меня жизни. И ради того, чтобы не дать свершиться этому новому злодеянию…»

И, пришпорив своего коня, ничего кругом не замечая, мчится через равнину, примыкающую к лесу, и на всем скаку влетает в новый лес. Д'Одрегем мне рассказывал потом, что никогда не видел у короля такого лица: глаза безумные, тяжелый подбородок дрожит, дрожит и жиденькая бородка.

Вдруг Танкарвилль подъезжает на своей кобыле вплотную к королю и весьма учтиво осве-

домляется, не намерен ли его величество попасть в Пон-де-л'Арш?

— Да нет, нет! — кричит король. — Я еду в Руан!

— В таком случае, государь, боюсь, что вы туда этой дорогой не попадете. Надо было взять направо, вон у того поворота.

Тогда король поворачивает своего неаполитанского скакуна и подымает кавалькаду в галоп, во всю глотку выкрикивая слова команды, требуя, чтобы все следовали за ним, что выполняется не совсем гладко; но по-прежнему, к великому огорчению маршала, разрешения помочиться король не дает…

Скажите-ка, дорогой племянник, вы чувствуете, что наши лошади как-то странно идут? Вот и я тоже почувствовал.

Брюне, Брюне! Одна из моих лошадей захромала… Только не вздумайте отвечать: «Нет, монсеньор…» Лучше-ка посмотрите сами. Задняя… А я уверен, что хромает она на правую переднюю ногу… Велите остановить носилки… Ну что? Ага! Подкову потеряла? А с какой ноги?.. Ну вот, кто был прав? У меня поясница чувствительнее, чем ваши глаза.

Выйдем, Аршамбо, из носилок. Пока лошадей

будут менять, мы с вами немножко пройдемся... Правда, ветерок свежий, но не злой. А что это, там, видите, вдали? Вы не знаете, Брюне? Сент-Аманд-ан-Пюизе!.. Вот именно так утром 6 апреля, Аршамбо, король Иоанн завидел Руан.

Глава IV
Пиршество

Вы, дорогой Аршамбо, никогда не видели ни Руана, ни замка Буврей. А замок этот огромный — шесть, не то семь башен, расположенных кольцом на равном расстоянии друг от друга, замыкают собою красный двор. Построил его полтораста лет назад король Филипп Август, желая защитить город и его порт, а также наблюдать за Сеной в ее нижнем течении. Этот Руан благодаря своему местоположению является как бы окном в Англию, но одновременно и надежным от нее заслоном. Морские приливы доходят до каменного моста, соединяющего две части герцогства Нормандского.

Донжон помещается не как обычно, в середине замка, просто это одна из башен, только повыше и помощнее. У нас в Перигоре тоже встречаются такие замки, но у наших зодчих богаче фантазия.

Здесь собрался весь цвет нормандского рыцарства, все разодетые в пух и прах. Прибыли шесть десятков сеньоров, и при каждом по меньшей мере один конюший. Уже трубачи протрубили к столу, как вдруг оруженосец мессира Годфруа д'Аркура, весь взмокший от бешеной скачки, бросился к графу Жану и сказал, что, мол, дядя спешно требует его к себе и умоляет немедленно покинуть Руан. Все это было передано в достаточно веских выражениях, так, словно бы мессир Годфруа прослышал что-то недоброе. Жан д'Аркур счел нужным последовать совету дяди и бочком-бочком стал выбираться из толпы гостей и уже благополучно достиг нижней ступеньки донжона, заполнив почти весь проем лестницы собственными жирами, будто вниз скатывали бочки, но тут его перехватил Робер де Лоррис и загородил путь с наиприветливейшей улыбкой: «Мессир граф, мессир, да неужели вы собрались уезжать? Но ведь его высочество дофин ждет только вас, чтобы начать пир! Вы будете сидеть по левую его руку!» Боясь оскорбить дофина, толстяк д'Аркур повиновался и отложил свой отъезд. Ладно, уедет после пира. И со спокойной душой поднялся по лестнице донжона. Ибо стол дофина славился повсюду: все знали, что гостю

там предложат воистину чудеса из чудес, а Жан д'Аркур нагулял себе сала вовсе не потому, что питался цветочным нектаром.

И впрямь, что за пиршество! Не зря готовиться к нему помогал дофину Никола Брак. Пирующие, те, что были там, и те, кому удалось улизнуть целыми и невредимыми, надолго запомнили его. Шесть столов были накрыты в большой круглой зале. Со стен свисали наподобие ковров зеленые гирлянды, столь яркие и свежие, что казалось, обед устроили прямо в лесу. Перед окнами огромные канделябры с зажженными свечами, так как дневной свет скупо проникал в проемы, как проникают солнечные лучи сквозь чащу деревьев. За каждым приглашенным стольник, в обязанности коего было нарезать мясо, — у сеньоров поважнее свой собственный, а у всех прочих — из челяди дофина. Орудовали ножами с ручками черного дерева с лилиями из эмали и золота. Эти приборы подавали во время поста. Таков уж был обычай французского двора — ножи с ручками из слоновой кости подавали только к пасхальному столу. Ибо здесь не упускали случая отметить четверг на среднепостной неделе. Рыбные паштеты, рыбные рагу, карпы, щуки, лещи, лини, семга и окуни, яичницы, домашняя

птица, дичь — короче, опустошили все садки и птичьи дворы, перебаламутили всю воду в реке. Пажи, прислуживавшие при поварне, цепочкой выстроились снизу доверху лестницы, передавая из рук в руки серебряные или позолоченные блюда, на которых повара, мастера по изготовлению соусов и жаркого, раскладывали, возводили целые бастионы и заливали густыми соусами кушанья, приготовленные в печах поварской башни. Шестеро виночерпиев наливали гостям всевозможные вина — бонское, мерсо, арбуазское и туренское… Ах, у вас тоже, Аршамбо, разыгрался аппетит! Надеюсь, нам подадут в Сен-Совере хороший ужин, теперь уже недалеко…

Дофин сидел во главе почетного стола, одесную его Карл Наваррский, ошуюю — Жан д'Аркур. Наследник престола был в синем переливчатом одеянии из брюссельского сукна; на голове у него красовалась шапочка того же сукна, богато расшитая жемчугом в форме листочков. Я вам еще не успел описать наружность его высочества дофина… Сам длиннющий, плечи широкие, но костлявые, лицо тоже длинное, большой нос с горбинкой, взгляд, не разберешь, то ли внимательный, то ли мечтательный; верхняя губа тонкая, нижняя мясистая, подбородок срезан-

ный.

Кое-кто утверждал, хотя установить это трудно, что он похож на своего предка Людовика Святого, который тоже был очень высок и чуть сутулился. Во французской королевской семье среди полнокровных здоровяков время от времени появляются вот такие, как дофин.

Кухонная челядь, чинно выступая, вносила одно блюдо за другим, и сам дофин указывал, на какой из шести столов его подать, отдавал таким образом особую честь каждому своему гостю — то графу д'Этампу, то сиру де Ла Ферте, то мэру Руана, и все это делалось с большим достоинством и учтивостью, сопровождалось улыбкой либо жестом, правда только левой руки. Ибо, как я вам уже говорил, правая рука у него была отекшая, багровая и причиняла ему немало страданий, потому-то он и старался двигать ею как можно меньше. Поиграет с полчаса в шары, и рука тут же раздуется. Ох, для государя это большой недостаток… Ни охотиться, ни воевать. Отец даже не скрывал, что презирает сына за эту его немощь. Как, должно быть, завидовал бедняк-дофин всем этим сеньорам, которых он сейчас угощал, все этим сирам де Клер, де Гравиль, дю Бек Тома, де Мэнмар, де Бракмон, де Сент-Бев или д'Удето

— этим здоровякам-рыцарям, уверенным в себе, шумным бахвалам, гордящимся тем, что так ловко орудуют палицей или мечом. Должно быть, он даже толстяку д'Аркуру завидовал, который при его многопудовых жирах мог и норовистого коня объездить, и быть опасным турнирным бойцом; но особенную зависть пробуждал в его душе сир де Бивилль, своего рода знаменитость, вокруг которого, стоило ему только появиться в обществе, тут же собирался кружок слушателей, кои требовали рассказов о славном его подвиге. Да-да, тот самый… и до нас тоже его слава дошла… Так вот, единым взмахом меча он перерубает турка пополам на глазах короля Кипра. Правда, передавая этот эпизод, он с каждым разом чуть-чуть увеличивает силу удара. Скоро он будет уверять, что вместе с турком перерубил заодно и его лошадь.

Но вернемся к дофину Карлу. Он знает, этот юноша, к чему обязывает его высокое рождение и титул, знает, что родился он по воле Господней, дабы занять указанное Провидением место, стать выше всех людей, и что ежели переживет своего отца, то станет королем. Знает, что будет управлять как суверен целым государством; знает, что будет представлять собою Францию. И ежели он

в глубине души скорбит, что Господь, вознеся его столь высоко, не дал ему одновременно и крепость, что помогла бы ему легче нести бремя власти, он тем не менее знает, что обязан возместить свою телесную слабость обходительностью, внимательным обращением с другими людьми, обязан зорко следить не только за выражением своего лица, но и за своими словами, не снимать маски благожелательности и уверенности, чтобы не позволить никому забыть, кто он таков, приобрести таким путем величественные повадки государя. А это не так-то легко, когда тебе всего восемнадцать и еще еле-еле пробивается бородка!

Надо сказать, что его начали натаскивать на роль правителя еще с самого раннего детства. Было ему всего одиннадцать лет, когда его деду, королю Филиппу VI, удалось наконец выкупить у Юмбера II Вьеннского Дофине. Таким образом, как бы отчасти восполнялось поражение при Креси и потеря Кале. Я вам уже рассказывал, как долго пришлось вести эти переговоры… Ах, не рассказывал, а я думал… Стало быть, вы хотите знать об этом деле во всех подробностях?

Ну так вот. Дофин Юмбер был преисполнен тщеславия и в той же мере отягощен долгами. Ему не терпелось продать часть своих владений,

но при том лишь условии, что в кое-каких уступаемых им областях будет продолжать править он сам, а его Генеральные штаты останутся независимыми. Поначалу он решил сговориться с графом Прованским, королем Сицилии, да заломил непомерную цену. После чего он обратился к Франции, и вот тут-то мне поручили вести с ним переговоры. По первому соглашению он уступал корону Дофине, но только после своей кончины… единственного своего сына он потерял… и будьте любезны выдать ему часть денег, это двадцать тысяч флоринов, наличными! Остальные ему выплачивались как пожизненный пенсион. С такими капиталами он мог жить в свое удовольствие. Но вместо того, чтобы расплатиться с долгами, он растратил все, что получил, отправившись в поисках ратной славы сражаться с турками. А когда кредиторы насели на него, пришлось ему продать и последнее — другими словами, право на корону Дофине. В конце концов он согласился и на это, потребовав взамен еще двести тысяч флоринов и двадцать четыре тысячи ливров ренты, но продолжал разыгрывать из себя этакого гордеца. На наше счастье, друзей у него не оставалось.

Это как раз я, могу со всей скромностью при-

знать, нашел путь к соглашению, не ущемив чести ни самого Юмбера, ни его подданных. Король Франции не присвоит себе титула дофина Вьеннского, его будет носить старший внук короля Филиппа VI, а затем старший сын этого внука. Таким образом, жители Дофине, бывшие до сих пор независимыми, вроде бы и останутся таковыми, коли у них будет принц, который станет править только ими. По этой причине наследник французского престола Карл, получив жалованную грамоту в Лионе, всю зиму 1349-го и весну 1350 года пробыл в своих новых владениях. Кортежи, приемы, празднества. И повторяю, было ему всего только одиннадцать лет. Но ребенок наделен удивительным талантом входить в любую роль, и посему наш Карл привык, что встречают его в городах восторженными кликами, что при появлении его все склоняются перед ним в поклоне; привык восседать на троне, на ступеньки которого слуги торопливо кладут шелковые подушки, чтобы ноги принца не болтались в воздухе; привык принимать вассальные присяги от сеньоров; с важным видом выслушивать жалобы городов. Всех он поражал своим достоинством, любезностью, той разумностью, с какой он задавал свои вопросы. Люди умилялись: ребенок, а

такая серьезность. На глаза старых рыцарей и их престарелых супруг навертывались слезы, когда это дитя заверяло их в своей любви и дружбе, хвалило их заслуги и заявляло им, что рассчитывает на их верность. Любое, даже самое пустяковое слово правителя становится предметом долгого обсуждения, так как тот, к кому оно обращено, сразу приобретает вес. Но если правитель этот еще совсем мальчик, правитель в миниатюре, чего только не накрутят вокруг его самой обыкновенной фразы! «В такие годы притворяться не умеют!» Да нет, он притворялся и даже, как все мальчишки, находил удовольствие в этом притворстве. Притворяться сочувствующим каждому, хотя бы тот глядел на него волком и щерил зубы; притворяться, что рад полученному презенту, даже если ты получил уже точно такие же презенты от четырех предыдущих посетителей; притворяться, что ты всевластен, когда городской совет приносит тебе жалобу, что не так, мол, взимается дорожная пошлина или затянулась какая-то общинная тяжба… «Ваши права будут восстановлены, если против вас поступили несправедливо. Я потребую произвести самое тщательное расследование». Слишком скоро он уразумел, что решительный тон, каким он

требует произвести расследование, благотворно действует на жалобщиков, а его самого, в сущности, ни к чему не обязывает.

Тогда он еще не знал, что будет так слаб здоровьем, хотя в Гренобле тяжело проболел несколько недель. Как раз во время этого путешествия он узнал о смерти матери, потом о смерти бабки, и в скором времени ему стало известно, что раз за разом вторично женился сначала его дед, а потом и отец, еще до того, как ему сообщили, что и сам он вступит в брак с Жанной Бурбонской, его кузиной и ровесницей. Что и произошло в начале апреля в Тэн л'Эрмитаж при огромном скоплении духовенства и знати и с превеликой помпой… Было это шесть лет назад.

Чудо еще, что вся эта пышность не вскружила голову наследнику престола и не сбила его с толку. В нем лишь пробудилась общая для всех принцев семейства Валуа склонность к роскоши и транжирству. Воистину дырявые у них руки! Подавай им немедленно то, что им приглянулось. Хочу того, хочу этого. Покупать, приобретать все самое красивое, самое редкостное, самое занятное, а главное, самое дорогое — животных для своего зверинца, ювелирные изделия изысканной работы, роскошные книжки с рисунками;

безудержно тратить, жить в покоях, обтянутых шелком и золотой кипрской тканью; разукрашивать свои одежды драгоценными каменьями, стоившими целое состояние, блистать — вот что для нашего дофина, как, впрочем, и для всех его родичей, признак власти и свидетельство величия в собственных своих глазах. И какая-то наивность, унаследованная ими от их предка — первого Карла, брата Филиппа Красивого, облеченного почетным титулом императора Константинопольского, этого неуемного шмеля, который перебаламутил всю Европу и одно время замахнулся даже на престол императора Священной империи. Таких расточителей еще свет не видывал… У них у всех это в крови. Когда кто-нибудь из Валуа заказывает себе обувь, ему подавай разом две дюжины, сорок или даже пятьдесят пар, для короля, для дофина, для его высочества Орлеанского. Правда и то, что их дурацкие башмаки, так называемые пулены, не приспособлены к грязи, заостренные носки, размокнув, теряют форму, шитье тускнеет, и всего за каких-нибудь три дня губится творение искуснейших мастеров, гнувших целый месяц спину в мастерской Гийома Луазеля в Париже. Я это знаю потому, что там шьют и мне красные кардинальские туфли,

но я обхожусь всего восемью парами в год. И посмотрите сами, как я всегда аккуратно обут.

А так как тон задает королевский двор, сеньоры и горожане на последние деньги накупают себе галуны, меха, драгоценности, разоряются тщеславия ради. Идет настоящее соперничество тщеславцев. Вы подумайте только, на шапочку, в которой, как я вам уже говорил, дофин пировал в Руане, пошло 8 унций крупного жемчуга и 8 унций мелкого, и заплачено за нее было Бельоме Тюрелю триста, а быть может, и триста двадцать экю! Чего же после этого удивляться, что мошна у всех оскудела, коли каждый тратит больше, чем у него есть?

Ага, вот и мои носилки. Лошадей перепрягли. Ну что ж, сядем…

Впрочем, есть один человек, которому финансовые затруднения пошли на пользу и который здорово сумел нагреть себе руки на королевской казне, — я имею в виду мессира Никола Брака, первого мажордома, бывшего также казначеем и смотрителем монетного двора. Он создал небольшую банкирскую компанию, вернее сказать, жульническую компанию, которая скупала королевские долговые обязательства, а также долговые обязательства его родичей то за две тре-

ти, то за половину, а порой всего за одну треть их стоимости. Дело, в сущности, нехитрое. Какой-нибудь поставщик двора приперт, что называется, к стенке, потому что ему два года, а то и больше не платили ни гроша и ему нечем расплатиться со своими компаньонами или не на что купить сырье. Вот он и идет к мессиру Браку и размахивает у того под носом своими долговыми расписками. А мессир Брак держится важно, собой красавец, одет очень строго и слова лишнего не скажет. Нет и не было ему равных в умении сбить с человека спесь. Кредитор по дороге бушует: «На сей раз он меня выслушает, а я ему такое скажу, выложу все от начала до конца…» А глядишь, через минуту он уже лопочет что-то, просит. А мессир Брак цедит слова, и они, словно холодные дождевые капли из водосточной трубы, долбят голову просителя: «Заламываете слишком высокие цены, впрочем, как и все, кто работает на королевский двор… высокопоставленные клиенты дают вам множество заказов, и вы наживаетесь на них слишком крупно… если король затрудняется платить, это означает, что все финансы казны идут на военные нужды, пеняйте на горожан, таких, как прево Марсель, которые ропщут и не соглашаются платить налоги… Но коли вам

нежелательно оставаться и впредь поставщиком двора, тогда больше заказов вы не получите…» И когда кредитор уже окончательно образумится, вдоволь навздыхается, вдоволь натрясется от страха, тогда мессир Брак ему скажет: «Ежели вы и впрямь находитесь в стесненных обстоятельствах, попытаюсь помочь вам. Могу нажать на одну меняльную контору, там у меня есть друзья, и, надеюсь, они возьмут у вас ваши долговые обязательства. Попытаюсь, слышите, только попытаюсь добиться того, чтобы они скупили их у вас, но лишь за две трети стоимости, а вы дадите расписку, что получили всю сумму сполна. Компании возместят, когда Господь Бог соблаговолит пополнить нашу казну… если Он вообще соблаговолит ее пополнить. Но смотрите никому ни слова, а то все в государстве бросятся ко мне с подобными просьбами. Помните, я делаю вам огромное одолжение».

После чего, спрятав свою треть в ларец, Брак при случае ввернет королю: «Сир, мне было тяжело при мысли, что этот неприятный долг может затронуть вашу честь и ваше имя, тем паче что кредитор попался несговорчивый и угрожал устроить скандал. Поэтому из любви к вам я погасил этот долг из собственных своих средств». И

так, пользуясь своим положением королевского фаворита, он получал ото всех и каждого. Но так как, с другой стороны, именно он ведал всеми дворцовыми расходами, его приходилось подмасливать при каждом новом заказе и подносить дорогие подарки. Короче, сей честнейший муж не брезговал ничем.

В торжественный день пиршества он не так хлопотал о том, чтобы склонить Генеральные штаты Нормандии к уплате налогов, как вел переговоры с мэром Руана, мэтром Мюстелем, о выкупе долговых обязательств у руанских купцов. Ибо счета короля, которые накопились со времени его последнего посещения Руана и даже раньше, не были до сих пор оплачены. Что же касается дофина, то, став наместником короля в Нормандии, даже прежде чем стать герцогом Нормандским, он делал один заказ за другим и тоже не платил ни по одному счету. И мессир Брак занялся своим обычным делом — уверял мэра, что, мол, только по дружбе к нему и из уважения, которое он питает к славным жителям Руана, он намеревается положить себе в карман треть их дохода. Даже больше, ибо он собирался уплатить им теперешними франками — иначе говоря, монетой, ставшей гораздо тоньше, чем

прежде, и благодаря кому? Только ему, коль скоро именно от него зависело изменение веса монет. Так давайте же говорить откровенно, если Генеральные штаты жалуются на королевских сановников, они имеют к тому кое-какое основание. Подумать только, что мессира Ангеррана де Мариньи некогда повесили за то, что он однажды «отгрыз» кусочек франка, и обвинили его в этом десять лет спустя. Да он же святой по сравнению с теперешними казначеями!

Кто же присутствовал еще в Руане, заслуживающий упоминания, кроме обычных служителей и Миттона Дурачка, собственного карлика дофина, который резвился и скакал вокруг столов, тоже обряженный в шапочку, расшитую жемчугом… Жемчуг для карлика! Ну скажите, разве гоже тратить таким манером золото, которого к тому же еще и нет? Дофин велел сшить ему платьице из полосатого сукна, которое специально для него заказали в Генте… Я глубоко не одобряю то, что карликов превращают в шутов. Им велят буффонить, их пинают ногой в зад, выставляют на посмешище. В конце концов, они тоже создания Божьи, пусть даже, если можно так выразиться, Господу Богу они не слишком удались. Но ведь это лишняя причина проявлять в отношении их

хоть немножко милосердия. Но если появляется на свет карлик, то семья считает это милостью Всевышнего. «Смотрите, смотрите, какой же крохотный! Только бы не вырос. Тогда мы сможем продать его какому-нибудь герцогу, а то и самому королю!»

Нет, по-моему, я перечислил вам всех сколько-нибудь примечательных гостей, всех этих Фрике де Фриканов, Гравилей, Мэнмаров, да, да, я их уже упоминал… И, кроме вышеназванных, разумеется, самый важный из всех — король Наваррский.

Дофин уделял ему все свое внимание. Впрочем, это было не столь уж трудно, имея по левую руку от себя толстяка д'Аркура. Этот если и беседовал с кем, то лишь с любимым своим блюдом, а когда он поглощал горы снеди, к нему бесполезно было обращаться с разговорами.

Но оба Карла, Нормандский и Наваррский, два кузена, говорили и говорили. Или, вернее, говорил один Наваррский. После неудавшейся поездки в Германию они ни разу еще не виделись; и это было вполне в духе Наваррского — стараться вновь подчинить себе младшего родича, для чего в ход было пущено все: и лесть, и уверения в пылкой дружбе, и воспоминания о веселых приключениях, и забавные рассказы.

Пока стольник Наваррского Колен Дублель расставлял перед своим господином блюда с едой, он, смеющийся, обаятельный, задорный, непринужденный — «сегодня мы празднуем нашу встречу; большое спасибо тебе, Карл, за то, что ты дал мне случай показать, как я к тебе привязан; я так скучал с тех пор, как ты от меня отдалился…» — напоминал ему их бесшабашные развлечения минувшей зимой и любезных горожанок, которых они разыгрывали в зернь, кому достанется блондинка, кому брюнетка… «Ла Кассинель нынче в тягости, и никто не сомневается, что от тебя…» — потом переходил к ласковым упрекам: «Ну зачем ты рассказал отцу о наших планах? Конечно, ты получил за это герцогство Нормандское, ловко сделано, должен признаться. Но останься ты со мной, твоим сейчас было бы все французское королевство…» — и уж под самый конец ввернул излюбленную фразу: «Ну признайся же, ты был бы лучшим королем, чем он!»

Потом как бы мимоходом осведомился о ближайшей встрече дофина с королем Иоанном: назначена ли уже точная дата и состоится ли их свидание в Нормандии?.. «Я краем уха слышал, что сейчас он охотится неподалеку от Жизора».

Но дофин вел себя гораздо сдержаннее, чем

раньше, казался более скрытным. Разумеется, все такой же приветливый, но как-то настороже и отвечает на все пылкие изъявления чувств только улыбками да кивками.

Внезапно раздался грохот посуды, заглушивший голоса пирующих. Миттон Дурачок, вздумав подражать стольникам, притащил на самом большом, какое только нашлось в замке, серебряном блюде жареного дрозда, но вдруг внезапно выронил блюдо из рук. А сам, разинув рот, тыкал пальцем по направлению к двери.

Добрые нормандские рыцари так и покатились со смеху, сочтя эту шутку здорово забавной, тем паче что были они уже сильно под хмельком. Но смех тут же застрял у них в глотке.

Ибо в проеме двери появился маршал д'Одрегем в полном воинском облачении; воздев меч острием вверх, он крикнул пирующим громовым голосом, как кричал на поле брани:

— Пусть каждый остается на том месте, где сидит, ежели не желает кончить дни свои от этого меча!

Ах, носилки уже остановились… Стало быть, прибыли на место, а я даже не заметил. Ну да ладно, доскажу вам после ужина.

Глава V
Взяты под стражу

Большое спасибо, мессир аббат, премного вам обязан… Нет-нет, уверяю вас, ничего больше не надо… Разве что попрошу подкинуть в очаг несколько поленьев… Со мной посидит мой племянник, мы тут с ним побеседуем. Да, спокойной ночи, мессир аббат. Благодарю вас, вы возносили столь горячие молитвы о святейшем отце, а также обо мне, смиренном служителе церкви… Передайте мою признательность всей вашей благочестивой общине… Это для меня великая честь. Охотно дам вам свое благословение; да пошлет вам Господь Бог доброго здравия…

О-хо-хох! Да только позволь я ему, он бы нас до полуночи продержал, этот аббат! Наверняка родился в день пресвятого Болтуна…

Итак, на чем же мы остановились? Не буду тянуть… Ах да, маршал с воздетым мечом в руках.

А за маршалом ворвалась дюжина лучников, грубо отшвырнув со своей дороги виночерпиев и слуг; за ними следовали Лалеман и Перрине ле Бюффль, а позади них шествовал король Иоанн II

собственной персоной, в полном рыцарском облачении, со шлемом на голове, и сквозь прорези в забрале глаза его метали молнии. По обе стороны его держались Шайуэль и Креспи, оба тоже из его личной охраны.

— Попался в ловушку! — воскликнул Карл Наваррский.

А в открытую дверь, теснясь, прорывалась королевская свита, в числе коей Карл сразу узнал своих заклятых врагов — братьев Артуа, Танкарвилля…

Король прошествовал прямо к парадному столу. Нормандские сеньоры приподнялись было со скамей, чтобы отвесить ему почтительный поклон, но король взмахнул обеими руками, оставайтесь, мол, сидеть на местах.

Тут он схватил своего зятя за меховой воротник, приподнял с кресла и крикнул, словно в бочку, через опущенное забрало:

— Подлый предатель! Ты недостоин сидеть рядом с моим сыном. Клянусь памятью своего отца, я не буду ни есть ни пить, пока ты жив!

Стольник Карла Наваррского, Колен Дублель, видя, что его хозяина грубо схватили за воротник, в безумном порыве выхватил свой нож, желая сразить короля. Но Перрине ле Бюффль опередил

его и заломил ему руку за спину.

Тут и король отпустил воротник Наваррского и, на миг забыв свои царственные повадки, ошалело уставился на простого стольника, осмелившегося поднять на него руку.

— Возьмите-ка и этого мальчишку вместе с хозяином! — приказал он.

Королевская свита дружно устремилась вперед, но братья Артуа очутились в первом ряду, и между ними, этакими двумя здоровенными дубами, Карл Наваррский казался тоненькой орешиной. Теперь уже всю залу заполнили вооруженные с ног до головы люди, казалось, сама роскошная обивка стен щетинится копьями. Стольники испуганно жались к стенам, будто хотели влипнуть в каменную кладку. Тут поднялся дофин и произнес:

— Сир, отец мой, сир, отец мой…

Карл Наваррский попытался защитить себя, оправдаться:

— Ваше величество, я ровно ничего не понимаю! Кто вам наговорил на меня? Клянусь Господом, что никогда, никогда, поверьте мне, ради бога, я не замышлял измены ни против вас, ни против его высочества, вашего сына. Если найдется во всем мире человек, который осмелится

меня обвинить, пусть обвинит перед вашими пэрами, и, клянусь, я опровергну все эти гнусные наветы и, ручаюсь, посрамлю его.

Даже на краю гибели звонкий голос его не дрогнул и слова легко текли с его уст. А ведь и впрямь, какой он был маленький, щупленький по сравнению с этими здоровенными вояками, но, надо признать, язык у него был хорошо подвешен.

— Я тоже король, ваше величество, мое королевство, не спорю, много меньше вашего, но, так или иначе, со мной следует обращаться как с королем.

— Ты граф д'Эврё, ты мой вассал, и ты к тому же изменник!

— Я ваш добрый кузен, супруг вашей дочери, и никогда никаких злодеяний не совершал. Правда, по моему приказу убили Карла Испанского, но он был моим врагом, и он меня оскорбил. Я раскаялся в своем деянии. Мы с вами примирились, и вы сами соизволили дать нам всем грамоты о помиловании.

— В тюрьму предателя! Довольно с меня твоей лжи! А ну-ка, заточите его в узилище, обоих заточите! — крикнул король, указывая на Карла Наваррского и его стольника. — И этого прихватите тоже, — добавил он, ткнув своей латной

рукавицей во Фрике де Фрикана, которого приметил только сейчас, но помнил, что именно он был зачинщиком убийства в «Свинье Тонкопряхе».

Когда стража и лучники увели всех троих в соседнюю залу, дофин бросился к ногам короля. Как ни был он напуган невиданной еще вспышкой гнева отца, он сохранил достаточно благоразумия, дабы оценить все последствия таких действий, по крайней мере для него самого.

— О сир, отец мой, ради Господа Бога, не покрывайте меня позором! Что обо мне скажут? Я пригласил короля Наваррского и его баронов к себе на пир, а вы так обошлись с ними. Ведь про меня скажут, что я их предал. Молю вас, ради Бога, успокойтесь и отмените ваше приказание!

— Это вы сначала успокойтесь, Карл! Вы не знаете того, что знаю я. Все они подлые предатели, и их злодеяния в скором времени выйдут на свет божий. Нет-нет, вы не знаете того, что знаю я!

С этими словами Иоанн II выхватил палицу из рук стоявшего рядом стражника и изо всех сил так хватил ею графа д'Аркура, что, попадись под этот удар кто-нибудь другой, а не этот обложенный жиром толстяк, ему наверняка переломило бы плечо.

— Встать, изменник! Отправляйтесь тоже в

тюрьму! И вряд ли вы такой уж ловкач, что сумеете от меня ускользнуть!

И так как толстяк д'Аркур, оглушенный ударом, не успел достаточно быстро вскочить на ноги, король схватил его за ворот, потянул к себе с такой силой, что порвал всю его одежду до самой рубашки.

Когда растерзанный Жан д'Аркур, которого бесцеремонно подталкивали в спину лучники, проходил мимо своего младшего брата Луи, он что-то злобно шепнул ему, но что — никто не расслышал, на что брат его ответил неопределенным жестом, могущим означать все, что угодно: я-то что могу сделать, я камергер короля… ты ведь сам на это пошел, тем хуже для тебя…

— Сир, отец мой, — твердил свое герцог Нормандский, — вы поступаете дурно, обращаясь так с этими достойными людьми.

Но Иоанн II не слушал больше сетований сына. Он переглядывался с Никола Браком и Робером де Лоррисом, которые незаметно указывали ему кое-кого из приглашенных.

— И этого в тюрьму! И того тоже! — командовал король, толкая мессира де Гравиля и тыча кулаком в бок Мобюэ де Мэнмара: эти двое тоже были причастны к убийству Карла Испанского, но два

года назад получили грамоты о помиловании с собственноручной подписью короля. Как видите, ненависть эта не переставала его жечь.

Миттон Дурачок, взгромоздившись на каменную скамью, выбитую в амбразуре окна, делал какие-то знаки своему хозяину дофину, то показывая на стоявшие на сервированном столике блюда, то на короля, а потом тыкал себе пальцем в рот… что означало: «Давай, мол, им есть».

— Отец мой, — обратился к королю дофин, — не желаете ли вы, чтобы вам подали поесть?

Мысль карлика оказалась весьма удачной — только благодаря ей вся Нормандия целиком не очутилась в темнице.

— Да, конечно же, черт побери! И верно, я совсем проголодался! Знаете ли, Карл, я прискакал сюда через Лионский лес и с самого утра не слезал с лошади — торопился наказать этих злодеев. Велите подавать!

И он жестом приказал снять с себя шлем. Из-под шлема показалось багровое лицо, слипшиеся волосы, взмокшая от пота борода. Усевшись на место сына, он, очевидно, уже забыл свою клятву не есть и не пить, раз Карл Наваррский все еще живет на нашей земле.

Пока королю спешно ставили прибор, пока

наливали ему вино, пока разогревали паштет из щуки, правда уже початый, пока подносили ему еще не тронутого и еще теплого лебедя, в зале и на лестнице началась суета — пленников вели вниз, а слуги бегали взад и вперед из поварни в залу, так что многим нормандским сеньорам, пользуясь суматохой, удалось незаметно скрыться, в том числе мессиру де Клеру, который тоже числился среди убийц красавца Карла Испанского. А раз король, видимо, не собирался никого больше брать под стражу, лучники беспрепятственно их пропустили.

Свита короля буквально умирала от голода и жажды. Иоанн Артуа и Танкарвилль исподтишка поглядывали на заманчивые яства. Они ждали, когда король пригласит их к столу. Но так как король не приглашал, д'Одрегем оторвал ножку жареного каплуна, стоявшего на краешке стола, и, стоя, начал есть. Людовик Орлеанский хмурился. Нет, и впрямь его братец не слишком-то печется о тех, кто ему верно служит. Поэтому он без приглашения уселся на еще не остывшее кресло Карла Наваррского и заявил:

— Мой долг составить вам компанию, брат мой!

Тут только король со снисходительно-рав-

нодушным видом пригласил своих родичей и баронов за стол. И в одну минуту все разместились на скамьях и, не обращая внимания на заляпанные соусами скатерти, жадно набросились на объедки. Велико дело, если слуги не успели переменить им серебряную посуду. Хватали все подряд, что под руку попало, начинали со сладкого пирога и закусывали его шпигованной уткой, а облитого жиром гуся запивали раковым супом. Жаркое так и доели неразогретым. Лучники — кто довольствовался просто хлебом, а кто пробирался на поварню в поисках чего-нибудь посытнее. Стражники допивали из кубков недопитое вино.

А король, вытянув под столом ноги, обутые в охотничьи сапоги, сидел, погруженный в свои зловещие думы. Гнев его еще не утих, казалось, напротив, что еда лишь сильнее разожгла его. А ведь ему вроде было чему радоваться. Удалось же ему блестяще сыграть роль праведного судьи, настоящего короля! Наконец-то одержал он победу; на будущем сборище ордена Звезды он отдаст своим писцам приказ занести в анналы истории сей славный подвиг: «Вот как его величество король Иоанн II противостоит изменникам, коих он схватил в замке Буврей…» И вдруг он с удивле-

нием обнаружил, что в зале не осталось никого из нормандских сеньоров, и забеспокоился. Он им не доверял. Ну как они взбунтуются, подымут руанцев и освободят заключенных?.. В этом сказалась вся натура нашего Иоанна, этого горе-провидца. В первые минуты зревшего долго гнева он рвал и метал, забыв обо всем на свете; потом даже не потрудился довести свои действия до конца; потом навоображал себе бог знает что, как всегда не считаясь с тем, что было в действительности, но отделаться от своих наваждений уже не мог. А теперь ему виделся Руан, охваченный мятежом, как был охвачен мятежом Аррас всего месяц назад. Он велел призвать к себе мэра. Но мэр Мюстель словно сквозь землю провалился. «Но он же только сейчас был здесь!» — заметил Никола Брак. Мэра схватили во дворе замка. Он предстал перед уплетавшим за обе щеки королем весь бледный, так как ему-то съеденная пища впрок не пошла. Он выслушал королевский приказ: запереть все городские ворота, и пусть глашатаи кричат на всех улицах, чтобы жители оставались сидеть по домам; запрещается появляться на улицах любому, будь то горожанин или виллан, и под любым предлогом. Словом, настоящее осадное положение, сигнал о закрытии крепостных ворот

и тушении огней среди бела дня. Неприятельская армия, захватившая с боем город, действовала бы именно так.

У мэра Мюстеля хватило мужества оскорбиться. Руанцы не сделали ничего плохого, чтобы применять к ним такие строгие меры…

— Как бы не так! Вы отказываетесь платить налоги, поддались на уговоры этих злодеев… Но я спутал их карты. И теперь, клянусь святым Дени, они больше уже не смогут вас подстрекать!

Глядя вслед удалявшемуся мэру, дофин с горечью думал, что все его усилия, все его кропотливые многомесячные труды сведены на нет и теперь уже ничто не примирит его с норманд-цами. Сейчас все поголовно будут против него, и дворянство, и горожане. Ну кто, скажите на милость, поверит, будто он не причастен к этой ловушке? Да-а, отец и впрямь отвел ему скверную роль.

А потом король потребовал, чтобы срочно послали за Гийомом… Ах, как же дальше… ну, за Гийомом… фамилия его вылетела у меня из головы, а ведь я ее знал… Ну, словом, за своим смотрителем злачных мест. И тут все поняли, что король решил незамедлительно расправиться со своими пленниками.

— Те, кто не умеет сохранять рыцарскую честь, вряд ли нуждаются в том, чтобы им сохранили жизнь, — изрек король.

— Верно, дражайший кузен Иоанн, верно, — подтвердил Иоанн Артуа, сей монумент человеческой глупости.

Ну, скажите сами, Аршамбо, а это, по-вашему, рыцарский поступок — обрушить целое воинство на безоружных людей, схватить их да еще воспользоваться своим сыном как приманкой? Кто же спорит, Карл Наваррский был скор на подлости. Но разве душа короля Иоанна II, подо всеми его царственными повадками, намного рыцарственнее была она?

Глава VI
Приготовления

Гийом а ла Кош… наконец-то вспомнил! А ведь сколько бился. Смотритель непотребных заведений… Странная все-таки должность, основанная еще при Филиппе Августе. Для личной своей охраны он создал отряд стражников, причем все они были гигантского роста и называли их ribaldi regis — королевские гуляки. Глава этих молодцов, таким образом, стал именоваться rex ribaldorum

— королем гуляк, то ли это была инверсия родительного падежа, то ли просто игра слов. Номинально он начальник стражников, таких, как, скажем, Перрине ле Бюффль и прочие; и он же каждый вечер в тот час, когда садятся за ужин, обходит королевские покои и проверяет, все ли лица, входившие сюда днем, но не имеющие права ночевать во дворце, удалились восвояси. Но, по-моему, я вам уже говорил, главная его обязанность — следить за всеми злачными местами того города, где пребывает король. Другими словами, он первым делом заглядывает и проверяет все непотребные дома Парижа, а в Париже их больше, чем надо, не говоря уже о веселых девицах, которые работают на свой страх и риск на улицах, отведенных им для этого промысла. А также игорные дома, где ведутся азартные игры. Во всех этих злачных местах легче, чем где бы то ни было, напасть на след жуликов, воров, раздевающих ночных прохожих, изготовителей фальшивых бумаг и наемных убийц, а также разведать под рукой пороки людей, зачастую принадлежащих к высшей знати, хотя по благородному их виду ни в чем таком их и заподозрить нельзя.

Так что смотритель непотребных заведений стал как бы главой особой стражи. У него повсюду

свои соглядатаи. Он держит в руках, а подчас и поддерживает всю эту мразь — завсегдатаев таверн, и они щедро снабжают его самыми различными сведениями, а при случае указывают и приметы подозрительных лиц. Ежели кому требуется выследить путешественника, обшарить его дорожный сундучок или узнать, с кем он связан, можешь смело обращаться к его услугам. Нельзя сказать, чтобы его так уж обожали, но зато все боятся. Я вам все это говорю на тот случай, когда вы будете при дворе. С ним лучше не ссориться.

Наживает он немало денег, слишком выгодная у него должность. Следить за шлюхами, наблюдать за притонами — дело весьма и весьма доходное. Помимо того что ему полагается деньгами и натурой при королевском дворе, он обложил еще налогом по два су в неделю все злачные места и содержательниц непотребных домов. Не правда ли, недурной налог, и собирать его куда легче, чем любую пошлину на соль. А заодно он взимает по пять су с каждой неверной жены… ну конечно, с тех, которых удалось уличить. И в то же самое время он поставляет королевскому двору прелестниц. Ему платят за то, чтобы он видел все, а порой за то, чтобы он ничего не видел. И к

тому же, когда король объезжает свои владения, не кто иной, как он, приводит в исполнение королевские приговоры, вынесенные маршальским судом. Он же устанавливает процедуру казни; и в этом случае вся одежда казненного, все, что было на нем в момент взятия под стражу, идет ему. А так как обычно гнев короля обрушивается не на какую-нибудь мелюзгу, а на людей богатых и знатных, доставшуюся ему одежду и драгоценности тоже нельзя сбрасывать со счета.

А тот день в Руане — да это же неслыханная удача! Отрубить голову одному королю и пяти сеньорам разом! Никогда еще на долю смотрителя непотребных заведений со времен Филиппа Августа не выпадала такая ценная пожива. И еще великолепнейший случай быть замеченным королем. Поэтому-то он и лез из кожи вон. Казнь — это всегда зрелище… Ему велели раздобыть с помощью мэра шесть повозок, ибо король потребовал на каждого преступника по отдельной повозке. Ну и чудесно, кортеж получится еще внушительнее. Повозки уже ждали во дворе замка, и впряжены в них были мохноногие першероны. Надо было также раздобыть палача… потому что руанского заплечных дел мастера обнаружить не сумели, а может быть, в свое время его просто

позабыли назначить. Тогда смотритель выволок из темницы злобного негодяя, некоего Бетрува, Пьера Бетрува — вот видите, его имя мне запомнилось, сам не знаю почему, — у которого на совести было четыре убийства, так что он неплохо набил себе на этом деле руку и, безусловно, должен был удачно справиться с порученным ему делом в обмен на помилование, пожалованное ему королевской грамотой. Дешево отделался за свои преступления этот самый Бетрув… А будь в Руане свой городской палач…

Надо было также найти священника, но этого товара сколько угодно, и даже выбирать лучшего незачем… достаточно взять первого попавшегося капуцина из соседней обители…

Пока шли все эти приготовления, король Иоанн держал Малый совет все в том же пиршественном зале, который слегка привели в порядок…

Смотрите-ка, собирается дождь. Теперь зарядит на целый день. Ну да ладно, нас греют меха, в жаровне полно угля, есть леденцы, красное подогретое вино с пряностями, так что нам эта мокредь не опасна; продержимся как-нибудь до самого Оксера. А знаете, мне приятно будет взглянуть на Оксер, освежить в памяти былое…

Итак, король держал совет, и на этом совете го-

ворил лишь он один. Брат его герцог Орлеанский молчал, так же как и сын его граф Анжуйский. Маршал д'Одрегем сидел мрачнее тучи. Король без труда прочел на лицах своих советников, даже тех, кто жаждал крови Карла Наваррского, что они не одобряют его решения казнить Карла без суда, вот так, на скорую руку. Слишком уж все это напоминало казнь бывшего коннетабля Рауля де Бриенна, чья судьба была решена тоже в приступе необузданного гнева, хотя причины его немилости так и остались неизвестными, и казнь его справедливо сочли плохим началом царствования.

Один лишь Рауль де Лоррис, первый камергер короля, был безраздельно на его стороне и тоже требовал немедленного отмщения; но его устами говорила скорее прирожденная подлость, нежели подлинное убеждение. Многие месяцы находился он в опале, ибо во время подписания Мантского соглашения чересчур рьяно, по мнению короля, защищал интересы наваррцев. Так что приходилось Лоррису делом доказывать теперь свою преданность французской короне.

Никола Брак, человек ловкий и умевший при случае направить мысли короля по желаемому руслу, заговорил, отвлекая внимание Иоанна

от Карла Наваррского, о Фрике де Фрикане. Он настаивал на том, чтобы оставить его в живых, пусть временно, дабы подвергнуть его суровому допросу по всей форме. Нет никакого сомнения, что губернатор Кана, если, конечно, за него хорошенько взяться, откроет немало весьма любопытных тайн. А если мы не сохраним жизнь хотя бы одному из пленников, как узнаем мы о широко разветвленной сети заговора?

— Что ж, вполне разумная мысль, — согласился король. — Пусть сохранят жизнь этому самому Фрике.

Тут маршал д'Одрегем распахнул окно во двор и крикнул королевскому смотрителю: «Хватит пяти повозок!» — и для верности даже высунул растопыренную пятерню: «Пя-ять!» И одну повозку отправили обратно в мэрию.

— Если мудрость велит нам сохранить жизнь Фрикану, то будет еще более мудро сохранить жизнь его господину, — вдруг проговорил дофин.

После первых минут смятения дофин уже успел успокоиться; даже лицо его приняло привычно вдумчивое выражение. Сейчас на карту была поставлена его честь. Всеми возможными способами стремился он спасти от казни своего кузена. Иоанн II повелел Иоанну Артуа повторить вслух

для сведения присутствующих все, что знает тот о заговоре. Но одно дело — говорить наедине с королем, а совсем другое — на Малом совете, поэтому «наш дражайший кузен Иоанн» замялся. Ежели вы оговариваете человека, нашептывая на ухо королю, то все звучит убедительно. А вот чтобы повторить то же самое в присутствии десяти человек, тут вся ваша уверенность куда-то исчезает. В конце концов, ведь все это лишь слухи. Один старый слуга видел… другой старый слуга слышал…

Но если даже в глубине души герцог Нормандский не мог не признать справедливости обвинений, выдвинутых против Карла Наваррского, то подозрения все же казались ему недостаточно обоснованными.

— А по-моему, мы уже достаточно знаем о моем негодяе зяте, — сказал король.

— Нет, отец мой, мы ровно ничего не знаем, — возразил дофин.

— Да неужели, Карл, вы такой тугодум? — гневно воскликнул король. — Разве вы не слышали, что это вредоносное животное, наш подлый родич без чести и совести, задумал умертвить нас в ближайшее время, сначала меня, а потом вас?! Ибо и вас тоже он намерен был лишить жизни.

Неужели же вы воображаете, что после меня вы сможете воспрепятствовать дурным замыслам вашего зятя, который уже задумал увезти вас с собой в Германию, то есть действовал во вред мне? Он ни более ни менее как домогается нашего положения и нашего трона. Или вы по-прежнему без ума от него и даже не желаете ничего понимать?

Тут дофин заговорил уверенным и решительным тоном:

— Я все отлично понимаю, отец мой, но мы не имеем ни доказательств, ни признаний самих обвиняемых.

— Каких еще доказательств вам требуется, Карл? Вам, стало быть, недостаточно того, что говорил наш кузен, а он человек честный? Чего вы, в сущности, ждете? Чтобы вас убили, чтобы вы захлебнулись в собственной крови, чтобы вас искололи кинжалами, как искололи моего бедного Карла Испанского; такие вам доказательства, что ли, нужны?

Но дофин стоял на своем:

— Не спорю, подозрения весьма и весьма веские; однако пока что у нас лишь одни подозрения. Быть на подозрении еще не значит быть преступником.

— Для короля, который обязан остерегаться преступной руки, подозреваемый уже преступник! — завопил Иоанн II, и вся кровь бросилась ему в голову. — Вы, Карл, говорите не как король, а как университетский богослов, обложившийся толстенными томами.

Но юный Карл не сдавался.

— Если долг короля состоит в том, чтобы беречь свою жизнь, не следует монархам рубить друг другу головы. Карл д'Эврё — помазанник Божий и коронован на царство Наваррское. Он ваш зять; пусть даже он человек вероломный, но все-таки он ваш зять. Кто же после этого станет чтить священную особу монарха, коли один король посылает другого на плаху?

— Да он сам же был зачинщиком! — крикнул король.

Тут вмешался маршал д'Одрегем и тоже высказал свое мнение:

— Но в данном случае, сир, в глазах всего света именно вы будете зачинщиком.

А с маршалом, Аршамбо, так же как и с коннетаблем, не так-то легко справиться. Вы сами наделяете его всей полнотой власти, а потом он пользуется дарованной ему привилегией, чтобы вам противоречить. Маршал д'Одрегем старый

вояка… хотя, в сущности, не такой уж он старый, даже моложе меня… Словом, этот человек всю жизнь молча повиновался и видел достаточно глупостей, которые совершались на его глазах, а возражать он не смел. Теперь он решил отыграться.

— Ладно бы мы поймали всех лис в одну ловушку, — продолжал он. — Но Филипп Наваррский на свободе, и он тоже отчаянная голова. Отправите на тот свет старшего, его тут же заменит младший и тоже начнет за милую душу договариваться с англичанами. И не забудьте, что он куда сноровистее как рыцарь и куда горячее в бою.

Теперь и Людовик Орлеанский тоже поддержал дофина и маршала, заявив королю, что до тех пор, пока он будет держать Карла Наваррского в темнице, он будет крепко держать в руках и его вассалов.

— Затейте против него тяжбу, и пусть она тянется как можно дольше; сделайте всеобщим достоянием черноту его замыслов, пусть судят его пэры Франции, и тогда ни один человек не посмеет упрекнуть вас за вынесенный вами приговор. Когда отец нашего дражайшего кузена Иоанна совершил всем известный проступок, наш покойный отец устроил над ним публичный

суд в самой торжественной обстановке. И когда наш двоюродный дед Филипп Красивый узнал о недостойном поведении своих невесток, суд над ними был недолог, но истина была установлена в ходе опросов, и приговор вынесен публично.

Все это пришлось сильно не по душе королю Иоанну, который снова впал в ярость:

— Хорошенькие примеры, а главное, весьма пригодные для нашего дела… Вы, видно, смеетесь надо мной, брат мой! Великое судилище в Мобюиссоне касалось бесчестья и распутства в кругу королевской семьи, а что до Робера Артуа, то именно из-за того, что его просто изгнали из Франции — да простит меня наш дражайший кузен Иоанн, — а не схватили тут же на месте и не лишили жизни, он навязал нам войну с Англией.

Его высочество Людовик Орлеанский, недолюбливавший старшего брата и при каждом удобном и неудобном случае старавшийся пойти ему наперекор, не полез за словом в карман. Я точно знаю из рассказов присутствовавших, что он так прямо и сказал королю:

— Сир, брат мой, следует ли напомнить вам, что Мобюиссон нам ничуть не повредил? Не будь суда в Мобюиссоне, где наш покойный дед Карл

Валуа, упокой, Господи, в мире душу его, сыграл не последнюю роль, короче, не будь этого Мобюиссона, теперь на французском престоле сидели бы не вы, а не кто иной, как Карл Наваррский. А что касается войны с Англией, то граф Робер, возможно, и старался ее разжечь посильнее, но, в сущности, прибавил он к английскому воинству лишь одно копье — то есть свое. Кстати, война с Англией тянется уже восемнадцать лет…

От этого неожиданного выпада король, казалось, дрогнул. Он повернулся к дофину и, сурово глядя на него, произнес:

— А ведь правда, восемнадцать лет, как раз столько, сколько вам, Карл! — словно бы упрекая сына за это совпадение.

Тут в поддержку Орлеанскому вновь выступил коннетабль д'Одрегем и проворчал:

— Нам куда легче было бы выдворить прочь англичан, ежели бы французы не дрались вечно между собой.

С минуту король сидел молча со злобным лицом. Надо быть воистину слишком уверенным в себе, чтобы настаивать на решении, которое не одобряют верные твои слуги. Вот здесь-то и сказывается нрав правителя. Но король Иоанн II не обладал необходимой твердостью, просто он

был упрямец.

Никола Брак, в совершенстве изучивший искусство пользоваться минутным молчанием, вдруг наступающим в любом королевском совете, решил дать Иоанну возможность отойти с честью, не поступившись гордостью и оставшись при своей злобе.

— Сир, разве мгновенная смерть под топором палача достаточное искупление за все совершенные прегрешения? Вот уже два с лишним года его высочество Карл Наваррский чинит вам зло. А вы за все это хотите покарать его так легко? В вашей воле заточить его в темницу, и тогда он поймет, что значит умирать медленно, день за днем. И, кроме того, ручаюсь, что его сторонники непременно сделают попытку вызволить его из узилища. Вот тогда-то вы сможете схватить тех, кто сегодня шутя вырвался из ваших сетей. Таким образом, у вас будет великолепный предлог расправиться с зачинщиками открытого мятежа…

Король одобрил этот совет и заявил, что и впрямь негоже, чтобы его предатель-зять сразу искупил все свои грехи, пусть подольше помучается.

— Отложим его казнь. Только бы не пришлось в этом раскаяться. Ну а теперь ускорим казнь

остальных. Довольно болтовни, мы и так потеряли много времени.

Со стороны могло показаться, будто Иоанн II боится, как бы у него не отторговали еще чью-нибудь голову.

Д'Одрегем снова кликнул из окна королевского смотрителя и молча показал ему четыре пальца. Но очевидно, будучи не слишком уверен в том, что его правильно поняли, отрядил во двор еще и лучника, чтобы тот на словах передал — отослать еще одну повозку.

— Поторапливайтесь! — твердил король. — Повелите избавиться от этих предателей.

Избавиться… странное словечко, которое могло бы озадачить любого, кто не изучил нрава этого странного монарха! Но именно в этих выражениях он приказал покарать виновных. Он не говорил: «Избавьте меня от этих предателей», что звучало бы вполне понятно, а говорил: «Повелите избавиться от этих предателей…» А что это, в сущности, значило в его устах? Избавиться от них с помощью палача? Избавиться от них, отпустив их на волю? Или, возможно, это была просто оговорка, на которой он настаивал, ибо в припадках гнева в голове его все путалось и болтал он любое, что подвернется на язык.

Я вам, Аршамбо, передаю все это так, будто я лично присутствовал при этой сцене. Но дело в том, что меньше чем через три месяца, другими словами, в июле, когда все это еще было свежо в памяти людей, мне об этом наиподробнейшим образом рассказывали сами участники: и маршал д'Одрегем, и его высочество Орлеанский, и сам дофин, равно как и Никола Брак; причем каждый, разумеется, особенно пространно излагал то, что говорил лично он. Таким манером мне удалось восстановить всю сцену, хочу надеяться, в достаточной мере достоверно и даже в мельчайших подробностях. И я тут же отписал все это папе, до которого доходили лишь разноречивые и неполные слухи. А в таких делах подробности, даже мельчайшие, представляют огромную важность, хотя многие придерживаются обратного мнения, ибо именно по таким мелочам узнается характер человека. Лоррис и Брак — оба одинаково алчны до денег, и ради наживы оба способны пойти на бесчестье. Но Лоррис натура мелкая в отличие от Никола Брака, весьма благоразумного политика…

А дождик все льет и льет… Брюне, где мы? А-а, в Фонтенуа… Как же, отлично помню: Фонтенуа входил в мою епархию. Здесь-то и произо-

шла знаменитая битва, имевшая для Франции важнейшие последствия. Фонтанетум, как его называли в древности. В 840-м, а может быть, в 841 году Карл и Людовик Немецкий нанесли здесь поражение брату своему Лотарю, после чего подписали Верденский договор. И отсюда пошло французское королевство, наконец-то на веки вечные отделившееся от Империи… При таком дожде разглядеть ничего нельзя. Впрочем, и глядеть-то здесь не на что. Порою вилланы, работая в поле, находят то рукоятку меча, то проржавевший насквозь шлем, пролежавший в земле пять столетий… Передайте людям, Брюне, что мы здесь не остановимся.

Глава VII
Поле Милосердия

Вновь водрузив на голову шлем, король Иоанн II вскочил в седло, а за ним ехал верхом один лишь маршал д'Одрегем в простом металлическом подшлемнике. К чему нацеплять на себя воинские доспехи, раз никакой опасности не предвидится. Д'Одрегем был не из тех, кто любит не к месту похваляться своей воинской доблестью. Ежели королю угодно было надеть шлем,

увенчанный короной, дабы присутствовать при том, как четырем людям отсекут голову, что ж, его дело.

Все остальные, начиная с самого знатного сеньора и кончая последним лучником, отправятся к месту казни пешком. Таково было решение короля, ибо он мог часами самолично разрабатывать порядок какой-нибудь церемонии, вплоть до деталей, обожал вносить новшества в мелочи, вместо того чтобы все проходило по старинным кутюмам.

Оттого что приказ плохо поняли и в спешке отослали лишнюю повозку, их осталось всего три. Вслед за повозками шли Гийом… да нет, никакой он не Гийом и вовсе не Кош, я все спутал — Гийом ла Кош действительно существовал, но так звали королевского слугу при опочивальне, но что-то вроде ла Коша… Может, ла Гош, ле Гош, ла Танш, ла Планш… Не уверен даже, что его звали Гийом; впрочем, это не так уж важно… Итак, вслед за повозками шествовал королевский смотритель и новоявленный палач с мучнисто-белой, как репа, пролежавшая всю зиму в подвале, физиономией, тощенький, как мне передавали, и отнюдь не похожий на злодея, повинного в четырех смертоубийствах; а за ними поспешал капуцин и, по

обыкновению всех капуцинов, все время теребил вервие из конопли, коим они перепоясывают себе чресла.

С непокрытой головой и связанными за спиной руками вышли из донжона осужденные на казнь. Первым шагал граф д'Аркур, в белом своем плаще, разодранном королем вместе с рубашкой. Видны были его плечи, розоватая поросячья кожа и жирная грудь. В углу двора наспех вострили на точильном камне топоры.

Никто не глядел на осужденных, никто не осмеливался на них глядеть. Кто уставился на плиты, которыми был вымощен двор, кто пристально рассматривал стену замка. Да и кто бы осмелился в присутствии самого короля бросить дружеский или хотя бы только сочувственный взгляд на этих четырех, идущих на смерть? Даже те, что стояли в заднем ряду, и те упорно не поднимали глаз, боясь, что сосед потом скажет, что он, мол, видел на лице такого-то… Большинство в глубине души порицали короля. Но одно дело в душе, а другое — открыто показать это… Многие из них были связаны с графом д'Аркуром давней дружбой, охотились вместе, состязались на копьях, трапезничали за его столом, славившимся своим обилием. Сейчас ни один, казалось, ничего этого

не помнил; крыши замка и апрельские облачка неотвратимо притягивали к себе их взоры. До того притягивали, что, когда Жан д'Аркур обвел присутствующих заплывшими жиром глазами под тяжелыми складками век, он не обнаружил ни одного лица, коему мог бы хоть взглядом поведать горе свое. Даже брату, особенно родному брату! Ну конечно, коли старшего брата-толстяка не будет на свете, кому передаст король все его титулы и все его добро?

На первую повозку взгромоздили того, кто пока еще был графом д'Аркуром. И взгромоздили не без труда. Шутка ли, полтора квинтала, да еще руки связаны. Понадобилась четверка стражников, чтобы подтолкнуть его к повозке, погрузить на нее. На дно повозки была брошена охапка соломы — и тут же стояла плаха.

Когда наконец Жан д'Аркур, весь растерзанный, очутился в повозке, он повернулся к королю, как бы желая ему что-то сказать, к королю, застывшему точно статуя в седле, к королю в кольчуге, в стальном шлеме с золотой короной, к королю, праведному судье, который всем своим видом желал показать, что всякая живая душа в королевстве подлежит его власти и что самый знатный, самый богатый сеньор любой провин-

ции в мгновение ока может стать ничем, будь на то его монаршая воля. И д'Аркур промолчал.

Сира де Гравиля подсадили на вторую повозку, а на третью вместе вскарабкались Мобюе де Мэнмар и Колен Дублель, тот самый стольник, что поднял на короля свой кинжал. И этот Дублель, казалось, говорил всем и каждому: «Вспомни убийство Карла Испанского, вспомни харчевню „Свинья Тонкопряха"». Ибо все толпившиеся здесь во дворе понимали, что только месть подвигла Иоанна II на эту быструю и грозную расправу: во всяком случае, если это и не относилось к графу д'Аркуру, то было бесспорно в отношении трех остальных. Карать людей, которых всенародно простили… Дабы действовать так, надо суметь вновь разжечь свою злобу, к тому же слишком явно. Все это, разумеется, заслуживало бы отповеди папы, и отповеди самой суровой, не будь папа столь слабым…

А короля Наваррского грубо подтащили к окошку донжона, дабы он мог насладиться разыгравшимся во дворе зрелищем.

Гийом, тот, который вовсе не ла Кош, повернулся к маршалу д'Одрегему: все, мол, готово. Маршал повернулся к королю: все, мол, готово. Король взмахнул рукой. И кортеж двинулся.

Во главе шествия — отряд лучников, в железных шлемах и кожаных рубахах под латами, они шагали грузно, с трудом переставляя тяжелые поножи. За ними, сердито хмурясь, — маршал верхом на коне. За ним снова лучники и, наконец, три повозки. А замыкали шествие королевский смотритель, тощенький палач и грязненький капуцин.

А позади король, как влитой, на своем боевом коне, и по обе его стороны личная охрана, а за ним еще длиннейшая процессия сеньоров, кто в шапочке, кто в охотничьей шапке, кто в плаще, подбитом мехом, а кто просто в коротеньком плаще.

Город затих, словно вымер. Руанцы сочли благоразумным подчиниться королевскому приказу и не высовывали носа из дома. Зато к окнам из толстого зеленоватого стекла, выпуклого, как донышки бутылок, лепились головы; глаза осторожно следили за происходящим через узенькую щелочку приоткрытых окон, разделенных свинцовыми ободьями на мелкие квадратики. Не верилось им, что вот в этой повозке везут на казнь графа д'Аркура, того самого графа, с которым они не раз сталкивались на улицах и еще нынче утром любовались его роскошным выездом. Од-

нако узнавали его по толщине… «Да, это он, он, я же вам говорю, что он!» Зато насчет короля, чей шлем доходил чуть ли не до окон второго этажа, сомнений не было: его узнавали с первого взгляда. Ведь несколько лет он был их герцогом… «Это он, смотри, сам король…» Их бы не так прошиб страх, даже если бы под забралом они увидели череп мертвеца. Они, руанцы, роптали, тряслись от ужаса, но роптали, ибо граф д'Аркур всегда вступался за них, и они от души его любили. Поэтому-то и шел в руанских домах шепот: «Нет, это не правый суд. Это он в нас метит!»

Повозки подпрыгивали на дорожных колдобинах. Солома выскальзывала из-под ног осужденных, и они с трудом удерживали равновесие. Мне рассказывали потом, что Жан д'Аркур всю дорогу стоял, закинув вверх голову, и волосы его падали на шею, вернее, на жирные складки шеи. О чем мог думать такой человек, как он, которого везут на казнь, а он неотрывно смотрит на небо, словно струившееся между коньками крыш? Множество раз я задавался вопросом, о чем могут думать осужденные на смерть люди в последние оставшиеся им минуты жизни?.. Корил ли граф д'Аркур себя за то, что не умел достаточно насладиться красотой, бывшей у него

всегда перед глазами, той, что дает нам Господь в неизреченной милости своей? Или, возможно, думал о том, что нам вкушать все эти блага мешают какие-нибудь пустяки? Еще накануне, к примеру, он спорил о налогах и податях. А быть может, твердит себе, что попался в ловушку по собственной глупости. Ведь предупреждал же его дядя Годфруа, предупреждал… «Немедленно уезжайте отсюда!» Он, Годфруа д'Аркур, сразу почуял ловушку… «Этот пир в среднепостную неделю что-то чересчур смахивает на западню…» Если бы только дядин гонец предупредил его хоть минутой раньше, если бы Робер де Лоррис не торчал тут, на нижних ступеньках лестницы… если бы… если бы… если бы… Так или иначе, это его вина, это не вина судьбы. Достаточно было уклониться от пиршества, устроенного дофином; достаточно было не выискивать нелепых причин, чтобы оправдать свое чревоугодие: «Уеду сразу после пира, в конце концов, не все ли равно…»

Видите ли, Аршамбо, сплошь и рядом великие беды обрушиваются на людей вот так, из-за сущих пустяков, из-за ошибочных суждений или неправильного решения, принятого в обстоятельствах, казалось бы, самых незначительных, когда просто поддаешься природным своим склонностям.

Допустишь ошибку в выборе, самомельчайшую ошибку, и вот она, твоя погибель.

Ах, как бы хотелось им всем получить возможность не совершать того, что они совершили, пойти иной, а не той страшной дорогой, куда они свернули по недоразумению. Вот Жан д'Аркур отталкивает Робера де Лорриса, кричит ему: «Прощайте, мессир!» — вскакивает на своего огромного коня, и уже все дальнейшее идет совсем иначе, чем могло бы пойти. Он снова видит своего дядю, свой замок, свою жену и девятерых своих детей и до конца жизни не перестает хвалить себя за то, что сумел вовремя улизнуть от короля, вернее, от королевской злой расправы… Если только, если только судьба не отметила нынешний день роковой своей метой и, торопясь без оглядки домой, он не раскроил бы себе череп, наткнувшись в лесу на сук. Как распознать, проникнуть в предначертания Всевышнего! И не надо все-таки забывать, что это неправедное судилище заставило забыть то, что… граф д'Аркур действительно участвовал в заговоре против французской короны. Но день этот не был роковым для Иоанна II, и Бог приберег для Франции другие беды, орудием коих стал все тот же король.

Кортеж достиг уже склона, ведущего к виселице, но вдруг остановился на полдороге, на огромной площади, окруженной низенькими домишками; на этой площади каждую осень устраивали конскую ярмарку, и называлась она — Поле Милосердия. Да-да, именно так и называлась. Вооруженные солдаты выстроились по правую и левую сторону дороги, идущей через площадь, оставив между собой свободное пространство длиною в три копья.

Король по-прежнему восседал на коне, держась на самой середине площади, на расстоянии брошенного камня от плахи, которую скатили с первой повозки и теперь искали для нее место поровнее.

Маршал д'Одрегем слез с лошади и смешался со свитой, над которой торчали головы братьев Артуа… интересно, о чем думала эта парочка? Ведь старший брат был главным виновником готовящейся казни. О, они вообще ни о чем не думали… «дражайший мой кузен Иоанн, дражайший мой кузен Иоанн…» Королевская свита выстроилась полукругом. Люди искоса поглядывали на Луи д'Аркура, когда с повозки стаскивали его старшего брата. Но младший даже и бровью не повел.

Бесконечно долго шли приготовления к казни

на этой ярмарочной площади, где должен был свершиться наспех сварганенный приговор. И ко всем окошкам домишек, окружавших площадь, припали лица, посверкивали глаза.

Дофин, герцог Нормандский, повесив голову, увенчанную расшитой жемчугом шапочкой, топтался на месте рядом со своим родным дядей герцогом Орлеанским, то делал шаг вперед, то отступал, словно надеясь прогнать терзавшую его тоску. И тут внезапно раздался громовой голос толстяка графа д'Аркура, обращавшегося именно к нему, к дофину, и маршалу д'Одрегему:

— Ваше высочество герцог и вы, любезный маршал, ради Господа Бога, умолите короля выслушать меня, и я сумею выпросить у него прощения и расскажу ему о многом, что послужит на пользу не только ему, но и государству!

Всякий, кто слышал этот крик, долго еще будет помнить прорвавшиеся в этом голосе и предсмертное томление, и проклятие.

Движимые одним и тем же чувством, дофин и маршал подошли к королю, хотя он должен был и сам слышать голос осужденного столь же ясно. Они чуть не касались стремян его коня.

— Государь, отец мой, Христом Богом молю вас, выслушайте его!

— Да, да, сир, разрешите ему высказаться, вы же от этого выиграете! — настаивал маршал.

Но Иоанн II был жалкий подражатель. В рыцарских потехах он подражал своему деду Карлу Валуа, а то и самому легендарному королю Артуру. Кто-то ему сказал, что Филипп Красивый, решив наказать преступника, оставался до конца непреклонным. Вот и сейчас он подражал, думал, что подражает, Железному королю. Но Филипп Красивый надевал шлем лишь в тех случаях, когда в том случалась надобность. И он не осуждал направо и налево первого подвернувшегося под руку, не выносил смертных приговоров лишь потому, что его грызла еще не утихшая ненависть.

— Повелите избавиться от предателей! — повторил Иоанн II через прорезь в шлеме.

Ах, каким он, надо полагать, чувствовал себя великим, каким должен был чувствовать себя всемогущим! Французское королевство на веки вечные запомнит его непреклонную волю. А он как раз упускал прекрасный случай подумать хоть минуту.

— Что ж, приступайте к исповеди, — сказал тогда граф д'Аркур, повернувшись к грязненькому капуцину.

Но король крикнул:

— Предателям не дано права исповедоваться!

Вот здесь он никому не подражал; здесь он был первооткрывателем. Он приравнивал преступление… но какое, в сущности, преступление? Преступление в том, что тебя заподозрили, преступление, что ты говорил дурно о короле и королю передали твои слова… Ну ладно, допустим, оскорбление величества, которое король приравнял к ереси или расколу. Ибо Иоанн II был помазанником Божьим, не так ли? Tu es sacerdos in oeternum…[41] Он, видимо, считал себя живым воплощением Божьим, судившим, куда направить человеческую душу после смерти. Вот за это тоже святой отец, на мой взгляд, должен был бы сурово отчитать его…

— Одному только стольнику, — добавил король, ткнув пальцем в сторону Колена Дублеля.

Как узнать, что творится в голове человека, ежели голова эта дырявая, наподобие сыра! Откуда это различие? Почему король разрешил исповедоваться одному лишь стольнику, поднявшему на него нож? До сих пор еще свидетели, обсуждая между собой те страшные часы и вспоминая это королевское чудачество, недоуменно

---

[41] Примечания: 41
Ты миропомазанный на веки вечные… *(лат.)*

пожимают плечами. Быть может, пожелал он установить своего рода степень вины в зависимости от феодальной иерархии и подчеркнуть, что простой стольник, совершивший преступление, менее виновен, чем рыцарь? А быть может, потому, что нож, нацеленный на его грудь, заставил короля забыть, что Дублель тоже находился в числе убийц Карла Испанского, в равной мере как Мэнмар и Гравиль. Мэнмар, сухощавый верзила, старался высвободить руки из пут и с бешеной злобой оглядывал присутствующих; Гравиль, который не мог осенить себя крестным знамением, не скрываясь, читал молитвы, и ежели Господь не отвергнет его покаяния, то услышит его и без посредничества капуцинов.

А капуцин, который уже окончательно не понимал, зачем же его сюда приволокли, радостно вцепился в единственную предоставленную ему душу и быстро зашептал на ухо Колену Дублелю латинские молитвы.

Королевский смотритель подтолкнул графа д'Аркура к плахе.

— Опуститесь на колени, мессир.

Толстяк рухнул, как сраженный дубиной бык. И заерзал коленками по земле, очевидно попав на острый гравий. Пройдя за его спиной, смотритель

неожиданно быстрым жестом завязал ему глаза, отняв у несчастного возможность видеть хотя бы узловатый срез деревянной плахи, последнее в этом мире, что еще было перед его взором.

По правде говоря, завязать глаза следовало бы лучше всем прочим, дабы избавить их от того зрелища, что последовало засим.

Королевский смотритель… — странно все-таки, что я никак не могу вспомнить его имени, а ведь я его самого множество раз видел при короле и как сейчас представляю себе его физиономию: высокий, здоровый малый, с густой черной бородой… — так вот, он взял обеими руками голову осужденного, как берут неодушевленный предмет, и уложил ее поудобнее на плаху, да еще успел откинуть в сторону длинные волосы графа, обнажив шею.

А граф д'Аркур все ерзал коленями по гравию…

— А ну, руби! — скомандовал королевский смотритель.

Тут он увидел, да и все увидели тоже, как палач весь дрожит с головы до ног. Он все время словно взвешивал тяжелый топор, перекладывая его из правой руки в левую, то отступал от плахи, то придвигался к ней вплотную, выискивая наиболее удобную позицию для размаха. Его пробирал

страх. Ох, насколько увереннее он орудовал кинжалом, набросившись на намеченную жертву в темном углу. Но действовать такому злодею топором, да еще на глазах короля, и всех этих сеньоров, и всех этих солдат! Просидев в темнице несколько долгих месяцев, он, видно, не особенно рассчитывал на крепость своих мускулов, пусть даже в надежде придать будущему палачу побольше сил ему скормили котелок жирного супа и поднесли кубок вина. И потом, на него не надели глухой капюшон с прорезями для глаз, как это делается обычно, только потому, что нигде не нашли такого капюшона. Отныне всем будет известно, что он был палачом. Преступник, да еще палач. Любой будет с ужасом сторониться его. Впрочем, кто знает, что творилось в голове этого самого Бетрува, который покупал себе свободу ценою того же самого деяния, что привело его в темницу. Он видел чужую голову, которую должен был отсечь, на том самом месте, где через неделю-другую лежала бы его собственная, если бы король не пожаловал в Руан. Возможно, у этого закоренелого злодея было больше милосердия, больше благорасположения к ближнему, теснее была с ним душевная связь, чем у короля Франции.

— Руби! — скомандовал королевский смотритель.

Бетрув поднял топор, но не прямо над головой, как положено настоящему палачу, а как-то вкривь, так рубит дровосек дерево, и потом, не размахнувшись, опустил топор, доверившись его тяжести. Удар получился неудачный.

А ведь есть на свете палачи, которые рубят голову с первого раза, мигом вам ее оттяпают. Но только не этот, нет, не этот! Однако надо полагать, графа д'Аркура все-таки оглушил этот удар, так как он перестал ерзать на коленях, но он остался жить: удар смягчила прослойка жира, обложившая его шею.

Приходилось начинать все сначала. Получилось еще более неудачно. На сей раз металлическое лезвие отсекло лишь кусок шеи. Из широкой раны фонтаном брызнула кровь, и присутствовавшие увидели плотный слой желтого сала, развороченного на загривке.

Теперь Бетрув возился с топором, застрявшим в деревянной плахе, и ему никак не удавалось его вытащить. По лицу его ручьями стекал пот.

Смотритель повернулся к королю с виноватым видом, как бы желая сказать, что он, мол, здесь ни при чем.

Бетрув совсем растерялся, не слышал советов, которые давали ему стражники, он снова ударил; казалось, что лезвие топора вошло в кусок масла. Еще раз, еще! С плахи струилась кровь, брызгала из-под топора, усеивала алыми пятнами разодранный королевской рукой плащ. Зрители отворачивались, многих мутило. На лице дофина застыло выражение ужаса и гнева: он с силой сжал кулаки, и от этого усилия правая его рука полиловела. Луи д'Аркур, мертвенно-бледный, из последних сил держался в первых рядах зрителей и глядел, как, словно быка на бойне, добивали его брата. Маршал д'Одрегем отошел в сторону, чтобы случайно не попасть ногой в ручеек крови, подбиравшийся к нему сквозь гравий.

Наконец с шестого удара массивная голова графа д'Аркура отлетела от туловища и все в той же черной повязке скатилась с плахи.

Король даже не пошевелился в седле. Сквозь прорезь в металлическом забрале он без малейшей тени замешательства, отвращения, без внутренней неловкости смотрел прямо перед собой на кровавое месиво, бывшее еще недавно шеей между могучими плечами, и на отрубленную окровавленную голову, валявшуюся в липкой луже. И если что и промелькнуло на его

лице, схваченном металлическим забралом, так это что-то, скорее всего, походило на улыбку. Оглушительно прогрохотав железом, повалился на землю сомлевший лучник. Только тогда король соизволил отвести от казненного глаза. Не долго оставаться такому неженке в королевской страже. Перрине ле Бюффль поднял лучника за ворот рубахи, надетой под латами, и с размаху закатил ему пощечину. Но этот неженка, хлопнувшийся в обморок, оказал собравшимся услугу. Все как-то встряхнулись; послышалось даже хихиканье.

Трое стражников — с меньшим количеством и не обойтись бы — оттащили в сторону тело казненного. «Посуху тащите, посуху!» — крикнул им королевский смотритель. Не забудьте, Аршамбо, вся одежда казненных по праву переходила к нему. Довольно того уж, что она разорвана, а если ее к тому же еще и перепачкают, толку тогда от нее никакого. И без того осужденных на казнь было на два человека меньше…

Поэтому-то он всячески наставлял взмокшего от пота, тяжело дышавшего палача, давал ему советы, как будто перед ним находился выбившийся из сил борец:

— Подымай топор прямо над головой и не взду-

май глядеть на топор, а гляди, куда бьешь, меться как раз по самой середине шеи. И сразу — бац!

И еще ему пришлось расстелить солому вокруг плахи, чтобы просушить напоенную кровью землю, и завязать глаза сиру де Гравилю, доброму нормандцу, тоже в теле, поставить его на колени, окунув лицом в кровавое месиво. «Руби!» Удар — ну это уж просто чудо… Бетрув перерубил шею, голова скатилась с плахи, тело рухнуло на бок, на пыльную землю хлынул алый поток. Люди облегченно вздохнули. Еще минута, и они бросились бы поздравлять палача, а он тупо озирался вокруг, видимо сам не понимая, как это ему удалось совершить такой подвиг.

Наступила очередь колченогого верзилы Мобюэ де Мэнмара, который с вызовом глядел на короля.

— Всем известно, всем известно!.. — крикнул он, но перед ним вырос бородач, королевский смотритель, и накинул ему на голову повязку, заглушившую слова. Так никто и недослышал, что он хотел крикнуть.

Маршал д'Одрегем отступил еще на несколько шагов, потому что кровь снова подбиралась к его сапогам… «Руби!» Взмах топора — и снова дело обошлось всего лишь одним ударом.

Тело де Мэнмара оттащили назад, туда, где уже валялись двое обезглавленных. Кисти рук мертвецам развязали, чтобы легче было схватить их за руки и за ноги, раскачать и раз-два швырнуть в первую попавшуюся повозку, которая доставит трупы к виселице, где их подвесят рядом с уже полуистлевшими скелетами. Там их и разденут донага. Королевский смотритель махнул рукой: подберите, мол, и головы.

Бетрув стоял, опершись о рукоятку топора, и старался отдышаться. У него ломило поясницу — он уже ни на что не годился. Пожалуй, еще немного, и зрители прониклись бы к нему большей жалостью, чем к его жертвам. О, он себе помилование честно заработал! И если до конца дней его будут мучить дурные сны и он будет просыпаться от собственного крика, то мы с вами этому вряд ли так уж удивимся.

Колену Дублелю, отважному стольнику, хоть он и получил отпущение грехов, не стоялось на месте. Он даже попытался высвободиться из толкавших его к плахе рук стражников, он хотел сам подойти к ней. Но вовремя накинутая на лицо повязка избавила его от нелепых и бессмысленных жестов, обычных для осужденного.

Однако никто не смог предусмотреть того, что

Дублель в самую неподходящую минуту поднимет голову и что Бетрув — тут уж он и впрямь был не виноват — раскроит ему череп. Но вот еще удар. На сей раз все кончено.

Ох и будет о чем порассказать руанцам, которые припали к окнам домишек, окружавших площадь; и рассказы их с быстротой ветра разлетятся из города в город и дойдут до самых глухих уголков герцогства. И отовсюду будут стекаться на место казни охотники поглазеть на эту площадь, вдосталь напитавшуюся человеческой кровушкой. И никто не поверит, что в жилах всего четырех человек бежит столько крови и на земле остается такой широкий после нее круг.

Король Иоанн смотрел на своих приближенных с каким-то странным чувством удовлетворения. Ужас, который в эту минуту он внушал даже самым верным своим слугам, казалось, был приятен ему; он гордился собой. Но особенно пристально вглядывался он в лицо старшего своего сына.

— Вот смотрите, мой мальчик, как ведут себя государи…

Ну кто осмелился бы ему сказать, что зря он уступил своей мстительной натуре? И его тоже этот день привел на перепутье. Выбирай дорогу

налево или дорогу направо. И он вступил на худшую из двух, совсем так, как и граф д'Аркур вступил на нижнюю ступеньку лестницы донжона. После шести лет неудачного царствования, в беспрестанных смутах, трудностях и поражениях он сумел дать своей стране, которая только того и ждала, наглядный урок ненависти и насилия. Через полгода он окончательно вступит на путь подлинных бедствий, а вместе с ним вступит и вся Франция.

Часть третья
Загубленная весна
Глава I
Пес и лисенок

Ох, до чего же мне приятно, нет, правда, приятно было повидать Оксер. Не думал я, что Господь пошлет мне такую милость, что я так буду всем здесь наслаждаться. Лицезрение тех мест, где проходили часы вашей юности, всегда будоражит душу. Вам еще суждено познать такое чувство, Аршамбо, когда на ваши плечи ляжет груз прожитых лет. Если приведется вам проехать через Оксер, когда вы достигнете моего возраста… да сохранит вас Господь… тогда-то вы скажете: «Я был здесь с дядей моим кардиналом, он когда-то был тут епископом, это его вторая епархия, а потом он получил шапку кардинала… Я сопровождал его в Мец, где ему предстояло свидеться с императором…»

Три года я жил здесь, целых три года; о, только не подумайте, что я сожалею об этом времени и что я полнее, нежели сейчас, вкушал сладость бытия, когда был Оксерским епископом. Призна-

юсь вам, мне не терпелось отсюда уехать. Я косился на Авиньон, хотя отлично понимал, что еще слишком для того молод; но именно тогда я почувствовал, что Господь даровал мне стойкость характера и достаточно ума, дабы служить ему при папском дворе. И вот, желая овладеть искусством терпения, я и углубился в изучение астрологии; именно познания в этой науке и побудили моего благодетеля папу Иоанна XXII даровать мне кардинальскую шапку, хотя мне еще и тридцати не исполнилось. Впрочем, я об этом вам, кажется, уже говорил… Ах, Аршамбо, Аршамбо, когда вы беседуете с человеком, много повидавшим и много пожившим, терпите, если он по нескольку раз рассказывает одно и то же. И это вовсе не потому, что у нас к старости голова становится слабовата, но столько у нас накапливается воспоминаний, что при каждом удобном и неудобном случае они всплывают наружу. Юность заполняет будущее воображением; старость воссоздает прошедшее с помощью памяти. В сущности, это одно и то же… Нет, я ни о чем не жалею. Когда я сравниваю себя такого, каким я был, с собой теперешним, у меня тысячи поводов воссылать хвалу Господу нашему и, честно говоря, слегка похваливать и самого себя,

конечно весьма скромно и пристойно. Просто время вытекает из Божьей десницы, и, когда я перестану помнить себя тогдашнего, время вообще перестанет существовать. Кроме, конечно, дня Страшного суда, когда все прожитые нами мгновения сольются в одно. Но это уже превосходит мое понимание. Я верю в воскрешение из мертвых, я учу паству верить в него, но сам никогда даже попытки не делал представить себе все это воочию и утверждаю — те, кто сомневается в воскрешении мертвых, — гордецы… Ну да, ну да, таких гораздо больше, чем вы полагаете… потому что не могут они себе этого вообразить из-за собственного калечества. Человек, отрицающий свет, подобен слепцу, ибо слепец не видит света. Для слепца свет — величайшая тайна!

Подождите-ка… в Сансе, в воскресенье, я, пожалуй, упомяну об этом, потому что мне надо будет произнести проповедь. Как-никак я там соборный архидиакон. Поэтому-то нам и приходится делать такой крюк. Куда проще было бы проехать прямо на Труа, но надо проверить Санский капитул.

А все-таки я с радостью задержался бы в Оксере еще хоть ненадолго. Эти два дня пролетели слишком быстро… Сент-Этьен, Сен-Жермен, Сент-Эзеб, все эти прекрасные церкви, где я служил мессы,

бракосочетал, давал причастие… А знаете, что Оксер, Autissidurum, древнейший из всех христианских городов нашего королевства, что он был центром епархии еще за два века до Хлодвига, который, кстати сказать, не оставил от него камня на камне, мало в чем уступив Аттиле, проделавшему то же самое в свое время, и что там еще до шестисотого года собирался конклав… Когда я стоял во главе епархии, главной и единственной моей заботой было очистить ее от долгов, оставленных моим предшественником, епископом Пьером. А с него требовать я ничего не мог; к этому времени он уже получил сан кардинала! Да, да, превосходная епархия, так сказать, преддверие курии… Мне удалось заткнуть все дыры с помощью моих бенефиций и фамильного состояния. Те, что пришли мне на смену, очутились куда в лучшем положении. И в частности, нынешний епископ, который сейчас нас сопровождает, этот новый монсеньор Оксерский, хороший прелат… Но монсеньора Буржского я отослал… в Бурж. Он все время дергал меня за полу сутаны, испрашивая разрешения взять в епархию третьего нотариуса. Но это уже было чересчур. И я ему сказал: «Ежели, монсеньор, вам требуется столько всяких писцов и нотариусов, значит дела в вашей

епархии сильно запутаны. Посему обязываю вас немедленно вернуться в Бурж и самому навести там порядок. С моего благословения, конечно». А мы в Меце прекрасно обойдемся без его услуг. Епископ Оксерский будет превосходной ему заменой… Впрочем, я известил уже об этом дофина. Направил к нему вчера гонца, и он вернется завтра, в самом крайнем случае послезавтра. Так что последние вести из Парижа мы получим еще в Сансе… А дофин держится стойко: как на него ни жмут, как только ни исхищряются, он до сих пор не выпустил короля Наваррского из узилища…

А что поделывали наши французские сеньоры после руанской казни? Прежде всего сам король задержался в городе на несколько дней; себе для жилья он выбрал донжон замка Буврей; сыну велел поселиться в другой башне того же замка; а в третьей держал под стражей Карла Наваррского. Иоанн II, видите ли, вообразил, что ему следует ускорить множество дел. И первое из них — допросить с пристрастием Фрикана. «Устройте-ка мне из Фрикана хорошенькое фрикасе». Боюсь, что эту остроту он позаимствовал от карлика Миттона Дурачка. Однако не пришлось ни разводить большого огня, ни пользоваться огромными клещами. Как только Перрине ле Бюффль

с четырьмя стражниками приволокли Фрике в подвал и повертели у него под носом кое-каким пыточным инструментом, губернатор Кана тут же доказал на деле свою добрую волю, да еще как доказал! Он говорил, говорил, говорил — словом, вывернул свой мешок наизнанку и вытряхнул из него все, вплоть до последней крошки. По видимости, так. Ну как усомниться в том, что он выложил все, что знал, раз он так громко щелкал от страха зубами и с таким рвением старался говорить одну лишь правду?

А на самом деле в чем он признался? Перечислил имена участников убийства Карла Испанского? Да они и так давным-давно были известны, и Фрике не добавил ни одного нового виновника смерти королевского любимчика к тем, которые после Мантского договора получили королевское помилование. Но рассказ его об этом событии занял целое утро. Тайные переговоры во Фландрии и в Авиньоне между Карлом Наваррским и герцогом Ланкастером? Да во всех королевских дворах Европы об этом уже судачили, так что и тут Фрике мало что прибавил нового. Помощь в военных действиях, которую обещали друг другу король Наварры и король Англии? Да любой человек, если только он не круглый дурак, мог

об этом догадаться еще прошлым летом, когда почти одновременно Карл Злой высадил свои войска в Котантене, а принц Уэльский — под Бордо. Ах да, разумеется, существовал тайный договор, по которому король Наваррский считает короля Эдуарда королем Франции и по которому они делили между собой все государство! Фрикан охотно признал, что такое соглашение было подготовлено, и, таким образом, подтвердил наветы Иоанна Артуа, но договор не был подписан, шли только предварительные переговоры. Когда королю Иоанну передали эти показания Фрике, он возопил:

— Изменник! Изменник! Ну что, был я прав или нет?

На что дофин возразил королю:

— Отец мой, этот договор подготовляли раньше, чем договор в Валони, который Карл заключил с вами и где говорится совершенно противоположное. Получается, таким образом, что Карл изменил королю Англии, а вовсе не вам.

И когда король Иоанн заорал, что его зять изменяет всем и каждому, дофин заметил:

— Это так, отец мой, и я сам теперь в этом уверился. Но ежели вы обвините Карла в том, что он предавал ради вашей же пользы, вы попадете в

ложное положение.

О несостоявшейся поездке в Германию, куда собирались отправиться Карл Злой и дофин, Фрике де Фрикан мог рассказывать буквально часами. Называл имена заговорщиков, указывал, где именно они должны были встретиться и что этот должен сказать и кому и кто что должен был делать. Но королю об этом в свое время уже рассказал сам дофин.

А что известно ему о новом комплоте его высочества Наваррского, целью коего было взять в плен короля Франции и убить его? Э-э, нет, Фрике об этом ни слова не слышал, никаких следов приготовлений не замечал. Конечно, граф д'Аркур… — оговорив покойника, обвиняемый ничем не рискует, правосудию это хорошо известно… — так вот, граф д'Аркур все эти последние месяцы страшно гневался и впрямь иной раз говорил непотребные слова, но лишь он один и лишь от своего собственного имени.

Ну как, повторяю, не поверить человеку, который с такой охотой идет навстречу своим пытальщикам, который сыплет признаниями по шесть часов подряд, так что писцы даже не успевают точить перья? Великий плут этот Фрике, прошедший школу своего господина Наваррско-

го, буквально затопивший тех, кто вел допрос, потоком слов и разыгрывавший из себя этакого болтуна, дабы под пустыми фразами скрыть то, о чем следовало промолчать! Так или иначе, для того чтобы употребить с пользой для дела его свидетельские показания во время суда, придется начинать все заново в Париже, учредить следственную комиссию, ибо здешняя оказалась не на высоте. В сущности, закинули в море огромный невод, а вытащили всего несколько рыбешек.

А пока шел допрос, Иоанн II хлопотал о том, чтобы прибрать к рукам владения и должности изменников, и с этой целью отправил из Руана виконта Тома Купвержа, дав ему приказ захватить все имущество семейства д'Аркур, а маршала д'Одрегема отрядил в Эврё с наказом осадить город. Но виконт Купверж повсюду натыкался на не слишком любезный прием хозяев, и конфискация так и не состоялась. Ему бы следовало оставить в каждом замке отряд лучников, да беда в том, что в его распоряжении не оказалось достаточно людей. Зато обезглавленное тело толстяка Жана д'Аркура недолго украшало собой городскую виселицу. На следующую же ночь добрые нормандцы тайком похитили труп и похоронили его по христианскому обычаю,

что одновременно дало им прекрасный случай посмеяться над королем.

А что касается города Эврё, то пришлось его осадить. Но город Эврё был не единственным ленным владением Эврё-Наваррских. Повсюду — от Валони до Мелана, от Лонгвиля до Конша, от Понтуаза до Кутанса — в каждом городке таилась угроза, и даже в живых изгородях вдоль проезжих дорог что-то подозрительно шевелилось.

Король Иоанн II уже не чувствовал себя в Руане в полной безопасности. Сюда он прибыл с воинством, вполне достаточным для того, чтобы схватить участников пиршества, но недостаточным для того, чтобы подавить мятеж. В последние дни он вообще не выходил из замка. Самые верные его слуги, и в том числе, конечно, Иоанн Артуа, советовали ему уехать. Его присутствие в Руане разжигало народный гнев.

Король, которому приходится опасаться своего народа, по сути дела, ничтожный монарх, и есть все основания считать, что дни его царствования сочтены.

Итак, Иоанн II решил вернуться в Париж, но потребовал, чтобы его сопровождал дофин. «Вы не устоите, Карл, если в вашем герцогстве поднимется мятеж». Но главным образом он опасался,

как бы его сынок не сговорился с наваррской партией.

Пришлось дофину подчиниться; однако он заявил, что путь в Париж они проделают не верхами, а поплывут по реке. «Я привык, отец мой, из Руана до Парижа плыть по Сене. Ежели нынче я поступлю иначе, люди могут решить, что я сбежал. Кроме того, плыть мы будем медленно и все новости станем получать скорее; буде они неблагоприятны и мне придется почему-либо вернуться обратно, это тоже удобнее сделать».

И вот король отплыл из Руана на огромном судне, сделанном по особому заказу герцога Нормандского для его путешествий, ибо, как я вам уже говорил, он не слишком обожал верховую езду. Огромное плоскодонное судно, все разукрашенное, богато убранное и все в позолоте; на носу бились по ветру знамена Франции, Нормандии и Дофине, и шло судно и под парусом, и на веслах. Рубка приспособлена под жилье — просторная комната, убранная коврами и обставленная кофрами. Дофину нравилось побеседовать здесь со своими советниками, сыграть партию в шахматы или шашки, а то и просто полюбоваться родными просторами, которые тянутся вдоль этой полноводной реки и тут особенно пре-

красны. Но короля бесило это спокойствие, эта медлительность. Что за дурацкая мысль — плыть по Сене, следуя всем ее излучинам, да ведь так получается в три раза длиннее, чем если скакать по дорогам напрямик. Он не мог привыкнуть к тому, что в каюте такая теснота. И целые дни вышагивал взад и вперед, диктуя письмо, одно-единственное письмо, все то же письмо, которое он то бросал диктовать, то брался за него снова, без конца переделывая его. И он то и дело приказывал причаливать к берегу, шлепал по грязи, чтобы добраться до пристани, обчищал свои высокие охотничьи сапоги о маргаритки и, приказав подать себе коня, скакал вместе со свитой вдоль берега. Ему, видите ли, почему-то вдруг припало желание посетить вон тот замок, выглядывающий из-за тополей. «И чтобы к моему возвращению письмо было перебелено начисто». Его письмо к папе, где он пытался объяснить святому отцу причины и поводы пленения короля Наваррского. Будто не было в государстве дел поважнее! Но о них он и не думал. Во всяком случае, ни об одном, требовавшем его вмешательства. Он отмахивался от самых неотложных государственных забот: слишком медленно поступали в казну налоги, вновь возникла необходимость

уменьшить вес монеты, высокие пошлины на сукно вызывали недовольство торговцев, надо было срочно привести в порядок крепости, которым угрожали англичане. Да разве нет у него канцлера, нет смотрителя монетного двора, королевского мажордома, сборщиков налогов и первоприсутствующих в парламенте? Пусть они этими делами и занимаются. Пускай Никола Брак, который уже находился в Париже, пускай Симон де Бюси или Робер де Лоррис приступают к выполнению своих обязанностей. Они и впрямь приступили и набивали себе карманы, играя на курсе монеты, своей властью прекращая справедливую тяжбу, затеянную против их родича, делая поблажки другу, без конца досаждали то торговой компании, то какому-нибудь городу, а то и целой епархии, которые никогда не простят этого королю.

Монарх, который то вдруг объявляет, что сам будет за всем бдеть, и в мельчайших подробностях устанавливает порядок какой-нибудь церемонии, а то вовсе не заботится ни о чем, будь то даже дела первейшей государственной важности, — не таков это человек, что может уготовить своему народу славную судьбу.

На второй день пути судно дофина стало на

якорь у Пон-де-л'Арш; и тут король вдруг заметил, что по мосту скачет купеческий прево Парижа, мэтр Этьен Марсель во главе эскорта не то в полсотню, не то в сотню всадников, вооруженных пиками, и на острие одной билось на ветру сине-красное знамя столицы Франции. Кстати, эти горожане были экипированы лучше, чем многие знатные рыцари.

Король не сошел на берег и не пригласил на судно прево. Так они и переговаривались, один с судна, другой с берега, и оба были явно удивлены, что случай свел их здесь лицом к лицу. Прево меньше всего ожидал встретить в этих местах короля, а король ломал себе голову, что нужно прево в Нормандии и с какой целью он взял с собой такой большой эскорт? Разумеется, все это наваррские интриги. А может, они хотят попытаться освободить Карла Злого? Да нет, слишком уж скоро: после того как его взяли, прошла всего одна неделя. Но в конце концов, все возможно. А вдруг прево Марсель и есть глава того заговора, о котором нашептал королю Иоанн Артуа? Тогда все становится понятным.

— Мы прибыли приветствовать вас, государь! — Вот и все, что сказал прево.

А король, вместо того чтобы заставить его хоть

немного разговориться, в упор заявил ему, что вынужден был схватить короля Наваррского, который причинил ему немало зла, что все обстоятельства этого дела будут изложены и освещены в послании, направленном папе. И король Иоанн II добавил, что он надеется, возвратившись в Париж, застать в своей столице полный порядок, полное спокойствие, надеется также, что парижане трудятся не покладая рук…

— А теперь, мессир прево, можете возвращаться обратно.

Да, слишком длинный путь для столь краткой и маловразумительной речи. Этьен Марсель повернул своего коня, и густая черная его борода торчком встала на подбородке. А король, когда знамя Парижа скрылось в зелени прибрежных ив, велел кликнуть писца и стал — в который раз! — переделывать свое письмо к папе… Да, кстати, Брюне, Брюне! Брюне, попроси, пожалуйста, дона Кальво подъехать к носилкам… Король стал диктовать писцу примерно так: «И еще, ваше святейшество, есть у меня доказательство, и неоспоримое, что его величество король Наварры попытку имел поднять противу меня купцов парижских и снюхался с их прево, который, не имея на то разрешения, отправился в норманд-

ские земли, и сопровождали его вооруженные всадники, коим и числа нету, дабы подмогу принести злодеям из наваррской партии, довершить их злодеяние, пленив мою персону и персону дофина, старшего сына моего…»

Час от часу эскорт прево Марселя все рос и рос в воображении короля, и вскоре Иоанн уже насчитает пять сотен копий.

А потом он вдруг приказал немедленно сняться с якоря и, забрав из замка Пон-де-л'Арш Карла Наваррского и Фрикана, держать путь на Лез-Анделис. Ибо король Наваррский следовал за судном на коне по берегу, от одного причала к другому, в окружении мощной стражи, которая получила приказ в случае попытки пленного к бегству или в случае, если его будут пытаться освободить нормандские сеньоры, не мешкая, заколоть его кинжалом. И все время его должно было быть видно с борта судна. Вечерами Карла запирали в ближайшей к причалу башне. Запирали его в Эльбефе, запирали его в Пон-де-л'Арш. А нынче запрут в Шато-Гайаре… да-да, в Шато-Гайаре, где его бабка Бургундская так рано распростилась с жизнью… да, примерно в том же возрасте.

А как переносил все эти унижения его высочество Наваррский? По правде сказать, плохо.

Теперь-то, разумеется, он уже приобвык к своему узилищу, во всяком случае, воспрянул духом, узнав, что король Франции сам находится в плену у короля Англии и что сейчас ему нечего опасаться за свою жизнь. Но первое время…

Ах, это вы, дон Кальво! Напомните-ка мне, у какого евангелиста, которого читают в будущее воскресенье, говорится о свете или что-то в этом духе… да, во второе воскресенье рождественского поста. Странно будет, если мы это место не найдем… или, может быть, об этом говорится в послании… Очевидно, то, что читали в минувшее воскресенье… Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis… Отбросим же творения мрака и облачимся в латы света… Да, в прошлое воскресенье. И вы, вы тоже не помните наизусть? Ладно, скажете мне чуть попозже, буду вам весьма признателен…

Попавший в западню лисенок как безумный кружит по клетке; глаза у него горят, шерсть взъерошена, сам отощал и скулит, отчаянно скулит… Таков уж наш Карл Наваррский. Но скажем в его оправдание: делалось все, лишь бы его запугать.

Тогда, в Руане, Никола Брак бросил фразу о том, что, мол, пускай король Наварры умрет не сразу,

пускай, мол, умирает медленно, каждый день умирает, — и тем добился отсрочки казни. Но слова его не прошли мимо королевских ушей.

Король Иоанн не только приказал заточить Карла в той же самой комнате, где умерла Маргарита Бургундская, но и велел довести до его сведения: «…Весь их мерзкий род пошел от этой подлой шлюхи, родной его бабки; и сам он отпрыск дочери этой потаскухи. Пускай-ка думает, что его прикончат так же, как бабку». Но и этого показалось мало: в течение нескольких дней, что просидел Карл в Шато-Гайаре, ему десятки раз объявляли, даже ночами, что кончина его уже близка.

Унылое тюремное одиночество Карла Наваррского прерывал то королевский смотритель, то ле Бюффль или еще какой-нибудь стражник, который изрекал: «Готовьтесь, ваше высочество. Король приказал соорудить во дворе замка эшафот. Скоро мы за вами придем». А через минуту действительно входил Лалеман, и его встречали безумные от страха глаза узника, жавшегося к стенке и хрипло дышавшего. «Король решил дать отсрочку, вас казнят не раньше завтрашнего дня». И тогда Карл Наваррский, тяжело переводя дух, без сил валился на табуретку. А через час, а

может быть, через два снова приходил Перрине ле Бюффль. «Король решил не отрубать вам головы, ваше высочество. Нет. Вас повесят — такова его воля. Сейчас сбивают виселицу». И потом, когда отзвонят к вечерне, являлся комендант замка Готье де Риво.

— Вы за мной, мессир?

— Нет, ваше высочество, я принес вам ужин.

— Виселицу поставили?

— Какую виселицу? Никакой виселицы нет, ваше высочество.

— И эшафота нет?

— И эшафота, ваше высочество, я тоже не видел.

Уже шесть раз его высочеству Карлу Наваррскому отрубали голову, столько же раз вешали и столько же раз четвертовали. Но, пожалуй, страшнее всего было, когда как-то вечером в его темницу внесли большой конопляный мешок и сообщили узнику, что нынче ночью его запрячут в этот мешок и бросят в Сену. На следующее утро за мешком явился смотритель, повертел его в руках, заметил, что Карл Наваррский ухитрился провертеть в нем дыру, и с улыбкой удалился.

Каждую минуту король Иоанн спрашивал, как там его узник? Поэтому-то он терпеливо ждал,

когда писцы закончат перебелять очередное послание папе. Ест король Наваррский или не ест? Почти не ест, так только, чуть притронется к еде, которую ему приносят, а иногда и вообще блюдо уносят нетронутым. Ясно, боится, что ему подсыплют яду. «Значит, похудел? Чудесно, чудесно! Прикажите, чтобы пища, которую ему готовят, была с горечью и припахивала. Тогда он и впрямь решит, что его хотят отравить». Спит он или нет? Плохо. Днем его еще иногда можно застать спящим: сядет у стола, уткнет голову в руки и дремлет, но стоит кому-нибудь войти — вскакивает словно встрепанный. А по ночам стража слышит, как он ходит, без конца кружит по комнате… «Как лисенок, государь, ну чисто лисенок». Видать, боится, что его придушат, как придушили в той же самой круглой комнате его бабку. Иногда по утрам по его лицу видно, что он плакал. «Чудесно, чудесно, — повторял король. — Ну а с вами он говорит?» Еще бы не говорил! Пытается завязать разговор с каждым, кто к нему входит. И видимо, хочет нащупать у каждого его слабую струнку. Королевскому смотрителю он посулил золотые горы, если тот поможет ему бежать или хотя бы согласится передать на волю письмо. Перрине ле Бюффля

он обещал взять с собой и дать ему должность смотрителя непотребных заведений у себя в Эврё или в Наварре, ибо заметил, что ле Бюффль завидует нашему смотрителю. Коменданта крепости он считал верным своему воинскому долгу и сетовал только на совершенную по отношению к нему несправедливость, доказывал свою невиновность: «Не знаю, в чем меня упрекают, ибо, клянусь Господом Богом, я не питал никаких дурных замыслов против короля, дражайшего моего тестя, и не намеревался причинить ему зло. Его ввели в заблуждение на мой счет вероломные люди. Хотят погубить меня в его глазах; но я безропотно переношу любую кару, какой угодно ему было покарать меня, ибо отлично знаю, что он здесь ни при чем. А ведь я во многом мог бы быть ему полезен ради его же собственного блага, мог бы оказать ему множество услуг. Но ежели он решил погубить меня, уже не смогу их оказать. Идите прямо к нему, мессир комендант, скажите ему, чтобы он выслушал меня, и это будет только к его выгоде. И если Господу угодно будет вернуть мне мое богатство, будьте уверены, я позабочусь и о вас, ибо вижу, что вы жалеете меня в такой же степени, как желаете добра своему господину».

Все это, разумеется, передавалось королю, и тот

начинал вопить: «Нет, посмотрите только, каков мерзавец! Нет, посмотрите только, каков предатель!» — как будто каждый узник не пытается разжалобить своих тюремщиков или подкупить их. Возможно, даже стражники слегка сгущали краски, рассказывая о посулах короля Наваррского, надеясь тем самым набить себе цену. И в награду за столь неподкупную честность король Иоанн швырял им кошель с золотом. «Нынче вечером скажите ему, что я велел хорошенько натопить его темницу, накидайте побольше соломы и сырых поленьев, а трубу закройте, пускай прокоптится хорошенько».

Да, маленький король Наварры действительно напоминал лисенка, попавшего в ловушку. А король Франции, как огромный злобный пес, кружил возле клетки, этакий бородатый сторожевой пес, со стоявшей торчком на хребте шерстью, рычал, выл, ощеривал клыки, скреб лапами землю и только поднимал пыль, ибо не мог схватить свою жертву сквозь прутья решетки.

И длилось так вплоть до 20 апреля, когда в Анделисе появились двое нормандских рыцарей с подобающей свитой, и на развевавшемся на пике остроконечном флаге красовались гербы Наварры и Эврё. Они привезли королю Иоанну

письмо от Филиппа Наваррского, помеченное Коншом. Довольно крутое письмо. Филипп без обиняков писал, что он крайне разгневан тем, что его сеньор и старший брат должен сносить все эти несправедливости и муки… «которого вы беззаконно увезли с собой, не имея на то ни права, ни причины. Но знайте, что вам нечего и думать о его наследстве, ни о нашем, если даже суждено ему погибнуть от вашей жестокости, ибо никогда вы не ступите ногой в наши владения. С нынешнего дня мы бросаем вызов вам и всему вашему могуществу и объявляем вам смертельную, беспощадную войну, насколько то будет в наших силах». Возможно, письмо было написано не совсем в этих выражениях, но, во всяком случае, смысл его был именно таков. Все было сказано с предельной твердостью, и был в нем открытый вызов. И особенно подчеркивало грубость письма то, что было оно адресовано «Иоанну Валуа, что величает себя королем Франции…»

Оба рыцаря вежливо откланялись и без долгих разговоров повернули своих коней и ускакали так же, как и прискакали.

Вы сами понимаете, Аршамбо, король на это письмо не ответил. Оно было неприемлемо, особенно из-за того, что было так непочтительно

адресовано. Но это означало открытую войну, так как один из крупнейших вассалов отказывался считать короля Иоанна своим законным сувереном. Другими словами, он не замедлит признать таковым короля Англии.

Все ждали, что после такого оскорбления Иоанн впадет в превеликий гнев. Но он сумел удивить всех приближенных — он расхохотался. Правда, чуть принужденно. Двадцать лет назад его отец тоже расхохотался, расхохотался от чистого сердца, когда епископ Бергерш, канцлер Англии, привез ему вызов от юного короля Эдуарда III.

Король Иоанн приказал без проволочек отправить составленное им послание папе, пусть даже такое, как оно есть, и, хотя переделывали и переписывали его десятки раз, оно не стало от этого ни умнее, ни убедительнее. Одновременно он приказал вывезти из крепости своего зятя. «Заточу его в Лувре». И, оставив дофина плыть по Сене на своем огромном раззолоченном судне, сам король галопом помчался в Париж, где не сделал ничего, ровно ничего полезного, тогда как Наваррский клан трудился не покладая рук.

Ах да, я и не заметил, что вы вернулись, дон Кальво… Значит, нашли то место… В Евангелии… «И сказал им Иисус…» Что же он им сказал? «Пой-

дите скажите Иоанну, что слышите и видите…» Пожалуйста, говорите чуть громче, дон Кальво. Из-за этого грохота и стука… «Слепые прозревают, хромые ходят…» Да, да, я слушаю вас. От Матфея. Coeci vident, claudi ambulant, surdi audiunt, mortui resurgunt, et coetera… «Слепые прозревают». Не слишком богато, но и этого мне хватит. Главное, чтобы было с чего начать свою проповедь. Вы же знаете, как я работаю.

Глава II
Нация англичан

Я вам, Аршамбо, сейчас сказал, что наваррская партия трудилась не покладая рук. На следующий же день после руанского пиршества во все стороны были отряжены гонцы — первым делом, конечно, к тетке и сестре Карла — к Жанне и Бланке. И во Вдовьем Дворе сразу началось снование, будто в прядильной мастерской… А затем к зятю Карла — Фебу… Как-нибудь я вам о нем непременно расскажу; это государь довольно, я бы сказал, необычный, но скидывать со счетов его тоже нельзя. И так как наш с вами Перигор, в конце концов, ближе к его Беарну, чем к Парижу, неплохо было бы в один прекрасный день…

Об этом мы еще с вами потолкуем. И наконец, Филипп д'Эврё, возглавивший всю эту бурную деятельность и вполне успешно заменявший старшего брата, повелел Наварре собрать войска и вести их, не мешкая, к морю, а тем временем Годфруа д'Аркур поднимал сторонников Карла в Нормандии. Прежде всего Филипп поторопился послать в Англию мессира де Морбека и мессира де Бревана, участвовавших в прежних переговорах, и наказал им просить у англичан помощи и поддержки.

Король Эдуард III встретил посланцев Филиппа довольно прохладно. «По мнению моему, хороши лишь честные соглашения, когда то, что произносят уста, доказывается на деле. Если короли, заключившие союз, не доверяют друг другу, успеха им не видать. В минувшем году я открыл свои гавани для кораблей его высочества Наваррского; я снарядил войско и передал его под начало герцога Ланкастера, желая усилить войско короля Наваррского. Мы почти полностью подготовили текст нашего соглашения; мы условились о постоянном сотрудничестве и обещали никогда не заключать ни мира, ни даже перемирия в одиночку. А его высочество Наваррский чуть ли не на следующий день высаживается в Котантене,

соглашается вступить в переговоры с королем Иоанном, клянется ему в любви и приносит вассальную присягу. И если ныне находится он в узилище, если его тесть поймал его в свои тенета как изменника, вина в том не моя. Поэтому-то, прежде чем прийти королю Наваррскому на помощь, я желал бы быть уверен, что родичи мои д'Эврё, прибегающие к моей защите, лишь когда на них обрушиваются несчастья, не повернутся лицом к другим, едва я вытащу их из беды».

Тем не менее Эдуард отдал кое-какие распоряжения, призвал к себе герцога Ланкастера и повелел начать приготовления к новой высадке на континент, одновременно он направил соответствующий приказ принцу Уэльскому, находившемуся в Бордо. И так как от посланцев Филиппа Наваррского Эдуард узнал, что Иоанн II, обвиняя во всех смертных грехах своего зятя, обвиняет также и английского короля, он сразу же отправил послания и святому отцу, и императору Священной империи, а также многим государям христианского мира, и в посланиях этих отрицал, что находится в сговоре с Карлом Злым, однако всячески хулил Иоанна II за недостаток доверия и за его действия, которые не подобают, по его мнению, королю «ради чести рыцарской»

и короля недостойны. Его послание к папе было написано куда быстрее, чем такое же послание короля Иоанна, и, уж поверьте мне, составлено совсем иначе.

Мы с королем Эдуардом недолюбливаем друг друга: он считает, что я слишком привержен интересам Франции, а я считаю, что он недостаточно чтит примат церкви. При каждой встрече у нас происходят баталии. Ему бы хотелось посадить на папский престол англичанина, а еще лучше, чтобы вообще никакого папы не было. Но я должен признать, что для своего народа он прекрасный правитель: ловкий, осмотрительный, когда нужно быть осмотрительным, отважный, когда можно быть отважным. Англия ему многим обязана. И к тому же, хотя ему всего сорок четыре года, он пользуется уважением, каким пользуются лишь престарелые государи, ежели они, конечно, были хорошими государями. Возраст монархов измеряется не датой их рождения, а длительностью их царствования.

В этом отношении Эдуард III, так сказать, древнее всех правителей Запада. Папа Иннокентий — всего лишь четыре года верховный священнослужитель. Император Карл, хоть и был избран десять лет назад, короновался толь-

ко в позапрошлом году. Иоанн Валуа как раз отпраздновал… — пленнику не так-то радостно праздновать такое событие… — шестую годовщину после своего миропомазания. А он, Эдуард III, на престоле уже двадцать девять лет, вернее, почти тридцать.

Внешне это мужчина прекрасного сложения, величественной осанки, правда чуть раздобревший. Длинные белокурые волосы, шелковистая выхоленная бородка, голубые глаза — на мой вкус, чересчур большие. Настоящий Капетинг. Он как две капли воды похож на своего деда Филиппа Красивого и от него же унаследовал немало достоинств. Какая жалость, что кровь наших королей принесла такие прекрасные плоды в Англии и такие убогие во Франции! С годами Эдуард, совсем как и его дед, становится все молчаливее и молчаливее. Что вы хотите! Вот уже тридцать лет он видит, как пресмыкаются перед ним люди. По их походке, по взгляду, тону голоса он догадывается, на что они рассчитывают, чего от него ждут; знает, сколь велико их тщеславие, а главное, знает, чего каждый из них стоит. Приказы его немногословны. Он сам говорит: «Чем меньше произносишь слов, тем меньше их будут повторять и тем меньше искажать их смысл».

В глазах всей Европы он прославлен как герой. Битва у Слейса, осада Кале, победа при Креси… Франция целое столетие не знала поражений, а Эдуард разбил ее или, вернее говоря, разбил своего французского соперника, коль скоро война эта началась, по его словам, лишь с одной целью — утвердить свои права на корону Людовика Святого. Но конечно, и с целью прибрать к рукам благоденствующие французские провинции.

Не проходило и года, чтобы он не высаживал на континент свои войска — то в Булони, то в Бретани — или не приказывал, как то было два последних лета, совершать набег из своего герцогства Гиеньского.

Прежде он сам водил своих людей в бой и не зря снискал себе славу доблестного воина… Теперь он в походах участия не принимает. Теперь его войсками командуют умелые военачальники, закалившиеся во многих кампаниях; но мне думается, что успехом своим он главным образом обязан тем, что войско у него постоянное и состоит в подавляющем большинстве из пеших ратников; такое войско и много подвижнее, и не обходится так дорого, как наше громоздкое рыцарское воинство, которое каждый раз приходится созывать, и никогда его вовремя не

соберешь, и вооружены они, экипированы кто во что горазд, и не обучены согласованным действиям на поле боя.

Конечно, звучит оно куда как красиво: «Отечество в опасности. Нас призывает король. Пусть каждый поспешит ему на помощь!» А с чем спешить-то? С палками? Придет, придет еще время, когда все короли возьмут пример с Англии и будут вести войны обученными людьми, настоящими солдатами, которые пойдут туда, куда им прикажут, без пререканий и отлынивания.

Видите ли, Аршамбо, государству вовсе не обязательно, для того чтобы стать могущественным, иметь огромную территорию или большое народонаселение. Надо только, чтобы в народе было развито чувство гордости, чтобы он был способен на порыв и чтобы им долгое время правил разумный монарх, который сумел бы зажечь в душах людей огонь высоких устремлений.

И вот в государстве, насчитывающем шесть миллионов душ, включая Уэльс, — и это еще до чумы, а после Божьего бича осталось всего четыре миллиона, — Эдуард III создал благоденствующую и грозную нацию, которая как равная с равными говорит с Францией и со Священной империей. Торговля сукном, морские перевоз-

ки товаров; присоединение Ирландии; умелое хозяйничанье в богатой Аквитании; неукоснительное и безропотное исполнение королевских приказов; армия, в любую минуту готовая выступить и не сидящая сложа руки, — вот что превратило Англию в такую могучую, такую богатую державу.

Сам король владеет сказочным богатством: уверяют, будто оно столь велико, что он не в силах подсчитать его. Но я-то отлично знаю, что он его считает, иначе он ничего бы не имел. А тридцать лет назад, когда он вступил на престол, в наследство ему досталась пустая казна и долги чуть ли не всей Европе. А ныне к нему идут с просьбой о займах. Он перестроил Виндзор, украсил Вестминстер… ну если вам так угодно, пусть будет не Вестминстер, а Вестмутье, но я так часто бывал в Англии, что привык произносить их названия по-английски, ибо, любопытное дело, с тех пор как англичане задумали захватить Францию, они все чаще и чаще, даже при дворе, говорят на своем саксонском языке и все реже и реже по-французски… Каждую свою резиденцию король превращает в сокровищницу. Многое покупает у ломбардских купцов и у кипрских мореплавателей, и не только восточные пряности,

но и всякого рода изделия, которые потом служат образчиком для английских ремесленников.

Кстати, раз уж разговор зашел о пряностях, я должен, Аршамбо, сказать вам несколько слов о перце. Перец — прекрасное помещение денег. Прежде всего перец не портится; в последние годы цены на него все растут и растут, и по всему видно, что еще будут расти. На складе в Монпелье у меня лежит перца на десять тысяч флоринов, а взял я его в частичное погашение долга от одного тамошнего купца — Пьера де Рамбера, который не мог вовремя расплатиться с кипрскими поставщиками. А коль скоро я каноник Никозии… никогда, правда, там не бывал, ни разу, увы, не бывал, ибо, по рассказам очевидцев, остров этот красоты несказанной… поэтому-то я и уладил это дело без хлопот… Но вернемся к королю Эдуарду.

Королевский стол в Англии — это не просто громкие слова, и у всякого, кто попадает туда впервые, дух захватывает от обилия и блеска золота. Золотой олень почти в натуральную величину украшает середину стола. Кубки, кувшины, блюда, ложки, ножи, солонки — все из чистого золота. Стольники за одну перемену притаскивают столько золота, что из него можно было бы начеканить монеты для целого графства.

«Ежели придет такой случай, то мы в крайней необходимости можем все это и продать», — говорит король. Но даже в трудную минуту — а какая государева казна таких минут не переживала? — Эдуард спокоен и знает, что всегда может получить любой кредит, так как всему свету ведомы его богатства. А сам он является своим подданным только в роскошнейших одеяниях, расшитых золотом, в бесценных мехах, весь усыпанный драгоценными каменьями, а на сапожках у него золотые шпоры.

Но при всей этой выставляемой напоказ роскоши не забыт и Бог. В одной только Вестминстерской часовне четырнадцать викариев, а прибавьте к этому еще певчих и всех служек в ризнице. Коль скоро Эдуард считает, что папа находится под властью французов, он, очевидно, вызова ради все время увеличивает число служителей церкви, но дарует эти должности только англичанам и не делится бенефициями со Святым престолом, из-за чего у нас с ним вечно идут споры.

Итак, когда Богу воздано Богово, остается еще семья, а у Эдуарда III десять человек детей, и все они живы. Старший — принц Уэльский и герцог Аквитанский, как вам это известно; ему

уже двадцать шесть. А самого младшего, графа Букингемского, кормилица только-только отняла от груди.

Каждого из своих сыновей Эдуард наделяет значительным герцогством или графством; дочерям старается устроить такой династический брак, который мог бы послужить его замыслам.

Пари держу, что ему, королю Эдуарду, жилось бы весьма тоскливо, если бы он не был предназначен Провидением на то, что более всего способен делать, — править. Да, да, его не так уж сильно занимало бы собственное существование, надвигающаяся старость, не так бы спокойно он глядел в глаза приближающейся смерти, если бы не выпало ему на долю направлять чужие страсти и указывать другим людям цель в жизни, а это помогает забыть о самом себе. Ибо люди лишь тогда чувствуют всю цену жизни и могут достойно ее прожить, когда все их деяния и все их мысли посвящены какому-то великому свершению, с которым они неразрывно связывают свою судьбу.

Именно это и вдохновляло Эдуарда, когда он учредил в Кале свой орден Подвязки, который так процветает и в подражание коему наш злосчастный король Иоанн, основав орден Звезды,

породил на свет божий поначалу весьма пышную, а затем довольно убогую его копию…

Именно эта тяга к величию подвигает короля Эдуарда, когда он вынашивает план, о котором вслух не говорит, но который ни от кого не скроешь — превратить Европу в государство английское. Не то чтобы он мечтает держать весь Запад под своей единоначальной властью или хочет покорить все государства и превратить их в своих вассалов. Нет-нет, его замысел иной — свободное объединение королей или правительств, где он играл бы первенствующую роль, и благодаря этому объединению не только воцарился бы мир внутри этого союза, но можно было бы больше не опасаться Священной империи, если бы даже она не согласилась примкнуть к нему. И никаких обязательств в отношении Святого престола; я подозреваю, что втайне он вынашивает этот замысел… Первых успехов он добился во Фландрии, оторвав ее от Франции; он вмешивается в дела Испании, запускает щупальца даже в Средиземноморье. О, если бы ему удалось заполучить Францию, представляете, что бы он наделал, что бы он мог наделать!.. Впрочем, его замысел не так уж нов. Король Филипп Красивый, его дед, тоже вынашивал план объединения Европы, что

обеспечило бы вечный мир.

С французами Эдуард любит говорить по-французски, с англичанами — по-английски. Может он беседовать и с фламандцами на их родном языке, чем немало льстит их самолюбию, и, пожалуй, этим объясняется его успех в их стране. А со всеми прочими он говорит по-латыни.

Вы, понятно, спросите меня, Аршамбо, почему бы не уступить столь одаренному, столь талантливому, столь взысканному судьбой правителю в его притязаниях на французский престол? Почему бы не посодействовать ему в этом? Почему мы из кожи лезем вон, чтобы сохранить престол за этим наглым дурачком, да еще родившимся при таком неблагоприятном сочетании небесных светил, каким нас наградило Провидение, лишь для того, без сомнения, чтобы послать испытание нашему злосчастному королевству?

Э-э, нет, племянничек, мы всей душой стремимся к этому прекрасному объединению западных государств, мы тоже его жаждем, но мы хотим, чтобы оно было под эгидой Франции — другими словами, чтобы управлялось оно французами, за коими оставалось бы преимущественное положение. Мы твердо убеждены, что, коль скоро Англия станет слишком могущественной, она

будет попирать законы нашей церкви. Франция же избранное Богом государство… Да и король Иоанн не вечен.

Но вы понимаете также, Аршамбо, почему король Эдуард так упорно поддерживает этого Карла Злого, который обманывал его уже десятки раз. Все дело в том, что маленькая Наварра и огромное графство Эврё — весьма заманчивые куски не только для его притязаний на корону Франции, но также в вынашиваемом им плане объединения христианских государств, который накрепко засел ему в голову. Что ж, надо дать и королям помечтать немного!

Вскоре после прибытия посольства наших любезных друзей Морбека и Бревана в Англию туда собственнолично явился его высочество Филипп д'Эврё-Наваррский, граф Лонгвиль.

Высокий, белокурый, прекрасно сложенный и гордец нравом, Филипп Наваррский столь же прям и честен, сколь лукав его старший брат; и именно благодаря свойствам своей натуры младший, храня верность старшему, скрепя сердце участвует во всех его коварных проделках. Он не наделен в отличие от старшего брата даром красноречия, но привлекает к себе людей сердечным своим теплом. Он сильно пришелся по душе

королеве Филиппе, которая уверяет, что он-де ужасно похож на ее супруга, когда Эдуард был в том же возрасте. Что, впрочем, и неудивительно: Эдуард и Филипп — кузены по многим родственным линиям.

Славная королева Филиппа! Еще в девушках она была розовенькая и пухленькая и обещала стать со временем просто толстухой, как большинство женщин Геннегау. И обещание свое сдержала.

Король любил ее спокойной любовью. Но с годами у него появились и другие сердечные увлечения, редкие, но неистовые. В числе их графиня Солсбери, а теперь Алис Перрерс, или Перрьер, придворная дама королевы. Желая развеять свою досаду, Филиппа утешается едой и становится все толще и толще.

Вы спрашиваете о королеве Изабелле? Ну да, ну да, она еще жива, во всяком случае, месяц назад еще была жива… Вот уже двадцать восемь лет живет она в Касл-Ризинг, в огромном и унылом замке, куда заточил ее сын после того, как обезглавил ее любовника лорда Мортимера. Будь Изабелла на свободе, она могла бы доставить сыну немало хлопот. Французская волчица… Раз в году, на Рождество, он приезжает ее навестить.

Его права на французский престол — это от нее, от Изабеллы. Но она же и причина династического кризиса во Франции, потому что сообщила своему отцу Филиппу Красивому о любовных шашнях Маргариты Бургундской и тем доставила великолепный предлог отстранить от престола потомство Людовика Сварливого. Признайтесь, есть нечто забавное в том, что сорок лет спустя внук Маргариты Бургундской и сын Изабеллы заключают союз. Нет, и впрямь стоит жить, чтобы стать свидетелем такого!

И вот Эдуард и Филипп Наваррский в Виндзоре вновь берутся за составление прерванного на середине договора, первые кирпичи коего были заложены еще во времена переговоров в Авиньоне. И понятно, договор по-прежнему тайный. В первоначальных наметках имена договаривающихся правителей не должны были вообще быть названы. Король Англии именуется «старший», а король Наваррский — «младший», как будто этого вполне достаточно, чтобы их замаскировать, и как будто из содержания самого договора все и так не становится очевидным! Все эти меры предосторожности, может, и хороши для королевских канцелярий, но, разумеется, не могут ввести в заблуждение тех, кого следует опасаться. Если

тайну нужно сохранить действительно в тайне, не следует заносить ее на бумагу, вот и все.

«Младший» признает «старшего» законным королем Франции. Опять все то же начало и вся суть договора, короче, его основа основ. «Старший» признает за «младшим» права на герцогство Нормандское, графства Шампань и Бри, виконтство Шартр и весь Лангедок вместе с Тулузой, Безье, Монпелье. Говорят, что Эдуард уперся насчет Ангулема… очевидно, потому, что это слишком близко к Гиени, и, если договор этот — да не будет на то воля Божья! — поможет ему укрепиться, он не позволит Наварре вклиниться между Аквитанией и Пуату. В качестве возмещения он согласен поступиться Бигорой, чем Феб, дойди это до его ушей, был бы не слишком обрадован. Как видите, если сложить все эти земли вместе, получится солидный кусок Франции, даже весьма солидный. Удивительное все-таки дело — человек, рассчитывающий править нашей страной, отдает такой кусок своему вассалу. Но, с одной стороны, он превращает владения Наваррского как бы в вице-королевство, что полностью отвечает его заветной мечте о новой империи, а с другой — чем больше он округляет владения принца, признающего его королем, тем

сильнее территориальная опора его законности. Вместо того чтобы потихонечку да полегонечку добиваться присоединения герцогств и графств, он может рассчитывать на поддержку всех этих провинций разом.

Что касается всего прочего: раздела военных расходов, обязательств ни в коем случае не заключать сепаратных перемирий, — то все это самые обычные пункты любого договора и заимствованы они из первоначального проекта. Но союз именуется «постоянным союзом».

Да, чуть не забыл упомянуть об одном забавном недоразумении, происшедшем между Эдуардом и Филиппом Наваррским: Филипп потребовал, чтобы в договор вписали сумму в сто тысяч экю, которые были упомянуты в брачном контракте Карла Наваррского и Жанны Валуа и, конечно, так никогда и не были выплачены.

Король Эдуард удивился:

— Но почему же я должен платить долги короля Иоанна?

— А как же иначе? Вы взойдете вместо него на престол, значит вам придется взять на себя все его обязательства.

Юному Филиппу нельзя было отказать в апломбе. Только в таком возрасте можно позволить

себе говорить подобные вещи. Король Эдуард III рассмеялся, что случалось с ним не часто.

— Пусть будет так. Только после того, как я коронуюсь в Реймсе. Но не до миропомазания.

И Филипп Наваррский отбыл в Нормандию. Пока переносили на веленевую бумагу то, о чем было договорено, пока обсуждали точные формулы одного пункта за другим, пока перевозили документы с одного берега Ла-Манша на другой… От «старшего» к «младшему»… а тут еще военные хлопоты… словом, этот тайный договор стал явным, во всяком случае для тех, кто был заинтересован его знать, а подписан он был окончательно только в начале сентября в замке Кларендон, всего три месяца назад, незадолго до битвы при Пуатье. А кем подписан? Филиппом Наваррским, который с этой целью вторично отправился в Англию.

Теперь вы понимаете, Аршамбо, почему дофин, который, если помните, был против ареста Карла Наваррского, упорно держит его в темнице, тогда как, находясь сейчас во главе государства, давно мог бы его освободить, тем паче что на него со всех сторон наседают с просьбами. Пока договор с Англией подписан не Карлом, а Филиппом Наваррским, его можно считать пустой бумажкой.

А вот если его подпишет Карл — это уже будет совсем иное дело.

И посейчас король Наварры, из-за того что сын короля Франции держит его в заключении в Пикардии, еще не знает — очевидно, только он один и не знает, — что он признал короля Англии королем Франции, но признал, так сказать, платонически, раз не мог подписать договор.

Тут уж все окончательно запутывается, здесь, как говорится, своя своих не познаши, и мы постараемся в Меце распутать этот узел! Бьюсь об заклад, лет через сорок ни одна живая душа не сможет разобраться во всех этих делах, кроме вас, возможно, или вашего сына, потому что вы ему обо всем этом непременно расскажете…

Глава III
Папа и христианский мир

Разве я вам не сказал, что в Сансе мы получили свежие новости? И к тому же хорошие. Так вот, дофин, бросив свои бурлящие Генеральные штаты, где Марсель требует упразднения Большого совета и где епископ Ле Кок, ходатайствуя об освобождении Карла Злого, договаривается до того, что следует, мол, низложить короля Иоан-

на II… да-да, дражайший племянник, дошло уже до этого; пришлось соседу епископа наступить ему на ногу, и тогда тот опомнился и уточнил, что Генеральные штаты не уполномочены низлагать королей, а может это сделать лишь папа, и то по просьбе не менее трех Генеральных штатов… — так вот, дофин, оставив в дураках всю эту публику, вчера, то есть в понедельник, тоже отправился в Мец. А с ним две тысячи всадников. Сослался он на то, что получил-де от императора послания, в которых тот требует его приезда в Германию ради блага французского королевства. Да… но прежде всего мое послание. Он меня послушался. Таким образом, Штаты оказались в пустоте и разъедутся по домам, так ничего и не решив. Если в городе начнется волнение, дофин сможет ввести туда войска. Так что он держит столицу под угрозой…

Вторая добрая весть: Капоччи в Мец не едет. Отказывается со мной встречаться. Бывают же такие приятные отказы. С одной стороны, он ослушается святого отца, с другой — я от него отделаюсь. Я послал архиепископа Санского сопровождать дофина, а с ним уже едет архиепископ-канцлер Пьер де Ла Форе; таким образом, при дофине будут уже два советника, и оба люди

умные. А у меня в свите дюжина прелатов. Этого за глаза достаточно. Ни у одного легата такой свиты еще никогда не бывало. И потом, нет Капоччи. Честное слово, никак не возьму в толк, почему это святой отец так настаивал, чтобы Капоччи меня сопровождал, и столь же упорно не желает вновь его призвать. Прежде всего без него я выехал бы куда раньше. Вот уж воистину загубленная весна.

Когда мы узнали о событиях в Руане и получили в Авиньоне послания от короля Иоанна и короля Эдуарда, а потом, когда нам стало известно, что герцог Ланкастер готовит новый поход, а войско Франции будет собрано к началу июня, я сразу понял, что все оборачивается скверно. И сказал святому отцу, что необходимо послать легата, с чем и он согласился. Он жаловался на упадок христианского мира. Я готов был выехать через неделю. А ему требовалось три, чтобы написать наставления. Я ему сказал: «Какие тут наставления, sanctissimus pater? Прикажите переписать те, что остались вам от вашего предшественника, благочестивого Климента VI, они были написаны десять лет назад и по такому же случаю. Прекраснейшие наставления. А я считаю, что главное наставление — это действовать, дабы помешать

возникновению новой войны».

Быть может, в глубине души, сам себе не отдавая в том отчета, ибо он, безусловно, не способен сознательно думать о ком-нибудь или о чем-нибудь плохо, папа не так уж горел желанием, чтобы я добился успеха там, где он в свое время, накануне битвы при Креси, потерпел поражение. Впрочем, он сам в этом признался… «Эдуард III так грубо и зло со мной говорил, что боюсь, как бы того же не повторилось и с вами. Он, Эдуард III, человек решительный и твердый, его так легко не обведешь вокруг пальца. Да еще вдобавок он считает, что все французские кардиналы приняли сторону его противника. Потому-то я и собираюсь послать с вами нашего venerabilis frater Капоччи». Вот что он вбил себе в голову.

Venerabilis frater! Достопочтенный брат! Каждый папа должен совершить по меньшей мере хотя бы одну ошибку во время своего пребывания на Святом престоле, иначе он станет самим Господом Богом. Так вот, ошибка Климента VI в том, что он сделал Капоччи кардиналом.

«И к тому же, — сказал мне Иннокентий, — если один из вас двоих занедужит… да сохранит вас Всевышний… другой сможет довести до конца нашу миссию». Так как нашему бедняжке

Иннокентию все время неможется, ему хочется думать, будто все прочие люди хворые, и, если вы при нем чихнете ненароком, он готов тут же вас соборовать.

Ну скажите сами, Аршамбо, видели ли вы, чтобы я занедужил хотя бы на один день во время нашего путешествия? Вот Капоччи другое дело — от дорожной тряски у него начинается колотье в пояснице, да еще каждые два лье приходится останавливать носилки, чтобы он мог помочиться. То его прошибает лихорадочный пот, то у него понос. Он хотел отобрать у меня моего лекаря мэтра Вижье; как вы сами могли убедиться, он не так уж завален работой, по крайней мере в том, что касается меня. По моему мнению, хороший лекарь — это такой лекарь, который каждое утро вас ощупывает, выслушивает, осматривает вам глаза, велит высунуть язык; не запрещает вам всего на свете, не чаще чем раз в месяц проверяет мочу и отворяет вам кровь — словом, поддерживает вас в отменном здоровье. А главное, надо посмотреть, как этот Капоччи готовился к отъезду! Он принадлежит к тому сорту людей, которые интригуют и добиваются, чтобы их послали с миссией, а добившись своего, могут умучить любого своими требованиями. Одного папского

аудитора ему, видите ли, мало, подавай ему двоих. А для чего, в сущности, я вас спрашиваю, коль скоро все письма в курию, пока мы еще ехали вместе, все равно диктовал и правил я сам… И потому-то мы выбрались только 21 июня, в день солнцестояния, слишком поздно. А когда армии двинулись в поход, войны уже не остановишь. Войну можно остановить, когда она еще только замыслена монархом и окончательное решение еще не принято. Короче, говорю вам, Аршамбо, загубленная весна.

Накануне нашего отъезда святой отец принял меня одного. Возможно, раскаивался, что навязал мне никудышного спутника. Я отправился к папе в Вильнёв, где теперь находится его резиденция. Ибо он наотрез отказался жить в огромном Авиньонском дворце, построенном его предшественниками. Слишком, видите ли, там все пышно, слишком, на его взгляд, торжественно, слишком много там челяди. Словом, Иннокентий решил потрафить гласу народному, ибо люди упрекают всех пап за то, что они живут в слишком большой роскоши. Глас народный! С десяток писак, которым желчь с успехом заменяет чернила; с десяток проповедников, которых подослал в христианскую церковь сам Сатана, чтобы внести

туда раздор. Ну тем, первым, достаточно пригрозить отлучением от церкви, чтобы впредь им неповадно было мутить народ, а последним предоставить доход с церковного имущества или бенефиции, да в придачу дать им какой-нибудь пост повиднее, ибо оплевывают они подчас все и вся только из зависти; и если они что и желают исправить в этом мире, то лишь потому, что в собственных глазах занимают в нем слишком малое место. Возьмите хотя бы Петрарку, вы слышали нашу о нем беседу с монсеньором Оксерским. Человек он от природы скверный, хотя, надо признать, огромных знаний и достоинств, недаром к нему прислушиваются по обе стороны Альп. Он был другом Данте Алигьери, который привез его с собой в Авиньон; и он выполнял множество различных поручений, вел переговоры между правителями. Вот кто написал, что Авиньон — это вертеп вертепов, что там процветают все пороки, что там кишат пройдохи, что там подкупают кардиналов, что сам папа держит лавочку и торгует направо и налево епархиями и аббатствами, что у прелатов есть любовницы, а у любовниц, в свою очередь, оплачиваемые ими кавалеры… словом, новый Вавилон, да и только.

И на мой счет он наговорил немало злого. Коль

скоро он персона значительная, я с ним виделся, выслушал его, к великому его удовлетворению, устроил кое-какие его дела… говорят, он привержен алхимии, черной магии и всему такому прочему… вернул ему несколько бенефиций, которых его лишили; я состоял с ним в переписке и просил, чтобы в каждом своем письме он приводил бы стихи или сентенции великих поэтов древности, которых он знает чуть ли не наизусть, а я украшу ими свои проповеди, хотя особенно этим не злоупотребляю, у меня скорее стиль легиста; я как-то даже предложил ему занять должность папского аудитора, и только от него самого зависело решение. Так вот, с тех пор он стал куда меньше поносить папский Авиньон и обо мне пишет просто уж какие-то чудеса. Я-де первое светило на небесах церкви; я всевластен, хоть и не на папском престоле; в учености я равен или даже превосхожу любого законоведа наших дней; я щедро наделен природой и утончен науками; и смело можно признать за мной способность объять любое явление, происходящее в мире, как раз то, что Юлий Цезарь приписывал Плинию Старшему. Так-то вот, дражайший племянник, не более и не менее! А ведь я ничуть не поступился ни роскошью своего жилища, ни

количеством челяди, что побуждало его раньше на едкую сатиру… Он, мой друг Петрарка, уехал в Италию. Есть в нем что-то, что мешает ему осесть в каком-нибудь одном месте; таким же был и его друг Данте, от которого он так много перенял. Он тоже выдумал себе великую любовь к какой-то даме, которая и его любовницей-то никогда не была и рано скончалась. Поэтому он так возвышенно и настроен… Я его, этого злюку, очень люблю, мне его недостает. Живи он в Авиньоне, без сомнения, сейчас на вашем месте сидел бы он, ибо я непременно прихватил бы его с собой…

Но так прислушиваться к гласу народному, как наш добрый Иннокентий! Да это значит показывать свою слабость, дать волю хулителям и оттолкнуть от себя многих, кто вас поддерживает, так и не приобретя новых друзей среди хулителей.

Итак, выставив напоказ свое смирение, наш папа перебрался в небольшой кардинальский дворец в Вильнёве, по ту сторону Роны. Но как бы он ни урезал число своей челяди, все равно помещение оказалось слишком мало. Поэтому пришлось его расширить, иначе негде было бы разместить тех, чьи услуги требуются повседневно. Канцелярия работает из рук вон плохо, так

как не хватает места; писцы переходят из комнаты в комнату в зависимости от выполняемой работы. На буллы, которые они перебеляют, то и дело сыплется пыль. А коль скоро многие папские службы остались в Авиньоне, то и дело приходится переплывать на лодке реку, и часто при злом ветре, а зимой холод пробирает вас до костей. Все дела затягиваются до бесконечности… А так как папа питает слабость к Жану Бирелю, главе картезианцев, который снискал себе славу святого… в конце концов, я все думаю, прав ли был я, отстранив его в свое время от Святого престола, быть может, это было бы не так уж плохо… наш святой отец дал обет построить картезианский монастырь. Как раз теперь его и возводят между папским жилищем и заново оснащенным фортом Сент-Андре, который тоже сейчас переделывают. Но тут уж работой руководят королевские сановники. Так что ныне христианским миром управляют с высоты строительных лесов.

Меня святой отец принял в своей часовне, откуда он почти и не выходит, — в приделе под пятиугольным сводом, примыкающим к большой зале, где даются аудиенции… потому что хочешь не хочешь, а зала для аудиенции нужна, это-то папа понимает… и залу эту он приказал

расписать живописцу из Витербо по имени Маттео Джова, не то Джованотто, не то Джованелли или Джованетти… все голубое, все палевое, больше подходит скорее для женского монастыря; мне лично это не по душе; мало пурпура, мало золота. И ведь яркие краски стоят не дороже прочих… А шуму-то, шуму, племянничек! При этом часовня — самый тихий уголок во всем дворце, поэтому-то папа и сидит здесь с утра до вечера! Пилы со скрежетом вгрызаются в камень, молотки стучат по резцам, вороты скрипят, грохочут повозки, настилы трясутся, орут и чертыхаются рабочие… Обсуждать среди такого шума серьезные вопросы — да это же чистая мука. Я теперь понимаю, почему у святого отца вечно болит голова. «Вы сами видите, достопочтенный собрат мой, — сказал он мне, — сколько приходится тратить денег и сколько поднято здесь суеты, и все для того, чтобы построить себе приют бедности. И к тому же надобно еще поддерживать большой дворец на том берегу. Не могу же я допустить, чтоб он рухнул…»

Когда папа Обер начинает вот так невесело подсмеиваться над собой и готов признать свои ошибки, только бы доставить мне удовольствие, у меня сердце от жалости разрывается.

Сидел он на каком-то убогом сиденьице, на которое я бы ни за что не сел даже в те времена, когда меня только что посвятили в епископы; как и всегда, он во время всей нашей беседы сильно сутулился. Крупный нос с горбинкой, продолжающий линию лба, крупные ноздри, густые брови высоко над глазницами, большие уши, так что мочки их торчат из-под белого папского головного убора, уголки губ оттянуты вниз к кудрявой бородке. Производит впечатление человека крепкого, и удивительно даже, почему у него такое хрупкое здоровье. Какой-то скульптор высекает его из камня для будущего надгробия. Потому что он наотрез отказался, чтобы ему ставили статую, из упрямства, конечно… Но на усыпальницу он все-таки соглашается.

В тот день на него нашел стих жаловаться. Он говорил мне: «Каждый папа, брат мой, должен пережить, на свой, конечно, лад, страсти Господа нашего Иисуса Христа. На мою долю выпала неудача во всех моих начинаниях. С тех пор как по воле Господней я очутился на вершине христианского мира, я чувствую, что распят на кресте. Что совершил я, в чем преуспел за эти три с половиной года?»

По воле Господней, кто же спорит, кто спорит?

Но признаемся, что выразилась она отчасти через мою скромную персону. Поэтому-то я и позволяю себе кое-какие вольности в разговоре со святым отцом. Но тем не менее есть вещи, которые я никак не могу ему сказать. К примеру, не могу же я ему сказать, что люди, которые наделены высшей властью, не должны слишком ревностно стараться переделать мир сей, дабы оправдать свое возвышение.

В душе великих смиренников таится потаенная гордыня, которая служит причиной всех их неудач.

Я-то прекрасно знал все замыслы папы Иннокентия, все его великие начинания. По сути дела, их всего три, но они взаимосвязаны. Самый тщеславный из этих трех замыслов — воссоединить Римскую и Греческую церкви, как вы догадываетесь, под эгидой церкви католической; вновь объединить Восток и Запад; восстановить единство христианского мира. Об этом мечтают все папы уже тысячу лет. И при папе Клименте VI я сильно подвинул это дело, так далеко оно еще никогда не было подвинуто, и, во всяком случае, дальше, чем в наши дни. Папа Иннокентий приписал этот замысел себе, словно бы эта мысль, совсем новая мысль, снизошла на него свыше

через Духа Святого. Не будем этого оспаривать.

Второй его замысел, который, в сущности, предшествует первому, заключается в том, чтобы вновь перенести папский престол в Рим, ибо влияние папы на христиан Востока может стать и впрямь великим, ежели исходить оно будет с высоты престола святого Петра. Сейчас Константинополь переживает период упадка и может, не поступившись честью, склониться перед Римом, но отнюдь не перед Авиньоном. Тут, как вы знаете, я расхожусь с ним во мнении. Возможно, рассуждение это было бы справедливо при условии, что сам папа не окажется в Риме еще более слабым, чем в Провансе…

А ведь для того, чтобы возвратиться в Рим, надо прежде всего примириться с императором — таков третий его замысел. Это дело первоочередное. А теперь посмотрим, к чему привели нас эти прекрасные замыслы… Вопреки моим советам мы спешно короновали Карла, которого избрали уже восемь лет назад и которого мы все-таки держали в узде, маня его, так сказать, конфеткой миропомазания. А теперь мы против него бессильны. Он отблагодарил нас своей «Золотой буллой», которую нам пришлось волей-неволей проглотить молча и из-за которой мы потеряли

возможность не только оказывать свое влияние на выборы императора Священной империи, но и на финансовые дела имперской церкви. Это совсем не примирение, а полная сдача. А за это император великодушно соблаговолил развязать в Италии нам руки, другими словами, позволил нам сунуть руку в осиное гнездо.

В Италию святой отец послал кардинала Альвареса Альборнеза, который по натуре своей скорее воин, чем кардинал, и поручил ему приготовить все для возвращения Святого престола в Рим. Альборнез начал с того, что связался с Кола ди Риенци, который в то время правил Римом. Родился он, этот Риенци, в какой-то таверне в Трастевере и был настоящий простолюдин с лицом Цезаря; в тех местах такие время от времени появляются на свет, они умеют пленить римлян, твердя, что предки их владычествовали надо всем миром. К тому же Риенци выдавал себя за сына императора, за незаконного сына Генриха VII Люксембургского; но, увы, мнения этого никто не разделял. Он избрал себе титул трибуна, носил пурпуровую тогу и жил в Капитолии, на развалинах храма Юпитера. Мой друг Петрарка всячески превозносил его за то, что он восстановил древнее величие Италии. Он мог бы

быть выигрышной пешкой на нашей шахматной доске, но при том лишь условии, что надо было продвигать ее вперед разумно, а не строить на ней одной всю свою игру. Два года назад его убили братья Колонна, потому что Альборнез опоздал прислать ему помощь. Все приходится начинать сызнова, и о возвращении в Рим теперь нечего и думать, особенно когда там такая смута, какой никогда раньше не бывало. Видите ли, Аршамбо, о Риме следует мечтать всегда, но никогда туда не возвращаться.

Что же касается Константинополя… О, на словах мы куда как продвинулись с этим делом. Император Палеолог готов нас признать и дал нам торжественное заверение: он даже прибудет в Авиньон, дабы преклонить пред нами колена, если только сумеет выбраться из своей обкорнанной империи. И условие он ставит нам лишь одно: пусть, мол, ему пришлют войско, чтобы он мог расправиться со своими врагами. В теперешнем своем положении он согласился бы признать первого попавшегося деревенского кюре, лишь бы ему дали пять сотен рыцарей и тысячу ратников…

Ага! И вы тоже удивляетесь! Ежели единение христианского мира, ежели объединение церк-

вей зависит лишь от такого пустяка, так почему бы не отрядить в греческое море столь малую горстку людей? Э, нет, э, нет, дорогой мой Аршамбо, вот этого-то ни в коем случае мы и не можем сделать. Потому что мы не можем как следует экипировать людей и нам не из чего выплачивать им жалованье. Потому что мы пожинаем плоды нашей прекрасной политики; потому что, желая обезоружить наших хулителей, мы решили все реформировать и вернуться к чистоте, каковой славилась первоначальная церковь… Какая первоначальная? Надо иметь немалую смелость, чтобы утверждать, что я, мол, знаю какая! И какая тут чистота? Ведь даже среди двенадцати апостолов нашелся один предатель!

И для начала отменяется пользование доходами с аббатств и бенефициями, если это не сопровождается попечением о душах человеческих… коль скоро «овечки должны быть пасомы пастырем, а не корыстолюбцами», и велено лишать принятия Святых Тайн тех, что сбирают богатства… «будем подобны сирым…», и запрещается взимать налоги с уличных женщин и игры в зернь… да-да, мы даже такими мелочами не брезгуем, ибо при игре в зернь произносят богохульные слова; никаких нечистых денег; не

будем наживаться на грехе, так как, превращая его в торговую сделку, мы лишь способствуем распространению его и выставляем его напоказ.

А в итоге всех этих преобразований казна оскудела, ибо чистые деньги притекают тоненькой струйкой; число недовольных умножается, и всегда находятся фанатики, проповедующие, что папа-де еретик.

Ах, если правду говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями, то наш дражайший папа замостил изрядный кусок!

«Достопочтенный брат мой, откройте мне все ваши мысли, не скрывайте от меня ничего, даже если вы хотите в чем-либо меня упрекнуть».

Ну могу ли я ему сказать, что, читай он с большим тщанием то, что Создатель начертал для нас на небесах, он увидел бы, что расположение светил небесных сейчас неблагоприятно почти для всех престолов, включая и его собственный, на котором он восседает лишь потому, что аспекты его гороскопа были злополучны, ибо, будь они хороши, папский престол, несомненно, занял бы я? Ну могу ли я ему сказать, что, когда человек находится под столь жалким склонением светил, не время ему браться за перестройку здания с подвала до чердака, а нужно как можно заботли-

вее поддерживать это здание таким, каким было оно завещано нам, и вовсе не достаточно просто явиться из селения Помпадур в Лимузине во всей своей крестьянской простоте, и притом надеяться, что к словам твоим будут прислушиваться короли и сможешь ты искупить несправедливости мира сего? Самое страшное бедствие нашего времени в том, что высочайшие престолы подчас занимают люди, недостаточно великие для выполнения возложенных на них задач. Тем, что придут им на смену, будет нелегко, ох нелегко!

Накануне моего отъезда святой отец вот еще что мне сказал: «Такой ли я папа, что может объединить христиан всего мира, или все мои попытки обречены на неудачу? Мне стало известно, что король английский согнал в Саутгемптон пятьдесят кораблей, дабы перевезти на континент четыреста рыцарей и лучников и более тысячи лошадей». Еще бы ему этого не знать — да я сам сообщил ему об этом. «А мне бы и половины достало, дабы удовлетворить просьбу императора Палеолога. Не могли бы вы с помощью нашего брата кардинала Капоччи, хотя я отлично знаю, что заслуги его не сравнимы с вашими, и которого я люблю куда меньше, чем вас…» Ну, это просто так, слова, одни слова, чтобы меня

успокоить… «Но он, Капоччи, все же пользуется известным доверием Эдуарда III; так не смогли бы вы убедить короля Англии не посылать войска против Франции, а лучше… Да-да, я отлично вижу, о чем вы думаете… Король Иоанн тоже созвал свое войско; но он, король, более доступен чувству чести рыцаря и христианина. Вы имеете на него влияние. Ежели оба короля откажутся от междоусобной войны, а вместо того направят хотя бы часть своих людей в Константинополь, дабы мог он стать лоном единой церкви, подумайте сами, какой славой они покроют имена свои. Попытайтесь втолковать им это, мой досточтимый брат; внушите им, что они могут стать вровень с героями и святыми, вместо того чтобы заливать кровью свои же государства и множить страдания своего народа…»

На что я ответил: «Святейший отец, то, чего вы желаете, самая легкая вещь на свете, но лишь в том случае, если будут выполнены два нижеизложенных условия: король Эдуард потребует, чтобы его признали королем Франции и короновали в Реймсе, а король Иоанн II, в свою очередь, потребует, чтобы король Эдуард отказался от своих притязаний и принес бы ему вассальную присягу. Когда оба эти условия будут выполнены,

все препятствия сами собой отпадут!..» — «Вы смеетесь надо мной, брат мой, вы просто маловер». — «Нет, святейший отец, я верю всей душой, но не в моей власти заставить солнце сиять среди ночной мглы.

Иными словами, я верю, свято верю, что, ежели Господь Бог захочет свершить чудо, Он вполне может обойтись и без нашего содействия».

С минуту мы просидели молча, потому что на соседнем дворе разгружали подводу с бутовым камнем, и плотники сцепились с возчиками. Папа весь поник, и крупный его нос с крупными ноздрями, и длинная его борода. И промолвил: «Тогда добейтесь от них хоть того, чтобы они подписали новое перемирие. Скажите им твердо, что я запрещаю им вести военные действия друг против друга. Если хоть один прелат или священнослужитель будет противодействовать вашим усилиям установить мир между двумя государствами, смело лишайте его всех церковных бенефиций. И помните, ежели один из двоих государей упрется и попытается начать войну, можете грозить ему всем, вплоть до отлучения от церкви; это внесено в данные вам предписания. Отлучение от церкви и интердикт».

После этого напоминания о данных мне полно-

мочиях мне оставалось лишь одно: попросить у папы благословения, что я и сделал. Представляете себе, Аршамбо, как я буду отлучать от церкви сразу двоих королей — Англии и Франции, — да еще при том положении, в коем находится ныне Европа? Эдуард III тут же освободит свою церковь от долга повиновения Святому престолу, а Иоанн пошлет в Авиньон своего коннетабля, чтобы тот осадил город. А наш Иннокентий, что, по-вашему, тогда сделает он? Сейчас я вам скажу. Он во всем обвинит меня и отменит отлучение. Все это только одни пустые разговоры.

Итак, на следующий день мы двинулись в путь. А через три дня, то есть 18 июня, войска герцога Ланкастера высадились у мыса Ла-Аг.

Часть четвертая
Лето бедствий
Глава I
Нормандский поход

Не может все всегда быть злосчастным… Ага, вы уже заметили, Аршамбо, что это одно из самых любимых моих изречений… Да-да, среди всех поражений, всех мук, всех разочарований Всевышний, дабы поддержать дух наш, посылает нам хоть чуточку блага. Надо только уметь ценить это. Господь ждет от нас лишь благодарности, дабы доказать неизреченную доброту свою.

Посмотрите сами, после лета, принесшего Франции великие беды и, будем говорить прямо, не слишком споспешествовавшего моей миссии, посмотрите, как нас обласкала погода и какая чудесная теплынь стоит на всем нашем пути! Это небеса пожелали приободрить нас.

После ливней, которые замучили нас в Берри, я боялся, что мы, продвигаясь к северу, попадем в полосу непогоды, ветра и холода. Поэтому-то я совсем было решил, что прикажу заделать все щели в моих носилках, а сам закутаюсь в мех и стану

согреваться горячим вином. А вышло наоборот: воздух стал мягче, солнышко сияет, и нынешний декабрь скорее похож на весну. В Провансе такое порой бывает, но я никак не ожидал, что при въезде в Шампань нас встретят яркие лучи, позлащенные солнцем поля, такая жара, что даже лошади под чепраками покрываются потом.

Сейчас, поверьте мне, разве только чуточку холоднее, чем в начале июля, когда ехал я в Бретей, чтобы в Нормандии встретиться с королем.

Ибо, выехав из Авиньона 21 июня, я был 12 июля… а-а… вы помните сами, я вам об этом уже говорил!.. и Капоччи занедужил именно тогда… от нашей быстрой езды…

А что король Иоанн делал в Бретее? Осадил, он осадил замок, чем и закончился его недолгий нормандский поход, не принесший ему большой славы, и это еще мягко сказано.

Хочу вам напомнить, что герцог Ланкастер высадился в Котантене 18 июня. Особенно следите за датами; это очень важно в данном случае… Светила? Нет-нет, на тот день я не изучал расположения светил. Я хотел только сказать вам, что, когда идет война, время и быстрота значат столько же, а подчас и больше, чем многочисленность войска.

Через три дня Ланкастер соединился в аббатстве Монтебур с уже находившимся на континенте войском, которое Роберт Нолль, этот славный военачальник, привел из Бретани, и с теми людьми, что поднял Филипп Наваррский. Сколько же народу привел каждый из них? Филипп Наваррский и Годфруа д'Аркур собрали вместе больше сотни рыцарей. У Нолля воинство оказалось посильнее: три сотни ратников, пятьсот лучников, впрочем не одних только англичан — были среди них и бретонцы, эти пришли с Жаном де Монфором, который претендовал на герцогство Бретонское, коль скоро его нынешний владелец граф де Блуа считался приверженцем Валуа. Наконец, Ланкастер вряд ли мог насчитать полтораста рыцарей и две сотни лучников, зато у него был хорошо налажен ремонт лошадей.

Когда король Иоанн II услышал эти цифры, он захохотал так, что даже брюхо у него ходуном заходило. Неужто надеются его запугать таким ничтожным воинством? Если это все, что может собрать его дражайший кузен король Англии, нам особенно тревожиться нечего. «Видите, Карл, сын мой, как я был прав; видите, д'Одрегем, мы без боязни можем держать в заточении моего зятя Карла Наваррского; да-да, я был тысячу раз

прав, когда не обращал внимания на этих пигмеев-наваррцев, раз они сумели раздобыть себе только таких вот жалких союзников».

И тут началась похвальба: недаром же он в начале этого месяца велел созвать в Шартре свое войско. «Разве это не разумная предусмотрительность? Ну, что вы скажете, д'Одрегем? Что скажете вы, сын мой Карл? Теперь-то вы сами видите, что достаточно созвать всего половину войска, а не все. Пусть они поспешают, эти славные англичане, пусть углубляются внутрь страны. Мы обрушимся на них и отбросим их в устье Сены».

Мне передавали, что редко когда видели короля в таком веселом расположении духа, и я охотно этому верю. Ибо этот неизменно битый вояка обожал войну, во всяком случае, обожал ее в мечтах. Нестись вперед, бросать приказы с седла своего коня, которым все повинуются беспрекословно, еще бы, ведь на войне люди повинуются… во всяком случае, в самые первые ее дни; переложить все финансовые и государственные докуки на плечи Никола Брака, Лорриса, Бюси и прочих; жить среди мужчин, а не в окружении дам; двигаться, без конца двигаться; есть в седле, жадно заглатывая огромные куски, или же встать би-

ваком на обочине дороги, в тени развесистой яблони, уже усыпанной мелкими зелеными яблочками; получать донесения лазутчиков; изрекать великие истины, которые потом будут передаваться из уст в уста: «Если у врага жажда, пусть пьет собственную кровь...» Класть руку на плечо какого-нибудь вспыхнувшего от радости рыцаря: «Да ты неутомим, Бусико... твой верный меч залежался в ножнах, благородный Куси!..»

Впрочем, одержал ли он хоть одну победу? Ни одной, ни разу. Когда ему исполнилось двадцать два года, его отец, Филипп Валуа, назначил его главой воинства в Геннегау... титул странноватый — глава воинства!.. И там его здорово разбили англичане. В двадцать пять лет, с еще более пышным титулом — казалось, он сам их изобретает — владыки побед... он недешево обошелся жителям Лангедока: в течение четырех месяцев держал в осаде Эгийон, город при слиянии Ло и Гаронны, а победы так и не добился. Но послушать его, все баталии, как бы печально они ни кончались, были истинными чудесами доблести. Еще ни один человек на свете не извлекал из опыта непрерывных поражений такой уверенности в своих воинских талантах.

На сей раз он сознательно старался продлить

все радости походной жизни.

Пока он ездил в Сен-Дени за орифламмой и потихонечку-полегонечку добирался до Шартра, герцог Ланкастер тем временем, обойдя Кан с юга, переправился на другой берег Дива и расположился на ночь биваком в Лизье. Память о набеге рыцарей Эдуарда III и особенно разграбление Кана, несмотря на десятилетнюю давность, еще не изгладились в памяти людской. Сотни горожан были убиты прямо на улице; похищено сорок тысяч штук сукна; все драгоценности увезены за Ла-Манш; и только каким-то чудом удалось в последнюю минуту предотвратить пожар… нет-нет, жители Нормандии ничего не забыли, поэтому они спешили поскорее пропустить английских лучников через город. Тем паче что Филипп д'Эврё-Наваррский и мессир Годфруа д'Аркур широко оповестили всех, что вот эти англичане, мол, наши друзья. Масла, молока и сыра было в изобилии, сидр сам лился в глотку; на тучных пастбищах раздобрели кони. Честно говоря, прокормить тысячу англичан в течение всего одного вечера менее накладно, чем платить своему королю круглый год пошлину на соль, подымную подать и налог по восемь денье с каждого ливра торгового оборота.

В Шартре Иоанн II имел случай убедиться, что войско вопреки всем его ожиданиям собралось не полностью и не полностью готово к походу. Он-то считал, что у него под началом будет сорок тысяч человек. С трудом насчитали одну треть. Но разве этого не достаточно? Разве этого даже не слишком много, принимая во внимание малочисленность неприятеля? «Ба, кто не явился, тому платить не стану, еще выгода получится. Но я требую, чтобы неявившимся сделали письменное внушение».

Пока Иоанн II восседал в своем расшитом лилиями королевском шатре и диктовал непокорным укоризненные послания: «Ежели король желание изъявил, то долг рыцаря…» — герцог Ланкастер дошел уже до Понт-Одмера, ленного владения короля Наварры. Он освободил замок, который безуспешно вот уже несколько недель осаждали французы, и укрепил наваррский гарнизон, оставив ему провианта на целый год; потом, повернув на юг, отправился грабить аббатство Бек-Эллуэн.

Пока коннетабль, герцог Афинский, старался установить хоть какой-то порядок в войске, собравшемся в Шартре… ибо те, что явились сюда, целых три недели болтались без дела и уже начинали терять терпение… а главное, пока коннетабль старался уладить раздоры между

двумя маршалами — д'Одрегемом и Жаном де Клермоном, ненавидящими друг друга всей душой, герцог Ланкастер подступил уже к стенам Конша и выбил оттуда людей, занявших замок именем короля Франции. А потом поджег замок. Так ушла с клубами дыма былая память о Робере Артуа и еще совсем недавняя — о Карле Злом. Нет, замок этот никому еще счастья не приносил… И Ланкастер двинулся на Бретей. За исключением Эврё, все угодья, которые король Иоанн пожелал отхватить из ленных владений своего зятя, были одно за другим отобраны обратно англичанами.

«Мы раздавим этих воров в Бретее», — гордо заявил Иоанн II, когда наконец его войско тронулось с места. От Шартра до Бретея семнадцать лье. Король пожелал покрыть это расстояние за один переход. Уже к полудню многие начали отставать. Когда измученные вконец люди добрались до Бретея, Ланкастера там уже не оказалось. Он пошел приступом на крепость, выбил французский гарнизон и заменил его крепким отрядом под командованием вояки наваррца Санчо Лопеса, которому тоже оставил провианта на целый год.

Король Иоанн имел великий талант быстро находить себе утешение. «Мы перережем их всех

в Вернее! — вскричал он. — Ведь верно, дети мои?» Дофин признавался мне потом, что он не посмел сказать вслух, что, по его мнению, просто глупо гнаться пятнадцати тысячам за одной тысячей. Ему не хотелось показаться перед людьми маловером в отличие от младших своих братьев, которые слепо во всем подражали отцу и горели желанием броситься в бой, даже самый юный из них — Филипп, хотя ему не исполнилось еще и четырнадцати.

Верней лежит на берегу Авра, это ворота в Нормандию. Англичане промчались через город накануне, подобно опустошительному урагану. А французы в глазах жителей Вернея нахлынули, подобно широко разлившейся в половодье реке.

Герцог Ланкастер, отлично понимая, что вся эта река может с минуты на минуту хлынуть на него, поостерегся идти на Париж. Увозя с собой богатую добычу, захваченную в походе, и уводя с собой множество пленников, он благоразумно подался на запад. «На Лэгль, на Лэгль, они пошли на Лэгль», — объясняли вилланы. Услышав эти слова, король Иоанн почувствовал себя отмеченным перстом Божьим. Надеюсь, вы поняли почему?..

Да нет, Аршамбо, вовсе не из-за орла…[42] А из-за «Свиньи Тонкопряхи»… Вспомните-ка убийство Карла Испанского… Там, где было совершено преступление, именно там свершится и отмщение. Своим людям король дал поспать только четыре часа. В Лэгле он нагонит англичан и наваррцев, и наконец-то пробьет час его торжества.

Итак, 9 июля, сделав краткую остановку у порога «Свиньи Тонкопряхи», только чтобы преклонить железный наколенник — странное все-таки зрелище для войска: король молится и льет слезы перед дверью какой-то харчевни!.. — он наконец-то заметил копья Ланкастера в двух лье от Лэгля на опушке леса Тюбеф… Мне рассказали обо всем, что произошло, дорогой племянник, тремя днями позже.

— Шлемы пришнуровать, построиться!.. — крикнул король.

Но тут коннетабль и оба маршала впервые в жизни выступили согласно.

— Государь, — сурово заявил д'Одрегем, — вы сами видели, как пламенно я служил вам…

— И я тоже, — подхватил Клермон.

— …но с нашей стороны было бы непроститель-

---

[42] Примечания: 42
Лэгль (*фр.* l'aigle) — орел.

ным безумием сразу ввязываться в битву. Просто нельзя требовать от людей, чтобы они сделали еще хоть один шаг. Вот уже четыре дня вы не даете им ни отдыха, ни срока, да и нынче вы вели их еще быстрее, чем обычно. Люди выбились из сил, взгляните сами; лучники до крови стерли ноги, и, не будь у них копий, на которые они могут опереться, они все попадали бы на землю.

— Ох уж эта мне пехота, — раздраженно огрызнулся Иоанн II, — вечно всех задерживает!

— Но и конница не в лучшем состоянии, — отрезал д'Одрегем. — У большинства лошадей сбита холка, а остальные хромают, и перековать их негде. От жары у вспотевших людей доспехи до крови намяли поясницу. Не ждите ничего доброго и от ваших рыцарей, пока они как следует не отдохнут.

— Кроме того, государь, — добавил Клермон, — посмотрите, какая перед нами местность, как же тут идти в атаку? Перед нами густой лес, и где-то рядом прячется мессир Ланкастер. Ему легко будет оттуда отойти со своим отрядом, а наши лучники застрянут в чащобе, и нашим копьеносцам придется сражаться за стволами деревьев.

Король Иоанн впал в гнев, кляня всех и вся — и людей, и неблагоприятные обстоятельства, вечно

вмешивающиеся в великие его замыслы. И вдруг он принял решение, одно из тех неожиданных своих решений, из-за которых придворные льстецы прозвали его Добрым в надежде, что их слова будут ему переданы.

Он отрядил двух своих оруженосцев, Плюйана дю Валя и Жана де Коркийре, к герцогу Ланкастеру и наказал им передать ему вызов на бой. Сам Ланкастер расположился на поляне, перед ним строем стояли лучники, а лазутчики зорко следили за французской армией и высматривали дороги для отхода. Итак, голубоглазый герцог увидел, как к нему ведут окруженных небольшим конвоем двоих королевских оруженосцев, которые водрузили на древко копья расшитый лилиями стяг и дудели в рог, словно герольды на турнире. Сидя в окружении своих союзников: Филиппа Наваррского, Годфруа д'Аркура и Жана де Монфора, — он молча слушал речь, которую начал держать Плюйан дю Валь.

Король Франции пришел во главе огромной армии, а у герцога людей совсем мало. Посему предлагает Иоанн II вышеназванному герцогу вступить наутро в бой с равным числом рыцарей как с одной, так и с другой стороны, будь то сотня, полсотни или даже пускай всего тридцать чело-

век, в условленном заранее месте, и пускай бой ведется по всем правилам рыцарской чести.

Ланкастер весьма любезно выслушал предложения того, кто «говорил от имени Франции», но не слишком-то прославился в мире своей рыцарственностью. Он заверил посланцев Иоанна II, что обсудит их речи со своими союзниками, и при этом обвел рукой сидящих вокруг него сеньоров, ибо вопрос слишком серьезен, чтобы решать его одному. Таким образом, оба оруженосца решили, что Ланкастер даст окончательный ответ завтра.

В этом они уверили и короля Иоанна, который тут же приказал раскинуть свой шатер и забылся мирным сном. И ночью французская армия превратилась в армию храпунов.

Поутру в лесу Тюбеф не оказалось никого. Видны были лишь следы отошедшего войска, но ни одного англичанина, ни одного наваррца. Ланкастер благоразумно отвел своих людей к Аржантану.

Король Иоанн II громко выражал свое презрение к противнику, не знающему, что такое честь, и умеющему лишь грабить жителей, когда поблизости нет нашего воинства, а если их вызывают на честный бой, так они бегут сломя голову. «Мы носим свой орден Звезды на сердце, а их орден

Подвязки хлопает их по икрам. Вот в чем наше различие. Они рыцари бегства».

Но собирался ли он пуститься за ними вдогонку? Оба маршала предлагали бросить по следу Ланкастера наиболее свежие рыцарские части, но, к великому их изумлению, Иоанн II отверг это предложение. Похоже было, что он счел битву выигранной, раз противник не принял его вызова.

Итак, он решил возвратиться в Шартр и распустить свое войско. А по пути он отберет у англичан Бретей.

На что д'Одрегем заметил, что Ланкастер оставил в Бретее достаточно крупный и хорошо подготовившийся к осаде гарнизон под началом опытного командира.

— Мне известно это место, государь, отобрать его будет не так легко.

— Тогда почему же наши оставили его? — возразил король Иоанн. — Я сам поведу осаду.

И вот тут-то, дорогой племянник, я и сопровождавший меня Капоччи встретились с королем, и было это 12 июля.

Глава II

Осада Бретея

Король Иоанн принял нас в воинских доспехах, словно бы через полчаса ему предстояло идти на штурм. Он облобызал наши перстни, осведомился о святом отце и, не выслушав чуточку длинноватого, цветистого и слишком обстоятельного ответа Никколо Капоччи, обратился ко мне:

— Монсеньор Перигорский, вы приехали как раз вовремя и сможете присутствовать при осаде, но какой осаде! Мне ведомо, что все семейство ваше славилось доблестью и что все вы тонкие знатоки военного искусства. Все ваши родичи на высоких постах верно служили французской короне, и, не будь вы князем церкви, вы, безусловно, могли бы стать моим маршалом. Ручаюсь, что вы получите немалое удовольствие.

То, что король обращался с речью только ко мне, да еще расхваливал мою родню, сильно пришлось не по душе Капоччи, человеку не слишком знатного происхождения, и поэтому он счел уместным заметить, что мы явились сюда не для того, чтобы восхищаться воинскими подвигами, а потолковать о мире между христианскими государствами.

Я сразу же понял, что отношения между моим

собратом и королем Франции не наладятся, особенно же когда Иоанн, увидев моего племянника Робера Дюраццо, стал в высшей степени дружественно расспрашивать его о Неаполитанском дворе и о его тетушке королеве Жанне. Надо сказать, что мой Робер был и вправду красавец. Великолепная стать, девичий цвет лица, шелковистые кудри… словом, прелестное сочетание силы и грации. И я заметил, что в глазах короля зажегся тот самый огонек, какой обычно вспыхивает в глазах мужчин при виде прошедшей мимо красавицы. «А где вы собираетесь остановиться?» — осведомился он. Я ответил, что мы устроимся в соседнем аббатстве.

Я внимательнее пригляделся к королю и нашел, что за последнее время он сильно постарел, отяжелел, раздался, и подбородок под реденькой бородкой цвета мочи казался еще массивнее. И у него появилась привычка судорожно дергать головой, как будто ему резали шею или плечо попавшие под кольчугу металлические опилки.

Он пожелал показать нам лагерь, где наше появление вызвало легкую суету любопытства. «Вот его преосвященство монсеньор Перигорский, который пожаловал к нам…» — говорил он своим рыцарям таким тоном, будто мы прибыли сюда

с единственной целью — принести ему помощь свыше. Я раздавал благословения направо и налево. А физиономия у Капоччи совсем вытянулась.

Королю не терпелось познакомить меня с командиром своих осадных машин, которыми он, по-моему, дорожил куда больше, чем своими маршалами или даже коннетаблем. «Где Протоиерей? Видел кто-нибудь Протоиерея или нет?.. Бурбон, велите крикнуть Протоиерея…» Я никак не мог решить про себя, на что, в сущности, прозвище протоиерея тому, в чьем ведении находились разные осадные машины, мины и огневые жерла.

Странный человек появился перед нами: длинные кривые ноги в стальных набедренниках и стальных же поножах, казалось, будто он шагает на молниях. Пояс так туго стягивал его кожаную безрукавку, что он походил на осу с ее тонкой талией. Огромные ручищи с въевшейся под ногтями черной полоской пороха он не мог прижать к телу из-за металлических налокотников. Физиономия, надо сказать, довольно-таки подозрительная, худая, с выдающимися скулами, с оттянутыми к вискам глазами, а выражение лица насмешливое, как у человека, готового ни за что ни про что поднять на смех своего ближнего. И

венчала эту странную фигуру монтабонская шляпа с широкими полями, сплошь металлическая, выступавшая углом над носом, и с двумя щелками, чтобы, когда он наклоняет голову, можно было видеть божий свет.

— Где ты был, Протоиерей? Тебя искали, искали, — сказал король и представил мне своего любимчика: — Арно де Серволь, сир Велина.

— Протоиерей к вашим услугам, монсеньор кардинал… — насмешливо добавил Арно издевательским тоном, что пришлось мне сильно не по душе.

И вдруг меня осенило: Велин, Велин! Да это ж в наших краях, Аршамбо… Ну конечно же, неподалеку от Сент-Фуа-ла-Гранд, как раз на рубеже Перигора и Гиени. Да и сам он впрямь протоиерей. Протоиерей, понятно, не рукоположенный, не умеющий даже читать по-латыни, но все-таки протоиерей. И где же? Натурально, в Велине, в своем маленьком ленном владении, где он прибрал к рукам церковный приход и таким манером получал свой сеньорский оброк, равно как и церковные доходы. По дешевке он нанял себе настоящего священника, чтобы выполнять церковные обряды… пока папа Иннокентий сразу же после того, как его избрали папой, не лишил

его церковных бенефиций, как и всех прочих доходов с аббатства. «Овец должно пасти пастырю…» Я вам уже об этом говорил. Итак, улетела, упорхнула Велинская епархия! Я знал чуть ли не о целой сотне таких дел и догадываюсь, что этот молодчик не слишком-то обожает Авиньон. Должен вам сказать, что на сей раз я полностью согласен со святым отцом. И я сразу почуял, что этот Серволь уж никак не облегчит мою миссию.

— Протоиерей на славу потрудился в Эврё, и мы вновь отобрали у неприятеля город, — сказал мне король, желая, видимо, набить цену своему бомбардиру.

— Это как раз единственный, который вы отобрали у наваррца, сир, — с апломбом ответил ему Серволь.

— А мы повторим то же самое в Бретее… Хочу, чтобы осада получилась красивая, как в Эгийоне.

— За тем лишь исключением, сир, что Эгийона вы не взяли.

Ну и ну, подумал я, да он, видно, в особом фаворе у короля, раз позволяет себе столь предерзостно с ним говорить.

— Только потому, что мне — увы! — не хватило времени, — печально вздохнул король.

Надо было быть Протоиереем… я и сам тоже стал звать его Протоиереем, раз все его так звали… Так вот, говорю, надо было быть этим человеком, чтобы недоверчиво покачать башкой в своей железной шляпе и пробормотать в лицо своему государю:

— Времени, времени… целых шесть месяцев…

И надо было обладать упрямством короля Иоанна, чтобы уверить себя, будто осада Эгийона, которую он вел в том же году, когда его батюшку разбили при Креси, будто осада эта может служить образцом военного искусства. Сколько на нее было потрачено времени и денег. Так, он приказал построить мост, чтобы подойти ближе к крепости, но выбрал для этого столь неудачное место, что осажденные без труда разрушали этот мост шесть раз подряд. Какие-то сложнейшие нелепые махины пришлось волочить из Тулузы, что стоило тоже уйму денег и заняло уйму времени… а пользы от них никакой.

Так вот, эту-то осаду король Иоанн и числил среди самых славных и черпал в ней весь свой боевой опыт. И впрямь, страстно желая свести счеты с судьбой, он через десять лет вздумал взять реванш за Эгийон и доказать всему свету, что, мол, его военная тактика была хороша;

словом, возжелал оставить в памяти потомства воспоминание о величайшей из осад.

И поэтому, даже не подумав преследовать неприятеля, которого ему удалось бы разбить без особого труда, он повелел раскинуть свой шатер у стен Бретея. Когда же он обратился к Протоиерею, весьма сведущему в новом искусстве разрушения с помощью пороха, все подумали было, что король решил подвести мины под стены замка, как произошло это в Эврё. Куда там! Он наказал начальнику осадных машин строить особые подмости, чтобы можно было перелезть через стены. И маршалы, и военачальники с превеликим вниманием выслушали приказ короля и сразу же засуетились, торопя людей. Если человек командует другими достаточно долго, то, будь он хоть болваном, всегда найдутся люди, считающие, что командует он хорошо.

Что же касается Протоиерея, лично у меня создалось такое впечатление, что Протоиерею плевать на всех и на все. Король требует, чтобы построили подмостные леса, штурмовые башни — ладно, построим их ему, а затем потребуем денежки за постройку. Если эти устарелые махины, которые хороши были до применения бомбард, не оправдают возложенных на них надежд, пусть

король пеняет на себя. И Протоиерей, не упуская случая, твердил об этом направо и налево; он имел на короля Иоанна необъяснимое влияние, какое приобретает подчас грубиян-вояка на государя, и без зазрения совести пользовался этим, коль скоро казначей выплачивал ему и его помощникам немалые денежки.

Маленький нормандский городок превратился в огромную строительную площадку. Вокруг замка рыли ретраншементы, а на вынутой земле возводили подмости и штурмовые укрепления. С утра до ночи грохот повозок и стук лопат, скрежет воротов, щелканье бичей, а главное, ругань, ругань. Мне казалось, что я снова попал в Вильнёв.

В соседних лесах звенели топоры. Кое-кто из местных жителей, торговавших вином, делал неплохие дела. Зато другие злобно и удивленно глядели, как пятеро молодцов разрушают их амбар и уносят балки. «Служба короля!» Сказано — сделано! И кирки обрушиваются на саманные стены, веревки цепляются к деревянной стойке — и бац! — все рушится с превеликим грохотом. «Он, король, мог бы найти себе другое место, а не насылать на нас этих злодеев, которые прямо у тебя над головой крышу разносят», — говорили вилланы. Теперь им уже казалось, что король

Наваррский был им действительно лучшим господином, чем король французский, и даже присутствие англичан не таким тяжким бременем ложилось на их плечи, как присутствие короля французского.

Итак, я провел в Бретее часть июля месяца, к вящему неудовольствию Капоччи, который предпочел бы проводить время в Париже… будто я не предпочел бы!.. и который слал в Авиньон послания, полные яда, где не без ехидства намекал, что мне, мол, больше по душе любоваться военными действиями, чем предстательствовать о мире. А как, скажите мне сами, мог я предстательствовать о мире, если не в беседах с королем, и где я мог с ним беседовать, как не на этих осадных сооружениях, откуда он, по-видимому, не желал ни на минуту отлучаться?

Целые дни он в сопровождении Протоиерея кружил и кружил вокруг крепости: то выверял угол нападения, то беспокоился, хороши ли подпорные стенки, но по большей части торчал у строящейся деревянной штурмовой башни, чудовищной громадины на колесах, какой не видывали со времен глубокой древности и где можно было разместить не одну сотню арбалетчиков с арбалетами и огненными стрелами. Ему

мало было построить башню в несколько этажей, требовалось также найти достаточное количество бычьих шкур и обшить ими это гигантское сооружение; и не забыть бы о надежной и ровной дороге, чтобы башню легко было по ней толкать. Но зато, когда она будет готова, люди увидят то, чего никогда не видели.

Нередко король приглашал меня к себе на ужин, и тут-то я старался завести с ним беседу.

— Мир? — переспрашивал он. — Да это же самое заветное мое желание. Вы видите, я почти что распустил свое войско и оставил себе ровно столько людей, сколько требуется для штурма. Подождите, вот возьму Бретей, и я сразу же охотно подпишу мирный договор, чтобы доставить удовольствие святому отцу. Пусть только сначала неприятель предложит мне свои условия.

— Сир, — отвечал я, — надо же заранее знать, какие именно условия вы соблаговолите рассмотреть…

— Те, что не затронут моей чести.

Ох и нелегкая же мне досталась миссия! Увы, это мне выпало на долю сообщить ему, что принц Уэльский сосредотачивает свои войска в Либурне и в Ла-Реоле и готовится к новому набегу.

— И вы, монсеньор Перигорский, после этого

говорите мне о мире?

— Да, государь, говорю, дабы избежать новых бедствий!..

— На сей раз я не позволю английскому принцу бесчинствовать в Лангедоке, как то было в минувшем году. Я снова созову свое войско в Шартре к первому августа.

Я удивился, что он отпустил своих рыцарей, имеющих право собирать вассалов под свои знамена, чтобы через неделю снова сзывать их. И тайно посетовал на то герцогу Афинскому и маршалу д'Одрегему, ибо все военачальники короля приходили повидаться со мной и открыть мне душу. Нет, король заупрямился и решил из соображений экономии, кстати совсем ему не свойственной, сначала распустить войско, созванное в прошлом месяце, и теперь вновь собрать не только рыцарей, но и ратников. Кто-то, очевидно, сказал ему, может быть, Иоанн Артуа, а может быть, какой-нибудь другой, столь же многоумный муж, что таким образом можно не платить им за несколько дней положенное жалованье. Но поэтому-то принц Уэльский и опередил его на целый месяц. О да, мир был ему нужен, но чем больше Иоанн тянул, тем труднее становилось заключить мир сообразно требованиям

монарха Франции.

За это время я ближе узнал Протоиерея, и, должен признаться, он меня забавлял. Нас сблизил Перигор; он как-то пришел ко мне с просьбой вернуть его церковные бенефиции. Но в каких словах!

— Ваш Иннокентий…

— Святой отец, друг мой, святой отец, — поправил его я.

— Ладно, пусть будет, если вам угодно. Святой отец. Так вот, он отнял у меня право пользоваться церковными доходами, желая установить твердый порядок… именно так епископ мне и сказал… Ну и что? Неужели он вообразил, что до него у меня в Велине не было порядка? Неужели вы думаете, мессир кардинал, что я не пекся о душах христиан? Да разве виданное дело, чтобы у меня хоть один умирающий ушел в мир иной без соборования. Чуть кто заболеет, шлю к нему рукоположенного священника. А за соборование — плати. Приходят люди ко мне на суд — тоже раскошеливайся. Затем исповеди; за покаяние особая цена, прелюбодеяние — точно так же. Я отлично знаю, как нужно управляться с добрыми христианами.

На что я сказал ему:

— Церковь потеряла протоиерея, зато король приобрел себе хорошего рыцаря.

Ибо Иоанн II в минувшем году посвятил его в рыцари.

Были в этом Серволе и хорошие черты. Когда он заговаривал о берегах нашей Дордони, голос его звучал как-то удивительно нежно. Полноводная река, а в ее зеленоватых водах в вечерний час отражаются меж тополей и ясеней наши замки; зеленеют по весне тучные пастбища; под знойным летним солнышком золотится ячмень; к ночи гуще запахи мяты; а сентябрьский виноград… возьмешь, бывало, в детстве, теплую его кисть и вопьешься в нее зубами… Если бы все жители Франции так любили свою землю, как любил ее этот Серволь, они бы лучше защищали наше государство.

В конце концов я понял, на чем зиждется королевское к нему расположение. Прежде всего он присоединился к королю еще в пятьдесят первом году, во время похода на Сентонж; в сущности, поход пустяковый, но именно после него Иоанн II возомнил себя королем-всепобедителем. Протоиерей привел к нему свое воинство, десятка два всадников и шесть десятков ратников. Как это он ухитрился набрать столько у себя в Ве-

лине? Но так или иначе, получился целый отряд. Тысяча золотых экю, установленных военными казначеями за год службы… Недаром король говаривал: «Мы ведь с тобой старые соратники, правда, Протоиерей?»

Затем он служил под командованием Карла Испанского и, вот ведь хитрец, никогда не забывал напомнить королю об этом. Больше того, под командованием Карла Испанского во время кампаний пятьдесят третьего года ему удалось изгнать англичан из собственного замка в Велине и с прилегающих к Велину земель — Монкарре, Монтэня, Монтравеля… Англичане удерживали в своих руках Либурн, где стоял крупный гарнизон лучников. Но он, Арно де Серволь, держал в руках Сент-Фуа и не склонен был его отдавать… «Я против папы, потому что он лишил меня епархии. Я против англичан, которые разграбили мой замок; я против Карла Наваррского, потому что он убил моего коннетабля. Ах, почему меня не было в Лэгле, чтобы его защитить!» Слова эти были истинным бальзамом для королевских ушей.

И потом, Протоиерей был непревзойденным мастером по части всяких новейших огнедышащих машин. Он их любит, они его слушаются, он ими забавляется. Самое большое его удоволь-

ствие, говорил он мне, — это поджечь фитиль после подкопа и любоваться, как башня замка открывается, словно венчик цветка, словно целый букет цветов, и выбрасывает в воздух людей и камни, колья и черепицу. По всем этим причинам он если и не пользовался уважением, то, во всяком случае, к нему относились с некоторым почтением, ибо большинству даже самых отважных рыцарей было противно приближаться к этим дьявольским орудиям, с которыми сам он обращался как бы играючи. Существуют люди, которые всякий раз при появлении нового смертоносного оружия сразу постигают его тайны и, управляя им, создают себе славу умельцев и смельчаков. Когда простые воины, зажав уши руками, разбегались в поисках надежного укрытия, когда даже бароны и маршалы благоразумно отходили подальше, Серволь с горящими от удовольствия глазами смотрел, как катятся бочонки с порохом, отдавал четкие приказания, перешагивал через подрывные мины, проскальзывал в подкоп, царапая землю металлическими налокотниками, снова выбирался наружу, спокойно высекал огонь, не торопясь, отступал в мертвый угол или присаживался за стенкой; а кругом все грохотало, тряслась земля, и по каменным стенам

змеились трещины.

Для таких дел требуются люди, и немалое количество. Серволь составил себе отряд из звероподобных, но сметливых молодцов, любителей кровавых забав, радующихся возможности сеять ужас, крушить, ломать. Платил он им щедро, ибо риск стоит денег. Обзавелся он и двумя помощниками, которых, как полагали, выбрал за их громкие имена: одного звали Гастон Парад, а другого Бернар Гордец. Между нами говоря, если бы король Иоанн сумел лучше воспользоваться услугами этих трех бомбардиров, Бретей пал бы в течение одной недели. Но нет, он уперся — подавай ему его штурмовую башню на колесах.

Хотя деревянная махина росла изо дня в день, дон Санчо Лопес, его наваррцы и его англичане, осажденные в замке, не проявляли признаков беспокойства. Точно в назначенный час сменялись между валом и стеной дозорные. Съестных припасов у осажденных было вдоволь; физиономии их лоснились от сытости. Время от времени они осыпали градом стрел землекопов, но старались при этом зря стрел не расходовать. Порой стреляли из луков, когда по укреплениям прохаживался король, что давало ему прекрасный повод кичиться своим воображаемым герой-

ством. «Видели, видели? Все стрелы были пущены в короля, а наш государь хоть бы бровью повел… Ох и хороший же у нас король!..» А Протоиерей, Парад и Гордец пользовались случаем добавить: «Будьте поосторожнее, сир, целят они прямо в вас…» — и защищали его собственными телами против стрел, которые доходили сюда уже на излете и мирно зарывались в траву у их ног.

От этого Протоиерея нельзя сказать, чтобы так уж хорошо пахло. Впрочем, надо признаться, приванивало от всех, приванивал весь лагерь, и именно эта вонь первая шла штурмом на Бретей! Ветер гнал на крепость запахи человеческих нечистот, ибо все, кто рыл, пилил, сбивал, перевозил, облегчались тут же рядом. Мыться уже давно все не мылись, и король в том числе, не снимавший с себя кирасы…

В жизни я не употреблял больше благовоний и розового масла; зато мне представилась счастливая возможность поближе приглядеться к слабостям короля Иоанна II. Ох, столь совершенное бездумье, да это просто же какое-то чудо!

При нем находились два кардинала, отряженные святым отцом с целью склонить короля Франции к миру; со всех концов Европы, ото всех европейских государей к нему шли послания,

где порицался его поступок в отношении Карла Наваррского и давались советы освободить его из узилища; он узнавал, что налоги отовсюду скупо поступают в казну, что не только в одной Нормандии, не только в Париже, но и во всем королевстве жители сердито хмурятся и вот-вот может начаться смута; и главное, знал он также, что две английские армии готовятся выступить против него: армия Ланкастера из Котантена, получившая подкрепления, и армия герцога Аквитанского… Но в глазах его все это было пустяками по сравнению с готовящимся штурмом захолустного нормандского городка, и ничто не могло отвлечь его от этой мысли. Упорствовать в мелочах, не видя общего, — порок для правителей непростительный.

За целый месяц Иоанн II только раз, и всего на четыре дня, ездил в Париж, для того чтобы и там совершить новую глупость, о каковой я вам еще расскажу. А единственным принятым им эдиктом, который он на сей раз не спихнул на плечи своих советников и который велено было глашатаям провозглашать по всем городкам и селениям, лежавшим на расстоянии шести лье вокруг Бретея, был эдикт, обязывающий всех, какие только найдутся каменщики, плотники,

возчики, рудокопы, дровосеки и прочие работники, являться в помощь осаждающим по первому королевскому зову как среди бела дня, так и среди ночи, со всем необходимым для их ремесла инструментом и снастью.

Один вид движущейся огромной штурмовой башни, его штурмующей красотки, как сам король ее величал, наполнял его душу радостью. Три этажа, на каждом довольно просторная площадка, где могут разместиться и вступить с неприятелем в схватку две сотни ратников. Таким образом, шесть сотен ратников загонят в эту чудовищную махину после того, как будет припасено достаточное количество фашин и хвороста, навезут достаточно камней и плотно утрамбуют землю, дабы могла красотка-башня катиться на своих четырех огромных колесах по хорошей дороге.

Король Иоанн, так гордившийся своим детищем, пригласил всех полюбоваться, как ее приведут в действие. Среди приглашенных был и кастильский бастард Анри де Трастамар, а также граф Дуглас.

«У мессира Эдуарда есть свой наваррец, а у меня зато есть свой шотландец!» — любил пошутить король. С той лишь разницей, что Филипп На-

варрский принес Англии половину Нормандии, тогда как мессир Дуглас принес королю Франции только меч, пусть даже доблестный меч.

Я и сейчас слышу, как король объясняет нам, приглашенным: «Видите, мессиры, эту башню можно подтащить к любой части укреплений, она будет возвышаться над ними, что позволит штурмующим бросать внутрь крепости камни и метательные снаряды, штурмовать сверху даже дорожку между валом и стеной. А бычьи кожи, которыми обшит верх башни, предохраняют от стрел». И это он излагал мне, который упорно старался обсудить с ним условия мирного договора.

Но не одни испанец с шотландцем созерцали деревянную громадину. Ее рассматривали также люди мессира Санчо Лопеса, правда не в открытую, потому что Протоиерей выставил свои огненные жерла и другие приспособления и они, не скупясь, поливали вражеский гарнизон каменными ядрами и пороховыми стрелами. Замок был, если можно так выразиться, откупорен. Но люди Лопеса почему-то не слишком перепугались. Они понаделали отверстий в крепостных стенах примерно на половине их высоты. «Чтобы легче было улепетывать», — объяснял король.

Настал наконец великий день. Я тоже при-

сутствовал там, в некотором отдалении, на пригорке, потому что, откровенно говоря, мне было любопытно посмотреть на штурм крепости. Ведь у Святого престола тоже есть свои войска и города, которые нам приходится защищать от неприятеля… Тут появился король Иоанн в своем знаменитом шлеме, увенчанном короной из чистого золота. Сверкнула его сабля — это был сигнал к штурму, и одновременно заиграли трубы. На верхушке башни, обшитой бычьими шкурами, полоскалось знамя, затканное лилиями, а нижние этажи щетинились флагами занимавших башню войск. Разноцветным букетом флагов казалась эта башня! И вот она двинулась. Впряглись в нее лошади и люди, целая толпа людей. Протоиерей во всю глотку размеренно выкрикивал: «Раз-два, раз-два!» Мне потом рассказывали, что одни только конопляные канаты обошлись в тысячу ливров. Медленно-медленно ползла громадина под раздирающий уши скрип дерева; чуть кренясь, она упорно продвигалась вперед. Со стороны казалось, что это, покачиваясь на волнах, весь ощетинившийся флагами, идет на абордаж корабль. Она и впрямь подошла вплотную к крепостной стене под немыслимый гам и крик. Среди зубцов крепостной стены уже проис-

ходили стычки — это бросился на штурм третий этаж. Звенели мечи, летели тучей стрелы. Войско, окружавшее замок, как по команде, задрало головы вверх и затаило дыхание. Там, наверху, завязалось горячее дело. Король с открытым забралом — само великолепие! — присутствовал при этой битве в воздухе.

А потом вдруг зрители отпрянули от ужасающего грохота, и облако дыма окутало верхушку башни со всеми ее флагами и знаменами.

Оказывается, мессир Ланкастер оставил несколько огненных жерл дону Санчо Лопесу, но тот благоразумно не пускал их до времени в ход. А теперь огненные эти жерла через проделанные в крепостной стене отверстия били в упор по штурмовой башне, разрывая в клочки обтягивавшие ее верхушку бычьи шкуры и кося людей, сгрудившихся на площадках, разнося в щепки деревянные части.

Баллисты и катапульты Протоиерея, хоть они тоже вступили в действие, не могли помешать осажденным выпустить второй залп, а за ним и третий. Летели не только чугунные ядра, но и цилиндрические трубки, мечущие огонь на манер греческого, бившие прямо по башне. С диким воплем падали люди, отталкивая друг друга,

устремлялись к лестницам или, полуобгоревшие, бросались в пустоту. Пламя уже лизало верхушку королевской красавицы. Потом с адским треском рухнул верхний этаж и придавил горящими балками находившихся в башне людей. В жизни моей, Аршамбо, я не слыхивал таких страшных криков, а ведь я был не близко, а в отдалении. Лучников зажало средь рушащихся, пылающих балок. Раздавленные грудные клетки, обугливши-еся руки и ноги… От тлевших бычьих шкур шла отвратительная вонь. Башня начала крениться, и, когда все уже решили, что она вот-вот рухнет, она каким-то чудом не рухнула, а застыла на ме-сте, скособочившаяся, вся охваченная пламенем. Кто лил на нее воду, кто суетился, вытаскивая обожженных или раздавленных, а защитники замка тем временем приплясывали от радости на вершине крепостной стены и кричали: «Святому Георгию слава! Наварре слава!»

Перед лицом этого бедствия король Иоанн огля-дывался вокруг как бы в поисках виновника, хотя виновником всего происходящего был лишь он один. Но рядом стоял Протоиерей в своей желез-ной шляпе, и великий королевский гнев, готовый вот-вот прорваться наружу, остался на сей раз под золотым шлемом. Ибо Серволь, безусловно,

был единственным во всей армии человеком, который не побоялся бы брякнуть королю в лицо: «Полюбуйтесь на вашу собственную глупость, сир. Я же советовал вам произвести подкоп, а не строить эту махинищу. Таких уже полвека никто не строит. Прошли времена тамплиеров, да и Бретей не Иерусалим».

Король спросил только:

— А можно починить башню?

— Нет, сир.

— Ну, тогда разберите то, что уцелело. Мы укрепим рвы.

В этот вечер я счел своевременным, хотя бы издалека, начать серьезный разговор о мирном договоре. Военные неудачи обычно открывают слух королей для голоса мудрости. Я мог позволить себе воззвать к христианским чувствам Иоанна, коль скоро мы оба были свидетелями давешнего ужаса. И ежели его рыцарственный дух столь жаждет подвигов, папа предлагает ему, ему и всем государям Европы, совершить более достославные и более достохвальные подвиги в Константинополе. Но я нарвался на грубый отпор, что пришлось весьма по душе Капоччи.

— В моем собственном королевстве мне угрожают две английские армии, и я должен немедленно

броситься на них. Ныне это единственная моя забота. Если угодно, мы возобновим разговор в Шартре.

Та самая угроза, которая еще накануне казалась ему недостойной внимания, вдруг стала важнее всего прочего.

А как же Бретей? Что решит король насчет Бретея? Готовиться к новому штурму значило провозиться еще целый месяц. Осажденные со своей стороны, если у них еще есть в достатке продовольствие и военное снаряжение, отделались довольно легко. И у них, конечно, были раненые, и с башен посшибало кровлю. Кто-то намекнул на переговоры: а что, если предложить гарнизону почетную сдачу? Тут король повернулся ко мне:

— Ну, как вы полагаете, монсеньор кардинал?..

Вот тогда наступил мой черед заговорить с высоты моего кардинальского сана. Я прибыл сюда из Авиньона ради дела всеобщего мира, а не для того, чтобы участвовать в переговорах о сдаче какой-то крепости. Король понял свою ошибку и сделал вид, что обратился ко мне шутки ради.

— Если кардиналу по какой-либо причине негоже служить мессу, пусть отслужит ее протоиерей.

А на следующий день, когда, еще дымясь, до-

тлевала штурмовая башня и землекопы снова взялись за работу — правда, на сей раз рыли они могилы для погибших ратников, — наш сир де Велиц в своих стальных поножах, предшествуемый трубачами, отправился вести переговоры с доном Санчо Лопесом. Французы не спеша промаршировали по подъемному мосту, и оба войска глядели на них.

И сир де Велин, и Санчо Лопес были слишком опытные воины и даже не пытались провести один другого…

— А если, мессир, я подведу под ваши стены подкоп и заложу туда пороховые мины!

— О, мессир, полагаю, что вы в конце работы доберетесь до нас.

— А сколько времени вы еще можете продержаться?

— Много меньше, чем желательно было бы нам, но много больше, чем рассчитываете вы. У нас вдосталь воды, съестных припасов, стрел и ядер.

Через час Протоиерей вернулся к королю.

— Дон Санчо Лопес согласен сдать вам замок, если вы позволите англичанам беспрепятственно уйти и если вы дадите ему денег.

— Ладно, пусть ему дадут, сколько нужно, и покончим с этим раз и навсегда!

Два дня спустя гарнизон Бретея, гордо вскинув головы, вышел из крепости, и с кошелями, набитыми французским золотом, отправился на соединение с войском его высочества Ланкастера. А королю Иоанну придется отстраивать замок Бретей за свой собственный счет. Так окончилась эта осада, которая, по мысли Иоанна II, должна была навеки остаться в памяти людской. А он еще имел наглость уверять нас, что без его штурмовой башни соглашение было бы заключено не так быстро.

Глава III
Вассальная присяга Феба

А я вижу, вы, Аршамбо, все оглядываетесь на Труа? Не правда ли, прелестный городок, особенно этим утром, весь залитый лучами солнца. Ах, великая удача для любого города, если в нем увидел свет будущий папа. Ибо все эти прекрасные отели и дворцы, обступившие ратушу, которыми вы здесь любовались, а также церковь Святого Урбана, подлинная жемчужина новейшего зодчества, не скупящегося на витражи, да и многие другие здания, так восхитившие вас своими пропорциями, — всем этим город обязан тому,

что Урбан IV, занявший престол святого Петра почти сто лет назад, и всего только на три года, увидел свет божий в Труа, в жалкой лавчонке, там, где возвышается сейчас церковь. Вот это-то и принесло городу славу и послужило как бы толчком к его благосостоянию. Ах, если бы фортуна улыбнулась так нашему дорогому Перигору… Впрочем, не хочу больше об этом говорить, а то вы, чего доброго, решите, что я ни о чем другом и не думаю…

Теперь я знаю, какой путь избрал дофин. Он следует за нами и завтра будет в Труа. Но до Меца он доберется через Сен-Дизье и Сен-Мигель, а мы проедем через Шалон и Верден. Во-первых, потому, что у меня есть в Вердене одно дело — я там кафедральный каноник, — а еще потому, что я отнюдь не желаю, чтобы хоть кто-нибудь мог вообразить, будто я с умыслом стремлюсь присоединиться к свите дофина. Мы будем держаться на небольшом расстоянии друг от друга и можем в любую минуту обменяться посланиями, на что уйдет всего один день или чуть больше, а потом, нам легче и быстрее будет поддерживать связь с Авиньоном.

Что такое? Я обещал вам что-то рассказать и позабыл? А-а… о том, что поделывал Иоанн в Па-

риже в те четыре дня, когда он отлучался из-под Бретея?..

Он принимал вассальную присягу на верность от Гастона Феба. Да это же для короля Иоанна неслыханная удача, можно сказать, победа, вернее, победа канцлера Пьера де Ла Форе, который терпеливо и искусно подготавливал это событие. Ибо Феб доводится зятем королю Наварры, и угодья обоих лежат по соседству на пороге к Пиренеям. А ведь об этой присяге речь шла с самого начала царствования Иоанна. И добиться этого как раз тогда, когда Карл Наваррский находится в темнице, значило не только повлиять в желательную сторону на ход событий, но и изменить взгляд большинства европейских дворов на Францию.

Разумеется, вы немало слышали об этом Фебе. О нет, не только прославленный ловчий, но также и турнирный боец на копьях, человек, известный своей начитанностью, прославленный зодчий и, сверх того, прославленный соблазнитель. Прямо скажу: великий государь, вся беда которого заключалась в том, что государство у него слишком мало. Уверяют, что он самый красивый мужчина во всей Франции, с чем я охотно соглашаюсь. Высокий и такой сильный, что может свалить

медведя… да-да, медведя, племянник, что он и делал неоднократно!.. Ноги точеные, ляжки стройные, широкие плечи, лицо ясное, а когда улыбнется, так и блеснут белые, как кипень, зубы. И в довершение густейшие волосы цвета меди, пламенеющее руно, волнистое, спускающееся до плеч, словно корона, данная самой природой, вся светящаяся на солнце, почему он и взял себе в качестве эмблемы солнце, так же как и имя Феб, которое, впрочем, писал через «э» — Фэб, ибо в те времена он еще не знал по-гречески. Никогда не носит шляпы и ходит круглый год с непокрытой головой, подобно древним римлянам, что не в наших обычаях.

Я как-то навещал его. Ибо он был столь любезен, что все значительные люди христианского мира бывали при его маленьком дворе в Ортезе, который он сумел превратить в блестящий двор. Когда я был у Феба, там находились также один пфальцграф, один из прелатов короля Эдуарда, первый камергер короля Кастильского, не говоря уже о знаменитых лекарях, художнике и ученых-правоведах. Всех их принимали по-царски.

Только у одного лишь короля Лузиньяна Кипрского на моей памяти был столь же блестящий и влиятельный двор при таких же крошечных раз-

мерах королевства, но зато благодаря выгодным торговым операциям Лузиньян Кипрский располагал куда более значительными средствами.

У Феба очаровательная манера — быстро перечислять то, чем он владеет: «Вот мои охотничьи собаки… вот мои лошади… вот мои любовницы… вот мои незаконные дети… слава богу, мадам де Фуа чувствует себя отменно. Вы ее увидите нынче вечером».

Вечерами на длинной галерее, выбитой в одной из боковых стен его замка, откуда сверху видны горные отроги на горизонте, собирается весь двор и прохаживается в роскошных своих одеяниях, любуясь, как на Беарн опускаются синеватые сумерки. Тут и там в огромных каминах пылают поленья, а стена между каминами покрыта фресками, где изображены охотничьи сцены, — работа живописцев, выписанных из Италии. Если гость не захватил с собой все свои драгоценности и лучшие свои одежды, решив, что его пригласили в маленький, затерянный в горах замок, он будет чувствовать себя не слишком ловко. Я это вам к тому говорю, что, если вам случится в один прекрасный день побывать там… Мадам Агнесса де Фуа родом из Наварры, она сестра королевы Бланки и почти такая же красивая — вся сплошь

заткана золотом и жемчугами. Говорит она мало или, вернее, об этом можно догадаться, боится говорить. Зато охотно слушает менестрелей, которые поют «Aqueres mountanes» — сочинение ее супруга, а беарнцы хором подхватывают припев.

Сам Феб переходит от одной группы гостей к другой, приветствует одного, приветствует другого, побеседует с рыцарем, похвалит поэта, поговорит с посланником, осведомившись на ходу о том, как идут дела на белом свете, выскажет свое мнение, отдаст вполголоса приказ слуге, продолжает всем распоряжаться, не прерывая беседы. А потом являются двенадцать слуг в королевских ливреях с двенадцатью огромными факелами в руках и сопровождают его и гостей в залу, где уже накрыто к ужину. Иной раз за стол садятся только в полночь.

Как-то вечером я застал его врасплох: он стоял, прислонясь к арке открытой галереи, и вздыхал, глядя на серебряные струи горного потока и на синеватые горы, замыкающие горизонт.

— Слишком все маленькое, слишком маленькое… Похоже, монсеньор, что Провидение не прочь зло подшутить над человеком, бросая игральные кости так, чтобы все выходило наоборот…

Мы разговорились о Франции, о французском короле, и я понял то, что он хотел дать мне понять. Великий человек сплошь и рядом правит крохотным клочком земли, а человеку слабому достается огромное государство. И он добавил: «Но, как ни мал мой Беарн, я желаю, чтобы он принадлежал только самому себе».

Каждое его письмо — это просто маленькое чудо. Он никогда не забывает перечислить все свои титулы: «Мы, Гастон III, граф де Фуа, виконт Беарнский, виконт Лотрекский, Марсанский и Кастийонский…» Что там еще? Ах да: «сеньор де Монтескье и де Монпеза…» и прочее и прочее, послушайте, как это звучит: «судья Андоррский и Капсирский…», а подписывается просто «Фэб…» со своим оборотным «э», по-моему, для того, чтобы все-таки хоть как-то отличаться от Аполлона… а на всех замках и монументах, возведенных или разукрашенных им, выгравировано огромными буквами: «Сделано Фэбом».

Пусть, конечно, это излишний культ собственной персоны, но не забывайте, что ему всего двадцать пять лет. Для своего возраста он уже многое успел. И доказал свой отважный нрав: при Креси был в числе первых смельчаков. А было ему тогда пятнадцать. Ах да, я совсем забыл

сказать, хотя, может быть, вы сами знаете: он внучатый племянник Робера Артуа. Его дед был женат на Жанне Артуа, родной сестре Робера, которая, оставшись вдовой, пустилась во все тяжкие, я имею в виду ее многочисленные связи с мужчинами, вела такую скандальную жизнь, столько набаламутила… и могла бы набаламутить еще больше — ну да, ну да, она и сейчас жива, ей немногим больше шестидесяти, и здоровье у нее отменное… Так что внуку ее, нашему Фебу, пришлось заточить ее в одной из башен замка Фуа, где ее стерегут день и ночь. Ох и скверная же кровь течет в жилах всех Артуа!

И вот находится человек, Ла Форе, архиепископ-канцлер, и в то время, когда все не ладится у короля Иоанна, добивается от Феба согласия принести вассальную присягу. О, только не составьте себе ложного представления! Феб хорошо обдумал свой шаг, и все дело было лишь в том, чтобы отстоять независимость своего маленького Беарна. Аквитания лежит рядом с Наваррой, а Беарн граничит с ними обеими, и их нынешний союз ему отнюдь не улыбается — ведь это создает угрозу его и без того куцым границам. Он предпочел бы обеспечить сохранность своих рубежей со стороны Лангедока, где он никак не может дого-

вориться с графом д'Арманьяком, наместником короля. Итак, сблизимся с Францией, покончим со всеми разногласиями и ради этого принесем вассальную присягу от имени нашего графства Фуа. Конечно, Феб будет ходатайствовать об освобождении своего зятя Карла Наваррского, но лишь для проформы, только для проформы, так было условлено, и это будет предлогом для встречи. Игра тонкая, ничего не скажешь. И Феб всегда может уверить Карла Наваррского: «Я принес присягу лишь с единственной целью — помочь вам».

В течение одной недели Гастон Феб буквально очаровал весь Париж. Явился он с многочисленной свитой из дворян, с сотнями слуг, двадцать повозок были нагружены его одеяниями и его мебелью; на повозках же везли его великолепные охотничьи своры и часть его зверинца, где содержались хищники. Весь этот кортеж растянулся на четверть лье. Самый последний слуга щеголял в роскошной ливрее Беарнского королевства; кони шли под бархатными чепраками, как и мои. Конечно, расход немалый, зато толпа не может опомниться от восхищения. В этом Феб преуспел.

Важные сеньоры оспаривали друг у друга честь

принять гостя у себя. Все, что было знатного в Париже: депутаты парламента, финансисты, университетские богословы и даже князья церкви, — все под любым предлогом старались проникнуть в отель его свояченицы Бланки, вдовствующей королевы; двери отеля были открыты во все время пребывания гостя в Париже. Женщины не уставали любоваться им, слушать его голос, мечтали хоть коснуться его руки. Когда беарнец шествовал по Парижу, зеваки узнавали его по золотой шевелюре и теснились у дверей лавок, куда он заходил — а чаще всего заходил он к ювелирам и суконщикам. Узнавали также оруженосца, неизменно сопровождавшего Феба, гиганта, звавшегося Эрнотоном Испанским, который, видимо, был побочным сыном отца Феба; узнавали и двух его огромных пиренейских овчарок, которых вел на сворке за хозяином слуга. А на спине одной из этих овчарок сидела маленькая обезьянка… Важный сеньор, и такой необычный с виду, одетый пышнее и роскошнее, чем все парижские щеголи, в столице только о нем и было разговоров.

Я рассказываю вам все это в мельчайших подробностях, но в тот злополучный июль мы уже сделали шаг по лестнице трагедии, и поэтому-то

так важна тут каждая ступень.

Вы будете править большим графством, Аршамбо, и править, держу пари, в такие времена, которые не более, чем наши, благоприятствуют этому. Невозможно за несколько лет подняться из той бездны бедствий, где мы все сейчас барахтаемся.

Сохраните это хорошенько в памяти вашей: если правитель низок по натуре или ослаблен годами или недугом, он не способен добиться единодушия среди своих советников. Его приближенные разрознены, разобщены, ибо каждый старается урвать себе частичку власти, которой вообще никто не повинуется или повинуется худо; каждый берет себе право говорить от имени господина, который уже ничем не повелевает более; каждый старается для себя в расчете на будущее. Вот тут-то и сколачиваются группки людей, связанных одинаковыми тщеславными притязаниями или одинаковыми нравами. Разгорается соперничество. Честные стоят по одну сторону, а по другую — предатели, но и они тоже считают себя людьми честными, конечно, на свой манер.

Я зову предателями тех, кто предает высшие интересы королевства. Подчас они сами даже не

замечают этого, преследуют лишь свои личные интересы, а ведь, увы, именно такие обычно одерживают верх.

Вокруг короля Иоанна существовали две партии, как ныне существуют они вокруг дофина, коль скоро все те же самые люди остались на тех же самых местах.

С одной стороны, канцлер Пьер де Ла Форе, архиепископ Руанский, которому во всех его начинаниях помогает Ангерран дю Пти-Селлье; это люди, по моему глубокому убеждению, наиболее сведущие в делах государственных и сильнее всех прочих пекутся об интересах Франции. А с другой — Никола Брак, Лоррис и, главное, главное — Симон де Бюси.

Возможно, вы увидите его в Меце. Ох остерегайтесь его, да и не только его, но и всех, на него похожих. Когда вы заметите человека, у которого на куцем туловище сидит огромная голова, знайте, что это одно уже плохой признак; к тому же наш Бюси вечно пыжится, как петух, а стоит ему открыть рот, как сразу виден человек невежественный и свирепый, да притом весьма спесивый, хоть и пытается это скрыть. Он наслаждается своей тайной властью, и самая большая для него радость — унизить, а то и погу-

бить всякого, кто приобретает вес при дворе или слишком большое влияние на короля. Он вообразил, что править — это значит хитрить, лгать, плести интриги. Ни одной еще сколько-нибудь значительной мысли не родилось в его голове, а только черные, весьма убогие замыслы, от которых он, упрямец, не отступится, пока не добьется своего. При короле Филиппе он был незаметным писцом, а потом сумел добраться до самого верха иерархической лестницы… шутка ли, сейчас он возглавляет парламент и член Большого совета… Он создал себе славу человека беззаветно преданного, ибо он властен и груб. Посмотрели бы вы, как он, творя суд, заставляет недовольных жалобщиков становиться на колени прямо посреди зала и вымаливать у него прощения; и никто другой, как он, приказал казнить сразу двадцать три мирных жителя Руана; но он может, если ему заблагорассудится, вынести и оправдательный приговор, нарушив закон, или же без конца откладывать важные дела, дабы держать людей в руках. Умеет он позаботиться и о своем состоянии: он добился от аббата, настоятеля Сен-Жермен-де-Пре, права взимать ввозную пошлину у заставы Сен-Жермен, тут же переименованную в заставу де Бюси, и таким образом загребает

добрую половину пошлины со всего, что ввозится в Париж.

Когда Ла Форе начал переговоры о вассальной присяге Феба, Бюси с первых же шагов стал чинить ему всяческие препоны, решив любым путем не допустить этого соглашения. Это он бросился к королю, когда тот прибыл из-под Бретея, и стал ему нашептывать: «Феб нарочно выставляет напоказ в Париже свое богатство, это же прямой вызов вам… Феб дважды принимал у себя прево Марселя… Сильно подозреваю, что Феб вместе со своей супругой и королевой Бланкой сговариваются устроить побег Карлу Злому… Надо потребовать, чтобы Феб принес присягу также и от имени Беарна… Феб ведет о вас недостойные речи… Поостерегитесь слишком милостиво принимать Феба, как бы граф д'Арманьяк не счел это оскорбительным для себя, а граф вам необходим в Лангедоке. Конечно, канцлер Ла Форе думал, что все это к лучшему; но Ла Форе чересчур уж снисходителен к вашим врагам… И потом, что это за выдумка такая — взять и назвать себя Фебом?» И дабы окончательно разжечь злобу короля, он напоследок сообщил ему дурную весть: Фрике де Фрикану удалось бежать из тюрьмы Шатле, и побег этот весьма ловко устроили два его слу-

жителя. Наваррцы издеваются над королевской властью, особенно теперь, когда этот ловкий и весьма опасный человек снова в их рядах…

И неудивительно поэтому, что за ужином, устроенным накануне присяги, король Иоанн вел себя вызывающе и надменно и, обращаясь к Фебу, именовал гостя только: «Мессир, мой вассал» — и даже спросил его: «Осталось ли хоть несколько человек в ваших ленных владениях, раз вы привезли столько народа в мой город?»

И еще король сказал ему:

— Я предпочел бы, чтобы ваши войска не скапливались на тех землях, где командует его светлость Д'Арманьяк.

Коль скоро с Пьером де Ла Форе было условлено, что король будет считать эти неприятные столкновения как бы несуществующими, Феб удивленно возразил:

— Мои войска, сир мой кузен, никогда не вошли бы в Арманьяк, если бы нам не потребовалось выбить солдат, напавших на нас. Но с тех пор, как вы отдали приказ, запрещающий людям его светлости д'Арманьяка совершать набеги на Беарн, мои рыцари от души радуются, спокойно стоя на своих рубежах.

Но король упорствовал:

— Мне хотелось бы, чтобы ваши люди держались поближе ко мне. Я собираю в Шартре войско и пойду на англичан. Надеюсь, вы прибудете без опоздания в Шартр с войсками Фуа и Беарна?

— Войско графства Фуа будет поднято, — ответил Феб, — как только велит мне вассальный долг после того, как я принесу присягу, сир кузен мой. А войско Беарна последует за мной, будь на то моя воля!

Да-а, что и говорить, удачный получился ужин, где обе стороны должны были прийти к соглашению! Архиепископ-канцлер, удивленный и недовольный, тщетно пытался внести умиротворение. Бюси сидел с каменной физиономией. Но в глубине души он торжествовал. Чувствовал себя настоящим хозяином. А что касается короля Наварры, то имя его даже не было произнесено, хотя на ужине присутствовали обе королевы — Жанна и Бланка.

Выйдя из дворца, Эрнотон Испанский, гигант-оруженосец Феба, сказал графу де Фуа… Как вы догадываетесь, я не присутствовал при этом разговоре, но смысл их беседы мне передавали: «Я восхищался вашим терпением. Но, будь я Фебом, я не стал бы дожидаться новых оскорблений, а тут же уехал бы в свой родной Беарн!» На что Феб

возразил: «Будь я Эрнотоном, я дал бы Фебу точно такой же совет. Но я — Феб, и первый мой долг — это позаботиться о будущем моих подданных… я не желаю быть в глазах людей виновным в разрыве с Францией. Сделаю все, лишь бы добиться соглашения, конечно, только не в ущерб чести. Но боюсь, что из-за Ла Форе я попал в ловушку. Во всяком случае, произошло что-то, чего не знаем ни я, ни Ла Форе, кто-то успел переубедить короля. Посмотрим, что покажет завтрашний день».

На следующий день после мессы Феб вошел в главную дворцовую залу. Шесть пажей несли шлейф его мантии, и, редчайший случай, он шествовал с покрытой головой. Он надел корону, золотую на золото кудрей. Зала была битком набита людьми: камергерами, советниками, прелатами, капелланами, представителями парламента и высшими сановниками государства. Но первым, кого заметил Феб, был граф д'Арманьяк. Жан де Форе стоял рядом с королем, чуть ли не опершись о трон и дерзко оглядываясь вокруг. По другую сторону трона возился со свитками пергамента Бюси, делая вид, что никак не может в них разобраться. Потом выбрал один и прочел таким тоном, будто речь шла о самом обыкновенном решении:

— Мессир, король Франции, мой сеньор, принял у вас графство Фуа и виконтство Беарн, каковые вы получили от него, и вы становитесь его вассалом как граф де Фуа и виконт Беарнский, согласно форме, установленной его предшественниками, королями Франции и вашими. Преклоните колена.

Наступило молчание. Потом раздался ясный голос Феба:

— Не могу.

Присутствующие замерли от удивления, кто от искреннего, кто от притворного, но не без примеси удовольствия. Не так уж часто во время принесения вассальной присяги происходит такое.

Феб повторил:

— Не могу. — И добавил все тем же ясным голосом: — Одно колено у меня сгибается, я имею в виду Фуа. Но Беарнское согнуться не может.

Тут заговорил король, и в голосе его зазвучала злоба:

— Я принимаю вашу присягу и от Фуа, и от Беарна.

По рядам присутствующих прошла дрожь любопытства. Еще бы, начался спор, и какой спор.

Феб:

— Сир, Беарн — внесеньоральное владение, и вы не можете получить от меня того, над чем вы не сюзерен.

Король:

— Ложь то, что вы утверждаете здесь; именно это и служило долгие годы причиной споров между вашими и моими родителями.

Феб:

— Такова истина, сир, и она не будет причиной раздоров, если вы того пожелаете. Я ваш верный и честный подданный как правитель Фуа, хотя против этого всегда возражали мои родители; но я не могу объявлять себя вашим вассалом в отношении того, что досталось мне от одного Господа Бога.

Король:

— Скверный вассал! Вы умеете свернуть с прямого пути, лишь бы уклониться от службы, хотя обязаны мне служить. В минувшем году вы не привели своего войска графу д'Арманьяку, моему наместнику в Лангедоке, присутствующему здесь, который из-за вашего отступничества не смог отогнать англичан!

Тут Феб ответил воистину великолепно:

— Ежели единственно от моей поддержки зависит судьба Лангедока и ежели мессир д'Арманьяк

не способен сохранить для вас эту провинцию, значит не он должен быть там вашим наместником, сир, а я.

Король зашелся от гнева, и даже подбородок у него затрясся.

— Вы издеваетесь надо мной, мой прекрасный мессир, но скоро этому придет конец. Преклоните колена!

— Изымите Беарн из вассальной присяги, и я тут же преклоню колено.

— Вы преклоните их в тюрьме, проклятый изменник! — крикнул король. — Взять его!

Весь этот спектакль был задуман, подготовлен и устроен самим Бюси, которому достаточно было лишь махнуть рукой, чтобы Перрине ле Бюффль и полдюжины королевских стражников сразу же окружили Феба. Они даже знали уже, что отведут его в Лувр.

В тот же день купеческий прево Марсель, прохаживаясь по Парижу, говорил:

— Оставался лишь один человек, который не был врагом королю Иоанну, теперь и его нет. Если все эти мошенники, что окружают короля, пребудут на своих местах, вскоре на свободе не останется ни одного честного человека.

Глава IV
Шартрский лагерь

Час от часу не легче, Аршамбо, час от часу не легче! Знаете, что написал мне папа в послании от 28 ноября, но которое, видимо, не сразу отправили или, может быть, гонец, отряженный с этим посланием, искал меня там, где меня не было, коль скоро вручили мне его только вчера вечером, в Арси… Ну, угадайте, угадайте… Так вот, святой отец, скорбя о нашей размолвке с Никколо Капоччи, упрекает меня в «отсутствии милосердия в наших отношениях». Хотелось бы мне знать, как это я мог выказывать милосердие нашему дорогому Капоччи? Да я же его и в глаза не видел после Бретея, откуда он потихоньку улизнул в Париж, где и засел. Кто же, таким образом, виноват в наших размолвках, если не тот, кто силком навязал мне этого себялюбивого, ограниченного прелата, думающего лишь о собственных своих удобствах и все демарши коего имели единственную цель — расстроить мои? Мир между государствами его меньше всего интересует. Ему одно важно — как бы я не добился

успеха. Отсутствие милосердия, хорошенькое дело! Отсутствие милосердия… У меня есть вполне веские основания полагать, что Капоччи снюхался с Симоном де Бюси, и думаю даже, что не без его участия заключили в темницу Феба, которого — не беспокойтесь, ах, да вы знаете… — выпустили на свободу в августе месяце, и благодаря кому? Конечно мне. Вот этого вы как раз и не знаете… выпустили при условии, что он присоединится к королевскому войску.

И наконец, папа хочет меня уверить, будто все превозносят меня за мои усилия и что не только он сам, но и коллегия кардиналов дружно одобряет мои действия. Боюсь, как бы он не написал того же самого Капоччи… И вновь он возвращается к тому, что уже советовал мне в октябре, чтобы Карла Наваррского тоже включить в переговоры о всеобщем мире. Нетрудно догадаться, кто внушил ему подобную мысль…

Как раз после бегства из узилища Фрике де Фрикана король Иоанн решил перевести своего зятя в Арлё. Арлё — это крепость в Пикардии, где все население по-настоящему предано клану Артуа. Он боялся, как бы Карл Наваррский, находясь в Париже, не обзавелся слишком многими сообщниками. И не желал также держать Феба и

Карла не только в одном и том же узилище, но и в одном городе…

И как я вам уже рассказывал вчера, король после разгрома под Бретеем отправился в Шартр. А мне он сказал: «Побеседуем в Шартре». Вот я и сидел в Шартре, пока Капоччи гордо разгуливал по Парижу.

Где мы, Брюне?.. Как зовется этот город? А Пуавр, проехали мы Пуавр или нет? Очень хорошо, он еще впереди. Мне говорили, что стоит осмотреть тамошнюю церковь. Впрочем, все церкви в Шамнани одна другой лучше. Вот уж впрямь истинный край христианского благочестия…

О нет, я отнюдь не жалею, что видел Шартрский лагерь, и мне очень бы хотелось, чтобы и вы тоже на него поглядели… Знаю, знаю, вас не затребовали в Шартр, коль скоро вам пришлось заменять занедужившего отца, удерживая любой ценой англичан у рубежей Перигора… Возможно, это и спасло вас от надгробной плиты в какой-нибудь обители Пуатье. Как знать! Все в руце Божией.

А теперь постарайтесь представить себе Шартр: шестьдесят тысяч человек — это еще по самому скромному счету, — расположившихся лагерем на обширной равнине, над которой гордо царит собор. Одна из самых больших армий, если не

самая большая, какую когда-либо собирали во Франции. Но разделенная на две части, весьма отличные одна от другой.

С одной стороны стоят ровными рядами сотни и сотни шелковых палаток или же палаток из цветных тканей для рыцарей и дворян, имеющих право распускать свое знамя. С утра до ночи люди, лошади, повозки находились в непрерывном движении, словно перед вами был гигантский муравейник, и в лучах солнца до самого горизонта все это кишело и переливалось яркими красками, поблескивало сталью доспехов; и как раз на этой стороне раскинули свои лотки торговцы оружием, упряжью, вином, съестными припасами, и здесь же обосновались владельцы непотребных домов, которые понавезли в лагерь целые повозки гулящих девок под присмотром королевского смотрителя… так и не могу вспомнить его имени.

А с другой стороны, на отлете, на почтительном расстоянии, как на картинках, изображающих день Страшного суда… тут рай, а напротив — ад… ратники, не имевшие крова над головой, расположившиеся прямо на жнивье, и только кое-кто не поленился раздобыть себе четыре колышка и натянуть на них кусок холстины; огромное

скопление простолюдинов, собранных с бору по сосенке, — усталых, грязных, ничем не занятых, объединявшихся по принципу землячества и неохотно повинующихся случайным командирам. Впрочем, и повиноваться-то им было незачем. От людей ничего не требовали, ничему не обучали. Единственным занятием их была добыча пропитания. Самые ловкие поворовывали у рыцарей, или опустошали курятники в соседних селениях, или просто браконьерствовали. На каждой поляне сидела на корточках троица нищих и жарила добытого неправедным путем кролика. А то они всей ордой накидывались на повозки, в которых нерегулярно доставляли в лагерь ячменный хлеб, и мигом его расхищали. Единственное, что было здесь регулярного, так это ежедневное появление короля, объезжавшего верхом ряды пехоты. Он проверял сегодня пехотинцев, прибывших из Вове, завтра — из Суассона, послезавтра — из Орлеана или Жаржо.

Король приказывал сопровождать себя, вы только послушайте, Аршамбо, всем своим четырем сыновьям, своему брату, коннетаблю, обоим маршалам, Иоанну Артуа, Танкарвиллю — словом, несть им числа — и целой куче оруженосцев.

Один раз, причем этот раз оказался последним, потом я вам объясню почему, он пригласил и меня, будто оказывая мне величайшую честь. «Монсеньор Перигорский, завтра, ежели вам будет угодно, я захвачу вас с собой на смотр». А я-то, я все ждал случая обсудить с ним хоть какие-то, пусть даже самые туманные, предложения о мире, чтобы можно было передать их англичанам, уцепиться за них и начать переговоры. Я предлагал, чтобы оба короля назначили посланцев, а те составили бы список всех спорных вопросов, возникших между Францией и Англией. Только этого я и добивался, потому что по этим спорным вопросам можно спорить года четыре, не меньше.

Или же можно было приступить совсем с другого конца. Сделать вид, что никаких, мол, спорных вопросов вообще не существует, и склонить обоих монархов готовиться к общему походу на Константинополь. Главное было — начать хоть с чего-то…

И вот пришлось мне влачить свое пурпурное одеяние по этому огромному вшивятнику, раскинувшемуся в Босской долине. Я не оговорился — именно вшивятнику, так как по возвращении домой Брюне вынужден был обирать с меня вшей.

Но не мог же я оттолкнуть этих жалких бедняков, которые толпились вокруг, чтобы облобызать полу моего одеяния! Вонь там стояла еще более густая, чем под Бретеем. Накануне ночью разразилась ужасная гроза, и ратники улеглись прямо на мокрой земле. Под утренним солнцем от их отрепьев поднимался парок, тоже малоблаговонный. Протоиерей, шагавший впереди короля, вдруг остановился. Нет, решительно, этот Протоиерей играл при дворе не последнюю роль! Тут же остановился и король, а за ним и все прочие.

— Сир, вот эти люди из превотства Брасье, что в Блуа, явились в лагерь вчера вечером. Взгляните, в каком они жалком виде…

И своей огромной палицей Протоиерей указал на стоявших перед нами грязных, растерзанных, косматых вояк — общим числом человек сорок. Не брились они уже дней десять; о мытье и говорить не будем. Под сероватым слоем грязи и земли не так бросалась в глаза их разноперая одежонка. Кто щеголял в разбитых рваных башмаках, кто обмотал ноги всяким тряпьем, а кто и вообще явился босиком. Рать эта постаралась приосаниться, чтобы выглядеть не такой жалкой; но в глазах их читалась тревога. А как же иначе, ведь они не ожидали, что перед ними

вдруг появится король собственной персоной в окружении блистательной свиты. И сброд из Брасье невольно сбился в кучу. Кривые клинки и столь же кривые копья, крючья на длинных рукоятках щетинились за их спинами, подобно колючкам, торчащим из кучи грязного хвороста.

— Сир, — продолжал Протоиерей, — их всего тридцать девять человек, а должно было явиться пятьдесят. У восьми крючья, у девяти мечи, но какие мечи! Только у одного полное вооружение — и меч, и крюк. У одного секира, у трех окованные железом палки, а еще один вооружен острым ножом, у всех прочих вообще ничего нет.

Я еле сдержал смех, но меня мучила мысль, почему король и его маршалы теряют столько времени, подсчитывая ржавые мечи. Ну ладно, пусть бы посмотрел один раз — это пошло бы даже на пользу. Но каждый день, каждое утро?! И почему он пригласил меня присутствовать при этом убогом смотре?

Но тут меня удивил самый младший его сын, Филипп, воскликнувший тем неестественным голосом, которым стараются говорить мальчуганы, желающие во что бы то ни стало разыгрывать из себя зрелых мужей:

— Уж конечно, не с этими ратниками мы до-

бьемся победы!

А ему еще и четырнадцати не было. Голос у него ломался, и стальная кольчуга была ему явно широка. Отец ласково потрепал его по волосам, видимо радуясь, что произвел на свет такого сообразительного воина. Затем повернулся к людям из Брасье и спросил:

— Почему вы так плохо вооружены? Я спрашиваю — почему? Разве в таком виде являются в королевский лагерь? Разве не получили вы приказа от вашего прево?

Тут один из молодчиков, видимо посмелее остальных, возможно как раз тот, что принес с собой единственную на всю эту рать секиру, выступил вперед и ответил:

— Государь наш владыка, прево приказал нам вооружиться тем, что есть у каждого под рукой. Вот мы и захватили с собой, что смогли. А те, что вовсе без оружия пришли, так это потому, что у них вообще ничего нету.

Король Иоанн обернулся к коннетаблю и своим маршалам с видом человека, который оказался прав и радуется этому, пусть даже все делается в прямой ущерб делу:

— Вот и еще один прево не выполнил своего долга… Отошлите этих людей обратно, как мы

отослали людей из Сен-Фаржо, а равно из Суассона. Наложите на них штраф. Отметьте это себе, Лоррис…

Ибо, как он мне потом объяснил, те, кто совсем не является на смотр или приходит туда без оружия и посему непригоден для боя, обязаны заплатить выкуп. «На деньги, которые платит мне пехота, я могу безбедно содержать своих рыцарей…»

Эту прекрасную мысль наверняка внушил ему Симон де Бюси, а король, по обыкновению, сделал вид, что сам до нее додумался. Вот почему он созывал ратников, и вот почему он с такой алчностью накидывался на отряды, пересчитывая их, а потом отсылал восвояси… «Какой нам толк от этой пехтуры? — сказал он мне еще. — Из-за пеших воинов мой отец потерпел поражение при Креси. Пехота только замедляет военные действия и мешает всадникам идти, как положено, в бой».

И все одобрили его слова, за исключением, должен вам сказать, одного лишь дофина; и мне показалось даже, что он готов был возразить, но в последнюю минуту воздержался.

Так ли уж все шло гладко в той стороне лагеря, где собрались всадники, лошади и доспехи? Вопреки бесконечным сборам, несмотря на

прекрасный распорядок, предписывающий дворянам, имеющим право распускать собственное знамя, а также военачальникам дважды в месяц проверять без предварительного предупреждения своих людей, оружие и лошадей, чтобы быть готовыми подняться по первому зову, и запрещающему менять командиров или покидать лагерь без разрешения «под страхом не получить положенные за службу деньги и подвергнуться тяжкому наказанию», — вопреки всему этому добрая треть всадников не явилась. Другие, обязанные экипировать отряд по меньшей мере в двадцать пять копий, приводили с собой всего десяток. Разорванные кольчуги, помятые железные шлемы, пересохшая и потому то и дело рвущаяся упряжь!.. «А как, скажите, мессир, я могу управиться? Денег мне не платят. Хорошо еще, что хватает личные доспехи держать в приличном виде…» У кузницы чуть не дрались за то, чтобы перековать лошадь. Командиры бегали по лагерю в поисках своего разбредшегося воинства, а отбившиеся от этого воинства искали или делали вид, что ищут своих командиров. Люди одного сеньора тащили у людей другого сеньора доски, кусок кожи, шило или молоток — словом, что кому требовалось. Маршалов осаждали жалобами,

и в ушах у них гудело от чертыханья разгневанных дворян. Король Иоанн даже слышать об этом ничего не желал. И подсчитывал пехотинцев, которые заплатят ему выкуп…

Он уже направился было произвести смотр ратникам, прибывшим из Сент-Эньяна, как вдруг на крупной рыси пересекли поле шестеро латников; пот ручьями лил по их лицам, доспехи были покрыты толстым слоем пыли, лошади под попоной пены казались белыми. Один из всадников неуклюже сполз с седла, заявив, что ему необходимо поговорить с коннетаблем, и, когда тот приблизился, он сказал:

— Я от мессира Бусико, я привез о нем известия.

Жестом герцог Афинский отослал посланца к королю, чтобы король первым выслушал новость. Гонец попытался было преклонить колено, чему помешали громоздкие доспехи; но король милостиво разрешил гонцу обойтись без всех этих церемоний, чтобы поскорее изложить суть дела.

— Государь, неприятель обложил мессира де Бусико в Роморантене…

В Роморантене! Королевская свита на миг онемела от удивления. Это было словно гром средь ясного неба. Роморантен всего только в тридца-

ти лье от Шартра, в стороне, противоположной Блуа! Никому и в голову не могло прийти, что англичане находятся чуть ли не под самым боком.

Ибо, пока шла осада Бретея, пока Гастона Феба заключали в темницу, пока рыцари и ратники, созванные на войну, не спеша стягивались к Шартру, принц Уэльский тем временем… впрочем, вам это известно лучше, чем кому бы то ни было, Аршамбо, коль скоро вы обороняли Перигор… так вот, тем временем принц Уэльский двинулся от Сент-Фуа и Бержерака, шел уже по французским королевским землям и продолжал идти на север той самой дорогой, по которой проследовали сейчас и мы с вами, — через Шатоль'Эвек, Брантом, Рошешуар, Ла-Перюз, оставляя после себя одни руины, чему мы с вами были свидетелями, проезжая по всем этим городам. Королю докладывали о продвижении англичан, и, должен сказать, я только плечами пожимал, видя, что королю Иоанну угодно торчать в Шартре, когда принц Уэльский опустошает его страну. По последним полученным нами сведениям, англичане находятся где-то между Шартром и Буржем. У нас почему-то думали, что принц Уэльский пойдет на Орлеан, где король и намеревался дать ему бой, отрезав пути на Париж. Ввиду чего

коннетабль, вняв голосу благоразумия, послал три сотни копий под началом мессира де Бусико, мессира Краонского и мессира Комонского для разведывания о перемещении неприятеля по ту сторону Луары, желая получить наиболее точные сведения. Скажу заранее, что сведения он получал весьма скудные. И тут вдруг Роморантен! Стало быть, принц Уэльский пошел в обход на запад…

А король все торопил гонца.

— Первым делом, государь, мессир де Шамбли, которого мессир де Бусико отрядил в разведку, попал в лапы неприятеля около Обиньи-сюр-Нер…

— Ах, стало быть, Серого Баранчика взяли в плен… — сказал король. Серый Баранчик — таково было прозвище мессира де Шамбли.

А гонец мессира де Бусико продолжал:

— Но мессир де Бусико узнал об этом слишком поздно, и мы, таким образом, внезапно наткнулись на передовые части англичан. Мы атаковали их столь стремительно, что они бросились наутек…

— По своему обыкновению… — вставил король.

— Но им удалось соединиться с присланными им подкреплениями, которые оказались гораздо

многочисленнее, и они окружили нас со всех сторон так, что мессиры де Бусико, Краонский и Комонский вынуждены были срочно отвести войско к Роморантену, где они и заперлись, преследуемые всей армией принца Уэльского, и он как раз в то самое время, когда мессир де Бусико отрядил меня сюда, начал осаду. Вот, государь, что мне велено было вам передать.

Вновь воцарилось молчание. Потом маршал Клермон гневно воскликнул:

— Какого черта они пошли в атаку? Такого приказа им никто не давал.

— Уж не собираетесь ли вы упрекнуть их за доблесть? — возразил маршал д'Одрегем. — Они обнаружили неприятеля и напали на него.

— Хорошенькая доблесть, — хмыкнул Клермон, — у них было триста копий, они увидели двадцать и смело бросились на них, вообразив, что это бог весть какой подвиг. А потом, когда появилась тысяча неприятельских солдат, они стали улепетывать и забились в первый попавшийся замок. А теперь от них нам нет никакой пользы. Вовсе это не доблесть, а глупость.

И оба маршала сцепились, по своему обыкновению, а коннетабль не вмешивался в их спор. Он, коннетабль, никогда не брал ничьей сторо-

ны. Человек он был храбрый плотью и слабый духом. Он предпочитал зваться Афинским, а не Бриенном из-за прежнего коннетабля, своего обезглавленного родича. Ведь Бриенн был его ленным владением, тогда как титул Афинский, не имевший под собой никакой реальной почвы, он получил просто в силу семейных воспоминаний об одном из Крестовых походов. А быть может, просто с годами он стал ко всему равнодушен. Долгое время и весьма успешно он командовал войсками короля Неаполитанского. И с тоской вспоминал Италию, как с тоской вспоминают ушедшую юность. Держась чуть в стороне, Протоиерей с насмешливой улыбкой наблюдал за перебранкой маршалов. Конец этой перебранке положил сам король.

— А я считаю, что их неудача пойдет нам на пользу, — начал он. — Ибо действия англичан сейчас скованы этой осадой. И мы теперь знаем, как добраться до них, пока у них связаны руки. — Тут он обратился к коннетаблю: — Готье, завтра мы должны выступить на заре. Разбейте все воинство на несколько армий, чтобы они могли, не замедляя нашего продвижения, переправиться через Луару в нескольких местах по разным мостам, и пусть они поддерживают тесную связь

между собой и смогут поэтому соединиться в указанном месте на другом берегу реки. Я лично переправлюсь у Блуа. И мы нападем на английскую армию у Роморантена, зайдя с тыла, а если она решит отходить, мы перережем ей все пути. Особенно же зорко следите за Луарой на всем ее протяжении от Тура до Анжера, чтобы герцог Ланкастер, который идет из Нормандии, не мог соединиться с принцем Уэльским.

Ну и сумел удивить всех наш Иоанн II! Откуда только взялось это спокойствие, это умение владеть собой? Он отдает разумные приказы, намечает путь своим войскам так, будто воочию видит перед собой всю Францию. Не позволить англичанам переправиться через Луару у Анжу, самим переправиться в Турени, быть готовым либо двигаться на Берри, либо перерезать дорогу врагу на Пуату и Ангумуа… и в итоге всех этих операций отобрать у неприятеля Бордо и Аквитанию. «И пусть быстрота будет нашей главной заботой; пусть внезапность нападения будет нам на руку». Все присутствующие невольно подтянулись, готовые действовать незамедлительно. Поход обещал быть воистину великолепным.

— А ратников распустить по домам, — приказал еще Иоанн II. — Не надо нам второго Креси. Пусть

останутся только рыцари — все равно нас будет в пять раз больше, чем этих воров-англичан.

Итак, только потому, что десять лет назад лучники и арбалетчики, которых ввели в бой то ли раньше, то ли позже времени, задержали продвижение конницы и битва была проиграна, только по этой причине Иоанн II решил вообще отказаться от всякой пехоты. И его военачальники одобрили эту мысль, ибо все они были при Креси и до сих пор не могли опомниться от этого поражения. И главное, что их заботило теперь, было не повторить тогдашней ошибки.

Один лишь дофин набрался духу и проговорил:

— Стало быть, отец, у нас совсем не будет лучников?

Король даже не удостоил его ответом. И дофин, который случайно оказался рядом со мной, шепнул мне, словно ища поддержки или не желая, чтобы я принял его за полного простофилю:

— Англичане посадили своих лучников на коней. Но кто же у нас согласится посадить в седло простолюдина?

Подождите-ка… подождите-ка… Брюне! Если и завтра продержится такая же мягкая погода, я проедусь, пусть хоть немножко, верхом на своем скакуне. До Меца мне надо хорошенько

поразмяться. И потом, я хочу показать жителям Шалона, что я тоже езжу верхом не хуже их безумного епископа Шово… на место которого мы никак не удосужимся никого назначить.

Глава V
Принц Аквитанский

Ах, вы же видите, Аршамбо, что всю эту часть пути до Сен-Менгу я еле сдерживаю гнев свой. Словно нарочно, стоит мне остановиться на ночлег в каком-нибудь большом городе, как непременно мне вручат там послание, от которого меня прямо в жар бросает. В Труа было письмо от папы. В Шалоне ждал гонец из Парижа. И что же я узнаю? Что дофин за две недели до того, как пустился в дорогу, подписал указ, по которому вновь меняется курс золотых монет, в сторону понижения, разумеется… Но, боясь, что эта мера вызовет недовольство… в подобных вещах вовсе не требуется быть пророком, это и так каждому ясно… так вот, он приказал обнародовать указ лишь после своего отъезда, когда он будет уже в пяти днях пути от Парижа; и, таким образом, ордонанс был опубликован только десятого числа нынешнего месяца. В сущности, он опасается

собственных горожан, удрал от них, как олень от охотников. Нет, и впрямь слишком уж часто он прибегает к бегству, как к надежнейшему средству спасения! Не знаю, не знаю, кто внушил ему эту малопочтенную хитрость, думаю, что Брак или Бюси. Но так или иначе, плоды ее уже вызрели. Прево Марсель и самые видные купцы в гневе отправились с жалобой к герцогу Анжуйскому, которого дофин оставил в Лувре вместо себя; и второй сын короля Иоанна, которому еще и восемнадцати нету и которому не хватает здравого смысла, желая избежать смуты — а они угрожали ему, что смута непременно начнется, — задержал ордонанс до возвращения дофина. Либо вообще не следовало прибегать к этой мере, таково было и мое мнение, так как она не выход из тяжелого положения, либо следовало, прибегнув к ней, немедленно осуществить ее на деле. В хорошеньком виде предстанет перед своим дядюшкой императором наш дофин Карл, в столице коего городской совет отказывается повиноваться королевским ордонансам.

Кто нынче правит французским королевством? Мы вправе призадуматься над этим вопросом. Не будем закрывать глаза, все это приведет к самым тяжелым последствиям. Ибо прево Марсель

окончательно уверовал в себя, раз он увидел, что может пренебречь волей короны, и его поддерживает вся эта городская чернь, коль скоро он защищает их кошелек. Дофин ловко провел свои Генеральные штаты, которые совсем растерялись после его отъезда; но на этом и кончились все его преимущества. Согласитесь же, что и впрямь весьма грустно хлопотать не покладая рук, носиться полгода по дорогам, как ношусь я, и все для того, чтобы хоть как-то смягчить участь правителей, которые из чистого упрямства вредят самим себе!

Прощай, Шалон… О нет-нет, я вовсе не хочу вмешиваться в такие дела, как назначение нового епископа. Граф-епископ Шалонский один из шести церковных пэров. И это дело короля Иоанна или же дофина. Пусть они сами улаживают дело со святым отцом или пусть предоставят эти хлопоты Никколо Капоччи: хоть раз в жизни он на что-нибудь сгодится…

Однако не следует слишком упрекать дофина, у него тоже задача нелегкая. Главный виновник — это король Иоанн, и никогда сын не совершит столько ошибок, сколько натворил отец.

Дабы утишить гнев свой, а быть может, и усугубить его… да простит мне Господь прегрешения

мои… я сейчас расскажу вам о безрассудном поступке короля Иоанна. И вы сами увидите, как король губит Францию!

Как я вам уже говорил, в Шартре он вдруг спохватился. Бросил говорить о рыцарстве, когда следовало говорить о финансах; бросил заниматься финансами, когда следовало заниматься войной; и бросил заботиться о пустяках, когда решались судьбы государства. Впервые в жизни он, казалось, преодолел внутреннее смятение и свою пагубную склонность делать все невпопад; впервые в жизни он сделал хоть что-то вовремя. Составил разумный план кампании. А так как душевный подъем военачальника — вещь весьма и весьма заразительная, то распоряжения его исполнялись быстро и точно.

Первым делом помешать англичанам переправиться через Луару. Охранять все мосты и проходы между Орлеаном и Анжером были посланы крупные отряды, которыми командовали уроженцы здешних мест. Им был дан приказ поддерживать между собой постоянную связь и как можно чаще посылать гонцов к королю. Любой ценой не допустить соединения войска принца Уэльского, который движется из Солони, и войска герцога Ланкастера, который идет из Бретани. Их

разобьют каждого в отдельности. И в первую очередь — принца Уэльского. Войско, разделенное на четыре колонны для удобства передвижения, перейдет через реку по мостам в Мёне, Блуа, Амбуазе и Туре. Избегать любых стычек с неприятелем, какие бы ни представлялись для этого благоприятные случаи, прежде чем вся французская армия не соединится на противоположном берегу Луары. Никаких личных подвигов, как бы соблазнительны они ни казались. Совершить подвиг — это значит разгромить англичан и очистить от них французское королевство, коему они столь долгое время приносили лишь бедствия и позор. Такие приказания давал военачальникам, собравшимся перед выступлением, коннетабль, герцог Афинский.

— Идите, мессиры, и пусть каждый выполнит долг свой. Король будет зорко следить за вами.

Все небо затянули тяжелые черные тучи, и вдруг хлынул дождь, заблистали молнии. Целый день вандомцев и турэнцев секли грозовые ливни, не затяжные, но упорные, промочившие насквозь плащи и упряжь, заливавшиеся за шиворот кольчуг, и даже простая кожа становилась тяжелее свинца. Казалось, молнии притягивало к себе все это скопление движущейся стали; тро-

их человек, укрывшихся под огромным дубом, убило наповал. Но все воинство в целом бодро сносило непогоду, тем паче что окрестные жители приветствовали французов радостными кликами. Ибо горожане маленьких городков и вилланы в деревнях наслышались немало ужасов о принце Аквитанском и боялись его прихода. А это нескончаемое шествие латников, идущих на крупной рыси, по четверо в ряд, успокоило их, когда они поняли, что битва произойдет не в здешних краях. «Да здравствует наш добрый король! Колошматьте хорошенько его врагов! Да сохранит вас Господь, отважные сеньоры!» Что, в сущности, означало: «Господь нас убережет с вашей помощью… и, хотя многие из вас падут замертво где-то там, зато дома наши не будут сожжены, не разбегутся в испуге наши стада, никто не потопчет наших нив и не надругается враг над нашими дочерьми. Да сохранит нас Господь от войны, которую вы будете вести не здесь». И они, не скупясь, поили воинов местным вином, освежающим золотистым вином. Они протягивали полные кувшины всадникам, а те жадно пили, запрокинув головы, не замедляя хода лошадей.

Я сам все это видел, ибо решил следовать за королем и вместе с ним отправиться в Блуа. Король

торопился на войну, но у меня была иная миссия — миссия миротворца. И я упорствовал в ней. У меня тоже был свой план, свой собственный план. И мои носилки двинулись за войском, к которому присоединялись не успевшие прибыть вовремя в Шартрский лагерь отряды. В течение нескольких дней подтягивались отставшие, ведя своих людей, и в том числе трое горделивых сеньоров: граф Жуаньи, граф Оксерский и граф Шатийонский, и ехали они себе не торопясь, собрав все копья, которые нашлись в их владениях, и шли на войну, как на забаву.

— Люди добрые, не видели ли вы, проходило здесь королевское войско?

— Войско? Видели, проходило оно еще позавчера, а сколько там народищу, сколько народищу! Несколько часов подряд шли. А последние прошли нынче утром. Когда встретите англичан, не давайте им спуску!

— Не дадим, люди добрые, и, ежели захватим самого принца Уэльского, пришлем вам на память кусочек.

А что же тем временем делал принц Уэльский, спросите вы меня… В Роморантене принц задержался не так долго, как рассчитывал король Иоанн, но тем не менее вполне достаточно, что-

бы тот успел выполнить свой обходной маневр. Сиры де Бусико, Краонский и Комонский яростно отбивались, поэтому принц задержался там на пять дней. Только за один день, 31 августа, англичане ходили на штурм трижды, и всякий раз безуспешно. И лишь 3 сентября крепость пала. Принц приказал предать ее огню, что, впрочем, было в его обычае; но на следующий день было воскресенье, и он решил дать отдохнуть своему воинству. Лучники понесли тяжелые потери и валились с ног от усталости. В сущности, с самого начала кампании это было первой серьезной схваткой. И принц, уже не улыбавшийся столь лучезарно, как всегда, узнал от своих лазутчиков — надо сказать, что лазутчики у него трудились на славу, — узнал, что король Франции со всем своим войском предполагает обрушиться на него. И вот тут принц призадумался: уж не совершил ли он промаха, когда с непонятным упорством осаждал крепость, и не разумнее ли было бы просто запереть в Роморантене три сотни копейщиков Бусико?

Он не знал точно численности войска короля Иоанна, но знал, что воинство это куда мощнее и многочисленнее, чем его, что пытается оно сейчас перейти по четырем мостам через Луару.

Ежели он не намерен загубить своих людей в неравном бою, он должен во что бы то ни стало соединиться, и как можно скорее, с войском Ланкастера. Довольно веселых набегов, довольно им устраивать себе потеху, глядя, как вилланы бегут в леса, как пылают монастыри. Лучшие его военачальники, мессиры Чандос и Грейли, были встревожены не менее самого принца; и они, даже эти закаленные в боях воины, заклинали принца поторапливаться. Он спустился в долину реки Шер, прошел через Сент-Эньян, Тезе, Монришар, задерживаясь, только чтобы слегка пограбить жителей, не имея ни охоты, ни досуга полюбоваться красавицей-рекой, медленно катившей свои воды; ни островками, поросшими тополями, сквозь ветки которых прокрадывался солнечный луч; ни меловыми склонами, где наливались соками под жаркими небесами гроздья созревшего винограда. Он держал путь на запад, где ждали его помощь и подкрепление.

Седьмого сентября он достиг Монлуи, и здесь ему сообщили, что большая армия под командованием графа Пуатье, третьего сына короля Иоанна, и маршала Клермона уже находится в Туре.

Тут он заколебался. Четыре дня он ждал в Мон-

луи, что Ланкастер, переправившись через Луару, приведет к нему своих людей; в сущности, ждал чуда. Но если чуда не произойдет, так или иначе позиция у него превосходная. Четыре дня он ждал, что французы, знавшие его местонахождение, нападут на него. Принц Уэльский решил, что сможет продержаться против армии Пуатье — Клермона и даже одержать над ними победу. И выбрал место для предстоящего боя среди густых зарослей колючего кустарника. Лучники по его приказу стали рыть себе ретраншементы. А сам он, его маршалы и оруженосцы разместились в домишках по соседству.

Целых четыре дня, как только начинала брезжить заря, он не отрываясь смотрел в сторону Тура. По необозримой долине перекатывались клубы утреннего тумана, пронизанного золотом; река, взбухшая после недавних ливней, несла меж зеленых своих берегов охряную воду. Лучники продолжали укрепляться на откосах.

Целых четыре ночи, глядя на звездное небо, принц вопрошал себя, что готовит ему грядущая заря? Ночи выдались на редкость прекрасные, и ярче всех сиял Юпитер.

«Как будут действовать французы? — ломал себе голову принц. — Что они предпримут?»

А французы на сей раз строго выполняли полученный ими приказ и не шли в атаку. Десятого сентября король Иоанн уже находился в Блуа вместе со всем собравшимся там войском. А одиннадцатого двинулся на славный городишко Амбуаз — иными словами, подошел вплотную к Монлуи. Прощайте, подкрепления, прощай, Ланкастер! Придется принцу Уэльскому в спешке удирать в Аквитанию, ежели не желает он попасть в ловушку между Туром и Амбуазом: не может он отбиваться сразу от двух армий. В тот же день он покидает Монлуи и останавливается на ночлег в Монбазоне.

И что же он видит поутру двенадцатого? Две сотни копий, предшествуемых желто-белым знаменем, а среди копий огромные красные носилки, откуда выходит кардинал… Как вы сами могли убедиться, я приучил своих стражников и слуг преклонять колена всякий раз, когда я ступаю на землю. Это производит впечатление, и немалое, всюду, куда я прибываю. Многие тут же преклоняют колена и осеняют себя крестным знамением. Поверьте, мой приезд вызвал в английском лагере немалое волнение.

Накануне я расстался в Амбуазе с королем Иоанном. Я знал, что он еще не собирается идти в

атаку, но может пойти с часу на час. Тут-то я и решил приступить к своей миссии. Я проехал через Блере, где мало и плохо спал. По бокам у меня доспехи моего племянника Дюраццо и мессира Эредиа, позади сутаны моих прелатов и клириков; в таком окружении я направляюсь к принцу и прошу его побеседовать со мной наедине.

По-моему, он очень торопился и сказал мне, что через час снимается отсюда. Я уверил его, что минута-другая все же у него найдется и что слова мои, в сущности, слова самого святого отца папы, заслуживают того, чтобы их выслушали. Когда же он узнал от меня, что нынче королевские войска против него не выступят, он вздохнул свободнее; но во все время нашей беседы как ни старался принц показать мне, что вполне спокоен, однако ему, к великой моей радости, все же не удалось скрыть, что сидит он как на иголках.

Он, этот принц, слишком высокомерен от природы. А так как и я не лишен этого свойства, начать беседу нам было нелегко. Но мне-то помогли мои годы…

Красивый юноша, высокий, стройный… Правда-правда, я еще не описывал вам наружность принца Уэльского! Двадцать пять лет. Кстати, это как раз тот возраст, когда молодое поколение

берет все дела в свои руки. Королю Наваррскому тоже двадцать пять, и Фебу тоже; один лишь дофин моложе их всех… У принца Уэльского приветливая улыбка, открывающая ослепительно-белые зубы. Нижней частью лица и румянцем он пошел в свою мать, королеву Филиппу. От нее же унаследовал он жизнерадостный нрав и, безусловно, с годами разжиреет, как и она. А верхней частью лица он скорее похож на своего прадеда Филиппа Красивого. Гладкий лоб, синие, огромные, широко расставленные глаза, холодные как сталь. Глядит он на вас пристально и сурово, что никак не вяжется с любезной улыбкой. Обе части лица — верхняя и нижняя, каждая со своим собственным выражением — разделены великолепными белокурыми усами, которые по саксонской моде идут от верхней губы к подбородку… В глубине души это властитель. И весь мир и всех людей он видит лишь с высоты седла.

Знаете, какие он носит титулы? Эдуард Вудстокский, принц Уэльский, принц Аквитанский, герцог Корнуэльский, граф Честер, сеньор Бискайский… Только на папу да на коронованных особ он глядит как на людей, что выше его. Все же прочие создания Божьи в его глазах одна мелочь и отличаются друг от друга лишь степенью

ничтожества. Не спорю, он наделен даром военачальника и презирает опасность. Выдержка, достойная удивления, даже в минуту опасности он не теряет головы. Когда ему улыбается успех, он роскошествует сам и осыпает дарами своих друзей.

Его уже давно прозвали Черным Принцем, потому что он носит доспехи из любимой его вороненой стали, так что он сразу бросается в глаза среди блестящих кольчуг и многоцветных плащей окружающих его рыцарей, к тому же шлем его увенчан тремя белыми перьями. Он рано вкусил сладость славы. При Креси — а было ему тогда всего шестнадцать — отец доверил ему командование валлийскими лучниками, но, разумеется, приставил к нему испытанных вояк, дававших юнцу советы и даже направлявших его действия. На англичан свирепо обрушились французские рыцари, и советники эти, решив, что принц подвергается смертельной опасности, бросились к королю с просьбой прийти на помощь сыну. Король Эдуард III, наблюдавший за ходом боя с вершины мельничного холма, осведомился у прибывших: «Разве мой сын погиб, повержен на землю или ранен так сильно, что не может сам себе помочь? Нет?.. В таком случае

возвращайтесь к нему или к тем, кто вас сюда отрядил, и скажите им, пусть не являются сюда и не просят у меня ничего, что бы ни произошло на поле битвы, пока мой сын жив. Слушайте мой приказ: пусть сегодня мальчик заслужит рыцарские шпоры, ибо я желаю, если будет на то воля Божья, чтобы нынешний день стал днем его победы и чтобы была ему за то воздана честь».

Вот каков был этот юноша, которого я тогда увидел впервые.

Я сказал ему, что король Франции…

— Для меня он не король Франции, — возразил принц.

— А для Святой церкви он помазанник Божий и коронован на царство, — ответил я. Нет, вы только оцените его манеру говорить. — Так вот, король Франции идет на вас со своим войском, насчитывающим около тридцати тысяч человек… — Я чуть преувеличил, с умыслом, конечно, но, чтобы он поверил, уточнил: — Другой сказал бы вам — шестьдесят тысяч. А я говорю вам правду. И это, не считая пехоты, которая идет следом.

Я промолчал о том, что пехоту распустили, но у меня создалось такое впечатление, будто он об этом уже знает.

Не так уж важно — шестьдесят ли, тридцать ли,

или даже двадцать пять тысяч — кстати, последняя цифра была ближе всего к истине. Важно, что у принца было с собой всего шесть тысяч человек, включая лучников и ратников, вооруженных ножами. И я ему доказал, что сейчас речь идет не о храбрости, а о числе.

Он сказал мне, что с минуты на минуту к нему присоединятся люди Ланкастера. Я ответил ему, что от души ему этого желаю ради собственного его спасения.

Он догадался, что продолжать играть в самоуверенность со мной незачем, так верх надо мной не взять, и после недолгого молчания вдруг заявил, что знает меня как человека, более расположенного к королю Иоанну — заметьте, все-таки вернул Иоанну королевский титул, — чем к его отцу.

— Я расположен лишь к одному — добиться мира между двумя государствами, — ответил я ему, — и именно мир намереваюсь вам предложить.

Тут он весьма высокомерно напомнил мне, что в прошлом году прошел весь Лангедок и привел своих рыцарей к морю латинян, не встретив ни малейшего отпора со стороны короля; что даже нынешним летом он совершил поход от самой

Гиени до Луары; что почти вся Бретань находится под английской эгидой; что добрая половина Нормандии под началом его величества Филиппа Наваррского готова последовать примеру Бретани; что многие сеньоры из Ангумуа, Пуату, Сентонжа и даже Лимузена присоединились к нему. У него хватило такта не упомянуть наш Перигор… и во время всей этой тирады он смотрел в окно — не высоко ли поднялось солнце над горизонтом — и под конец небрежно бросил:

— Какие же мирные предложения услышим мы от короля Иоанна после того, как мы оружием добились таких успехов, после того, как мы по праву и по существу захватили часть Франции?

Ох, если бы король пожелал выслушать меня еще в Бретее, в Шартре… Ну что я мог отвечать, с чем сюда явился? Я сказал принцу, что пришел я к нему с пустыми руками, ибо король Франции, чувствуя свою силу, не желает даже думать о мире, прежде чем не одержит победу, на что справедливо рассчитывает; но что я принес ему повеление папы, который хочет прекратить кровавую междоусобицу на Западе и который настоятельно просит королей, твердил я, примириться, дабы всем вместе прийти на помощь нашим братьям в Константинополе. И спросил,

на каких условиях Англия…

Не отрывая глаз от окошка, за которым солнце поднималось все выше, принц резко положил конец беседе:

— Только моему отцу, а отнюдь не мне подобает решать вопросы мира. Мне он не давал никаких полномочий вести переговоры.

Потом он попросил извинить его за то, что должен сниматься с места. Чувствовалось — лишь одно занимает все его помыслы: как бы оторваться подальше от преследующей его по пятам армии.

— С вашего позволения я хочу благословить вас, ваше высочество, — сказал я ему. — И я буду поблизости, ежели вдруг вам понадоблюсь.

Вы скажете, дорогой племянник, что улов мой был не столь уж богат, когда я выехал из Монбазона вслед за английской армией? Но, представьте себе, я вовсе не был так раздосадован, как можно подумать. При этом положении вещей мне удалось подсечь рыбку, и теперь я водил ее на крючке. Все прочее зависело от бурности течения реки. Мне следовало только не слишком удаляться от берега.

Принц Уэльский направился к югу, к Шательро. В эти дни по дорогам Пуату и Турени двигалась

необычная процессия. Впереди армия принца Уэльского с сомкнутыми рядами, шесть тысяч человек, и, хотя шли они в отменном порядке, все же чуть запыхались, и уже не задерживались, чтобы сжечь по пути крестьянский амбар. Скорее уж земля жгла копыта их коней. Брошенная вдогонку англичанам и отделенная от них днем пути огромнейшая армия короля Иоанна, которую он перестроил, как и было им задумано, другими словами, оставил только рыцарей — около двадцати пяти тысяч, — и которую он гнал без передышки, начала уже уставать, не так четко выполняла приказы и бросала по дороге отставших.

А между англичанами и французами, следуя за первыми и обгоняя вторых, двигался мой маленький кортеж, пятнышко пурпура и золота среди лугов и лесов. Кардинал, затесавшийся между двух неприятельских армий, — такое не часто встретишь. Войска торопились начать битву, а я вместе с крохотной своей свитой упорно пекся о мире. Мой племянник Дюраццо не скрывал дурного расположения духа; я догадывался, что его гложет стыд — сопровождать человека, собирающегося совершить единственный подвиг — отговорить людей воевать. И все другие мои

рыцари, Эредиа, Ла Рю, все думали так же, как и он. Дюраццо, тот прямо мне сказал: «Дайте же вы королю Иоанну разбить англичан, и все будет кончено. А впрочем, каким образом вы собираетесь этому помешать?»

В глубине души я был такого же мнения, но я не желал бросать начатого дела. Я отлично понимал, что, ежели король Иоанн догонит принца Эдуарда, а он его наверняка догонит, он его сокрушит. И ежели это свершится не в Пуату, то уже наверняка в Ангумуа.

Все явно складывалось так, что король Иоанн не мог не стать победителем. Но в эти дни расположение небесных светил было для него неблагоприятным, весьма неблагоприятным, и я это знал. И все время думал, как же так, когда на его стороне столь явное преимущество, как же может аспект его планеты быть столь роковым? И я твердил про себя, что, верно, победу он одержит блистательную, но будет убит. Или же по дороге его свалит недуг…

По тем же самым дорогам двигалась кавалькада отставших — графа Жуаньи, графа Оксерского и графа Шатийонского — славные малые, вечно в веселом расположении духа и ни в чем себе не отказывающие, и с каждым часом они прибли-

жались к французскому воинству:

— Люди добрые, короля не видали?

— Короля? Нынче утром он проехал через Ла-Э.

— А англичанин?

— Он ночевал здесь накануне…

Коль скоро Иоанн II не переставал преследовать своего кузена-англичанина, он приказал неукоснительно разведывать, какими дорогами отходит его противник. А противник, чувствуя, что ему буквально наступают на пятки, добирается до Шательро и здесь, чтобы облегчить завтрашнюю переправу через мост и не загромождать его, велит ночью пройти через Вьенну своему личному конвою вместе со всеми повозками, на коих нагружена его мебель, его парадная упряжь, а также вся его военная добыча: шелка, серебряная посуда, безделушки из слоновой кости, золотая церковная утварь, — словом, все похищенное во время набега. И нестись к Пуатье. Сам он, его рыцари, его лучники, чуть только забрезжил рассвет, следуют по той же дороге. Потом осторожности ради он вместе со всеми своими людьми берет в обход. У него свои расчеты: обойти с востока Пуатье, где король хочешь не хочешь вынужден будет дать отдых своей тяжелой коннице, пусть даже всего на несколько

часов, и таким образом увеличить расстояние между собой и французами.

Единственное, чего он не знал, — это что король не свернул на Шательро. Со всей своей кавалерией, которую он гнал на охотничьих рысях, он двинулся на Шовиньи — другими словами, еще восточнее, дабы попытаться обойти противника и перерезать ему путь. Он сам скакал впереди, как влитой сидя в седле, выставив подбородок, скакал открыто, пренебрегая опасностью, так же как спешил на пиршество в Руан. Одним духом миновали следующий переход в двенадцать лье.

И по-прежнему за ним гнались трое бургундских сеньоров — Жуаньи, Оксер и Шатийон.

— Король?

— Свернул на Шовиньи.

— Едем в Шовиньи.

На лицах их сияла улыбка: королевское войско уже совсем рядом; поспеют к охоте на оленя, успеют крикнуть свое «улю-лю!».

Итак, они добрались до Шовиньи, где над излучиной Вьенны горделиво высится замок. В вечерних сумерках они замечают огромное скопление войск, немыслимое нагромождение повозок и кирас. Но Жуаньи, Оксер и Шатийон любят пожить в свое удовольствие. Не бросаться

же им после долгой скачки в самую гущу эдакой суматохи! Да и незачем им теперь торопиться. Лучше хорошенько пообедаем, а тем временем слуги осмотрят и почистят наших лошадей. Подшлемники долой, поножи расшнурованы, и вот наша троица уже сладко потягивается, растирает наболевшие поясницы и икры; потом усаживаются за стол в харчевне неподалеку от реки. Оруженосцы, зная, что их хозяева чревоугодники не из последних, раздобывают им рыбу — ведь нынче пятница. Наконец они заваливаются спать — обо всем этом мне рассказали потом в мельчайших подробностях, — а на следующее утро просыпаются поздно в опустевшем, притихшем городке.

— Люди добрые… а король?

Им указывают в сторону Пуатье.

— Самый короткий путь?

— Через Шаботери…

И вот наши Шатийон, Жуаньи и Оксер, а за ними их копьеносцы резво скачут по дорогам, пробитым среди вересковых зарослей. Прелестное утро, солнечные лучи, мягкие, нежгучие, пронизывают кроны деревьев… Незаметно проскакали три лье. Через полчаса будет Пуатье. И вдруг там, где сходятся под углом две просеки,

они нос к носу сталкиваются с английскими лазутчиками… Всего человек шестьдесят, не более того… А наших больше трех сотен. Да это же неслыханная удача! Опустим забрала, копья к бою. Английские лазутчики — которые были, впрочем, жителями Геннегау, а командовали ими мессиры де Гистель и д'Обершикур — повернули коней — и галопом. «Ах трусишки! Ну и храбрецы! Вдогонку, вдогонку за ними!»

Погоня длилась недолго, ибо, миновав строевой лес, Жуаньи, Оксер и Шатийон врезались в самую середину колонны англичан, которая, пропустив их, тут же замкнулась. С минуту слышался только звон мечей и копий. Здорово же они бились, наши бургундцы! Но враг сломил их числом. «Бегите к королю! К королю бегите, если только сможете!» — успели крикнуть Оксер и Жуаньи своим оруженосцам, прежде чем их выбили из седла и взяли в плен.

Король Иоанн уже вступил в предместье Пуатье, когда пятеро людей графа де Жуаньи, которым удалось уйти от бешеной погони, еле переводя дух, рассказали ему о том, что произошло. Король от души поздравил их. И сильно возрадовался. Тому, что потерял трех баронов и их войско? Да нет, конечно, но такая цена была

не слишком обременительна за славную новость. Оказывается, принц Уэльский, который, по его расчетам, должен был находиться впереди, очутился сзади. Задуманная операция удалась — англичанам перерезали дорогу. Поворот на Шаботери. «Покажите мне путь, славные храбрецы!» Улюлюлюлю! Улюлю-люлю… Наконец-то настал его день, короля Иоанна!

А я, спрашиваете вы, Аршамбо? Я был на дороге, ведущей в Шательро. По прибытии в Пуатье я решил остановиться в аббатстве, где к вечеру узнал обо всем, что произошло днем.

Глава VI
Хлопоты кардинала

Смотрите, Аршамбо, не вздумайте удивляться в Меце, когда дофин будет приносить вассальную присягу своему дяде императору. Ну да, ну да, именно из-за Дофине, которое находится в ленной зависимости от Священной империи… Нет-нет, я сам его уговорил; больше того, это один из предлогов путешествия! Франции от этого не убудет, напротив, это поможет установить свои права на Арльское королевство, если только его собираются восстановить, коль скоро некогда

туда входило графство Вьеннское. И потом, это прекрасный пример для англичан, пусть видят, что, ежели король или сын короля, ничуть себя не унижая, с легкой душой может согласиться на принесение вассальной присяги другому суверену, когда часть его государства находится в ленной зависимости от другого государства…

Впервые после многих лет император, кажется, решил склониться в сторону Франции. Ибо до сих пор, хотя сестра его, мадам Бонна, была первой супругой короля Иоанна, он больше благоволил англичанам. Разве не он назначил короля Эдуарда, который, надо сказать, ведет себя с императором весьма ловко, имперским викарием? Блистательные победы Англии и упадок Франции заставили его, должно быть, призадуматься. Английская империя бок о бок с его империей не слишком-то ему улыбается. Так всегда бывает с германскими принцами: они из кожи лезут вон, чтобы обкорнать Францию, а потом вдруг спохватываются, что это им ничего не дает, напротив…

Хочу дать вам совет: когда нас примет император и разговор зайдет о Креси, не особенно распространяйтесь об этой битве. И уж во всяком случае, не произносите первым это название. Ибо в отличие от своего отца Иоанна Слепого импе-

ратор — впрочем, он тогда императором еще не был, — не слишком блестяще себя показал в этом сражении… Будем говорить напрямик — просто-напросто бежал с поля битвы. Но не слишком много рассуждайте также и о Пуатье, коль скоро оно еще у всех на языке, что и неудивительно! И не вздумайте восхвалять доблесть злополучных французских рыцарей… Этого не следует делать из уважения к нашему дофину… ибо он тоже не блеснул в бою особым мужеством. По этим-то причинам ему не так легко было восстановить свой авторитет. Нет, не ждите, что вы попадете на пиршество героев… Впрочем, дофина еще можно извинить; и ежели он не рожден воином, то, во всяком случае, именно он сумел воспользоваться тем предложением, какое я делал его отцу…

А сейчас продолжим рассказ о Пуатье, потому что ни одна живая душа не может рассказать вам о нем более подробно, чем я, и вы сами поймете почему. Итак, мы остановились с вами на субботнем вечере, когда обе армии уже знали, что находятся в самом близком соседстве, чуть ли не соприкасаясь друг с другом, и когда принц Уэльский понял, что никуда отсюда двинуться больше уже не сможет…

В воскресенье, рано поутру, король прослушал

мессу, которую отслужили прямо в поле. Походная месса. Тот, кто отправлял службу, нацепил митру и ризу поверх кольчуги, и был это Реньо Шово, князь-епископ Шалонский, один из тех священнослужителей, коим подошел бы более не духовный сан, а военный… Я вижу, вы улыбаетесь, дорогой Аршамбо… да-да, вы думаете про себя, что я тоже таков; но я научился обуздывать свои страсти, коли сам Господь Бог указал мне путь в жизни.

В глазах Шово это коленопреклоненное на росистом лугу воинство вблизи городка Нуайе, очевидно, подобно было легионам небесным. На колокольне аббатства Мопертюи трезвонили в большой квадратный колокол. И англичане, расположившиеся на пригорке и скрытые рощицей, слышали, как дружно грянули «Глориа» десятки тысяч французских рыцарей.

Король причастился Святых Тайн вместе со своими четырьмя сыновьями и своим братом герцогом Орлеанским, вместе со всей своей боевой свитой. Маршалы не без замешательства поглядывали на юных принцев, которым им надлежало давать приказы, тем паче что юнцы не имели воинского опыта. Да-а, навязали им этих принцев на голову. Теперь уж совсем малолет-

них ведут в бой — младшего королевского сына Филиппа, любимца короля, и его кузена Карла Алансонского! Одному четырнадцать, другому тринадцать. И будут же путаться в ногах эти детишки в кирасах!

Решено было, что юный Филипп останется при отце, ибо король сам выразил желание присматривать за сыном, а мальчугана Алансонского поручили заботам Протоиерея.

Коннетабль разбил армию на три крупных боевых соединения. Первое в количестве тридцати двух знамен, распущенных дворянами, отходило под командование герцога Орлеанского. Вторым командовал дофин, герцог Нормандский, вместе со своими братьями Людовиком Анжуйским и Иоанном Беррийским. Но, честно говоря, руководили всеми операциями Жан де Ланда, Тибо де Водене и сир Сен-Венан, три закаленных воина; им поручено было держаться как можно ближе к наследнику престола и руководить его действиями. Третьим соединением командовал сам король.

Иоанна подсадили на его огромного белого боевого коня. Он взглядом окинул свое воинство и восхитился душой — столь многочисленно и столь прекрасно оно было. Сколько шлемов,

сплошной частокол копий в бесконечно длинных рядах! Сколько мощных коней, поматывающих головой и побрякивающих удилами. К седлам приторочены мечи, боевые палицы, обоюдоострые секиры. На концах копий плескались на ветру вымпелы и рыцарские знамена. Как пестро размалеваны щиты и тарчи, как ярко расшиты плащи рыцарей и чепраки их коней! И даже сквозь поднятую пыль все это блестит, сверкает, сияет под утренним солнышком.

Тут король выступает вперед и возглашает во всю мощь своей глотки:

— Добрые мои сиры, когда вы находились в Париже, в Шартре, в Руане или Орлеане, вы грозили англичанам и мечтали встретиться с ними в честном бою. Вот они теперь перед вами; смотрите, я вам указываю, где они. Так покажите же им, на что вы способны, и отмстите врагу за все беды и неприятности, что причинял он нам, ибо мы непременно побьем его.

И когда уже прогремело ответное оглушительное: «С нами Бог! Сейчас враг получит по заслугам», король промолчал. Он не давал приказа идти в атаку на врага, он ждал, когда вернется Эсташ де Рибмон, бальи городов Лилля и Дуэ, посланный с небольшим отрядом разведать по-

точнее позицию англичан.

И в немом молчании ждала вся армия. Тяжкая минута для того, кто уже готов к атаке, а приказа нет. Ибо каждый тогда говорит себе: «Быть может, нынче наступит и мой черед… Быть может, сейчас я вижу землю в последний раз…» И у всех сжало горло под стальными подбородниками, и каждый взывал к Богу горячее, чем на недавней мессе. Военные игрища вдруг стали чем-то торжественным и страшным.

Мессир Жоффруа де Шарни нес орифламму Франции, ибо король оказал ему великую честь, доверив нести орифламму, и, как мне передавали, лицо у него светилось.

Самым спокойным казался герцог Афинский. Из долгого опыта он знал, что все, что он мог сделать как коннетабль, уже сделано. Как только завяжется бой, он не увидит ничего дальше чем за две сотни шагов, а его не услышат и за полсотни; отовсюду, где будут рубиться люди, ему будут слать гонцов, которым или удастся добраться до него, или не удастся; и тем, кому удастся, он прокричит приказ, который или будет, или не будет выполнен. Но уже одно то, что сам коннетабль здесь, что можно послать к нему гонца, что он махнет ему рукой, что, надрывая глотку в крике,

одобрит те или иные действия, — одно это подбадривает людей… В трудную минуту он, быть может, сумеет принять мудрое решение. Но среди этого стука мечей и человеческих воплей вовсе не он, а воля Божия будет руководить людьми. И раз столь многочисленны французские войска, очевидно, Бог уже выразил свою волю.

А король Иоанн тем временем начинал терять терпение, так как Эсташ де Рибмон все не появлялся. Может быть, его тоже захватили англичане, как вчера захватили графов Жуаньи и Оксерского? Было бы разумнее всего послать еще один отряд лазутчиков. Но король Иоанн не выносил ожидания. Его охватило злобное нетерпение, которое вскипало в его душе всякий раз, когда события не сразу подчинялись его воле, и именно поэтому он терял способность рассуждать здраво. С губ его чуть было не сорвался приказ идти в атаку… ладно, там разберемся… когда наконец-то появился мессир де Рибмон со своими лазутчиками.

— Ну, Эсташ, каковы новости?

— Лучше и нельзя, сир, будь на то воля Божья, вы одержите над врагом блистательную победу!

— А сколько их?

— Сир, мы их видели и прикинули на глазок.

По примерному подсчету, у англичан тысячи две рыцарей, тысячи четыре лучников и полторы тысячи ратников.

С высоты белоснежного боевого коня король одарил всех улыбкой победителя. Он оглядел свои двадцать пять тысяч или примерно двадцать пять тысяч воинов, выстроившихся вокруг него.

— А каковы их позиции?

— О сир, они расположились в очень удачном месте, они наверняка смогут выставить против нас всего один отряд, и притом небольшой, но они, видно, хорошо подготовились к бою.

И пошел описывать, как разместили своих людей англичане: по обе стороны идущей вверх дороги, окаймленной густой изгородью и кустарником, за которым они расставили своих лучников. Атаковать их можно только с дороги, где в ряд пройдут всего четыре лошади. Со всех других сторон — виноградники и сосновые рощи, где особенно не поскачешь. Английские рыцари отвели своих лошадей в укрытие, и пешие расположились позади лучников, которые образуют как бы частокол. И этих самых лучников не так-то легко будет выбить!

— А что же, мессир Эсташ, вы нам посоветуете?

Все войско стояло, не спуская глаз с собравшихся на совет вокруг короля коннетабля, обоих маршалов и главных военачальников. А также графа Дугласа, не расставававшегося с королем после Бретея. Бывают иной раз гости, которые чересчур дорого обходятся хозяевам. Первым заговорил Уильям Дуглас:

— Мы, шотландцы, сражаясь с англичанами, всегда спешиваемся…

А Рибмон пошел еще дальше, приведя в пример фламандское ополчение. И вот, когда уже пришло время идти в бой, начались рассуждения о тонкостях военного искусства. Рибмон предложил план атаки. И Уильям Дуглас поддержал его. А король пожелал, чтобы все их выслушали, потому что один лишь Рибмон обследовал расположение англичан и потому что Дуглас, гость короля, так хорошо знает англичан.

И вдруг был отдан приказ, подхваченный десятками голосов, повторенный на все лады:

— Спешиться!

Как так спешиться? Стало быть, мы в бой не идем; неужели зря эта великая минута напряжения всех сил, минута, когда каждый в душе своей уже готовился к смерти, минута страха и тоски? По рядам пробежала зыбь разочарования. Да нет,

да нет, мы пойдем в бой, только пойдем пешие. В седле останутся лишь триста рыцарей, их поведут сами маршалы, и эти рыцари расчистят проход в рядах английских лучников. И в этот проход тут же устремятся остальные рыцари, дабы схватиться врукопашную с людьми принца Уэльского. Лошадей пусть оставят неподалеку, потому что преследовать неприятеля будем верхами.

Маршалы д'Одрегем и Клермон уже обходили ряды, чтобы отобрать для атаки триста рыцарей, самых крепких, самых отважных и тех, что вооружены лучше других.

Нельзя сказать, чтобы у маршалов был особенно довольный вид, ибо им даже не предложили высказать свое мнение. Правда, Клермон пытался было что-то сказать и попросил дать время все хорошенько обдумать. Но король его оборвал:

— Мессир Эсташ видел, а мессир Дуглас знает. Так что же нового дадут нам ваши соображения?

План лазутчика и план гостя стал теперь планом короля…

— Почему бы не произвести Рибмона в маршалы, а Дугласа в коннетабли? — ворчал д'Одрегем.

Всем, кто не назначен идти в головной отряд, спешиться, спешиться!

— Снять шпоры и отрубить рукоятки копий до

длины пяти футов.

В рядах рыцарей ропот и смятение. Не для того мы сюда явились. И тогда с какой стати распустили в Шартре пехоту, если рыцарям приходится теперь выполнять ее обязанности? А главное, укорачивать копья, да от этого же у рыцарей сердце разрывалось! Прекрасные ясеневые древки, выбранные с такой любовью и тщанием, их можно держать горизонтально, прижать к тарчу — и в галоп. А теперь им придется шагать в этих тяжеленных железных доспехах, да еще с палками вместо копий. «Не забывайте Креси…» — уговаривали те, кто любой ценой старался оправдать действия короля. «Креси, вечно у вас Креси на языке», — брюзжали недовольные.

Эти люди, чье сердце всего полчаса назад радостно ширилось от сознания своего высокого рыцарского долга, ворчали сейчас, как простые вилланы, у которых сломалась ось повозки. Но сам король, желая дать своим подданным достойный пример, отослал своего белоснежного скакуна и шагал по траве, притоптывая каблуками без шпор и перебрасывая боевую палицу то из левой руки в правую, то из правой в левую.

Вот среди этого воинства, которое озабоченно рубило древки своих копий секирами, приторо-

ченными к ленчику, так вот, среди этого воинства я проскакал на полном галопе, явившись из Пуатье; надо мной развевался стяг Святого престола, а сопровождали меня только мои рыцари и лучшие мои стражники: Гийерми, Кюнак, Эли д'Эмери, Эли де Раймон, — словом, те, которые и сейчас тоже сопровождают нас. Они-то все помнят! Рассказывали они вам или нет?..

Я соскакиваю с коня, бросаю поводья Ла Рю, нахлобучиваю сползшую от скачки на спину кардинальскую шапку; Брюне оправляет мою мантию, и я подхожу к королю, скрестив на груди руки в перчатках. И сразу же говорю ему твердо, но уважительно:

— Сир, прошу вас, умоляю вас именем христианской веры отложить начало боя. Обращаюсь к вам по приказанию и по воле нашего святого отца. Соблаговолите ли вы выслушать меня?

И что же мог сделать король Иоанн, как не ответить мне столь же любезно, потому что его поразило появление в такую минуту столь назойливого посланца церкви:

— Охотно, ваше преосвященство, охотно. Что вам угодно мне сказать?

С минуту я стоял, подняв глаза к небу, как бы моля Всевышнего просветить меня. Нет, я и в

самом деле молился, но я также поджидал, когда герцог Афинский, оба маршала, герцог Бурбонский, епископ Шово, в котором я рассчитывал найти единомышленника, Жан де Ланда, Сен-Венан, Танкарвилль и кое-кто еще, в том числе Протоиерей, подойдут поближе. Ибо сейчас уже не время было разговаривать с глазу на глаз или вести беседу за обедом, как в Бретее или Шартре. Я хотел, чтобы меня слышали все, не только один король, но и самые знатные люди Франции, и чтобы они были свидетелями моего демарша.

— Дражайший сир, — начал я, — здесь собрался весь цвет рыцарства французского королевства, им несть числа, и идут они против горстки людей, ибо по отношению к вам англичан всего горстка. Они не могут устоять против вашей силы, и было бы воистину благороднее с вашей стороны отпустить их, не затевая боя, чем рисковать всем этим славным рыцарством и погубить как с той, так и с другой стороны сотни и тысячи добрых христиан. Говорю вам это по повелению нашего святейшего отца, который поручил мне, как своему нунцию, облекши меня всей полнотою власти, споспешествовать делу мира, ибо таково повеление Божье, ибо по воле Господней должен воцариться мир между христианскими народами. И еще молю вас

именем Всевышнего, разрешите мне вновь увидеться с принцем Уэльским, дабы внушить ему, сколь огромная опасность грозит англичанам с вашей стороны, и постараться образумить его.

Если бы он, король Иоанн, мог меня укусить, я думаю, что он не преминул бы это сделать. Но кардинал на поле боя — это все-таки производит впечатление. И герцог Афинский важно склонил голову, а за ним и маршал Клермон, и его высочество Бурбон. Я добавил:

— Дражайший сир, нынче воскресенье, день Господень, и вы только что отстояли мессу. Так ли уж вам по душе трудиться во имя смерти в день, посвященный Господу нашему? Дайте же мне хоть возможность переговорить с принцем!

Король Иоанн оглядел своих сеньоров и понял, что он, христианнейший государь, обязан снизойти к моим мольбам. Если произойдет нечто непоправимо роковое, то первым в этом будет виноват он и все усмотрят в случившемся карающую длань Провидения.

— Будь по-вашему, — сказал мне король. — Нам по душе уступить вашей просьбе. Только возвращайтесь не мешкая.

Тут я чуть было не задохнулся от гордыни… да простит мне Господь прегрешение сие… В эту

минуту я почувствовал, сколь велико превосходство церковника, князя Господня, над владыками земными. Будь я вместо вашего отца графом Перигорским, разве был бы я облечен такой властью. И я подумал еще, что свершил дело всей жизни моей.

Все в том же сопровождении четырех моих копьеносцев, все так же предшествуемый папским стягом, поскакал я к холму по той самой дороге, что разведал Рибмон, держа путь на небольшой лесок, где расположился лагерем принц Уэльский.

— Принц, добрый сын мой, — начал я, ибо на сей раз я уже не называл его «ваше высочество», дабы дать ему почувствовать всю слабость его, — если бы вы и впрямь могли оценить всю мощь короля Франции, как только что оценил ее я, вы бы охотно пошли на соглашение с ним, чего я и хочу добиться, и постараюсь, если только смогу, примирить вас. — И я рассказал ему, сколь велико французское воинство, которое я видел у городка Нуайе. — Смотрите же, сколько вас и каковы ваши позиции… Неужели вы рассчитываете здесь долго продержаться?

Э-э, нет, долго ему здесь не продержаться, и он сам это отлично понимал. Единственное его

преимущество заключалось в удачном выборе позиций на холме, поросшем лесом; его ретраншементы можно было смело назвать чудом военного искусства. Но люди его уже начали страдать от жажды, ибо на пригорке воды не оказалось; ходить за водой надо было к ручью Миоссон, который протекал под холмом, но там стояли французы. Съестных припасов у англичан оставалось лишь на один-единственный день. Под саксонскими усами этого принца-опустошителя уже не сверкала белозубая улыбка! Ежели бы он не сидел в кругу своих рыцарей Чандоса, Грейли, Уорика, Саффолка, не спускавших с принца глаз, он признал бы, пожалуй, что в их положении надеяться не на что, тем паче что и приближенные его думали то же самое. Разве что на чудо… и, быть может, чудо это свершится с моей помощью. Тем не менее он согласился не сразу, не желая поступиться рыцарской честью:

— Но, монсеньор Перигорский, я уже говорил вам в Монбазоне, что я не имею права заключать мирные договоры, не испросив воли отца моего, короля…

— Добрый мой принц, выше воли королей Божья воля. Ни ваш отец король Эдуард, восседающий на престоле в Лондоне, ни Господь,

восседающий на небесном престоле, никогда не простят вам, что вы погубили столько хороших, храбрых людей, вверенных под ваше покровительство, хотя вы могли поступить иначе. Согласны ли вы, чтобы я обсудил условия и вы, не поступившись рыцарской своей честью, смогли бы избежать жестокой битвы, исход коей весьма и весьма сомнителен?

Черные доспехи и красная мантия друг против друга. Шлем, увенчанный тремя белыми перьями, казалось, вопрошает мою красную шапку и пересчитывает втихомолку нашитые на ней шелковые кисточки. Наконец шлем утвердительно кивнул.

Проезжая все той же дорогой, где проходил утром Эсташ, я успел, однако, заметить тесные ряды английских лучников за палисадом из кольев, которые они вбили в землю; и вот я вновь стою перед королем Иоанном. Я прервал, очевидно, уже давно начавшийся разговор, и по некоторым обращенным ко мне взглядам я догадался, что не все тут поминали меня добром. Поджарый Протоиерей стоял, переминаясь с ноги на ногу, и насмешливо поглядывал в мою сторону из-под своей монтобанской шляпы.

— Сир, я видел англичан, — начал я. — Вам

незачем торопиться, незачем немедленно идти в бой, и вы ровно ничего не потеряете, если отдохнете здесь немного. Ибо с тех позиций, какие они сейчас заняли, им не убежать от вас, не скрыться. Воистину я считаю, что вы могли бы взять их без боя. Посему молю вас, соблаговолите дать им отсрочку до рассвета завтрашнего дня.

Без боя… Я заметил, как при этих словах насупились граф Иоанн Артуа, Дуглас и даже сам Танкарвилль и сердито тряхнули загривками. Им-то как раз и мечталось идти в бой. Но я твердил свое:

— Сир, ежели вам угодно, не делайте никаких уступок вашему врагу, но уступите день сей Господу Богу.

Коннетабль и маршал Клермон поддержали мое предложение об отсрочке…

— Подождем и сначала узнаем, что предложит нам англичанин и что можем потребовать у него мы сами, — ведь мы ничем не рискуем…

Зато маршал д'Одрегем — о, только лишь потому, что Клермон был одного мнения со мной, — тут же из чистого упрямства начал отстаивать противоположное и проговорил достаточно громко, чтобы слышал я:

— Пришли мы сюда, чтобы воевать или чтобы

слушать проповеди?

А Эсташ де Рибмон, коль скоро его план боя был одобрен самим королем и ему не терпелось посмотреть, как все это получится на деле, подбивал всех на немедленные действия.

И вдруг Шово, граф-епископ Шалонский, носивший шлем в форме митры, выкрашенный в лиловый цвет, заволновался и вспылил:

— Разве долг Святой церкви, мессир кардинал, состоит в том, чтобы дать спокойно уйти грабителям и клятвопреступникам… и не покарать их за это?

Тут уж рассердился я:

— А разве долг служителя Святой церкви, мессир епископ, состоит в том, чтобы отказывать Господу в перемирии, коль скоро Он того желает? Соблаговолите выслушать, если вам это еще неизвестно, что я наделен полномочием лишать права отправлять мессы, а также лишать права на получение всех бенефиций любого священнослужителя, который препятствует моим деяниям в пользу мира. Провидение, мессир, карает гордецов. Так что не лишайте короля чести выказать свое величие, если он того пожелает… Сир, все в ваших руках, вы орудие Божие, с помощью коего Он являет волю свою.

Комплимент достиг цели. Несколько минут король еще старался увильнуть от прямого ответа, но я продолжал стоять твердо, приправляя речи свои лестью, огромной, как Альпы. Ни один, мол, государь со времен Людовика Святого не давал еще людям столь высокого примера, каковой он может дать сейчас. Весь христианский мир пребудет в восхищении от сего доблестного поступка и отныне будет взывать только к мудрости короля Франции при разрешении любых споров или просить помощи, ибо велика его мощь.

— Велите раскинуть мой шатер, — приказал король пажам. — Будь по-вашему, монсеньор кардинал. Я не двинусь с места до восхода солнца из любви к вам.

— Из любви к Богу, сир, только из любви к Богу!

И я уехал. Шесть раз в течение дня я носился взад и вперед из одного лагеря в другой, склоняя одного принять условия соглашения, а потом мчался обратно и излагал их второму; и всякий раз, проезжая мимо стоявших рядами валлийских лучников, одетых наполовину в белое, наполовину в зеленое одеяние, я думал: а что, если один из них, а то и несколько по недоразумению осыплют меня градом стрел, хорош же я буду?!

Король Иоанн, желая убить время, играл в зернь в своем шатре из алого сукна. Расположившееся вокруг войско ломало себе голову: будет битва или битвы не будет?! И об этом шли отчаянные споры даже при самом короле. Спорили мудрецы, спорили самохвалы, спорили трусы, спорили недовольные… Каждый считал себя вправе высказать свое собственное мнение. Откровенно говоря, король Иоанн и сам еще ничего твердо не решил. Не верю, чтобы он хоть на минуту задумался, помыслив об общем благе. Для него все сводилось к личной его славе, которую он почему-то считал благом народным. После многочисленных неудач и поражений что может больше вознести в глазах людей его королевскую персону? Победа, добытая в бою, или же победа, достигнутая после переговоров? Ибо ни самому королю, ни его советникам даже на миг не приходила мысль о возможном поражении.

А ведь после каждой скачки туда и обратно я привозил предложения, весьма и весьма достойные внимания. После первого моего посещения принц Уэльский согласился отдать всю добычу, захваченную им во время своих набегов, а также и всех пленных, не требуя за них выкупа. После второй моей поездки он принял предложение

очистить все завоеванные им земли и замки и считать недействительными все принесенные ему вассальные присяги и все заключенные им союзы. После третьей поездки речь уже пошла о возмещении в золоте не только за все разрушенное им в течение лета, но также и за земли Лангедока, где он бесчинствовал в прошлом году. Таким образом, оба похода принца Уэльского не принесли ему ровно ничего.

Требовал ли король Иоанн большего? А как же! Я добился от принца согласия вывести все свои гарнизоны, расположенные за рубежом Аквитании… Это был успех первостатейной важности… а также добился обязательства никогда в будущем не заключать договоров ни с графом де Фуа — кстати, Феб присоединился к королевскому войску, но я его ни разу не видел, он старался держаться в стороне, подальше от короля, — также ни с кем из родичей короля; другими словами, это прямо означало — с Наваррскими. Принц Уэльский уступал и уступал, уступил даже больше, чем я надеялся. И однако, я догадывался: в глубине души он не верит, что дело обойдется без битвы.

Перемирие не запрещает трудиться на войну. Поэтому-то англичане целый день укрепляли

свои позиции. Лучники врыли второй ряд заостренных кольев по обеим сторонам дороги, так что получился настоящий защитный палисад. Рубили деревья и клали их поперек дороги, по которой, по их расчетам, двинется неприятель. Граф Саффолк, маршал английского войска, устроил смотр всем воинским частям. Графы Уорик и Солсбери, сир д'Одлей присутствовали при наших переговорах и провожали меня через лагерь, когда я отправлялся обратно.

Солнце уже клонилось к закату, когда я привез королю Иоанну последнее предложение, каковое сам и выдвинул. Принц готов принести клятву и подписать договор, по коему он в течение семи лет не будет вооружаться и не предпримет враждебных действий против французского королевства. Итак, мы были на пороге прочного мира.

— Знаю я этих англичан, — сказал епископ Шово, — клянутся, а потом не держат слова.

На это я возразил, что англичанам будет нелегко отречься от обязательства, данного папскому легату; ведь я сам буду подписывать соглашение.

— Я дам вам ответ на заре, — сказал король.

И я уехал в аббатство Мопертюи, где останавливался на ночлег. Никогда еще в течение одного

дня мне не приходилось столько скакать верхом и столько спорить. Как ни был я разбит усталостью, я все же хорошенько помолился от всего сердца. Как только забрезжила заря, меня разбудили. Еще не заиграли первые лучи солнца, когда я вновь очутился перед шатром короля Иоанна. На заре, сказал мне он. Нельзя было быть точнее, чем я. Но вот что меня неприятно поразило: все французское воинство, превращенное в пехоту, было построено в боевом порядке, кроме трехсот всадников, назначенных для штурма, и ждало только сигнала к атаке.

— Монсеньор кардинал, — без лишних слов начал король, — я откажусь от штурма лишь при том условии, если принц Уэльский и сто его рыцарей, которых выберу лично я сам, будут заточены в мою темницу.

— Сир, ваше требование чересчур велико и противоречит чести. А главное, все наши вчерашние переговоры после этого ничего не стоят. Я достаточно близко узнал принца Уэльского и уверен, что он даже выслушать меня не пожелает. Не такой он человек, чтобы сдаться без боя и предать в ваши руки себя и цвет английского рыцарства, хотя бы нынешний день и стал последним его днем. Разве поступили бы вы так, вы

или кто-нибудь из ваших рыцарей Звезды, будь вы на его месте?

— Конечно нет!

— В таком случае, сир, по-моему, бессмысленно было мне добиваться таких огромных уступок лишь для того, чтобы их отвергли.

— Монсеньор кардинал, я признателен вам за вашу службу, но солнце уже встало… Соблаговолите удалиться с поля!

А там, за спиной короля, они переглядывались сквозь прорези забрал, и обменивались улыбками, и подмигивали друг другу — епископ Шово, Иоанн Артуа, Дуглас, Эсташ де Рибмон, и даже д'Одрегем, и, уж конечно, Протоиерей — все, казалось, были счастливы, что провалилась миссия папского легата, коль скоро они наголову разобьют англичан.

С минуту я колебался, так как гнев затуманил мой разум, и чуть было не воспользовался данной мне властью отлучать от церкви. Но зачем? И чему это поможет? Французы все равно пойдут в бой, и я выиграю лишь то, что все воочию убедятся в слабости церкви. Поэтому я сказал только:

— Бог рассудит, сир, кто из вас двоих покажет себя лучшим христианином.

И последний раз я поскакал к рощице. Я был

вне себя от ярости. «Да пусть они подыхают, все эти безумцы! — твердил я, погоняя коня. — Господу не придется отделять зерно от плевел, всем им равно гореть в преисподней…»

Добравшись до принца Уэльского, я сказал ему:

— Сын мой, делайте все, что сможете; придется вам принять бой. Я не сумел добиться мирного соглашения с королем Франции…

— Сражаться — таково и наше намерение, — ответил мне принц. — Да поможет нам Бог!

Отсюда я, чувствуя в душе горечь и досаду, отправился прямо в Пуатье. И надо сказать, подходящее время выбрал мой племянник Дюраццо, чтобы обратиться ко мне со словами:

— Прошу вас освободить меня от службы при вас, дядюшка. Я хочу идти сражаться.

— На чьей стороне? — крикнул я.

— Конечно на французской.

— А по-твоему, их еще недостаточно много?

— Поймите, дядя, что скоро начнется бой и недостойно рыцаря не принять в нем участия. И мессир Эредиа просит вас о том же…

Мне бы отчитать его построже, сказать ему, что он назначен Святым престолом сопровождать меня в моей миссии миротворца и то, что он счи-

тает делом чести, может, напротив, обернуться нарушением его прямого долга — я имею в виду участие в бою с той или с другой стороны. Мне бы просто приказать ему остаться… Но я устал, я был озлоблен. И в душе я его отчасти понимал. Мне бы тоже хотелось взять копье и сразить сам не знаю кого, ну, хоть епископа Шово…

И тут я крикнул:

— Идите вы оба к дьяволу! Добром это не кончится!

Вот какие слова, последние слова, я крикнул моему племяннику Роберу. И до сих пор упрекаю себя за это, сурово упрекаю!

Глава VII
Десница Божия

Трудно, очень трудно описывать битву, не только когда сам там не был, но даже когда участвовал в ней лично. Особенно если получается такая неразбериха, как в битве при Мопертюи… Мне о ней рассказывали через несколько часов после того, как бой закончился, но рассказывали чуть ли не на двадцать различных ладов, ибо каждый видел ее только своими глазами, и главным для рассказчика было то, что делал именно

он. Если послушать, скажем, тех, кого разбили, то произошло это лишь по вине тех, кто дрался с ними рядом, а те, что дрались рядом, утверждали обратное.

Единственное, что не подлежало сомнению, — это то, что после моего отъезда из французского лагеря оба маршала, по обыкновению, сцепились. Коннетабль, герцог Афинский, осведомившись у короля, не угодно ли будет тому выслушать его мнение, начал приблизительно в таких выражениях:

— Сир, ежели вы и впрямь хотите, чтобы англичане сдались на вашу милость, почему бы не подождать, когда у них истощится провиант? Ибо позиция их сильна, но они не смогут долго продержаться, будучи слабы телом. Их окружили со всех сторон, и, если они попытаются выбраться через единственный оставшийся у них проход, через который мы можем на них напасть, мы разобьем их без труда. Раз мы уж прождали один день, почему бы нам не прождать еще один или два, тем паче что с каждым часом наши силы растут, так как подтягиваются отставшие.

И маршал Клермон поддержал его:

— Коннетабль правильно говорит. Подождав немного, мы выиграем все и ничего не проиг-

раем.

Вот тут-то и вспылил маршал д'Одрегем: откладывать, вечно все откладывать! Надо было еще вчера вечером с ними разделаться!

— А теперь кончится тем, что вы дадите им улизнуть, как то бывало уже не раз. Посмотрите, какая там у них идет возня. Они продвигаются ближе к нам, чтобы закрепиться ниже по склону, и таким образом подготовят себе лазейку для бегства. Можно подумать, Клермон, что вы не горите желанием вступить в бой и что вас смущает близость англичан.

Ссора маршалов так или иначе должна была произойти. Но нужно же было выбрать для нее столь неподходящий момент! Не такой человек был Клермон, чтобы снести подобные оскорбления. И он ловко, как при игре, отбил мяч.

— А вы, д'Одрегем, проявите нынче свою доблесть лишь в том случае, ежели упретесь мордой вашего коня в репицу моего!

Вслед за чем он собрал рыцарей, которых должен был вести на штурм, велел подсадить себя в седло и отдал приказ идти в атаку. Д'Одрегем тотчас же последовал его примеру, и, прежде чем король или коннетабль успели отдать команду, уже начался штурм. Но рыцари устремились

на врага не одновременно, как было решено заранее, а раздельно, двумя отдельными отрядами, причем со стороны могло показаться, будто обоим военачальникам не столько важно прорвать вражеские укрепления, сколько держаться подальше друг от друга или же, напротив, преследовать друг друга. Коннетабль в свою очередь велел подать ему копье и бросился за маршалами в надежде вернуть их.

Тут уж и король скомандовал всему своему войску идти в атаку. И все рыцари двинулись на неприятеля пешим строем, неуклюже передвигая ноги под грузом пятидесяти, а то и шестидесяти ливров железа, взваленного им на плечи, и медленно поползли по полю к склону холма, по которому взбирались всадники. И пройти-то им надо было всего шагов пятьсот…

А принц Уэльский, заметив сверху, что французы двинулись на них, крикнул:

— Добрые мои сеньоры, нас мало числом, но не страшитесь этого! Ни доблесть, ни победа не даются сами собой тому, кто превосходит другого числом, а приходят они к тому, кому восхочет послать ее Господь. Ежели нас разобьют, никто не посмеет сказать о нас худого, а ежели нынешний день будет к нам благосклонен, нас прославят во

всем мире!

Земля у подножия холма уже тряслась от топота множества ног; валлийские лучники, преклонив одно колено, выстроились за палисадом из заостренных кольев. И вот засвистели, запели стрелы…

Первым делом маршал Клермон решил атаковать части Солсбери и кинулся на палисад, надеясь пробить в нем брешь. Но град стрел остановил штурмующих. Оставшиеся в живых рассказывали мне потом, что такой ожесточенной стрельбы они еще никогда не видывали. Лошади, которых пощадили стрелы, напарывались на острые колья, за которыми укрывались валлийские лучники. А за последним палисадом французов поджидали ратники, вооруженные ножами и крючьями — грозным оружием, наподобие трезубца, которым захватывали всадника за кольчугу, а то и прямо за живое мясо и сбрасывали с седла… острием раздвигали у поверженного воина кольчугу в паху или под мышкой, а серповидным ножом раскраивали шлем… Маршала Клермона убили одним из первых, и почти никому из его отряда не удалось вклиниться в английские позиции. Все полегли на той дороге, идти по которой советовал Эсташ де Рибмон.

Вместо того чтобы поспешить на помощь Клермону, д'Одрегем с умыслом оторвался от него, желая обойти англичан со стороны Миоссона. Но тут он напоролся на войско графа Уорика, лучники которого уготовили ему ту же участь, что ратники Солсбери маршалу Клермону. Вскоре распространилась весть, что д'Одрегем ранен и взят в плен. А о герцоге Афинском вообще не было ни слуху ни духу. Он просто исчез во время рукопашной схватки. За несколько минут на глазах французов погибли трое их военачальников. Начало, что и говорить, малообнадеживающее. Но убито или отброшено назад было всего три сотни человек, а армия Иоанна насчитывала двадцать пять тысяч, и эти двадцать пять шаг за шагом продвигались вперед. Король взгромоздился на своего боевого коня и наподобие статуи возвышался над этим безбрежным морем доспехов, медленно текшим по дороге.

Но тут французам, как ни странно, преградил путь обратный поток. Уцелевшие после штурма рыцари маршала Клермона, откатываясь от смертоносных палисадов, не смогли сдержать лошадей, да и сами тоже от страха потеряли рассудок и врезались прямо в войско герцога Орлеанского, опрокидывая как пешек собственных

своих рыцарей, которым и так мучительно давался каждый шаг. О, конечно, они опрокинули не так уж много: человек тридцать — пятьдесят, но те, в свою очередь, падая, увлекали за собой следующих.

Так началась паника среди рыцарей герцога Орлеанского. Первые ряды, стараясь уклониться от напора, беспорядочно теснили задних, а эти задние не знали ни почему передние отступают, ни кто на них напал; и через несколько мгновений около шести тысяч человек обратились в бегство. Им непривычно было биться пешими, разве что на рыцарских потехах, один на один. А здесь, задыхаясь под тяжелыми доспехами, с трудом передвигая ноги, почти ничего не видя из-под спущенных забрал, они вообразили, что уже пришел их конец. И все бросились наутек, хотя враг был еще далеко. Удивительное все-таки дело — французское войско, отступающее под напором своих же французов!

Люди герцога Орлеанского, да и сам герцог, отдали таким образом территорию, на каковую противник вовсе и не покушался. Отступающие укрылись за армией короля, но большинство бежало, если можно было назвать это бегством, прямо к лошадям, которых держали под уздцы их

слуги, хотя никто и ничто не гнало этих гордых вояк, кроме страха, а страх они нагнали на себя сами.

Они велели подсадить себя на коней, думая лишь о том, как бы улепетнуть отсюда подобру-поздорову, кое-кто не успел даже как следует усесться в седло и так и скакал, мешком свесившись на один бок. И они исчезли где-то в полях… Скажите, Аршамбо, разве не приходит вам на ум, что все это десница Божия?.. И одни лишь маловеры, услышав эти слова, посмеют насмешливо улыбнуться.

Теперь выступила армия дофина с криком:

— Монжуа Сен-Дени!

И, не встречая откатывавшихся назад рыцарей, без помех продвигалась вперед. Первые ряды, чуть задохнувшиеся от непривычной ходьбы, уже вышли на дорогу меж двух палисадов, столь пагубную для маршала Клермона, то и дело натыкаясь на павших воинов и убитых лошадей. Их встретил тот же град стрел, выпущенных из-за палисада. Раздался стук скрещиваемых мечей, крики ярости и боли. Проход был слишком узок; лишь малая часть рыцарей вступила в бой с неприятелем; задние наседали на передних, но не могли стронуться с места. Жан де Ланда,

Вудене, сир Гишар, выполняя королевский приказ, держались поближе к дофину, чем только мешали ему действовать и командовать людьми, как, впрочем, и его младшим братьям, Пуатье и Берийскому. Да кроме того, в прорези забрала пеший видит перед собой лишь сотню кирас и не может объять взглядом все поле боя. С трудом дофин разглядел только где-то впереди свое знамя, которое нес рыцарь Тристан де Меньеле. Когда же рыцари графа Уорика, те самые, что захватили в плен маршала д'Одрегема, обрушились на фланг дофинова войска, было уже поздно перестраиваться и переходить в атаку.

И верх незадачи! Те самые англичане, что так охотно рубились пешими и прославились именно этим, увидев, что враг решил штурмовать их тоже в пешем строю, тут же вскочили на коней. И хотя число их было невелико, они смяли боевой порядок армии дофина, посеяв панику среди его людей, даже большую, чем среди людей герцога Орлеанского, которая, в сущности, началась сама собой без вмешательства англичан.

— Поберегитесь, поберегитесь! — со всех концов кричали троим сыновьям короля Иоанна.

Рыцари Уорика устремились вперед, желая захватить знамя дофина; дофин выронил из рук

свое укороченное копьецо и, так как его жали со всех сторон свои, лишь с трудом выхватил меч.

Не знаю уж, кто именно, Вудене или, возможно, Гишар, потянул принца за руку и прокричал ему в самое ухо:

— Следуйте за нами, вы обязаны отойти, ваше высочество!

Но не так-то легко было последовать этому совету. Дофин видел, как бедняга Тристан де Меньеле рухнул наземь, кровь хлестала из-под его латного нашейника, как из треснувшего горшка, на знамя с тканными гербами Нормандии и Дофине. И боюсь, что именно это зрелище повергло дофина в бегство. Ланда с Вудене проложили ему путь среди его собственных рядов. Оба его брата, которых торопил Сен-Венан, последовали за ним.

Нечего порицать дофина за то, что он выбрался из этого ада, и можно лишь похвалить тех, кто ему помог в этом. Ведь им поручили охранять и сопровождать его. Не могли же они, в самом деле, допустить, чтобы сыновья короля французского, и особенно старший сын, попали в руки неприятеля. Все это весьма похвально.

Похвально и то, что дофин добрался до лошадей, или же ему подвели лошадь, и что помогли ему, равно как и его боевым соратникам, сесть в

седло, раз их потеснила английская конница.

Но то, что дофин, даже не оглянувшись назад, понесся на полном галопе, покинув поле брани, как за минуту до того его дядя герцог Орлеанский, — вот это уж трудно будет впоследствии изобразить как поступок, не роняющий рыцарской чести. Для рыцарей Звезды нынешний день был явно неблагоприятным.

Сен-Венан, старый и преданный слуга короны, будет впоследствии утверждать, что это, мол, он решил удалить дофина с поля боя, увидев, что дела французов плохи, что наследник трона был поручен его заботам и что он любой ценой обязан был сохранить ему жизнь, что ему пришлось настаивать, даже приказать дофину удалиться; и будет он доказывать это даже самому дофину… славный Сен-Венан! У других языки, увы, оказались длиннее.

Люди дофина, видя, что тот удрал с поля боя, недолго думая, тоже разбежались и тоже вскочили на коней, крича, что отступает все войско.

Дофин проскакал больше лье. Тут Вудене, Ланда и Гишар, решив, что он уже в безопасности, объявили ему о своем намерении снова вернуться на поле боя. Дофин промолчал. Да и что мог он им сказать?

— Вы идете выполнять свой долг, а я, я остаюсь в стороне. Что же, примите мои поздравления, добрые пожелания.

Сен-Венан тоже пожелал вернуться на поле сражения. Но кому-то следовало остаться при дофине, и его заставили, как самого старшего и мудрого, не покидать наследника престола. Итак, Сен-Венан с небольшим эскортом, который, впрочем, рос с каждой минутой, так как к нему все время присоединялись обезумевшие от страха беглецы, проводил дофина и запер его в хорошо укрепленном замке Шовиньи. И здесь, как рассказывают люди, дофин с трудом стащил перчатку: так сильно отекла его полиловевшая рука. И многие видели, как он заплакал.

Глава VIII
В бой идет король

Стало быть, осталось лишь войско короля… Брюне, подлей нам еще немножко мозельского… Кто, кто? Протоиерей?.. Ах, тот, из Велина? Мы увидим его завтра, нет, это будет, пожалуй, рановато. Мы пробудем здесь три дня, потому что с этой погодой — ведь стоит настоящая весна — мы и так едем быстрее, чем предполагали. Смотрите-

ка, декабрь на дворе, а наливаются почки…

Да, король Иоанн остался на поле Мопертюи… Мопертюи… как это я раньше не заметил… Если часто и бездумно повторять имена собственные, как-то не чувствуешь их смысла. Мопертюи — потери… Надо было бы поостеречься и не ввязываться в бой, раз само название поля звучит столь зловеще.

Сначала король увидел, как беспорядочно отступали рыцари его брата Орлеанского, даже не вступив в схватку с неприятелем. Потом видел, как бежали разгромленные англичанами войска его старшего сына, хотя бой только-только начался. Безусловно, он был раздосадован, но решил, что ничто еще не потеряно. Его собственная армия превосходила численностью всех англичан, вместе взятых.

Будь он более искушенным полководцем, он, безусловно, понял бы все размеры опасности и тут же изменил бы свой план атаки. Но король Иоанн мешкал и мешкал и тем самым дал врагу возможность повторить против него тот самый маневр, который им так блестяще удался. Они обрушились на королевское войско, держа копья наперевес, и прорвали его ряды.

Бедный, бедный Иоанн II! Его отец, король Фи-

липп, был разбит при Креси лишь потому, что бросил свою конницу против английской пехоты, а он, Иоанн, потерпел поражение при Пуатье лишь потому, что поступил наоборот.

«Ну что можно поделать, когда перед тобой бесчестный враг, который всякий раз выбирает иной род оружия, чем ты, и ведет бой по-иному?» Вот что он мне говорил потом, когда мы с ним вновь увиделись. Он повел на неприятеля пехоту, и англичане, будь они благородными людьми, обязаны были поступить точно так же. О, тут наш Иоанн не исключение! Сколько государей сваливают свое поражение на противника, который не пожелал-де соблюдать правил навязанной ему игры!

И он сказал мне еще, что великий гнев, охвативший его при виде коварства англичан, удесятерил его мощь. Он не чувствовал даже тяжести доспехов. Его железная палица переломилась надвое, та самая палица, которая сразила десятки неприятельских солдат. Впрочем, он предпочитал именно оглушать людей, а не перерубать их пополам. Но коль скоро у него осталась лишь обоюдоострая боевая секира, он размахивал ею, крутил над головой, обрушивая на врага. Казалось, какой-то обезумевший дровосек крушит

стальной лес. Никогда еще люди не видели столь лютого бойца. Он ничего не чувствовал: ни усталости, ни страха, одну лишь ярость, ослеплявшую его сильнее, нежели кровь, которая текла из рассеченной левой брови.

А ведь только что он был так уверен в победе; она была, что называется, в его руках! И вдруг все разом рухнуло. Из-за чего, из-за кого? Из-за Клермона, из-за д'Одрегема — из-за обоих его непокорных маршалов, бросившихся в бой слишком рано, из-за этого старого осла коннетабля! Да пусть сдохнут все подряд! Тут он мог быть спокоен, наш добрый король: хоть это его желание сбылось. Герцог Афинский тоже был мертв, его тело вскоре обнаружат под кустом, пронзенное копьем и затоптанное конскими копытами. Маршал Клермон был мертв, в него впилось столько стрел, что труп его напоминал распущенный павлиний хвост. Д'Одрегема, у которого была рассечена ляжка, взяли в плен.

Ярость и гнев. Все было потеряно, но король Иоанн думал лишь об одном — убивать, убивать, убивать всех, кто попадется под руку! А потом — будь что будет, пусть разорвется сердце и наступит смерть! Его голубой плащ с вышитыми на нем лилиями Франции превратился в лохмотья.

Он видел, как упала его орифламма, которую храбрый Жоффруа де Шарни крепко прижимал к груди; на него напало пятеро англичан; какой-то валлийский лучник или ирландский виллан, вооруженный плохоньким ножом, каким орудуют мясники, уволок с собой священное знамя Франции.

Король скликал своих:

— Ко мне, Артуа! Ко мне, Бурбон!

Ведь только-только они были рядом. Конечно были! Но сейчас сын графа Робера, наветчик, погубивший короля Наварры, гигант, дурачок… «мой кузен Иоанн, мой кузен Иоанн…» был захвачен англичанами, и брат его Карл Артуа тоже, и отец супруги дофина, его высочество Бурбон тоже.

— Ко мне, Реньо! Ко мне, епископ! Молись, пусть услышит тебя Господь!

Но если Реньо Шово и беседовал сейчас с Господом Богом, то беседовал лицом к лицу: труп епископа Шалонского лежал где-то неподалеку, и под железной его митрой навеки закрылись глаза. Никто не отозвался на зов короля, и лишь один голос, ломающийся мальчишеский голос, крикнул:

— Берегитесь, отец, берегитесь! Опасность

справа, поберегитесь!

И только на миг вспыхнула в душе короля надежда, когда он увидел, что Ланда, Вудене и Гишар вновь появились на поле битвы и все трое верхом на конях. Значит, беглецы спохватились? А за ними вот-вот прискачут на полном галопе ему на подмогу войска принца!

— Где мои сыновья?

— В надежном месте, сир!

Ланда и Вудене бросились в атаку. Одни. Позже король узнал, что оба пали, были убиты, ибо, спасши принцев, они вернулись на поле брани, дабы никто не посмел обозвать их трусами. Один только сын, младший, любимец отца, остался при короле и все кричал ему:

— Слева, отец, берегитесь! Отец, отец, берегитесь, теперь опасность справа!

Но этот сын, скажем прямо, скорее мешал королю, чем помогал. Меч был слишком тяжел для ребячьих рук, чтобы служить грозным оружием, и иной раз королю Иоанну приходилось отстранять своей секирой этот бесполезный меч, чтобы отбиваться от нападающих. Но хоть один он не сбежал, его маленький Филипп!

Вдруг король Иоанн увидел, что его окружили человек двадцать ратников таким плотным коль-

цом, что ни один не мог даже взмахнуть копьем. И услышал крик:

— Это король, это король! Хватай короля!

И в этом страшном кольце хоть бы одна французская кольчуга! На тарчах и щитах гербы не Франции, а только английские или гасконские.

— Сдавайтесь, сдавайтесь, не то вам конец! — вопили они.

Но обезумевший король ничего не слышал и продолжал махать секирой. Узнав его, англичане чуть отступили: черт возьми, да они намерены взять его живьем! А он рассекал воздух справа, слева, особенно же справа, потому что левая бровь кровоточила и кровь застилала глаз.

— Отец, берегитесь!..

Вдруг король почувствовал удар в плечо. Тут какой-то огромный рыцарь протиснулся сквозь толпу, раздвинул своим грузным корпусом стальную стену, работая налокотниками, и вырос перед королем, который уже задыхался, рубя секирой воздух. Нет-нет, какой же это Иоанн Артуа? Я же вам сказал, что его взяли в плен. Звучным голосом рыцарь крикнул по-французски:

— Сир, сир, сдавайтесь!

Тогда король Иоанн перестал крушить пустоту, оглядел людей, державших его в кольце, и отве-

тил рыцарю:

— Кому я сдаюсь, кому? Где мой кузен принц Уэльский? Я с ним буду разговаривать!

— Сир, его здесь нет, но сдайтесь мне, и я провожу вас прямо к нему, — ответил гигант.

— А кто вы такой?

— Я Дени де Морбек, рыцарь, но вот уже пять лет я живу в английском королевстве, раз не могу жить в вашем.

Морбек, осужденный за человекоубийство и за то, что пошел войной на соседей, был братом того самого Жана де Морбека, который так хлопотал за наваррцев, принимая деятельное участие в подготовке соглашения между Филиппом д'Эврё и Эдуардом III. Ох, судьба, она любит перемешать карты и подбросить перцу в месиво бедствий, дабы стало оно еще горше.

— Сдаюсь вам, — сказал король.

И он бросил свою боевую секиру на траву, снял свою латную рукавицу и вручил ее гиганту-рыцарю. Потом, на мгновение застыв на месте, с залитым кровью глазом, он покорно подставил голову под рухнувший на него позор поражения.

Но вот уже снова вокруг него поднялся шум, его толкали, тащили куда-то, жали; на него навалились, так что он чуть не задохнулся, грубо трясли.

Двадцать молодчиков кричали хором:

— Я его схватил! Нет я, это я его схватил!

И, заглушая остальных, орал какой-то гасконец:

— Он мой! Я первый на него напал. А вы, Морбек, явились, когда дело уже было сделано!

На что Морбек отвечал:

— Чего это вы вопите, Труа? Ведь он сдался мне, а не вам.

И все потому, что взять в плен короля Франции — это выгодно, ох как выгодно: тебе и почет, тебе и деньги! И каждый старался уцепиться за короля, доказывая тем свое на него право. Бертран де Труа схватил его за руку; кто-то схватил за шиворот, так что король в тяжелых доспехах рухнул на землю. Они его чуть было на куски не разорвали.

— Сеньоры, сеньоры! — кричал король. — Соблаговолите отвести меня со всей учтивостью, а также и моего сына к принцу, моему кузену. И не деритесь из-за того, кто взял меня в плен. Я достаточно могуществен, чтобы озолотить всех вас…

Но они не слушали его. Они по-прежнему вопили:

— Это я его схватил! Нет, он мой!

И они, эти рыцари, эти спесивые горлопаны, затеяли между собой драку, угрожающе нацелив

на соперника железные свои когти, — грызлись между собой за короля, как псы грызутся за кость.

А теперь посмотрим, что поделывает принц Уэльский. Добрый его военачальник Джон Чандос прискакал к нему, и оба стояли на пригорке, откуда открывалось почти все поле боя. Их кони с окровавленными ноздрями были все в пене, и с удил стекали струйки слюны. Они и сами еле переводили дух. «Мы слышали, и я, и он, как оба мы жадно заглатывали воздух…» — рассказывал мне потом Чандос. По лицу принца бежал пот, и стальная сетка, прикрепленная к шлему и закрывавшая лицо и плечи, мерно вздымалась при каждом вздохе.

Перед ними, куда ни кинь взгляд, повсюду развороченные палисады, примятые кусты, вытоптанные виноградники. Повсюду тела убитых людей и лошадиные трупы. Там никак не желающая издыхать лошадь била в воздухе копытами; здесь полз по земле воин в доспехах. А чуть дальше трое оруженосцев несут к подножию дерева умирающего рыцаря. И повсюду валлийские лучники и ирландские ратники обшаривали трупы. Издалека еще доносился порой звон мечей; там еще шел бой. Английские рыцари спустились в

долину и окружили кольцом остатки французского войска, пытавшегося прорваться.

Первым заговорил Чандос:

— Благодарение Богу, нынешний день — ваш день, ваше высочество!

— Верно, по воле Божьей, это так. Мы взяли верх! — ответил ему принц.

И Чандос продолжал:

— По-моему, лучше остаться вам здесь и разместить ваше личное войско возле вон того кустарника, на вершине холма. Тогда к вам стекутся все ваши люди, рассыпавшиеся по долине. Да и вам там будет прохладнее, потому что смотрите, как вы разгорячились. А преследовать нам больше некого.

— Таково и мое мнение, — подтвердил принц.

И пока стяг с вышитыми на нем львами и лилиями водружали в кустах и трубили, трубили трубачи, играя сбор, принц Эдуард снял свой шлем, тряхнул белокурыми кудрями, утер мокрые усы.

Ну и денек! Признаем же, что принц не щадил нынче живота своего, скакал без устали по дороге, чтобы его видело все его войско; подбадривал своих лучников, увещевал своих рыцарей, решал, куда послать подкрепления… Ну конеч-

но, в основном-то решали его маршалы, Уорик и Саффолк, но принц всегда был рядом и успевал бросить им из седла: «Хорошо, хорошо, вы действуете правильно…» Откровенно говоря, он лично принял лишь одно решение, зато самое важное, и благодаря этому решению слава сегодняшнего дня по праву принадлежала ему. Когда он увидел, что войско герцога Орлеанского отходит в беспорядке, под напором собственной же отступающей конницы, он тут же велел посадить в седло своих людей, чтобы уже самому проделать тот же маневр, когда подойдут войска герцога Нормандского. Сам он бросался в схватку раз десять. Людям казалось, будто он воистину вездесущ. И каждый, подъезжая после боя к принцу, повторял ему это:

— Ныне ваш день, день вашей славы… Эту великую дату сохранит память людская. Ныне ваш день, вы свершили чудо!

Дворяне из его личной охраны и придворная челядь торопились разбить ему шатер, и они подогнали повозку, укрытую в надежном месте, где было приготовлено все для трапезы: сиденья, столы, куверты, вина.

А принц все не мог решиться сойти с коня, словно победа еще не была одержана.

— Где же король Франции? — вопрошал он своих оруженосцев. — Видел его кто-нибудь или нет?

Он был словно во хмелю после ратных трудов. И гонял коня по всему пригорку, готовый вступить в решающую последнюю схватку.

И вдруг он заметил среди вересковых зарослей неподвижно лежащего воина в кирасе. Рыцарь был мертв; все оруженосцы покинули его, кроме одного, раненого старика слуги, забившегося в густой кустарник. А рядом с рыцарем лежало его знамя: на пурпуровом поле гербы Франции. Принц приказал снять с убитого шлем. Да-да, Аршамбо… вы угадали, это был мой племянник. Это был Робер Дюраццо.

Я не стыжусь этих слез… Конечно, повинуясь лишь голосу собственной чести, он совершил то, что честь церкви, да и моя тоже, должна была бы ему запретить. Но я его понимаю. И к тому же он был храбрец… И не проходит дня, чтобы я не молил Господа отпустить ему это невольное прегрешение.

Принц приказал своим оруженосцам: «Положите рыцаря на щит, отнесите его в Пуатье, передайте от моего имени тело его кардиналу Перигорскому и передайте также ему мой поклон!»

Вот как я узнал, да-да, что англичане одержали победу. И подумать только, еще нынче утром принц Уэльский готов был подписать мирное соглашение, отдать всю свою военную добычу и в течение семи лет не поднимать против Франции оружия! Когда мы с ним на следующий день увиделись в Пуатье, он не преминул меня за это упрекнуть, да еще как упрекнуть. Он выложил все начистоту. Что я, мол, хотел сыграть на руку французам, что я обманул его, преувеличив их силу, что я, мол, бросил на чашу весов авторитет Святой церкви, лишь бы склонить его к перемирию. На что я мог ответить ему лишь одно: «Мой добрый принц, из любви к Богу вы истощили все средства, дабы сохранить мир. И воля Божья свершилась!» Вот что я ему сказал.

Но тут на пригорке появились Уорик с Саффолком, а с ними и лорд Гобхэм.

— Известно вам что-нибудь о короле Иоанне? — спросил их принц.

— Нет, во всяком случае, мы ничего не видели, но мы почти уверены, что он либо погиб, либо взят в плен, так как при королевском войске его нет.

Тут принц обратился к ним:

— Прошу вас, поезжайте не мешкая и обскачите

поле боя. Я хочу знать всю правду. Найдите мне короля Иоанна!

Англичане разбрелись, рассыпались чуть ли не на два лье в окружности; тут шла охота за каждым человеком, его преследовали с обнаженными мечами, которые изредка со стуком скрещивались. Теперь, когда день оказался победным днем, каждый преследовал врага ради личной своей выгоды. Еще бы! Все, во что облачен захваченный рыцарь, принадлежит его победителю: и оружие, и доспехи, и драгоценности. А ведь бароны короля Иоанна любили щегольнуть золотом. Многие надевали даже золотые пояса. И это не говоря уже о выкупе, о сумме коего будет еще вестись долгая торговля, и в конце концов сумму назначат в соответствии с положением и рангом пленника. Французы народ чванливый, и пускай поэтому сами определяют, сколько за них следует уплатить. Так что можно смело положиться на их тщеславие. Стало быть, каждому свое везение! Те, кому посчастливилось схватить такого, как Иоанн Артуа, или граф Вандомский, или граф Танкарвиль, с полным основанием мечтали о постройке нового замка. Те, которые взяли в плен какого-нибудь незначительного дворянина, имеющего право распускать знамя,

или просто пажа накануне посвящения в рыцари, смогут только обновить у себя в зале обстановку или подарить своей даме несколько платьев. И, кроме того, принц за беззаветную отвагу в бою наградит смельчака.

— Наши люди гнали разбитых до самых ворот Пуатье, — объявил Жан де Грайи из Бюша.

Один из его рыцарей, вернувшись из-под стен Пуатье с богатой добычей — он раздел всего лишь четырех французов просто потому, что больше не мог с собой увезти, — рассказал, что там скопилось множество людей, ибо жители Пуатье наглухо заперли ворота, и перед ними прямо на дороге шло жестокое побоище. А теперь французы сдаются в плен, еще только завидев издали англичанина. Самые обычные лучники и те взяли в плен по пять, по шесть человек. Никогда еще никто не слыхивал о таком разгроме.

— Король Иоанн тоже там? — спросил принц.

— Разумеется, нет, мне бы доложили.

И тут у подножия холма показались Уорик с Гобхэмом; они шли пешком, ведя под уздцы своих коней, стараясь угомонить сопровождавших их людей — человек двадцать рыцарей и оруженосцев. А они, эти двадцать, размахивая руками, стараясь, видимо, воспроизвести в лицах

недавнюю схватку, орали, перебивали друг друга по-английски, по-французски, по-гасконски. Перед ними шагал, еле волоча ноги, спотыкаясь на каждом шагу, смертельно усталый человек и голой рукой держал за латную рукавицу ребенка в полных боевых доспехах. Отец и сын шли бок о бок, и на груди у каждого красовались лилии на превратившихся в лохмотья шелковых плащах.

— Назад, не смейте приближаться к королю, ежели это ему не требуется! — кричал Уорик спорщикам.

И тут только Эдуард Уэльский, принц Аквитанский, герцог Корнуэльский понял, осознал, объял всю необъятность своей победы: король, король Иоанн, владыка самого крупного и самого могущественного королевства во всей Европе… Мужчина и ребенок медленно приближались к нему… Ах, этот миг, коему суждено навеки запечатлеться в памяти людской!.. Принцу почудилось, будто весь мир смотрит сейчас на него.

Он сделал знак своим дворянам, чтобы те помогли ему сойти с коня. Тут только почувствовал он, как одеревенели поясница и ляжки.

Он стал у входа в свой шатер. Катившееся к западу солнце пронзало всю рощицу золотом своих лучей. Они, все эти люди, были бы от души

удивлены, если бы им сказали, что час вечерни уже прошел.

Эдуард протянул обе руки, как бы желая схватить дар, который подносили ему Уорик и Гобхэм, дар самого Провидения. Король Франции, хоть и согбенный грузом переменчивой судьбы, был ростом выше принца. Он ответил своему победителю тем же жестом. И обе его руки, одна голая, вторая в латной рукавице, протянулись к принцу. Так они и простояли с секунду, не обменявшись крепким рукопожатием, а только приложив ладонь к ладони. И тут Эдуард чуть было не растрогал до слез всех своих рыцарей. Он был сын короля, а его пленником был сам король, короновавшийся в Реймсе. Тогда, по-прежнему не выпуская рук Иоанна, Эдуард низко склонил голову и даже сделал вид, что хочет преклонить одно колено. Почет незадачливой доблести… Все, что возвеличивает того, кто побежден нами, возвеличивает и нашу победу. И у этих закаленных в бою людей перехватило дыхание.

— Присядьте, сир, мой кузен, — сказал Эдуард, приглашая короля Иоанна войти в его шатер. — Разрешите мне подать вам вина и пряностей. И не взыщите, что ужин будет более чем скромный. Сейчас мы сядем за стол.

Ибо слуги суетились на пригорке, натягивая навес. Придворная челядь принца прекрасно знала свои обязанности. А у поваров всегда припасены про запас паштеты и мясо. Если чего не хватит, пошарим в кладовых у монахов Мопертюи. Принц сказал еще:

— Ваши родичи и бароны будут счастливы присоединиться к вам. Сейчас велю их кликнуть. И разрешите перевязать вашу рану на лбу, свидетельство великой вашей отваги.

Глава IX
Ужин у принца

Я рассказываю вам обо всем этом и невольно думаю о судьбах народов, обо всем, что еще может произойти… о том, что сулит нам неслыханные перемены, великий поворот в делах государственных… и рассказываю именно в Вердене… Почему? Да потому, что то, что можно сейчас именовать французским государством, началось с договора, подписанного вот тут, после битвы при Фонтенуа… в то время говорили Фонтанетум… Вы сами отлично знаете, откуда мы пошли… с договора между тремя сыновьями Людовика Благочестивого. Доля, доставшаяся Карлу Лысому,

была выкроена весьма скудно, притом никто не заботился о том, какие земли отходят новому королю. Альпы, Рейн должны были стать естественными рубежами Франции, и то, что Верден и Мец отошли к Империи, лишено здравого смысла. А что готовит Франции завтрашний день? Как будут ее перекраивать? Быть может, никакой Франции вообще не будет лет через десять — двадцать; многие уже серьезно задают себе этот вопрос. На их глазах англичане отхватили огромный кусок, другой кусок — наваррцы, он тянется от моря до моря вместе с Лангедоком, и королевство Арльское снова попало в ленную зависимость Империи, да еще Бургундия к тому же… Каждому лестно урвать кусок от того, что слабо.

Ежели вы хотите знать мое мнение, то я в это не верю, ибо церковь, пока я жив и живы люди, думающие так же, как и я, ни за что на свете не разрешит подобного четвертования. И к тому же в народе еще свежа память о Франции как о единой и великой державе. Французы скоро поймут, что они ничто, если распадется королевство, если они не объединятся в единое государство. Но придется не раз преодолевать тяжелый и опасный брод. Быть может, вам самому еще предстоит не

раз ломать голову над мучительным выбором. И всегда, Аршамбо, выбирайте королевство, даже если правит им дурной король… ибо короли смертны, или их можно низложить, или могут они попасть в плен, а государство остается.

Величие Франции, оно проявилось в вечер битвы при Пуатье, хотя бы в том уважении, которое победитель, еще не опомнившийся после негаданного поворота судьбы и почти не веря в свою удачу, выказывал в отношении побежденного. Странное это было застолье, сразу же после битвы в самой гуще леса Пуату, среди красных суконных полотнищ шатра. На почетном месте, ярко освещенные огоньками свечей, восседали король Франции, сын его Филипп, его высочество Жак Бурбон, ставший уже герцогом, ибо отец его пал во время боя; граф Иоанн Артуа, графы Танкарвиль, д'Этамп, де Даммартэн, а также сиры де Жуанвиль и де Партэне, перед которыми поставили серебряные приборы; а за соседними столами, между английскими и гасконскими рыцарями, расселась французская знать, самые могущественные и богатые пленники.

Принц Уэльский делал вид, что привстает с места, самолично угощая короля Франции, и то и дело подливал ему вина.

— Кушайте, дорогой сир, прошу вас. Не жалейте о том, что произошло. Ибо, ежели Бог не выполнил вашего желания, ежели дело худо обернулось для вас, вы завоевали нынче высокую славу храбреца, и высокие ваши деяния превзошли все, что было великого до сей поры. Нет сомнения, что его величество, мой отец, выкажет вам полагающийся по вашему сану почет и договорится с вами на столь разумных условиях, что вы станете добрыми друзьями. Ведь и впрямь каждый здесь отдает должное вашему мужеству, ибо мужеством вы превзошли всех.

Тон беседы был задан. Король Иоанн свободно вздохнул. Сверкая правым ярко-голубым глазом, потому что левый закрывала повязка, обхватывающая низкий его лоб, он отвечал на любезные речи хозяина. Король-рыцарь — вот каким важно было ему показать себя в час поражения. Голоса за соседними столами становились громче. После ожесточенных ударов копий или секир сеньоры двух враждующих лагерей старались превзойти один другого в преувеличенных похвалах.

Вслух обсуждались все перипетии боя. Без устали возносили хвалы отваге юного принца Филиппа, а он, отяжелев от еды, после столь многотрудного дня сонно покачивался на сиденье и

уже задремывал.

Тут начали подводить счеты. Кроме знатных вельмож, герцогов, графов и виконтов, коих насчитывалось двадцать, теперь уже можно было с уверенностью сказать, что среди пленников находится более шестидесяти баронов и дворян, имеющих право распускать свое знамя; а простых рыцарей, оруженосцев и пажей, ждущих посвящения в рыцари, и не счесть. Одно верно — взято в плен более двух тысяч человек; точное их количество узнаем лишь завтра…

А погибшие? Надо считать, что столько же. Принц приказал, чтобы тела тех, которых успели подобрать, были бы на рассвете отнесены во францисканский монастырь Пуатье и чтобы во главе несли тела герцога Афинского, герцога Бурбонского, графа-епископа Шалонского, дабы предать их земле со всей подобающей им пышностью и церемониями. Ну и процессия! Никогда еще святая обитель не видела столько знатных людей и никогда еще всего за один только день не собрала столько богатств. Какая удача выпадет на долю францисканцев, служащих мессу, какие дары! И столько же на долю доминиканцев!

Я вам уже говорил; пришлось разобрать неф и крытые внутренние галереи в обоих монасты-

рях, дабы и на верхнем, и на нижнем этажах захоронить прах всех этих Жоффруа де Шарни, Рошешуаров, Эсташ де Рибмонов, Данс де Мелёнов, Жан де Монморийонов, Сегэнов де Клу, Лафайетов, Ларошдрагонов, Ларошфуко, Ларош Пьер до Бра, Оливье де Сен-Жоржей, Эмберов де Сен-Сатурненов… Я мог бы вам еще человек двадцать назвать.

— А никто не знает, что с Протоиереем? — спросил король.

Раненого Протоиерея взял в плен какой-то английский рыцарь. Какой выкуп положить за этого Протоиерея? Есть ли у него большой замок, земельные угодья? Без всякого стыда задавал эти вопросы победитель Протоиерея. Нет! У него в Велине маленький замок. Но раз король вспомнил о нем, значит цена ему будет выше.

— Я его выкуплю, — заявил Иоанн II, не зная еще, во сколько он сам обойдется Франции, но уже с прежними замашками государя, не ведающего счет деньгам.

На что принц Эдуард ответил:

— Из любви к вам, сир, кузен мой, я сам выкуплю Протоиерея и, если вы того желаете, верну ему свободу.

Шум голосов становился все громче. Вино и

мясо ударили в головы этим уставшим людям, у которых с утра ни крошки не было во рту и которые поэтому жадно навалились на еду. Сборище это напоминало одновременно и ужин при дворе после многочасового турнира, и сборище ярмарочных барышников.

Морбек и Бертран де Труа все еще спорили, кто из них первый пленил короля:

— Я, говорят же вам, я!

— А вот и нет, я уже схватил его, а вы меня оттолкнули…

— А кому он вручил свою латную рукавицу?

Кто бы ни взял в плен короля, все равно выкуп, и выкуп, понятно, огромный, достанется не этим сеньорам, а королю Англии. Пленный король — добыча короля. А если те двое и продолжали спорить, то лишь ради того, чтобы заручиться пенсионом, который король Эдуард не преминет назначить победителю. Так что оба уже подумывали, не выгоднее ли было бы, конечно, если не говорить о чести, захватить в плен какого-нибудь барона побогаче и мирно поделить между собой добычу? Ибо дележка уже началась: делили между собой ризы пленного разом два-три рыцаря. И обмен уже начался: «Отдайте мне сира де Ла Тур, я его хорошо знаю, он родственник доброй

моей супруги. А я вам уступлю Мовине, которого взял в плен. Вы на этом только выиграете — он сенешаль Турени…»

И тут король Иоанн вдруг прихлопнул ладонью по столешнице:

— Мои сиры, добрые мои сеньоры, я слышу все, что вы говорите между собой и что говорят те, которые пленили нас в честном рыцарском бою. Господь пожелал, чтобы мы были разбиты, но вы сами видите, с каким уважением принимают нас здесь. Поэтому мы не должны забывать о рыцарстве. Пусть ни один из вас не подумает бежать или нарушить данное слово, ибо я выставлю такого на общий позор.

Со стороны могло показаться, что он, этот незадачливый воин, распоряжается здесь как хозяин и наказывает своим баронам свято соблюдать все условия честного пленения.

Принц Уэльский, подлив королю сент-эмильонского вина, поблагодарил его за эти слова. А Иоанну II положительно нравился этот любезный молодой человек, такой внимательный, с такими прекрасными манерами. Королю Иоанну даже захотелось, чтобы собственные его сыновья походили на английского престолонаследника! И, не удержавшись, что, впрочем, было вполне

естественно после обильных возлияний и целодневной усталости, он спросил:

— А вы не знали Карла Испанского?

— Нет, дорогой сир, я только сражался с ним на море…

Он был действительно человек учтивый, этот принц, и не добавил: «Я тогда его разбил».

— Карл был моим лучшим другом, и вы напоминаете мне его и лицом, и статью. — И вдруг в голосе его зазвучали злобные нотки. — Только не просите меня, чтобы я освободил моего зятя Наваррского. Никогда я этого не сделаю, пусть меня даже лишат жизни.

Тогда, на поле боя, перед своим пленением король Иоанн был действительно велик, пусть всего на несколько коротких мгновений. Велик величием предельного бедствия. И вот он уже стал таким, каким был всегда: преувеличенное мнение о самом себе и соответственно этому царственные манеры и тон, отсутствие здравого смысла, пустяковые заботы, постыдные страсти, нелепые побуждения и упорная ненависть.

В какой-то мере пленение, пленение в золоченой клетке, ему было даже по душе, разумеется, пленение по королевскому рангу. Пути этого лжепобедительного владыки сошлись с путями

его судьбы, а судьба уготовила ему одни поражения. Кончились, пусть даже на время, все докуки правления, борьба против враждующих сил, раздиравших его королевство; не нужно томиться от скуки, отдавая приказы, которые все равно никто не исполняет. Теперь он в мирной заводи и может брать в свидетели Небеса, столь к нему неблагоприятные, рядиться в тогу своей незадачи и с притворно-скорбной миной достойно терпеть горькую судьбину, которая написана ему на роду. Пусть другие несут бремя управления этим строптивым народом! Посмотрим, удастся ли это им лучше, чем ему…

— Куда вы отвезете меня, мой кузен? — спросил он.

— В Бордо, дорогой сир, я предоставлю вам прекрасный отель, вы там не будете ни в чем терпеть нужды и можете устраивать празднества, чтобы развлечься, пока не договоритесь с моим отцом.

— А будет он рад пленному королю? — осведомился Иоанн II, боясь, как бы не пострадало его величие.

Ах, почему на рассвете нынешнего дня в Пуатье он не принял те условия, которые привез ему я от принца Уэльского? Ну где же видано, чтобы король, который поутру мог получить все,

не обнажив меча, мог установить свой закон на четвертой части своего государства, просто поставив свою подпись и скрепив своей печатью договор, который предлагал ему обложенный со всех сторон неприятель и подписать который он отказался… к вечеру попал в плен!

Просто «да» вместо «нет». Непоправимый шаг! Подобный шагу графа д'Аркура, поднявшегося по лестнице Руанского замка. Жан д'Аркур поплатился за этот шаг своей головой. А тут вся Франция на грани гибели.

Но самое несправедливое, самое удивительное, что этот нелепый король, с непостижимым упрямством сам делающий все себе во вред и не особенно-то любимый до Пуатье, вскоре стал — только потому, что потерпел поражение, — чуть ли не кумиром, достойным жалости и любви своего народа, части своего народа. Он, мол, Иоанн Добрый, он — Иоанн Храбрый…

И все это началось с ужина у принца Уэльского. Тогда как все они еще утром дружно попрекали этого короля, ввергнувшего их в беду, сейчас бароны и пленные рыцари вдруг стали превозносить его мужество, его великодушие и все такое прочее. Таким манером они, побежденные, могли жить с чистой совестью и гордой миной. А

когда они возвратятся домой, обескровив семьи, обескровив своих вилланов, внесших выкуп за сеньоров, огромный выкуп, уж поверьте мне, они будут еще чехвалиться: «Вы же не были, как был я, бок о бок с нашим королем Иоанном!» Ох и порасскажут же они про Пуатье…

В Шовиньи дофин, сидевший за невеселым ужином в обществе своих братьев, имея в своем распоряжении всего пяток слуг, узнал, что отец его жив, но попал в плен.

— Теперь править вам, ваше высочество, — сказал ему Сен-Венан.

Ни разу во все времена еще не бывало, во всяком случае поскольку знаю я, чтобы восемнадцатилетний принц брал в свои руки кормило власти при столь плачевных обстоятельствах. Отец в плену, после поражения поредели ряды знати; две неприятельские армии на территории страны, ибо Ланкастер все еще стоял лагерем на том берегу Луары; большинство провинций разорено; казна пуста; советники корыстолюбивы, враждуют между собой и ненавидят друг друга; зять в заточении, но сторонники его уже действуют, уже подняли голову; раздираемую страхом столицу подстрекает к смуте горстка тщеславных горожан… Добавьте к этому, что юный дофин был

хил здоровьем и что его поведение на поле боя вряд ли принесло ему славу храбреца.

В тот же вечер в Шовиньи он решил возвратиться как можно скорее в Париж. Но тут Сен-Венан спросил его:

— Как следует, ваше высочество, именовать вас тем, кто будет обращаться к вам?

На что дофин ответствовал:

— Именовать так, как положено, Сен-Венан, так, как указал мне Господь: главный наместник государства.

Воистину мудрые слова…

С тех пор прошло три месяца. Ничего еще окончательно не потеряно, но и непохоже, чтобы положение улучшилось. Наоборот. Франция разгромлена. А мы с вами через неделю или даже меньше будем уже в Меце, но, признаться откровенно, я не совсем понимаю, какой толк может из этого получиться, разве что для самого императора, и какое великое дело можно там решить, коли в переговорах будет участвовать наместник государства, а не сам король, и папский легат, но не сам папа?

Знаете, что мне только что сказали? Погода стоит такая мягкая и такая теплынь в Меце, где поджидают более трех тысяч правителей,

прелатов и сеньоров, что, если теплые дни еще продержатся, император устроит рождественский ужин на свежем воздухе, в крытом саду.

Обедать на Рождество в саду, да еще в Лотарингии, — это тоже вещь неслыханная!

«Проклятые короли»: Историко-биографическая справка

Государи представлены в этом списке под именем своего правления; остальные действующие лица — под своей фамилией или по названию своих главных владений. Здесь отсутствуют лишь некоторые эпизодические персонажи, о которых в исторических документах сохранились лишь краткие упоминания, касающиеся их поступков, благодаря которым они и появились в нашем повествовании.

Авен, Филиппа де, королева Англии (24 июня 1310 или 1315 — 15 августа 1369). Дочь Вильгельма Геннегау, графа Голландского и Зеландского, и Жанны Валуа. Повенчана 30 января 1328 г. с Эдуардом III, будущим королем Англии, от которого родила тринадцать детей. Выступала советницей короля и регентом в его отсутствие в 1346 г., была очень популярна в народе. Соперничество многочисленных потомков детей Эдуарда III и королевы Филиппы в XV в. привело к войне Алой и Белой розы.

Алансонский, Карл II Валуа, граф (1294 — 26 августа 1346). Второй сын Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской, брат Филиппа VI Валуа. Участник Столетней войны, убит в битве при Креси.

Альберти ди Прато, Никколо (1250 — 1 апреля 1321). Член ордена доминиканцев. Епископ Сполето, потом Остии (1303). Возведен в сан кардинала папой Бенедиктом XI в декабре 1303 г. Папский легат при Бонифации VIII во Флоренции, Ломбардии, Неаполе. Добивался примирения Филиппа IV Французского и Эдуарда I Английского. Участник конклава 1314–1316 гг. Умер в Авиньоне.

Андроник II Палеолог (25 марта 1259 — 13 февраля 1332). Император Константинопольский. Коронован в 1282 г. Свергнут с престола своим внуком Андроником III в 1328 г.

Анжу-Сицилийская, Маргарита, графиня де Валуа (1273 — 31 декабря 1299). Дочь Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской, сестра Людовика Святого Анжуйского. Первая супруга Карла де Валуа. Мать Филиппа VI Валуа, короля Франции.

Анжуйский, Людовик Святой (9 февраля 1274 — 19 августа 1297). Второй сын Карла II Анжуй-

ского Хромого и Марии Венгерской. Отказался от неаполитанского престола и постригся в монахи. Епископ Тулузский. Канонизирован при папе Иоанне XXII в 1317 г.

Аньер, Жан д'. Адвокат парижского парламента. Зачитал обвинение Ангеррану де Мариньи.

Аркур, Жан V д' (1320 — 5 апреля 1356), второй граф д'Аркур (1346). Вместе с дядей Жоффруа д'Аркуром участвовал в заговоре против короля Франции Иоанна II Доброго. Вместе с другими заговорщиками присутствовал в апреле 1356 г. на банкете в Руане, организованном королем Наварры Карлом II Злым для встречи с дофином Шарлем (будущим королем Франции Карлом V Мудрым). Во время встречи был арестован солдатами короля Иоанна II и казнен по обвинению в измене.

Аркур Жоффруа (Годфруа) д' (ум. ноябрь 1356). Французский военачальник. Сын Жана III Хромого, барона д'Аркура и виконта де Сен-Совер. Младший брат Жана IV д'Аркура. Вместе с племянником Жаном V д'Аркуром участвовал в заговоре против короля Франции Иоанна II Доброго и был арестован на встрече с другими заговорщиками в апреле 1356 г. в Руане. В отместку за гибель племянника воевал против Франции на стороне

короля Эдуарда. Сражался на стороне англичан при Пуатье. Погиб в битве за город Кутанс.

Аркур, Луи I д' (ум. 26 мая 1388). Французский военачальник. Сын Жана IV д'Аркура. Виконт де Шательро (1356). С 1370 г. сражался на стороне англичан против короля Франции Карла V Мудрого.

Артевелде, Яков ван (ок. 1285 — 24 июля 1345). Торговец суконным товаром. В 1337 г. поднял восстание против графа Фландрии Людовика I Неверского, после чего стал правителем Гента. Был отлучен от церкви. Убит толпой по подозрению в растратах и намерении признать графом Фландрии Черного принца, сына Эдуарда III.

Артуа, Иоанн (Жан) Безземельный (29 августа 1321 — 6 апреля 1387), сеньор де Сен-Валери, граф д'Э (1350). Сын Робера III Артуа и Жанны, дочери Карла де Валуа. После бегства отца был заточен в тюрьму королем Франции Филиппом VI Валуа вместе с другими детьми. В 1350 г. освобожден наследником Филиппа, Иоанном II Добрым. После казни коннетабля Рауля де Бриенна, графа д'Э, Жан в том же году был посвящен в рыцари и получил графство Э. В 1356 г. в Руане помогал королю Иоанну II арестовывать Карла Злого и его сторонников, обвиненных в заговоре против

короля. Участвовал в завоевании Эврё, взял Бретейль. Сражался рядом с королем в битве при Пуатье, где попал в плен. После освобождения возглавил один из отрядов.

Артуа, Маго (Матильда), графиня Бургундская, затем графиня Артуа (1268/1270 — 27 ноября 1329). Дочь Робера II Артуа. Супруга (1291) пфальцграфа Бургундского Оттона IV. В 1309 г. королевским эдиктом была возведена в звание пэра Франции. Мать Жанны Бургундской (супруги Филиппа Пуатье, впоследствии Филиппа V) и Бланки Бургундской (супруги Карла де ла Марша, будущего Карла IV Красивого).

Артуа, Робер III (1287–1342). Сын Филиппа Артуа и внук Робера II Артуа. Граф Бомон-ле-Роже, сеньор Конша (с 1309). Женился на Жанне Валуа, дочери Карла Валуа и Екатерины де Куртене (1318). Пэр Франции (1329–1332). Изгнан за пределы королевства (1332), находился при дворе короля Англии Эдуарда III. Смертельно ранен при осаде Ванна. Погребен в соборе Св. Павла в Лондоне.

Арундел, Эдмунд Фицалан, граф (1 мая 1285 — 17 ноября 1326). Сын Ричарда I Фицалана, первого графа Арундела. Соратник Эдуарда I. Выступал против фаворита Эдуарда II Пирса Гавестона,

затем поддерживал Эдуарда II. Верховный судья Уэльса (1323–1326). Казнен в Херефорде после низложения Эдуарда II королевой Изабеллой Французской и Роджером Мортимером.

Аршамбо V Старый (ок. 1340–1399), граф Перигора (1361). Сын Роже-Бернара де Перигора и Элеоноры де Вандом. Племянник кардинала Эли де Талейран-Перигора.

Бальони, Гуччо (ок. 1295–1340). Сиенский банкир, член семейства Толомеи. В 1315 г. управлял отделением банка в Нофль-ле-Вье. Вступил в тайный брак с Мари де Кресс*е*, от которой имел сына Джаннино (1316), крещенного вместо Иоанна I Посмертного. Скончался в Кампанье.

Бар, Эдуар, граф де (ок. 1295 — 11 ноября 1336). Сын Анри III, графа де Бара. Женился в 1310 г. на Марии Бургундской, сестре Маргариты, породнившись с Людовиком X, Эдом IV Бургундским и Филиппом де Валуа.

Барбетт, Этьен (ок. 1250 — 19 декабря 1321). Парижский буржуа, принадлежавший к одной из самых старинных и почтенных семей города. Парижский вуайе (1275), эшевен (1296), купеческий старшина (1296 и 1314), глава Парижского монетного двора и казначей короля. Его жилище, «Барбеттов садик», было разграблено во время

волнений 1306 г.

Беатриса Венгерская (1290–1343 или 1354). Дочь Карла Мартелла Анжуйского. Сестра Шаробера (Карла Роберта), короля Венгрии, и Клеменции Венгерской, королевы Франции. Супруга дофина Вьеннского, Жана II де ла Тур дю Пена, и мать Гийома VIII и Умберта II, последнего дофина Вьеннского.

Бек-Креспен, Мишель дю (ум. 30 августа 1318). Десятинник Сен-Кантена в Вермандуа. Возведен в сан кардинала Климентом V (1312). Участник конклава 1314–1316 гг.

Бенедикт XII, папа римский (Жак Фурнье, ок. 1285 — 25 апреля 1342). Цистерцианец. Аббат Фонфруада (1311–1317). Епископ Памье (1317), потом Мирпуа (1326). Рукоположен в кардиналы в декабре 1327 г. Иоанном XXII, после кончины которого избран папой в 1334 г.; третий папа авиньонского пленения.

Бергерш, Генри (1292 — 4 декабря 1340). Епископ Линкольнский (1320). Вместе с Орлетоном присутствовал при отречении короля Эдуарда II (1327). Добился мира с Шотландией (1328). Сменил Орлетона на посту казначея (март 1328). В качестве канцлера сопровождал Эдуарда III в Амьен для принесения вассальной присяги верности

(1328). Вновь назначен казначеем (1334–1337). Ездил во Францию со множеством дипломатических поручений.

Беркли, Томас, барон (1293/1296 — 27 октября 1361). Старший сын Мориса, второго барона Беркли, и его первой жены Евы ла Зуш. Первым браком женился на Маргарите, дочери Роджера Мортимера и леди Джоан Мортимер (Жанны де Жуанвилль). Участник двух шотландских кампаний. Страж короля Эдуарда II в замке Беркли (1327); был судим и оправдан за то, что во время его отлучки из замка Эдуард II умер при неясных обстоятельствах. Маршал английской армии (1340).

Берсюме, Робер. Капитан крепости Шато-Гайар и первый тюремщик Маргариты и Бланки Бургундских. После 1316 г. был заменен Жаном де Круази, потом Андре Тиаром.

Бертран де Коломбье, Пьер (25 марта 1299 — 13 июля 1361). Французский кардинал и дипломат, племянник и тезка кардинала Пьера Бертрана из Анноне. Адвокат в парламенте Парижа, интендант совета графа Невера и советник-клерк парламента.

Бертран, Робер де (1273 — 3 августа 1348). Барон де Брикбек, виконт де Роншвилль. Служил

Филиппу V Длинному, Карлу IV Красивому и Филиппу VI Валуа. Маршал Франции (1325–1344). Королевский наместник в Гиени, Сентонже, Нормандии и Фландрии. Был женат на Мари де Сюлли, дочери Анри, главного виночерпия Франции. Скончался от чумы.

Берюйер, Филипп, монсеньор Буржский (ум. 1261), епископ Орлеанский и архиепископ Буржа. Канонизирован папой Климентом IV в 1267 г.

Бирель, Жан (ум. 1361). Генеральный магистр ордена картезианцев (1346–1361). Был почти единогласно избран папой на конклаве 1352 г., но по результатам повторного голосования папой стал Этьен Обер (Иннокентий VI).

Бланка Наваррская (1331 — 5 октября 1398), вторая жена короля Франции Филиппа VI Валуа. Дочь короля Наварры Филиппа III и Жанны II Наваррской, сестра Карла Наваррского.

Бразертон, Томас, первый граф Норфолкский (1 июня 1300 — 4 августа 1338). Пятый сын Эдуарда I, короля Англии, его первый сын от второго брака с Маргаритой Французской, дочерью Филиппа III Смелого. Единокровный брат Эдуарда II и родной брат Эдмунда Кента. Граф-маршал Англии (1316), хранитель Англии в период, когда Эдуард II воевал в Шотландии. Сторонник

Изабеллы Французской и Роджера Мортимера, женил своего сына на одной из его дочерей, впоследствии один из советников Эдуарда III.

Боккаччо ди Келлино (1297–1348). Флорентийский банкир, представитель компании Барди. Имел от любовницы-француженки внебрачного сына (1313), который стал знаменитым писателем и поэтом Джованни Боккаччо, автором «Декамерона».

Болдок, Роберт (ум. 28 мая 1327). Архидиакон Мидлсекский (1314), лорд — хранитель печати (1320–1323) и лорд-канцлер (1323), преданный сторонник Эдуарда II и Диспенсеров. После неудачного побега в Ирландию с королем был доставлен в резиденцию епископа Херефордского ждать церковного суда; в резиденцию ворвалась разъяренная толпа, жестоко его избила и бросила в Ньюгейтскую тюрьму в Лондоне, где он был убит.

Бомон, Жан IV де, сеньор де Клиши и де Курсель-ла-Гареннн (ум. июль 1318). В 1315 г. сменил Миля де Нуайе на посту маршала Франции и стал губернатором Артуа, где командовал войсками, подавлявшими мятежи баронов.

Бонифаций VIII, Бенедетто Каэтани, папа римский (ок. 1215 — 11 октября 1303). Сначала

каноник Тоди, адвокат консистории и апостолический нотариус. Кардинал с 1281 г. Был избран папой 24 декабря 1294 г., после отречения Целестина V. Согласно легенде Шарра Колонна, вместе с Гийомом Ногаре по поручению Филиппа IV Красивого явившийся в Ананьи, чтобы доставить Бонифация VIII к королю, дал папе пощечину. Бонифаций VIII умер в Риме месяцем позже. Данте Алигьери поместил его в восьмой круг Ада как симониста, наряду с его преемником на папском престоле Климентом V.

Бонна Люксембургская (20 мая 1315 — 11 сентября 1349), герцогиня Нормандии, графиня Анжу и Мэна (1332–1349), дочь Иоанна I Люксембургского, супруга короля Франции Иоанна II Доброго и мать короля Франции Карла V.

Бошан, Томас де, одиннадцатый граф Уорик (14 февраля 1313 — 13 ноября 1369). Английский военачальник, граф-маршал Англии (1343). Участник битвы при Креси (1346) — фактический командующий правым флангом при номинальном командующем Эдуарде Черном принце. Участник битвы при Пуатье и командующий английским авангардом совместно с Уильямом Монтегю, графом Солсбери. Один из основателей ордена Подвязки (1348).

Брак, Никола (1320 — август 1388). Казначей королей Франции Иоанна II Доброго и Карла V, был взят в плен в битве при Пуатье, но довольно быстро освобожден.

Бретонский, Жан III Добрый, герцог (1286–1341). Сын Артура II, герцога Бретонского, которому он наследовал в 1312 г., и Марии Лиможской. Был женат трижды, но потомства не оставил.

Бриансон, Жоффруа де. Советник Филиппа IV Красивого и один из его казначеев. Был заключен в тюрьму одновременно с Мариньи при Людовике X, но Филипп V вернул ему должности и имущество.

Бриенн, Готье VI де, титулярный герцог Афинский (1302 — 19 сентября 1356). Сын Готье V, графа де Бриенна, и Жанны де Шатийон. В 1342 г. стал подеста Флоренции от имени неаполитанского короля Роберта Анжуйского; в 1343 г. изгнан из города после восстания. Всю жизнь безуспешно добивался унаследованного Афинского герцогства. Был назначен на должность коннетабля Франции (1356). Погиб в битве при Пуатье, командуя французскими войсками.

Бриенн, Рауль де (ум. 19 января 1344). Граф д'Э и Гина. Коннетабль Франции (1329). Наместник короля в Лангедоке (1329). Убит на турнире. Его

сын наследовал звание коннетабля.

Бриенн, Рауль II де, граф д'Э (1315 — 19 ноября 1350). Французский военачальник. В 1333 г. пытался выдать свою сестру Жанну за Эдуарда Черного принца. После смерти отца в 1344 г. назначен королем Филиппом VI Валуа коннетаблем Франции. В 1346 г. на три года попал в английский плен при осаде Кана. По возвращении во Францию в 1349 г. был арестован, обвинен в оскорблении короля и казнен.

Бувилль, Юг III, граф де (1275–1331). Сын Юга II де Бувилля и Мари де Шамбли. Камергер короля Филиппа IV Красивого. Женился (1293) на Маргарите де Барр, от которой имел сына Шарля, будущего камергера Карла V и управителя Дофине.

Булонский, Ги (1313 — 25 ноября 1373). Государственный деятель и кардинал. Участвовал в папских конклавах (1352, 1362 и 1370) и был субдеканом Священной коллегии кардиналов. Папский легат в Венгрии, Англии, Франции, Испании и Италии. Пытался положить конец Столетней войне.

Бурбонский, Людовик I Хромой, сир, впоследствии герцог (1279 — 22 января 1341). Французский военачальник, участник кампаний во Фландрии и Столетней войны. Старший сын Робе-

ра Французского, графа Клермонского, и Беатрисы Бургундской, дочери Жана, сира Бургундского. Внук Людовика Святого. Великий камергер Франции с 1312 г. Герцог с 1327 г. и пэр с 1328 г.

Бургундская, Агнесса Французская, герцогиня (1260/1265 — 19 декабря 1325/1327). Младшая дочь Людовика IX Святого, имевшего одиннадцать детей. В 1273 г. обвенчана с Робером II Бургундским. Мать Юга V и Эда IV, герцогов Бургундских, Маргариты (супруги Людовика X Сварливого) и Жанны по прозвищу Хромоножка, супруги Филиппа VI Валуа. Регент Бургундии при сыне Юге (1306–1311).

Бургундская, Бланка (1296 — 29 апреля 1326). Младшая дочь Оттона IV, пфальцграфа Бургундии, и Маго Артуа. Обвенчана в 1308 г. с Карлом Французским, третьим сыном Филиппа IV Красивого. Уличенная в распутстве (1314), одновременно с Маргаритой Бургундской была заточена в Шато-Гайаре, затем в замке Гурне под Кутансом. После расторжения брака с Карлом (1322) постриглась в монахини Мобюиссонского аббатства.

Бургундская, Жанна III Французская, герцогиня (1/2 мая 1308 — 10/15 августа 1347). Старшая дочь Филиппа V и Жанны Бургундской. В июле 1316 г. обручилась с Эдом IV, герцогом Бургундским;

брак был заключен в июне 1318 г. Унаследовала от матери графство Артуа и пфальцграфство Бургундское.

Бургундский, Эд IV, герцог (1294/1295 — 3 апреля 1349/1350). Сын Робера II Капетинга и Агнессы Французской, внук Людовика IX Святого. Титулярный король Фессалоник (1315), пфальцграф Бургундии и граф Артуа (1330–1347). Брат Маргариты, супруги Людовика X Сварливого; Жанны, супруги Филиппа Валуа, будущего Филиппа VI Валуа; Марии, супруги графа де Бара; и Бланки, супруги графа Эдуарда Савойского. Вступил в брак 18 июня 1318 г. с Жанной III Французской, старшей дочерью Филиппа V Длинного.

Бурдене, Мишель де. Легист и советник Филиппа IV Красивого. Подвергся тюремному заключению и конфискации при Людовике X, но при Филиппе V вернул себе и имущество, и должности.

Валуа, Жанна, графиня Геннегау (1295–1352). Вторая дочь Карла Валуа и его первой супруги — Маргариты Анжу-Сицилийской. Сестра короля Франции Филиппа VI Валуа. В 1305 г. повенчана с Вильгельмом, графом Геннегау, Голландии и Зеландии. Мать Филиппы, королевы Англии.

Валуа, Жанна, графиня де Бомон (1304 — 9 июля

1363). Дочь Карла Валуа и его второй супруги Екатерины де Куртене. Единокровная сестра Филиппа VI Валуа, короля Франции. Супруга Робера Артуа, графа Бомон-ле-Роже (1318). По приказу Филиппа VI заточена вместе со своими тремя сыновьями в Шато-Гайаре после изгнания Робера, впоследствии снова вошла в милость.

Валуа, Карл де, граф (12 марта 1270 — 16 декабря 1325). Сын Филиппа III Смелого и его первой супруги Изабеллы Арагонской, брат Филиппа IV Красивого. Посвящен в рыцари в четырнадцатилетнем возрасте. В том же году через папского легата был пожалован королевством Арагонским, но престол ему занять не удалось, и он отрекся от титула короля Арагонского в 1295 г. Удельный граф Анжу, Мэна и Перша (март 1290) по своей первой супруге Маргарите Анжу-Сицилийской. Титулярный император Константинопольский по второй своей супруге (январь 1301) Екатерине де Куртене. С помощью папы Бонифация VIII стал графом Романьи. Был женат третьим браком (1308) на Маго де Шатийон-Сен-Поль. От всех трех браков нажил множество детей; старший его сын Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа. Воевал в Италии за папское графство в 1301 г., командовал двумя военными

экспедициями в Аквитанию (1297 и 1324) и был кандидатом на престол императора Священной Римской империи. Скончался в Ножан-ле-Руа и погребен в церкви Св. Иакова в Париже.

Валуа, Филипп де (Филипп Орлеанский) (1 июля 1336 — 1 сентября 1375). Первый герцог Орлеанский (1344). Четвертый сын короля Франции Филиппа VI Валуа и Жанны Бургундской. Младший брат французского короля Иоанна II Доброго. Участник битвы при Пуатье. Женат на Бланке Французской, младшей дочери короля Франции Карла IV Красивого и Жанны д'Эврё.

Ватрике Брассеньекс из Кувена. Родом из городка Кувена в Геннегау, неподалеку от Намюра. Менестрель, связанный с вельможами семейства Валуа, получивший подлинную известность за свои лэ, сочиненные в 1319–1329 гг. Его творения сохранились в изящных манускриптах, разукрашенных миниатюрами, выполненными под его наблюдением для тогдашних принцесс.

Виа, Арно де (ум. 24 ноября 1335). Епископ Авиньонский (1317). Возведен в сан кардинала Иоанном XXII в июне 1317 г. Участник конклава 1334 г.

Вильгельм Добрый, граф Эно (Геннегау) Авенский (ок. 1286 — 7 июня 1337). Граф Голландский и

Зеландский. Сын Иоганна II Авенского, графа Геннегау, и Филиппы Люксембургской. Наследовал отцу в 1304 г. Вступил в брак в 1305 г. с Жанной Валуа, дочерью Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской. Отец Филиппы (жены Эдуарда III и королевы Англии) и сына Вильгельма II, наследовавшего отцу.

Ворен, Робер д', сеньор де Сен-Венан (ум. 1360). Маршал Франции (1344). В том же году вместе с Шарлем I де Монморанси возглавил армию, посланную герцогом Нормандским (будущим Иоанном II Добрым) в Бретань. В 1346 г. назначен командующим королевской армией в Гиени. С 1355 г. служил в Пикардии.

Гавестон, Пирс де (или Пьер Габастон, ок. 1284 — 19 июня 1312). Беарнский рыцарь, друг детства и фаворит английского короля Эдуарда II, который при своем восшествии на престол сделал Гавестона бароном Корнуоллским. Женился на Маргарет де Клэр, дочери графа Глостера и племяннице короля. Регент королевства в отсутствие Эдуарда II в стране, лорд-лейтенант Ирландии (1308). Отлучен от церкви в 1312 г. Убит баронской коалицией. В 1315 г. Эдуард II приказал перенести его останки из Оксфорда в Кингз-Лэнгли (Хартфордшир).

Галар, Пьер де (ум. ок. 1336). Главный командир арбалетчиков Франции с 1310 г. Участник кампании во Фландрии и войны с Англией. Наместник Фландрии. Вассал Филиппа IV Красивого. Перед Столетней войной был вынужден выступить на стороне Англии, отчего его земли, принадлежавшие Англии, были конфискованы французской короной.

Геннегау, Жан, сеньор де Бомон (ок. 1288 — 11 марта 1356). Брат Вильгельма I де Эно (Геннегау), отца английской королевы Филиппы, супруги Эдуарда III. Участвовал во многих походах в Англии и во Фландрии.

Гиг VIII, дофин Вьеннский, Гиг V де ла Тур дю Пэн (1309 — 28 июля 1333). Сын Жана II де ла Тур дю Пена, дофина Вьеннского, и Беатрисы Венгерской. Племянник королевы Клеменции. В июне 1316 г. обручился с Изабеллой Французской, третьей дочерью Филиппа V; брак был заключен в мае 1323 г. Умер, не оставив наследника; ему наследовал его брат Умберт II де ла Тур дю Пен.

Го, Бертран де. Виконт де Ломань и д'Овийар, маркиз Анконский. Племянник и однофамилец папы Климента V. Неоднократно вмешивался в конклав 1314–1316 гг.

Гурней (Герни), Томас (ум. 1333). Один из стра-

жей Эдуарда II в замке Беркли. Был объявлен ответственным за смерть короля, арестован в Неаполе и убит на пути обратно в Англию.

Дампьер, Луи I де (1272/1279–1322). Сын Робера Бетюнского, графа Фландрского, и Иоланды Бургундской. Граф де Невер (1280). Граф де Ретель через свой брак с Жанной де Ретель (1290).

Дивион, Жанна де (1293 — 6 октября 1331 г.). Дочь дворянина из Бетюна, любовница Тьерри д'Ирсона, который оставил ей 3000 ливров. Была обвинена в подлоге — составлении фиктивных документов для тяжбы из-за графства Артуа, а также в колдовстве и сожжена заживо.

Диспенсер, Хью, Младший (1287/1289 — 24 ноября 1326). Сын Хью Диспенсера Старшего, камергер и фаворит Эдуарда II с 1312 г. Женился на Элинор де Клэр (1306). Его злоупотребления властью привели к мятежу баронов в 1326 г. Повешен в Херефорде.

Диспенсер, Хью, Старший (1 марта 1261 — 27 октября 1326). Сын Хью Диспенсера, юстициария Англии. Барон, член парламента (1295). Доверенное лицо короля Англии Эдуарда I, главный советник Эдуарда II с 1312 г. Граф Винчестерский (1322). Во время мятежа баронов и королевы Изабеллы против короля в 1326 г. был отстранен от

власти и повешен в Бристоле.

Диспенсер, Элинор, леди (3 октября 1292 — 30 июня 1337), урожденная Клэр. Дочь графа Глостера и племянница Эдуарда II, супруга Хью Диспенсера Младшего, от которого родила минимум девять детей.

Дуглас, Уильям (ок. 1323 — 1 мая 1384). Второй сын сэра Арчибальда Дугласа и Беатрисы Линдсей, племянник Джеймса Дугласа, Черного Дугласа, друга и соратника шотландского короля Роберта Брюса. Крупный военачальник периода второй войны за независимость Шотландии. При поддержке французов совершал набеги на Англию. Во время англо-шотландского перемирия воевал во Франции, сражался в битве при Пуатье на стороне французов, где командовал шотландским полком и был ранен. В 1357 г. участвовал в переговорах с англичанами об освобождении короля Шотландии Давида II Брюса и некоторое время пробыл заложником. Был юстициарием Шотландии и стражем границ.

Дюбуа, Гийом. Легист и казначей Филиппа IV Красивого. Был заключен в тюрьму при Людовике X, но восстановлен в должностях и вернул свое имущество при Филиппе V.

Дюрфор, Гийом де (ум. 24 ноября 1330). Епископ

Лангрский (1306–1319), потом Руанский (1319–1330).

Дюэз, Гослен (ум. 1348). Племянник папы Иоанна XXII, возведен в сан кардинала в декабре 1316 г. Епископ Альбанский, потом Великий пенитенциарий.

Жак I де Бурбон (1313–1362). Младший сын Людовика I Бурбонского Хромого и Марии д'Авен, французский военачальник времен Столетней войны. Участник битвы при Креси и при Пуатье. Управляющий графством Понтье (1351–1356). Коннетабль Франции (1354–1356).

Жан II, де ла Тур дю Пен, дофин Вьеннский (ок. 1280 — 4 или 5 марта 1319). Сын Умберта I де ла Тур дю Пена, дофина Вьеннского, которому наследовал в 1307 г. Женился на Беатрисе Венгерской. От их брака родились два сына, Гиг VIII и Умберт II, последний дофин Вьеннский, продавший свои земли и титул королю Франции Филиппу VI Валуа.

Жанна Бургундская, графиня Пуатье, впоследствии королева Франции (ок. 1288 — 21 января 1330). Старшая дочь Оттона IV, пфальцграфа Бургундского, и Маго Артуа. Сестра Бланки, супруги Карла Французского, будущего короля Карла IV Красивого. В 1307 г. повенчана с Филиппом

Пуатье, будущим Филиппом V. Причастная к любовным похождениям своей сестры и невестки (1314), была заключена в Дурдане, освобождена в конце 1314 г. Мать минимум пяти детей: Жанны, Маргариты, Изабеллы, Бланки (первая вышла за графа Бургундского, вторая — за графа Фландрского, третья — за дофина Вьеннского, четвертая постриглась в монахини) и сына Филиппа, который не прожил и года.

Жанна Бургундская, прозванная Хромоножкой, графиня Валуа, королева Франции (1296 — 12 декабря 1348). Дочь Робера II, герцога Бургундского, и Агнессы Французской. Сестра Эда IV, герцога Бургундского, и Маргариты, супруги Людовика X Сварливого. Повенчана в 1313 г. с Филиппом Валуа, будущим Филиппом VI Валуа. Мать Иоанна II Доброго, короля Франции. Скончалась от чумы.

Жанна д'Эврё, королева Франции (1310 — 4 марта 1371). Дочь Людовика Французского, графа д'Эврё, и Маргариты Артуа. Сестра Филиппа, графа д'Эврё, впоследствии короля Наваррского. Третья супруга Карла IV Красивого (1325), от которого родила трех дочерей: Жанну, Марию и Бланку, появившуюся на свет 1 апреля 1328 г., уже после смерти отца.

Жанна Французская, королева Наваррская

(28 января 1312 — 6 октября 1349). Дочь Людовика Наваррского, будущего Людовика X Сварливого, и Маргариты Бургундской. Как полагают, незаконнорожденная. Отстраненная от престола Франции, унаследовала Наварру. Вышла замуж за Филиппа, графа д'Эврё (1318). Мать Карла Злого, короля Наваррского, и Бланки, второй супруги Филиппа VI Валуа, короля Франции. Умерла от чумы.

Жанна Шампанская, королева Франции и Наварры (14 января 1273 — 2 апреля 1305). Единственная дочь и наследница Генриха I Наваррского, графа Шампанского и Брисского (ум. в 1274) и Бланки Артуа. В 1284 г. вышла замуж за будущего Филиппа IV Красивого. Мать королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного, Карла IV Красивого и королевы Англии Изабеллы.

Жуанвиль, Ансо или Ансель (1265–1343). Старший сын Жана де Жуанвиля. Наследственный сенешаль Шампани. Член Большого совета Филиппа V и маршал Франции.

Жуанвиль, Жан, сир де (1224/1225 — 24 декабря 1317). Наследственный сенешаль Шампани. Сопровождал Людовика IX в Седьмом крестовом походе и разделил с ним плен. В восьмидесятилетнем возрасте написал «Историю Людовика

Святого», благодаря чему числится среди крупнейших летописцев.

Изабелла Французская, королева Англии (ок. 1295 — 22 августа 1358). Дочь Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской. Сестра королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. Супруга Эдуарда II, короля Англии (1308). Вместе с Роджером Мортимером возглавила мятеж английских баронов (1326), в результате которого Эдуард II был лишен престола. Прозвана Французской волчицей, с 1326 по 1328 г. правила Англией от имени своего сына Эдуарда III. Была удалена от двора в 1330 г. Скончалась в Хартфордском замке.

Изабелла Французская (ок. 1312–1348). Младшая дочь Филиппа V и Жанны Бургундской, племянница Бланки Бургундской. Была обручена в 1316 г. с Гигом, дофином Вьеннским, будущим Гигом VIII; бракосочетание состоялось 17 мая 1323 г. Овдовев в 1333 г., спустя два года вышла замуж за Жана III де Фоконье и вновь овдовела в 1345 г. Умерла от чумы.

Иннокентий VI, папа римский (Этьен Обер, 1282 или 1295 — 12 сентября 1362). Стал папой в 1352 г. Способствовал заключению мира в Бретиньи между Францией и Англией (1360). Старался на-

вести порядок в папских финансах после растрат во время понтификата Климента VI, но особого успеха не добился. Пятый папа периода Авиньонского пленения.

Иоанн II Добрый, король Франции (26 апреля 1319 — 8 апреля 1364), герцог Нормандский. Сын Филиппа VI Валуа и Жанны Бургундской, прозванной Хромоножкой. С 1350 г. король Франции. Женат на Бонне Люксембургской, дочери короля Богемии (1332). Овдовев в 1349 г., собирался вступить в брак с Бланкой Наваррской, но женился на Жанне Овернской и Булонской, поскольку на Бланке Наваррской женился его также овдовевший отец. Среди многочисленных детей Иоанна II от первого брака — будущий король Карл V. Подавил заговор Карла Злого. Участвовал в битве при Пуатье, где был пленен англичанами. После заключения мира в Бретиньи вернулся из плена, оставив в Англии заложником своего сына Людовика Анжуйского. После побега Людовика добровольно вернулся в Англию и вскоре скончался в Лондоне; похоронен в аббатстве Сен-Дени.

Иоанн XXII (Жак Дюэз), папа римский (1244 — 4 декабря 1334). Сын горожанина-ремесленника из Кагора. Учился в Кагоре, затем в Монпелье

и Париже. Архиепископ церкви Сент-Андре в Кагоре. Каноник церкви Сен-Фрон в Перигё и Альби. Архиепископ Сарлатский. В 1289 г. отправился в Неаполь, где в скором времени стал приближенным короля Карла II Анжуйского Хромого, который сделал его секретарем тайного совета, потом своим канцлером. Епископ Фрежюсский (1300), затем Авиньонский (1310). Аудитор Вьеннского церковного собора (1311). Кардинал-епископ Порто (1312). Избран папой в августе 1316 г., возведен в папский сан в Лионе спустя месяц. Одержимо преследовал колдунов. Второй папа периода авиньонского пленения.

Иоганн Люксембургский (Ян Слепой, 10 августа 1296 — 26 августа 1346). Граф Люксембургский (1310), король Чехии (1310), титулярный король Польши (1310). Сын Генриха VII, императора Священной Римской империи, и Маргариты Брабантской. Брат Марии Люксембургской, второй супруги (1322) Карла IV Красивого, и Беатрисы Люксембургской, второй жены короля Венгрии Карла Роберта. Вступил в брак (1310) с Елизаветой Богемской (Элишкой Пршемысловной), имел от нее дочь Бонну, которая в 1332 г. стала женой Иоанна, герцога Нормандского, будущего короля Франции Иоанна II Доброго. Убит при Креси.

Ирсон, или Иресон, Беатриса д’ (ум. 1331/1332) и Маго д’. Племянницы братьев д’Ирсон. Придворные дамы графини Маго Артуа.

Ирсон, или Иресон, Пьер и Дени Ларшье д’. Братья Тьерри д'Ирсона; один — казначей графини Маго Артуа, другой — бальи Арраса.

Ирсон, или Иресон, Тьерри Ларшье д’ (1270 — 17 ноября 1328). Сначала один из писцов Робера II Артуа, сопровождал Ногаре в Ананьи и выполнял многочисленные поручения Филиппа IV Красивого. Каноник Аррасский (1299). Канцлер Маго Артуа (1303). Епископ Аррасский (с апреля 1328).

Кальво, Франческо. Итальянский дворянин, секретарь папы римского Иннокентия VI.

Капоччи, Никколо (ум. 1368). Епископ Утрехтский (1341), епископ Уржельский (1348–1351). Итальянский кардинал, папский легат во Франции, безуспешно пытался заключить мир с англичанами во второй половине 1350-х.

Карл II Злой (10 октября 1332 — 1 января 1387), король Наварры (с 1349), граф д’Эврё (1349–1378). Сын Филиппа д’Эврё и Жанны Наваррской, дочери короля Людовика X Сварливого. Участник Столетней войны между Францией и Англией. То и дело устраивал заговоры против Иоанна II Доброго, затем против дофина, будущего короля

Карла V Мудрого, с целью расширить свои территории или просто стать королем Франции, для чего имелись некоторые генеалогические основания; плел интриги, во время активной фазы англо-французского конфликта заключая союзы с обеими сторонами. В итоге потерял обширные территории во Франции и практически лишился Наварры, подчиненной Энрике II, королем Кастилии и Леона.

Карл IV Люксембургский (1316 — 29 ноября 1378), король Германии, король Чехии (1346), император Священной Римской империи (1355). Сын короля Чехии Иоанна Слепого и чешской принцессы Элишки Пржемысловны, брат Бонны Люксембургской, супруги Иоанна II Доброго. Самый успешный монарх средневековой Чехии.

Карл IV Красивый, король Франции (18 июня 1294 — 1 февраля 1328), граф де ла Марш. Третий сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской. Удельный граф Марша (1315). После смерти своего брата Филиппа V вступил на престол под именем Карла IV (1322). Был женат трижды: первым браком на Бланке Бургундской (1307), вторым — на Марии Люксембургской (1322) и третьим — на Жанне д'Эврё (1325). Правил, полагаясь на советы сначала своего дяди Карла Валуа, затем на Робера

Артуа. Скончался в Венсенне, не оставив наследников мужского пола, был последним государем по прямой линии от Капетингов.

Карл де ла Серда (1327 — 8 января 1354), сеньор де Люнель, граф Ангулемский, с 1350 г. наместник Пикардии и Артуа, коннетабль Франции при короле Иоанне II Добром, королевский фаворит. Крупно поссорился с Карлом II Злым и его братом Филиппом Наваррским и был убит отрядом последнего.

Карл Мартелл Анжуйский (8 сентября 1271 — 12 августа 1295), принц Салерно, титулярный король Венгрии (с 1291). Старший сын Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской. Племянник Ласло IV, короля Венгрии, и претендент на престол. Отец Клеменции Венгерской, второй супруги Людовика X Сварливого, короля Франции, и Карла I Роберта (Шаробера), короля Венгрии и Хорватии. Умер от чумы в Неаполе. Фигурирует в «Божественной комедии» Данте Алигьери — автор встречает его в третьей сфере Рая.

Карл Роберт (Шаробер, или Кароберто; 1288 — 16 июля 1342), король Венгрии (с 1310). Сын Карла Мартелла и Клеменции Габсбургской, брат Клеменции Венгерской. Претендент на венгерский

престол по смерти своего отца (1296), претендент на Неаполитанское королевство; был признан королем Венгрии и Хорватии только в августе 1310 г. и правил вполне успешно, проводя политические и экономические реформы. Женился вторым браком на Беатрисе Люксембургской, сестре королевы Франции Марии, второй жены Карла IV Красивого.

Каэтани, Франческо (ум. март 1317). Племянник Бонифация VIII, возведен им в сан кардинала (1295). Был замешан в попытке наведения порчи на короля Франции (1316). Умер в Авиньоне.

Кент, Эдмунд Вудсток, граф (5 августа 1301 — 19 марта 1330). Шестой сын Эдуарда I, короля Англии, и его второй супруги, Маргариты Французской, сестры Филиппа Красивого. Единокровный брат короля Англии Эдуарда II. В 1321 г. был комендантом Дуврского замка, смотрителем Пяти портов и получил титул графа Кентского. В 1324 г. — наместник Эдуарда II в Аквитании. Поддержал заговор Изабеллы Французской и Роджера Мортимера против Эдуарда II, затем, в результате ложного слуха, пущенного Мортимером, составил заговор против него и Изабеллы Французской, разоблачен и казнен в Лондоне.

Киерес, представитель восставших дворян Ар-

туа при короле Людовике X Сварливом.

Клеменция Венгерская, королева Франции (1293 — 12 октября 1328). Дочь Карла Мартелла Анжуйского, титулярного короля Венгерского, и Клеменции Габсбургской. Племянница Карла Валуа по его первой жене Маргарите Анжу-Сицилийской. Сестра Карла Роберта (Шаробера), короля Венгрии, и Беатрисы, жены дофина Вьеннского Жана II де ла Тур дю Пена. Сочеталась браком с Людовиком X Сварливым, королем Франции и Наварры (13 августа 1315), и вместе с ним была коронована в Реймсе. Овдовела в июне 1316 г., а в ноябре того же года родила сына Иоанна I Посмертного, прожившего всего пять дней. Скончалась в Тампле.

Клермон, Жан де (ум. 19 сентября 1356), маршал Франции. Сын Рауля де Клермон-Неля, сеньор де Шантильи и де Вильмомбль, виконт д'Онэ. Сражался в битве при Пуатье, где командовал передовым отрядом в 300 рыцарей и был убит в бою.

Клермон, Робер, граф де (1256 — 7 февраля 1317). Шестой, и последний, сын Людовика Святого и Маргариты Прованской. Женился в 1279 г. на Беатрисе Бургундской, единственной дочери Жана де Бурбона. При жизни заметной роли в политике

не сыграл, однако стал основателем династии Бурбонов, чей потомок Анри де Бурбон, король Наварры, под именем Генриха IV вступил на французский престол в 1589 г., когда пресеклась династия Валуа.

Климент V, папа римский (Бертран де Го, 1260 — 20 апреля 1314). Родился в Вилландро (Жиронда). Архиепископ Бордоский. Избран папой (1305) после Бенедикта XI, тиару получил в Лионе. Последовательный союзник Филиппа IV Красивого, который способствовал его избранию. Активно поддерживал разгром ордена тамплиеров. Первый из авиньонских пап. Данте Алигьери поместил его в восьмой круг Ада как симониста наряду с его предшественником на папском престоле Бонифацием VIII.

Климент VI (Пьер Роже де Бофор-Тюренн, 1291 — 6 декабря 1352), папа римский (1342). Аббат бенедиктинского аббатства Святой Троицы в Фекане (1326–1328). Епископ Арраса (1328–1329). Архиепископ Санса (1329–1330). Архиепископ Руана и примас Нормандии (1330–1338). Канцлер Франции (1335). Кардинал-священник церкви Санти-Нерео-эд-Акиллео (1338). Избран папой 7 мая 1342 г. Во время своего понтификата, на который пришлась первая эпидемия чумы, активно

пристраивал свою родню на высокие должности и щедро тратился на роскошь, в результате чего его преемник Иннокентий VI остался ни с чем. Четвертый папа периода Авиньонского пленения.

Колонна, Пьетро (ок. 1260 — 14 августа 1326). Представитель знаменитого римского рода Колонна, племянник кардинала Якопо Колонна. Возведен в сан кардинала папой Николаем IV в 1288 г. Отлучен Бонифацием VIII в 1297 г., восстановлен в сане кардинала в 1306 г. Умер в Авиньоне.

Колонна, Шарра (1270–1329). Брат кардинала Якопо Колонна. Военачальник, один из вождей партии гибеллинов. Враг папы Бонифация VIII; согласно легенде дал ему пощечину во время «покушения» в Ананьи.

Колонна, Якопо (1250 — 14 августа 1318). Возведен в сан кардинала папой Николаем III (1278). Главный советник римского двора при папе Николае IV. Противник Бонифация VIII; отлучен Бонифацием VIII в 1297 г. и восстановлен в сане кардинала в 1305 г.

Комон — член лиги артуазцев, восставших против графини Маго Артуа.

Конфлан, Юг де. Маршал Шампани, назначен-

ный Людовиком X Сварливым в 1316 г. правителем Артуа.

Корбей, Жан де (ум. ноябрь 1318). Сеньор де Гре и де Жальмен. Родственник Ангеррана де Мариньи. Маршал Франции с 1308 г., служил главным образом во Фландрии, где представлял интересы французской короны.

Корнийо. Сержант графини Маго Артуа, арестованный вместе с Дени д'Ирсоном союзниками Артуа 27 сентября 1315 г. и казненный в тот же день.

Крессе, Жан де и Пьер де, братья Мари де Крессе. Оба были посвящены в рыцари королем Филиппом VI Валуа во время битвы при Креси (1346).

Крессе, Мари де (1298–1345). Дочь дамы Элиабель и сира Жана де Крессе, рыцаря. Тайно обвенчалась с Гуччо Бальони и в 1316 г. родила сына; была кормилицей Иоанна I Посмертного, которого при крещении подменили ребенком Мари. Похоронена в монастыре августинцев неподалеку от Крессе.

Крессе, Элиабель де, дама. Владелица замка Крессе близ Нофль-ле-Вье в Монфор-л'Амори. Вдова сира Жана де Крессе, рыцаря. Мать Жана, Пьера и Мари де Крессе.

Куртене, Екатерина де, графиня Валуа (25 нояб-

ря 1274 — 11 октября 1307), титулярная императрица Латинской империи, вторая супруга Карла Валуа, брата Филиппа IV Красивого. Внучка и наследница Бодуэна (Балдуина) II де Куртене Порфироносного, последнего латинского императора Константинопольского (1261). По ее смерти титул перешел к ее старшей дочери, Екатерине Валуа, супруге Филиппа Тарентского.

Куртене, Робер де (1251 — 3 марта 1324), представитель Капетингского дома Куртене. Архиепископ Реймсский (1299–1324) и как таковой короновал троих своих родственников: Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого.

Ла Мадлен, Гийом де. Прево Парижа (март 1316 — август 1316).

Ла Форе, Пьер де (1305 — 7 июня 1361). Доктор гражданского и церковного права. Канцлер герцога Нормандии (1347), канцлер Франции (1349). Епископ Турне (1349–1350), епископ Парижа (1350–1352), архиепископ Руана (1352–1356), кардинал-священник церкви Святых апостолов. Советник будущего Карла V в 1356 г. С 1359 г. вновь канцлер Франции, добивался окончания войны. Умер от чумы.

Ланкастер, Генри, граф Лестер по прозванию

Кривая Шея (1281 — 22 сентября 1345). Сын Эдмунда, графа Ланкастерского, и Бланки Артуа, королевы Наварры; внук Генриха III, короля Англии. Участвовал в мятеже против Эдуарда II. Посвящен в рыцари Эдуардом III в день его коронации и поставлен во главе Регентского совета. Позднее возглавил мятеж против Роджера Мортимера.

Ланкастер, Генри Гросмонт, граф Дерби и Линкольн, герцог (1310 — 23 марта 1361). Член английской королевской семьи в XIV в., сын Генри Ланкастера по прозванию Кривая Шея и Мод Чауорт; выдающийся дипломат, политик и воин, один из самых доверенных полководцев Эдуарда III на первых этапах Столетней войны. Один из основателей и второй кавалер ордена Подвязки (1348). Автор трактата «Книга божественных лекарств».

Латиль, Пьер де (ум. 15 марта 1328). Французский легист, епископ Шалонский (1313), хранитель королевской печати по смерти Гийома де Ногаре. Заключен в тюрьму Людовиком X Сварливым (1315). После освобождения Филиппом V Длинным (1317) вернулся в Шалонскую епархию.

Ле Конвер, Филипп. Каноник собора Парижской Богоматери. Член Совета Филиппа V Длинного в

продолжение всего его царствования.

Ле Локетье, Никола. Легист и советник Филиппа IV Красивого. Заключен в тюрьму Людовиком X Сварливым, восстановлен в должностях и владении имуществом при Филиппе V Длинном.

Ле Ру, Реймон (ум. ноябрь 1325). Племянник папы Иоанна XXII. Возведен им в сан кардинала в декабре 1325 г.

Лик, барон де. Член артуазской лиги, владел баронией в графстве Гин, в Пикардии.

Лонгви, Жан де. Родственник Великого магистра Жака де Моле. Член феодальной лиги Бургундии, учрежденной в 1314 г.

Лонжи, Гийом де Пергам де (ум. апрель 1319). Канцлер короля Карла II Сицилийского. Возведен в сан кардинала папой Целестином V 18 сентября 1294 г. Умер в Авиньоне.

Лоос, член артуазской лиги, был родом из Льежской области.

Лоррис, Робер де (ум. 1380). Французский рыцарь, камергер короля Иоанна II Доброго, свойственник Этьена Марселя; удалился от дел после смерти Иоанна II в Лондоне.

Людовик I Анжуйский (23 июля 1339 — 20 сентября 1384), второй сын короля Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской. Стал причиной воз-

вращения Иоанна II в Лондон, бежав из плена и тем нарушив второй «Договор заложников». При Карле V Мудром был наместником Лангедока. Безуспешно пытался единолично присвоить себе регентство при Карле VI. Был усыновлен королевой Неаполя Джованной I при условии оказания ей помощи в войне с папой Урбаном VI; помощи оказать не успел, но до конца дней тщетно добивался неаполитанского престола и передал своим наследникам претензии на владение Неаполем.

Людовик X Сварливый, король Франции и Наварры (4 октября 1289 — 5 июня 1316). Сын Филиппа IV Красивого и Жанны Шампанской и Наваррской. Брат королей Филиппа V и Карла IV, а также Изабеллы, королевы Англии. Король Наварры (1307). Король Франции (1314). Вступил в брак с Маргаритой Бургундской (1305), от которой в 1312 г. родилась дочь Жанна. После скандального разоблачения тайн Нельской башни и смерти Маргариты женился (август 1315) на Клеменции Венгерской. Короновался в Реймсе (август 1315). Умер в Венсенне. Его сын Иоанн I Посмертный родился пять месяцев спустя после кончины Людовика (ноябрь 1316).

Мальтраверс, Джон, барон (1290–1364). Один из стражей короля Эдуарда II в Беркли (1327).

Сенешаль (1329). Королевский мажордом (1330). После падения Роджера Мортимера был осужден на смертную казнь как главный виновник смерти Эдуарда II, но успел скрыться на континенте. Вернулся по королевскому приказу в Англию в 1345 г. и был прощен в 1353 г.

Мандагу, Гийом де (ум. 3 ноября 1321). Епископ Эмбренский (1295), потом Экский (1311). С декабря 1312 г. кардинал-епископ Палестринский (возведен в сан Климентом V).

Маргарита Бургундская, королева Наварры (1290–1315). Дочь Робера II, герцога Бургундского и Агнессы Французской. Выдана (1305) за Людовика, короля Наварры, старшего сына Филиппа IV Красивого, будущего Людовика X, от которого родила дочь Жанну. Уличенная в измене (дело Нельской башни), в 1314 г. заключена в Шато-Гайаре, где и была убита.

Мариньи, Ангерран ле Портье де (1260 — 30 апреля 1315). Родился в Лион-ле-Форе. Женился первым браком на Жанне де Сен-Мартен, вторым — на Алис де Монс. Был сначала оруженосцем графа де Бувилля, потом оказался при дворе королевы Жанны, супруги Филиппа IV Красивого, затем становился последовательно комендантом замка Иссудан (1298), шамбелланом (1304), был

возведен во дворянство и стал графом де Лонгвилем, интендантом финансов и зданий, капитаном Лувра, коадъютором-распорядителем и ректором королевства в последние годы правления Филиппа IV Красивого, после смерти которого был обвинен в злоупотреблениях, осужден и повешен на Монфоконе. Реабилитирован в 1317 г. Филиппом V Длинным и погребен в церкви Шартрё, перенесен в построенную им коллегиальную церковь Экуи.

Мариньи, Жан (ум. 27 декабря 1351). Самый младший из братьев Мариньи. Участвовал в суде, который приговорил к смерти его брата Ангеррана. Каноник собора Парижской Богоматери, затем епископ Бовезский (1312). Канцлер (1329). Наместник короля в Гаскони (1342). Архиепископ Руанский (1347).

Мариньи, Луи де, сеньор де Менвиль и де Буароже. Старший сын Ангеррана де Мариньи. Женился в 1309 г. на Роберте де Бомец.

Мариньи, Филипп де (1260–1316). Младший брат Ангеррана Мариньи. Секретарь короля (1301). Архиепископ Санский (1309). Участвовал в суде, который приговорил к смерти его брата Ангеррана.

Мария Венгерская, королева Неаполя (ок. 1257

— 25 марта 1323). Дочь Иштвана V, короля Венгрии, и его жены, половецкой княжны Елизаветы Куманской. Сестра и наследница Ласло IV Куна, короля Венгрии. Вышла замуж за Карла II Анжуйского Хромого, короля Неаполя и Сицилии.

Мария Люксембургская, королева Франции (1304 — март 1324). Дочь Генриха VII, германского императора, графа Люксембургского, и Маргариты Брабантской. Сестра Иоанна Слепого, короля Богемии. Вторая супруга Карла IV Красивого (1322). Коронована в мае 1323 г. Умерла преждевременными родами, произошедшими в результате несчастного случая с каретой.

Марсель, Этьен (1316 — 31 июля 1358). Французский государственный деятель, купеческий прево Парижа (1354), один из создателей Великого мартовского ордонанса, добивавшийся ограничения королевской власти в пользу Генеральных штатов, а затем лидер Парижского восстания 1356–1358 гг., произошедшего, когда дофин, будущий Карл V Мудрый, отказался соблюдать условия ордонанса. Был убит, перед тем как сдать, по всей видимости, Карлу Злому Париж, откуда бежал дофин.

Мауни, Вильгельм (ум. 1372). Родом из Геннегау, прибыл в Англию в свите Филиппы, будущей

супруги Эдуарда III. Рыцарь (1331). Полководец, участник всех военных походов Эдуарда III. Женился на Маргарите, дочери Томаса Бразертона, графа Норфолкского, дяди Эдуарда III.

Мелло, Гийом де (ум. ок. 1328). Сеньор д'Эпуасс и де Живри. Советник герцога Бургундского.

Мелтон, Уильям (ум. 5 апреля 1340). Был близок к Эдуарду II с детских лет и до конца оставался его сторонником. Королевский писец, затем хранитель личной королевской печати (1307). Королевский секретарь (1310). Архиепископ Йоркский (1316); в период архиепископства активно противодействовал набегам шотландцев. Казначей Английского королевства (1325–1327). Вновь назначается казначеем королевства в 1330–1331 гг. и хранителем большой королевской печати в 1333–1334 гг.

Меркёр, Беро де. Сеньор дю Жеводан. Посол Филиппа IV Красивого к папе Бенедикту XI в 1304 г. Поссорился с королем, который приказал провести расследование на его землях (1309). Вернулся в Королевский совет после восшествия на престол Людовика X Сварливого (1314) и был отстранен Филиппом V Длинным в 1318 г.

Моле, Жак де (1244/1249 — 18 марта 1314). Родился в Моле (Верхняя Сона). Вступил в орден

тамплиеров в Боне (1265), отправился в Святую землю. Избран Великим магистром ордена (1295). Арестован в октябре 1307 г.; осужден и сожжен на костре.

Монтегю, или Монтекют, Уильям (1301 — 30 января 1344). Старший сын Уильяма, второго барона Монтекюта, наследовавший отцу в 1319 г. Посвящен в рыцари в 1325 г. Губернатор островов Ла-Манш и комендант Тура (1333), первый граф Солсбери (1337). Маршал Англии (1338). Первый король независимого королевства Мэн (1343) — титул, полученный в награду за участие в Шотландских войнах. Был близок к королю Эдуарду III и выступал одной из ключевых фигур в заговоре против Роджера Мортимера. Скончался от ран, полученных на турнире в Виндзоре.

Морбек, Дени де. Рыцарь из Сент-Омера; за убийство, совершенное в молодости, был изгнан из Франции и лишен всех земель. С 1351 г. воевал за Эдуарда III, короля Англии, против французов. Участник битвы при Пуатье (1356); взял в плен короля Франции Иоанна II Доброго.

Морне, Этьен де (ум. август 1332). Советник Филиппа IV Красивого, Людовика X Сварливого, Карла IV Красивого и Филиппа VI Валуа. Племянник Пьера де Морне, епископа Орлеанского и

Оксерского. Канцлер Карла Валуа, потом канцлер Франции с января 1315 г. Отстраненный от управления Филиппом V Длинным, стал при Карле IV членом счетной палаты и парламента.

Мортимер, леди Джоан (Жанна де Жуанвилль, 2 февраля 1286 — 19 октября 1356). Дочь Пьера де Жуанвилля и Жанны Лузиньянской, внучка и наследница Жоффрея де Жуанвилля; внучатая племянница Жана де Жуанвилля, автора «Истории Людовика Святого». Вышла замуж за сэра Роджера Мортимера, барона Вигморского (1305).

Мортимер, Роджер, барон Чирк (ок. 1260 — 3 августа 1326). Дядя Роджера Мортимера, третьего барона Вигморского. Участник завоевания Уэльса при Эдуарде I; Верховный судья Уэльса (1307–1321) и фактический наместник короля. Участвовал в заговоре против Эдуарда II и Диспенсеров, впоследствии сдался, был взят в плен при Шрусбери (1322) и заключен в Тауэре вместе с племянником, где и умер.

Мортимер, Роджер, третий барон Вигморский, первый граф Марч (25 апреля 1287 — 29 ноября 1330). Старший сын Эдмунда Мортимера и Маргариты Фиенской. Наместник короля Эдуарда II и Великий судья Ирландии (1316–1321). Возглавил мятеж баронов, низвергнувших Эдуарда II.

Фактически правил Англией как лорд-протектор вместе с королевой Изабеллой до совершеннолетия Эдуарда III. Первый граф Уэльской марки (1328). Арестованный по приказу Эдуарда III и осужденный парламентом, был повешен на Тайбернской виселице в Лондоне.

Недоншель, Жиль де (ок. 1282 — ок. 1336). Сын Ги де Недоншеля и Аликс де Креки. Член артуазской лиги. Стал советником короля и главным шамбелланом герцога Бурбонского.

Ногаре, Гийом де (1260 — март 1313). Родился в Сен-Феликс-Лораге. Ученик Пьера Флота и Жиля Эйслена. Преподавал право в Монпелье (1287). Королевский судья в сенешальстве Вокэр (1295). Рыцарь (1299). Приобрел известность благодаря участию в споре между французской короной и Святым престолом. Руководил в Ананьи действиями против Бонифация VIII. Будучи хранителем печати (с сентября 1307 до своей смерти), дал ход процессу тамплиеров.

Нуайе, Миль де, сеньор Вандевра (ок. 1271 — 21 сентября 1350). Маршал Франции (1303–1315). Советник при Филиппе V Длинном, Карле IV Красивом и Филиппе VI Валуа, сыграл весьма значительную роль во все три царствования. Великий кравчий Франции (1336).

Нувель, Арно (ум. 14 августа 1317). Аббат цистерцианского аббатства в Фонфруаде (Од). Дядя папы Бенедикта XII. Возведен в сан кардинала Климентом V в 1310 г. Папский легат в Англии. Участник конклава 1314–1316 гг.

Ого, Брюне д' (ум. 16 сентября 1356). Французский рыцарь, убит в битве при Пуатье.

Одеризи, Роберто. Возможно, имеется в виду Роберто ди Одеризио (1320/1335–1382), неаполитанский художник, испытавший влияние Джотто, когда тот был в Неаполе (1328–1333), а также Симоне Мартини. Глава неаполитанской школы второй половины XIV в. Самое значительное произведение Одеризи — фрески церкви Санта-Мария-Инкороната в Неаполе. Стоит отметить, однако, что к моменту описываемых в романе «Узница Шато-Гайара» событий он, в зависимости от даты рождения, либо был совсем ребенком, либо еще не родился. — *Примеч. ред.*

Одрегем, Арнуль, д' (1305 или 1306 — декабрь 1370). Французский военачальник. В 1332–1342 гг. участвовал в Шотландских войнах на стороне короля Шотландии Давида II. Маршал Франции (1351–1368). В 1356 г. арестовал Карла II Злого на банкете в Руане. Сражался в битве при Пуатье (1356), был взят в плен англичанами. Участвовал

в переговорах о заключении мира в Бретиньи. После возвращения из Англии назначен в 1361 г. капитаном Лангедока, где сражался против отрядов бригандов. В 1365 г. участвовал в испанской кампании Бертрана дю Геклена, был взят в плен Эдуардом Черным принцем, затем отпущен.

Ок (или *Ош*), Арно д' (ок. 1260/1270–1320). Епископ Пуатье (1306). При Клименте V кардинал-епископ Альбано (1312), папский легат в Париже (1314), камергер папы до 1319 г. Умер в Авиньоне.

Оксуа, Жан д'. Епископ Труазский, потом Оксерский (1353–1359).

Онэ, Готье д' (ок. 1288/1291 — 19 апреля 1314). Старший сын Готье д'Онэ, сеньора Муси-ле-Нёфа, Мениля и Гран-Мулена. Башелье графа де Пуатье, второго сына Филиппа IV Красивого. Уличенный в любовной связи с Бланкой Бургундской (дело Нельской башни), казнен в Понтуазе. Был женат на Агнессе де Монморанси.

Онэ, Филипп д' (ок. 1290/1293 — 19 апреля 1314). Младший брат Готье д'Онэ. Любовник Маргариты Бургундской, супруги Людовика X Сварливого. Казнен в Понтуазе вместе со своим братом.

Орлетон, Адам (ум. 1345). Епископ Херефордский (1317), затем Вустерский (1328) и Уинчестерский (1334). Посылался с многочисленными

миссиями к французскому королевскому двору и в Авиньон к папскому двору. Фаворит папы Иоанна XXII, от которого и получил епископство в Херефорде вопреки возражениям английского короля. Один из вдохновителей заговора против Эдуарда II. Казначей Англии (1327–1328).

Орсини, Наполеоне (1260/1263 — 24 марта 1342). Римский кардинал, возведен в сан папой Николаем IV в 1288 г. Союзник рода Колонна, выступал против папы Бонифация VIII на посмертном суде над ним. Участник конклава 1314–1316 гг.

Парей, Ален де. Капитан лучников при Филиппе IV Красивом.

Педро I Жестокий, затем Педро I Справедливый (30 августа 1334 — 23 марта 1369), король Кастилии и Леона (1350). Сын Альфонсо XI Кастильского и Марии Португальской. Был отлучен от церкви папой Урбаном V за гонения на священников. Заточил, а затем приказал убить свою жену Бланку Бургундскую, сестру французского короля Иоанна II Доброго, и поэтому в Столетней войне выступал на стороне Англии. Воевал с арагонским королем Педро IV Церемонным (Война двух Педро 1356–1375). После изгнания из Кастилии обратился за помощью к Эдуарду Черному принцу; кампания в итоге не увенчалась успе-

хом, и Педро I был убит Энрике Трастамарским, который и сел на кастильский трон.

Педро IV Церемонный (5 октября 1319 — 5 января 1387), король Арагона, также король Валенсии Педро II, король Сардинии и Корсики, граф Барселоны, с 1381 г. герцог Афинский. Король Мальорки (1344). Вел войны на Сицилии, на Сардинии, в Южной Италии, в Греции и на Балеарских островах, все правление боролся с центробежными силами в Арагоне.

Пейро, Юг де (ум. после 1314). Тамплиер, командор и главный досмотрщик ордена. Арестован 13 октября 1307 г., в марте 1314 г. приговорен к пожизненному заключению, скончался в тюрьме.

Пелагрю, Арно де (ум. август 1331). Архидиакон Шартрский. Возведен в сан кардинала племянником, папой Климентом V, 15 декабря 1305 г. Папский легат в Италии (1309–1310). Предводитель папской армии в вооруженном конфликте с Венецией за Феррару. Участник переговоров с Гийомом де Ногаре по вопросу разгона ордена тамплиеров. Участник конклава 1314–1316 гг.

Перрерс, Элис (ок. 1348–1400/1401). Фаворитка уже немолодого короля Англии Эдуарда III (ок. 1366), родила от него троих детей. Была очень влиятельна при дворе. В 1375 г. втайне от короля

заключила брак с сэром Уильямом де Виндзором, бароном Виндзорским, наместником короля в Ирландии. Была изгнана в 1376 г., но вскоре вернулась ко двору. Покровительствовала Джеффри Чосеру, считается прототипом батской ткачихи из «Кентерберийских рассказов».

Петрарка, Франческо (20 июля 1304 — 18/19 июля 1374). Итальянский поэт и ученый, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, один из первых представителей ренессансного гуманизма, сильно повлиял на жанр лирической поэзии.

Плуабуш, Жан. Прево Парижа с 1309 г. по март 1316 г.

Пре, Жан дю. Бывший тамплиер. Стал слугой в Валансе (1316). Вместе с бывшим тамплиером Эвраром был втянут кардиналом Каэтани в попытку навести порчу на короля Людовика X.

Прель, или Прейер, Рауль I де (ок. 1270 — ок. 1329). Сеньор де Лизи. Легист, секретарь Филиппа IV Красивого; брошен в тюрьму после смерти короля, но помилован в конце царствования Людовика X Сварливого. Надзирал за конклавом в 1316 г. Возведен в дворянское достоинство Филиппом V Длинным, состоял в рыцарской свите этого короля и заседал в его Совете. Основал

Прельский коллеж.

Пуже, или Пуйе, Бертран дю (1280 — 3/4 февраля 1352). Возможно, племянник папы Иоанна XXII, возведен им в сан кардинала в декабре 1316 г. Папский легат в Ферраре (1317) и северной Италии (1319–1334). Воевал за восстановление папского контроля в Болонье, Ломбардии и Эмилии-Романье. Губернатор Болоньи (1327–1334), епископ Остии и Веллетри (1327). Участник конклавов 1334 и 1342 гг.

Рейнолдс, Уолтер (ум. 16 ноября 1327). Епископ Вустерский (1307), архиепископ Кентерберийский (1313–1327). Лорд-казначей (1307–1310), хранитель печати (1310–1314), лорд-канцлер. Один из главных советников Эдуарда II. В 1326 г. принял сторону Изабеллы. Был крестным отцом короля Эдуарда III, короновал его и входил при нем в регентский совет.

Рибмон, Эсташ де (ум. 19 сентября 1356). Пикардийский дворянин, участник Столетней войны, в битве при Кале попал в плен, но впоследствии был освобожден без выкупа за храбрость. Убит в битве при Пуатье (1356).

Ричард I Львиное Сердце (8 сентября 1157 — 6 апреля 1199), английский король (1189–1199) из династии Плантагенетов, герцог Нормандский,

Аквитанский и Гасконский, граф Пуатье, Анжуйский, Мэнский и Нантский, правитель Кипра. Сын короля Англии Генриха II и герцогини Элинор Аквитанской. Великий полководец, один из самых известных крестоносцев, в Англии считался очень праведным, большую часть правления провел в крестовых походах и войнах за пределами Англии.

Роберт Мудрый, король Неаполитанский (1277 — 16 января 1343). Третий сын Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской. Младший брат Карла Мартелла. Герцог Калабрийский (1296), князь Салернский (1304), великий викарий королевства Сицилийского (1296). Наследник королевства Неаполитанского (1297) и король (1309). Коронован в Авиньоне папой Климентом V. Вождь партии гвельфов. Просвещенный государь, поэт и астролог, высоко ценимый Петраркой и Боккаччо. Женился первым браком на Иоланде (Иоланте) Арагонской, умершей в 1302 г.; потом на Санче, дочери короля Майорки (1304).

Савойский, Амадей V Великий, граф (ок. 1253 — 16 октября 1323). Второй сын Тома (Фомы) II Савойского, графа де Морьена и его второй супруги Беатрисы Фьески. Наследовал в 1283 г. своему дяде Филиппу, архиепископу Лиона. Женился

первым браком на Сибилле де Боже (1255–1294), вторым — на Марии Брабантской (1280–1340). В 1307 г. его сын Эдуард женился на Бланке Бургундской, сестре Эда IV и Маргариты Бургундской (жены Людовика X Сварливого).

Савойский, Петр (ум. ноябрь 1332). Архиепископ Лионский (1308). Племянник Амадея V Савойского. Сопротивлялся присоединению Лиона к Франции; город был осажден будущим Людовиком X Сварливым и Карлом Валуа по приказу Филиппа IV Красивого, и после вмешательства Амадея Савойского в 1312 г. Лион вошел в состав Франции. Суверенитет города так и не был восстановлен; при Филиппе V Длинном в 1320 г. было подписано соглашение о возвращении управления Лиона архиепископу, однако город остался в подчинении Франции.

Сигроув, Стивен (ум. 1325). Констебль лондонского Тауэра. После бегства Роджера Мортимера был заключен в тюрьму, освобожден в июне 1324 г.

Стефанески, Якопо Каэтани дельи (ок. 1270 — 23 июня 1343). Возведен в сан кардинала Бонифацием VIII 17 декабря 1295 г. Заказал Джотто мозаику «Навичелла» на сюжет чуда на Генисаретском озере (1310) в атриуме церкви Святого

Петра, где был каноником. Автор жизнеописания папы Целестина V, написанного гекзаметром.

Стэплдон, Уолтер де (1 февраля 1261 — 14 октября 1326). Профессор канонического права в Оксфорде. Епископ Эксетерский (1308–1326). Лорд-казначей Англии (1320 и 1322). Основатель оксфордского Эксетер-колледжа (1314). Сторонник Эдуарда II и Диспенсеров; после вторжения в Англию Изабеллы Французской и Роджера Мортимера и побега Эдуарда II из Лондона стал хранителем города и был убит восставшими горожанами.

Суастр. Член артуазской феодальной лиги, восставшей против графини Маго.

Сэссе, Бернар де (ок. 1232–1314). Аббат из Сент-Антонин де Памье. Бонифаций VIII создал для него епископство Памьерское (1295). Во время конфликта с Филиппом IV Красивым был арестован по обвинению в измене и ереси и препровожден в Санлис (октябрь 1301). Суд над ним вызвал разрыв между Филиппом IV и папой Бонифацием VIII.

Сюлли, Анри де (1282–1336). Сын Анри III сира де Сюлли и Маргариты де Бомец. Супруг Жанны де Вандом. Великий кравчий Франции с 1317 г. и главный казначей при Филиппе V Длинном.

Талейран-Перигё, Эли де (1301 — 17 января 1364). Французский куриальный кардинал. Епископ Лиможа (1324–1328). Епископ Осера (1328–1331). Декан Священной коллегии кардиналов (1361–1364). Кардинал-пресвитер церкви Сан-Пьетро ин Винколи (1331–1348). Кардинал-епископ Альбано (1348). Участник переговоров с принцем Уэльским Эдуардом и французским королем Иоанном II Добрым с целью предотвратить битву при Пуатье; а позднее — переговоров об освобождении Иоанна II Доброго из английского плена. Участник конклавов 1334, 1342, 1352 и 1362 гг., влиятельнейшая фигура при папском дворе в Авиньоне. Друг и корреспондент Франческо Петрарки.

Танкарвиль, Жан II де Мелён, граф (ок. 1325–1382). Влиятельный французский политик и военачальник при Иоанне II Добром и Карле V. Был взят в плен англичанами при Пуатье вместе с Иоанном II (1356). Способствовал заключению мира в Бретиньи. В 1363 г. вместе с королем добровольно вернулся в английский плен, затем возвратился во Францию. Губернатор Лангедока, Шампани и Бургундии при Карле V.

Толомеи, Спинелло. Глава сиенской банкирской компании во Франции, основанной в XII в.

Толомео Толомеи и быстро разбогатевшей благодаря торговле на мировых рынках и контролю над серебряными рудниками в Тоскане. До наших дней в Сиене сохранилось палаццо Толомеи.

Три, Матье де (ум. 26 ноября 1344). Сеньор де Фонтене и де Пленвиль-ан-Вексен. Главный хлебодар (1298), потом камергер Людовика Сварливого. С 1314 г. главный камергер Франции. Маршал Франции (ок. 1320).

Уффорд, Роберт де (9 августа 1298 — 4 ноября 1369), первый граф Саффолк (1337). Рыцарь ордена Подвязки. Участник Столетней войны под началом короля Эдуарда III и Черного принца; участник битв при Креси (1346) и при Пуатье (1356), где командовал арьергардом. Сторонник Изабеллы Французской и Роджера Мортимера, затем Эдуарда III. Один из доверенных советников короля, влиятельный дипломат.

Ферьенн, Изабелла де (ум. 1317). Колдунья. Свидетельствовала против Маго на суде, которому ее подвергли после смерти Людовика X Сварливого. Была сожжена заживо после оправдания Маго 9 октября 1317 г.

Фиески, Лука де (ок. 1275 — 31 января 1336). Племянник папы Адриана V, внучатый племянник папы Иннокентия VI, родственник Плантагене-

тов; также, по его собственным словам, родственник короля Хайме II Арагонского. Возведен в сан кардинала-дьякона Бонифацием VIII 2 марта 1300 г. Папский легат в Англии (1317). Участник конклавов 1303, 1304–1305, 1314–1316 и 1334 гг.

Филипп III Смелый, король Франции (1245 — 5 октября 1285). Сын Людовика IX Святого и Маргариты Прованской. Женился на Изабелле Арагонской (1262). Отец Филиппа IV Красивого и Карла, графа де Валуа. Сопровождал своего отца в Восьмом крестовом походе и был объявлен королем Тунисским (1270). Овдовев в 1271 г., женился на Марии Брабантской, которая родила ему Людовика, графа д'Эврё. Умер в Перпиньяне по возвращении из похода, куда отправился, чтобы поддержать права своего второго сына на Арагонский престол.

Филипп IV Красивый, король Франции (апрель или июнь 1268 — 29 ноября 1314). Сын Филиппа III Смелого и Изабеллы Арагонской. Вступил в брак (1284) с Жанной Шампанской, королевой Наваррской. Отец королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного, Карла IV Красивого и Изабеллы Французской, королевы Англии. Провозглашен королем в Перпиньяне (1285) и коронован в Реймсе (6 января 1286). Вел войну во

Фландрии, разгромил орден тамплиеров. После конфликта Филиппа IV с папой Бонифацием VIII началось авиньонское пленение пап. Скончался в Фонтенбло и погребен в усыпальнице Сен-Дени.

Филипп V Длинный, граф де Пуатье (1294 — 3 января 1322), король Франции (1316–1322). Сын Филиппа IV Красивого и Жанны Шампанской. Брат королей Людовика X Сварливого, Карла IV Красивого и Изабеллы Французской, королевы Англии. Пфальцграф Бургундский, сир Саленский благодаря своему браку с Жанной Бургундской (1307). Удельный граф Пуатье (1311). Пэр Франции (1315). После смерти Людовика X регент, а затем, по смерти его сына, король Франции (20 ноября 1316). Скончался в Лоншане, не оставив наследников мужского пола. Погребен в Сен-Дени.

Филипп VI Валуа, король Франции (1293 — 22 августа 1350). Старший сын Карла Валуа и его первой супруги Маргариты Анжу-Сицилийской. Племянник Филиппа IV Красивого и двоюродный брат королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. По смерти Карла IV — регент королевства, затем, после рождения дочери Карла, — король (с апреля 1328). Коронован в Реймсе 29 мая 1328 г. Его восшествие на престол, оспариваемое Англией, послужило

поводом к Столетней войне. Женат первым браком (1313) на Жанне Бургундской, прозванной Хромоножкой, сестре Маргариты; вторым браком (1349) на Бланке д'Эврё, принцессе Наваррской, внучке Людовика X и Маргариты Бургундской.

Фландрский, Людовик, сеньор Креси, граф Неверский (ок. 1304 — 26 августа 1346). Сын Людовик I де Дампьера, графа Неверского. Унаследовал от своего деда Робера Бетюнского титул графа Фландрского в 1322 г. Женился в 1320 г. на Маргарите, второй дочери Филиппа V и Жанны Бургундской. Во время Столетней войны поддерживал Францию, что привело к эмбарго на экспорт шерсти из Англии во Фландрию, развалу суконной промышленности и восстанию фландрских торговцев. Был изгнан из Фландрии и затем убит в битве при Креси в 1346 г.

Фландрский, Робер Бетюнский, граф де Невер (1249 — 17 сентября 1322). Сын Ги де Дампьера, графа Фландрского (ум. в 1305) и Матильды де Бетюн. Женился на Иоланде Бургундской, графине Невера.

Флери, Жоффруа де. Королевский казначей. Вступил в должность 12 июля 1316 г. и стал первым, кто носил это звание. Возведен Филиппом V Длинным в дворянство в 1320 г.

Флот, Гийом (ок. 1280 — после 1350/1366). Сеньор де Ревель и д'Эско. Сын Пьера Флота, легиста Филиппа IV Красивого и канцлера Франции, убитого в Куртре во время Фламандского восстания 1302 г. Легист, канцлер при Филиппе VI Валуа.

Форе, Жан I д'Альбон, граф де (ок. 1275 — 3 июля 1333). Последовательный сторонник французских королей, сначала Филиппа IV Красивого, затем Филиппа V Длинного. Надзирал за Лионским конклавом 1316 г. Министр и советник при Филиппе VI Валуа. Женился на Аликс де Вьеннуа, дочери Умберта де ла Тур дю Пена, затем на Элеоноре Савойской. Владелец отеля в Париже.

Фредоль, Беранже Младший (ум. ноябрь 1323). Племянник Беранже Фредоля Старшего. Епископ Безьерский (1309). Возведен в сан кардинала Климентом V 24 декабря 1312 г.

Фредоль, Беранже Старший или Старый (ок. 1250 — 11 июня 1323). Епископ Безьерский (1294). Возведен в сан кардинала папой Климентом V 15 декабря 1305 г.

Фреовилль, Никола Кенье де (ум. 1323). Доминиканец. Духовник Филиппа Красивого (с 1295). Возведен в сан кардинала Климентом V 15 декабря 1305 г. Участник конклава 1314–1316 гг.

Фуа, Гастон II Богатырь де (1308 — 26 сентября

1343), виконт де Беарн (как Гастон IX), де Марсан и де Габардан, сюзерен Андорры. Сын Жанны Артуа, сестры Робера III Артуа. Французский военачальник времен Столетней войны.

Фуа, Гастон III Феб, де (30 апреля 1331 — 1 августа 1391), виконт де Беарн (как Гастон X), де Марсан и де Габардан, сын Гастона II де Фуа. Военачальник во время Столетней войны. Супруг сестры Карла II Злого, однако выгнал жену после рождения сына, испортив отношения с ее братом. В 1356 г. принес присягу Иоанну II Доброму за Фуа, но не за Беарн, находившийся в вассальном подчинении Эдуарду III; был обвинен в измене французскому королю и участии в заговоре Карла II Злого, заключен в тюрьму, но освобожден после поражения французской армии при Пуатье (1356).

Фужер, Арно де (ум. 17 сентября 1317). Архиепископ Арльский (1308). Возведен в сан кардинала Климентом V 19 декабря 1310 г.

Фьенн, Жан, барон де Тенгри, сеньор де Румминген, кастелян де Бурбур (1278 — после 1333). Избранный вождем восставших дворян Артуа, одним из последних сложил оружие. Был женат на Изабелле, шестой дочери Ги де Дампьера, графа Фландрского.

Чандос, Джон, сэр (ок. 1320 — 31 декабря 1369). Английский рыцарь, полководец, виконт Сен-Совер, констебль Аквитании, сенешаль Пуатье, один из основателей и кавалер ордена Подвязки (1348). Был близким другом Черного принца. Талантливый стратег; считается ответственным за крупные победы англичан в битвах Столетней войны при Креси (1346), Пуатье (1356) и Оре (1364). Гибель Чандоса в мелкой стычке с французами оплакивали и в Англии, и во Франции.

Шамбли, Эгидий де (Эгидиус Понтуазский; ум. 2 января 1326). Пятидесятый аббат Сен-Дени.

Шарни, Жоффруа I де (ок. 1300/1306 — 19 сентября 1356), сеньор де Лире. Французский полководец, писатель и поэт. Считался доблестным рыцарем, участвовал в Столетней войне. Входил в состав тайного совета короля Филиппа VI Валуа. Погиб в битве при Пуатье. Считается первым обладателем Туринской плащаницы.

Шатийон, Ги, граф де Блуа (1298 — 12 августа 1342). Сын Юга II де Блуа и Беатрикс де Дампьер, дочери графа Фландрского. В 1311 г. женился на Маргарите де Валуа, дочери Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской, сестре Филиппа VI Валуа, короля Франции. Их сын Карл оспаривал права на герцогство Бретань после смерти герцо-

га Иоанна III. Участник войны с Фландрией под началом Людовика X Сварливого и Столетней войны под началом Филиппа VI.

Шатийон, Гоше V, граф де Порсьен де (ок. 1249–1329). Коннетабль Шампани (1284), затем, после Куртре (1302), — Франции. Сын Гоше IV и Изабеллы Виллардуэн. Одержал победу при Монзан-Певель. Короновал Людовика X Сварливого как короля Наварры в Памплоне (1307). Последовательно исполнитель завещания Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. Участвовал в битве при Касселе (1328), скончался в следующем году; выполнял обязанности коннетабля при шести королях. Был женат на Изабелле Дрё, потом на Элисенде де Вержи, потом на Изабелле де Рюминьи.

Шатийон-Сен-Поль, Ги III де, граф (после 1254 — 6 апреля 1317). Второй сын Ги II и Маго Брабантской, вдовы Робера I Артуа. Великий кравчий Франции (с 1296). Женился на Марии Бретонской (1292), дочери герцога Жана II и Беатрисы Английской. Старшая из его дочерей, Матильда (Маго), была третьей супругой Карла де Валуа. Один из душеприказчиков Филиппа IV (1314).

Шатийон-Сен-Поль, Маго (Матильда) де, графиня де Валуа (ок. 1293 — 3 октября 1358). Дочь

Ги III де Шатийона, великого кравчего Франции, и Марии Бретонской. Третья супруга Карла де Валуа, брата Филиппа IV Красивого.

Шершемон, Жан де (ум. 25 октября 1328). Сеньор Венура в Пуатье. Королевский писец (1318). Каноник собора Парижской Богоматери. Периодически становился канцлером Франции с 1320 г., при Филиппе V Длинном, Карле IV Красивом и Филиппе VI Валуа.

Эврар, бывший тамплиер. Писец в Бар-сюр-Об. В 1316 г. оказался замешан в деле о колдовстве, был пособником кардинала Каэтани в попытке навести порчу на короля Франции.

Эврё, Людовик Французский, граф д' (3 мая 1276 — 19 мая 1319). Сын Филиппа III Смелого и Марии Брабантской. Единокровный брат Филиппа IV Красивого и Карла де Валуа. Граф д'Эврё (1298), пэр (1317). Один из ближайших советников Филиппа V Длинного. Женился на Маргарите Артуа, сестре Робера III Артуа. Среди детей от их брака — Жанна, третья супруга Карла IV Красивого, и Филипп, супруг Жанны, королевы Наваррской.

Эврё, Филипп д'. Сын Людовика д'Эврё. Женился в 1318 г. на Жанне Французской, дочери Маргариты Бургундской и Людовика X Сварливого, унаследовавшей Наварру (28 января 1312 — 6 ок-

тября 1349). Отец Карла II Злого, короля Наварры, и Бланки, принцессы Наваррской, второй супруги короля Франции Филиппа VI Валуа.

Эделина, внебрачная дочь Людовика X Сварливого (род. ок. 1305). Сначала монахиня обители предместья Сен-Марсель, потом аббатиса монахинь-кларисс.

Эдуард II Плантагенет, король Англии (25 апреля 1284 — 21 сентября 1327). Родился в Карнарвоне. Сын Эдуарда I и Элеоноры Кастильской. Первый принц Уэльский и граф Честерский (1301). Граф Понтьё (1290). Герцог Аквитанский (1306). Женился на Изабелле Французской (1308), дочери Филиппа IV Красивого. Коронован в Вестминстере 25 февраля 1308 г. Свергнут с престола (1326) в результате мятежа баронов, возглавляемого его супругой и Роджером Мортимером, был заточен и убит в замке Беркли.

Эдуард III Плантагенет, король Англии (13 ноября 1312 — 21 июня 1377). Родился в Виндзоре. Сын Эдуарда II и Изабеллы Французской. Граф Честерский (1320). Герцог Аквитанский и граф Понтьё (1325). Коронован в Вестминстере (1327) после низложения отца. В 1328 г. вступил в брак с Филиппой де Авен, дочерью Вильгельма, графа Геннегау, Голландии и Зеландии, от которой у

него было тринадцать детей. Его притязания на французский престол послужили причиной Столетней войны.

Эдуард Вудсток, Черный принц (15 июня 1330 — 8 июня 1376). Старший сын английского короля Эдуарда III и Филиппы де Авен, наследный принц. Прозвище Черный принц возникло не раньше XVI в.; прозван черным за цвет своих доспехов. Английский полководец времен Столетней войны. Считался образцом рыцарства и прославился как талантливый военачальник. Участник битвы при Креси (1346) и при Пуатье (1356); участник войны в Аквитании (1366–1370). Скончался раньше отца, отчего трон отошел его сыну, коронованному как Ричард II.

Эрон, Адам. Башелье, потом камергер Филиппа, графа де Пуатье, будущего Филиппа V Длинного.